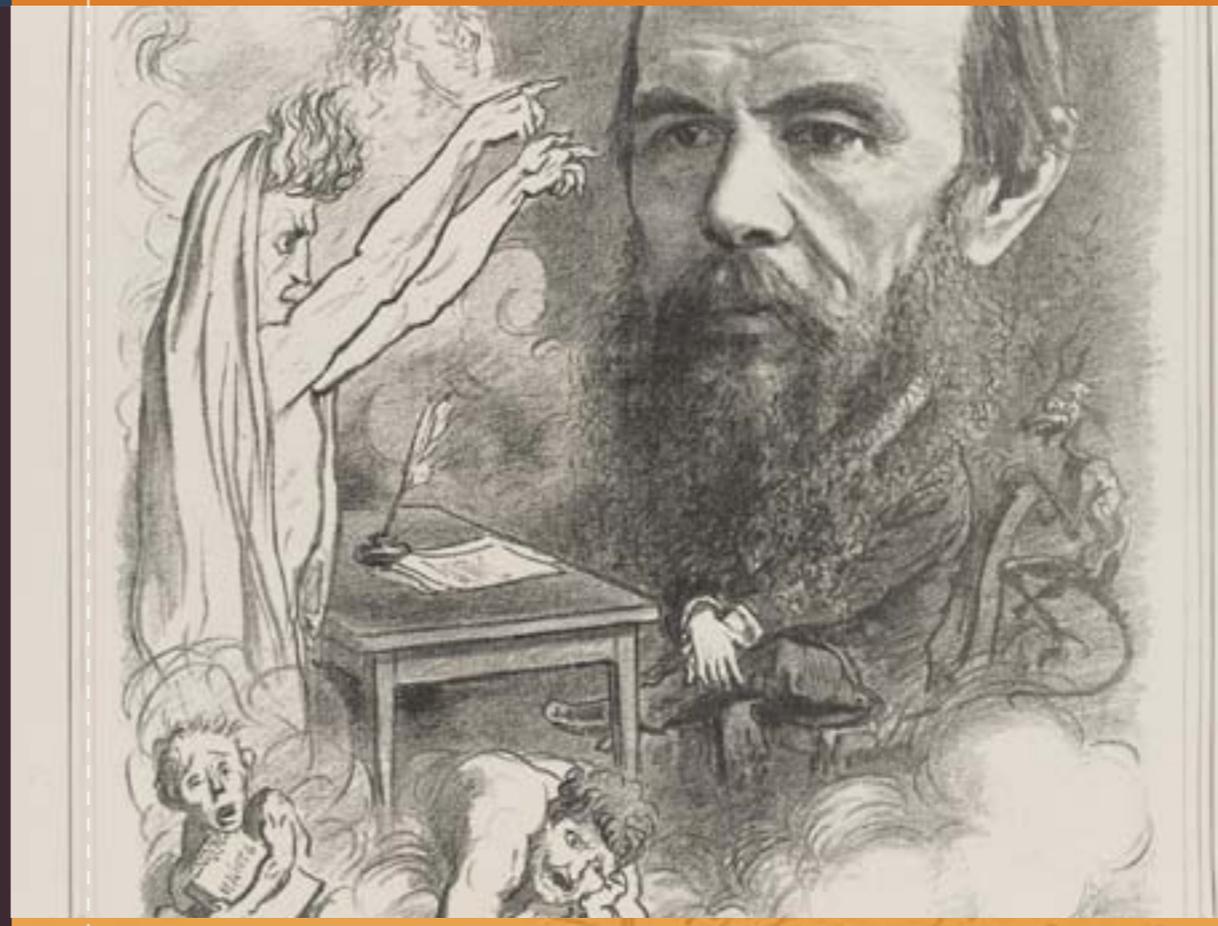


ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ НАСЛЕДИЯ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В РУССКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Впервые представлен систематизированный обзор критических высказываний о Ф. М. Достоевском в русской печати 1845–1881 гг., стремящийся к полному охвату источников, возможному на настоящий момент. Многие из них не были доселе известны ученым и были открыты в процессе исследования. Монография является вкладом в создание давно назревшей научной истории восприятия творчества писателя, т. е. истории его читателей.

**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
В РУССКОЙ КРИТИКЕ 1845 – 1881**

**В. Викторович
О. Захарова**



В. Викторович, О. Захарова

**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
В РУССКОЙ КРИТИКЕ. 1845–1881**



Достоевский

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ НАСЛЕДИЯ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В РУССКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

В. Викторович, О. Захарова

**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
В РУССКОЙ КРИТИКЕ
1845—1881**

Издательский дом «Лига»
Коломна, 2021

УДК 821.161.1(09)
ББК 83.3(2=Рус)5-8
В43



Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-012-90012).
Не для продажи.

В43 Викторovich В. А., Захарова О. В.

Ф. М. Достоевский в русской критике. 1845–1881. — Коломна : ИД «Лига»,
2021. — 536 с. : цв. вкл.

ISBN 978-5-98932-104-9

Впервые представлен систематизированный обзор критических высказываний о Ф. М. Достоевском в русской печати 1845–1881 гг., стремящийся к полному охвату источников, возможному на настоящий момент. Многие из них не были доселе известны ученым и были открыты в процессе исследования. Монография является вкладом в создание давно назревшей научной истории восприятия творчества писателя, т. е. истории его читателей.

In the monograph of V. Viktorovich and O. Zakharova «F. M. Dostoevsky in Russian criticism. 1845–1881» for the first time, a systematic review of critical statements about F. M. Dostoevsky in the Russian press of 1845–1881 is presented, striving for the full coverage of sources that is possible at the moment. Many of them were not previously known to scientists and were discovered in the process of research. The monograph is a contribution to the creation of a long overdue scientific history of the perception of the writer's creativity, i.e. the history of his readers.

ISBN 978-5-98932-104-9



9 785989 321049

© Авторы текстов, 2021
© ИД «Лига» — макет, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Глава 1. 1845–1849. «Новый Гоголь явился»	13
1. Молва и слава. Первые упоминания в печати	13
2. Дебют с триумфом и скандалом. Кто первый назвал Достоевского гением? Провокация Белинского и состязание писательских амбиций	17
3. Пристрастный спор о «натуральной школе». «Бедные люди» и «бедные русские читатели» (по Ф. Булгарину). «Развитель» Гоголя, но «самостоятельный» (по Ап. Григорьеву). Гуманизм Достоевского (по Белинскому). Социальность Гоголя и психологизм Достоевского (по В. Майкову). Отсутствие творчества (по К. Аксакову)	26
4. Скандал вокруг «Двойника». Белинский о «чрезмерной плодовитости». Л. В. Брант и Ф. Булгарин едва не умерли от скуки. С. П. Шевырев пережил «кошмар после жирного ужина». В. Майков уверен, что Достоевский «проник в химический состав материи». Как Некрасов отредактировал Белинского	44
5. «Первое апреля» – смешно или не смешно?	56
6. Критики привыкают писать о Достоевском: «Господин Прохарчин», «Роман в девяти письмах», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Белые ночи», «Неточка Незванова». В. Майков о вреде критики	60
7. Проблема жанра. Неразличение повести и романа в критике сороковых годов	70
Глава 2. 1850–1865. Возвращение. Журнализм как «новое слово»	77
1. В отсутствие гения. Достоевский под запретом. Цензурные эксперименты Аполлона Григорьева и его критика сентиментального натурализма. Сплетни Панаева. «Напиши мне всё, что услышишь, без утайки»	77
2. Журнал «Время» в зеркале критики: надежды и разочарования. Спор о «Египетских ночах» и Хомякове. В поисках «почвы»: полемика о понятии	88
3. «Фельетонный роман „Униженные и оскорбленные“». Кому из критиков понравился роман?	122

4. «Записки из Мертвого дома» как «фурор» Достоевского. Почему не удалось состричь Н. Щедрина?	144
5. Неудачи и беды журнала «Эпоха». Почему никто из критиков не откликнулся на «Записки из подполья»? «Крокодил» в подаче «Голоса»: как сплетня становится фактом	161
Глава 3. 1866–1870. Откровения новой русской прозы	173
1. «Преступление и наказание». Первые бурные впечатления	173
2. Нападение «Современника» в компании с «Искрой» и «Неделей»	177
3. Оправдание, вынесенное Д. И. Писаревым	189
4. Усилия эстетической критики Н. Д. Ахшарумова	193
5. Трудности «романа сознания»	197
6. Прорыв Н. Н. Страхова	200
7. Первая часть романа «Идиот». Читатели против критиков	207
8. Падение «Идиота» и сюрприз Щедрина	216
9. Страсти по «Вечному мужу: урыльник, потрясший Аполлона, непоследовательный Буренин и новооткрытый Страхов	227
Глава 4. 1871–1874. В зоне турбулентности	237
1. Статуя Ивана Грозного как замаскированная передовая статья. «Вы пишете для избранной публики»	237
2. Роман «Бесы» и растерявшиеся читатели. Журналистика, поднявшаяся на защиту молодого поколения	239
3. Перлы и алмазны фельетонной критики. «Бесы» как «литературное самоубийство». Буренин на грани нервного срыва	242
4. Ткачев как герой и критик Достоевского, Авсеенко как его исправщик и Загуляев, предлагающий читать «Бесов» на свежую голову	253
5. «Гражданин» и «свора прогресса»	264
6. Явление Михайловского. Герменевтический скандал как путь к диалогу	276
7. Разъяснения Ореста Миллера	289

Глава 5. 1875–1878. Трудный путь к читателю	293
1. Роман «Подросток». Затруднения Загуляева, эстетическое охранительство Авсеенко, рецензия Куцевского как автобиографический жанр.....	293
2. Двойники Скабичевского, здоровый голос из Киева, экспансия забытых людей по Ткачеву, дневник непонимающего читателя Зотова	304
3. «Конвой» Всеволода Соловьева	313
4. Антикритика Достоевского и рецептивный конфликт в описании Загуляева	323
5. Теплая встреча и холодный душ для «Дневника писателя»	330
6. Радости и огорчения Скабичевского. Есть ли у народа идеалы? Страхи Лароша и улыбчивого одессита. Неадекватное прочтение Достоевского vs его растущий авторитет	339
7. 1877 год: ошибки ума и ошибки сердца. Мы и Европа, смысл «Анны Карениной», «демон» Некрасова.....	362
Глава 6. 1879–1880. Споры на вершине	377
1. «Братья Карамазовы» и проблема деревянного масла. Атрибутированный Ларош. Вышедшие из терпения Чуйко и Корш. Протопопов, учащий Достоевского <i>уважать</i> человека. Бобрыкин как посланник Золя	377
2. Петр Полевой и Евгений Марков в попытках обобщения. Знают ли критики, что человечество не в них одних?	395
3. Критика на страже читательского комфорта. Буренин, опережающий лингвистические теории XX века. Южный позитивист о романе. Поэма «Великий инквизитор» как пробный камень русской критики	409
4. «Пушкинская речь» в массмедиа. «Не поняли или не хотели понять». Начало мифологии	423
5. Аксиологический разлад спорщиков о «Пушкинской речи». Лекция профессора Градовского о различении личной и общественной нравственности. Неакадемический Пыпин под маской	433

6. «Дневник писателя» 1880 г. «Юродивый мистик» и «проповедник смирения». Единение радикальной и либеральной критики. Концептуальные прения «мальчика в штанах» и «мальчика без штанов». К. Д. Кавелин «в лаборатории строгой и точной науки»	441
7. Различение «дела» и «нивы» по Глебу Успенскому. Христианство Достоевского и К. Леонтьева. Что такое «всечеловечность»? Иван Аксаков о «наваждении истины»	449
Глава 7. 1881. Кануны	455
1. Пророк или утопист? Битва профессоров. А. А. Потебня, поднятый на щит. Гиляров-Платонов о странном сближении русских гениев	455
2. Новый раскол в нигилистах. «Жестокий талант» по Михайловскому против «жизненных интересов» по Ткачеву. Фирменная нетерпимость Антоновича и награда ему от Буренина	463
3. Петерсен-Оникс, созидающий Достоевского-Вольтера. Преображение и покаяние Л. Е. Оболенского	481
4. Достоевский в церковной критике. Смерть писателя, открывшая шлюзы духовного красноречия. Мотив жизненного подвижничества. Выход за пределы эстетики в область нравственного богословия	491
Заключение	499
Список использованной литературы	506
Указатель произведений Ф. М. Достоевского	518
Указатель имен	520
Указатель изданий (газеты, журналы, альманахи, сборники)	532

ВВЕДЕНИЕ

В современном литературоведении осознана необходимость контекстуального анализа творчества великих писателей. В отношении Ф. М. Достоевского эта задача актуальна вдвойне. Прижизненная критика и журналистика малодоступны исследователям русской литературы и творчества Достоевского. В крупнейших библиотеках России и мира отсутствуют полные коллекции русской периодики XIX века. Печатные антологии критики слишком неполны, как неполны имеющиеся на сегодняшний день библиографические указатели критики о Достоевском. Эти проблемы может решить электронная библиотека «Достоевский в русской критике 1845–1881», которая призвана с исчерпывающей полнотой представить газетно-журнальный контекст творчества Достоевского¹, на данный момент она находится в разработке.

Достоевский был не только великим писателем, но и литературным критиком. Он считал критику неотъемлемой частью литературного творчества, взглядом «литературы на самое себя» (О. Д.; V: 216)². Писатель неоднократно подчеркивал необходимость уважительного отношения критики к «творческим произведениям», которые «легко без нее обойдутся; несмотря на придирки и нападки, они найдут себе читателей, которые вполне оценят их достоинства. Повторим еще раз: критика, обращаясь к творческим произведениям, обращается к действительности яркой, незабываемой, от нее не зависящей. Критика должна постоянно помнить, что сделаться фантазией, призраком, миражем легче всего может она, сама критика, а никак не предмет ее изучения» (О. Д.; V: 220–223). Литературная критика входила в структуру его

¹ См.: Достоевский в критике 1845–1881. — электрон. научн. изд. URL: <https://gets.cs.petrsu.ru/library/client/>

² Тексты Ф. М. Достоевского цитируются по двум изданиям: *Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений*: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990 (с указанием тома и страницы в круглых скобках) и *Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: канонические тексты*. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995–2015 (с дополнительным указанием: О. Д.). В ряде случаев, когда это необходимо, цитируются рукописи по архивным собраниям. Курсив в цитатах принадлежит цитируемому автору, выделение жирным шрифтом – авторам настоящего издания.

сочинений³, была жанром его журнальной деятельности 1860—1880 гг. («Время», «Эпоха», «Гражданин»), компонентом «Дневника писателя».

Достоевский, как правило, болезненно переживал критику своих произведений. Его волновала критика. Он тщательно отслеживал отзывы. В письме К. П. Победоносцеву от 16 августа 1880 г. он так описал свои переживания после публикации произведений:

«Каждый раз, когда я напишу что-нибудь и пушу в печать, — я как в лихорадке. Не то, чтоб я не верил в то, что сам же написал, но всегда мучит меня вопрос: как это примут, захотят ли понять суть дела, и не вышло бы скорее дурного, чем хорошего, тем, что я опубликовал мои заветные убеждения? Тем более, что всегда принужден высказывать иные идеи лишь в основной мысли, всегда весьма нуждающейся в большом развитии и доказательности» (30₁: 209).

От критики «Бедных людей» и особенно «Двойника» Достоевский «заболел от горя», «на некоторое мгновение впал в уныние» (28₁: 120). Он считал, что, вступив на литературное поприще, «завел процесс со всею нашей литературою, журналами и критиками» (28₁: 135), что его всегда поддерживала не критика, которая ругала, а публика, читатели:

«Меня всегда поддерживала не критика, а публика. Кто из критики знает конец Идиота — сцену [иску] такой силы, которая не повторялась в литературе. Ну, а публика ее знает...» (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 16. С. 160).

В том же письме К. П. Победоносцеву, рассказывая о заключительной части романа «Братья Карамазовы», писатель замечает: она «столь оригинальна и не похожа на то, как другие пишут, что решительно не жду одобрения от нашей критики. Публика, читатели — другое дело: они всегда меня поддерживали» (30₁: 209).

Литературная критика оказала значительное воздействие на творчество Достоевского. Под ее влиянием писатель создавал свои первые

³ Достаточно вспомнить письма Макара Девушкина о «Станционном смотрителе» Пушкина и «Шинели» Гоголя, пародийные восторги героя по поводу «Ермака и Зюлейки» и других произведений в «Бедных людях», «лекции» о стихотворениях Некрасова «Когда из мрака заблуждений» и Козьмы Пруткова «Осада Памбы» в «Селе Степанчикове и его обитателях», самокритику литературного дебюта в «Униженных и оскорбленных», пародию на журналистские нравы в повести «Крокодил», «лекцию» Аглаи по поводу «Рыцаря бедного» и анализ Ипполитом картины Ганса Гольбейна младшего «Мертвый Христос» в романе «Идиот», самокритику литературы в романе «Подросток», речь о Шиллере Мити Карамазова в романе «Братья Карамазовы», а с другой стороны — критику Порфирием Петровичем статьи Раскольникова о преступлении в романе «Преступление и наказание», «литературную кадрили» в «Бесах», споры о статье Ивана Карамазова «О церковном суде» и его предисловие к поэме «Великий инквизитор» и др.

произведения, существенно исправил первые редакции романа «Бедные люди», повести «Двойник», другие произведения сороковых годов. Особенности «серийной» публикации писателем своих сочинений в 1860–1870-е гг. (публикация романов в журналах частями в течение года) делали его разработку литературного замысла зависимой от мнений критики.

Достоевский умел вести полемику и уделял ей огромное значение. Фельетоны, статьи, журналистская и редакторская работа Достоевского в 1860–1865, 1873–1874, «Дневник писателя» 1876–1877, 1880 и 1881 гг. были предметом острой газетно-журнальной полемики.

Поражаясь тому, что Н. Н. Страхов избегает полемики, Достоевский в письме к нему из Флоренции убеждал критика в необходимости вести ее, раскрыл свое понимание ее задач и значения:

«... полемика есть чрезвычайно удобный способ к разъяснению мысли, у нас публика слишком любит ее. Все статьи, например, Белинского имели форму полемическую. Притом же в полемике можно выказать тон журнала и заставить его уважать. <...> Надо и поволноваться, надо и хлестнуть иногда, снизить до самых частных, текущих, насущных частных. Это придает появлению статьи вид самой насущной необходимости и поражает публику» (29₁: 18).

Вспоминая Ап. Григорьева, который считал себя критиком, а не публицистом, Достоевский полагал, что тот заблуждался:

«... всякий критик должен быть публицистом в том смысле, что обязанность всякого критика – не только иметь твердые убеждения, но *уметь* и проводить свои убеждения. А эта-то *умелость* проводить свои убеждения и есть главнейшая *суть* всякого публициста» (20: 136).

Для прижизненной критики Достоевский оказался трудноразрешимой проблемой. Гениальные произведения становились предметом сатиры, пародий, насмешек. В свою очередь, писатель отвечал на эти выпады в своих фельетонах и пародиях в 1860–1870-е гг. Подобной литературной полемике посвящены «Крокодил» и «Полписьма „одного лица“» в «Дневнике писателя» за 1873 г.

Описывая свои отношения с критикой, Достоевский отмечал:

«... печатная литературная критика, даже если и хвалила меня (что было редко), говорила обо мне до того легко и поверхностно, что, казалось, совсем не заметила того, что решительно родилось у меня с болью сердца и вылилось правдиво из души» (30₁: 148).

Писатель считал, что критика «пошлеет и мельчает» (Ө. Д.; IV: 11), она фальшива, слепа и глуха к «изящной литературе», так как критиком может быть любой:

«Прочел несколько романов, а, давай я стану писать отделение критик. Вот почему столько бессодержательности» (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 16. С. 277).

В полемике с критикой Достоевский считал, что литературное произведение «есть нечто более действительное, более живое, более правильное», а критика – «многое множество иных красноречивых разглазительств и смелейших теорий» (Ө. Д.; V: 217). Художественное реальнее критических суждений:

«Творческое создание не есть мечта, софизм, мираж, оптический обман; оно есть действительный предмет, законно существующий, в себе самом носящий свое неотъемлемое право и оправдание. Критика для таких созданий неопасна, **скорее они опасны для критики; не критик их судья, а они судьи критика**: достоинство критика определяется тем, на сколько он понимает их достоинства» (Ө. Д.; V: 217).

Достоевский утверждал, что «критика, обращаясь к творческим произведениям, обращается к действительности яркой, незыблемой, от нее независимой. Критика должна постоянно помнить, что сделаться фантазией, призраком, миражем легче всего может она, сама критика, а никак не предмет ее изучения» (Ө. Д.; V: 220-221).

Как влияла литературная критика на творчество писателя – ответить на этот вопрос непросто: еще не раскрыты многие источники. Впервые прижизненная критика о Достоевском была собрана в «Историко-критическом комментарии к сочинениям Ф. М. Достоевского», составленном В. А. Зелинским (1885–1886).

В 1913 году была опубликована монография И. И. Замотина «Ф. М. Достоевский в русской критике» (Ч. 1, 1846–1881), которая представляет собой первый систематический обзор прижизненной критики о Достоевском. И. И. Замотин включил в нее цитаты из нескольких сотен журнальных и газетных статей и заметок, которые, по его мнению, являются наиболее ценными и менее доступными для читателей. Основой для обзора послужил «Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского и собранных в „Музее памяти Ф. М. Достоевского“ в Московском Историческом Музее Имени Императора Александра III. 1846–1903 гг.», составленный А. Г. Достоевской, который был дополнен публикациями из второго тома «Источников словаря русских

писателей» С. А. Венгерова. В «Предисловии» И. И. Замотин формулирует ряд вопросов, ответы на которые должна дать его книга:

«1) о движении общественного сознания в эпоху, представленную соответствующими критическими материалами; 2) о характере за то же время литературной критики; 3) о постепенном духовном росте самого писателя, которому посвящена изучаемая группа отзывов критики и 4) о развитии его литературной манеры» [Замотин: I].

Ответы на два последних вопроса должны пролить свет на эволюцию литературных идей и форм Достоевского. В отличие от В. А. Зелинского, сборник которого он оценивает как «толстый по объему и случайный по характеру», свою задачу он видит в том, чтобы дать «полный систематический обзор всего сказанного о Достоевском в печати» за период 1846–1881 годов. Творческий путь Достоевского Замотин делит на семь периодов, каждому из которых посвящена своя глава: «Сороковые годы», «В начале шестидесятых годов», «Во второй половине шестидесятых годов», «В первой половине семидесятых годов», «Во второй половине семидесятых годов», «1879–1881» и «1880». Для каждого периода он дает краткую его характеристику, анализирует манеру писателя, его направление, приводит подробные цитаты из литературно-критических статей и фельетонов, сопоставляет различные точки зрения.

В сборник статей «Ф. М. Достоевский в русской критике» (М., 1956) вошел ограниченный объем прижизненной критики Достоевского, представляющей «революционно-демократическое» и либеральное направления. Соответствующим образом составлена и вступительная статья А. А. Белкина.

Ряд томов академического издания «Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского» в 30-ти и 35-ти томах содержит в комментариях обширный обзор критических отзывов о произведениях писателя. В них приводятся наиболее значимые и яркие суждения критиков о творчестве Достоевского.

Все указанные издания содержат обзоры ограниченного объема прижизненной критики, между тем как потребность читателей и исследователей в полноценном знании ее несомненна.

Несмотря на имеющиеся библиографии, на сегодняшний день не установлен в полном объеме литературно-критический контекст творчества Достоевского. Сделано много, но всё же лишь частично раскрыты интертекстуальные связи его творчества с журналистикой. Это снижает качество комментариев к научным изданиям сочинений писателя.

Задача, поставленная авторами настоящей монографии – дать систематический обзор критических высказываний о Достоевском за период 1845–1881 гг. Мы стремились к наиболее полному охвату источников, возможно на настоящий момент. Ряд источников не был доселе известен ученым и был открыт в процессе исследования.

Авторы монографии благодарят участников (в составе научной группы по гранту РФФИ) многотрудного библиографического поиска, черновой работы по копированию журнальных и газетных статей Н. В. Викторовича, А. П. Дмитриева, Ю. А. Зевалд, А. В. Индзинскую, Д. А. Июдина, Е. С. Куйкину, В. Р. Созину, а также коллег, оказавших содействие своими консультациями – В. Н. Захарова, Б. Н. Тихомирова.

Перевод французских текстов подготовлен С. А. Савостиной.

Настоящее введение, 1 и 2 главы составлены О. В. Захаровой, главы 3–7 и Заключение – В. А. Викторовичем (4 раздел 7 главы составлен А. П. Дмитриевым). Указатели составлены Н. В. Викторовичем, Д. Д. Бучневой.

ГЛАВА 1

1845–1849. «Новый Гоголь явился»

1.

В мае 1845 года Достоевский отдал роман «Бедные люди» в альманахах Некрасова «Петербургский сборник». От романа пришли в восторг Д. В. Григорович, Н. А. Некрасов, В. Г. Белинский, И. И. Панаев и др. Этот эпизод подробно рассмотрен в статьях К. И. Чуковского [Чуковский 1914], [Чуковский 1922]. Слух о «новом Гоголе» разнесся по литературному Петербургу, но печатные отзывы о романе появились лишь в январе 1846 года.

В письме к брату Достоевский писал:

«Слава моя достигла до апогеи. В 2 месяца обо мне, по моему счету, было говорено около 35 раз в различных изданиях. В иных хвала до небес, в других с исключениями, а в-третьих, руготня напропалую» (28₁: 119).

Е. И. Кийко полагает, что первым скрытым упоминанием имени Достоевского была рецензия Белинского на стихотворения Петра Штавера, опубликованная в июльском номере «Отечественных записок» в 1845 году [Кийко 1972: 106]. Она отмечает, что В. Г. Белинский писал рецензию «не столько ради разбора не имеющих никакого эстетического значения стихотворений начинающего автора, сколько для того, чтобы высказать свои мысли по поводу насущных задач русской литературы» [Кийко 1972: 107]. К суждениям критика, в которых имя Достоевского не названо, но которые написаны «несомненно под влиянием мыслей, навеянных чтением „Бедных людей“» [Кийко 1972: 107], исследовательница относит следующие рассуждения В. Г. Белинского:

«Вообще, люди, по своей натуре, более хороши, нежели дурны, и не натура, а воспитание, нужда, ложная общественная жизнь — делают их дурными. Почти во всяком из них, даже в самом дурном, есть своя прекрасная, человеческая сторона, только трудно подсмотреть и открыть ее. Последнее составляет благороднейшую миссию поэта: ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы, так же, как ему же

принадлежит по праву преследование ложных и неразумных основ общест-венности, искажающей человека, делающей его иногда зверем, а чаще всего бесчувственным и бессильным животным. Люди – братья друг другу, хотя неразумность их отношений и делает их естественными врагами. Благо-родно, велико и свято призвание поэта, который хочет быть провозвест-ником братства людей»¹.

Отрицательно оценивая дебют поэта, Белинский повторяет в своих наставлениях то, что он сказал Достоевскому:

«В наше время, поэт, как поэт, не может обещать себе великого успеха, по-тому что наше время от каждого, – следовательно, и от поэта – требует, чтоб он прежде всего и больше всего был – *человеком*. Не заботьтесь же о себе, как о поэте, и воспитывайте в себе человека. <...> Обратите прежде всего внимание на самого себя, и постарайтесь познакомиться, сблизиться и разумно подружиться с самим собою, чтоб со временем не найти в себе собственного своего врага, – а это самый опасный, самый жестокий из вра-гов! <...> Жизнь, природа, человек, человечество, наука, искусство – какое обширное, великое, бесконечное поприще для борьбы благородной, для упражнения юных и свежих сил!»².

Слова Белинского запомнились Достоевскому на всю жизнь:

«Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в катор-ге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом» (25: 31).

Белинский встретил писателя «чрезвычайно важно и сдержанно», но, по воспоминаниям Достоевского, «... важность была <...> из уваже-ния его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скор-рее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне ска-зать» (25: 30).

Достоевский так передает слова Белинского:

«Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли напи-сать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? <...> Да ведь этот ваш несчастный чиновник – ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не сме-ет признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто ру-блей, – он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого как он мог

¹ Белинский В. Г. Стихотворения Петра Штавера. Санкт-Петербург. В тип. Эдуарда Праца. 1845. В 12-ю д. л., 42 стр. // *Отечественные записки*. 1845. №. 7. С. 4.

² Там же. С. 4–5.

пожалеть „их превосходительство”, не его превосходительство, а „их превосходительство”, как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..» (25: 30–31).

Эти слова подтверждаются свидетельством Некрасова, неизвестным ни Достоевскому, ни современникам поэта. Их источник — черновые рукописи незавершенной повести Некрасова «В тот же день часов в одиннадцать утра...». На сходство некоторых эпизодов его повести с воспоминаниями Достоевского в «Дневнике писателя» и мемуарами его современников указывал К. И. Чуковский [Чуковский 1922], подробно этот аспект раскрыт в комментариях к Полному собранию сочинений поэта (Некрасов; 8: 766-780).

Современники Достоевского по-разному передавали впечатление Белинского от романа «Бедные люди».

Вспоминая отзыв Белинского о «Бедных людях» как о первой попытке «социального романа», П. В. Анненков передает слова критика, которые созвучны размышлениям в рецензии на Штавера:

«... нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и все, — а какая драма, какие типы!» [Анненков: 240].

И всё же в рецензии нет ни имени Достоевского, ни критики романа «Бедные люди», но есть рецензия на неудачный сборник стихов и нотации начинающему поэту, что такое искусство.

1 ноября 1845 года в ноябрьской книге «Отечественных записок» опубликовано анонимное объявление об издании юмористического альманаха «Зубоскал», написанное Достоевским. По словам писателя, оно «наделало шуму», но имя Достоевского снова не упомянуто в печати (28; 115). Представленная вскоре рукопись первого выпуска была запрещена цензурой. Альманах не состоялся.

Первое упоминание имени Достоевского в русской печати относится к декабрю 1845 года.

В анонсе журнала на 1846 год, вышедшем в рубрике «Библиографические и журнальные известия» декабрьского номера «Отечественных записок» (цензурное разрешение от 30 ноября, вышел в свет 2 декабря), была упомянута повесть Достоевского «Двойник»:

«В „Отечественных записках“ 1846 года, помещены будут, между прочим, следующие статьи, из которых большая часть появится в первых книжках журнала:

Две минуты, повесть графа В. А. Соллогуба;
Андрей, поэма в двух частях, в стихах, И. С. Тургенева;
Княгиня, повесть графа В. А. Соллогуба;
Небывалое в былом, повесть В. И. Даля (Луганского);
Старушка, повесть графа В. А. Соллогуба;
Двойник, повесть Ф. М. Достоевского;
Наперсник, повесть Сто-Одного;
Повесть князя В. Ф. Одоевского, и др.»³.

Примечательно, что впервые литературное имя Достоевского прозвучало в печати не по поводу романа «Бедные люди», а в связи с предстоявшей в 1846 г. публикацией повести «Двойник» в журнале «Отечественные записки».

До января 1846 года литературная известность автора «Бедных людей» была изустной. Первое объявление о «Петербургском сборнике» появилось в печати лишь в январском номере «Отечественных записок» (цензурное разрешение от 31 декабря 1845 г., вышел в свет 2 января 1846 г.). Этому были свои причины. Работа по составлению «Петербургского сборника» продолжалась до начала января 1846 года. Н. А. Некрасов передал последние материалы в Санкт-Петербургский цензурный комитет 3 января. Цензурное разрешение было получено 12 января, цензоры — И. Ивановский, А. Никитенко, А. Крылов. Пространный состав цензоров объяснялся тем, что рукописи цензурировались по мере поступления их от Некрасова. В этом состоял его хитрый расчет: альманах могли запретить и в целом, и из-за одной статьи, одного произведения, но почти невозможно было запретить сборник, составленный из одобренных цензурой материалов. Так, рукопись романа «Бедные люди» была сдана в Санкт-Петербургский цензурный комитет 4 сентября, одобрена цензором Фрейгангом 8 октября [Летопись; 1: 100-101].

³ Библиографические и журнальные известия // *Отечественные записки*. 1845. № 12. С. 103.

6 ноября Н. А. Некрасов представил в цензурный комитет верстку романа, которую одобрил И. Ивановский [Летопись; 1: 102]. Корректурa «Бедных людей» ходила по рукам с конца ноября [Летопись; 1: 103], в декабре началась печать «Петербургского сборника».

Рекламирывать в 1845 году неразрешенный цензурой альманах было бы рискованной затеей. Некрасов уже имел отрицательный опыт рекламы альманаха «Зубоскал». Возможно, именно поэтому первое объявление об издании альманаха появляется, когда цензурное одобрение получили почти все материалы «Сборника». 12 января 1846 года было получено цензурное разрешение на выход альманаха в целом. 19 января цензор А. Никитенко подписал билет на выпуск «Петербургского сборника» из типографии, 24 января он поступил в продажу. Первое объявление о «Петербургском сборнике», поступившем в продажу в книжные магазины, вышло в «Северной пчеле» в № 20 от 24 января 1846 года⁴. Это было краткое объявление без раскрытия его содержания. Полный вариант, в котором названо имя и произведения Достоевского, вышел в «Северной пчеле» на следующий день — 25 января⁵, 26 января объявление было напечатано в газете «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции»⁶.

Одновременно в январе 1846 г. идет верстка и корректура «Двойника». 1 февраля Достоевский пишет брату: «... до самого последнего времени, то есть до 28-го числа, кончал моего подлеца Голядкина» (28₁: 117).

В конце января в газетах и журналах началась полемика вокруг «Петербургского сборника» и «Бедных людей».

Достоевский с триумфом и скандалом вошел в русскую литературу.

2.

Обстоятельства дебюта Достоевского хорошо известны. Они описаны в мемуарной литературе, отражены в прижизненной критике, в обстоятельном обзоре К. И. Чуковского [Чуковский 1922], в статьях и монографиях исследователей [Кирпотин], [Фридлендер 1972: 470-478], [ДЗ5; 1: 660-673, 676-678], [Захаров 2013], [Баршт 2015] и др. Вместе с тем ряд деталей остается неосвещенным, в частности, такой ключевой вопрос: когда и кто впервые назвал Достоевского *гением*?

⁴ Библиографические и разные известия // *Северная пчела*. 1846. № 20. 24 января.

⁵ Библиографические и разные известия // *Северная пчела*. 1846. № 21. 25 января.

⁶ <Объявление> // *Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции*. 1846. № 22. 26 января.

Как отмечалось выше, в мае 1845 года Достоевский отдал роман «Бедные люди» в альманах Некрасова «Петербургский сборник». Он восхитил кружок Белинского. По Петербургу разнесся слух о «новом Гоголе», но печатные отзывы о романе появились лишь в январе 1846 года.

В письмах к брату Достоевский неоднократно писал о своем успехе в кружке Белинского. Например, в письме от 16 ноября 1845 года:

«Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более <...> откровенно тебе скажу, что я теперь упоен собствен<ной> славой своей» (28₁: 115–116).

В этом упоении славой Ф. М. Достоевский жил с мая 1845 по март 1846 года.

Как было замечено ранее, первое упоминание литературного имени Достоевского в печати связано не с романом «Бедные люди», а с повестью «Двойник», публикация которой была анонсирована в декабрьском номере журнала «Отечественные записки» за 1845 г. [Захарова 2013: 67].

В январском номере этого журнала, вышедшем 2 января 1846 года (цензурное разрешение от 31 декабря 1845 г.), Белинский объявил о «новом литературном имени»:

«... наступающий год, — мы знаем это наверное, — должен сильно возбудить внимание публики одним **новым литературным именем**, которому, кажется суждено играть в нашей литературе одну из таких ролей, какие даются слишком немногим. Что это за имя, чье оно, чем занимательно, — обо всем этом мы пока умолчим, тем более что все это сама публика узнает на днях»⁷.

Дебютная интрига завершилась 1 февраля 1846 года. В этот день вышел февральский номер «Отечественных записок» (цензурное разрешение от 31 января 1846 г.), в котором Белинский, наконец, назвал нового автора. В отзыве о «Петербургском сборнике» он так представил начинающего писателя:

«Таких альманахов, как „Петербургский сборник“, у нас **еще не бывало**. <...> в „Петербургском сборнике“ напечатан роман: *Бедные люди* г. Достоевского — имя совершенно неизвестное и новое, но **которому, как кажется, суждено играть значительную роль в нашей литературе**. В этой книжке «Отч. записок» русская публика прочтет и еще роман г. Достоевского,

⁷ <Белинский В. Г.> Мельник. (Le Meunier d'Angibault). Роман Жоржа Санда. Перевод Фурманна. Санктпетербург. В тип. Карла Крайя. 1845. В 8–ю д. л. 243 стр. // *Отечественные записки*. 1846. № 1. С. 2.

Двойник, – этого слишком достаточно для ее убеждения, что **такими произведениями обыкновенные таланты не начинают своего поприща**»⁸.

По его мнению, роман начинающего автора выше любых похвал:

«Если бы *Бедные люди* вышли даже отдельною книжкою, то и тогда о них нельзя было бы говорить иначе, как в отдельной критической статье, потому что при разборе подобного произведения, обыкновенные похвальные фразы, как бы они в сущности ни были справедливы, не могут иметь места. Разбирать подобное произведение искусства, значит – выказать его сущность, значение, при чем легко можно обойтись и без похвал, ибо дело слишком ясно и громко говорит за себя; но сущность и значение подобного художественного создания так глубоки и многозначительны, что в рецензии нельзя только намекнуть на них. Это заставляет нас отложить подобный критический разбор „Петербургского сборника“ до следующей книжки «Отеч. записок», – что даст нам возможность поговорить о *Двойнике*, который к тому времени будет прочтен всюю публикою»⁹.

В этом же номере В. Г. Белинский дал еще один отзыв о Достоевском, романе «Бедные люди» и альманахе «Петербургский сборник».

В статье «Новый критикан», прежде чем перейти к язвительной характеристике фельетониста «Северной пчелы» Л. В. Бранта, печатавшегося под псевдонимом «Я.Я.Я.», В. Г. Белинский задал вопрос: «А что нового в нашей литературе?» – и дал два ответа:

«Последняя новость в ней – **явление нового необыкновенного таланта**. Мы говорим о г. Достоевском, который рекомендуется публике *Бедными людьми* и *Двойником* – произведениями, которыми для многих было бы славно и блистательно даже и закончить свое литературное поприще; но *так* начать, – это, в добрый час молвить! **что-то уж слишком необыкновенное...**»¹⁰.

Вторая «последняя литературная новость – *Петербургский сборник*, альманах, изданный г. Некрасовым; **перл этого альманаха** опять-таки *Бедные люди*, но в нем и кроме того много замечательно хороших произведений – пока тут и все новости»¹¹.

В. Г. Белинский ободрял даровитого автора:

«Теперь в публике только и толков, что о г. Достоевском, авторе *Бедных людей*; но слава не бывает, без терний, и говорят, что посредственность

⁸ <Белинский В. Г.> Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым // *Отечественные записки*. 1846. № 2. С. 45.

⁹ Там же. С. 45–46.

¹⁰ <Белинский В. Г.> Новый Критикан // *Отечественные записки*. 1846. № 2. С. 127.

¹¹ Там же.

и бездарность уже точат на г. Достоевского свои деревянные мечи и копья... Тем лучше: такие терния не колят, а дают ход таланту, который — не талант, если у него нет врагов и завистников»¹².

Отметим, что, высоко оценивая дебют Достоевского, Белинский печатно нигде не назвал его гением: называл его «талантом», «необыкновенным талантом», которому «суждено играть значительную роль».

Кто из критиков произнес это слово по отношению к Ф. М. Достоевскому?

Спор о Достоевском попал на благодатную почву полемики о гениях в русской литературе, которая разгорелась между Белинским и Л. В. Брантом после публикации сборника Некрасова «Физиология Петербурга» (вышел 1 июля 1845 года). Ее поводом стало суждение Белинского, высказанное в неподписанном «Вступлении» к альманаху:

«... не подвержено никакому сомнению, что русская литература гениальными произведениями едва-ли не гораздо богаче, чем произведениями обыкновенных талантов»¹³.

Эту мысль Белинского фельетонист «Северной пчелы» Л. В. Брант дважды ошибочно приписал Н. Некрасову¹⁴. Он иронично возражал:

«... у нас все гении, а дарований обыкновенных нет»¹⁵.

Суждение о гениях и талантах Белинский повторил в статье «Мысли и заметки о русской литературе», опубликованной в «Петербургском сборнике». Чтобы не ссылаться на самого себя, высказался неопределенно:

«Раз где-то была высказана мысль, что у нас больше художественных, нежели беллетристических произведений, больше гениев, нежели талантов.

¹² Там же.

¹³ <Белинский В. Г.> Вступление // Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов, под редакцией Н. Некрасова. Часть I. Санкт-Петербург, 1844. С. 13.

¹⁴ См. статьи: Русская литература. Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов, под редакцией Н. Некрасова. С политипажамми. Издание книгопродавца А. Иванова. С.-Петербург 1845. В типографии Journal de St. Petersbourg. В 8-ю д. л., часть первая 303, часть вторая 276 стр. // *Северная пчела*. 1845. № 234. 17 октября; Я. Я. Я. Русская литература. Отечественные записки. Учено-литературный журнал, издаваемый Андреем Краевским. Октябрьская и ноябрьская книжки 1845 г. (Окончание) // *Северная пчела*. 1845. № 276. 7 декабря.

¹⁵ Русская литература. Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов, под редакцией Н. Некрасова. С политипажамми. Издание книгопродавца А. Иванова. С.-Петербург 1845. В типографии Journal de St. Petersburg. В 8-ю д. л., часть первая 303, часть вторая 276 стр. // *Северная пчела*. 1845. № 234. 17 октября.

Как всякая самобытная и оригинальная мысль, она возбудила толки. И действительно, с первого взгляда эта мысль может показаться странным парадоксом; но тем не менее она справедлива в основании»¹⁶.

В рецензии на «Петербургский сборник» Н. Некрасова, написанной в 1846 году, оппонент из «Северной пчелы» уже не ошибся в принадлежности парадокса:

«... знаменитый критик в пятый раз утверждает, что в русской литературе больше гениев, нежели обыкновенных талантов. Пяти раз мало, г. Белинский!»¹⁷.

В полемике фельетонистов «Северной пчелы» с критиками натуральной школы постоянно звучал упрек, что «Отечественные записки» назначают гениев в угоду ложным установкам ради оправдания ошибочных теорий. Немногие печатно поддержали Достоевского: В. Г. Белинский, А. А. Григорьев, В. Н. Майков, А. В. Никитенко, А. Н. Плещеев, но никто из них не назвал начинающего писателя гением. Впервые это слово прозвучало в фельетонной полемике «Северной пчелы», в которой Ф. В. Булгарин и Л. В. Брант возмущались автором, незаслуженно обретшим славу.

У оппонентов общим мнением стало суждение, что литературная партия «Отечественных записок» назначила Ф. М. Достоевского гением вместо Н. В. Гоголя.

Об этом писал Ф. В. Булгарин:

«Новой литературной партии *натуралистов* непременно нужны гении, чтоб блеском их славы помрачить всех прежних русских писателей, живых и умерших»¹⁸.

Булгарин воспринял появление Ф. М. Достоевского как угрозу своему литературному положению:

«... вот по городу разнесли вести о новом гении, г. Достоевском (не знаем на верное псевдоним или подлинная фамилия), и стали превозносить до небес роман: *Бедные люди*. Мы прочли этот роман, и сказали: *бедные* русские читатели! Благодарим *Иллюстрацию*, что она также высказала несколько правд о *Петербургском сборнике*, и оценила по достоинству повесть: *Бедные люди*»¹⁹.

¹⁶ Белинский В. Г. Мысли и заметки о русской литературе // Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. Некоторые статьи иллюстрированы. Санкт-Петербург 1846. С. 547.

¹⁷ Я. Я. Я. <Брант Л. В.> Русская литература. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. (Окончание.) // *Северная пчела*. 1846. № 26. 31 января.

¹⁸ Б. Ф. <Булгарин Ф. В.> Фельетон. Журнальная всякая всячина // *Северная пчела*. 1846. № 27. 1 февраля.

¹⁹ Там же.

Булгарин отдавал должное Достоевскому, но предостерегает молодого писателя:

«Г. Достоевский человек не без дарования, и если попадет на истинный путь в литературе, то может написать что-нибудь порядочное. Пусть он не слушает похвал *натуральной* партии, и верит, что его хвалят только для того, чтоб унижать других. Захвалить то же, что завалить дорогу к дальнейшим успехам»²⁰.

Таков Ф. В. Булгарин, таков его стиль.

Чем дальше, тем более непринужденным становится фельетонный тон Л. В. Бранта, навязывающего В. Г. Белинскому и А. А. Григорьеву свои оценки: «Двойник» – «второе произведение нового русского гения», Ф. М. Достоевский – «новый гений»²¹, хотя ни тот, ни другой не произносили эти слова. Фельетонист, иронично называя писателя «наш гений», сочувственно заявляет:

«Искренне сожалеем о молодом человеке, так ложно понимающим искусство, и очевидно сбитым с толку литературною „котерию“, из видов своих выдающею его за гения»²².

Пытаясь дискредитировать само понятие, Брант дает сортировку гениев, представляет «Двойника» как «путаницу слов», «бессмыслицу содержания», которую «выдают нам за огромный талант, за произведение гения!»²³.

Из подобных обличений и опровержений «Северной пчелы» читатели узнали, что в русской литературе есть гений.

Критики и фельетонисты поддались на провокацию кружка Белинского. Они спорили о том, что никто не писал.

Так, в рецензии на «Петербургский сборник» Л. В. Брант сослался на слухи, которые предшествовали роману «Бедные люди»:

«За несколько времени до выхода в свет „Петербургского сборника“, уверяли, что в этом альманахе явится произведение нового, необыкновенного таланта, произведение высокое, едва ли не выше творений Гоголя и Лермонтова. Стоустая молва мигом разнесла приятную весть по „стогам Петрограда“: любопытство, ожидание, нетерпение были ловко задеты. Душевно радуясь появлению нового дарования среди бесцветности современной

²⁰ Там же.

²¹ Я. Я. Я. <Брант Л. В.> Русская литература // Северная пчела. 1846. № 47. 27 февраля.

²² Там же.

²³ Там же.

литературы русской, мы с жадностью принялись за чтение романа Г. Достоевского, и вместе со всеми читателями – жестоко разочаровались»²⁴.

О роли слухов в литературной репутации писателя свидетельствовал и С. П. Шевырев:

«Новое имя в литературе – г. Федор Достоевский! Молва журнальная трубила в большие трубы перед его появлением. Рассыльщики вестей о петербургской литературе ходили по разным Московским гостинным и трубили в маленькие, но звонкие, голосистые трубочки, что является звезда первой величины на небе нашей немногозвездной литературы. Нам кажется, что вся эта суета была напрасна и только вредна новому таланту»²⁵.

Печатные отзывы были вершиной айсберга. Литературную репутацию Ф. М. Достоевского создали не они, а молва. О «шуме» вокруг романа «Бедные люди» неоднократно упоминал в своих статьях А. А. Григорьев²⁶.

О том, как это было, рассказал Некрасов в неоконченной автобиографической повести «В тот же день часов в одиннадцать утра...» (середина 1850-х годов). Всё началось с того, как Чудов (Некрасов) передал Мерцалову (Белинскому) рукопись романа никому неизвестного автора. Критик насмешливо встретил восторги журналиста: «Чуть прочтете что-нибудь, понравится, расшевелит сердчишко, уж сейчас и превосходная, пожалуй, даже — гениальная вещь!» [Некрасов; 8: 412–413]. Прочитав рукопись, Мерцалов «с эффектом произнес»:

«... он гениальный человек! <...> Это художественное гениальное произведение! – с одушевлением продолжал Мерцалов. – Я вам скажу, Чудов, – заключил он, вспыхнув так, что лицо его покраснело, и сделав резкое движение рукой, – я не возьму за „Каменное сердце“ всей русской литературы!» [Некрасов; 8: 414].

И роман, и его оценка строгим критиком произвели впечатление: «Весть о новом гениальном романе, о новом литературном гении с не-

²⁴ Я. Я. Я. <Брант Л. В.> Русская литература. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. С.-П-бург, 1846. В типографии Эдуарда Праца. В большую осьмушку, 560 стр. // *Северная пчела*. 1846. № 25. 30 января.

²⁵ Шевырев С. П. Критика. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб. 1846, в тип. Э. Праца // *Москвитянин*. 1846. № 2. С. 164.

²⁶ См. статьи: Библиографическая Хроника. Юмористические рассказы нашего времени, издаваемые Абракадаброю. С политипажами. Книжка вторая. 1846. С. П. Б. В прив. тип. Фишера. В б. 8 д. л. Стр. 26 // *Финский вестник*. 1846. № 8. С. 73–76; Смесь. Литературные известия и заметки // *Финский вестник*. 1846. № 8. С. 1–10; Петербургский сборник // *Финский вестник*. 1846. № 9. С. 21–34.

обыкновенною быстротою разнеслась в литературном кружке, центром и светилом которого был Мерцалов» [Некрасов; 8: 423]. Возникли разные обстоятельства: «гениальный человек» ждал поклонения, слух о «новом гении» распространился по Невскому проспекту, по Петербургу, Мерцалов каждому собеседнику читал отрывки из рукописи, в одну из пятниц состоялось «литературное чтение».

По свидетельству Некрасова, роман Достоевского ознаменовал «новую эпоху в русской литературе: такого воспроизведения действительности еще не бывало!» [Некрасов; 8: 434]. Казалось бы, в этом случайно высказанном тезисе выражена глубокая историко-литературная концепция нового реализма – концепция «натуральной школы».

Дебют Ф. М. Достоевского имел все предпосылки, чтобы оказаться в центре скандала. «Новый гений» попал в обстановку непримиримой литературной борьбы, сплетен и интриг. Состязание самолюбий выразилось не только в газетно-журнальной полемике, но и в личных отношениях лиц, причастных к полемике о Достоевском.

Вскоре изменились отношения в окружении Белинского. А. Я. Панаева вспоминала:

«Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем: к чему изводить так Достоевского? Но Тургенев был в самом веселом настроении, увлек и других, так что никто не придавал значения быстрому уходу Достоевского. Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя „Бедных людей“, будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому [за то], что он оповестил всю Россию об его существовании, и в стихах повторялось часто „маточка“» [Панаева: 144–145].

В ход пошли сплетни, в том числе о «кайме» [Захаров 1985(а)], [Тихомиров]. От злословия не удержался и Белинский. Так, 17 февраля 1847 г. он рассказывал «презавбавный анекдот», как Ф. М. Достоевский надул А. А. Краевского [Белинский; 12: 332–333], а два дня спустя пересказал его И. С. Тургеневу [Белинский; 12: 335–336]. Дважды в письмах В. П. Боткину (4–8 ноября 1847) и П. В. Анненкову (20 ноября 1847) В. Г. Белинский пересказал другой анекдот о покупке Ф. М. Достоевским «дивана с клопами» от А. А. Краевского [Белинский; 12: 422, 429].

В том же письме П. В. Анненкову В. Г. Белинский злорадствовал:

«Достоевский славно подкузмил Краевского: напечатал у него первую половину повести; а второй половины не написал, да и никогда не напишет.

Дело в том, что его повесть до того пошла, глупа и бездарна, что на основании ее начала ничего нельзя (как ни бейся) развить. Герой – какой-то нервический <...> – как ни взглянет на него героиня, так и хлопнется он в обморок. Право!» [Белинский; 12: 430].

Даже если предположить, что всё рассказанное Белинским – правда, то ее перечеркивает этический промах – уверенность, что Достоевский не написал второй половины «Хозяйки», «да и никогда не напишет». Вторая часть повести «Хозяйка» вышла две недели спустя в двенадцатом номере «Отечественных записок» (ц. р. – 20.11.1847; выход – 2.12.1847).

Всего один раз Белинский связал Достоевского со словом *гений*. В письме П. В. Анненкову 15 февраля 1848 г., обозвав себя «ослом в квадрате», он вынес приговор автору когда-то восхищавших его «Бедных людей»:

«Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением! О Тург<еневе> не говорю – он тут был самим собою, а уж обо мне, старом чорте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате» [Белинский; 12: 467].

В. Г. Белинский снова ошибся, но честь открытия «нового гения» принадлежит именно ему.

Какую роль играл Достоевский в школе Белинского? Белинский высоко оценил талант Достоевского, ввел начинающего писателя в литературу, сказал добрые напутственные слова. Под влиянием разгоревшейся полемики высказал критические замечания, обидевшие Достоевского. Но выше Белинского никто Достоевского не оценивал. Достоевский, и его роман «Бедные люди» сыграл важную роль в школе Белинского: после выхода его критики «Северная пчела» тут же нарекла ее натуральной.

Ф. Булгарин писал:

«Долго, очень долго говорили в литературном мире, что выйдет в свет собрание разных литературных новостей, написанных известными русскими писателями, и в Отечественных записках наконец объявили, что это собрание новостей примет заглавие, и будет выходить книжками или томами, под редакцию г. Некрасова. Имя одного известного писателя было объявлено, а теперь сделалась известною и книга, но уже под заглавием Петербургского сборника. Искренно благодарим тех умных людей, которые для соблюдения приличия в русской словесности посоветовали издателю переменить заглавие книги. Из разбора Физиологии Петербурга читатели наши знают, что Г. Некрасов принадлежит к новой, т. е. **натуральной литературной школе, утверждающей, что должно изображать природу без покрова.**

Мы, напротив, держимся правила, изложенного в книге: Поездка в Ревель: „Природа тогда только хороша, когда ее вымоют и причешут.” Это, разумеется, относится только к литературе и к искусствам, а не к Швейцарским горам и не к океану. Вскоре будет помещен в Северной пчеле разбор Петербургского сборника, а мы скажем только предварительно: славны бубны за горами!»²⁷.

Ф. Булгарин и другие фельетонисты «Северной пчелы» отнеслись к новому литературному явлению отрицательно, но попытались перетянуть Достоевского на свою сторону.

3.

Как критики оценивали значение романа «Бедные люди»? Какое место отводили ему в литературном процессе? Рассматривали ли Достоевского как продолжателя традиций Гоголя? Как понимали концепцию героя в дебютном произведении писателя? Заметили ли критики открытие Достоевским своего антропологического принципа в литературе?

После выхода «Бедных людей» критиков волновал вопрос отношения Достоевского к Гоголю. В романе они почувствовали влияние Гоголя на Достоевского, зависимость его слога от Гоголя, но понимали это влияние по-разному. Ряд критиков считал, что Достоевский пародирует Гоголя.

Первый отзыв на «Бедных людей» был опубликован в № 4 «Иллюстрации» от 26 января 1846 г. Иронично называя произведение Достоевского «романчиком», автор обзора отмечает, что его «... название безошибочно; по объему, это не роман, и при всем том мы не читали еще такого длинного романа»²⁸. Рецензент относит его к «сатирическому роду», который «развился до нельзя». Он противопоставляет «Бедных людей» «Петербургским вершинам» Я. Буткова, которые, как считает рецензент, «служили образцом, или лучше сказать, натурой для нового романа», в котором «заметен талант»²⁹. Достоевскому был знаком этот отзыв. В письме брату он писал: «В „Иллюстрации” я читал не критику, а ругательство» (28₁: 117).

²⁷ Журнальная всякая всячина // *Северная пчела*. 1846. № 22. 26 января.

²⁸ Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846 // *Иллюстрация*. 1846. № 4. 26 января. С. 59.

²⁹ Там же.

Вот один из показательных примеров:

«Роман <...> не имеет никакой формы и весь основан на подробностях утомительно однообразных, наводит такую скуку, какой нам еще испытывать не удавалось. Подробности да подробности в романе похожи на обед, в котором вместо супа, сахарный горошек, вместо говядины, соуса, жаркого и десерта, сахарный горошек. Оно, может быть, и сладко, может быть, и полезно, но в таком смысле, в каком подчивают сладкими кондитерских учеников: чтобы поселить отвращение к сахарным произведениям»³⁰.

Рецензент обращает внимание на язык автора:

«Неизвестно, почему вообразили себе наши сатирики, что мелкие чиновники говорят только уменьшительными. И уж в этом романе уменьшительным нет никакой пощады. Это лексикон, справочное место уменьшительных. Впрочем, чего нельзя взвести на безответных мелких чиновников. Истинно бедные люди!..»³¹.

На защиту романа и автора «Бедных людей» встал Н. А. Некрасов, который в рецензии на альманах «Новоселье» выдумал и привел слова Голядкина-старшего, которые являются обвинением повести Кукольника «Старый хлам»: «просто случай вышел такой, — последние повести г. Кукольника из времен Петра Великого совсем не то, что первые», они «бесцветны и скучны»³². Высмеивая повесть Кукольника, Некрасов задает вопрос: почему есть люди, которые не стараются подражать ему, идут своей дорогой, «понимая по-своему естественность, оригинальность, художественность», называет их «чудаками», дерзости которых удивляется «Иллюстрация»³³. Пародируя отзыв «Иллюстрации» о романе Достоевского, поэт приводит рецепт хорошего романа, по мнению издания:

«сначала хорошо суп, так за ним всего лучше соус, а там жаркое, и так далее, — и что в промежутках не худо чего-нибудь шипучего, трескучего, — вот тогда и выйдет роман хоть куда»³⁴.

Эта оценка «Бедных людей» как скучного романа была повторена Л. В. Брантом в «Северной пчеле». Фельетонист упрекает писателя в подражании Гоголю:

³⁰ Там же.

³¹ Там же.

³² <Некрасов Н. А.> Новоселье, часть третья. Санкт-Петербург. 1846. Издание Александра Смирдина. В 8-ю д. л. 506 стр. // *Отечественные записки*. 1846. № 5. С. 3–4.

³³ Там же. С. 5.

³⁴ Там же.

«Главная причина недостатков скучного романа г. Достоевского заключается, по нашему мнению, в том, что он в тоне своего рассказа хотел соединить юмор Гоголя с наивным простодушием Основьяенки (Квитка). Пусть, в дальнейших опытах, он уклонится от соблазна наружного подражания, устранив нелепые теории фокусников искусства, и, может быть, лучше удастся?»³⁵.

Отношение Л. В. Бранта к произведению тенденциозно. В содержании романа он увидел лишь желание автора из ничего «построить поэму, драму, и вышло ничего, несмотря на все притязания создать нечто глубокое, нечто высоко патетическое, под видом наружной искусственной (а не искусной) простоты»³⁶.

Л. В. Брант принижает героев романа:

«В лице необразованного, простого, чтоб не сказать подчас глупого старичка, автор хотел явить миру тип простодушной доброты, бессознательного благородства, бескорыстия, честности, высокой „человечности“, хотя иной раз эта высокая человечность, с горя, не выдерживая ударов рока, шибко изволила напиваться, и ее, высокую человечность, приводили домой под руки или привозили без ног, что „добродетельной“ Варваре Алексеевне подавало повод к весьма поучительным „нотациям“ своему другу. И эта добродетельная Варвара Алексеевна, „неведомо как обольщенная“ в молодости, разыгрывает преприторную роль угнетенной невинности, жертвы! Можете вообразить, к каким книжкам и ложным положениям повели эти два характера, маловероятные, по крайней мере, чересчур нарумяненные „высшим романтизмом“»³⁷.

Первого февраля Ф. Булгарин высказал благодарность «Иллюстрации», что она «оценила по достоинству» роман Достоевского и, пародируя его заглавие, восклицает: «... бедные русские читатели!»³⁸.

Поддержал Л. В. Бранта П. А. Плетнев, который обнаружил в романе «два элемента поэзии: серьезный и комический. Первый гораздо более второго носит на себе той художнической истины, которая так высоко ценится в произведениях таланта. Комическое же здесь как-то изысканно и составляет заметное подражание тону, краскам и даже языку Гоголя и Квитки»³⁹. П. А. Плетнев выделяет в романе «места, где автор

³⁵ Я. Я. Я. <Брант Л. В.> Русская литература // Северная пчела. 1846. № 25. 30 января.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же.

³⁸ Б. Ф. <Булгарин Ф.> Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1846. № 21. 1 февраля.

³⁹ Новые сочинения. 49. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. Некоторые статьи иллюстрированы. В. Г. Белинский, Ф. М. Достоевский, Искандер (псевдоним), А. И. Кронеберг, А. И. Майков, Н. А. Некрасов, А. В. Никитенко, Кн. В. Ф. Одоевский, И. И. Панаев, Гр. В. А. Соллогуб, И. С. Тургенев. В 6. 8; 360 стран. СПб. // Современник. 1846. Т. 41. С. 273.

говорит серьезно», они восхитительны, в них автор «так хорошо постигнул свой предмет, создал столь независимо положения и характеры лиц, выражениям их сообщил такую верность, естественность и оригинальность, наконец рассказ свой вел с таким мастерским искусством, усиливая интерес и кончив его самым трогательным образом, что никто не усомнится в его неподдельном, прекрасном таланте»⁴⁰. Другие части романа, по мнению рецензента, комические, не произвели «столь приятного действия»:

«... даже показалось, когда мы проходили длинный ряд этих шуточных сцен, картин и прочих украшений, этих карикатур, не без претензий на характер трогательного, нам показалось, что г-н Достоевский все это вызвал к жизни усиленно, теоретически, без сердечного разделения описанных ощущений»⁴¹.

В фельетоне газеты «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции» А. Григорьев высоко оценил «Петербургский сборник» Некрасова и роман «Бедные люди», который занимает «первое и главное место», произведение «дарования, еще в первый раз являющегося на литературном поприще и являющегося, сказать правду, со славою»⁴². По его мнению, содержание романа просто, но Достоевский развил из него «целую внутреннюю драму»⁴³. Он обратил внимание на главных героев: Макара Девушкина и Варвару Доброселову — это «два лица — в высокой степени интересные, — просветленные, пожалуй, одно своим человеческим чувством любви и сострадания, другое своим страданием, своей христианской покорностью, — два лица, которым нельзя не сочувствовать, несмотря на все однообразие их ощущений, на видимую мелочность их страданий и радостей»⁴⁴, в которых проглядывает влияние Гоголя. Рассматривая Достоевского как продолжателя и «развителя» Гоголя, но «самостоятельного и талантливое», критик замечает, что автор «Бедных людей» глубже анализирует явления. Он противопоставляет начинающего писателя Гоголю, у которого «в лучших его произведениях, вы не найдете ни одного лица поэтического, ни одного даже человеческого образа: вы видите только степени *падения* человечности, — озаряемые только или уцелевшею печатью *красоты*», <...> или мгновенно пролетевшим, выходящим из круга повседневной жизни явлением,

⁴⁰ Там же. С. 274.

⁴¹ Там же.

⁴² Новые книги // *Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции*. 1846. № 33. 9 февраля.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Там же.

<...> или, наконец, общим целому мирозданию чувством радости, хотя бы и мелочной»⁴⁵. Иная концепция героя у Достоевского: он «человек с большим талантом, смешал личности с минутами их озарения, с минутами возвращения им образа Божия, — и уединивши их, так сказать, в особый мирок, анализировал их до того, что сам поклонился им»⁴⁶.

В отличие от других рецензентов А. Григорьев понял смысл романа Достоевского, продемонстрировал понимание антропологических открытий писателя, проникновенный взгляд на Достоевского и его героев. Эти идеи изложены А. Григорьевым в рецензии на «Петербургский сборник» и роман Достоевского «Бедные люди» в девятом номере «Финского вестника»⁴⁷.

Высоко оценил дебютный роман Достоевского А. Н. Плещеев. По его мнению, Достоевский в романе обнаружил «огромное дарование»⁴⁸. Герои романа «несчастливые люди», они «живут, счастливые только взаимною дружбою»⁴⁹. Поэт и фельетонист иначе оценивает повествование в романе:

«... слог автора, или, если хотите, слог писем Макара Алексеича, отличается милым, детским простодушием и самую умильную сердечностью»⁵⁰.

У Достоевского, по мнению Плещеева, «много наблюдательности и сердце, исполненное теплою любовью к добру и благородным негодованием ко всему, что мы зовем малодушным и порочным», особенная манера рассказа — «слог, весьма оригинальный, ему одному только свойственный»⁵¹.

Белинский в третьем номере «Отечественных записок» проводит параллель между началом творческого пути Пушкина, Гоголя и Достоевского. Двойственность, противоречивость оценок произведений являются проявлением необыкновенного таланта: если бы «Бедных людей» «приняли все с безусловными похвалами, с безусловным восторгом, — это служило бы неопровержимым доказательством, что в ней точно есть талант, но нет ничего необыкновенного»⁵². Он высказывает мнение, что талант Достоевского — «необыкновенный и самобытный,

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ <Григорьев А. А.> Петербургский сборник // Финский вестник. 1846. №9 С. 27–30.

⁴⁸ <Плещеев А. Н.> Библиография // Русский инвалид. 1846. № 34. 10 февраля.

⁴⁹ Там же

⁵⁰ Там же.

⁵¹ <Плещеев А. Н.> Библиография // Русский инвалид. 1846. № 35. 12 февраля.

⁵² <Белинский В. Г.> Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым // Отечественные записки. 1846. № 3. С. 6.

который сразу, еще первым произведением своим, резко отделился от всей толпы наших писателей, более или менее обязанных Гоголю направлением и характером, а потому и успехом своего таланта»⁵³.

Критика проводила параллель между героями Достоевского и Гоголя. Первым указавшим на некоторое сходство был Белинский:

«... в обоих романах г. Достоевского заметно сильное влияние Гоголя, и это должно относиться только к частностям, к оборотам фразы, но отнюдь не к концепции целого произведения и характеров действующих лиц. В последних двух отношениях, талант г. Достоевского блестит яркою самостоятельностью. Если можно подумать, что Макару Алексеичу Девушкину, старику Покровскому и г-ну Голядкину-старшему г. Достоевского несколько сродни Попрыщин и Акакий Акакиевич Башмачкин Гоголя, то в то же время нельзя не видеть, что между лицами романов г. Достоевского и повестей Гоголя существует такая же разница, как и между Попрыщиным и Башмачкиным, хотя оба эти лица созданы одним и тем же автором. Мы даже думаем, что Гоголь только первый навел всех (и в этом его заслуга, которой подобной уже никому более не оказать) на эти забытые существования в нашей действительности, но что г. Достоевский сам собою взял их в той же самой действительности»⁵⁴.

Белинский подробно разбирает образ Макара Девушкина, в котором автор «показал нам, как много прекрасного, благородного и святого лежит в самой ограниченной человеческой натуре»⁵⁵. Через образы героев Белинский показывает гуманизм автора, который говорит: «Ведь это тоже люди, ваши братья!». Критик делится со своими впечатлениями от романа:

«Смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы, — какое уменье, какой талант! И никаких мелодраматических пружин, ничего похожего на театральные эффекты! Всё так просто и обыкновенно, как та будничная, повседневная жизнь, которая кишит вокруг каждого из нас и пошлость которой нарушается только неожиданным появлением смерти то к тому, то к другому!..»⁵⁶.

Многие сцены романа потрясли Белинского. Одна из них, когда Девушкин ловит прыгающую пуговку. Он замечает:

«... всякое человеческое сердце, для которого в мире ничего нет выше и священнее человека, кто бы он ни был, всякое человеческое сердце

⁵³ Там же. С. 7.

⁵⁴ Там же. С. 8.

⁵⁵ Там же. С. 9.

⁵⁶ Там же. С. 10.

судорожно и болезненно сожмется от этой — повторяем — *страшной*, глубоко патетической сцены... И сколько потрясающего душу действия заключается в выражении его благодарности, смешанной с чувством сознания своего падения и с чувством того самоунижения, которое бедность и ограниченность ума часто считают за добродетель!..»⁵⁷.

В упоминавшемся фельетоне Л. В. Бранта звучит раздражение в вопросах:

«... какого сорта гений г. Достоевского, и из какого угла увенчан он *славою?*»⁵⁸.

Он не верит в глубину и многозначительность сочинений Достоевского. Газета позиционирует себя защитницей искусства, стоящей «на страже чистого вкуса и действительно художественной истины»:

«... одна Пчела сохраняет прямое и простое воззрение на искусство, не мудрствуя лукаво, руководствуясь указаниями здравого смысла и веками утвержденных суждений об истинно изящном и высоком»⁵⁹.

Фельетонисты упрекают критиков натуральной школы за «абстрактные и широкие умствования о богатстве „внутреннего“ содержания „Бедных Людей“ и великой аллегории „Двойника“»⁶⁰. Тем же раздражением пропитан фельетон Ф. Булгарина. Он оценивает «Бедных людей» и «Двойник» Достоевского как «две весьма слабые повести», «которые во всякое другое время прошли бы незаметно в нашей литературе», но натуральная школа ухватилась за них и давай перевозносить Достоевского

«... выше леса стоячего, ниже облака ходячего! Смешно, но более жалко. Чего ждать от литературы, в которой дух партии может дойти до такой степени, чтоб явно перед публикою называть гениальными произведениями мелочные рассказы, в которых нет ни пламенного чувства, ни силы воображения, ни одной высокой идеи, нет даже заманчивости в завязке и прелести в слоге!»⁶¹.

Положительный отзыв о романе дал цензор «Петербургского сборника» А. Никитенко. Он верно угадал основную идею автора романа — «понять жизнь из ее собственных уроков»:

⁵⁷ Там же. С. 16.

⁵⁸ Я. Я. Я. <Брант Л. В.> Русская литература // *Северная пчела*. 1846. № 47. 27 февраля.

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ Б. Ф. <Булгарин Ф. В.> Журнальная всякая всячина. // *Северная пчела*. 1846. № 55. 9 марта.

«... он допрашивает ее о ее заветных тайнах, которые, наконец, по его воле должны отразиться в слове – этом истинном, великом посреднике между ними и людьми»⁶².

Направление романа отличается «духом этого умного, не одностороннего анализа»⁶³, который, по мнению критика, является одновременно и недостатком романа. В романе нет «ни сильных эффектов, ни мощных энергических характеров», но «стихии, из которых созданы его характеры и положения им придуманные, большею частью столь человечесственны»:

«... верность с какою они угаданы в куче самых обыкновенных явлений жизни, столь несомненна, столь чужда всяких преувеличений, что читатель с первого взгляда на все это, подает доверчиво руку автору, говоря: „ведите меня к вашим бедным – я вижу, что они люди, я хочу разделить их мелкие, не громкие, но тяжкие скорби, потому что я сам человек!“»⁶⁴.

А. Никитенко отмечает **родство автора и его читателей**. Эта идея родственности, взаимопонимания читателя и писателя объясняет, по мнению критика, популярность романа у публики. Критик характеризует героев:

Макар Девушкин – «одно из тех невымышленных и нередких существ, в груди которых чувство истинного, справедливого и доброго не погасает даже в самом глубоком мраке злой доли», это чувство «прекрасно, потому что просто, истинно, и потому что доказывает непреложность добра в человеческом сердце», он «сохранил во всей силе прекрасную способность сочувствовать скорбям других и способность любить»⁶⁵. В его характере «выражена та истинная христианская любовь простой души, которая несет крест свой, как долг; для него жить и страдать, значит одно и то же»⁶⁶.

Варенька Доброселова – «рано должна была вступить в борьбу с пороками, которые рождает нищета; она не выдержала первого их натиска, пала, но с тем, чтобы восстать и купить горьким опытом недоверчивость к жизни и влечениям сердца»⁶⁷. Почему она выбирает не Макара Девушкина, а обольстителя, не отвечает на чувства героя: она «вполне ценит это прекрасное самопожертвование, но она знает также, что оно не может ее спасти от превратностей судьбы, которые так глубоко и так горестно ею изведаны»,

⁶² Никитенко А. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. Спб. 1846 года. Статья первая // Библиотека для чтения. 1846. № 3. С. 18.

⁶³ Там же. С. 21.

⁶⁴ Там же. С. 23–24.

⁶⁵ Там же. С. 24–26

⁶⁶ Там же. С. 27.

⁶⁷ Там же. С. 26–27.

«она хочет одного – не дойти до ужасной необходимости пасть вторично», «выходит замуж за своего оболстителя, с желанием найти не сочувствие в его сердце, а убежище в его доме и общественную честь в его имени»⁶⁸.

Кроме похвалы, А. Никитенко указывает на недостатки романа, главный из которых «злоупотребление анализа»:

«Он до того углублен в подробности наблюдаемого им мира, что наконец теряется в них, запутывается и впадает то в пошлые мелочи, то в скучные повторения»⁶⁹.

Далее А. Никитенко переходит к критике языка автора, который «страшным образом употребляет во зло уменьшительные слова; вместо того, чтобы употребляя их изредка, где надобно, сообщать выражению особенный колорит нежности и грациозности, к чему так способны наши сравнительные слова, он до того испещряет ими фразу, что они наконец становятся затейливою игрушкой и не составляют уже никакой краски», при том что «автор способен писать прекрасным языком, это неоспоримо»⁷⁰.

А. Никитенко делает общий вывод о том, что идеи романа Достоевского прекрасны, но плохо осуществлены: все «сочинение есть, скорее, ряд задач глубоко понятых, сопровождаемых верными намеками, с обнаружением даже средств решить их, — но без настоящих удовлетворительных решений»⁷¹.

В «Литературной летописи» «Библиотеки для чтения» была опубликована рецензия О. И. Сенковского, которая является риторическим упражнением по поводу языка героев, вышучиванием, пародированием их:

«... одна из этих статей, именно, „Бедные люди“, роман Федора Достоевского, — так называется статья: романы стали нынче *поэмами*, а статьи *романами*, — одна, говорю я, из этих статей, самая длинная из всех, — гораздо длиннее своего сюжета! — отличается даже трогательным интересом. Она читается — иногда с утомлением — но большею частью с удовольствием. Это, как кажется, испугало многих. Увидели дарование — искусство — ужас — и решились одни захвалить его тут же, на месте, другие забранить — с тем, чтобы впредь и следа его не было»⁷².

⁶⁸ Там же. С. 27–28.

⁶⁹ Там же. С. 30.

⁷⁰ Там же. С. 34.

⁷¹ Там же. С. 35–36.

⁷² <Сенковский О. И.> Литературная летопись. Февраль, 1846. Новые книги. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СП.-бург, в тип. Праца, 1846, в-8., стр. 560 // Библиотека для чтения. 1846. № 3. С. 2.

Рецензент называет автора «Бедных людей» «премиленьким талантиком», так как «всё у него миньонное — идеечка самая капельная — подробности самые крошечные — сложок такой чистенький — перышко такое гладенькое, — наблюденьице такое меленькое — чувства и страстицы такие нежненькие, такие кружевные»⁷³. В конце критик наставляет молодого автора: «в искусстве творить первое условие — уметь смело и непреклонно вымарывать лишнее»⁷⁴.

Как явление замечательное оценил роман «Бедные люди» С. П. Шевырев. По его мнению, Достоевский стремился изобразить «в бедном чиновнике человека с благороднейшими сочувствиями ко всему бедному», который связан «самым чистым чувством сострадательной любви» с Варварой Доброселовой и обладает «врожденным чувством человеколюбия»⁷⁵. С. П. Шевырев обнаруживает в Макаре Девушкине сходство с Акакием Акакиевичем, отмечает влияние Гоголя. Он считает, что роман написан «с явными видами филантропическими»⁷⁶, чтобы возбуждать любовь к ближнему и сострадание к бедным.

Критик «Финского вестника» характеризует роман «Бедные люди» как «произведение, замечательное неотъемлемым, самобытным дарованием и много обещающее в будущем»⁷⁷.

Критик «Русского инвалида» под псевдонимом «Серко» высоко оценил первые произведения Достоевского:

«Нынешний год ознаменован в нашей литературе появлением новой, яркой звезды на ее горизонте — появлением таланта в полном смысле художественного: мы говорим о Ф. М. Достоевском, авторе „Бедных людей“, „Двойника“ и „Господина Прохарчина“. Такие таланты являются редко, и за них можно простить недостаточность беллетристики»⁷⁸.

Обсуждение первого произведения Достоевского продолжилось в 1847 году. Первым вышел обзор русской литературы за 1846 год в «Отечественных записках». В начале статьи В. Н. Майков вспоминает, что в ноябре-декабре в обществе ходили слухи о появлении «нового огромного таланта», первое произведение которого публика ждала с нетерпением. Глашатаи «удружили» Достоевскому:

⁷³ Там же. С. 3.

⁷⁴ Там же. С. 5.

⁷⁵ Шевырев С. П. Критика. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб. 1846, в тип. Э. Праца // *Москвитянин*. 1846. № 2. С. 167–168.

⁷⁶ Там же. С. 169.

⁷⁷ Московский литературный и учебный сборник // *Финский вестник*. 1846. № 12. С. 77.

⁷⁸ Серко. Фельетон. Петербургская хроника // *Русский инвалид*. 1846. № 228. 15 октября.

«... публика ожидала от этого произведения идеального совершенства, и, прочитав роман, изумилась, встретив в нем, вместе с необыкновенными достоинствами, некоторые недостатки, свойственные труду всякого молодого дарования, как бы оно ни было огромно»⁷⁹.

Он укоряет критику и читателей, что они предположили, будто «Бедные люди» «должны быть венцом литературы, прототипом художественного произведения по содержанию и по форме; а автора их наперед решились лишить даже возможности совершенствования»⁸⁰. Причину неуспеха романа у части читателей В. Н. Майков видит в «**непривычке к его оригинальному приему в изображении действительности**», прием, который составляет главное достоинство его произведений⁸¹. Произведения Достоевского, по мнению критика, «упрощают господство эстетических начал, внесенных в наше искусство Гоголем, доказывая, что и огромный талант не может идти по иному пути без нарушения законов художественности»⁸². Критик причисляет роман Достоевского к «первоклассным, истинно-изящным» произведениям.

В. Н. Майков первым отметил оригинальность Достоевского. Он первый противопоставил Достоевского Гоголю: «манера г. Достоевского в высшей степени оригинальна, и его меньше, чем кого-нибудь, можно назвать подражателем Гоголя»⁸³. Критик определил различие двух писателей. В чем оно? Они оба изображают действительность, но:

«Гоголь поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский по преимуществу психологический. Для одного индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга; для другого самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума»⁸⁴.

Как замечает критик, произведения Гоголя можно назвать «художественной статистикой России»⁸⁵. У Достоевского художественные изображения общества составляют «фон картины и обозначаются большей частью такими тоненькими штрихами, что совершенно поглащаются огромностью психологического интереса»⁸⁶. Читатель находит

⁷⁹ <Майков В. Н.> Нечто о русской литературе в 1846 году // *Отечественные записки*. 1847. № 1. С. 2.

⁸⁰ Там же.

⁸¹ Там же. С. 3.

⁸² Там же.

⁸³ Там же.

⁸⁴ Там же.

⁸⁵ Там же.

⁸⁶ Там же.

у Достоевского «поразительно-глубокий» психологический анализ личности, а не изображение окружающей действительности. Он советует **перечитывать роман несколько раз**, так как в нем присутствует обилие «рассеянных» «психологических черт необыкновенной тонкости и глубины»⁸⁷, тогда его недостатки превратятся в достоинства.

В. Н. Майков делает тонкие наблюдения над поведением героев. Например, он разглядел, что Варенька не идеальна:

она «томилась преданностью Макара Алексеевича больше, чем своей сокрушительной бедностью, и не могла, не должна была отказать себе в праве помучить его несколько раз лакейской ролью, только что почувствовала себя свободной от тягостной опеки»⁸⁸.

Наставляя автора, критик советует ему не доверять постороннему мнению.

Свою обзорную критическую статью о русской литературе за 1846 год в газете «Санкт-Петербургские ведомости» Э. И. Губер начинает с высокой оценки критики нового направления:

она оказала «благодетельное влияние на развитие русской литературы: она разрушила целый ряд бессмысленных поверий, которые самозванцами ворвались в терпеливое искусство; она уничтожила слепую веру в авторитеты, осмеяла безотчетное поклонение именам, сблизила литературу с явлениями действительного мира и подружила ее с жизнью»⁸⁹.

Недостатком ее он считает то, что «критика нового поколения действовала по увлечению, говорила второпях, жаловала в гении, не оглядываясь, и потом уже горевала над своими неудачными произведениями»⁹⁰. Э. И. Губер приводит пример такого «неудачного» произведения в гении: первое произведение «молодого, даровитого литератора» — роман «Бедные люди» Достоевского. Он дает в целом положительный отзыв роману, но видит в нем и недостатки:

Это «была прекрасная книга, в которой рассказывалась трогательная история бедного труженика, с чистым и любящим сердцем, осужденного на унижение, голод и нужды. Это была простая повесть из действительной жизни, которая повторяется, может быть, каждый день в одном из темных закоулков нашего шумного, холодного, равнодушного города; повесть, переданная

⁸⁷ Там же. С. 4.

⁸⁸ Там же.

⁸⁹ Губер Э. Русская литература в 1846 году // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1847. № 4. 5 января.

⁹⁰ Там же.

с глубоким чувством и с верным знанием дела; но в тоже время со всеми ошибками первого опыта, с длиннотами и повторениями, с вычурными уменьшительными именами и с утомительным однообразием в рассказе»⁹¹.

Восторженные отзывы Белинского и его соратников повинны, по мнению Э. И. Губера, в последующих неудачах Достоевского:

Критика «рассыпалась в восторженных похвалах, пожаловала молодого литератора в гении первой степени и вознесла его на такую высоту, на которой поневоле голова закружится, что и случилось на самом деле; промахи, простительные в первом произведении, сделались грубыми ошибками во втором; недостатки выросли; что было сперва однообразно, потом сделалось скучно до утомления и только немногие, прилежные читатели, да и те по обязанности, дочитали до конца Господина Голядкина и Прохорчина»⁹² (так в тексте! - О.З.).

Критик высоко оценил роман «Бедные люди», так как «подле улыбки, которую срывают простые похождения этого бедного человека, рядом идет и слеза, которая выражает и любовь, и участие к нему»⁹³.

На критические замечания Э. И. Губера ответил Белинский во втором номере «Современника», охарактеризовав Достоевского как человека с решительным талантом, на которого не может повлиять ни похвала, ни брань⁹⁴.

Свой обзор произведений 1846 года представил К. С. Аксаков, опубликовав статью под псевдонимом «Г-н Имрек» в «Московском литературном и ученом сборнике». Высоко оценив «Бедных людей», он, правда, не понял идеи романа. К. С. Аксаков сетует, что Достоевский выбрал для романа эпистолярную форму, в ней он видит отход от действительности: Девушкин «мог говорить точно так, как в повести; но уверены, в то же время, что он никогда не писал так; так может писать сочинитель, поставивший вне себя описываемое лицо, сознавший и ухвативший его своею художественною силою»⁹⁵. Он упрекает Достоевского в подражании Гоголю. Роман Достоевского — повод для К. С. Аксакова объяснить свою концепцию искусства, показать различие подходов:

«... никакая прекрасная мысль, никакое прекрасное содержание, еще не составляют художественного произведения. Здесь необходимо еще

⁹¹ Там же.

⁹² Там же.

⁹³ Там же.

⁹⁴ <Белинский В. Г.> Современные заметки // *Современник*. 1847. № 2. С. 189.

⁹⁵ Г-н Имрек <Аксаков К. С.> Три критические статьи. III. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым // *Московский литературный и ученый сборник на 1847 год*. М., 1847. С. 27.

то творчество, то чудо, которое дает мысли, содержанию соразмерный и высокодействительный образ: так, что сама мысль никогда не выдвигается, как мысль, – а между тем вы приняли ее в свою душу, она сделалась частию нашего духовного бытия и никогда не оставит вас»⁹⁶.

Достоевский не выполнил, по мнению критика, эту задачу, его роман оставляет «впечатление тяжелое»⁹⁷. К. С. Аксаков лишает роман возможности считаться художественным произведением:

«... после художественного произведения у вас не остается тяжелого, сказали мы, впечатления; если напр. бедный человек изображен в нем, – в вас не пробуждается даже сострадание: оно пробудится при встрече с бедным человеком в жизни; но это впечатление частное; художник идет глубже. Не возбуждая в вас никакого *частного* движения, он производит на вас *общее* впечатление; он действует на начало, на тот общий недостаток, который мешал вам видеть в бедном человеке – человека; он истребляет самый зародыш зла; он перерождает вас»⁹⁸.

Достоевский не явил «художественного таланта», «картины бедности являются во всей своей случайности, не очищенные, не перенесенные в общую сферу. Впечатление повести тяжелое и частное, потому проходящее и не остающееся навсегда в вашей душе»⁹⁹. Хотя некоторые «отдельные места» «Бедных людей» прекрасны: «... некоторые черты в характере бедной девушки; много прекрасного в истории студента Покровского»¹⁰⁰. К. С. Аксаков спорит с Достоевским, а точнее сказать с Девушкиным, по поводу «Шинели»: Гоголь в чиновнике «видит человека, и пробуждает это же чувство в читателе; не только не унижен, но возвышен этот бедный, ничтожный чиновник во имя человеческого братского чувства»¹⁰¹.

С критикой рецензии Аксакова выступил Белинский, который обличил представителя московской критики в непоследовательности суждений о «Бедных людях» Достоевского и петербургской литературе¹⁰².

Представляя русскую литературу за 1846 год, Белинский поставил роман «Бедные люди» выше других беллетристических произведений. Он отмечает, что оригинальность таланта Достоевского была признана

⁹⁶ Там же. С. 27–28.

⁹⁷ Там же. С. 28.

⁹⁸ Там же.

⁹⁹ Там же. С. 29.

¹⁰⁰ Там же. С. 29–30.

¹⁰¹ Там же. С. 31–32.

¹⁰² <Белинский В. Г.> Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. Москва. 1847 // *Современник*. 1847. № 6. С. 131.

всеми, а публика обнаружила «ту неумеренную требовательность в отношении к таланту г. Достоевского и ту неумеренную нетерпимость к его недостаткам, которые имеет свойство возбуждать только талант»¹⁰³. Критик соглашается с упреками в растянутости произведений Достоевского и полагает:

«... если бы *Бедные люди* явились хотя десятою долею в меньшем объеме, и автор имел бы предусмотрительность прочистить их от излишних повторений одних и тех же фраз и слов, — это произведение явилось бы более художественным»¹⁰⁴.

Обзор русской литературы за 1846 год в «Москвитянине» дал критик под криптонимом «П. П.», который предупредил о трудности оценки первых произведений Достоевского:

«... в деле искусства первые попытки, часто как вспышки насильственно-сосредоточенного жара, не всегда могут ручаться за будущее развитие: однако и по начальным опытам видно, что г. Достоевский не без таланта, но талант этот, по признанию даже самых жарких поклонников его, принял какое-то утомительное для читателей направление»¹⁰⁵.

В 1847 г. роман «Бедные люди» вышел отдельным изданием. В «Русском инвалиде» была опубликована рецензия. Критик (А. Н. Плещеев?) отметил, что произведение Достоевского «есть истинный клад и для читателей, и для журналов, обязанных давать отчет каждый месяц о новых книгах»¹⁰⁶. Рецензент отмечает работу Достоевского над подготовкой романа к отдельному изданию. Так, писатель сделал в нем значительные поправки, от которых «Бедные люди» только выиграли: убрал «безполезные фразы и повторения», исчезло желание Макара Алексеевича «возвратить в последствии деньги начальнику». Он замечает, что претензии критики были утрированы и несправедливы, они «происходили большей частью **от непривычки к оригинальному приему** его, нисколько не аффектированному и не натянутому, но совершенно необходимому при изображении подобной личности, как Макар Алексеевич»¹⁰⁷.

Рецензент считал, что язык Макара Деушкина натурален:

«... он не мог выражаться иначе. Человек, который до того умалился, до того был забит и загнан, непременно должен употреблять подобные выражения.

¹⁰³ <Белинский В. Г.> Взгляд на русскую литературу 1846 года // *Современник*. 1847. № 1. С. 35.

¹⁰⁴ Там же. С. 35–36.

¹⁰⁵ П. П. Русская словесность в 1846 году // *Москвитянин*. 1847. № 1. С. 152.

¹⁰⁶ Библиография // *Русский инвалид*. 1847. № 288. 28 декабря.

¹⁰⁷ Там же.

Это следствие робости, страшного самоуничужения; он не называет Вареньку никакими возвышенными, страстными наименованиями, потому что он не смеет; он любит про себя, и никогда не решится обнаружить любви своей»¹⁰⁸.

Автор признался, что уже перечитал роман три раза, и последний раз чтение доставило ему новое удовольствие. Роман он относит к таким произведениям, которые «чем более читаешь их, чем больше в них вчитываешься, тем они сильнее нравятся. В них каждый раз отыскиваешь новые красоты, пройденные прежде без внимания, новые оттенки, недоступные с первого раза никакому глазу»¹⁰⁹. Он высказывает в адрес Достоевского несколько лестных похвал:

«Все эти поправки доказывают, что г. Достоевский — истинный художник, заботящийся об искусстве, с любовью трудящийся над отделкою своих произведений; и нельзя не порадоваться этому качеству, к несчастью, столь редкому в наше время, когда большая часть талантливых писателей, бываю часто принуждены пренебрегать художественностью», вникая в характер Макара Девушкина «не можешь не надивиться глубокому сердцеведению автора», достоинство произведения составляет «объективная художественность», Достоевский является художником отрешившимся от собственной личности в своих созданиях»¹¹⁰.

Рецензент встает на защиту Вареньки. Ее неопределенность и недосказанность он объясняет тем, что она еще только девушка:

«Это создание несформировавшееся, неразвившееся вполне. Это больной, забитый, загнанный ребенок, которого страсть еще не сделала человеком. Это тип весьма часто встречающийся; она сама по себе, в действительности, есть что-то неполное, неопределившееся, но она изображена чрезвычайно верно и искусно; автор взял ее такую, какою она действительно существует, и воспроизвел ее мастерски; если она вышла неопределенна, то это уже вина не его, а действительности, которой он должен был оставаться верным»¹¹¹.

Вслед за В. Н. Майковым, статью которого о «Бедных людях» он называет одной из лучших его статей, Плещеев дает объяснение ее поступка:

«... пренебрежение к Макару Алексеевичу выказалось у ней совершенно невольно, бессознательно, только что она освободилась из-под гнёта любви его; человек не может вечно насиловать свою натуру, и истинные чувства при первом удобном случае прорвутся наружу»¹¹².

¹⁰⁸ Там же.

¹⁰⁹ Там же.

¹¹⁰ Там же.

¹¹¹ Там же.

¹¹² Там же.

Автор предсказывает Достоевскому огромный успех, страницы его произведений полны «бесконечной любви и поэзии».

Еще одна рецензия на отдельное издание «Бедных людей» вышла в начале 1848 года (16 января) в газете «Санкт-Петербургские ведомости» под криптонимом «К. П.». По мнению рецензента, «Бедные люди» — это не роман, а лишь «отрывок, эпизод огромной картины, которая бывает перед глазами каждого поколения людей, и каждое прибавляет к ней какую-нибудь новую черту», уловить которую и представить «с поразительной истиною есть уже большое искусство»¹¹³. Его отзыв о романе обнаруживает полное непонимание содержания и идеи «Бедных людей». В героях романа он не видит бедных людей, представляет их как глупых и грубых, «но в этих глупых и грубых людях проявляется иногда человеческое чувство, и мирит с ними, и — с автором»¹¹⁴.

Неоднократно о «Бедных людях» писал В. Г. Белинский. В 1847 году вышла его рецензия на отдельное издание романа, в которой он признает его лучшим произведением Достоевского, одним из самых замечательных в русской литературе. Он, по мнению критика, несет в себе «признаки первого, живого, задушевного, страстного произведения»¹¹⁵. Как считал Белинский, все недостатки романа искупаются «поразительной истиною в изображении действительности, мастерскою обрисовкою характеров и положений действующих лиц», «глубоким пониманием и художественным, в полном смысле слова, воспроизведением трагической стороны жизни»¹¹⁶. Эти картины запечатлены «глубиной взгляда и силою выполнения»¹¹⁷.

Критик «Литературной газеты» отмечал, что в романе «Бедные люди» Достоевский составил «себе особый слог, что может сделать только человек с большим талантом»¹¹⁸. Он советует Достоевскому «идти на своем поприще *crescendo*, а не *diminuendo*»¹¹⁹.

Рецензент «Отечественных записок» с первых же строк заявил, что роман **оказал на читателей болезненное влияние**: одни видели в нем

¹¹³ К. П. Библиография. Бедные люди. Роман Федора Достоевского. С.-Петербург. В типогр. Эдуарда Праца. 1847. В 8 д.л. 181 стран. // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1848. № 12. 16 января.

¹¹⁴ Там же.

¹¹⁵ <Белинский В. Г.> Бедные люди. Роман Федора Достоевского. СПб. 1847 // *Современник*. 1848. № 1. С. 43.

¹¹⁶ Там же. С. 44.

¹¹⁷ Там же.

¹¹⁸ Очерк библиографической истории русской словесности в 1847 году. Статья вторая // *Литературная газета*. 1848. № 6. С. 86.

¹¹⁹ Там же.

«безвыходность бедности, неизбежность, неотразимость зла и горя», другие жаловались на «тягостное чувство, в котором они не могут дать себе отчета»¹²⁰. Сходство Макара Девушкина и Акакия Акакиевича критик видит в том, что герой Достоевского, так же, как и герой Гоголя, «страждет вообще от недостатка обеспеченности». Макар Девушкин — «страждет и падает, потому что подчинился чувству, столь же нормальному и законному, как и потребность теплого платья»¹²¹. В Достоевском он находит «необыкновенную способность психологического анализа»¹²².

Один из отзывов на роман «Бедные люди» был написан М. М. Достоевским, братом писателя. В начале небольшого разбора в четвертом номере журнала «Пантеон и репертуар русской сцены» он соглашается с оценкой романа, которую дал А. В. Никитенко, и отмечает:

«... это первое произведение г. Достоевского осталось до сих пор лучшим: это впрочем не художественное создание, не глубоко задуманный роман, а отчетливая копия с природы, поразительная верностью, дагерротипная картина бедности»¹²³.

Кроме сцен смерти сына Горшкова, смерти самого Горшкова и сцены «у его превосходительства», по мнению М. М. Достоевского, «нарисованных бойкою и теплою кистью», «всё прочее, хотя и верно, но довольно бледно по колориту, и сквозь бесцветное многословие только местами прорывается что-то задушевное, несколько поэтическое»¹²⁴.

В 1849 году критиком «Москвитянина» была дана каламбурная характеристика нового издания романа Достоевского. Отметив, что это «исправленное» издание, критик сострил: «Итак, „Бедные люди“ разбогатели, оскудев...»¹²⁵.

Многие критики связали роман «Бедные люди» с формированием натуральной школы.

В первом номере «Северной пчелы» за 1847 год вышел фельетон Ф. Булгарина «Заметки, выписки и корреспонденция», в котором он

¹²⁰ Бедные люди, роман Федора Достоевского. Издание исправленное. Санкт-Петербург. В тип. Эд. Праца. 1847. В 8-ю д. л. 181 стр. // *Отечественные записки*. 1848. № 3. С. 12–13.

¹²¹ Там же.

¹²² Там же.

¹²³ *Достоевский М. М.* Петербургский телеграф. Сигналы литературные. Новейшие романы: «Обыкновенная история» г. Гончарова; «Кто виноват?» г. Искандера; «Бедные люди» г. Достоевского // *Пантеон и репертуар русской сцены*. 1848. № 4. С. 59.

¹²⁴ Там же.

¹²⁵ Обзорение русской словесности в 1848 году // *Москвитянин*. 1849. № 1. С. 7.

снова ругает натуральную школу и Достоевского. Фельетонист обращает внимание читателей на критику «Москвитянина»:

«Журнал этот с благородным усердием противодействует ложному направлению так называемой новой или натуральной школы, старающейся унижить все заслуги прежних литераторов, действовавших за восемь лет пред сим»¹²⁶.

Ф. Булгарин задается вопросом: ради чего хлопотала «Северная пчела»?

«Ради правильности и чистоты языка, ради справедливости суждений, ради истины! – Не хотите, так увидите Вавилонское смешение языков, и всю литературу вверх дном! Зато сколько *гениев* и крылатых, и рогатых, и широко-вещательных, и усыпительных...»¹²⁷.

25 января 1847 г. Ф. Булгарин опубликовал фельетон «Журнальная всякая всячина», в котором он с восторгом описывал карикатуру на натуральную школу, опубликованную в «Ералаше», как образец остроумия и изобретательности:

«Натуральная школа (*chef d'oeuvre*, совершенство!). Литератор *натуральной школы* роется в помойной яме, в которую кухарка сверху льет кухонную нечистоту, петух ищет зерен, а внизу подпись:

„Оно не столь хоть видно,
Да сытно!
От природы умное дитя”»¹²⁸.

4.

Критика встретила повесть Достоевского «Двойник» отрицательно. Одним из немногих, высоко оценивших повесть Достоевского, был Белинский, опубликовавший первый отзыв на новое произведение писателя в «Отечественных записках». Новая повесть, по мнению критика, представляет «совершенно новый мир», в нем автор проявил «еще больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в *Бедных людях*»¹²⁹. Белинский подробно останавливается на анализе образа Голядкина:

¹²⁶ Б. Ф. <Булгарин Ф. В.> Заметки, выписки и корреспонденция // *Северная пчела*. 1847. № 1. 2 января.

¹²⁷ Там же.

¹²⁸ Б. Ф. <Булгарин Ф. В.> Журнальная всякая всячина // *Северная пчела*. 1847. № 20. 25 января.

¹²⁹ <Белинский В. Г.> Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым // *Отечественные записки*. 1846. № 3. С. 18.

Он «из тех обидчивых, помешанных на *амбиции* людей, которые так часто встречаются в низших и средних слоях нашего общества. Ему всё кажется, что его обижают и словами, и взглядами, и жестами, что против него всюду составляются интриги, ведутся подкобы. Это тем смешнее, что он ни состоянием, ни чином, ни местом, ни умом, ни способностями, решительно не может ни в ком возбудить к себе зависти. Он не умен и не глуп, не богат и не беден, очень добр и до слабости мягок характером; и жить ему на свете было бы совсем недурно; но болезненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демон его жизни, которому суждено сделать ад из его существования»¹³⁰.

Белинский полагал, что герой романа расстроен в уме, он — сумасшедший. Критик ошибся [Захаров 1978: 23–74], [Захаров 1985(b): 72–95], [Захаров 2020]. Белинский комплиментарно критиковал повесть, объясняя, что ее «растянутость» «происходит от богатства, особенно молодого таланта, еще не созревшего, — и ее следует называть не растянутостью, а излишнею плодовитостью», «каждое отдельное место в этом романе — верх совершенства»¹³¹. Белинский признал приговор толпы справедливым, но ложен, по его мнению, вывод о таланте автора, который «еще не приобрел себе такта меры и гармонии», а «эта чрезмерная плодовитость только служит доказательством того, как много у него таланта и как велик его талант»¹³². Он дает совет начинающему писателю:

«Талант должен идти своею дорогою, с каждым днем, естественным образом избавляясь от своего главного недостатка, т. е. молодости и незрелости; но в то же время, он должен, обязан *принимать к сведению*, чем особенно недоволено большинство его читателей, и всего более должен остерегаться презирать его мнение, но всегда стараться отыскивать основание этого мнения, потому что оно почти всегда дельно и справедливо»¹³³.

Критик обращает внимание на повторения в «Двойнике», которые он рассматривает как совершенно лишние, объясняя их источник:

«... молодой талант, в сознании своей силы и своего богатства, как будто тешится юмором; но в нем так много юмора действительного, юмора мысли и дела, что ему смело можно не дорожить юмором слов и фраз»¹³⁴.

Белинский полагает, что исправить недостатки — значит испортить повесть, считает, что все герои говорят в «Двойнике» одинаковым языком:

¹³⁰ Там же.

¹³¹ Там же. С. 18–19.

¹³² Там же. С. 19.

¹³³ Там же.

¹³⁴ Там же.

«... автор рассказывает приключения своего героя от себя, но совершенно его языком и его понятиями: это с одной стороны показывает избыток юмора в его таланте, бесконечно могущественную способность объективного созерцания явлений жизни, способность, так сказать, переселяться в кожу другого, совершенно чуждого ему существа; но с другой стороны, это же самое сделало неясными многие обстоятельства» в повести¹³⁵.

Критик дал высокую оценку Достоевскому: «... его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг»¹³⁶. Он обещает, что писатель еще достигнет «апогеи своей славы»¹³⁷.

Иную оценку повести дал Л. В. Брант. Сравнивая первые произведения писателя, он приходит к выводу, что «тон и манера изложения, характеры действующих лиц, их положения, направление юмора – совершенно те же, как и в „Бедных людях”»¹³⁸. Брант резко критикует повесть «Двойник»:

Нельзя «представить себе ничего бесцветнее, однообразнее, скучнее длинного, бесконечно растянутого, смертельно утомительного рассказа о незамысловатых „приключениях Господина Голядкина”, который с самого начала и до конца повести является помешанным, беспрестанно делает разные промахи и глупости, ни смешные и ни трогательные, несмотря на все усилия автора представить их таковыми, в притязаниях какого-то „глубокого”, неудобопонятного юмора. Нет конца многословию тяжелому, досадному, надоедающему, повторениям, перифразам одной и той же мысли, одних и тех же слов, очень понравившихся автору»¹³⁹.

В отличие от Белинского фельетонист «Северной пчелы» достаточно точно передал фабулу повести:

«„Господин Голядкин” встречает (или ему так вообразилось) другого Голядкина, совершенно на него похожего, словом, двойника своего. Этот другой Господин Голядкин, или, как называет его автор, „Голядкин-младший”, сначала вкрадывается в дружбу и доверенность „Голядкина-старшего”, и потом, попадаясь ему на каждом шагу, смеется, издевается над ним, причиняет несчастному помешанному разные неприятности и зловерности. Станный вымысел этот лишен даже новости изобретения: подобная история давно уже рассказана в одном английском романе. „Господин Голядкин-старший” кончает свои приключения тем, что его сажают

¹³⁵ Там же.

¹³⁶ Там же. С. 20.

¹³⁷ Там же.

¹³⁸ Я. Я. Я. <Брант Л. В.> Русская литература // Северная пчела. 1846. № 47. 27 февраля.

¹³⁹ Там же.

в дом умалишенных; с этого следовало бы начать: герою романа, автору его и читателям было бы легче»¹⁴⁰.

Он заявляет, что всегда будет стоять «на страже чистого вкуса и действительно художественной истины», возмущается «самозванцами-Гегелями», которые выдают «эту путаницу слов, эту бессмыслицу содержания <...> за огромный талант, за произведение гения!»¹⁴¹. С раздражением Л. В. Брант ставит вопросы: «... какого сорта гений Г. Достоевского, и из какого угла увенчан он *славою*?»¹⁴². Он не согласен с суждениями о «глубине» и «многозначительности» произведений Достоевского:

«... любопытны будут эти абстрактные и широкие умствования о богатстве „внутреннего“ содержания „Бедных людей“ и великой аллегории „Двойника“»¹⁴³.

На следующий день было опубликовано продолжение фельетона Л. В. Бранта, где он опять ругал повесть, в которой совершается «переворот в литературе, новое направление, принятое ею (т. е. скучнейше описывать помешанных чиновников, как в „Двойнике“ г. Достоевского)»¹⁴⁴.

С. П. Шевырев упрекает автора «Бедных людей» за то, что он написал «Двойника», отмечает, что это «грех против художественной совести, без которой не может быть истинного дарования»¹⁴⁵. Он находит в повести образы, знакомые по произведениям Гоголя:

«В начале тут беспрерывно кланяешься знакомым из Гоголя: то Чичикову, то носу, то Петрушке, то индейскому петуху в виде самовара, то Селифану»¹⁴⁶.

Он считает, что чтение повести «произведет на вас действие самого неприятного и скучного кошмара после жирного ужина»¹⁴⁷. По мнению Швырева, главная мысль повести та же, что и в «Бедных людях», это «амбиция русского человека в чиновнике, оскорбленная произвольным поступком»¹⁴⁸. В чем же видит «амбицию» критик?

¹⁴⁰ Там же.

¹⁴¹ Там же.

¹⁴² Там же.

¹⁴³ Там же.

¹⁴⁴ Я. Я. Я. <Брант Л. В.> Русская литература // *Северная пчела*. 1846. № 48. 1 марта.

¹⁴⁵ Шевырев С. П. Критика. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб. 1846, в тип. Э. Праца // *Москвитянин*. 1846. № 2. С. 173.

¹⁴⁶ Там же.

¹⁴⁷ Там же. С. 173–174.

¹⁴⁸ Там же. С. 173.

«В русском человеке чувство личности заменяется тем чувством, которое создало пословицу: на людях смерть красна. Русской человек дорожит тем, что скажут о нем люди — и постольку ценит себя и личность свою, поскольку признают ее другие. Русский человек служит народу и миру»¹⁴⁹.

Резкий отзыв о «Двойнике» дал Ф. Булгарин:

«... повесть растянута, неполна и скучна, т. е. имеет все три самые верные признака отсутствия всякого дарования»¹⁵⁰.

Критик и фельетонист предложил сатирическому журналу «Ералаш» нарисовать «карикатуру, изображающую несколько человек, лепящих из глины гениев, и бросающих остатками глины в настоящих скульпторов и их художественные произведения»¹⁵¹.

Критик «Москвитянина» А. Студитский, переходя к произведению «Гоголиста г. Достоевского», восклицает: «... бедный Гоголь»¹⁵². Повесть «Двойник», по его мнению, рассказывает о том, «что был-жил г. Голядкин, чиновник министерства, никогда небывалый не только в действительности, но и в возможности, — даже в воображении, как бы бizarро и дементивно оно ни было»¹⁵³. Вышучивая «Двойника», он отмечает, что повесть «до такой степени напугала петербургских поэтов, что ни одно стихотворение не осмелилось явиться в свет в одной с нею книжке журнала»¹⁵⁴.

Фельетонист «Финского вестника» советовал автору «Двойника» «остеречься азартных хвалителей», которые могут принести больше вреда, чем пользы¹⁵⁵. Впрочем, он замечает, что пока читатели могут «только поздравлять себя с находкою молодого таланта» и «честь его открытия принадлежит альманаху г-на Некрасова»¹⁵⁶.

Подробный разбор «Двойника» был сделан в следующем номере «Финского вестника» в рецензии на «Петербургский сборник». В ней автор отмечает начавшееся охлаждение Белинского к Достоевскому:

«Таков смысл слов знаменитой рецензии, в которой, несмотря на удивление слишком щедро рассыпанным красотам „Двойника“, проглядывает однако

¹⁴⁹ Там же.

¹⁵⁰ Там же.

¹⁵¹ Там же.

¹⁵² Студитский А. Русские литературные журналы. За февраль 1846-го года // *Москвитянин*. 1846. № 3. С. 194.

¹⁵³ Там же.

¹⁵⁴ Там же.

¹⁵⁵ Смесь. Литературные известия и заметки // *Финский вестник*. 1846. № 8. С. 4.

¹⁵⁶ Там же. С. 5.

же более умеренности, нежели сколько можно было ожидать, судя по предшествовавшим фактам»¹⁵⁷.

Рецензент грубо отзывается о «Двойнике», характеризует его как «сочинение патологическое, терапевтическое, но нисколько не литературное: это история сумасшествия, разанализированного, правда, до крайности, но тем не менее отвратительного как труп»¹⁵⁸.

Он сравнивает Достоевского с Гофманом:

«... по прочтении Двойника, мы невольно подумали, что если автор пойдет дальше по этому пути, то ему суждено играть в нашей литературе ту роль, какую Гофман играет в немецкой; Гофман до того взгляделся в немецкую филистерскую жизнь, что она начала ему являться в ломаных, чудовищных, фантастических формах; точно так же г. Достоевский до того углубился в анализ чиновнической жизни, что скучная, нагая действительность начинает уже принимать для него форму бреда, близкого к сумасшествию. Увы! поневоле вспомнишь мысль гоголевского Портрета!.. Признаемся, грустно будет, если назначение Достоевского есть назначение талантливого, но уродливого Гофмана»¹⁵⁹.

Сопоставляя Голядкина с Петром Ивановичем Шляпкиным, героем рассказа Я. Буткова «Партикулярная пара» из «Петербургских вершин», В. Н. Майков высказывается о типичности героя Достоевского:

«С Петром Ивановичем Шляпкиным, как с личностью, вы, конечно, никогда не познакомитесь: это не то, что какой-нибудь господин Голядкин-старший, который так же выразителен и вместе с тем так же общ, как какой-нибудь Чичиков или Манилов. Голядкиными называете вы большую часть ваших знакомых, — а подчас и себя; от фамилии Голядкин вы не могли не произнести прилагательного: голядкинский; наконец, теперь вам досадно — зачем так не складно выходит существительное, в котором у нас есть насущная потребность и которое соответствовало бы существительному *чичиковщина*, *маниловщина*»¹⁶⁰.

Для В. Н. Майкова главной характерной чертой таланта Достоевского является его наблюдательность и психологическая точность, с которой он анализирует героев. В рецензии на «Краткое начертание истории русской литературы» В. Аскоченского он рассуждает о восприятии

¹⁵⁷ Петербургский сборник // *Финский вестник*. 1846. № 9 С. 22–23.

¹⁵⁸ Там же. С. 24.

¹⁵⁹ Там же.

¹⁶⁰ <Майков В. Н.> Петербургские Вершины, описанные Я. Бутковым. Книга вторая. Санкт-Петербург. 1846. В тип. Н. Греча. В 8-ю д. л. 189 стр. // *Отечественные записки*. 1846. № 7. С. 12.

поэмы «Мертвые души» Гоголя, которая изменила развитие литературы, разными поколениями, называя их поколениями Лермонтова и Достоевского. Поколение Лермонтова «устыдилось своего колебания (которое характерно для творчества Лермонтова. — О. З.), своих нелогических, мелочных и женственных страданий, и скоро отреклось от них для мужественных дум и спокойных трудов», поколение Достоевского — «было так счастливо, что почти не имело ни времени, ни поводов, ни средств к колебанию»¹⁶¹. Из этого сопоставления В. Н. Майков спрашивает: «... родись автор „Двойника“ лет восемь назад — мог ли бы он быть таким психологом?»¹⁶².

Анализ «Двойника» В. Н. Майков продолжил в обзоре русской литературы за 1846 год. По его мнению, «манера Достоевского и любовь его к психологическому анализу выразились во всей полноте и оригинальности» в «Двойнике»:

«... он так глубоко проник в человеческую душу, так бестрепетно и страстно взгляделся в сокровенную машину человеческих чувств, мыслей и дел, что впечатление, производимое чтением „Двойника“, можно сравнить только с впечатлением любознательного человека, проникающего в химический состав материи»¹⁶³.

Как отмечает Майков, «в его психологических этюдах есть тот самый мистический отблеск, который свойствен вообще изображениям глубоко-анализированной действительности»¹⁶⁴. Критик дает тонкое понимание идеи повести:

«„Двойник“ развертывает перед вами анатомию души, гибнущей от сознания разрозненности частных интересов в благоустроенном обществе»¹⁶⁵.

Он характеризует героя повести Достоевского:

«Вспомните, этого бедного, болезненно самолюбивого Голядкина, вечно боющегося за себя, вечно мучимого стремлением не уронить себя ни в каком случае и ни перед каким лицом и вместе с тем постоянно уничтожающегося даже перед личностью своего шельмеца Петрушки, постоянно соглашающегося обрезать свои претензии на личность, лишь бы пребыть в *своем праве*; вспомните, как малейшее движение в природе кажется ему зловещим

¹⁶¹ Краткое начертание истории русской литературы, составл. В. Аскоченским. Издание П. Должикова. Киев. 1846 // *Отечественные записки*. 1846. № 9. С. 10.

¹⁶² Там же.

¹⁶³ <Майков В. Н.> Нечто о русской литературе в 1846 году // *Отечественные записки*. 1847. № 1. С. 4.

¹⁶⁴ Там же.

¹⁶⁵ Там же.

знаком сговорившихся против него врагов всякого рода, врагов, посвятивших себя вполне и нераздельно навред ему, врагов, вечно бодрствующих над его несчастной особой, упорно и без роздыха *подкапывающихся* под его маленькие интересы, — вспомните все это и спросите себя, нет ли в вас самих чего-нибудь голядкинского, в чем только никому нет охоты сознаться, но что вполне объясняется удивительной гармонией, царствующей в человеческом обществе...»¹⁶⁶.

Обозревая русскую литературу в 1846 году, В. Г. Белинский свидетельствовал, что «Двойник» Достоевского «не имел никакого успеха в публике»¹⁶⁷. Сегодня известны два варианта этого обзора: наборная рукопись и журнальный вариант. Суждения и оценки Белинского были искажены редакторской правкой Н. А. Некрасова в наборной рукописи статьи. В современных собраниях сочинений Белинского текст статьи печатается по наборной рукописи. Исследователи цитируют Белинского по восстановленному авторскому тексту, что искажает литературный процесс и обстоятельства борьбы 1840-х годов. Достоевскому и читателям был известен только журнальный вариант статьи. Опубликованный в «Современнике» текст был выражением позиции редакции журнала. В какой-то мере он стал мстью Достоевскому, который не перешел в «Современник», а остался в «Отечественных записках» Краевского.

Какую оценку получила повесть Достоевского? В «Двойнике», по мнению редакции, «автор обнаружил замечательную силу творчества, характер героя концептирован¹⁶⁸ смело, истины в этом произведении много; но вместе с этим тут видно страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил»¹⁶⁹.

В наборной рукописи текст Белинского содержал развернутую комплиментарную оценку характера героя:

«В „Двойнике“ автор обнаружил **огромную**¹⁷⁰ силу творчества, характер героя **принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература, ума** и истины

¹⁶⁶ Там же. С. 4–5.

¹⁶⁷ <Белинский В. Г.> Взгляд на русскую литературу 1846 года // *Современник*. 1847. № 1. С. 36.

¹⁶⁸ Исправлена опечатка «концетирован», в наборной рукописи речь шла о концепциях.

¹⁶⁹ <Белинский В. Г.> Взгляд на русскую литературу 1846 года // *Современник*. 1847. № 1. С. 36.

¹⁷⁰ Здесь и далее жирным шрифтом выделены исключенные Н. А. Некрасовым места из статьи Белинского.

в этом произведении **бедна, художественного мастерства — тоже**; но вместе с этим тут видно страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил» (Белинский; 10: 40).

Сравнивая недостатки «Бедных людей» и «Двойника», редакция высказывает мнение, что в повести они стали «чудовищными», причина их появления «заключается в одном: в неумении автора определять разумную меру и границы художественному развитию задуманной им идеи»¹⁷¹.

В журнальном тексте исчезла высокая оценка таланта писателя:

«Всё, что в „Бедных людях“ было извинительными для первого опыта недостатками, в „Двойнике“ явилось чудовищными недостатками, и это всё заключается в одном: в неумении **слишком богатого силами таланта** определять разумную меру и границы художественному развитию задуманной им идеи» (Белинский; 10: 40).

Из авторского текста обозрения было исключено упоминание о том, что Достоевский снял из повести «одну сцену, прекрасную сцену», чувствуя «сам, что его роман вышел уже чересчур длинен, велик, и мы убеждены, что если б он укоротил своего „Двойника“ по крайней мере целую третью, не жалея выкидывать хорошего, успех его был бы другой» (Белинский; 10: 41). Вместо этого свидетельства дана сухая констатация: «если бы г. Достоевский укоротил своего Двойника, по крайней мере, целую третью, повесть его могла бы иметь успех»¹⁷².

Неизменной в статье осталась оценка фантастического в «Двойнике». Белинский считал существенным недостатком повести «фантастический колорит»:

«Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умиренных, а не в литературе, и находится в заведывании врачей, а не поэтов»¹⁷³.

Это, как считает критик, объясняет интерес к повести:

«... только немногих дилетантов искусства, для которых литературные произведения составляют предмет не одного наслаждения, но и изучения. Публика же состоит не из дилетантов, а из обыкновенных читателей, которые читают только то, что им непосредственно нравится, не рассуждая, почему им это нравится, и тотчас закрывают книгу, как скоро на-

¹⁷¹ <Белинский В. Г.> Взгляд на русскую литературу 1846 года // *Современник*. 1847. № 1. С. 36.

¹⁷² Там же.

¹⁷³ Там же. С. 36–37.

чинает она их утомлять, тоже не давая себе отчета, почему она им не по вкусу. Произведение, которое нравится знатокам и не нравится большинству, может иметь свои достоинства; но истинно хорошее произведение есть то, которое нравится обеим сторонам, или, по крайней мере, нравясь первой, читается и второю: Гоголь многим не нравится, но его прочли решительно все...»¹⁷⁴.

Критические замечания в адрес «Двойника» высказал К. С. Аксаков. Так, он отмечает в повести не влияние Гоголя, а подражание ему:

«Г. Достоевский подражает приемам, внешним движениям Гоголя, одной наружности, не понимая, как видно, что у Гоголя всё это прекрасно, потому что самобытно живо, вытекает из внутренней причины, а когда кто-нибудь, погнавшись за сходством, схватит только одну голую внешность, одни приемы, не ухватив духа, жизни, облекшейся в них, то это выйдет до несносности безжизненно, сухо и скучно»¹⁷⁵.

Критик считает, что Достоевский в «Двойнике» «постоянно передразнивает Гоголя, подражает часто до такой степени, что это выходит уже не подражание, а заимствование», он «переиначивает и целиком повторяет фразы Гоголя», «лишенные своей жизни»¹⁷⁶. В повести, по мнению К. С. Аксакова, нет «ни смысла, ни содержания, ни мысли»:

«Г. Достоевский из лоскутков блестящей одежды художника сшил себе платье и явился храбро перед публикой»¹⁷⁷.

Желая принизить значение писателя, К. С. Аксаков задает вопросы:

«... не мистификация ли это? Не забавляется ли над публикой г. Достоевский <...> Неужели это талант? <...> неужели что-нибудь может возбудить она (пародия – О. З.), кроме скуки и отвращения? Неужто же г. Достоевский думает, что схватя эти чужие приемы, он схватил сколько-нибудь чужое поэтическое достоинство? Неужели думает он, что в этом есть какая-нибудь заслуга, даже какая-нибудь трудность?»¹⁷⁸.

К. С. Аксаков пародирует стиль Достоевского:

«Приемы эти схватить не трудно; приемы-то эти вовсе не трудно схватить; оно вовсе не трудно и не затруднительно схватить приемы-то эти. Но дело не так делается, господа; дело-то это, господа, не так производится; оно

¹⁷⁴ Там же. С. 37.

¹⁷⁵ Г-н Имрек <Аксаков К. С.> Три критические статьи... // Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847. С. 33.

¹⁷⁶ Там же. С. 34.

¹⁷⁷ Там же.

¹⁷⁸ Там же. С. 35.

не так совершается, судари вы мои, дело-то это. А оно надобно тут знаете и тово; оно, видите-ли здесь другое требуется, требуется здесь тово, этово, как его — другова. А этово-то, другово-то, и не имеется; именно этово-то, и не имеется; таланта-то, господа, поэтического-то, господа, таланта, этак художественного-то и не имеется. Да вот оно, оно самое дело-то, то есть, настоящее вот оно как; оно именно так»¹⁷⁹.

В таком же пародийном стиле, имитируя речь Голядкина, К. С. Аксаков оценил саму повесть:

«Эх плохо, плохо! Эх плохо, плохо! Эх дельце-то наше как плоховато! Эх дельце-то наше чего прихватило!»¹⁸⁰.

Пародия Аксакова понравилась Белинскому, и он похвалил ее в своей рецензии на «Московский литературный и ученый сборник на 1847 г.»¹⁸¹.

В свою очередь А. А. Григорьев отмечал, что натуральная школа

«... вдалась с одной стороны в сантиментальное поклонение добродетелям Макара Алексеевича Девушкина и Варвары Алексеевны (в романе: Бедные люди), забывши слово Гоголя, что опошлел образ добродетельного человека — с другой стороны, до того углубилась в созерцание личности, что дала гражданство всякой претензии в патологической истории о Голядкине старшем, где человек является уже вполне рабом, рабом, для которого нет исхода из его рабства»¹⁸².

К образу Голядкина А. А. Григорьев обращается и в рецензии на повесть Я. П. Буткова «Горюн». Критик обнаруживает сходство между Бутковым и Достоевским. Оба писателя изображают «микроскопические личности», родоначальником которых был гоголевский Акакий Акакиевич, их «микроскопические печали и радости, мелочные страдания»:

«... основная мысль г. ли Буткова, г. ли Достоевского, есть своего рода *fatum*, невозможный в христианском мире: мелочная личность, развившая в себе странные притязания, падает под их гнетом — таков Голядкин. Другая мелочная личность поражена тем, что существование ее не обеспечено, и вследствие этой, чрез меру развившейся заботливости, утрачивает человечность — таков Прохарчин. Г. же Бутков в своих Петербургских вершинах оплакивает

¹⁷⁹ Там же.

¹⁸⁰ Там же.

¹⁸¹ <Белинский В. Г.> Московский литературный и ученый сборник на 1847 г. Москва, 1847 // *Современник*. 1847. № 6. С. 132.

¹⁸² <Григорьев А. А.> Гоголь и его последняя книга // *Московский городской листок*. 1847. № 62. 17 марта. С. 250.

участь „битки”, потерявшего свое назначение быть биткою, сочувствует радости и горю от новой пары платья, и т. п.»¹⁸³.

В этих произведениях, по мнению критика, человеческая воля «является совершенно уничтоженной»¹⁸⁴. А. А. Григорьев упрекает Буткова и Достоевского в том, что они до того углубились «в мелочные проявления рассматриваемого ими нравственного недуга, что умышленно или неумышленно отложили всякую заботливость о художественности своих описаний, стараясь исключительно только о том, чтобы с возможною верностью и подробностью передать прелести того угла, где жили г. Прохарчин и Опоплевенко жилец, и едва ли не для большей отчетливости употребляют при этом и слог деловой»¹⁸⁵.

Никто из рецензентов не понял фантастику «Двойника» Достоевского. Писатель тяжело переживал критику, которая обрушилась на него и его повесть:

«Но вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский и все мною недовольны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе – критика. Именно: все, все с общего говору, то есть наши и вся публика, нашли, что до того Голядкин скучен и вял, до того растянут, что читать нет возможности» (281: 119).

В. Н. Захаров отмечает по этому поводу:

«Непризнание „Двойника” потрясло начинающего писателя – он заболел „от горя”, от „неограниченного самолюбия и честолюбия”, повесть опротивела ему, как отвращает любое неудавшееся дело, если на него возлагалось слишком много надежд, – как и было в случае с „Двойником”, который не выполнил своего назначения – не стал „великим делом” [Захаров 2013: 131].

Наряду с печатной критикой Достоевский слышал лестные отзывы о «Двойнике», о которых он сообщал брату:

«Иные прямо говорят, что это произведение *чудо* и не понято. Что ему страшная роль в будущем, что если б я написал одного Голядкина, то довольно с меня, и что для иных оно интереснее дюмазовского интереса» (28₁: 139).

В критике эта устная молва не отражена.

¹⁸³ Г. А. <Григорьев А. А.> Обзорение журналов за апрель // *Московский городской листок*. 1847. № 116. 30 мая. С. 465.

¹⁸⁴ Там же.

¹⁸⁵ Там же.

5.

В критике имеются отзывы об анонимных и псевдонимных произведениях, в которых Достоевский участвовал, но его авторство не было известно рецензентам. Таким первым полемическим материалом является объявление об издании «Зубоскала». В письме брату от 16 ноября 1845 года Достоевский сообщал, что он написал это объявление:

«Некрасов между тем затеял „Зубоскала” — прелестный юмористический альманах, к которому объявление написал я. Объявление наделало шуму; ибо это первое явление такой легкости и такого юмору в подобного рода вещах» (28₁: 115).

В 1845 году эта устная молва не имела отражения в печати, но в 1847 году об этом эпизоде вспомнила «Литературная газета» в связи с выходом «книжки» «Скалозуб и пересмешник. Собрание веселых рассказов, сатирических очерков из петербургской жизни, повестей и анекдотов».

Критик «Литературной газеты» писал:

«При одной из последних книжек Отечественных записок 1845 г. приложено было объявление о скором выходе в свет юмористического альманаха Зубоскал, который должен был состоять также из сатирических очерков петербургской жизни, мелких рассказов, анекдотов и нравоописательных статей. Литературное предприятие это, как и многие на Руси, не состоялось, как говорится, по разным независимым обстоятельствам, но идея его пала не на бесплодную землю. Некто, подписавшийся буквами Г. К., тиснул к празднику книжку, с виду совершенно похожую на обещанную»¹⁸⁶.

Помимо этого в 1847–1848 годах были изданы еще два сборника: сначала «И то и сё. Труды Зубоскала. Слова из русского языка. Мысли из русских авторов. Издание Виазы а la Polka. Москва» (1847), затем «Зубоскал или литературные лоскутья, сшитые только не на живую нитку, сто первым русским литератором. СПб. 144 стр.» (1848).

Цензура не разрешила Н. А. Некрасову альманах «Зубоскал», но его концепция была реализована в альманахе «Первое апреля».

Свою рецензию на «Первое апреля» Белинский начал с рассуждений о смехе:

¹⁸⁶ Библиография. Скалозуб и пересмешник. Собрание веселых рассказов, сатирических очерков из петербургской жизни, повестей и анекдотов. С.-Петербург 1847. В типографии Военно-учебных заведений: 254 стран. и IV предисловия // *Литературная газета*. 1847. № 3. С. 42.

«Забавный фарс лучше скучной трагедии, веселая шутка лучше серьезной, но пустой книги: это неоспоримая истина. Крепкий сон – хорошее дело, но зевота – одно из самых дурных положений человека, особенно зевота от драмы или важной книги. Смех – тоже одно из лучших благ жизни, как и крепкий сон, особенно смех от умной шутки, забавной книги»¹⁸⁷.

Белинский называет альманах болтовней, но это «болтовня живая и веселая, местами даже лукавая и злая»¹⁸⁸. Рецензент приводит ряд прозаических и стихотворных цитат из «Первого апреля». Особо Белинский выделяет рассказ «Как опасно предаваться честолюбивым снам», написанный стихами и прозой. Критику нравятся первоапрельские шутки:

«Между картинками многие очень недурны; особенно хороши и оригинальны снимки с древних статуй, будто бы (как уверяет «Первое апреля») недавно открытых в Риме и изображающих *Прикупку, Ремиз, Пас и Малину...*»¹⁸⁹.

Отрицательный отзыв на альманах «Первое апреля» дала «Северная пчела». Автор фельетона «Новая русская литература» выступает против не только альманаха, но и натуральной школы в целом. Критикуя альманах, он не догадался, что Достоевский был одним из его авторов.

Анонимность альманаха раздражает фельетониста. Он острит:

«Вот *новое* произведение *новой* русской литературы и так называемой *натуральной* школы! Все статьи в этой книге писаны одним лицом, самородным гением, который не соблаговолил выставить своего имени на заглавном листе»¹⁹⁰.

Критика альманаха продолжена в следующем номере «Северной пчелы». Фаддей Булгарин представил похвалы «Отечественных записок» в адрес альманаха как первоапрельскую шутку: этот «Апрельский обман по-Французски называется: d'Avril, т. е. *Апрельская рыба*»¹⁹¹. Он обвиняет натуральную школу в кумовстве: издателю альманаха удалось «при помощи кумовьев, поподчивать публику своею соленою рыбицею, и люди, как рыба, пошли на приманку заглавия!»¹⁹².

¹⁸⁷ <Белинский В. Г.> Библиографическая хроника. Первое апреля. Комический иллюстрированный альманах, составленный из рассказов в стихах и прозе, достопримечательных писем, куплетов, пародий, анекдотов и пуфов. Санкт-Петербург. В тип. Карла Крайя, 1846. В 12-ю д. л. 144 стр. // *Отечественные записки*. 1846. № 4. С. 87.

¹⁸⁸ Там же.

¹⁸⁹ Там же.

¹⁹⁰ Новая русская литература // *Северная пчела*. 1846. № 80. 12 апреля.

¹⁹¹ Б. Ф. <Булгарин Ф. В.> Журнальная всякая всячина // *Северная пчела*. 1846. № 81. 13 апреля.

¹⁹² Там же.

Ему вторил Л. В. Брант:

«... ни один парижский журнал не смел бы похвалить такой книги, как например, альманах: *Первое апреля*»¹⁹³.

Четыре дня спустя в рецензии на альманах «Новоселье» Л. В. Брант, отрицательно оценивая опубликованные в нем рассказы Е. П. Гребенки, деланно удивляется, что они «попали в Новоселье, когда им настоящее место в альманахе „*Первое апреля*“, а много, много – в „*Физиологии Петербурга*“, изданной Г. Некрасовым»¹⁹⁴.

Отрицательный отзыв на альманах «Первое апреля» вышел в «Иллюстрации». Автор рецензии усомнился, что альманах можно назвать комическим. Рецензент отмечает, что альманах — «грубая шутка, от начала до конца», его «должно читать в перчатках и куря сигару»¹⁹⁵. Среди «множества пошлостей», опубликованных в альманахе, он высоко оценивает «некоторые стихи» и высказывает сомнение, что стихи и проза написаны одним и тем же человеком:

«Не может быть, не может быть! Что, например, может быть общего между *Вступлением* и стихотворением: *Перед дождем?* Между фарсом: *Как опасно предаваться честолубивым снам* и стихотворением: *Женщина каких много? Между достопримечательными письмами и русской песнью?*»¹⁹⁶.

Он относит альманах к новому роду книг «для лакейских», «литературных надувательных систем»¹⁹⁷.

Забавный казус имел место в рецензии на альманах в майском номере «Библиотеки для чтения»¹⁹⁸. О. И. Сенковский случайно назвал имя Достоевского, когда ошибочно решил, что кто-то спародировал автора «Бедных людей»:

Сочинители альманаха «берут у вас, без спросу, всё удивительное, чтобы раздувать это в огромные пузыри для всеобщего увеселения; а захотите отомстить им тем же? – взять у них что-нибудь удивительное? – не тут-то

¹⁹³ Я. Я. Я. <Брант Л. В.> Журнальная всякая всячина // *Северная пчела*. 1846. № 87. 20 апреля.

¹⁹⁴ Я. Я. Я. <Брант Л. В.> Русская литература // *Северная пчела*. 1846. № 90. 24 апреля.

¹⁹⁵ Первое апреля. Комический (?) иллюстрированный альманах, составленный из рассказов в стихах и прозе, достопримечательных писем, куплетов, пародий, анекдотов и пуфов. Санкт-Петербург. 1846 // *Иллюстрация*. 1846. № 16. 4 мая. С. 251.

¹⁹⁶ Там же.

¹⁹⁷ Там же.

¹⁹⁸ См.: <Сенковский О. И.> Первое апреля. Комический иллюстрированный альманах. С-Петербург, 1846, в тип. Крайя, в 12, стр. 144 // *Библиотека для чтения*. 1846. № 5. С. 15–23.

было! голь! ничего нет! – дуйте в них, сколько угодно – ничего не вырастет – и смеяться не над чем! Разорение, обида! не знаешь, куда деваться от остроумия!»¹⁹⁹.

Полагая, что у Достоевского «миленький, уменьшительный талантлик, который <...> сочинил вам романчик, под названьицем „Бедные люди”», он призывает сравнить его сочинения с текстом альманаха «Первое апреля», принимая оригинальный стиль автора за пародию:

«Посмотрите, как его бедный ум наши пародисты переделали себе в великолепное остроумие»²⁰⁰.

В подтверждение своих выводов О. И. Сенковский приводит обширную цитату (объемом 2 стр.) из шестой главы фарса «Как опасно предаваться честолюбивым снам», в которой Петр Иванович предается мечтам²⁰¹. Рецензент так и не догадался, что Достоевский был одним из «остроумных» авторов этого сочинения.

Сенковский и другие критики не пытались раскрыть псевдонимы Некрасова (Пружинин, Белопяткин), Достоевского (Зубоскалов), Григоровича («и др.»), но очевидно, что их отзывы нужно включать в библиографический указатель Достоевского.

В пятом номере «Отечественных записок» (1846) опубликован еще один отзыв на альманах «Первое апреля» — заметка А. Д. Галахова «Ответ на ответ г-на Д., помещенный в 3-м № „Москвитянина” 1846 года», в котором он полемизирует не только с «Москвитянином», но и с оценкой авторов альманаха как «стекольщиков и маляров» (оценка была дана в № 80 «Северной пчелы»)²⁰².

Обстоятельную рецензию на альманах «Первое апреля»²⁰³ опубликовал А. А. Григорьев²⁰⁴. Достоевский в ней не упоминается (критик не угадал псевдонимы), но писатель присутствует в рецензии как неназванный автор. А. А. Григорьев положительно отзывался об альманахе:

¹⁹⁹ Там же. С. 17.

²⁰⁰ Там же.

²⁰¹ Там же. С. 17–19.

²⁰² <Галахов А. Д.> Ответ на ответ г-на Д., помещенный в 3-м № «Москвитянина» 1846 года // *Отечественные записки*. 1846. № 5. С. 53.

²⁰³ См.: <Григорьев А. А.> Первое апреля, комический иллюстрированный альманах. С. П-бург. В типографии Карла Крайя. 1846. стр. 144 // *Финский вестник*. 1846. № 9. С. 85–93.

²⁰⁴ См.: <Григорьев А. А.> Петербургский сборник. С. Петербург. 1846, в большую 8 // *Финский вестник*. 1846. № 9. С. 21–34.

«... все статьи <...> отличаются большим остроумием, забавным вымыслом и легким, и игривым языком; иные из рассказов этой небольшой книжки так смешны и при том изложены так комически важно, что и самый серьезный читатель едва удержится от смеха»²⁰⁵.

Особо автор рецензии выделил фарс «Как опасно предаваться честолюбивым снам» и перепечатал из него 4 и 7 главы.

Подробная рецензия на альманах «Первое апреля» была напечатана в «Финском вестнике». Ее автор отмечает возрождение моды на альманахи, которые выходят «под различными более или менее замысловатыми названиями», которые зачастую оказываются «несравненно заманчивее» их содержания²⁰⁶. Другая ситуация с альманахом, изданным Н. А. Некрасовым:

«Первое апреля» издано весьма скромно, без всяких претензий на литературную знаменитость имен, авторов входящих в него статей, если только все эти статьи не принадлежат перу одного автора, который совершенно напрасно скрыл свое имя»²⁰⁷.

Остроумной и забавной автор рецензии называет статью «Как играют в новейшее время в преферанс образованнейшие люди Европы», интересной — «Как один господин приобрел за бесценок дом в полтора тысяча»²⁰⁸.

6.

На многие произведения Достоевского были написаны единичные рецензии, разборы и упоминания в критических статьях. Так, критики обратили внимание на рассказы «Господин Прохарчин», «Отставной», «Честный вор», «Роман в девяти письмах», повести «Хозяйка» и «Слабое сердце», романы «Белые ночи» и «Неточка Незванова».

Одним из первых, кто откликнулся на выход рассказа «Господин Прохарчин», был В. Г. Белинский. Его суждения отредактированы Некрасовым, который снял похвалы и усилил негативную оценку рассказа. Из журнального варианта Некрасов исключил сопоставление Достоевского и Гоголя, которое было похвалой и одновременно упреком начинающему писателю:

²⁰⁵ <Григорьев А. А.> Первое апреля // Финский вестник. 1846. № 9. С. 86.

²⁰⁶ Там же.

²⁰⁷ Там же.

²⁰⁸ Там же. С. 88.

«Конечно, мы не вправе требовать от произведений г. Достоевского совершенства произведений Гоголя, но тем не менее думаем, что большому таланту весьма полезно пользоваться примером еще большего» (Белинский; 10: 42).

В своем разборе «Господина Прохарчина» В. Н. Майков ставит проблему влияния критики на творчество писателя. Обозреватель высказал предположение, что до Достоевского дошли жалобы на растянутость его произведений, и «он готов, в угоду читателей, жертвовать слишком многим в пользу драгоценной краткости, которой масштаб, впрочем, едва ли кем-нибудь определен положительно»²⁰⁹. Это привело к тому, что в «Господине Прохарчине» «не знаем, чем иным объяснить неясность идеи рассказа, вследствие которой каждый понимал и имел право понимать его по-своему, — как не тем, что автор удержался от полного ее развития из опасения новых обвинений в растянутости»²¹⁰. Критик задается вопросом, «почему никто не принимает в соображение того обстоятельства, что по смерти героя этой повести в тюфяке его нашелся запрятанный капитал; а потом стали извинять это самоволие ценителей собственным промахом г. Достоевского»²¹¹. В. Н. Майков приходит к выводу, что Достоевский «хотел изобразить страшный исход силы господина Прохарчина в скопидомство, образовавшееся в нем вследствие мысли о небеспеченности; но в таком случае надо было яркими красками обрисовать его силу во всё продолжение рассказа»²¹². Он призывает Достоевского более доверять «силам своего таланта, чем каким бы то ни было посторонним соображениям»²¹³.

Характеристику Прохарчина как «мелочной личности», которая «поражена тем, что существование ее не обеспечено, и вследствие этой, чрез меру развившейся заботливости, утрачивает человечность», дал А. А. Григорьев²¹⁴.

Двойственна критика «Литературной газеты». Ее рецензент отозвался о «Господине Прохарчине» как о рассказе, «замечательном по мысли», но отличающимся «необработанностью слога»²¹⁵.

²⁰⁹ <Майков В. Н.> Нечто о русской литературе в 1846 году // *Отечественные записки*. 1847. № 1. С. 5.

²¹⁰ Там же.

²¹¹ Там же.

²¹² Там же.

²¹³ Там же.

²¹⁴ <Григорьев Ал.> Обзорение журналов за апрель // *Московский городской листок*. 1847. № 116. 30 мая. С. 465.

²¹⁵ Критика. Очерк библиографической истории русской словесности в 1847 году. Статья вторая // *Литературная газета*. 1848. № 6. С. 88.

Юмористический «Роман в девяти письмах» А. А. Григорьев охарактеризовал как «прекрасный рассказ»²¹⁶. Белинский в переписке И. С. Тургеневым отозвался о нем отрицательно: «Достоевского переписка шулеров, к удивлению моему, мне просто не понравилась — насилию дочел. Это общее впечатление» (Белинский; 12: 335). И всё.

Чуть большего внимания критики удостоили повесть Достоевского «Хозяйка».

Обозреватель «Санкт-Петербургских ведомостей» писал, что повесть «Хозяйка» «до того скучна, и написана таким допотопным языком, что едва станет сил дочитать ее. Но читателя не победите такими затруднениями: он прочтет и закроет книгу с тем, чтобы уже никогда не раскрывать ее более»²¹⁷.

К. А. Полевой попытался ответить на свой вопрос:

«... отчего несомненные признаки дарования не развиваются в полной красе, но более и более задерживаются туманом слов, облекающих бессвязные мысли и самые странные идеи»²¹⁸.

Он объясняет:

«... публика, обыкновенно снисходительная к начинающему дарованию, делается строже к следующим его произведениям. Она готова была извинять недостатки первого опыта, но видя как бы систематическое столпление их в другой, в третий, в десятый раз — она имеет право выразить свое недовольство и по тому, что никогда не прощает неисполненных своих надежд»²¹⁹.

На разборе повести «Хозяйка» Белинский остановился в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Критик называет повесть «весьма замечательной», но «совсем не в том смысле, как те, о которых мы говорили до сих пор»²²⁰. Повесть вызывает недоумение критика. Характеризуя героя повести Ордынова, который «весь погрузился в занятия науками», Белинский спрашивает: какими? Он обвиняет Достоевского в том, что писатель не удовлетворяет любопытство читателя и не сообщает о предмете занятий героя. По мнению критика, эти сведения важны, так

²¹⁶ Г. А. <Григорьев А. А.> Обзорение журнальных явлений за январь и февраль текущего года // *Московский городской листок*. 1847. № 52. 5 марта. С. 208.

²¹⁷ К. П. <Полевой К. А.> Библиография. Бедные люди. Роман Федора Достоевского. С. Петербург. В типогр. Эдуарда Праца. 1847. В 8 дл. 181 стран. // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1848. № 12. 5 января.

²¹⁸ Там же.

²¹⁹ Там же.

²²⁰ <Белинский В. Г.> Взгляд на русскую литературу 1847 года. Статья вторая и последняя // *Современник*. 1848. № 3. С. 38.

как наука «кладет свою печать не только на мнения, но и на действия человека»²²¹. Белинский предполагает, «что он сильно занимался каба-листикою, чернокнижием, — словом, *чаромутием...*»²²². Критик замечает, что «ведь это не наука, а сущий вздор; но тем не менее и она наложила на Ордынова свою печать, т. е. сделала его похожим на поврежденного и помешанного»²²³. Он с иронией пересказывает фабулу «Хозяйки»:

«Ордынов встречает где-то красавицу-купчиху; не помним, сказал ли автор что-нибудь о цвете ее зубов, но должно быть, что зубы у ней были белые, в виде исключения, ради большей поэзии повести. Они шли об руку с пожилым купцом, одетым по-купчески и с бородою. В глазах у него столько электричества, гальванизма и магнетизма, что иной физиолог предложил бы ему хорошую цену за то, чтоб он снабжал его по временам если не глазами, то хоть молниеносными, искрящимися взглядами, для ученых наблюдений и опытов. Герой наш тотчас же влюбился в купчиху; несмотря на магнетические взгляды и ядовитую усмешку фантастического купца, он не только узнал, где они живут, но и какими-то судьбами навязался к ним в жильцы и занял особую комнату. Тут пошли любопытные сцены: купчиха несла какую-то дичь, в которой мы не поняли ни единого слова, а Ордынов, слушая ее, беспрестанно падал в обморок. Часто тут вмешивался купец, с его огненными взглядами и с сардонической улыбкою. Что они говорили друг другу, из чего так махали руками, кривлялись, ломались, замирали, обмирали, приходили в чувство, — мы решительно не знаем, потому что изо всех этих длинных патетических монологов не поняли ни единого слова»²²⁴.

Белинский утверждал, что мысль и смысл этой повести останутся тайной до тех пор, пока Достоевский не издаст «необходимых пояснений и толкований на эту дивную загадку его причудливой фантазии»²²⁵, «автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши сюда не много юмору в новейшем роде и сильно натеревши все это лаком русской народности»²²⁶. В результате, по мнению Белинского, «вышло что-то чудовищное, напоминающее теперь фантастические рассказы Тита Космокротова, забавлявшего ими публику в 20-х годах нынешнего столетия»²²⁷. В повести нет «ни одного простого и живого слова или выражения: всё изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно

²²¹ Там же.

²²² Там же.

²²³ Там же.

²²⁴ Там же.

²²⁵ Там же.

²²⁶ Там же. С. 38–39.

²²⁷ Там же. С. 39.

и фальшиво»²²⁸. Его окончательный приговор «Хозяйке»: «Странная вещь! непонятная вещь!..».

Рецензент «Литературной газеты» назвал «Хозяйку» «замечательной повестью», которая, однако, слабее других произведений автора²²⁹. Он напомнил, что уже в первом романе Достоевский «составил себе особый слог, что может сделать только человек с большим талантом»²³⁰. Несмотря на то, что в «Хозяйке» он не видит никакой мысли, рецензент отмечает достоинства и недостатки произведения:

«... характеры рассказа прекрасны и новы, но противоречат себе в действии. Вообще содержание повести до того неясно и туманно, что зритель решительно остается в недоумении о том, какое он должен сделать заключение обо всех этих лицах»²³¹.

Рецензент пытается объяснить читателям их причины:

«... эта неопределительность выражения происходит от желания казаться оригинальным, а известно, что ничто не губит так молодых писателей как излишняя претензии»²³².

Критический отзыв о «Хозяйке» дал П. В. Анненков:

«... повесть эта порождена душным затворничеством, четырьмя стенами темной комнаты, в которых заперлась от света и людей болезненная до крайности фантазия»²³³.

Следующую повесть «Слабое сердце» высоко оценил брат писателя М. М. Достоевский. По его мнению, она принадлежит к наиболее удавшимся произведениям Достоевского и оставляет глубокое впечатление²³⁴. Достоинство повести состоит не в сюжете, а в том, что в ней дан «неумолимый, безжалостный анализ человеческого сердца, от которого оно стонет и обливается кровью у читателя»²³⁵. Герой повести Шумков подавлен счастьем и благодарностью, ему «улыбнулись и любовь,

²²⁸ Там же.

²²⁹ Критика. Очерк библиографической истории русской словесности в 1847 году. Статья вторая // *Литературная газета*. 1848. № 6. С. 88.

²³⁰ Там же.

²³¹ Там же.

²³² Там же.

²³³ <Анненков П. В.> Заметки о русской литературе прошлого года // *Современник*. 1849. № 1. С. 1–2.

²³⁴ *Достоевский М. М.* Петербургский телеграф. Сигналы литературные. Введение. Обзорение русских журналов: Отечественные записки и Современник. Даль и его «Гребнев». Бутков. Достоевский. Гончаров. Искандер. Тургенев. Дружинин // *Пантеон и репертуар русской сцены*. СПб., 1848. № 3. С. 100.

²³⁵ Там же.

и дружба, и благорасположение начальника»²³⁶. Он относится к типу людей, наружность которых от ласкового слова «преображается, светлеет, и им становится весело и вместе с тем как-то неловко, но неловко по чувству сознания своего неравенства, — до того обстоятельства умели унижить их в собственном мнении»²³⁷. М. М. Достоевский советует «прочсть самую повесть, чтоб видеть с каким искусством воспользовался автор своим содержанием»²³⁸.

Критически отозвался о повести П. В. Анненков. По его оценке, Достоевский «выказал несомненный талант»²³⁹. И в этой повести герой — сумасшедший, «но на этот раз, по крайней мере, помешательство имеет ясную причину, и самый ход болезни выказан ловко»²⁴⁰. В повести П. В. Анненков нашел и «слабую сторону», которая заключена в «любви Аркаши и Васи» — «расплывчатой, слезистой, преувеличенной до такой степени, что <...> не верится ей, а кажется она скорее хитростью автора»²⁴¹. Критик протестует против «болезненной говорливости сердца», подмечает, что «простой человек молчалив», он «крепко бережет добро, цену которого хорошо знает». Манера Достоевского, как утверждает П. В. Анненков, «уменьшает доверие к его описаниям, сообщая им неестественную фальшивую чуткость»²⁴².

В этом же обзоре русской литературы за 1848 год П. В. Анненков упоминает рассказ Достоевского «Отставной» как «совершенно незначительный», предпочитая другой рассказ «Честный вор». Он высказывает мнение, что оба рассказа порождены успехом «Записок охотника» И. С. Тургенева, что Достоевского соблазнили «лукавая простота и тонкая наблюдательность» последних²⁴³. Этим он объясняет тот факт, что Достоевский объединил их одним названием «Рассказы бывалого человека». Подзаголовок «Из записок неизвестного» и подпись Достоевского под рассказами вызывают у критика вопрос: кому принадлежат эти рассказы? Он называет это хитростью, наивной претензией. В «Честном воре» П. В. Анненков замечает влияние Ж. Санд, которое обнаруживается в простоте «содержания, взятого из народного быта, старание открыть те светлые стороны души, которые человек сохраняет

²³⁶ Там же.

²³⁷ Там же.

²³⁸ Там же.

²³⁹ <Анненков П. В.> Заметки о русской литературе прошлого года // *Современник*. 1849. № 1. С. 2.

²⁴⁰ Там же. С. 3.

²⁴¹ Там же.

²⁴² Там же. С. 4.

²⁴³ Там же.

на всяком месте и даже в сфере порока, куда завлечен собственной виной или обстоятельствами, наконец мысль заставить говорить человека недалёкого, но которому превосходное сердце заменяет ум и образование»²⁴⁴. В рассказе критик выделяет «прекрасные» места: например, картина немого страдания Емели после кражи рейтуз. Этот случай рассказан от лица портного, в образе которого Анненков не находит «нравственного достоинства», портной «беспреданно кокетничает добротой своего сердца»²⁴⁵. По мнению Анненкова, манера автора, его приемы и стиль отвлекают читателя от содержания рассказа.

Оценивая произведения Достоевского 1848 года, Анненков отмечает, что «фантастический элемент заметно ослабел в новых его произведениях, но зато с вящей силою выступил другой — сантиментальность»²⁴⁶.

В конце 1848 года был опубликован роман «Белые ночи». А. В. Дружинин выделил его среди других произведений, вышедших в двенадцатом номере «Отечественных записок». Критик обратил внимание на его «странное и хитросплетенное» заглавие: «Белые ночи. Сантиментальный роман. (Из воспоминаний мечтателя.)». По его мнению, основная идея романа «и замечательна и верна»²⁴⁷.

Критик подчеркнул типичность героя:

«... в малых и больших городах встречается целая порода молодых людей, которые и добры, и умны, и несчастны, при всей своей доброте и уме, при всей ограниченности своих скромных потребностей»²⁴⁸.

Они, по мнению Дружинина, «одиноким среди многолюдства; свет их не знает, и они не знают света», делаются мечтателями «от гордости, от скуки, от одиночества, от неодолимой потребности привязаться к чему-нибудь»²⁴⁹. Дружинин ставит «Белые ночи» выше «Двойника», «Слабого сердца», «Хозяйки». От чтения романа у критика осталось «приятное впечатление»²⁵⁰. В то же время он указал на такой недостаток романа, как поспешность, с которой он писался, и следы которой «попадают на каждой странице»²⁵¹. Особенно, как считает Дружинин, это вредит характеру мечтателя, который нельзя создать на двух-трех удачно

²⁴⁴ Там же. С. 5.

²⁴⁵ Там же.

²⁴⁶ Там же. С. 1–2.

²⁴⁷ <Дружинин А. В.> Письмо иногороднего подписчика в редакцию «Современника» о русской журналистике. I. // *Современник*. 1849. № 1. С. 43.

²⁴⁸ Там же.

²⁴⁹ Там же.

²⁵⁰ Там же.

²⁵¹ Там же.

схваченных чертах, тут нужен «труд упорный и постепенный, анализ неотступный и медленный»²⁵². Он дает подробную характеристику героя: мечтатель — «лицо бледное, почти непонятное, поставленное вне места и времени», он «плавает <...> в океане неопределенных мечтаний»²⁵³. Он задает ряд вопросов, на которые не находит ответа в тексте романа:

«... какие это мечтания? молод ли герой повести? как его имя? какие его занятия и привязанности?»²⁵⁴.

Дружинин пытается учить автора «Белых ночей», что «грезы самого фантастического мечтателя носят начало свое в действительности, как повесть самого туманного романиста должна происходить на земле, между людьми, потому что ей более *негде* происходить»²⁵⁵. Он заключает, что роман выиграл бы, если бы была яснее обозначена личность мечтателя и понятнее были бы переданы его порывы.

Среди лучших произведений русской литературы 1848 года назвал повесть «Слабое сердце» и роман «Белые ночи» обозреватель «Отечественных записок» С. С. Дудышкин. Он отметил, что писатель остался верен себе «всё тот же психологический анализ души играет в них главную роль»²⁵⁶. В то же время автор обзора замечает, что в манере рассказывать в романе «Белые ночи» «нельзя не заметить значительного улучшения»²⁵⁷. Критик вспоминает, что Достоевского упрекали за повторения одних и тех же слов, за характеры, которые «дышат часто неуместной экзальтацией», что он любит «слишком много анатомировать бедное человеческое сердце»²⁵⁸. Эти недостатки еще встречаются в «Слабом сердце», «повести изящной и простой по идее», но в «Белых ночах» «автор почти безукоризнен в этом отношении. Рассказ легок, игрив, и не будь сам герой повести немного оригинален, это произведение было бы художественно прекрасно»²⁵⁹. В годовом обозрении Дудышкин напомнил еще и о рассказах Достоевского «Чужая жена» и «Ревнивый муж», которые с удовольствием читала публика, но они не понравились ему.

Первое объявление о романе «Неточка Незванова» было сделано в анонсе об издании журнала «Отечественные записки» на 1847 год.

²⁵² Там же.

²⁵³ Там же.

²⁵⁴ Там же. С. 44.

²⁵⁵ Там же.

²⁵⁶ <Дудышкин С. С.> Русская литература в 1848 году // *Отечественные записки*. 1849. № 1. С. 34.

²⁵⁷ Там же.

²⁵⁸ Там же.

²⁵⁹ Там же.

Об этом обязательстве редакции и автора напомнил Ф. Булгарин, который язвил, что «Отечественные записки» еще не выполнили своего обещания и не опубликовали ряд произведений, среди которых, переврав заглавие романа, назвал «Неточку Ивановну»²⁶⁰. Эта же ситуация повторилась в конце декабря 1847 года, когда Ф. Булгарин обыграл в своем каламбуре имя героини: «настоящая Неточка — нет, как нет!»²⁶¹. Ждать романа Ф. Булгарину пришлось долго. За время ожидания произошел окончательный разрыв Достоевского с кружком Белинского, потом с «Современником», и «Северная пчела» перестала пристально следить за творчеством писателя.

С января по май 1849 года в «Отечественных записках» были опубликованы три главы романа. На них успел откликнуться только А. В. Дружинин. Во втором письме иногороднего подписчика он утверждал, что разбирать роман, который основан на «психологическом анализе, в котором встречаются картины простые, события нехитрые», вещь невыгодная²⁶². Критик «Современника» высказал мнение, что в первой части «много страниц умных, проникнутых чувством, хоть и скучноватых»²⁶³. Он упрекает Достоевского в том, что тот стремится «поразить, озадачить читателя глубиной своей наблюдательности» с «отсутствием меры, с неумением в пору остановиться»²⁶⁴. Он отмечает изменение манеры писателя: в «Неточке Незвановой» «меньше прежнего многословия и темных, вычурных выражений; язык стал заметно сжатее, хотя от этого и потерял часть образности»²⁶⁵. Дружинин видит в романе тот же «грустный, однообразно болезненный колорит, те же унылые чувства, сдавленные прессом неумолимой нищеты, то же отсутствие женщины»²⁶⁶. Критик настаивал на отсутствии в романе женского лица, несмотря на то что повествование ведется от лица героини. По мнению критика, лицо героини должно было проявиться в следующем:

«Природа наделила женщину игривостью характера, способностью привязываться к безделицам, великим дарованием прилаживаться к действитель-

²⁶⁰ Б. Ф. <Булгарин Ф. В.> Фельетон. Журнальная всякая всячина // *Северная пчела*. 1847. № 271. 29 ноября.

²⁶¹ Б. Ф. <Булгарин Ф. В.> Фельетон. Журнальная всякая всячина // *Северная пчела*. 1847. № 291. 24 декабря.

²⁶² <Дружинин А. В.> Письмо иногороднего подписчика... // *Современник*. 1849. № 2. С. 185.

²⁶³ Там же.

²⁶⁴ Там же. С. 186.

²⁶⁵ Там же.

²⁶⁶ Там же.

ности, смиряться перед тем, что неизбежно, покоряться, надеяться и находить радости в своей покорности и своей надежде...»²⁶⁷.

Исходя из такого понимания женской природы, он утверждал, что впечатления детства, которые описывает Неточка:

«... не верны и не близки действительности, что на них слишком лежит печать непрерывного уныния, болезненной сосредоточенности, не перерываемой ни одним ясным воспоминанием, ни одним беспричинно веселым порывом, который так часто вспыхивает в юношеской душе, несмотря на всю горечь внешних обстоятельств»²⁶⁸.

После выхода второй части Дружинин отметил, что до сих пор нет завязки и действия, что «соразмерность произведения явно нарушена излишними подробностями о детском возрасте героини»²⁶⁹. Критик считает, что отдельные страницы романа написаны «увлекательно», в нем «встречаются места живые и оригинальные», если рассматривать роман как «ряд отдельных сцен», он «читается с удовольствием»²⁷⁰. Среди детских образов критик особо выделяет характер Кати, который создан писателем «с живостью и грацией», что делает Достоевскому честь²⁷¹. Бульдог Фальстаф напомнил критику собаку по кличке Диоген в романе Диккенса «Домби и сын», детские образы Достоевского «потуснели» перед созданиями английского писателя²⁷². Дружинин учит Достоевского, что избежать подражательности можно было, превратив Катю в «тип аристократического ребенка», «тип до крайности грациозный и многознаменательный»²⁷³. Рассуждая о судьбах детей в знатных домах России, критик высказывает свое желание видеть в образе Кати черты, которые бы показывали, что она «русская девочка и русская княжна»²⁷⁴. По его мнению, у Достоевского верно и отчетливо «выставлена безумная, жгучая привязанность загнанной и унылой Неточки к ее маленькой подруге: дети, развившиеся под гнетом враждебных обстоятельств, чрезвычайно способны к таким преждевременным, эксцентрическим страстям»²⁷⁵.

²⁶⁷ Там же.

²⁶⁸ Там же. С. 186–187.

²⁶⁹ <Дружинин А. В.> Письмо иногороднего подписчика в редакцию «Современника» о русской журналистике. III. // *Современник*. 1849. № 3. С. 67.

²⁷⁰ Там же.

²⁷¹ Там же.

²⁷² Там же.

²⁷³ Там же. С. 68.

²⁷⁴ Там же. С. 69.

²⁷⁵ Там же.

Обозревая русскую литературу 1848 года, П. В. Анненков выделил «фантастически-сентиментальный род повествований», изобретателем которого он назвал Достоевского и к которому отнес молодых писателей «Отечественных записок»²⁷⁶. основополагающими для этого направления стали повести «Двойник» и «Хозяйка». Подражающие им авторы преимущественно занимаются психологической историей помешательств, они «любят сумасшествие не как катастрофу, в которой разрешается великая борьба, что было бы только неверно и противохудожественно; они любят сумасшествие — для сумасшествия»²⁷⁷. Достоевский, по мнению П. В. Анненкова, остается неподражаемым мастером в изображении поединка между героем и событиями. В сумасшествии героя он видит освобождение писателя «от труда, наблюдения», для него оказывается «совершенно излишним то художническое чутье, которое указывает материалы, годные и негодные для создания»²⁷⁸. В поздних мемуарах он, рассказывая о роли Белинского и его устных высказываниях, привел отзыв критика о «Бедных людях» как первом опыте социального романа в России. П. В. Анненков не прав, социальный роман существовал и раньше, но он прав в том смысле, что «Бедные люди» стали новым этапом в развитии русского романа.

7.

За редким исключением, многие критики до сих пор плохо различают повесть и роман: путаются в жанровых дефинициях, дают разные номинации одному и тому же произведению, ошибаются в суждениях по истории и теории жанров. Отчасти это отражает реальную сложность историко-литературного процесса, историю жанров в русской литературе XVIII–XIX вв. В свое время проблема разграничения эпических жанров была поставлена в трудах В. В. Сиповского. Составляя историю жанров, исследователь, по собственному признанию, позволил «себе некоторую свободу»: с одной стороны, «из всех сатирических журналов XVIII в. мы извлекли лишь несколько подходящих для нас отрывков», с другой, «включили в число романов некоторые из тех неопределенных синкретических жанров, которые примыкают одинаково

²⁷⁶ <Анненков П. В.> Заметки о русской литературе прошлого года // *Современник*. 1849. № 1. С. 1.

²⁷⁷ Там же. С. 2.

²⁷⁸ Там же.

к морали и повести, истории и роману, мемуарам и художественному творчеству» [Сиповский: II]. Сложность разграничения эпических жанров, по мнению В. В. Сиповского, заключается в отсутствии критериев их определения:

«Труднее всего было отграничить повесть от анекдота, роман от поэмы, и, быть может, за разрешение этих сомнений мы справедливее всего подвергнемся обвинению в субъективизме выбора. Но на это обвинение мы ответим просьбой указать нам те литературные нормы, которые дали бы возможность ясно и точно определить границы, заметной чертой отделяющие эти литературные жанры один от другого» [Сиповский: II].

Сам В. В. Сиповский указывает единственный критерий: в список романов он внес «произведения только прозаические» [Сиповский: II]. Описывая критические статьи, опубликованные в журналах XVIII в., исследователь отмечает лишь случайные тезисы критиков о романе: «тяготение к реализму», «отрицание фантастики», «мнения о пользе и вреде романов». По его мнению, «попытки дать теорию романа, или хотя бы, точное его определение сводились к определению отличия романа от родственных ему жанров: поэмы и истории» [Сиповский: VIII]; одна из причин отсутствия теории романа в начале XIX века лежит в «быстром развитии романа» [Сиповский: X].

Белинский был одним из тех немногих критиков, кто пытался создать теорию повести и романа. В статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835) он определил повесть как «эпизод из беспредельной поэмы судеб человеческих», «распавшийся на части, на тысячи частей, роман; глава, вырванная из романа» [Белинский; 1: 271]. Потребность данного жанра обусловлена тем, что «мы беспрестанно суетимся, хлопочем, мы дорожим временем, нам некогда читать больших и длинных книг — словом, нам нужна повесть» [Белинский; 1: 271]. В его понимании повесть не драма, не роман, а нечто среднее. Она вмещает разнообразное содержание в «тесные рамки»:

«Есть события, есть случаи, которых, так сказать, не хватило бы на драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить ее и в века: повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки. Ее форма может вместить в себе все, что хотите — и легкий очерк нравов, и колкую саркастическую насмешку над человеком и обществом, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей. Краткая и быстрая, легкая и глубокая вместе, она перелетает с предмета на предмет, дробит жизнь по мелочи и вырывает листки из великой книги этой жизни» [Белинский; 1: 271–272].

Не зная истории повести, он сочинил ее:

«В русской литературе повесть еще гостя, но гостя, которая, подобно ежу, вытесняет давнишних и настоящих хозяев из их законного жилища» [Белинский; 1: 272].

Критик замечает, что «повесть наша началась недавно, очень недавно, а именно — с двадцатых годов текущего столетия. До того же времени она была чужеземным растением, перевезенным из-за моря по прихоти и моде и насильственно пересаженным на родную почву» [Белинский; 1: 272]. С его точки зрения, история русской повести началась с повестей Бестужева-Марлинского, Одоевского, Погодина, Полевого, Павлова, Гоголя.

Позже в теоретическом трактате «Разделение поэзии на роды и виды» (1841) Белинский отмечает:

«*Повесть* есть тот же роман, только в меньшем объеме, который условливается сущностью и объемом самого содержания. В нашей литературе этот вид романа имеет представителем истинного художника — Гоголя» [Белинский; 5: 42].

Несмотря на попытки разграничения романа и повести, в критической практике Белинский не следовал своим теоретическим установкам.

В январе–феврале 1846 года Достоевский опубликовал роман «Бедные люди» и повесть «Двойник». Белинский называл их то романами, то повестями.

В библиографическом разделе февральского номера «Отечественных записок» критик отмечал:

«... в „Петербургском сборнике“ напечатан **роман** „Бедные люди“ г. Достоевского — имя совершенно неизвестное и новое, но которому, как кажется суждено играть значительную роль в нашей литературе. В этой книжке „Отечественных записок“ русская публика прочтет и еще **роман** г. Достоевского „Двойник“, — этого слишком достаточно для ее убеждения, что *такими* произведениями обыкновенные таланты не начинают своего поприща» [Белинский; 9: 475–476].

Месяц спустя он пишет о «Бедных людях» преимущественно как о романе. Рецензия на «Петербургский Сборник» начинается с объявления жанра:

«„Бедные люди“, роман г. Достоевского, в этом альманахе — первая статья и по месту и по достоинству» [Белинский; 9: 543].

Далее еще девять раз критик назвал «Бедные люди» романом, но семь раз повестью. Критик не объясняет, почему эпистолярный роман не роман, а повесть — просто в рамках одного абзаца он последовательно именуется произведение повестью:

«Слухи о „Бедных людях” и новом, необыкновенном таланте, готовом появиться на арене русской литературы, задолго предупредили появление самой **повести**» [Белинский; 9: 549];

«... прочитав **повесть**, они увидят, что это такое...» [Белинский; 9: 549];

«... успех „Бедных людей” был полный. Если б эту **повесть** приняли все с безусловными похвалами, с безусловным восторгом, — это служило бы неопровержимым доказательством, что в ней точно есть талант, но нет ничего необыкновенного» [Белинский; 9: 549];

«... в этой **повести** замечен не совсем обыкновенный талант» [Белинский; 9: 549].

В завершение абзаца критик снова называет «повесть» «романом»:

«Со временем, та же **повесть** будет казаться иною многим из тех, которые сочли преувеличенными предшествовавшие ее появлению слухи о высоком художественном ее достоинстве. Из всех критиков самый великий, самый гениальный, самый непогрешительный — время. Впрочем, не должно забывать, что **роман** г. Достоевского прочтен всеми только в Петербурге и что только Петербург обнаружил свое мнение о таланте нового поэта» [Белинский; 9: 549].

В выводах дана иная логика смешения и иерархия жанров:

«Рассказывать содержание этого **романа** было бы излишне; делать большие выписки тоже. <...> это обстоятельство, может быть, заставит их вновь перечитать всю **повесть**» [Белинский; 9: 555].

Критик называет романом не только «Бедные люди», но и повесть «Двойник»:

«Во многих частностях обоих **романов** г. Достоевского [„Бедных людей” и „Двойника”] видно сильное влияние Гоголя, даже в обороте фразы» [Белинский; 9: 551];

«... между лицами **романов** г. Достоевского и повестей Гоголя существует такая же разница, как и между Попрыщиным и Башмачкиным, хотя оба эти лица созданы одним и тем же автором» [Белинский; 9: 552];

«... в обоих **романах** г. Достоевского заметно сильное влияние Гоголя, и это должно относиться только к частностям, к оборотам фразы, но отнюдь не к концепции целого произведения и характеров действующих лиц» [Белинский; 9: 552].

Десять раз в статье Белинский называет «Двойник» романом²⁷⁹ и лишь один раз повестью, и то со ссылкой на чужое мнение:

«Что же касается до толков большинства, что „Двойник” — плохая **повесть**, что слухи о необыкновенном таланте его автора преувеличены, и т. п. — об этом г. Достоевскому нечего заботиться: его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг» [Белинский; 9: 566].

В его обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» «Хозяйка» — повесть [Белинский; 10: 350], в другой статье — роман [Белинский; 10: 363].

В критическом тезаурусе Белинского нет такой категории, как жанр [Кожин: 80], [Захаров 1984: 6–8], но все его номинации — жанровые.

В поздней критике Белинский считал роман, повесть и даже рассказ одним «родом поэзии»:

«**Роман и повесть** стали теперь во главе всех других родов поэзии. <...> Это самый широкий, всеобъемлющий **род поэзии**; в нем талант чувствует себя безгранично свободным» [Белинский; 10: 315].

Видом повести, по Белинскому, были рассказы, физиологии, очерки:

«... кроме „**рассказа**”, давно уже существовавшего в литературе, как низший и более легкий **вид повести**, недавно получили в литературе право гражданства так называемые физиологии, характеристические очерки разных сторон общественного быта» [Белинский; 10: 316].

²⁷⁹ Ср. некоторые отзывы: «Герой **романа** — г. Голядкин — один из тех обидчивых, помешанных на *амбиции* людей, которые так часто встречаются в низших и средних слоях нашего общества <...>. Еще в начале **романа**, из разговора с доктором Крестьяном Ивановичем, не мудрено догадаться, что г. Голядкин расстроен в уме. Итак, герой **романа** — сумасшедший!» [Белинский; 9: 563].

«... каждое отдельное место в этом **романе** — верх совершенства» [Белинский; 9: 564]. «Напечатанные курсивом фразы совершенно лишние, а таких фраз в **романе** найдется довольно» [Белинский; 9: 565].

«... это же самое сделало неясными многие обстоятельства в **романе**...» [Белинский; 9: 565].

«Существенный недостаток в этом **романе** только один: почти все лица в нем, как ни мастерски, впрочем, очерчены их характеры, говорят почти одинаковым языком. Больше указать не на что» [Белинский; 9: 565].

«Знатоки искусства, даже и несколько утомляясь чтением „Двойника”, всё-таки не оторвутся от этого **романа**, не дочитав его до последней строки; но, во-первых, и они, дорожа и любясь каждым словом, каждым отдельным местом **романа**, всё-таки чувствуют утомление; во-вторых, истинно большой талант так же должен писать не для одних знатоков, как и не для одной толпы, но для всех» [Белинский; 9: 566].

Неразличение повести и романа — типичная ситуация в русской литературе. Большинство критиков признали «Бедные люди» романом, немногие сочли роман повестью (С. П. Шеверева, Э. И. Губера, К. С. Аксакова), некоторые, вслед за Белинским (Л. В. Брант, Ф. В. Булгарин, А. А. Григорьев), писали о «Бедных людях» как о романе и повести одновременно [Баршт 2015: 259–343].

В ряде случаев смешение повести и романа и происходило намеренно, как, например, в отзыве Ф. В. Булгарина:

«Мы прочли этот **роман** и сказали: бедные Русские читатели! Благодарим *Иллюстрацию*, что она также высказала несколько правд о *Петербургском сборнике* и оценила по достоинству **повесть: Бедные люди**»²⁸⁰.

Л. В. Брант назвал «Двойник» романом²⁸¹, Ф. В. Булгарин именовал Достоевского автором двух «весьма слабых повестей»²⁸².

К. А. Полевой утверждал, что «Бедные люди» не роман:

«„Бедные люди“ не **роман**, как называет его автор, а отрывок, эпизод огромной картины, которая бывает перед глазами каждого поколения людей, и каждое прибавляет к ней какую-нибудь новую черту. Уловить одну из этих черт и представить ее с поразительной истиною, есть уже большое искусство»²⁸³.

Свое мнение он аргументировал странным доводом — тем, что в сочинении нет «создания»:

«... автор неверно назвал его **романом**; в **романе** необходим интерес события, тогда как тут только отдельные черты, хотя и верно набросанные»²⁸⁴.

Сам Достоевский подчас давал нежанровые номинации своих и чужих произведений [Захаров 1985b: 17, 23–34].

1 января 1840 г. он писал брату Михаилу о его стихах как «живой повести» о нем и о «странных и чудесных» событиях своей жизни как «предолгой **повести**», которую он «никому не расскажет»:

²⁸⁰ Б. Ф. <Булгарин Ф. В.> Журнальная всякая всячина // *Северная пчела*. 1846. № 27. 1 февраля.

²⁸¹ Я. Я. Я. <Брант Л. В.> Русская литература. Журналистика. Отечественные записки. Январская и февральская книжки 1846 г. // *Северная пчела*. 1846. № 47. 27 февраля.

²⁸² Б. Ф. <Булгарин Ф. В.> Журнальная всякая всячина // *Северная пчела*. 1846. № 55. 9 марта.

²⁸³ К. П. <Полевой К. А.> Библиография. Бедные люди. Роман Федора Достоевского. С.-Петербург. В типогр. Эдуарда Праца. 1847. В 8 д. л. 181 стран // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1848. № 12. 16 января.

²⁸⁴ Там же.

«Я верю: в жизни человека много, много печалей, горя и – радостей. – В жизни поэта это и терн и розы. Лирика – всегдашний спутник поэта; потому что он существо словесное. – Твои лирические стихотворенья были прелестны: Прогулка, Утро, Виденье матери, роза (кажется так), Фебовы кони, и много других прелестны. – Какая живая **повесть** о тебе милый! И как близко она сказалась мне. Я мог тебя понимать тогда; потому что те месяцы были так памяты для меня, так памяты. – О, сколько случилось тогда и странного и чудесного в моей жизни! – Это предолгая **повесть**, и я ее никому не расскажу»²⁸⁵.

Когда Варенька Доброселова вспоминает («А теперь все пойдут грустные, тяжелые воспоминания; начнется **повесть** о моих черных днях» (Ө. Д.; I: 54)), она говорит не о жанре, а о событиях своей жизни, о которых она сообщает, рассказывает, повествует.

Подобная семантическая двойственность слова вызвана нежанровыми значениями слов, которые стали жанровыми дефинициями.

Повесть и рассказ не только жанр, но и тип повествования, содержание произведения, сообщение. Повестью могли назвать вообще любое эпическое произведение²⁸⁶.

Для Достоевского характерно глубокое понимание жанра повести, которая образована по типу повествования («изложению событий в том порядке, как они произошли»), по объему и сущности содержания [Захаров 1985b: 6, 26–28, 42–45, 65–72] (см. также: [Заваркина: 556–558]).

В полемике по поводу дебюта Достоевского 1840-х годов представлен весь спектр жанровых и нежанровых дефиниций его произведений. Их учет позволяет осознанно решать проблему дифференциации эпических жанров, таких как повесть и роман.

Арест 23 апреля 1849 г. по делу Петрашевского прервал литературную карьеру Достоевского. В мае, несколько недель спустя, уже без упоминания его имени вышла третья часть романа «Неточка Незванова». Достоевский на десять лет исчез из русской литературы.

²⁸⁵ Достоевский Ф. М. Письмо к Достоевскому М. М. от 1 января 1840 г. // Эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского и его корреспондентов. URL: [http:// philolog.petrso.ru/fmdost/ letters/dostmm/kMMD01011840.htm](http://philolog.petrso.ru/fmdost/letters/dostmm/kMMD01011840.htm)

²⁸⁶ По В. И. Далю, повесть – «рассказ о былом или о вымышленном, словесный или письменный» [Даль: 151].

ГЛАВА 2

1850–1865. Возвращение. Журнализм как «новое слово»

1.

После приговора имя Достоевского на десять лет исчезло из русской литературы. В 1850 году имя писателя упоминалось только при публикации официальных документов по делу Петрашевского, после отбывания каторги в связи с официальным производством Достоевского в чинах во время службы в Семипалатинске. Лишь после смерти Николая I, случившейся 18 февраля 1855 года, начинаются цензурные послабления, предпринимаются попытки возвращения имени Достоевского в литературный оборот.

Одним из тех, кто предпринял эти попытки, был А. Григорьев. Впервые он напомнил о Достоевском в статье «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене», которая была опубликована в февральском номере «Москвитянина». В статье он упрекал критику 1840-х годов в том, что она быстро возводила писателей в гении, создавала «гениев за гениями»:

«... критика не устыдилась объявить, что г-ну Д. или г-ну Н. суждено играть в литературе нашей роль, может быть, выше роли Гоголя, и т. п.»¹.

В то же время равнодушно были приняты посмертные публикации произведений Пушкина, «и новые кумирчики, наделанные критикою, стали заслонять от глаз молодежи его лаврами увенчанный лик»². На то, что под инициалом «Д.» скрыто имя Достоевского, указывает тот факт, что Григорьев, размышляя о судьбе Лермонтова, упоминает «кумирчиков гг. Т., Н., и т. п.», в инициалах которых угадываются Тургенев и Некрасов. Современные критики перешли в другую крайность –

«... в известного рода осторожность, не в ту, впрочем, которая не доскажет иногда слова, боясь погрешить перед общим смыслом, – но в ту, которая,

¹ <Григорьев А. А.> О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене. Введение // *Москвитянин*. 1855. № 3. Кн. 1. С. 97.

² Там же.

из страха впасть в смешное, готова скорее отрицать, чем полагать что-либо, скорее унижать, чем возвышать – в осторожность нравственной дряхлости, на все смотрящей с улыбкою недоверия, в осторожность, которая „не верит только потому, что верила некогда всему”³.

Григорьев констатирует, что критика 1840-х годов «смело разрывала всякие связи с историческим преданием»:

Ей «нипочем было *рассудить*, что Карамзин (Карамзин – имевший общее образование, Карамзин – сын своей эпохи по преимуществу, Карамзин – историк государства Российского!) был значительно ниже своей задачи, – и также нипочем было провозгласить печальную песнь, в роде *Бедных людей*, и анатомический препарат, в роде *Двойника* – гениальными произведениями!»⁴.

В феврале 1855 года Григорьев как бы испытывает цензуру, можно ли говорить о Достоевском, не упоминая его имени.

В этом же году Григорьев еще раз напомнил о Достоевском, не называя его имени, в статье «Обозрение наличных литературных деятелей», опубликованной в августовском номере журнала «Москвитянин». В этот раз вместо названия сочинений писателя названы герои его произведений – Голядкин и Прохарчин. Григорьев продолжил нападки на натуральную школу:

«... ум зашел за разум: отрицание перешло свои крайние пределы и свирепствовало в душных, тесных и грязных формах натуральной школы: запах белья г. Прохарчина распространялся повсюду, г. Голядкин стал высказывать уже из каждого сапога, принимавшего уродливые фантастические виды: когда добросовестнейшие из мысливших и чувствовавших людей под гнетом отрицания издавали стоны душевной боли, как Огарев или Тургенев, смиренно называя „лишними людьми”, „Гамлетами Щигровского уезда” рождения своей больной фантазии, или столь же последовательно относились с иронией к самому отрицанию, как отнесся к своему Петру Ивановичу автор „Обыкновенной истории”, – другие по-своему растолковали слова учителя, о том, что обмелел человек, – обмельчание приняли за настоящее дело, за нечто законное и желаемое»⁵.

Статья может служить примером того, какие приемы или способы обхода цензуры мог использовать автор. Нам удалось ознакомиться с цензурным экземпляром статьи, на верстке которой стоит

³ Там же. С. 98.

⁴ Там же.

⁵ Григорьев А. Журналистика. Обозрение наличных литературных деятелей // *Москвитянин*. 1855. № 15–16. Кн. 1 и 2. С. 195–196.

разрешение цензора И. И. Бессомыкина на ее публикацию от 11 октября 1855 г. На 196 стр. верстки имена героев Достоевского набраны с ошибкой: «... запах белья г. Прохаргнна распространялся повсюду, г. Голявкин стал выскакивать уже из каждого сапога, принимавшего уродливые фантастические виды»⁶. Очевидно, что ошибки сделаны намеренно, так, чтобы можно было выдать их за опечатки, так как после цензурного разрешения дозволялось исправлять только опечатки. «Ошибки» были исправлены, и в журнальном варианте статьи приведены правильные имена героев Достоевского.

Нападки на Достоевского в 1855 году продолжились в декабрьском номере «Современника», в котором был опубликован фельетон Нового поэта «Литературные кумиры и кумирчики». Без упоминания имени Достоевского И. И. Панаев описал обстоятельства его дебюта.

Фельетонист вспоминал:

«... за неимением настоящих героев, я поклонялся кумирчикам, которые созидались людьми мне близкими, которым я верил и которых я уважал. Мы ставили наших кумирчиков на пьедестал и поклонялись им с искренним энтузиазмом»⁷.

Далее речь идет явно о Достоевском:

«Одного, произведенного таким образом в кумиры, курениями и поклонениями перед ним, мы чуть было даже не свели с ума. Этому кумирчику поспотворилось более, нежели другому: его мы носили на руках по городским стогнам и, показывая публике, кричали: „Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет своими произведениями всю нашу настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему! кланяйтесь!...“ Об нем мы протрубили везде, и на площадях и салонах»⁸.

И. И. Панаев рассказал, как Достоевский упал в обморок перед светской красавицей, о чем он писал в «Современнике» еще в 1847 году⁹. После этого происшествия «маленький гений» становится «невыносим»:

«... он ни за что не хотел ходить сам по земле или по тротуару, а непременно требовал, чтобы все мы его носили на руках и поднимали, как можно выше, чтобы все его видели; он беспрестанно злился на нас и кричал: – „выше!»

⁶ РГБ. Ф. 231/III (Погодин, Михаил Петрович). К. 27. Ед. хр. 89. Л. 19–37. (См. иллюстрацию № 2).

⁷ <Панаев И. И.> Заметки Нового поэта о петербургской жизни. Литературные кумиры и кумирчики // *Современник*. 1855. № 12. С. 238.

⁸ Там же.

⁹ См.: <Панаев И. И., Некрасов Н. А.> Еще несколько стихотворений Нового поэта // *Современник*. 1847. № 4. С. 154–155.

выше!» <...> Он начал упрекать нас в зависти, в ненависти к нему, когда мы объявили ему наотрез, что у нас нет ни сил, ни возможности поднять его выше; с бешенством вырывался из наших рук, соскакивал на землю, совсем загибал голову назад и необыкновенно величаво прохаживался в толпе, удивляясь, что толпа не замечает его и не падает ниц при его появлении...»¹⁰.

Панаев охотно сплетничал, пересказывая слух о «кайме»¹¹: кумирчик «потребовал, чтобы его статью напечатали непременно в начале или в конце книги, чтобы она бросалась в глаза всем, и была не в пример другим обвешана золотым бордюром, или каймою»¹².

В 1857 году под псевдонимом «М.-ий»¹³ был опубликован рассказ «Маленький герой», написанный Достоевским еще в 1849 году (первоначальное название «Детская сказка»). В 1859 году под фамилией «Достоевский» была опубликована повесть «Дядюшкин сон» («Русское слово», № 3), под полным литературным именем «Ф. Достоевский» – лишь вторая часть романа «Село Степанчиково и его обитатели» («Отечественные записки», №№ 12).

В письме от 14 марта 1859 года Ф. Достоевский пишет брату Михаилу:

«Ты пишешь, что Кушелев хочет напечатать „Дядюшкин сон“ в марте. Это очень хорошо. Чем скорее, тем лучше. Но, ради Бога, узнай поточнее и по-подробнее, если можешь, понравилась ли она Кушелеву и всей редакции. Это для меня, друг мой, чрезвычайно важно. 2) Неужели мне не вышлют „Русское слово“. Я напечатал и не могу прочесть в печати мою статью! Я уже писал тебе, чтоб ты похлопотал, чтоб мне выслали. Ты, может быть, забыл. Похлопочи же теперь. Еще будет время выслать» (28₁: 321).

В следующем письме к Михаилу от 11 апреля 1859 года из Семипалатинска Ф. Достоевский писал с надеждой на внимание критики:

«Ожидая от тебя скоро письма. Я уверен, что ты напишешь мне обо всем, то есть о мнениях литературных, с которыми встретят „Дядюшкин сон“. Пожалуйста, напиши поболее подробностей! Умоляю тебя» (Д30; 281: 323).

В письме от 9 мая 1859 года к Михаилу Ф. Достоевский все еще живет ожиданием критики:

¹⁰ <Панаев И. И.> Заметки Нового поэта о петербургской жизни... // *Современник*. 1855. № 12. С. 239.

¹¹ Критический анализ сплетни о «кайме» см. работы: [Захаров 1985а], [Тихомиров].

¹² <Панаев И. И.> Заметки Нового Поэта о петербургской жизни... // *Современник*. 1855. № 12. С. 239.

¹³ Об обстоятельствах появления этого псевдонима см. [Захарова 2021а: 25].

«Друг Миша, прошу тебя, исполни мою просьбу, напиши мне всё, что услышишь без утайки, о моем романе, то есть как об нем говорят, если только кто-нибудь говорил. Пойми, что это для меня чрезвычайно интересно» (281: 325).

Достоевский надеется в ближайшем будущем издать в «Русском вестнике» роман «Село Степанчиково и его обитатели» (он был опубликован в «Отечественных записках»), выпустить двухтомник своих сочинений:

«Я не хочу сказать, что я высказался в нем весь; это будет вздор! Еще будет много, что высказать. К тому же в романе мало сердечного (то есть страстного элемента, как например в „Дворянском гнезде“), – но в нем есть два огромных типических характера, *создаваемых* и *записываемых* пять лет, обделанных безукоризненно (по моему мнению), – характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой. Не знаю, оценит ли Катков, но если публика примет мой роман холодно, то, признаюсь, я, может быть, впаду в отчаяние. На нем основаны все лучшие надежды мои и, главное, упрочение моего литературного имени. Теперь сообрази: роман явится в нынешнем году, может быть, в сентябре. Я думаю, что если заговорят о нем, похвалят его, то мне уже можно будет предложить Кушелеву 300 руб. с листа и проч. С ним уже имеет дело не тот писатель, который написал только „Дядюшкин сон“. Конечно, я могу очень ошибаться в моем романе и в его достоинстве, но на этом все мои надежды. Теперь: если роман в „Русском вестнике“ получит успех, и, пожалуй, значительный, тогда, вместо того чтоб издавать „Бедных людей“ отдельно, у меня явилась новая мысль: приехав в Тверь, и с твоею помощью разумеется, голубчик мой, мой вечный помощник, – издать к январю или февралю будущего года 2 тома моих сочинений, в следующем порядке: 1-й том – „Бедные люди“, „Нечочка Незванова“ 6 первых глав, обделанные (которые всем понравились), „Белые ночи“, „Детская сказка“ и „Елка и свадьба“ – всего листов 18 печатных. 2-й том – „Село Степанчиково“ (роман Каткову) и „Дядюшкин сон“. Во 2-м томе 24 печатных листа» (28₁: 326).

В письме от 21 октября 1859 года М. М. Достоевский передает Ф. М. Достоевскому отзыв Краевского о романе «Село Степанчиково» и повесть «Дядюшкин сон»:

«О романе он сказал, что некоторые места великолепны, Фома ему чрезвычайно нравится. Он напомнил ему Н. В. Гоголя в грустную эпоху его жизни. Характеры тоже, особенно распространялся он о помешаной девице. Это грациозное создание, сказал он. (Переделал ты её или нет?). Сказал еще, что конец великолепен, вся вторая часть (и я согласен в этом) /великолепна/, но начало растянуто и вообще жаль, что ты поддаешься иногда влиянию юмора и хочешь смешить. Сила Ф. М., прибавил он – в страстности, в пафосе,

тут, может быть, нет ему соперников, и потому жаль, что он пренебрегает этим родом. “Дядюшкин сон” я не мог дочитать, – договорил он. Всё это пишу я тебе, потому во-первых, что ты просил меня о том, а во-вторых потому, что слова эти – эхо будущей критики, если только будет критика. Журналы перестали теперь обозревать друг друга» (ОР РГБ. Ф. 93. II. 4. 29. Л. 50 об. – 51).

В утешение названа причина молчания критики, но она не очень убедительна.

А. А. Григорьев был одним из немногих критиков, кто постоянно помнил о присутствии Достоевского в литературе 1840-х годов. В 1859 году, не называя имени писателя, он повторил прием, ставший фигурой речи еще в 1855 году.

В первой статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» Григорьев дал обзор литературы 1830–1850-х годов, включая анализ творчества Гоголя, в связи с чем критик упоминает Достоевского. По его мнению, историческая задача Гоголя была в том, чтобы сказать, что «дрянь и тряпка стал всяк человек», «выставить пошлость пошлого человека», «свести с ходуль так называемого добродетельного человека, уничтожить всё фальшивое самообольщение, привести, одним словом, к полному христианскому сознанию», «стремление к идеалу»¹⁴. С одной стороны, критик считает Достоевского продолжателем традиций Гоголя, с другой – противопоставляет писателей: те «чудовища», которые, по признанию Гоголя, выливались из-под его пера:

«... для него были чудовищами, и явились на свет Божий в произведениях других, которые пошли по его пути, но не руководились его светом, явились в господине Голядкине, господине Прохарчине и других, запечатленных порою высокою даровитостию, но явно болезненных произведениях самого блестящего из представителей натуральной школы»¹⁵.

Суждения о Достоевском являются поводом для критики натуральной школы, в которой Григорьев выделяет две ветви, идущие от Гоголя:

«В произведениях этих двух ветвей натуральной школы, бесспорно, высказалось много таланта, но как в болезненном до чудовищности юморе, под влиянием которого рождались различные чудовища без формы и вида, с одной громадной и вместе мелочной претензией личности, так и в дагерротипном изображении различных повседневных явлений раздвоился полный и цельный Гоголь»¹⁶.

¹⁴ Григорьев А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая. Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Лермонтов // *Русское слово*. 1859. № 2. С. 49–50.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. С. 50–51.

Такие ситуативные упоминания героев и имени Достоевского преобладали в критике 1850-х годов.

В четвертом номере «Русского слова» за 1859 г. Григорьев вновь упоминает героев Достоевского. Критик рассматривает натурализм «как узаконение ежедневности»¹⁷. Анализируя роль героического в натурализме, он отмечает, что если «натура не дает сил на борьбу за героическое, если она обмелела, то – нечего с этим и делать: надо брать вещи так, как они есть»:

«... нет борьбы, или борьба есть донкихотство – значит, надобно признать таковое бессилие за закон бытия – значит, то сочувствие, которое имели мы к великим честолюбиям, надобно перенести на господина Голядкина: – то сочувствие, которое имели мы к страсти Ромео и Юлии, к мщению Гамлета, к заботам разных героев о благе общественном, к возвышенной энергии Веррины (в Фиэско), перенести на страсти из-за угла героев разных чердаков, или Петушкова... на мщение героя повести Перепельского, – на заботы г. Прохорчина (так в тексте! – О. З.) о его носках и нижнем, на дикое и вместе бессильное беснование героя повести „Запутанное дело“...»¹⁸.

Критик упрекает Гоголя, что сочинения писателя являются «центром, исходною точкою» всех этих сочувствий, всё «исчисленное, – это те самые чудовища, которые преследовали его в его болезненных грезах и которым не давал он явиться на свет Божий, сдерживая их сознанием идеала»¹⁹.

Свою критику сентиментального натурализма Григорьев продолжил в следующем номере «Русского слова», в опубликованной второй статье о новом романе Тургенева. Вспомнив комедию Тургенева «Нахлебник», критик заметил, что пьеса привела «натурализм уже не к комическому, а к отвратительному»²⁰. Дальше идти, по мнению критика, было «некуда – это был сок, выжатый из повестей М. Достоевского, Буткова и других натуралистов – поэтом-романтиком, поэтом-идеалистом – и вся болезненная поэзия, разлитая истинным поэтом сентиментального натурализма в „Белых ночах“, вся тревожная лихорадочность „Хозяйки“, не могли спасти исчерпанного и обнаженного до скелета

¹⁷ Григорьев А. И. С. Тургенев и его деятельность по поводу романа: «Дворянское гнездо» (Современник, 1859 г. № 1). Письма к Г. Г. А. К. Б. // *Русское слово*. 1859. № 4. С. 32.

¹⁸ Там же. С. 33.

¹⁹ Там же.

²⁰ Григорьев А. И. С. Тургенев и его деятельность по поводу романа: «Дворянское гнездо» (Современник, 1859 г. № 1). Письма к Г. Г. А. К. Б. Статья вторая // *Русское слово*. 1859. № 5. С. 22.

направления: поэт сентиментального натурализма сам сделал важный шаг к выходу из него в развивавшейся все глубже и глубже „Неточке Незвановой” – и о нем нельзя поэтому сказать последнего слова – но сентиментальный натурализм, – увы!

Умер он –

Умер наш голубчик!»²¹.

Упомянув о «смерти» натурализма в связи с пьесами Тургенева «Холостяк» и «Нахлебник», Григорьев ставит эти явления в контекст творчества Достоевского 1840-х гг. (повесть «Хозяйка», романы «Белые ночи» и «Неточка Незванова»). В критических статьях Григорьева Достоевский был прочно связан с натуральной школой, рассматривался как продолжатель традиций Гоголя, как «поэт сентиментального натурализма».

В 1860 году писатель издал свое собрание сочинений в двух томах: в первый том вошли «Бедные люди», «Неточка Незванова», «Белые ночи», «Честный вор», «Елка и свадьба», «Чужая жена и муж под кроватью», «Маленький герой», во второй – «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели»²². Издание получило единственный критический отзыв, который был опубликован в «Литературной летописи» газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 12 мая 1860 г.

Рецензент газеты предлагает разделить сочинения Ф. М. Достоевского на два «отдельных» рода²³. Произведения первого рода, по мнению критика, внушены автору «так называемыми общественными вопросами, неразумными случайностями жизни, которые, кроме своей грубой действительности, не имеют другого основания *быть* (*raison d'être*), которые поэтому самому вызывали автора на горячий протест, и которые одолжены своим происхождением»²⁴. К этому роду он относит такие произведения, как «Бедные люди», «Неточка Незванова», «Честный вор», «Елка и свадьба». Произведения второго рода «имеют характер чисто юмористический; в основании их, поэтому, лежит интерес чисто литературный, чуждый всяких стремлений и целей, кроме художественных»²⁵. Сюда критик относит «Чужую жену и мужа под кроватью», «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитателей». В это деление на два рода не вписываются «прекрасный, поэтический

²¹ Там же.

²² В «Искре» в 1860 году выходило объявление о продаже в магазине Д. Е. Кожанчикова «Сочинений Ф. Достоевского» в 2-х томах. См. № 45, 46, 49.

²³ Литературная летопись. Сочинения Ф. М. Достоевского // Санкт-Петербургские ведомости. 1860. № 103. 12 мая.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же.

рассказ „Белые ночи” и другой небольшой рассказ „Маленький герой”, которые мы не относим ни к какой категории, отчасти по их малому объему, отчасти потому, что не нападаем на такое слово, которым бы можно было охарактеризовать их, в чем откровенно и признаемся»²⁶.

Автор рецензии отмечает, что роман «Бедные люди» был встречен жарким сочувствием и его популярность среди читателей, у которых он пользуется «доселе самую яркую известностью, <...> объясняется скорее глубиной человеческих чувств и симпатий всякого рода, развитых в этом романе, дышащих в каждой его букве, чем чисто литературными его качествами»²⁷. Значение романа для своего времени заключается в том, «что присутствие человеческого достоинства в таких человеческих существах, как Макар Алексеевич Девушкин, в то время находилось только, по французскому выражению, в состоянии подозрения, а никак не было положительною истиною, и что вследствие этого „Бедные люди” показались и были на самом деле не только новостью, но и положительным протестом. В них нравилась смелость, тем более замеченная и оцененная, что она была проявлена в такое время и при таких обстоятельствах, которые всего менее способствовали к образованию или развитию такого качества»²⁸.

Рецензент говорит об актуальности первого романа Достоевского:

«... бедные люди вовсе не такое случайное явление; бедные люди не то, что взяточники; продолжительности их существования не угрожают ни гласность, ни публичное судопроизводство, ни обличительные повести и рассказы – одним словом, мы ни откуда не видим ни одного обстоятельства, которое делало бы существование бедных людей более или менее проблематическим; с этой стороны бедные люди вполне обеспечены, и много, много нужно пройти времени, чтобы они потеряли свое горемычное право гражданства в этом мире»²⁹.

Он называет роман «Бедные люди» «глубоко-симпатичным» произведением, заглавие которого является «чрезвычайно-удачным»³⁰. Вопросы, которые задают Макар Алексеевич, бедные люди и роман Достоевского, остаются, по мнению автора рецензии, «нерешенными»³¹.

Среди относящихся к первой группе текстов Достоевского критик выделяет роман «Неточка Незванова» и рассказ «Елка и свадьба» как

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же.

²⁹ Там же.

³⁰ Там же.

³¹ Там же.

«лучшее, по замыслу и отделке» произведение³². В «Неточке Незвановой» рецензент отмечает достоинства и недостатки:

«... она исполнена прекрасных подробностей, отделанных с силою и мастерством, не совсем общими, но что в целом она, мало того, что имеет характер слишком биографический, мало того, что лишена центра тяжести, который мешал бы интересу ее распадаться на многие лица попеременно, мало того, что некончена – это бы ничего – а оборвалась совершенно не во время, в упор, не давая читателю никакой перспективы»³³.

Рассказ «Елка и свадьба» напоминает критику повести Гоголя «Портрет», это «вещь совершенно законченная, <...> она слишком тяжела по впечатлению; в ней слишком вбивается наружу злосчастный, совершившийся факт; она писана так, как фотографы снимают портреты; необыкновенная близость к действительности, та самая близость, которая сделала указанные нами глаза в повести Гоголя глазами *нехорошими*, зловещими, мешает быть „Елке и свадьбе“ вещью вполне хорошею и изящною»³⁴.

Переходя ко второму роду сочинений Достоевского, который он охарактеризовал как «произведения юмористического характера», критик отмечает, что юмористическое мировоззрение противоположно драматическому. Он удивляется, как «в душе одного и того же автора, или, просто, одного и того же человека, могут существовать два – совершенно несходные между собою, отчасти даже противоположные один другому – способа смотреть на вещи»³⁵. Это сосуществование двух прямо противоположных мировоззрений у Достоевского «чрезвычайно сильно» говорит в пользу разнообразия и обширности его таланта³⁶.

Вместо подробного разбора произведений, относящихся ко второму роду, автор рецензии ограничивается краткими замечаниями. Он упрекает эти произведения за то, что они растянутые и длинные. Так, например, объем «Села Степанчикова» и «других однородных с ним произведений, постоянно превышает внутреннее их содержание»: автор часто «без всякой нужды, слишком долго оставляет своих героев в известных комических положениях, злоупотребляя, таким образом, и злополучным положением этих героев, и своим остроумием, и отчасти временем и так называемым благосклонным вниманием читателей»³⁷. Критик подробно передает фабулу рассказа «Чужая жена и муж под

³² Там же.

³³ Там же.

³⁴ Там же.

³⁵ Там же.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же.

кроватю», в котором «очень много остроумия и, отчасти, даже искусства, но изложенного нами содержания слишком мало для пятнадцати страниц большого формата и довольно убористой печати»³⁸. Характеры главных персонажей в этих произведениях кажутся ему преувеличенными. Правда, при этом он делает оговорку, что юмор «без преувеличения не существует»³⁹. По мнению критика, «автор переступил черту: он хочет, по-видимому, строго держаться действительной, осязательной почвы, не ударяясь в фантастическую область, как Свифт, и не желая выдавать свои лица за помешанных, или полоумных, каким сделал своего героя Сервантес – а между прочим, созданные им лица поневоле напоминают об этих великих образцах»⁴⁰. В качестве примера он приводит роман «Село Степанчиково»:

«... не предполагая в Егоре Ильиче Ростаневе тупоумия, достигающего до самых крайних пределов, **мы никак не в состоянии объяснить себе** того странного, непонятного терпения, с которым он не только переносит, но и считает должным переносить непомерное, какое-то безыменное тиранство над своею особою со стороны отчасти ханжи, отчасти пройдохи, отчасти полоумного Фомы Фомича»⁴¹.

Третье замечание касается юмора Достоевского, который «не всегда светел, тогда как он решительно не должен и не может иметь никакого другого качества, противоположного веселости и свету. Слезы юмора должны быть незримы; видимым должен быть один только смех»⁴². Он дает определение юмористическому мирозерцанию, которое «есть такой спокойный, беззаботный, веселый, более или менее насмешливый взгляд на вещи, который невольно заставляет предполагать, как будто автору решительно ни до чего нет дела, как будто ему горюшка мало, хоть весь свет перевернись колесом»⁴³.

В заключение рецензент делает вывод, что сочинения Достоевского «могут быть приобретены без раскаяния и потери всяким, у кого есть только в обладании хоть десятка два-три хороших русских книг», он относит их к разряду очень хороших книг, «которые не только могут быть прочтены, но могут быть и перечитываемы – если не вполне, то хоть по частям, которые, во всяком случае, представляют собою некоторый капитал, хотя и не весьма значительный, но все-таки дающий

³⁸ Там же.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Там же.

⁴² Там же.

⁴³ Там же.

проценты, составляющие, в свою очередь, подспорье другим, каким бы то ни было жизненным средствам»⁴⁴.

2.

Осенью 1860 года начался новый этап жизни и творчества Достоевского. 1 сентября в газете «Русский мир» были опубликованы введение и первая глава «Записок из Мертвого дома». 6 сентября было получено цензурное разрешение на публикацию «Объявления об издании в 1861 году журнала „Время“», в октябре оно было напечатано и разослано.

Почти сразу вспыхнула полемика.

Одним из первых откликов на программу журнала стала карикатура, опубликованная в «Искре» 11 ноября 1860 года (№ 44)⁴⁵. В ней *время* как категория бытия обращается в журнал и поручает Осени рассылку объявлений. *Время* объясняет Осени, что его будут издавать «из глубочайшего уважения к русской литературе», что оно будет «косить литературные знаменитости, установившиеся идеи и мнения, спекулятивный дух журналов»: «Мое дело косить, рубить, учить – брр!.. Не попадайся никто – расшибу!...»⁴⁶.

На слухи о новом журнале благодушно откликнулся И. И. Панаев в сентябрьском номере «Современника»:

«– Что ж? всё это благо, перебил я – чем более будет журналов, тем лучше, если только они будут вести дело свое честно и способствовать, каждый по мере сил своих, нашему общественному развитию. Нам остается только повторять слова поэта:

„Да здравствует разум, да скроется тьма!“»⁴⁷.

В следующем номере «Современника» И. И. Панаев уже цитирует программу «Времени», которую он оценивает как «смелость»:

«Из объявления о „Времени“ г. М. Достоевского – мы узнаем, что передовая мысль и девиз этого журнала: *примирить цивилизацию с народным началом и поставить себя в совершенно независимое положение от литературных авторитетов*»⁴⁸.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ См. иллюстрацию № 3.

⁴⁶ Степанов Н. Карикатура // Искра. 1860. № 44. С. 471.

⁴⁷ <Панаев И. И.> Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта // Современник. 1860. № 9. С. 143.

⁴⁸ <Панаев И. И.> Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта // Современник. 1860. № 10. С. 406–407.

Программу «Времени» поддержал А. Н. Плещеев, но оспорил некоторые ее положения. Так, он не разделяет точку зрения редакции, что «у нас развито подобострастие, добровольное рабство перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко и нахально высказаны», что «„только эта нахальность и дерзость доставляет иногда звание столпа и авторитета писателю, получающему таким образом влияние на массу”»⁴⁹.

На это редакционное мнение А. Н. Плещеев возражал:

«Нам кажется, напротив, что в публике нашей начинает развиваться некоторая самостоятельность в суждениях о литературных явлениях. Одним нахальством взять трудно. Если большинство увлекается каким-нибудь писателем, то, значит, он отзывается на потребности, живущие в массе, затрагивает ее живые струны. <...> Что же касается до явлений уродливых, которых не чужда наша, как и всякая другая литература, то они постоянно встречаются и встречали энергический протест со стороны каждого честного литературного деятеля»⁵⁰.

Оценку первому номеру журнала «Время» как изданию, заслуживающему внимание публики, дал Н. Г. Чернышевский. Достоинством журнала он отметил его независимость «от литературного кумовства, дающую ему простор прямо и резко высказывать свои мнения о других периодических изданиях и тех писателях, откровенно рассуждать о которых часто стеснялись другие журналы»⁵¹. Критик задает вопрос: кто для «Времени» авторитет и с кем не намерено церемониться «Время»? Н. Г. Чернышевскому показалось, что «Время» зря отказывается от сотрудничества с известными писателями, так как «близкие связи редакции с сонмом светил, ярких в глазах этих кружков, считаются необходимыми для хорошего ведения журнала»⁵². Он обратил внимание на участие в первом номере А. Н. Майкова, А. Н. Плещеева, В. В. Крестовского, Н. Н. Страхова, Ф. М. Достоевского, на переводы западноевропейских сочинений. Упомянув Ф. Достоевского, критик высказывал несколько предварительных суждений о его романе «Униженные и оскорбленные». По мнению критика, первая часть романа возбуждает «сильный интерес ознакомиться с дальнейшим ходом отношений между тремя главными действующими лицами»⁵³. Он предсказывает, что роман

⁴⁹ <Плещеев А. Н.> Литературные заметки // *Московские ведомости*. 1860. № 254. 23 ноября. С. 2017.

⁵⁰ Там же.

⁵¹ <Чернышевский Н. Г.> Новые периодические издания. «Время», журнал политический и литературный, № 1 // *Современник*. 1861. № 1. С. 83.

⁵² Там же. С. 84–85.

⁵³ Там же. С. 85.

Достоевского будет «одним из лучших, какие являлись у нас в последние годы», если личность «счастливого любовника задумана очень хорошо и если автор успеет выдержать психологическую верность в отношении между ним и отдавшеюся ему девушкой»⁵⁴. Критик отмечает правдивость рассказа в первой части, которая заключена в том, что «странное соединение» «гордости и силы в женщине с готовностью переносить от любимого человека жесточайшие оскорбления, одного из которых было бы, кажется, достаточно, чтобы заменить прежнюю любовь презрительною ненавистью», встречается у женщин часто⁵⁵.

Переходя ко второму отделу журнала, Н. Г. Чернышевский отмечает, что «Время» «выдерживает свою программу»:

«... тут полная независимость от всех прежних литературных кружков, одинаковая прямота мнений о всех и обо всем»⁵⁶.

Несмотря на критику в адрес «Современника», Чернышевский поддержал «Время» на «пути прямых и смелых суждений»⁵⁷. Он не мог не вступить за критика, подписывающегося «-бов» (Н. А. Добролюбов), который не претендует на авторитетность, его взгляд на искусство развивается самой жизнью. Для характеристики направления «Времени» автор рецензии выбирает понятие гласности и то, как она понимается редакцией:

«... если какая-нибудь статья или строка неприятны для нас, то мы еще не имеем права кричать будто бы она – злоупотребление и преступление; а если б и встречались некоторые ошибки, то из-за этих малочисленных и ничтожных ошибок не следует набрасывать тень на дело, требующее дружеской поддержки от всех нас, пишущих людей»⁵⁸.

Критик приходит к выводу:

«„Время“ справедливо находит, что разоблачать перед публикою общие черты наших общественных недостатков литература не может, если не станет указывать на частные факты, которыми обнаруживаются общие недостатки; а касаясь частных фактов, она по необходимости должна выставлять и лица, в них участвовавшие; что с каждым делом не разлучны некоторые случайные ошибки; но что неприлично благородному человеку или рассудительному изданию делать возгласы против самого дела по неудовольствию на мелкие частности его; что если бы когда и подверглось

⁵⁴ Там же. С. 86.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ Там же. С. 87.

⁵⁸ Там же. С. 88.

неосновательному порицанию лицо, бывшее правым, то сама литература не замедлила бы показать факт в истинном виде и дать несправедливо оскорбленному кем-нибудь полнейшее удовлетворение»⁵⁹.

Взгляд «Времени» на гласность, который Н. Г. Чернышевский называет «благородным и справедливым», последовательно проведен в литературно-критической части первого номера, что делает честь журналу. Вместе с тем он обращает внимание на расхождения позиций «Времени» и «Современника», но, как он замечает, эта разница мнений существует в части общества. Завершает обзор первого номера журнала автор пожеланием успеха изданию, которое имеет направление, достойное симпатии, обещает быть «представителем честного и независимого мнения»⁶⁰.

В «Свистке», юмористическом приложении к первому номеру «Современника», Н. А. Некрасов не согласился с упреком «Времени», что «Свисток» объявил о себе «робко» мелким шрифтом, и возразил, что мелкий шрифт – выражение таких качеств, как скромность и благоприличие⁶¹.

Н. А. Некрасов приветствовал появление издания стихами, названными «Гимн „Времени“, новому журналу, издав. М. Достоевским»:

Меж тем как Гарибальди дремлет,
Колелется пекинский трон,
Газета грому пушек внемлет,
Дает права Наполеон, –
В стране затронутых вопросов,
Не перешедших в сферу дел,
Короче: там, где Ломоносов
Когда-то лирою гремел,
Явленье нового журнала
Внезапно потрясло умы:
В нем слышны громы Ювенала,
В нем не заметно духа тьмы.
Отважен тон его суровый,
Его программа широка...

Привет тебе, товарищ новый!
Явил ты мудрость старика.
Неси своей задачи бремя,

⁵⁹ Там же. С. 90.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ <Некрасов Н. А.> Свисток. Вместо предисловия, о шрифтах вообще и о мелком в особенности // *Современник*. 1861. № 1. С. 6.

Неуставая и любя!
Чтобы ни «Век», ни «Наше время»
Не покраснели за тебя;
Чтобы не сел тебе на плечи
Редактор-дама «Русской речи»,
Чтоб фельетон «Ведомостей»
Не похвалил твоих статей!
Как пароксизмы лихорадки,
Терпи журнальные нападки,
И Воскобойникова лай
Без раздражения внимай!

Блюда разумно дух журнала,
Бумагу строго береги:
Страшись «Суэзского канала»
И «Зундской пошрины» беги!
С девонской, с силурийской почвы
Ученой дани не бери;
Кричи таким твореньям: «прочь вы!»
Творцам их: «черт вас побори!»
А то как о «Сухих туманах»
Статьеку тиснешь невзначай,
Внезапно засвистит в карманах...
Беда! Ложись – и умирай.

Будь резким, но не будь бранчивым,
За личной мезтью не гонись.
Не называй «Свистка» трусливым
И сам безмерно не гордись!
Припомни ямбы Хомякова,
Что гордость – грешная мечта,
Припомни афоризм Пруткова,
Что все на свете – суета!
Мы здесь живем не вечны годы,
Здесь каждый шаг неверен наш,
Погибнут царства и народы,
Падет штенбоковский Пассаж,
Со срамом Пинто удалится
И лекций больше не прочтет,
Со треском небо развалится
*И «Время» на козу падет!*⁶²

⁶² <Некрасов Н. А.> Свисток. Гимн «Времени», новому журналу, издав. М. Достоевским // *Современник*. 1861. № 1. С. 9–10.

В этом стихотворении Н. А. Некрасов дает «бескорыстные и доброжелательные» советы молодому журналу, «новому товарищу».

Редакция журнала «Время» провозгласила себя как «новый независимый литературный орган», свободный от добровольной зависимости, подначальности литературным авторитетам, «нелитературных антипатий и пристрастий» (Ө. Д.; IV: 10–12). В программе было объявлено, что журнал не будет уклоняться от полемики. Хотя первые отклики «Современника» были доброжелательны, уже в статьях Чернышевского и Некрасова чувствовалось, что в «Объявлении об издании» и первом номере есть положения, с которыми они не согласны.

Многие издания оценили первый номер «Времени» высоко. Так, «Сын отечества» в фельетоне «Листок» писал, что первый номер «Времени» «отраднейшее явление в нашей журналистике», в нем фельетонист увидел «карающее и убивающее, и это многое плод обещающее»⁶³.

Автор фельетона отличает «Время» от других журналов:

«В нем нет ни этой сухости и стародавности „Отечественных записок“, ни этой иностранной стряпни „Библиотеки для чтения“, с ее „искусством для искусства“, ни этой разнохарактерности „Русского слова“, но сразу видно единство направления, цели, стремлений, виден план, такт, видна живость и сочувствие к современным вопросам и ко всему русскому, одним словом, видно, что объявление журнала о том, что он „употребит все усилия, чтобы не быть отвлеченным, а будет заниматься тем, что относится к самым современным явлениям жизни“ не фарс и ракетка, а чистая правда»⁶⁴.

Давая сочувственную характеристику изданию, автор предрекает успех «Времени», он верит, что журнал станет одним из лучших в России. Рассматривая содержание номера, он выделяет роман Достоевского, который «вполне достоин автора „Бедных людей“»; рассказ Крестовского, который «замечателен по своей идее и по прекрасной обрисовке некоторых сторон нашей общественной жизни»; статью Страхова, в которой, «кроме основательности содержания, замечательна по необыкновенному уменью самый трудный и отвлеченный предмет передавать просто и доступно для каждого»; статьи о литературе, которые «дышат и современностью взгляда и увлекательны по изложению»; поэму Майкова, которая «отличается и глубиной мысли и изяществом стиха»⁶⁵.

Обзор первого номера фельетонист завершает похвалой «Времени» и упреком соперникам:

⁶³ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 3. 15 января. С. 61.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ Там же. С. 62.

«... если такие подает этот начинающийся журнал надежды, то увы! не то говорят вышедшие номера грозных журналов»⁶⁶.

Фельетонист «Санкт-Петербургских ведомостей» Ю. А. Волков с похвалой отозвался о литературном отделе журнала. Он особо выделил предисловие к трем рассказам Э. По как «очень умное» и предисловие к запискам Казановы как «весьма хорошее»⁶⁷. Познакомившись с отзывом «Современника» на «Время»⁶⁸, Волков не решился высказать свое мнение о начале романа Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». «Главным содержанием <...> впечатлений»⁶⁹ он счел статью Н. Н. Страхова «Жители планет», где интересен вопрос: «... есть ли на планетах люди?»⁷⁰. Как замечает критик, Страхов считает «людей совершеннейшими из всего живущего, гранью, далее которой нельзя пойти, имея в распоряжении какое бы то ни было вещество»⁷¹. По мнению Ю. А. Волкова, Страхов «вообразил нечто гораздо более невозможное, чем создания, высшие по своему органическому устройству, нежели люди: он вообразил вселенную – в совершенном покое и запустении, он отказал в жизни всему этому громадному скоплению вещества, покрывающему свод небесный более или менее яркими светилами»⁷².

По поводу статьи «Письмо Постороннего критика» Ю. А. Волков задается вопросом:

«... как может возникнуть критик – посторонний литературе?»⁷³.

По его мнению, книги Панаева и «Нового Поэта» имеют «совершенную посторонность, и только в конце автор прибавляет несколько слов, мягких и ласкающих, кажется, вовсе не различая г. Панаева от „Нового Поэта“»⁷⁴. В своем письме Посторонний критик возражает против названия современной литературы как «скандальной литературы», или «литературы скандалов», высказывает поддержку «Свистку» за то, что иногда они «свищут очень смешно». Ю. А. Волков рассуждает, что

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Гымалз. <Волков Ю. А.> Литературные впечатления. Время. Журнал политический и литературный. Январь 1861 // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1861. № 32. 9 февраля.

⁶⁸ См. выше комментарий обзора: <Чернышевский Н. Г.> Новые периодические издания. «Время», журнал политический и литературный, № 1 // *Современник*. 1861. № 1.

⁶⁹ Там же.

⁷⁰ Гымалз. <Волков Ю. А.> Литературные впечатления... // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1861. № 32. 9 февраля.

⁷¹ Там же.

⁷² Там же.

⁷³ Там же.

⁷⁴ Там же.

«не большая важность написать пародию на какое бы то ни было произведение; но если в обществе пародия заслоняет собою то, на что она написана, то эта пародия уже не шутка, а тяжкий литературный грех, грех именно потому, что закрывает истину»⁷⁵.

Он спрашивает Постороннего критика:

«Перечисляя имена лиц, над которыми всего более раздражается гласность, не чувствует ли он, что *только* писательский труд, *только* литературное дело или заблуждение называются их собственным именем, что только эти имена проникают в массу, не как представители ложного направления, отсталой или даже обскурантной мысли, вредной деятельности, а, просто, как личности, названные по имени...»⁷⁶.

Он утверждает, что «публика, общество не может иметь доверия к силе, непризнающей саму себя, на саму себя разделившейся»⁷⁷. По оценке Ю. А. Волкова, «Письмо Постороннего критика» – «очень хорошая и правдивая статья», но «горько сознавать эту правдивость, горько читать ее в одном из органов литературы»⁷⁸.

Есть в статье Ю. А. Волкова и иронический отклик на фельетон Достоевского «Петербургские сновидения в стихах и прозе». Критик сострил: раз статья «названа сновидениями», она «тем самым застрахована от всякого суждения»⁷⁹. В целом первый номер журнала произвел на автора приятное впечатление.

Первая критика в адрес «Времени» прозвучала со стороны «Отечественных записок». С. С. Дудышкин озаботился, что журнал «объявил гонение на авторитеты, которыми будто бы обилует наша литература, и стремление к народности»⁸⁰. Критик отметил, что «Время» сделало честь «Отечественным запискам», когда ополчилось на них «всеми своими стрелами остроумия и глубокомыслия», начав с них борьбу с литературными авторитетами и литературными генералами⁸¹. Дудышкин отрицает существование авторитетов в литературе и науке:

«... авторитетов, в истинном смысле, у нас нет, не было, да еще и не может быть»⁸².

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ Там же.

⁷⁷ Там же.

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ Там же.

⁸⁰ <Дудышкин С. С.> Новые журналы. Их программы. «Основа» и «Время». Скандаль и мнение о них «Русского вестника» // *Отечественные записки*. 1861. № 2. С. 76.

⁸¹ Там же. С. 77.

⁸² Там же.

Он полагает, что «Время» понимает авторитеты как-то иначе, «по-домашнему»⁸³. Журнал «создал для себя авторитеты и их же потом будет уничтожать публично»⁸⁴. Дудышкин спрашивает «Время»: значит «для вас есть кумирчики, идола <...> не называете ли вы авторитетами писателей, которых публика читает с большею любовью, нежели иных?»⁸⁵. Его волнует вопрос «о скандалах». Он спрашивает: неужели «уничтожение авторитетов ученых и литературных будет вами произведено посредством скандала?»⁸⁶. Пародируя программу «Времени», критик заключает, что если перечитать ее сверху вниз:

«... выйдет нечто похожее на прежнее славянофильство сороковых годов: оригинальность русской жизни, русский дух, русская истина, всепримиряющая любовь, предназначение русской цивилизации поглотить все цивилизации мира, потому что русский человек говорит на всех языках и безличность составляет его лучший характер». Если читать снизу вверх, то «выйдет благодетельность западной науки и цивилизации со времен Петра до нашего времени, очищение этой наукой русского духа и русской истины, огрубевшей в древней Руси»⁸⁷.

Он упрекает «Время» в том, что они придали слову «любовь» другое значение, которого не было у славянофилов:

«„Время“ понимает любовь как истинное, неподдельное стремление выучить народ на западный манер и поставить его наряду с классами образованными»⁸⁸.

Дудышкин предлагает посмотреть на программу «Времени» одновременно сверху вниз и снизу вверх. Из этого, по его утверждению, «выйдет маскированное желание, высказанное прежде другими, примирить западную науку с народностью – задача, которую не раз высказывали прежде»⁸⁹. Он перечисляет тех, кто высказывал подобные идеи и резюмирует, что «Время» «взяли от славянофилов все то, что у них было фразой, упустили из виду смысл, и за то одели эти фразы тою развязностью, которою владеют господа, читающие одни введения в книги»⁹⁰. Дудышкин полагает, что задача «Времени» заключается в том, чтобы «объяснить древнюю Русь, народный дух, русскую истину

⁸³ Там же. С. 78.

⁸⁴ Там же.

⁸⁵ Там же.

⁸⁶ Там же. С. 79.

⁸⁷ Там же. С. 82.

⁸⁸ Там же.

⁸⁹ Там же. С. 82–83.

⁹⁰ Там же. С. 83.

и пр. и пр. по произведениям новейшей, так называемой изящной литературы исключительно!»⁹¹. Дудышкин советует «Времени» обратить внимание на «способ поземельного владения, артель, цельность жизни духовной, религиозной и литературной»⁹².

Радость фельетониста «Сына отечества» вызвал второй номер «Времени». Он оказался «не только не хуже, но даже лучше первого»⁹³. Перечисляя опубликованные в нем произведения, которые привлекают внимание читателя, автор фельетона замечает, что роман Достоевского «Униженные и оскорбленные» должен быть отнесен к «лучшим произведениям этого автора»⁹⁴. Фельетонист дает отзыв об отделе критики во втором номере, оценивая его как «отдел богатый», который содержит статьи «очень интересные». Не со всеми мнениями, высказанными в нем, фельетонист согласен, но в этом отделе «много ясности, свежести, ума»⁹⁵. Он особо выделяет статьи «Гаваньские чиновники в их домашнем быту», «Нечто о литературных мошках и букашках (По поводу героев г. Тургенева)», «Нечто о Шиллере». Фельетонисту импонирует выпад «Времени» против газеты «Век» в защиту Шиллера. Достоинством «Времени» он считает отсутствие громких имен в «Объявлении об издании» и приветствует журнал как «отрадное явление»⁹⁶.

«Северная пчела» отозвалась на новый журнал 15 февраля в характерной язвительной манере:

«Современник просвистел „свистком“, а Светоч – „обличительным листком“, Время – „петербургскими сновидениями в стихах и прозе“, Библиотека для чтения дала фельетон статского советника Салатушки»⁹⁷.

Полный разбор первого и второго номеров «Времени» вышел 9 марта 1861 г. Обозреватель выделил в журнале два отдела: «изящная литература, или беллетристика» и «критика». Особый интерес для рецензента «Северной пчелы» представляет критический отдел, так как «в нем определяется физиономия журнала, в нем яснее высказываются задачи, какие определила себе редакция, и путь, каким она хочет стремиться к своей цели»⁹⁸. На первых порах «Северная пчела» сочувственно обещает: мы «не будем здесь вступать в споры с новой редакцией,

⁹¹ Там же.

⁹² Там же.

⁹³ Листок // Сын отечества. 1861. № 8. 19 февраля. С. 217.

⁹⁴ Там же.

⁹⁵ Там же. С. 218.

⁹⁶ Там же.

⁹⁷ Русская журналистика // Северная пчела. 1861. № 37. 15 февраля.

⁹⁸ Русская журналистика // Северная пчела. 1861. № 54. 9 марта.

которая, во имя правды и общей пользы, с первого шага выказала так много честности и беспристрастия, не будем заступаться за тех, на кого она нападает, но нападает не из личной злобы, а из горячего увлечения делом, не будем подвергать критике и самого ее увлечения, а повторим только ее собственные слова, которым мы вполне сочувствуем»:

«... для нас всегда будут дороги честные увлечения, и если мы будем спорить с ними, то всегда с уважением. Мы сами не раз и не два будем увлекаться и горячо увлекаться; журнал не книга; журнал *может* ошибаться и непременно ошибается, если он только журнал в настоящем значении этого слова, т. е. истолкователь минуты, настоящей минуты, минуты, в которой мы с вами живем, читатель! Одна книга не ошибается, потому что пишет не под обаянием минуты, а уже относится к ней критически... Пусть наши журналы увлекаются, но увлекаются всем, что достойно увлечения, а не исключениями только. Досадны не увлечения, а то, что увлечения эти пристрастны и небескорыстны»⁹⁹.

Обозреватель предлагает «поговорить об увлечениях редакции Времени, которые действительно честны»¹⁰⁰.

Автор обозрения дает сжатую характеристику идей, «которые редакция журнала полагает в основание своей деятельности»¹⁰¹. Подробно пересказывая определение славянофилов и западников, данное в статье А. Григорьева «Народность и литература», он замечает, что редакция «Времени» «хочет занять как бы средину между двумя крайними направлениями», обнаруживает «сознание необходимости усвоить себе все результаты западной науки и в то же время желание провести их в нашу жизнь так, чтобы под их влиянием она выработала себе свои особенные формы, согласные с духом народным»¹⁰². Он поддерживает основные положения программы «Времени»: нельзя «не выразить полного сочувствия таким стремлениям редакции нового журнала, нельзя потому и не пожелать ей полного успеха»¹⁰³. Он обращает внимание на оценку Пушкина, данную во «Времени», на мысль, что благодаря поэту мы поняли:

«... русский идеал – всецелость, всеприложимость, всечеловечность»¹⁰⁴.

Эстетическая позиция редакции «Времени», по мнению критика, выражена ясно:

⁹⁹ Там же.

¹⁰⁰ Там же.

¹⁰¹ Там же.

¹⁰² Там же.

¹⁰³ Там же.

¹⁰⁴ Там же.

«Она признает самым первым и неизбежным условием для искусства художественность, т. е. то, чего требуют и сторонники „теории искусства для искусства“, но в то же время считает что истинное, настоящее искусство и не может быть несовременным, понимая впрочем слово современность совсем не так, как понимают его утилитаристы, требующие от искусства одной пользы»¹⁰⁵.

Он заявляет о своем согласии с этим взглядом, который, может, «легко примирит оба крайних увлечения – эстетиков и утилитаристов»¹⁰⁶.

Оценивая два первых номера журнала, обозреватель «Северной пчелы» замечает:

«... в двух первых книжках редакция высказала много честных, благородных, широких взглядов, чуждых мелкого педантизма, грубой нетерпимости и всего того, что отличает фанатизм партии или деспотизм авторитета, всегда неприятно действующие на самостоятельного человека, который дорожит свободой мнений не только своих, но и чужих»¹⁰⁷.

Он характеризует «Время» как «новый деятельный орган с благородными стремлениями, с смелым взглядом», который «заслуживает полного сочувствия публики», и желает «ему полного успеха»¹⁰⁸.

В «Объявлении об издании журнала „Время“ в 1861 году» содержались критические высказывания в адрес «Русского вестника», которые были очевидны как для самого М. Н. Каткова, так и для его оппонентов. В обзоре новых журналов на 1861 год «Русский вестник» ответил на выпады «Времени». Анализируя отдел критики журнала Достоевских, М. Н. Катков с иронией отмечает:

«... половина книги бывает занята прекрасными критическими статьями, писанными приятным слогом, где тоном самого счастливого самодовольства разбираются все фазы нашей духовной жизни, объясняются как прежде была у нас гладь и ширь необъятная, как потом господствовал у нас французский классицизм, и как мы шалили романтизмом в балладах Жуковского, и как Полевой подсек классицизм, и как явился великий Белинский, и что такое Пушкин, и что такое Лермонтов, и как приезжала к нам Рашель воскресить классицизм, и как всё замыкается великим Островским»¹⁰⁹.

Смягчая издевательский тон по поводу статей А. А. Григорьева, автор оправдывается: мы «напротив, от души приветствуем этот журнал,

¹⁰⁵ Там же.

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ Там же.

¹⁰⁸ Там же.

¹⁰⁹ Наш язык и что такое свистуны // *Русский вестник*. 1861. № 3. С. 15.

в котором встречаем очень много сочувственного»¹¹⁰. По мнению критика, статьи в журнале, «если взять их отвлеченно, то есть без всякого отношения к тем предметам, о которых они толкуют, очень хороши»¹¹¹.

Что же понравилось критику? В статье «Г. –бов и вопрос об искусстве» он отдает должное анализу стихотворения «Диана», приводит подробную цитату из нее и замечает, что это «прелестное место», которое «нельзя прочесть иначе как с наслаждением», эти слова «так наркотически шевелят наш мозг, и приводят в такую приятную игру целую вереницу представлений»¹¹². По мнению критика, разбор прекрасен до тех пор, пока не сличишь его с предметом, он представляет его как «журчащий поток полупонятий, полуобразов и полутонов, который так непробудно усыпляет нашу маленькую русскую мысль, так одуряет наши невинные умственные движения и так неотразимо затопляет нашу скромную литературу»¹¹³. М. Н. Катков дает читателю совет: чтобы «приятно читать критические статьи», не сличайте «мыслей с их предметом и слов с их смыслом»¹¹⁴.

М. Н. Катков отмечает опубликованную во «Времени» «едкую статейку», в которой, собрав «все средства своей иронии и сарказма», журнал беспощадно казнит «Русский вестник»¹¹⁵. Этот отзыв критик пытается объяснить обидой «Времени» на высказывания «Русского вестника», оправдывается, что в них не было намека на «Время», а все сказанное относилось ко всей литературной критике. «Русский вестник» пытался найти во «Времени» соратника в борьбе с «Современником».

Еще один повод полемики «Времени» и «Русского вестника» – это скандал по поводу госпожи Толмачевой. О ее чтении «Египетских ночей» Пушкина грубо отозвался Камень–Виногоров (псевдоним П. И. Вейнберга). Двойственная позиция «Русского вестника», защищавшего и осуждавшего и Камня–Виногорова, и госпожу Толмачеву, стала поводом ряда полемических статей «Времени» с критикой позиции «Русского вестника».

В четвертом номере «Времени» был опубликован без подписи фельетон П. Кускова «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов». Этот фельетон вызвал критику в «Северной пчеле» и «Русском вестнике». В майском номере «Русского вестника» Катков, процитировав оценку Плюшкина из фельетона, замечает:

¹¹⁰ Там же.

¹¹¹ Там же.

¹¹² Там же. С. 16.

¹¹³ Там же.

¹¹⁴ Там же.

¹¹⁵ Там же. С. 18.

«Это превосходит все, что нам случалось встречать подобного, даже в нашей литературе. Тут не знаешь, чему удивляться: бессовестной ли фразе, которая не спотыкается ни на чем, наивности ли бессмыслия, или нравственной изломанности»¹¹⁶.

Возмущение Каткова вызывает описание сцены с разбойником, убившим двадцать три человека. Он восклицает:

«Какая ложь, какая пошлость!»¹¹⁷.

В статье «Литературная истерика» («Время», 1861, №7) Достоевский раскрыл имя анонимного автора фельетона «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов». Катков в «Заметке для журнала „Время“» упрекнул редакцию, что она не должна обижаться на критику, если сама критикует всех. Перечисляя претензии, которые были высказаны Достоевским в «Литературной истерике», Катков напомнил разбор статьи «Одного поля ягоды» («Русский вестник», 1861, № 5) во «Времени», который «не отличается ни особенною добросовестностью, ни знанием дела; рецензент находит в статье то, чего автор не говорит; спутывает мысли и факты, и опровергает произведения собственной фантазии»¹¹⁸. Он обращается к редакции «Времени»:

«Если вам суждения наши не нравятся, пишите против них, браните нас за эти суждения, но не браните нас за то, что мы позволяем себе их высказывать»¹¹⁹.

Полемика по поводу г-жи Толмачевой оживила русскую журналистику. Она, по выражению критика «Сына отечества», «снова стала входить в моду, стала воскресать. В ближайшее время редкий журнал не старается дать приличной потасовки своему собрату и литераторы охотно ломают перья в борьбе друг с другом»¹²⁰. Описывая состояние современной журналистики, автор так характеризует роль «Времени»:

«„Время“ ведет атаку против „Современника“ и „Отечественных записок“»¹²¹.

В статье «По поводу рассказов М. Вовчка» К. Н. Леонтьев выразил поддержку позиции «Времени», высказанной в статье «Г. –бов и вопрос об искусстве». Критик замечает, что в ней «хорошо защищаются

¹¹⁶ Одного поля ягоды // *Русский вестник*. 1861. № 5. С. 23.

¹¹⁷ Там же. С. 24.

¹¹⁸ Заметка для журнала «Время» // *Русский вестник*. 1861. № 7. С. 97.

¹¹⁹ Там же. С. 98.

¹²⁰ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 13. 26 марта. С. 393.

¹²¹ Там же.

искусство, и критику „Современника” отчасти доказано, что он бессознательно иногда служит ему»¹²². В статье К. Н. Леонтьева обнаруживается двойственное отношение к суждениям «Времени» о рассказах Вовчка. Так, критик полностью согласен с понимаем «Времени» рассказа М. Вовчка «Маша», но суждения о том, что «ни один рассказ не выдержан», что действительность у писателя «часто идеализирована, представлена неправдоподобно, а между тем вы сами знаете, что все это представленное неправдоподобным действительно может быть в жизни, и досадуете, что оно неоправдано», вызывают у него возражение.

Критик высказывает личную точку зрения:

«Для изучения красоты самое лучшее, мне кажется, собрать как можно больше личных вкусов и из них выводить среднюю величину, как делают в естественных науках. Предлагающий исследования своего собственного чувства, своего наслаждения, обязан быть искренним. Чувству же своему имеет, мне кажется, право доверяться особенно тот, кто был в первой молодости наивным читателем, увлекался сюжетом, учился жить по книгам, прошел потом через период совершенного охлаждения, терял даже веру в самобытную жизнь красоты, терял чувство к ней и, наконец, стал *опять что-то чувствовать*»¹²³.

В четырнадцатом номере «Сына отечества» дан отзыв о третьем номере «Времени», который, по мнению критика, «богат особенно критическим отделом»¹²⁴:

«Не скажем, что отдел этот был чем-то особенным в нашей литературе, или давал новый взгляд на историю ее, скажем, наоборот, скорей, что в нем более остроты, более выказывается желание задеть другого, чем сколько серьезного размышления, тем не менее, для желающего познакомиться с русской литературой он не лишен пользы; тем не менее, нельзя отвергнуть в нем бойкости, и живости или отнять интерес»¹²⁵.

Критический отдел определяет значение «Времени», которое состоит в том, что «начинают говорить о русской литературе и ее истории, что является вообще критика, что наша прошедшая литература перестает быть какой-то заброшенной книгой, не вызывающей сочувствия и слова»¹²⁶. Автор благодарен «Времени» за то, что оно следит не только за произведениями известных авторов, но и «хочет указать здесь все

¹²² Леонтьев К. Н. По поводу рассказов М. Вовчка // *Отечественные записки*. 1861. № 3. С. 10.

¹²³ Там же. С. 12–13.

¹²⁴ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 14. 2 апреля. С. 428.

¹²⁵ Там же.

¹²⁶ Там же.

пропущенное нашей критикой»¹²⁷. Вся остальная критика «любит обращать внимание только на произведения, в которых, при известной красоте формы, захвачены и животрепещущие вопросы времени, или в которых резкая постановка какой-либо общественной или нравственной мысли подает повод к возбуждению или разрешению тех или иных насущных вопросов времени. Произведения же, в которых эти вопросы поставлены менее резко, у ней пропадают из виду»¹²⁸. Это приводит к тому, что появляются поэты и писатели, которые не знакомы критике. По мнению обозревателя, отдел критики во «Времени» устранил эту несправедливость.

Статья Де-Пуле «Нечто о подводных камнях и утесах в нашей литературе» была реакцией на опубликованную во «Времени» анонимную рецензию на роман Авдеева «Подводный камень», автором или соавтором которой мог быть Достоевский [Захарова 2021b: 92]. Де-Пуле высказывает претензии, что автор статьи, объясняя идею романа, неправильно передал смысл его заглавия: «... каждая хорошенькая женщина есть *подводный камень* для мужчины»¹²⁹.

Критик возражает:

«Помилуйте, вы толкуете о названии романа! кто же теперь обращает внимание на названия! Да знаете ли, ведь это прием критики... критики... позвольте подсказать вам затрудняющий вас эпитет: критики *беззубой*»¹³⁰.

По мнению Де-Пуле, критик «Времени» беспощаден к Авдееву. Оспаривая его мнение, Де-Пуле дает высокую оценку роману:

«... меня занимает идея о литературных порогах, литературных подводных камнях и, как уже сказал я, мне нет никакого дела, в какой форме выразилась эта идея, в поэтической или критической»¹³¹.

В статье Де-Пуле нет детального анализа рецензии и самого романа. Статья «Времени» становится поводом для общих рассуждений о литературных типах и «подводных камнях» текущего литературного процесса.

В четвертом номере «Отечественных записок» была опубликована статья С. С. Дудышкина, в которой он вступил в полемику с журналом «Время» по поводу «народности». Автор отмечает, что «Время» объявляет,

¹²⁷ Там же.

¹²⁸ Там же.

¹²⁹ Де-Пуле М. Нечто о подводных камнях и утесах в нашей литературе // *Русская речь*. 1861. 6 апреля. С. 434.

¹³⁰ Там же.

¹³¹ Там же.

почти повторяя его слова, что народность – «всего дороже в русском народе»¹³². Это понятие показалось журналу «очень ясно и просто, и поэтому явилась статья, объясняющая этот предмет размашисто, бойко, смело, но без содержания»¹³³. Все, что было сказано во «Времени», по мнению критика, «оказалось старым, потертым от долгого употребления, заимствованным и весьма смутным»¹³⁴. Он подмечает, что во «Времени» есть ряд смелых афоризмов достойных войти в «сборник изречений Ивана Яковлевича»¹³⁵. Например, «что после Белинского ничего не сделано для уяснения народной литературы»¹³⁶. С. С. Дудышкин советует редакции уточнить этот вопрос у своего сотрудника А. Григорьева, автора статей о народности. Он обвиняет «Время» в непоследовательности суждений: «... у нас можно смотреть на один и тот же предмет, сегодня с восторгом, а завтра с бранью!»¹³⁷. Он упрекает, что так «говорят о том, чего сами не знают»:

«Теперь г. Григорьев говорит не то; но все-таки журналу не мешало бы узнать некоторые мнения Белинского, прежде нежели говорить о них. Дело в том, что редакции журнала „Время“, должно быть, ничего не читавшей после смерти Белинского, не был известен ход нашей литературы, который не только не умалил, но даже возвысил значение Белинского в критике и в то же время много сделал для науки о народности. Не зная всего этого, понятно, журнал не был знаком и с изысканиями новейших историков, так много сделавших для этого вопроса. Но всего больше обличает, что догадка наша справедлива – та смелость, с которою приступлено было к делу, та фельетонная размашистость русского солдата времен Суворова, который на вопрос, сколько звезд на небе, отвечал 100000, или что-то в этом роде, но очень определенное»¹³⁸.

С. С. Дудышкин дает совет редакции «Времени» – «прочсть сочинение г. Буслаева и посмотреть, так ли это понятие о народности просто, как кажется суворовским смельчикам»¹³⁹. Он ставит «Время» в один ряд с «Русским словом», с другими критиками, которые «с скромностью средневековых ученых отошли от вопроса, предложенного нашей эстетической критике: насколько в Пушкине *народного в настоящее*

¹³² <Дудышкин С. С.> Русская литература // *Отечественные записки*. 1861. № 4. С. 132.

¹³³ Там же. С. 133.

¹³⁴ Там же. С. 133.

¹³⁵ Там же.

¹³⁶ Там же.

¹³⁷ Там же.

¹³⁸ Там же. С. 133–134.

¹³⁹ Там же. С. 134.

время»¹⁴⁰. Критик считает, что понятие народности включает в себя политическую, общественную, нравственную и эстетическую стороны. Современное понимание народности он делит на четыре класса:

«Современник» – журнал, который «не видит в народности ничего, кроме вреда суеверий», второй – «видит в нем только политическую сторону (теперь), а прежде видел aberrацию ума», третий – «говорит общие места, нахватанные у славянофилов», остальные – «повторяют, что придется»¹⁴¹.

Дудышкин оспаривает суждения А. Григорьева о том, что в произведениях Пушкина выражены воззрения отцов, дедов и прадедов, что проявлением народности является стремление к семейному началу и т. д. Вместе с тем, критик увидел в статье Григорьева желание «объяснить вопрос», он считает, что изложенная во «Времени» точка зрения близка ему: «... это мы давно сказали»¹⁴².

Он указывает Григорьеву:

«... решайте вопрос на основании всех данных исторических, которые представила та и другая (имеются в виду славянофилы и западники – О. З.) сторона нашей литературы; решайте не только эстетически, но во всей ширине вопроса о народности, как его понимает современная наука»¹⁴³.

Оживление полемики радует автора рубрики «Листок» в «Сыне отечества»:

«Жизнь трогается, скажу я с своей стороны, и в литературе, и самые серьезные журналы превращаются в настоящее время в самых рьяных борцов и усердных свистунов. Когда накануне праздника мы получили зараз пять вышедших апрельских книжек разных журналов, мы невольно были поражены их взаимным спором, в котором, вместо всяких праздничных поздравлений, так усердно раздаются всевозможные пинки и делаются вызовы к битве и ответу»¹⁴⁴.

Автор утверждает, что «прошло время, когда сходило с рук всё, что только ни писалось, когда на полемику смотрели как на пугало, и господа редакторы и писатели считали за лучшее жить между собой в полном ладу и согласии, предоставляя друг другу идти каждому своей дорогой, и когда потому не вхожденъ в полемику заявлялось как одно из прекрасных свойств журнала»¹⁴⁵. Он находит закономерность в том, что эпохи оживления полемики приходят на смену периодам затишья:

¹⁴⁰ Там же.

¹⁴¹ Там же.

¹⁴² Там же. С. 138.

¹⁴³ Там же.

¹⁴⁴ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 18. 30 апреля. С. 545.

¹⁴⁵ Там же.

теперь «журналам как будто стало тесно, скучно между собой, им, видимо, в тоже время надоело и рапортоваться все одной и той же формальной фразой, что в журналистике де все обстоит благополучно, им хочется поспорить друг с другом, померяться силами. Такой оборот дела, впрочем, очень естественен. Утомившись от споров во времена Белинского, очень естественно было желать покоя и тиши, наскучив спокойствием, очень обыкновенная вещь, желать спора и полемики»¹⁴⁶. Видно, что современное состояние журналистики веселит стороннего наблюдателя, который живо и ярко описывает то, как журналы «спорят между собой самым жарким образом»:

«„Русский вестник“, порешив с „Московскими ведомостями“, заявил себя вообще против новых богов и высказал приличную нотацию „Времени“; „Время“, не оставшись с своей стороны в долгу у „Русского вестника“, чуть-чуть не в каждой строке своих критических статей хватает „Отечественные записки“ и „Современник“, по временам раздавая приличные эпитеты „Веку“ и др.; „Отечественные записки“, как бы уже выведенные из терпения, сразу выпалили против „Современника“, „Времени“, „Русского слова“, „Русской речи“; „Библиотека для чтения“ смеется над зефиротами „Северной пчелы“; „Современник“ шутит над фельетоном „С.-Петербургских ведомостей“, и укоряет г. Краевского в том, будто он, когда был казначеем общества для пособия нуждающимся литераторам, то печатал объявления этого общества крупным шрифтом, и всегда на видном месте, а как оставил эту должность, то лепит их где-то в углу и так мелко, что редко кто и заметит; „Русское слово“ воюет против „Отечественных записок“ и „Русской речи“»¹⁴⁷.

Из этого описания он делает вывод, что «все наши толстые журналы в большом контре между собой»¹⁴⁸, и признается, что смотрит на эту контру с удовольствием, «ожидая от него живого слова и движения в литературе»¹⁴⁹. Призывая к дальнейшему спору, он замечает, что в пробуждении полемики есть заслуга «Времени», которому «так хочется доказать, что оно – первое затеяло этот спор»¹⁵⁰.

После выхода апрельской книжки «Времени» на страницах «Сына отечества» возникли признаки разочарования в «юном журнале, так прекрасно начавшем свою карьеру», именно «тем, в чем мы особенно бы хотели видеть заслугу его» – в критических статьях¹⁵¹. Критик

¹⁴⁶ Там же.

¹⁴⁷ Там же.

¹⁴⁸ Там же.

¹⁴⁹ Там же.

¹⁵⁰ Там же.

¹⁵¹ Там же. С. 549.

высказывает солидарность с «Русским вестником», что во всех критических статьях «Времени» «больше фраз и слов, чем дела, именно на словах хорошо, а приложите к делу, выйдет пусто»¹⁵². Он сожалеет, что в ответе «Русскому вестнику» нет зрелости:

«... как не громовен ответ „Времени“ „Русскому вестнику“, и как не старается „Время“ уверить всех, что „оно идет по хорошей дороге“, – но тот, кто читал и этот его ответ и его критическое обозрение, невольно согласится, что „Время“ в этом случае очень и очень походит на того молодого юношу, который, вырвавшись из опеки родительской, на вольный свет с туго набитым бумажником и нарядившись франтом, так и смотрит на всех гоголем, щедро раздавая в своем фанфаронстве толчки всем и каждому, не замечая, к несчастью, только одного, что все это для людей солидных лишь смешно и грустно. И судьба таких франтиков большею частию незавидна: пофарсит, пофарсит юноша, смотришь, и налетит на какого-нибудь тяжеловесного господина, который так урезонит, что потом и на свет Божий совестно смотреть»¹⁵³.

Обозреватель «Сына отечества» советует «Времени» «не хвалить самому себя так восторженно и явно и не оправдываться так пусто, как делает оно»¹⁵⁴. В оправдании, что «Время» «журнал „говорливый и болтливый“, не желающий и быть ученым», мало смысла, и «оно скорей у места где-нибудь в суде, чем в литературе»¹⁵⁵. Свою критику автор мотивирует тем, что желает журналу успеха.

Вместе с тем автор обзора отмечает, что журнал стал «степеннее и не так уже щедро раздает боксы, как прежде»¹⁵⁶. В четвертом номере, по мнению автора обзора, критика досталась только «Русскому вестнику», «который, неизвестно почему-то, хуже бельма на глазу для „Времени“»¹⁵⁷. Критик объясняет поведение «Времени» молодостью издания, его неопытностью и отмечает, что эта перемена «очень естественна, так бывает со всеми, вступающими в свет с аристократической замашкой, так бывает и со всеми молодыми людьми, не искусившими жизни, и очень уверенными и в сладости их речей и в блеске их очей и в привлекательности усиков»¹⁵⁸. Он считает, что поначалу для журнала была характерна заносчивость, которая вредила «Времени», отнимала

¹⁵² Там же.

¹⁵³ Там же.

¹⁵⁴ Там же. С. 545.

¹⁵⁵ Там же.

¹⁵⁶ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 25. 18 июня. С. 729.

¹⁵⁷ Там же.

¹⁵⁸ Там же.

«цену у его статей, заставляла заподозривать серьезность взгляда и подозревать желание отделаться ничем, делала вообще этот журнал чем-то неопределенным, безличным, как безличен остряк, смеющийся над всем, что ему ни попадется»¹⁵⁹. Он повторяет: в «журнале с самого начала и было и теперь найдете много дельного и интересного, прочтете каждую книжку его с удовольствием», его литературный отдел составит конкуренцию кому угодно, не уступит и «Современнику», в нем нет ничего «стародавнего, издающего запах мертвечины»¹⁶⁰.

Автор обзора высказывает замечания в адрес литературного отдела четвертого номера «Времени». Так, он дает негативную оценку стихотворению П. Кукова, которое называет «поэзией мух», а самого автора – «бездарным» поэтом, который терзает «своими мотивами каждого хуже всяких насекомых»¹⁶¹, высоко оценивает стихотворения Мея и Майкова, очерк Семевского «Царица Прасковья» и роман Достоевского «Униженные и оскорбленные».

Автор «Современной хроники России» в апрельской книжке «Отечественных записок» отметил, что вместо должности литературного мирового посредника «Время» заняло почетную должность присяжного судьи, «беспристрастно изрекающего приговоры» другим журналам¹⁶². По этому поводу он пошутил: если «Русский вестник» будет «ловить мазуриков», а «Время» их судить, то «в литературных судах воцарится, наконец, правда»¹⁶³. К данному пассажиру «Отечественные записки» возвратились в следующем номере журнала. Автор «Заметки» попытался снять неловкость перед «Русским вестником», объясняя, что никого не хотел обижать своим определением¹⁶⁴.

В мае 1861 года в редакции «Времени» произошел конфликт между братьями Достоевскими и А. А. Григорьевым, который выразил несогласие с их оценкой Хомякова и других славянофилов и уехал в Оренбург, на время прекратив сотрудничество с журналом. Это изменение отношения редакции к Хомякову было отмечено критиком «Русского вестника» М. Лонгиновым, который упрекнул «Время» в противоречиях и непоследовательности:

«Недавно *Время* готово было проливать слезы над незначительною строфой любезного поэта г. Полонского, млело перед пластическими стихами

¹⁵⁹ Там же.

¹⁶⁰ Там же. 729–730.

¹⁶¹ Там же.

¹⁶² Современная хроника России // *Отечественные записки*. 1861. № 5. С. 21.

¹⁶³ Там же.

¹⁶⁴ Заметка // *Отечественные записки*. 1861. № 6. С. 69–72.

талантливому стихотворцу г. Мея, признало истинною поэзией мысли умного человека, умеющего высказывать их рифмованными строчками, наделило грациозную музу г. Фета целую отдельную областью поэзии и затем объявило, что Хомяков лишен всякого значения, как поэт»¹⁶⁵.

М. Лонгинов возразил: «... дерзаю „сметь свое суждение иметь” и вижу в стихотворениях Хомякова не стихоплетство»¹⁶⁶. Он напомнил Достоевскому, что Белинский в своих оценках был зачастую пристрастен и несправедлив, и привел в пример то, как последний, «прочитав *Бедных Людей* г. Достоевского, объявил Гоголя побежденным»¹⁶⁷; отрицал «всякий талант в Хомякове»¹⁶⁸, и редакция «Времени», несмотря на ряд оговорок, согласилась с этим мнением Белинского:

«... недавно в журнале *Время* было сказано, что он умышленно иногда не понимал Хомякова, что в разборе его стихотворений у него встречаются целые страницы придилок, что Белинский ошибался, считая Хомякова неискренно убежденным (шутка сказать!), а в заключение говорится, что в эстетическом отношении мнение Белинского все-таки справедливо, и Хомяков лишен всякого таланта»¹⁶⁹.

Положительный отзыв о шестой книжке «Времени» дал обозреватель «Сына отечества». Он характеризует «Время» как самый современный журнал, в котором довольно хороших статей¹⁷⁰. Кроме очерков «Ярмарочные сцены», романа «Униженные и оскорбленные», записок «От Босфора до Персидского залива», критик обращается к рецензии на «Энциклопедический словарь», которую он оценивает как дельную, соглашается со всеми недостатками словаря, на которые указал рецензент «Времени».

В сентябрьской книжке «Времени» автор «Сына отечества», кроме произведений Островского и Достоевского, выделяет «замечательные» статьи: «Учение Спинозы о Боге (Из истории философии Куно-Фишера)», разбор книги Корсака «О форме промышленности вообще и о значении домашнего производства в западной Европе и России» и статью «Вопрос о колонизации». Последняя статья особо выделена обозревателем благодаря ее «светлому взгляду на дело»¹⁷¹.

¹⁶⁵ Лонгинов М. Из современных записок // *Русский вестник*. 1861. № 6. С. 123.

¹⁶⁶ Там же.

¹⁶⁷ Там же. С. 128.

¹⁶⁸ Там же.

¹⁶⁹ Там же.

¹⁷⁰ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 29. 16 июля. С. 845.

¹⁷¹ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 41. 8 октября. С. 1204.

По мнению обозревателя «Сына отечества», октябрьская книжка «Времени» «представляет явление самое отрадное»¹⁷². Он предсказывает «Времени» большой успех:

«Чем больше мы читаем этот народившийся журнал, чем внимательнее следим за ним, тем более и более убеждаемся в том, что ему суждено занять одно из первых мест в ряду других наших ежемесячных изданий и сделаться скоро любимейшим публикой журналом»¹⁷³.

Единственным изданием, которое может составить конкуренцию «Времени», обозреватель называет «Современник». Критик отмечает, что редакция журнала «умела угадать потребности общества и умеет удовлетворять их»¹⁷⁴. Достоинством издания он считает то, что «несмотря на все разнообразие статей, есть всегда единство, связь, один общий колорит, и в тоже время статьи отличаются живостью и интересом, так что вы охотно перечитываете всю книжку от доски до доски»¹⁷⁵. Как отмечает обозреватель, в этой книжке, если перечислять интересные, надо назвать все статьи без исключения. Он предлагает читателю с любовью приветствовать этот номер журнала.

Такой же восторженный отзыв дан в «Сыне отечества» на ноябрьскую книжку «Времени», которая «отличается все тою же живостью и тем же тактом, как и предыдущие, тем более заслуживает внимания, что наша текущая журналистика вообще, неизвестно почему, но как-то заметно начинает впадать в какую-то сухость и вялость»¹⁷⁶. Рецензент особо выделяет и разбирает статью П. Казанского «Мысли по поводу современного движения в русском педагогическом мире».

В последнем номере «Сына отечества» за 1861 год обозреватель предлагает читателям подарки на Новый год, один из них – журнал «Время», «который был бы и жив и современен, который бы вы могли читать от доски до доски, без скуки и утомления, с равным интересом»¹⁷⁷. По мнению критика, журнал за короткий срок успел «выдвинуться вперед своею честностью и добросовестностью, своим прекрасным направлением и умевшей доказать как нельзя лучше, что дело не в громких объявлениях и не в списке сотен имен сотрудников, служащих вместо приманки: а в желании вести дело, – в благородстве,

¹⁷² Листок // *Сын отечества*. 1861. № 45. 5 ноября. С. 1334.

¹⁷³ Там же.

¹⁷⁴ Там же.

¹⁷⁵ Там же.

¹⁷⁶ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 50. 10 декабря. С. 1487.

¹⁷⁷ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 52. 24 декабря. С. 1560.

в добром желании служить на пользу обществу»¹⁷⁸. Он обращается к «честным людям» с призывом поддержать новый журнал и пожелать ему успеха. На его взгляд, провал «Времени» будет плохой рекомендацией современности.

«Сын отечества» был единственным изданием, которое в течение всего 1861 года выражало симпатию и поддержку журналу братьев Достоевских.

Публикуя в конце 1861 года статью М. Антоновича «О почве (Не в агрономическом смысле, а в духе “Времени”», «Современник» развернул новый этап полемики с журналом Достоевских.

Свою критику направления «Времени» М. Антонович начинает с понятия «почва», представление о котором, по его мнению, является «самым несчастным и поразительным примером того, как бессмысленные стереотипные фразы затемняют дело, производят сбивчивость в понятиях, отнимая у них отчетливость»¹⁷⁹. Он исходит из того, что «спорящие имеют неопределенное, не собственное, а тоже аллегорическое понятие о предмете спора, т. е. толкуют о том, чего никто из них не потрудился уяснить для себя»¹⁸⁰. Понятие лишено для Антоновича всякого смысла: для него это метафорические фразы, которые «своею неопределенностью могли обманывать всякого, вместо дела представляли бы один пустой звук, маску или ширму, удобно скрывающую за собой пустоту, недостаток внутреннего содержания», она «не кажется им дикою и бессмысленною потому единственно, что они привыкли к ней, свыклись с ее звуком или начертанием»¹⁸¹.

Историю понятия «почва» он начинает с вопроса о народности, однако понять и разрешить этот вопрос не помог даже фольклор, тогда и появилось новое понятие – «„почва”, еще более неопределенная и, значит, более удобная, чем „народность”»¹⁸². Иронизируя над общими местами «почвеннической» критики, Антонович полагает, что почвенникам нечего было бы сказать, если бы их попросили не использовать слово почва и его вариации. Критик утверждает, что «журналы, толкующие о почве почти на каждой странице, славящиеся своею почвенностью и укоряющие всех за оторванность от почвы», ничем не отличаются от других: «В них те же толки и рассуждения об искусстве

¹⁷⁸ Там же.

¹⁷⁹ Антонович М. О почве (Не в агрономическом смысле, а в духе «Времени») // Современник. 1861. № 12. С. 171.

¹⁸⁰ Там же.

¹⁸¹ Там же. С. 171–172.

¹⁸² Там же. С. 172.

для искусства, о жителях луны и драмах Мея, об идеалах истины, добра и красоты, которые мы слышали и прежде, когда еще и речи не было о почве»¹⁸³. Антонович считает, что в рассуждениях «Времени» о «почве» нет ничего особенного, что «люди, у которых постоянно на языке почва, сами стоят не на почве и не отличаются почвенностью»¹⁸⁴. Он требует, чтобы почвенники объяснили, «что значит отрывание от почвы и какими явлениями оно обнаруживается»; «какие черты представляет наука, по которым ее называют оторванной от почвы, и какой вид она должна была бы иметь, если бы она коренилась в почве и всасывала в себя почвенные начала?»¹⁸⁵. Антонович заключает, что ни он, ни читатели не дождутся от почвенников разъяснений, поэтому читатель должен сам найти ответы.

В использовании слова «народ» он видит большой шаг вперед: «... на место совершенно пустой фразы явилось слово, имеющее хоть какое-нибудь определенное содержание»¹⁸⁶. Как замечает Антонович, в фразе «соединение, или сближение с народом» «все-таки видна мысль, у которой ясны по крайней мере элементы, хоть и не выражено точно их взаимное отношение»¹⁸⁷. Он указывает на необходимость провести «резкую черту между народом, который должен сблизиться, и народом, с которым должно сблизиться»¹⁸⁸, критикует оппонентов за то, что они не обращают внимание, что общество «состоит не из двух, а пожалуй из целого десятка народностей»; что они «делят народности не по тем признакам, которыми обыкновенно определяется народность, а по признакам случайным, по развитию и образованию, так сказать, по степени учености»¹⁸⁹; что для них не существуют народности «действительные, различные между собою по натуре, по складу ума и характера»; что их рассуждения об обществе сводятся к делению его только на «две части: с одной стороны верхний слой его, куда относятся более или менее образованные и полуобразованные люди, занимающиеся науками, искусствами, ведущие жизнь на европейский манер, имеющие право или претензию называть себя цивилизованными людьми; с другой стороны, масса простого народа, без науки, искусства, культуры и других атрибутов цивилизации»¹⁹⁰.

¹⁸³ Там же. С. 174.

¹⁸⁴ Там же.

¹⁸⁵ Там же.

¹⁸⁶ Там же. С. 175.

¹⁸⁷ Там же.

¹⁸⁸ Там же.

¹⁸⁹ Там же. 175–176.

¹⁹⁰ Там же. С. 176.

Антоновича раздражает утверждение почвенников, что русский народ сознал «свое всемирно-историческое призвание и общечеловеческое назначение»¹⁹¹. По его мнению, неизвестно, в чем состоит это назначение.

Антонович согласен с почвенниками, что образование и грамотность нужны народу, но не видит в этой идее ничего нового. Он призывает почвенников заботиться не только об образовании и грамотности народа, но и «об улучшении его внешнего быта и увеличении его материального благосостояния. Не побрезгайте тем, что оно материальное, прозаическое, грубое; оно много значит, и от него многое зависит, между прочим и ваша усиленная грамотность и образование»¹⁹².

Первым М. А. Антоновичу ответил Н. Н. Страхов. Под псевдонимом Н. Косица он опубликовал полемическое возражение в форме «Письма в редакцию „Времени“ по поводу статьи Г. Антоновича „О Почве“. (Современник 1861, декабрь)» под заглавием «Пример апатии». По мнению Страхова, статья Антоновича выражает позицию не только автора, но и журнала в целом. Отметив, что его оппонент пытается внушить читателям мысль, что «все толки о почве – одне фразы», что в статье нет «особенного жара», Н. Н. Страхов иронично спрашивает: «Какой может быть жар в битве с фразою? <...> Зачем говорить о фразах?»¹⁹³. По мнению критика «Времени», говорить нужно о деле:

«Берите не слово, а мысль своих противников; чтобы поражение было глубокое, нужно бить в глубину, а не останавливаться на поверхности. Скорее следует придать противникам всю важность, какую они могут иметь, чем уверять читателей, что они только невинные составители фраз»¹⁹⁴.

Страхов подчеркивает, что критика почвенничества у Антоновича лишена глубины, концептуальности, он смотрит на предмет «небрежно и презрительно»¹⁹⁵. Н. Н. Страхов дает развитие и истолкование идейной метафоры журнала:

«Почва подразумевает то, что растет на ней. Что растет, то имеет жизнь. Все живое – развивается, имеет возрасты, достигает зрелости и проч. Живое существо имеет члены. Между членами живого тела существует органическая связь. Вообще живые существа суть организмы. Только организмы имеют

¹⁹¹ Там же. С. 181.

¹⁹² Там же. С. 188.

¹⁹³ Косица Н. <Страхов Н. Н.> Пример апатии (Письмо в редакцию «Времени» по поводу статьи г. Антоновича «О Почве». Современник 1861, декабрь) // Время. 1862. № 1. С. 62.

¹⁹⁴ Там же.

¹⁹⁵ Там же.

больные места; только они вырождаются, заражаются, болят и выздоравливают и т. д. и т. д.»¹⁹⁶.

Он упрекает Антоновича, что тот «легкомысленно вырывает из этой сферы понятий одно слово *почва* (которое конечно для него не более как фраза) и толкует об нем почти так, как-будто оно составляет выдумку журнала „Время”»¹⁹⁷. Н. Н. Страхов полагает, что «г. Антонович незнаком с нашею литературою вообще и с „Временем” в особенности. <...> он очень мало интересуется литературою...»¹⁹⁸. Он упрекает критика «Современника» в том, что тот не потрудился найти ответы на вопросы, которые задал:

«... помилуйте! ведь это уже давно известно, что задавать вопросы ничего не стоит, и что гораздо труднее отвечать на них»¹⁹⁹.

Обратив внимание на противоречия оппонента, критик «Времени» произнес свой приговор статье Антоновича:

«„Современник” весь, целиком составляет один большой пример большого противоречия»²⁰⁰.

В поддержку «Времени» выступил А. Милюков. В статье в «Светоче» он указывает на то, что «„Современник” бросился на „Время” и напал на любимое словцо этого журнала вместо того, чтобы напасть на смысл его и доказать будущую беспочвенность искомой „Временем” почвы»²⁰¹. А. Милюков упрекает «Время» за недостаточное разъяснение понятия почвы. Он даже уверен, что журнал и далее будет отодвигать разрешение этого вопроса на следующий год:

«... мы ничего и не ждали по этому вопросу от „Времени”; мы знали, что его разрешит время, да только не это; а со временем ответы времени попадут и в журнал „Время”, в этом нет никакого сомнения»²⁰².

Резюмируя свои наблюдения, А. Милюков признается, что и сам до конца не знает, что это такое «почва».

На возражения Страхова и Милюкова снова ответил Антонович. В статье «О духе „Времени” и о г. Косиц., как наилучшем его выражении» он вернулся к критической оценке «Времени»:

¹⁹⁶ Там же.

¹⁹⁷ Там же. С. 63.

¹⁹⁸ Там же. С. 64.

¹⁹⁹ Там же.

²⁰⁰ Там же. С. 75.

²⁰¹ <Милюков А. П.> О почве не в агрономическом смысле и не в духе «Времени», но также и не в духе «Современника» // *Светоч*. 1862. № 2. С. 13–14.

²⁰² Там же. С. 15.

«Оно надавало много самых лестных обещаний, возбудило много надежд; во все продолжение своей годичной деятельности отличалось самоуверенностью, похожей на заносчивость, удивительным самохвалством, резкостью, которая во многих случаях переходила в бранчивость; оно всегда говорило как „власть имеющее“, уверяло, что оно только одно поняло истинные потребности нашего времени и стоит на твердой, непоколебимой почве, а все другие журналы беспощадно разило за то, что они оторвались от почвы и летают в облаках»²⁰³.

Антонович относит «Время» к журналам, которые захотели чем-то отличаться от других, захотели «выдумать себе какое нибудь направление, не похожее на все доселе существовавшие, и во что бы ни стало решилось формулировать его, чтобы из направления вышел какой-то осязательный предмет, на который постоянно можно было бы указывать пальцем, как на свое отличительное достоинство и преимущество, подобно тому, как некогда чиновники в доказательство своей честности указывали на „беспорочную пряжку“»²⁰⁴. «Время» взялось примирить западников и славянофилов, решило «идти средним, истинным путем»²⁰⁵. Однако, по мнению Антоновича, остановившись на почве, «Время» не достигло в этом успеха:

«... на самом деле оно „выводит мыслети“ и делает зигзаги, ударяясь то в ту, то в другую сторону»²⁰⁶.

Антонович упрекает «Время» за то, что, разделив авторитеты на «общие и частные», журнал Достоевских критикует «только последних, а перед первыми благоговееет»²⁰⁷, обвиняет критиков и публицистов «Времени», что они совершенно запутались в понятиях и оказались «отчаянными и вздорными теоретиками»²⁰⁸, уверяет, что его критика направлена «только против непроницаемости и туманности его возрений, которые для него самого составляют сфинкс и загадку»²⁰⁹. По его мнению, «туманность» «Времени» произошла от желания примирить западников и славянофилов, но примирение оказалось невозможно, поэтому журнал братьев Достоевских стал одновременно и западническим, и славянофильским:

²⁰³ Антонович М. О духе «Времени» и о г. Косиц, как наилучшем его выражении // *Современник*. 1862. № 4. С. 248.

²⁰⁴ Там же. С. 250.

²⁰⁵ Там же.

²⁰⁶ Там же. С. 251.

²⁰⁷ Там же. С. 251–252.

²⁰⁸ Там же. С. 261.

²⁰⁹ Там же. С. 262.

«... у него слова славянофильские, а мысли западнические, или одна половина мыслей такая, а другая совершенно иная»²¹⁰.

Антонович критикует «Время» за то, что оно «горой стоит за философию Гегеля, т. е. рабски следует западникам, которые благоговели перед Гегелем, и считает его философию последним словом человеческой премудрости <...> Мы же, с своей стороны, не признаем философии Гегеля, подобно славянофилам, и будучи безусловными поклонниками Запада, отрицаем западного Фишера, не поклоняемся ему, а утверждаем, что он плохой философ, хуже самого Гегеля, как бы ни старалось защищать его „Время”»²¹¹.

Возвращаясь к полемике о «почве», Антонович учит редакцию:

«А ведь почва – ваша специальность, составляет направление вашего журнала и вас поэтому не должны смущать никакие вопросы о почве. Кто понимает предмет ясно и всесторонне, тот будет смело отвечать на все ваши недоумения относительно его; если же и не решит какого-нибудь вопроса, то во всяком случае сделает вам точное и подробное определение предмета»²¹².

В статьях «Времени» Антонович находит ряд положений, с которыми он согласен:

«... „для сближения с народом образованных классов нужно: 1) распространить грамотность в народе; 2) облегчить общественное положение нашего мужичка; 3) нужно несколько преобразоваться нравственно и нам самим”»²¹³.

Отмечая, что во «Времени» есть анонимные статьи, которые являются редакционными, Антонович обратил внимание, что в них выражается мнение не конкретного сотрудника, а всей редакции. Мнение редакции может противоречить личному мнению сотрудника. Приводя в пример статью «Г. -бов и вопрос об искусстве», Антонович противопоставляет в ней мнения автора и редакции²¹⁴, не отдавая себе отчета в том, что это одно лицо: статья написана редактором «Времени» Ф. М. Достоевским.

В конце 1862 года изменилось отношение редакции «Сына отечества» к «Времени». Хвалебные отзывы, которые печатались на страницах

²¹⁰ Там же. С. 263.

²¹¹ Там же. С. 264.

²¹² Там же. С. 266.

²¹³ Там же. С. 270.

²¹⁴ Там же. С. 274.

издания вплоть до сентября 1862 года²¹⁵, сменила полемика. Так, «Сын отечества» поддержал критику «Современника» по поводу направления «Времени», дал резкую оценку «Объявлению об издании журнала „Время“ на 1863 год», которое «поневоле поражает каждого; в нем такие рассказыываются ужастии и страсти, что так и замирает сердце в груди»²¹⁶. С иронией обозреватель передает основные идеи, изложенные в объявлении. Он вспоминает, что Достоевский предполагал спорить только с такой категорией «недоброжелателей», как теоретики и доктринеры, к ним относятся «администраторы и кабинетные изучатели западных воззрений», которые нападали на «Время» «с яростию и обвиняли редакцию в фразерстве»²¹⁷. Утверждения Достоевского вызывают удивление у обозревателя «Сына отечества»:

«... где-ж, спрашиваем невольно, происходила вся эта борьба? Где-ж это множество недоброжелателей? Где-ж этот ясно выказанный идеал? Сколько помним, особенной борьбы не было, а идеала никто и не приметил»²¹⁸.

Он оспаривает суждения редакции в своем саркастическом изложении, что «Время» идет «несравненно глубже и дальше других», «мы первые де желаем, чтобы выход нашего общества на настоящую дорогу совершался без скачков», что «с нынешнего года наша прогрессивная жизнь, наш прогрессизм должен принять другие формы и даже в иных случаях и другие начала», «мы ненавидим пустых, безмолвных крикунов, позорящих все, до чего они ни дотронутся, марающих лишь чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют; свистунов, свистящих из хлеба и только для того, чтобы свистать; выезжающих верхом на чужой украденной фразе как верхом на палочке и подстегивающих себя маленьким прутиком рутинного либерализма», «мы не боимся

²¹⁵ См. статьи: Листок // *Сын отечества*. 1862. № 28. 2 февраля. С. 313–319; Обзор журналов // *Сын отечества*. 1862. № 55. 5 марта. С. 438–439; Листок // *Сын отечества*. Воскресный выпуск. 1862. № 14. 8 апреля. С. 313–319; Текущая журналистика // *Сын отечества*. Воскресный выпуск. 1862. № 16. 22 апреля. С. 362–364; Текущая журналистика // *Сын отечества*. Воскресный выпуск. 1862. № 19. 13 мая. С. 433–436; Текущая журналистика // *Сын отечества*. Воскресный выпуск. 1862. № 25. 24 июня. С. 579–580; Текущая журналистика // *Сын отечества*. Воскресный выпуск. 1862. № 30. 29 июня. С. 699–700; Текущая журналистика // *Сын отечества*. Воскресный выпуск. 1862. № 34. 26 августа. С. 789–792; Текущая журналистика // *Сын отечества*. Воскресный выпуск. 1862. № 36. 16 сентября. С. 863–864; Текущая журналистика // *Сын отечества*. Воскресный выпуск. 1862. № 44. 18 ноября. С. 1105–1108.

²¹⁶ Текущая журналистика // *Сын отечества*. Воскресный выпуск. 1862. № 41. 14 октября. С. 958.

²¹⁷ Там же.

²¹⁸ Там же.

авторитетов и презираем лакейство в литературе, а этого лакейства у нас еще много, особенно в последнее время, когда все в литературе поднялось и замутилось» и т. п. В грубой форме он дает наставления издателю:

«... вы лучше сделали бы, г. редактор, если бы не писали таких объявлений; ваше дело идет хорошо, – и довольно с вас, а рекламы предоставили бы г. Коршу <...> Хвалить же вас отдали бы на волю других и, поверьте, мы первые готовы отдать вам должное»²¹⁹.

Резкий отзыв обозреватель постарался смягчить, похвалив содержание сентябрьской книжки «Времени», хотя и добавил, что «если бы потребовалось, мы ею же самой могли бы обличить редакцию в противоречии тому, что сказано ею в объявлении»²²⁰.

Полемика «Времени» с другими изданиями обострилась в 1863 году. Во «Времени» были опубликованы полемические статьи:

– «Славянофилы, черногорцы и западники. Самая последняя перепалка („День” № 35, „Современное слово” № 86)» («Время», 1862, № 9),

– «Щекотливый вопрос. Статья со свистом, с превращениями и переодеваниями» («Время», 1862, № 10),

– «Голос за петербургского Дон-Кихота. (По поводу статей г. Театрина)» (Подпись: Ч. Комитетский, «Время», 1862, № 10),

– «Тяжелое время. (Письмо в редакцию „Времени”» (Подпись: Н. Косица, «Время», 1862, № 10),

– «Нечто об авторитетах (Письмо в редакцию „Времени”» (Подпись: Н. Косица, «Время», 1862, № 12),

– «Необходимое литературное объяснение, по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» («Время», 1863, № 1),

– «Журнальная заметка о новых литературных органах и о новых теориях» («Время», 1863, № 1), «Журнальные заметки. I. Ответ „Свистуну”, II. Молодое перо. По поводу литературной подписи. „Современник” № 1 и 2» («Время», 1863, № 2),

– «Опять „Молодое перо”. Ответ на статью „Современника” „Тревоги „Времени” („Современник”, март, № 3)» («Время», 1863, № 3).

Статьи были ответами «Времени» на публикации «Современника», «Русского слова», «Искры» и других либеральных изданий.

Критик «Русского слова» в статье «Хлебная критика „Времени” (Посвящается М. М. Достоевскому)» отвечает на «Необходимое литературное объяснение, по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» («Время», 1863,

²¹⁹ Там же. С. 959.

²²⁰ Там же.

№ 1). Автор статьи выражает сочувствие литературе, «которую так бесцеремонно доят, и хлебных господ, которые вносят привычки толкучего рынка в нашу безответную журналистику»²²¹. «Главного хлебного торгоша» критик отыскал в издании Достоевского – это А. Григорьев. По мнению «Русского слова», «почва „Времени“ есть прежняя почва „Москвитянина“»²²². Он заявляет, что именно А. Григорьева характеризует «Время»: «Самый отъявленный свистун из хлеба их надует и они ему вверятся и примут его в сотрудники»²²³. В подтверждение своего мнения он приводит номера страниц из «Времени» и «Москвитянина» 1853 года, которые, как он считает, совпадают. Он советует редактору тщательно следить за тем, что печатает его сотрудник, который перепечатывает свои прежние статьи. Этот упрек был повторен в третьем номере «Русского слова»²²⁴. В «Библиографическом листке» этого же номера дан ироничный отзыв о публикации отрывка книги Забелина «Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст.»: «Хорошее, блаженное время нашей страны! Безмятежная, бесхитросная Жизни! Знай себе молись, да пей, да кушай, да спи, – чего и желать больше? – Да, наши предки ничего и не желали больше»²²⁵.

В третьем номере «Современника» была опубликована статья Салтыкова-Щедрина «Тревоги „Времени“», которая была ответом на статью Ф. Достоевского «Журнальные заметки. I. Ответ „Свистуну“, II. Молодое перо. По поводу литературной подписи. „Современник“ № 1 и 2» («Время», 1863, № 2). В начале статьи приведены строчки из стихотворения Ф. Берга, которые являются, по мнению Щедрина, «язвительной» характеристикой «Времени»:

«Из-за моря птицы прилетали,
Прилетали, в роще толковали»²²⁶.

Птицы – это М. Достоевский, А. Григорьев, гг. Страхов и Косица, которые, говоря о почвенничестве, «толковали чепуху»²²⁷. Он придумывает продолжение стихотворения, в котором изображает Достоевских и Косицу, выводящих подобное себе потомство.

Щедрин рад, что он уязвил оппонента, заставил «Время» отвечать ему. Он насмешливо замечает, что «Время» встревожилось:

²²¹ *Старый свистун. Хлебная критика «Времени» // Русское слово. 1863. № 2. С. 1.*

²²² Там же. С. 2.

²²³ Там же. С. 3.

²²⁴ <Минаев Д. Д.> Дневник темного человека // *Русское слово. 1863. № 3. С. 6–7.*

²²⁵ Библиографический листок // *Русское слово. 1863. № 2. С. 13.*

²²⁶ Н. Щедрин <Салтыков М. Е.> Тревоги «Времени» // *Современник. 1863. № 3. С. 195.*

²²⁷ Там же.

«Все ему кажется, что кто-то его притесняет, кто-то хочет утянуть у него пару подписчиков. Кто тебя, душенька? Кто тебя ушиб? Топни, душенька, топни ножкой!»²²⁸.

Как будто разговаривая с маленьким ребенком, он прибавляет:

«Вы ошибаетесь, „Время“; никто вас не ушиб. Никто вас не притесняет, никто даже не думает о вас»²²⁹.

Уверяя «Время» в незначительности заслуг, Щедрин пишет:

«Вся ваша деятельность за два года ограничилась тем, что вы открыли каких-то „свистунов, свистящих из хлеба, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма“»²³⁰.

Он пытается уверить оппонента, что его критику никто не воспринимает всерьез и не обижается на нее. Все выпады «Времени» он оценивает как прелестную тупость:

«Что ж тут обидного, что вы упомянули о каких-то свистунах, свистящих из хлеба? Это тупо и больше ничего; это так тупо, что даже прелестно, но это не прелестнее всего прочего, что вы пишете в своем журнале»²³¹.

Ему кажется, что «Время» старается намеренно обидеть, уязвить оппонентов, хочет «живьем проглотить»:

«Бог знал вашу злобу и, чтобы не допустить вас обижать других, обидел вас самих, т. е. не дал вам ни умения, ни остроты ума, ни – главное – фонда никакого, из которого можно было бы отправляться, чтобы наносить удары врагам»²³².

Щедрин пытается убедить «Время» в несостоятельности, что все успехи журнала – заслуга «Современника», «который некоторое время заблуждался, что из вас может нечто выйти, и занимался наставлением вас на путь истинный»²³³. На эти колкости Щедрина Ф. Достоевский ответил статьей «Опять „Молодое перо“», в которой он остался верен юмористическому тону полемики.

В 1863 году «Время» стало предметом сатиры «Искры». Так, в статье «Наша любовь к народу» автор высмеивает понятие народность, отношение журналов и их редакторов к народу. В одном ряду со «Временем» оказались такие издания, как «Народная Беседа», «Грамотей», «Домашняя Бе-

²²⁸ Там же. С. 196.

²²⁹ Там же.

²³⁰ Там же. С. 197.

²³¹ Там же.

²³² Там же. С. 198.

²³³ Там же. 201.

седа». Автор иронично замечает, что в обществе популярна любовь к народу, но журналисты, проповедуя ее, не пытаются понять народ, его нужды:

«У нас развилась необыкновенно – сильная любовь к народу; все идут за народ, всё делают во имя народа. Наша журналистика в этом случае представляет самое умиленное зрелище. Посмотрите, как горяча, как бескорыстна эта любовь во всех, начиная с Виктора Ипатьевича Аскочевского и Каткова до Льва Камбека и журнала „Время“. Одни гонят прогресс во имя народа, другие требуют английских реформ, уверяя, что народу это угодно и что он не послушает там этих, как их... третьи пишут „Ерунду“ или кричат: „от почвы оторвались, народности держитесь, народности!“ Четвертые вдруг провозглашают, что народ требует, чтоб его секли, пятые ещё что-нибудь...»²³⁴.

После публикации в первом номере «Времени» статьи Достоевского «Необходимое литературное объяснение, по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» в «Искре» была напечатана карикатура под названием «Мелкоплавающие и близорукие»²³⁵.

В рубрике «Домашний театр „Искры“» была напечатана сатирическая пьеса «Ванна из „почвы“ или галлюцинации М. М. Достоевского», подписанная псевдонимом «Хлебный свистун». В примечании к пьесе приведено письмо автора, который не мог понять, кто адресат критики в журнале «Время» и принял все сказанное на свой счет:

«Нужно же кому-нибудь принять ее на свой счет, хоть бы для того, чтобы не погибла она в пучине неизвестности, никем не прочитанная и неоцененная по достоинству, хоть бы для того, чтобы доставить удовольствие г-ну Достоевскому тем, что находятся же темные личности, которые отзываются на самые пустые, бесцельные и бесцветные статейки его вообще бесцветного журнальчика»²³⁶.

Письмо Д. Д. Минаева – просьба опубликовать пьесу, которая должна уберечь от разочарования М. М. Достоевского, на «полемиические статьи которого не отвечает ни один из жителей планеты, называющейся землей»²³⁷.

Почва как направление журнала «Время» стала предметом осмеяния в карикатурах, размещенных на первой странице девятого номера²³⁸, в шестнадцатом и двадцать девятом номерах «Искры»²³⁹.

²³⁴ Наша любовь к народу // *Искра*. 1863. № 2. 11 января. С. 24.

²³⁵ Мелкоплавающие и близорукие // *Искра*. 1863. № 7. 22 февраля. С. 95 (см. иллюстрацию № 4, герои карикатур – М. М. Достоевский и Н. Н. Страхов-Косица).

²³⁶ Ванна из «почвы» или галлюцинации М. М. Достоевского // *Искра*. 1863. № 7. 22 февраля. С. 105.

²³⁷ Там же.

²³⁸ Карикатура // *Искра*. 1863. № 9. 8 марта. С. 125 (см. иллюстрацию № 6).

²³⁹ *Степанов Н.* [Без названия]; «Время», напуганное своей тенью // *Искра*. 1863. № 16. 3 мая. С. 226 (см. иллюстрации № 7 и 8) и Петербург летом // *Искра*. 1863. № 29. 2 августа. С. 390 (см. иллюстрацию № 5).

В двенадцатом номере «Искры» Н. С. Курочкин создает собирательный образ Сидора Карпыча, «россиянина, толкующего о делах, хлопотующего, суетящегося»²⁴⁰. Автор упрекает Сидора Карпыча, что он так и останется «дитей», поскольку не смотрит «никогда в корень дела», рассматривает «мир сей через <...> золотые фантазии, а не через разум, искушенный в горниле житейского опыта»²⁴¹. Если бы Сидор Карпыч читал «Время», то, по мнению Курочкина, увидал бы, что «в России пока существует общая беспочвенность, что почва только еще изыскивается нашими учеными и литераторами, что именно с той целью, чтобы отыскать, во что бы то ни стало, эту почву, „Время“ явилось и на свет Божий»²⁴².

Насмешки над «почвой», метафорой и идеологемой «Времени» стали общим местом сатирической и юмористической журналистики.

В четвертом номере журнала «Время» за 1863 год была опубликована статья Страхова «Роковой вопрос» под псевдонимом «Русский», о польском восстании и об исторических отношениях России и Польши. Статья вызвала возмущение «Московских ведомостей» своей, как показалось, антипатриотичной позицией. Н. Н. Страхов позже объяснял, что это лишь первая статья из цикла, во второй статье должно было быть опровержение польской точки зрения на Россию. Но до второй статьи дело не дошло, оправдания Страхова были отвергнуты. Журнал был запрещен, цензура наложила запрет на продолжение дискуссии²⁴³.

3.

Приступая к изданию «Времени», братья Достоевские понимали, что главным отделом журнала является литературно-художественный. Чтобы журнал имел успех, нужен роман, и Достоевский представил его в первых семи номерах «Времени».

Одним из первых, кто откликнулся на роман «Униженные и оскорбленные», был А. Н. Плещеев, который отметил, что роман «сильно заинтересовывает читателя и обещает далеко оставить за собой последние произведения автора: „Село Степанчиково“ и „Дядюшкин Сон“»,

²⁴⁰ <Курочкин Н. С.> Хроники прогресса // Искра. 1863. № 12. 7 апреля. С. 165.

²⁴¹ Там же.

²⁴² Там же.

²⁴³ Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. С.-Петербург, 1883. С. 245–258.

произведения, в которых он, как нам кажется, пошел не по своему пути. Что бы ни говорили почитатели таланта г. Достоевского и как бы ни думал он сам, а комизм и юмор – вовсе не его призвание»²⁴⁴. Критик и поэт называет лучшими произведениями Достоевского романы «Бедные люди», «Неточка Незванова», «Белые ночи». Он вспоминает глубокие впечатления, которые произвели они на публику, и утверждает, что читатели «не забыли бы их никогда»²⁴⁵. Главными и существенными свойствами таланта Достоевского Плещеев считает «патетизм» и «страстность». Новый роман писателя напомнил критику прежние произведения:

«... те же, хватающие за сердце, ноты слышны в нем... даже и тот фантастический колорит, как будто навеянный на него одним из любимых его писателей, Гоффманом, встречается здесь, в первой же сцене... Фантастичность вредит таланту г. Достоевского... Она только внешняя: в нее облечены действительные, живые явления»²⁴⁶.

А. Н. Плещеев отмечает психологический анализ, который «не мешает роману иметь и внешнюю занимательность»²⁴⁷.

Положительное впечатление роман произвел на Н. Г. Чернышевского. По мнению критика, первая часть «Униженных и оскорбленных» возбуждает «сильный интерес ознакомиться с дальнейшим ходом отношений между тремя главными действующими лицами»²⁴⁸. Он предсказывает, что роман Достоевского будет «одним из лучших, какие являлись у нас в последние годы», если личность «счастливого любовника задумана очень хорошо и если автор успеет выдержать психологическую верность в отношении между ним и отдавшеюся ему девушкою»²⁴⁹. Критик отмечает правдивость рассказа в первой части, которая заключена в том, что «странное соединение» «гордости и силы в женщине с готовностью переносить от любимого человека жесточайшие оскорбления, одного из которых было бы, кажется, достаточно, чтобы заменить прежнюю любовь презрительною ненавистью», встречается часто²⁵⁰. Он подробно останавливается на анализе драматического образа героини:

²⁴⁴ П. <Плещеев А. Н.> Литературные заметки. Новые журналы. Новый роман г. Ф. Достоевского // *Московские ведомости*. 1861. № 13. 17 января.

²⁴⁵ Там же.

²⁴⁶ Там же.

²⁴⁷ Там же.

²⁴⁸ <Чернышевский Н. Г.> Новые периодические издания. «Время», журнал политический и литературный, № 1 // *Современник*. 1861. № 1. С. 85.

²⁴⁹ Там же. С. 86.

²⁵⁰ Там же.

«Наташа с самого начала предчувствует, что человек, которому отдается она, не стоит ее; <...> что он готов бросить ее, – и все-таки не отталкивает его, – напротив, бросает для него свою семью, чтобы удержать его любовь к себе, поселившись вместе с ним»²⁵¹.

Чернышевский замечает, что среди читателей будут те, кто цинично скажут, что «у Наташи были свои расчеты, что загадка разъясняется во все не к чести Наташи»²⁵², но критику симпатичен образ героини. В его словах чувствуется сочувствие к ней и женщинам в подобной ситуации:

«К несчастью слишком многие из благороднейших женщин могут припомнить в собственной жизни подобные случаи, и хорошо, если только припомнить как минувшую, уже чуждую их настоящего историю»²⁵³.

А. Григорьев противопоставил «Униженных и оскорбленных» произведениям 1840-х годов. Критик пишет, что еще при жизни Гоголя реализм раздался «скорбным и притом в Достоевском могущественным стоном сентиментального натурализма, стоном болезненным и напряженным, который может быть только теперь, в последнем произведении высоко даровитого автора „Двойника“, в „Униженных и оскорбленных“ переходит в разумное и глубоко симпатическое слово»²⁵⁴.

Восторженные отзывы роман «Униженные и оскорбленные» получил в обзорах «Сына отечества». Критик с нетерпением следил за продолжением романа²⁵⁵. По его мнению, роман «с каждой частью становится всё интереснее и всё ярче, и ярче высказывает талант давно известного публике автора»²⁵⁶. Оценивая роман как произведение «сильного и замечательного таланта», он пообещал дать его подробный разбор²⁵⁷.

Такой критический анализ опубликован в двух номерах «Сына отечества» (36 и 37). Его автор А. Хитров выбирает эпиграфом к разбору отзыв Белинского о Достоевском в 1846 году:

«Г. Достоевский – необыкновенный и самобытный, который сразу, еще первым произведением своим, резко отделился от всей толпы наших писателей,

²⁵¹ Там же.

²⁵² Там же.

²⁵³ Там же.

²⁵⁴ Григорьев А. Реализм и идеализм в нашей литературе (по поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева) // *Светоч*. 1861. № 4. С. 11.

²⁵⁵ См. статьи: Листок // *Сын отечества*. 1861. № 3. 15 января; Листок // *Сын отечества*. 1861. № 8. 19 февраля; Листок // *Сын отечества*. 1861. № 13. 26 марта; Листок // *Сын отечества*. 1861. № 14. 2 апреля; Листок // *Сын отечества*. 1861. № 18. 30 апреля; Листок // *Сын отечества*. 1861. № 25. 18 июня.

²⁵⁶ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 25. 18 июня. С. 730.

²⁵⁷ Листок // *Сын отечества*. 1861. № 32. 6 августа. С. 932.

более или менее обязанных Гоголю направлением и характером, а потому и успехом своего таланта»²⁵⁸.

Анализ романа А. Хитров начинает с описания дебюта Достоевского. Он согласен с мнением Белинского и называет его пророческим. Критик «Сына отечества» указывает, что даже «десятилетнее молчание» Достоевского не заставило читателя забыть про него: «... публика не перестала вспоминать о нем», после возвращения она встретила его с почетом²⁵⁹.

По мнению Хитрова, «Униженные и оскорбленные» – роман, который более всего читает публика. Достоевский популярен, несмотря на то, что за время между «Бедными людьми» и последним романом писателя выросло «другое поколение, и образовался другой взгляд»²⁶⁰. Характеризуя 1840-е годы, он употребляет слово «кумирчик», но связывает его не с Достоевским, а с поколением писателя:

«... мы уже спорим и с Белинским, подчас свергая с пьедесталов поставленных им кумирчиков, мы уже и Пушкина готовы заподозрить в ненародности, мы уже и о Гоголе говорим, как о чем-то прошедшем, мы... да мало ли в чем мы расходимся с прошедшим десятилетием»²⁶¹.

Если Достоевский нравится теперь, то, по мнению критика, это доказывает, что он «обладает большим талантом», в нем есть «что-нибудь живое» для нашего времени²⁶². Публика ищет у Достоевского возможность «глубоко прочувствовать горе, – горе, выношенное в груди»²⁶³.

Автор рецензии рассматривает развитие идеи гуманизма в русской литературе 1840-х гг., первым проводником которой является автор романа «Бедные люди», в котором звучит «голос гуманиста», «протест за человека, высказанный смело, прямо»²⁶⁴. Таким же голосом «за бедную сироту» автор называет роман «Неточка Незванова». Этот же мотив заступничества за бедняка он находит в «Честном воре», «Белых ночах», «Елке и свадьбе», в новом романе «Униженные и оскорбленные».

²⁵⁸ Хитров А. Униженные и оскорбленные. Роман в 4-х частях. Ф. М. Достоевского // *Сын отечества*. 1861. № 36. 3 сентября. С. 1061. См. статью: <Белинский В. Г.> Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым // *Отечественные записки*. 1846. № 3. Отд. V. С. 7.

²⁵⁹ Хитров А. Униженные и оскорбленные. Роман в 4-х частях. Ф. М. Достоевского // *Сын отечества*. 1861. № 36. 3 сентября. С. 1061.

²⁶⁰ Там же.

²⁶¹ Там же.

²⁶² Там же.

²⁶³ Там же.

²⁶⁴ Там же. С. 1062.

В образе Ивана Петровича А. Хитров узнает самого автора. По его отзыву, «нельзя не любить» семейство Ихменевых: они прекрасные люди, добрые, простые, «одни из тех, в доме которых всегда чувствуешь себя так легко, свободно»²⁶⁵. Критик подробно анализирует образ князя Петра Александровича Валковского – «палача, которому суждено было казнить это доброе семейство той язвой, от которой пришлось пострадать, Бог знает за что, этим добрым людям»²⁶⁶. Он характеризует его как хитрое и грязное лицо, подробно пересказывает фабулу конфликта князя и Ихменева и обстоятельства их переезда в Петербург, и бегства Наташи, передает переживания Ихменевых и Наташи в разлуке, раскрывает развязку романа. В его пересказе чувствуется сопереживание и сострадание к Ихменевым, безграничная симпатия к этим людям. Рассказ Нелли о своей жизни, по мнению критика, «одно из лучших мест всего романа», он так «характеристичен, что его нет возможности передать своими словами»²⁶⁷. А. Хитров дал точную характеристику князя, которая свидетельствует о глубоком понимании его образа:

«... человек с самой низкой душой, ползком, плутнями и связями приобретающий значение, обманом и грабительством – богатство человек, и который смеется над всем святым, презирает как гадину каждого, и кто ниже его, и играет чувствами человека, как мячиком, который не только сам не знает чести, но не хочет знать и ценить ее в других, весит все на вес золота, забавляется несчастиями ближних, готов убить человека, хвалится своим пороком, честью женщины шутит, как погремушкой, и который не прочь снести и оплеуху, лишь бы она была дана ему не на людях»²⁶⁸.

С нескрываемой симпатией А. Хитров представил образ Ивана Петровича, повествователя в романе:

«... бедный труженик, бессонными ночами и умственной работой, труднейшей работой поденщика, снискивающий кусок хлеба, готовый призреть всякого бедного, охотно вырывающий жертву из пасти какой-нибудь низкой торговки – Бубновой, охотно делящийся с брошенным судьбой существом последней копейкой и своим бедным приютом, заботящийся потом об этом существе с любовью отца, отыскивающий ее как пастырь заблудшую овцу стада»²⁶⁹.

²⁶⁵ Там же.

²⁶⁶ Там же. С. 1063.

²⁶⁷ Хитров А. Униженные и оскорбленные. Роман в 4-х частях. Ф. М. Достоевского. Окончание // *Сын отечества*. 1861. № 37. 10 сентября. С. 1089.

²⁶⁸ Там же. С. 1094.

²⁶⁹ Там же.

В характеристике героев критик выделяет их нравственные качества. Так, семейство Ихменевых – «целое семейство, забитое горем ви нуждой, лишенное всего, обесщеченное, но не решающее ни на какое угодничество и низость, не продающее чести своей за деньги и не мирящееся на них, за оскорбление готовое идти на смерть, дорожающее своими чувствами и умеющее лишь плакать при горе и молиться, но не торговать собой»²⁷⁰. По мнению А. Хитрова, роман развивает мысль, что почетен должен быть только человек, у которого «сияет дух»²⁷¹. После прочтения романа человек начинает «с любовью смотреть на каждого, кто встречается», ему «горько станет на сердце, явится жалость»²⁷². Критик отмечает «живость» идеи романа, ее «прямоту» и «откровенность», его «благотворное» влияние на общество, за которые А. Хитров ставит «Униженные и оскорбленные» «выше всех других» произведений писателя²⁷³.

Как утверждает А. Хитров, роман Достоевского имеет такие достоинства, как «естественность и живость изложения»²⁷⁴, эффект правдоподобия, вовлеченности читателя в действие:

«... вы видите как будто перед вашими глазами совершающееся, в котором как будто и сами принимаете участие или по крайней мере хотели бы принять, и судьба действующих лиц вас заинтересовывает до того, что вам непременно хочется проследить все дело до конца, вам трудно оторваться от чтения»²⁷⁵.

Критик передает свои личные переживания от прочтения романа, объясняет, почему он сам с таким нетерпением ожидал выход его новой части.

Он объясняет, что мешало другим произведениям Достоевского достичь уровня «Униженных и оскорбленных». В романе «Бедные люди» «мешала стройности романа и его живости письменная форма», в «Двойнике» – «введение фантастического», в «Неточке Незвановой» и «Маленьком герое» – «какая-то темнота отношений действующих лиц»²⁷⁶. В последнем романе критик находит только одно место, которое может показаться придуманным и приготовленным – приход Наташи во время рассказа Нелли о матери:

²⁷⁰ Там же.

²⁷¹ Там же.

²⁷² Там же.

²⁷³ Там же.

²⁷⁴ Там же.

²⁷⁵ Там же.

²⁷⁶ Там же.

«... тут такое стечение обстоятельств, какое трудно предположить, – но оно так прекрасно, что невольно попросишь сам же извинения у автора за то, если обвинил его»²⁷⁷.

Он называет достоинством автора умение создавать характеры героев:

«Автор – удивительный мастер оттенять характеры выводимых им лиц и класть особый отпечаток на каждого из них, класть не с нескольких приемов, а с одного разу»²⁷⁸.

Герои романа у Достоевского, по замечанию А. Хитрова, «не какие-нибудь бледные тени, но живые люди, говорящие каждый по своим убеждениям, согласно своему взгляду»²⁷⁹. Как читатель, А. Хитров испытал катарсис от прочтения «Униженных и оскорбленных», так близко он сопереживает героям романа, его речь эмоциональна. Например, ему так и хочется «сказать слово утешения и этой Наташе», раскрыть ей глаза на пустоту Алеши. А. Хитров отмечает, что Достоевскому удается одной сценой создать образ героя. Самое трудное – рисовать «двуличных людей, здесь нужна большая наблюдательность, большое искусство, чтобы совладать с делом»²⁸⁰. Критик считает, что разговор князя с Иваном Петровичем – «золотая страница в романе»²⁸¹. Другая сцена – разговор Наташи с Иваном Петровичем. Многие страницы романа показывают человека в трагических положениях, от которых «выступают на глазах слезы, замирает сердце»²⁸². Такова, например, сцена проклятия Наташи отцом, в которой «в каждом слове слышишь прочувствованный звук»²⁸³.

А. Хитров эмоционально анализирует еще одну сцену романа – последний разговор Наташи с князем:

«... читать такие сцены, без грусти, чтобы смотреть на них равнодушно, особенно зная, что подобные сцены не какой-нибудь вымысел, а чистая истина, дело, может быть, ежедневно повторяющееся в тысяче углов, в тысяче разных бедных комнат»²⁸⁴.

Эта сцена вызывает у критика стыд и сочувственный возглас:

²⁷⁷ Там же.

²⁷⁸ Там же.

²⁷⁹ Там же.

²⁸⁰ Там же.

²⁸¹ Там же.

²⁸² Там же. С. 1095.

²⁸³ Там же.

²⁸⁴ Там же. С. 1096.

«И представьте, что делают они с другими! И все сходит им с рук, и все прощается, а жертвам их нет пощады. Мы клеймим их, мы же гоним их от себя. Вот вам и правда!»²⁸⁵.

В завершение статьи он вновь приводит слова Белинского:

«... каждое отдельное место в этом романе – верх совершенства»²⁸⁶.

Рецензию А. П. Пятковского на двухтомник Достоевского и его роман «Униженные и оскорбленные» опубликовала «Северная пчела», которая во время редакторства П. С. Усова изменила свое направление. Говоря о современной литературе и критике, А. П. Пятковский не хотел «наперед высказаться <...> ко всей современной изящной литературе вообще и к произведениям г. Достоевского в частности», так как «такое заключение читателя будет слишком поспешно, а потому самому и несправедливо»²⁸⁷. Тем не менее, как считает критик, современная беллетристика «все еще шествует по дороге, проложенной знаменитыми предками, и живет почти исключительно их заветами, изредка решаясь переставить два, три словца в одной и той же заветной фразе»²⁸⁸. Двухтомник сочинений Достоевского показывает всего лучше и односторонне, «какими печальными элементами кишит наша русская жизнь и какой нужен замечательный, в своем роде, талант, чтобы очертить их со всею полнотою и влиятельностью их реального существования»²⁸⁹. Автор рецензии согласен с восторженной оценкой Белинским таланта Достоевского. По мнению А. П. Пятковского, в романе «Бедные люди» Белинского «пленил» «горячий протест за права оскорбленного человечества, который слышался и до сих пор слышится в каждой строчке сочинений Достоевского»²⁹⁰. Канву произведения, в которой затронуто «несчастное существование этих мелких людей, живущих где-то и зачем-то, чтобы сойти в могилу так же неслышно, как вошли они в жизнь», первый предложил Гоголь²⁹¹. Ею «мастерски» воспользовался Достоевский, не заслужив даже имени подражателя. К подобного рода произведениям А. П. Пятковский относит повесть «Двойник», которая

²⁸⁵ Там же. С. 1095.

²⁸⁶ Там же. См. статью: <Белинский В. Г.> Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым // *Отечественные записки*. 1846. № 3. Отд. V. С. 18–19.

²⁸⁷ Пятковский А. Сочинения Ф. М. Достоевского. Москва, 1860 года. 2 части. Униженные и оскорбленные. Роман в 4-х частях (Время, №№ 1–6) // *Северная пчела*. 1861. № 176. 9 августа.

²⁸⁸ Там же.

²⁸⁹ Там же.

²⁹⁰ Там же.

²⁹¹ Там же.

не вошла в собрание сочинений, и «Белые ночи», «прелестная, но немного подслащенная эпопее». Автор рецензии вспоминает, что Достоевский признавался «в своей любви к униженным и оскорбленным и если блеск и сила, богатство и материальная власть, входят в его романы, то только для того, чтобы ярче оттенить другую, противоположную сторону картины, в которой собственно и заключается главная сила»²⁹². Его муза вдохновения, на взгляд критика, «уныла и мрачна», похожа на музу Некрасова, по страницам его произведений «проходит тот же крик социального недуга», заметна «та же нравственная истома и надломленность», которая раздается стоном глуше и болезненнее и возрастает «до поразительно смелых и потрясающих нот»²⁹³.

Критик особо выделяет образ отца Наташи, его «горячий» монолог, обращенный к дочери. По его оценке, сочувствие к слабым и угнетенным в романе «Униженные и оскорбленные» дошло «до апогея своего значения»²⁹⁴. Каждый человек, который оказывается в подобной ситуации, «сердцем почует их родство с своим собственным горем и найдет в них минуты чистейшего наслаждения»²⁹⁵. Рецензент приводит прекрасно схваченную «коллизии родительского чувства», любовь Алексея к Наташе, совместную с такой же искренней любовью к Кате, образ князя, любовь Нелли к автору, Ивану Петровичу. В этом романе, по мнению Пятковского, Достоевский верен своему направлению, «его недостатки значительно смягчились, а достоинства получили еще более силы и блеска»²⁹⁶. Особенность Достоевского критик видит «в обилии психологических подробностей, в этом, так сказать, впивающемся анализе нравственных мелочей»²⁹⁷. Достоевский, как утверждает критик, мастерски воспроизводит «глухие, подземные драмы, эти жгучие „несведанные“ слезы»²⁹⁸. Недостатком романа Пятковский видит то, что писатель «иногда слишком долго выдерживает свои образы в чересчур мрачном колорите, мало скупится на слезы и прочие изъявления душевной горечи или немощи. Душа читателя невольно устает в этом безвыходном лабиринте тоски и слез»²⁹⁹. Автору рецензии кажется, что в «Бедных людях» и местами в «Униженных и оскорбленных» «чересчур густы мрачные

²⁹² Там же.

²⁹³ Там же.

²⁹⁴ Там же.

²⁹⁵ Там же.

²⁹⁶ Там же.

²⁹⁷ Там же.

²⁹⁸ Там же.

²⁹⁹ Там же.

колориты романа и не совсем гармонически разделены по разным частям картины»³⁰⁰. Критик высоко ставит мастерство Достоевского. Он избегает давать указания писателю, у которого достоинства и недостатки так переплетены, что могут лишь условно быть названы недостатками³⁰¹.

А. П. Пятковский оспаривает мнение Белинского о юморе Достоевского. На его взгляд, юмор не составляет главную силу таланта писателя, а является таким средством, «без которого его картины выходили бы чересчур вялы и монотонны»³⁰². В качестве примера критик приводит повесть «Двойник», которую называет «ахиллесовой пятой» Достоевского, роман «Село Степанчиково и его обитатели» и рассказ «Чужая жена и муж под кроватью». Особо выделяя рассказ Достоевского «Маленький герой», «неподходящий под направление других его произведений и исполненный такой светлой и чудной грации, что может быть приближен по достоинству к „Первой любви“ г. Тургенева», Пятковский отмечает, что он «хорош, жив и изящен» и свидетельствует о разнообразии таланта писателя³⁰³.

В конце сентября 1861 г. вышла рецензия Г. А. Кушелева-Безбородко на роман «Униженные и оскорбленные». Она предвосхитила некоторые оценки, которые вскоре дал в статье «Забывшие люди» Н. А. Добролюбов. Г. А. Кушелев-Безбородко исходит из того, что «серьезный критический разбор» может быть полезен автору, которого не должна обижать оценка произведения³⁰⁴. По его мнению, содержание романа передать сложно. Он обращает внимание на повествование от первого лица, в котором «литератор Иван Петрович (фамилия его не известна), больной, с нервическими припадками, претерпевший очень много нужд и забот, описывает некоторые из своих походов»³⁰⁵. Пересказ рецензента сумбурен, но в нем критик дает характеристики некоторым героям. Алеша, по его мнению, «молоденький, глупенький», остается «взбалмошным, бесхарактерным мальчиком, изменяющим очень быстро и без всякой видимой причины свои мнения, свои чувства»³⁰⁶. Нелли «больна; у ней нервические припадки, как у самого Ивана Петровича; она долго не может свыкнуться с новой жизнью; очень дика, очень боязлива; но, после настойчивых распросов, соглашается наконец

³⁰⁰ Там же.

³⁰¹ Там же.

³⁰² Там же.

³⁰³ Там же.

³⁰⁴ Кушелев-Безбородко Г. А. Униженные и оскорбленные. Роман в 5 ч. Ф. Достоевского // Русское слово. 1861. № 9. С. 38.

³⁰⁵ Там же.

³⁰⁶ Там же. С. 40.

рассказать свою историю, т. е. историю своей матери, и, вообразите, это почти слово в слово история Наташи, только с тою разницею, что тут брак был законно совершен, что от этого брака родилась дочь Нелли»³⁰⁷.

Он обращает внимание на вопрос Наташи в финале романа: «не правда ли это был только сон?» – и отвечает на ее вопрос: «... всё это был только сон, но сон был очень тяжелый и чрезмерно запутанный!»³⁰⁸. Чувствуя недостатки своего пересказа, критик пытается оправдаться перед читателем и сваливает вину за него на автора романа:

«Запутанность, интрига до того велики, что мудрено рассказать коротко и в то же время ясно содержание его»³⁰⁹.

Кушелев-Безбородко отмечает, что содержание романа «ясно выказывает чрезвычайно слабые стороны в художественной его постройке», к которым он относит, например, неестественность положения, которую встречает на каждом шагу³¹⁰.

Если Хитров отмечал правдоподобие и истинность содержания романа, то Кушелев-Безбородко видит в нем неестественность положения и странности повествования. Он приводит в пример бегство Наташи от родителей:

«Иван Петрович, любящий Наташу, сознает, что она делает дурно, но вместо того, чтобы посадить ее в карету, самому сесть хоть бы на козлы и возратить её отцу, откуда на другой день Наташа могла бы еще раз убежать уже одна, если это так нужно для связи романа – этот Иван Петрович сажает молодую девушку вместе с Алешей и отпускает их, а сам идет домой, мечтая о своем унижении и оскорблении!!»³¹¹.

По мнению Кушелева-Безбородко, «это невероятно, это просто невозможно»³¹². Критика возмущает, что отец Наташи продолжает после этого считать Ивана Петровича своим другом:

«... принимает его у себя, толкует с ним про Наташу! Это уже слишком сильно! Он обманул этого отца, который, как честному человеку, благородно поручил ему свою дочь, чтоб довести до церкви, а тот ей помогает убежать с любовником, и отец проклиная свою дочь, но благодарит и ласкает Ивана Петровича»³¹³.

³⁰⁷ Там же. С. 42.

³⁰⁸ Там же. С. 43.

³⁰⁹ Там же.

³¹⁰ Там же.

³¹¹ Там же. С. 44.

³¹² Там же.

³¹³ Там же.

Еще одна «невероятность» – любовь Наташи и Кати к Алеше:

«Две девушки любят страстно, любят с самоотвержением, забывая свой долг, все решительно, и любят кого же? – самого бестолкового молодого человека, еще мальчишку, каких только можно придумать и едва ли можно встретить; – фразёра до невероятности, болтуна, самодура, и вместе с тем глупого донельзя, в чем даже сознаются несколько раз обе девушки, и сознаются простодушно, и говорят ему это в глаза, так что сам Алеша в этом сознается и убежден»³¹⁴.

Однако, как считает критик, это не мешает роману быть интересным и популярным:

«... несмотря на все эти неестественные положения, несмотря на то что тотчас же читатель видит ясно, как все натянуто, придумано, продолжает читать этот роман, и читает, может, быть с увлечением: ее – причина тому единственная – самый способ рассказа»³¹⁵.

Достоевский, по утверждению Г. А. Кушелева-Безбородко, в романе «доказал свое несомненное, и, можно сказать, неподражаемое искусство рассказывать; у него свой оригинальный рассказ, свой оборот фраз, совершенно своеобразный и полный художественности»³¹⁶. Этот тип повествования отличает Достоевского от современных авторов:

«Фразы его не так отделаны, не так копотно (кропотливо. – О.З.) и тщательно выглажены, как у г. Гончарова; описания его не так поэтичны, не так полны художественных мелочей, подробностей, которые воскрешают целый мир, целый образ картины, как у Тургенева; обрисовка лиц его не так резко и рельефно очерчена, как у Писемского; но своеобразный слог г. Ф. Достоевского никак не уступит этим трем писателям»³¹⁷.

В чем же заключается его особенность? Кушелев-Безбородко относит «Униженных и оскорбленных» к «превосходному сказочному роману», особенностью которого является его рассказ, а не описание:

«... именно рассказ, заманчивый донельзя. Он удивительно легко читается, много высказывает в форме, по-видимому самой простой. Слог его кажется простым, разговорным слогом, так что, казалось, и сам рассказал бы не иначе; в нем нет особо замечательных мест, нет страницы, которую бы вы прочитали два раза, которую бы стоило поместить в хрестоматию для примера слога, но слог этот всегда ровный, гладкий, рассказ всегда ясно изложенный,

³¹⁴ Там же. С. 44–45.

³¹⁵ Там же. С. 45.

³¹⁶ Там же.

³¹⁷ Там же.

так что он заставляет часто забыть всю неестественность положения; вы его слушаете, как слушали, бывало, детскую сказку»³¹⁸.

Критик замечает, что, прочитав название, он ожидал большего от романа. Заглавие обещало ему развитие важной социальной темы, он надеялся увидеть различные примеры постоянно встречающихся унижений и оскорблений в обществе, но все они отличались от «исключительных» положений Достоевского, «прямо вытекающих из наших нравов и обычаев»³¹⁹. Он приводит примеры унижений и оскорблений:

«Сколько ужасных драм кроется в этих двух словах, сколько и вправду есть униженных, сколько оскорбленных от русского мужика, часто униженного и оскорбленного или своим господином, или своим подрядчиком, десятским, оскорбленного зачастую без причин, так, зря, на улице, в лавке, везде, где его трактуют ниже всякого, толкают, не обращают даже на него внимание, а он между тем глубоко иногда чувствует и понимает это унижение, это оскорбление, в особенности, если он хотя бы немного развит и образован»³²⁰.

Его толкование смысла названия сводится к социальному конфликту. На его взгляд, в романе унижен и оскорблен только Ихменев, «потому что заподозрен в подлоге и воровстве, оскорблен еще ответом князя, насмешкою на его вызов; но если правду сказать, оно и было довольно смешно старику 60 лет вызывать на дуэль того, с кем он тягался за то, что сын его похитил его дочь, после того, в особенности, как Ихменев сам оставил свою дочь, не вытребовал ее»³²¹. Он определяет случившееся с Ихменевым как оскорбление, но не как унижение. Остальные лица, по его мнению, оскорбляются для собственного развлечения, хотя делают это нечасто, так как заняты своими нервическими припадками.

Главный недостаток романа заключается в том, «что он не обрисовал, не очертил, не разъяснил ни одного живого лица, ни одного настоящего типа»³²². Каждый герой, как утверждает Г. А. Кушелев-Безбородко, необходим лишь для того, чтобы Достоевский мог показать «свой несомненный талант рассказа фактов, происшествий», «не одно лицо не остается в голове читателя, не заставляет задуматься о себе»³²³. Исключение составляет образ старика Смита, который чаще встречается в иностранных романах и не может быть назван русским типом.

³¹⁸ Там же.

³¹⁹ Там же. С. 46.

³²⁰ Там же.

³²¹ Там же.

³²² Там же.

³²³ Там же.

Князь Валковский не является типом, «он подлец, он мошенник; но это не тип: <...> в нем ничего нет того, чтобы отличало его от обыкновенного французского, английского мошенника»³²⁴. Чуть ли не единственным живым лицом в романе, по мнению Кушелева-Безбородко, оказывается Маслобоев – «ходатай по делам, пьяница и добрая душа, готовый на известного рода подлости за деньги, и остающийся честным человеком по-своему; это пожалуй еще человек живой, человек, которого мы могли бы встретить»³²⁵. Критик не видит в героях характеры и цельные образы, для него в них есть только одна какая-то черта. Например, он убежден, что Ихменев не похож «на настоящего русского помещика, – в нем черта есть общечеловеческая, в его страданиях, в его горе, в его злости против князя и против дочери своей»³²⁶. Он утверждает, что женские образы «очень натянута и очень взволнованы»³²⁷. Например, Наташа «привлекает вас к себе в начале романа», потом она «монотонна и многоречива в своем горе, которое сама же создает»³²⁸. В Кате, как считает критик, нет ничего поэтического, изящного и действительного, она «решительно невозможна и не может потому внушить к себе никакого сочувствия; таких благовоспитанных девушек с несколькими миллионами приданого и с такими эксцентрическими запинками решительно нет»³²⁹.

Образ Анны Андреевны, как замечает критик, встречается в жизни, это «слабая, бесцветная личность, без воли, без самостоятельного характера, постоянно подчиненная своему мужу, боящаяся его раздражить и ни на что не решающаяся»³³⁰. Но и по отношению к ней у Кушелева-Безбородко есть претензии к автору. Он убежден, что Достоевский должен был усилить ее бесхарактерность.

Кушелева-Безбородко критикует автора за то, что фабула его романа утомляет, что он «слишком занят своим сюжетом, завязкою и развязкою»:

«... передает нам происшествия, действия своих героев чрезвычайно наглядно, чрезвычайно искусно, но недостаток его заключается в том, что он не овладевает вполне ни одним лицом, как следовало бы ожидать, не анализирует ни одного характера, не создает ни одного типа, не задумывается даже над личностью, над свойством своих действующих лиц»³³¹.

³²⁴ Там же. С. 47.

³²⁵ Там же.

³²⁶ Там же.

³²⁷ Там же.

³²⁸ Там же.

³²⁹ Там же.

³³⁰ Там же. С. 48.

³³¹ Там же.

Он упрекает Достоевского в небрежности в изучении характеров героев, их чувств, душевных свойств, что ведет к «невозможным, неестественным положениям, которые никак не могли бы существовать, если б автор потрудились анализировать сам качества и недостатки характера своего героя»³³².

С восторженного отзыва Белинского о Достоевском начинается свою статью «Забитые люди» Н. А. Добролюбов, который цитирует пророческие слова Белинского о будущем Достоевского:

«... талант г. Достоевского принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы»³³³.

Добролюбов вспоминает литературную судьбу Достоевского с конца 1840-х годов и замечает, что «ни одно из его произведений не сравнилось» с «Бедными людьми». В отличие от А. Хитрова он иначе воспринимает период вынужденного десятилетнего молчания: «... вспоминали о нем, то разве затем, чтобы посмеяться над собственным простодушием, с которым производили его в гении», «о непомерном самолюбии, до которого довело его общее поклонение»³³⁴.

Добролюбов намекает на отношение редакции «Современника» к Достоевскому, отразившиеся в фельетонах И. И. Панаева. Обстоятельства его возвращения в литературу еще не поняты в критике: он «снова появился в литературе, хотя имя его было уже слишком бледно пред новыми светилами, загоревшимися на горизонте русской словесности в последнее десятилетие. В эти два года он напечатал четыре больших произведения, и об них еще не произнесен беспристрастный суд критики»³³⁵.

Добролюбов ставит задачу «определить, насколько развился и возмужал талант г. Достоевского, какие эстетические особенности представляет он в сравнении с новыми писателями», «какими недостатками и красотами отличаются его новые произведения и на какое действительно место ставят они его в ряду таких писателей, как гг. Гончаров, Тургенев, Григорович, Толстой и пр.»³³⁶.

³³² Там же.

³³³ См. статью: <Белинский В. Г.> Петербургский Сборник, изданный Н. Некрасовым // *Отечественные записки*. 1846. № 3. Отд. V. С. 20.

³³⁴ -бовъ Н. <Добролюбов Н. А.> Забитые люди. (Сочинения Ф. М. Достоевского. Два тома. Москва. 1860 г. Униженные и оскорбленные, роман в 4-х частях. Ф. М. Достоевского. «Время», 1861 г. № I–VII) // *Современник*. 1861. № 9. С. 100.

³³⁵ Там же.

³³⁶ Там же.

С первых страниц Добролюбов дает достаточно сдержанную оценку романа: он «очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полной похвалою... <...> роман г. Достоевского до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года», к которому нельзя применить «правила строго художественной критики»³³⁷.

Критик дает краткий пересказ фабулы романа, считая героем романа князя Валковского³³⁸. Пересказ Добролюбова схематичен, лишен той поэтичности, эмоционального сопереживания героям, которые есть в пересказе А. Хитрова.

Добролюбов отмечает, что в романе Достоевского много «живых, хорошо отделанных частных, герой романа хоть и метит в мелодраму, но по местам выходит недурен, характер маленькой Нелли обрисован положительно хорошо, очень живо и натурально очеркнут также и характер старика Ихменева»³³⁹.

Анализ многих сцен, которые восхищают А. Хитрова, у Добролюбова вызывает раздражение. Так, например, «историю любви и страданий Наташи с Алешей рассказывает нам человек, сам страстно в нее влюбленный и решившийся пожертвовать собою для ее счастья»³⁴⁰. Критик раздраженно признается:

«... все эти господа, доводящие свое душевное величие до того, чтобы зазнамо целоваться с любовником своей невесты и быть у него на побегушках, мне вовсе не нравятся»³⁴¹.

Он пытается уколоть Достоевского, что такое выдумать в литературе могли только «творцы, более знакомые с головою, нежели с сердечною любовью», а если же «эти романтические самоотверженцы точно любили, то какие же должны быть у них тряпичные сердца, какие куричьи чувства! А этих людей показывали еще нам, как идеал чего-то!»³⁴².

Этот тип встречается у Достоевского не в первый раз: таков мечтатель в «Белых ночах». Раздражает критика то, что умный, благородный и развитый человек сам рассказывает об этом. Как считает Добролюбов, из всех униженных и оскорбленных в романе Иван Петрович

³³⁷ Там же. С. 102.

³³⁸ Там же.

³³⁹ Там же. С. 104.

³⁴⁰ Там же.

³⁴¹ Там же. С. 104–105.

³⁴² Там же. С. 105.

«унижен и оскорблен едва ли не более всех; представить, как в его душе отражались эти оскорбления, что он выстрадал, смотря на погибающую любовь свою, с какими мыслями и чувствами принимался он помогать мальчишке-обольстителю своей невесты, какие бесконечные вариации любви, ревности, гордости, сострадания, отвращения, ненависти разыгрывались в его сердце, что чувствовал он, когда видел приближение разрыва между своей невестой и ее любовником, – представить все это в живом подлинном рассказе самого оскорбленного человека, – эта задача смелая, требующая огромного таланта для ее удовлетворительного исполнения»³⁴³. Добролюбов полагает, что это Достоевскому не совсем удалось:

«Что же, если бы мы нашли хорошее, поэтическое решение всей задачи! Кроме того, что у нас было бы художественное целое, – нам разъяснился бы целый разряд характеров, целый ряд нравственных явлений, мы знали бы, как нам судить об этих кроткосердных героях и какую цену приписывать их гуманному обезличению себя»³⁴⁴.

Как замечает Добролюбов, Достоевский «известен любовью к рисованию психологических тонкостей»³⁴⁵. Он ставит писателю в упрек, что в романе нет «не только слабого изображения внутреннего состояния Ивана Петровича <...>, но даже <...> ни малейшего намека на то, чтобы автор об этом заботился»³⁴⁶. Иван Петрович, по мнению критика, «просто автор, неловко взявший известную форму рассказа, не подумав о том, какие она на него налагает обязанности»³⁴⁷. Вывод Добролюбова противоречит суждениям А. Хитрова, Г. А. Кушелева-Безбородко и других критиков:

«... тон рассказа решительно фальшивый, сочиненный; и сам рассказчик, который по сущности дела должен бы быть действующим лицом, является нам чем-то в роде наперсника старинных трагедий»³⁴⁸.

По его мнению, роль Ивана Петровича сводится к тому, что он все слушает и все записывает. Критик представляет роман «калейдоскопом происшествий», при котором стоит «некто, изъясняющий, что означают и почему выходят такие-то и такие-то вещи»³⁴⁹.

³⁴³ Там же.

³⁴⁴ Там же.

³⁴⁵ Там же. С. 106.

³⁴⁶ Там же.

³⁴⁷ Там же.

³⁴⁸ Там же.

³⁴⁹ Там же. С. 107.

Добролюбов увлечен социальной характеристикой героев:

«Наташа представлена девушкою умною, серьёзною, с хорошо развитым нравственным чувством, без особенных, и даже без всяких, чувственных поползновений. Алеша – мальчишка уже в 21 год, ветренный, цинический, лишенный всякой нравственной основы в характере до того, что он не конфузится никакой своей пакости, а напротив – тотчас же сам о ней рассказывает, прибавляя, что знает, как это дурно, и вслед за тем опять повторяет ту же пакость»³⁵⁰.

Критик полагает, что интерес автора составляет характер князя Валковского, который представляет собой «с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт», в нем не найти «человеческого лица»³⁵¹. В изображении личности князя нет никаких следов человеческой природы, которая бы проглядывала «сквозь все наплывные мерзости»³⁵².

Он упрекает писателя за то, что «Наташа говорит слогом г. Достоевского»:

«Силлогизмы Наташи поразительно верны, как будто она им в семинарии обучалась. Психологическая пронизательность ее удивительна, постройка речи сделала бы честь любому оратору, даже из древних»³⁵³.

По мнению критика, Достоевский любит «возвращаться к одним и тем же лицам по несколько раз и пробовать с разных сторон те же характеры и положения»³⁵⁴. Отмечая эти характерные черты поэтики писателя, Добролюбов выделяет «несколько любимых типов»: «тип рано развившегося, болезненного, самолюбивого ребенка, – и вот он возвращается к нему и в Неточке, и в Маленьком герое, и теперь в Нелли... Характер Нелли – тот же, что характер Кати в Неточке, только обстановка их различна»; «тип человека, от болезненного развития самолюбия и подозрительности доходящего до чрезвычайных уродств и даже до помешательства, и он дает нам г. Голядкина, музыканта Ефимова (в Неточке), Фому Фомича (в Селе Степанчикове)»; «тип циника, бездушного человека, лишь с энергией эгоизма и чувственности, – он его намечает в Быкове (в Бедных людях), неудачно принимается за него в „Хозяйке“, не оканчивает в Петре Александровиче (в Неточке) и, наконец теперь раскрывает вполне в князе Валковском (которого, кстати, – даже и зовут тоже Петром Александровичем)»; «идеал какой-то девушки,

³⁵⁰ Там же.

³⁵¹ Там же. С. 109.

³⁵² Там же. С. 109–110.

³⁵³ Там же. С. 113.

³⁵⁴ Там же.

который ему никак не удастся представить: Варенька Доброселова в „Бедных людях”, Настенька в „Селе Степанчикове”, Наташа в „Униженных и оскорбленных” – все это очень умные и добрые девицы, очень похожие на автора по своим понятиям и по манере говорить, но в сущности очень бесцветные»³⁵⁵. Добролюбов видит в повторяемости образов их «бедность и неопределенность», «необходимость повторять самого себя», «неуменье отработать каждый характер»³⁵⁶.

Завершая анализ, Добролюбов объявляет роман Достоевского «ниже эстетической критики»³⁵⁷. В его произведениях критик находит «одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он писал: это боль о человеке»³⁵⁸. У автора сложился идеал, который он выразил в творчестве: «Каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку»³⁵⁹.

Е. Тур ставит Достоевского в один ряд с такими писателями, как Тургенев, Островский, Писемский и Гончаров³⁶⁰. Она вспоминает огромное впечатление, которое произвел роман «Бедные люди». Первый роман Достоевского до сих пор притягивает сердца читателей «задушевной любовью к людям»: в нем «было нечто *свое*, оригинальное, бездна чувства и самой задушевной любви к бедному, страдающему и загнанному человечеству. Бедный чиновник, необразованный, любящий бессознательно, бессознательно страдающий, находил широкий доступ в сердце читателя и в этом чиновнике сказывается уже не чиновник, а брат наш, такой же человек, как и все мы»³⁶¹. В «Бедных людях» проявился характер писателя: Достоевский – «добрейший из людей и готов из любви к ним жертвовать, пожалуй, и собой»³⁶². По мнению Е. Тур, «Белые ночи» – «произведение оригинальное по мысли и совершенно изящное по исполнению», «рассказ, написанный самым простым и незатейливым, но вместе с тем самым легким языком», который «читался, да еще и теперь прочтется многими с величайшим удовольствием», завязка его «смахивает на сказку, и никак не напоминает собою что-нибудь похожее на действительность»³⁶³. Для критика Достоевский – «мастер

³⁵⁵ Там же. С. 113–114.

³⁵⁶ Там же. С. 114.

³⁵⁷ Там же.

³⁵⁸ Там же. С. 117.

³⁵⁹ Там же.

³⁶⁰ Тур Е. Романы и сказки. Униженные и оскорбленные, роман г. Достоевского // Русская речь. 1861. № 89. 5 ноября. С. 573.

³⁶¹ Там же.

³⁶² Там же.

³⁶³ Там же.

описывать одиночество, пустыню, создающуюся вокруг человека, когда он живет один, никем незнаемый и неоцененный, его мечтания, его грезы, которые одни, как приемы опиуму, помогают ему выносить это одиночество. Мастер он описывать и мучения разлуки, бездомность, бедность, бесприютность, все те язвы, которые как послание Божие, выносят многие на веку своем»³⁶⁴. Она предполагает, что Достоевский пишет так, «будто сам он испытал нечто подобное, или подле него, близко, страдала душа ему сочувственная и дорогая»³⁶⁵. Роман «Неточка Незванова», который предвосхищает «Униженных и оскорбленных», Е. Тур характеризует как переходный, в нем уже проглядывается «другая манера писать, иное перо», описывается «иной круг, другие лица»³⁶⁶. Критик утверждает, что, хотя между этими произведениями двенадцать лет, время не изменило «теплое сердце автора», оно все такое же:

«... ни года, ни безвестная для нас жизнь его, не изменили ни его воззрений, ни его гуманности, ни его сочувственной любви ко всему что носит имя человека. Та же теплота чувства, та же любовь, та же нежность, в отношении несчастных!»³⁶⁷.

Из этого отношения писателя к человеку, по мнению Е. Тур, вытекают его недостатки:

«Рядом с самыми тонкими психологическими заметками мы встречаем часто детски привлекательные, но и детски невинные и несостоятельные черты и очерки»³⁶⁸.

В «Униженных и оскорбленных» она критикует соединение действительности и сказочного элемента, между которыми нет границ, в нем сильнее всего заметна связь романа со сказкой:

«... тут и правда и какая поразительная, голая, душу раздирающая правда, а вот здесь рядом не ложь, нет, а сказка, со всем ее чарующим нарядом, со всем ее волшебством, со всем ее заманчивым обаянием»³⁶⁹.

На эту мысль критика наводит «произвол автора, по которому некоторые лица романа, как марионетки на римском театре выделывают разные, наименее ожидаемые, эволюции и движения»³⁷⁰.

³⁶⁴ Там же. С. 573–574.

³⁶⁵ Там же. С. 574.

³⁶⁶ Там же.

³⁶⁷ Там же.

³⁶⁸ Там же.

³⁶⁹ Там же.

³⁷⁰ Там же.

Среди героев романа Е. Тур обнаруживает два разряда лиц: люди живые и люди призрачные, последние «живут, действуют, интересуют, пожалуй, читателя, но интересуют его как-то особенно, как волшебники в сказке, и несмотря на то, все-таки трогают», «в них больше поэзии, они больше нравятся и больше увлекают», они «так воздушны, неуловимы, так идеально чисты, так идеально добры»³⁷¹.

Рассуждая о важности доброты, представляя ее как дар Божий, критик отмечает, что Достоевский «вложил в своих героев и героинь то, что вероятно дано ему с избытком от природы – неистощимую, святую доброту, которою светлеет и красится сердце человеческое, которая составляет его неувядаемую ценность и прелесть, так что и через 12 лет, прошедши часто все мытарства безнадежной тоски и безвыходной муки, человек способен написать рассказ полный юношеской свежести, молодой грации и горячего сочувствия к людям»³⁷².

Среди характеров Е. Тур выделяет образ князя Валковского. По мнению критика, такие люди встречаются часто, но год от года они вымирают и не рождаются больше: он «квинтэссенция всякой гнили, произведение особого слоя общества, в котором не осталось не только свежих соков, но даже тени чего-нибудь, что могло бы напомнить живую жизнь, а следственно силу и развитие»³⁷³.

Е. Тур обращает внимание на смысл названия романа, в словах «униженные и оскорбленные» она видит «сознание и собственной правоты и вместе собственного бессилия», которое давит человека, гнетет его³⁷⁴. Один из наиболее ярко обрисованных образов – Нелли, которую критик характеризует как лицо «поэтическое, но вместе с тем слишком сказочное, романическое, и следственно мало действительное»³⁷⁵. Она упрекает Достоевского, что он не потрудился очертить это лицо. «Бледным и слабым» писатель изобразил отца Наташи. Е. Тур полагает, что читатель остается холоден к его страданиям, в изображении которых «автор часто переступает всякую меру и впадает даже в карикатуру»³⁷⁶. Из всех героев живо и точно обрисован, по мнению критика, образ матери. В образах Наташи и Алеши Е. Тур не принимает «любовь безумную и страстную, преданную и глубокую, женщины умной, твердой, развитой, чувствительной и горячей, к глупому, слабому до тупоумия, пустому до безобразия,

³⁷¹ Там же.

³⁷² Там же.

³⁷³ Там же.

³⁷⁴ Там же. С. 575.

³⁷⁵ Там же.

³⁷⁶ Там же.

мальчику-лгунишке», в котором нет ничего положительного³⁷⁷. Критик считает образ Кати неправдоподобным. Она рассматривает случившееся с Наташей как «страшный сон, увлекательно описанный, сон, исторгавший у многих искренние слезы»³⁷⁸. В заключение Е. Тур заявляет:

«Униженные и оскорбленные не выдерживают ни малейшей художественной критики; это произведение преисполнено недостатков, несообразностей, запутанности в содержании и завязке, и, несмотря на то, читается с большим удовольствием. Многие страницы написаны с изумительным знанием человеческого сердца, другие с неподдельным чувством, вызывающим еще более сильное чувство из души читателя»³⁷⁹.

Развитием идей Добролюбова была статья Е. Ф. Зарина «Небывалые люди», которая уже своим заглавием отсылает к известной статье критика. Хотя в подзаголовке статьи заявлен роман «Униженные и оскорбленные», его анализ начинается лишь в конце первой статьи. Затянувшееся вступление посвящено значению критики Добролюбова, анализу его метода и эстетических принципов.

Е. Ф. Зарин повторяет выводы и суждения Добролюбова. Вслед за ним критик считает Ивана Петровича другом Наташи, который «через нее сам попал в униженные и оскорбленные»³⁸⁰. Он осуждает Ивана Петровича за бездействие, бесхарактерность, за то, что он повел себя непорядочно по отношению к Наташе:

«... этих поводов можно бы насчитать бесчисленное множество: самолюбие, благодарность, чувство долга, родства, и наконец любовь, – просто, все человеческие чувства, божеские и человеческие законы обязывали его к наилучшему поведению относительно всего семейства Ихменевых, которое с тем вместе и его собственное семейство»³⁸¹.

Критик повторяет оценку Добролюбовым личности Алеши:

«... какой-то идиотик, Алеша Волконский, юноша такого умственного и нравственного бессилия»³⁸².

Для Е. Ф. Зарина в романе на первый план выходит история Наташи, которая ушла из дома и стала жить вместе с Алешей. Критик полагает,

³⁷⁷ Там же.

³⁷⁸ Там же. С. 576.

³⁷⁹ Там же.

³⁸⁰ З-н <Зарин Е. Ф.> Небывалые люди. Униженные и оскорбленные. Роман в 4-х частях, Ф. М. Достоевского (Время. №№ 1–7) // Библиотека для чтения. 1862. № 2. С. 31.

³⁸¹ Там же.

³⁸² Там же. С. 32.

что намерением Достоевского было написать роман о женской эмансипации, но у него не получилось: писатель хотел «сделаться адвокатом самостоятельности (*émancipation*) женщин, хотя в действительности он исполнил роль совершенно противоположную»³⁸³. Наташа в романе говорит и ведет себя как «синий чулок», из нее вышла «интересная *униженная и оскорбленная*», но «в действительной жизни ни одно почтенное семейство, даже воспитывающее в себе самые радикальные начала, не может такую страницу в своей семейной хронике считать ничем другим, как роковым и величайшим злополучием»³⁸⁴.

В журнале «Труды Киевской духовной академии» опубликована статья Ф. А. Терновского о взаимоотношениях духовной и светской словесности, в которой на материале европейских богословских дискуссий ставится проблема единства и различия религиозного и художественного в произведениях европейской и русской литературы. Он подробно останавливается на произведениях, которые выражают религиозное «чувство» в литературе. В европейской литературе Ф. А. Терновский отнес к таким произведениям романы Бичер-Стоу, Диккенса, Джорджа Элиота. В русской литературе, как считает автор статьи, «нет произведений, особенно богатых религиозным элементом, но найдутся произведения, способные произвести на читателя очень благотворное впечатление и след. близкие к духу христианства»³⁸⁵. Таковы, по мнению критика, роман Достоевского «Униженные и оскорбленные» и «Записки из Мертвого Дома», которые проникнуты «духом теплого и кроткого сочувствия к страждущим»³⁸⁶.

4.

«Записки из Мертвого дома» – пожалуй, единственное произведение Достоевского, которое было принято практически всеми читателями и критиками. Лев Толстой в письме к Н. Н. Страхову от 26 сентября 1880 года вывел формулу успеха произведения: «... точка зрения удивительна – искренняя, естественная и христианская» [Толстой; 63: 24].

Когда Салтыков-Щедрин в девятом номере «Свистка» «пошутил», анонсировав сатирическую статью «Опыты сравнительной этимоло-

³⁸³ Там же. С. 48.

³⁸⁴ Там же. С. 41.

³⁸⁵ Терновский Ф. А. Об отношении между духовною и светскою литературою // Труды Киевской духовной академии. 1862. Т. 3. № 9. С. 139.

³⁸⁶ Там же.

гии, или „Мертвый дом”, по французским источникам», поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева³⁸⁷, он тут же получил резкую отповедь не от кого-нибудь, а от ярого нигилиста Варфоломея Зайцева, который осадил сатирика и написал, что подобные произведения «пишутся собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола»:

«... не худо принять к сведению свистунам, что Конрад Лилиеншвагер был получше их, но никогда не свистел над вещами, которые и на свет-то божий чудом вылезли, пройдя мимо двадцати аргусов. Можно сколько угодно ругать „Время”; оно действительно безобразно; но смеяться над „Мертвым домом” значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола»³⁸⁸.

«Записки из Мертвого дома» В. Зайцев ставит выше многих произведений современной литературы:

«А между тем этот некто со всеми прочими сотрудниками „Современника”, исключая автора „Что делать?”, не написали еще ничего, что бы можно было сравнить с несколькими страницами „Мертвого дома” Ф. Достоевского. Советую гг. свистунам „Современника” бросить вице-губернаторский тон. Свистеть, так свистеть, а не распекать»³⁸⁹.

Насмешку Щедрина над «Мертвым домом» В. Зайцев припоминает и в 1864 году в фельетоне «Глуповцы, попавшие в „Современник”»:

«В прошедшем году фельетонист в пылу гнева так распетушился, что вздумал подтрунивать над „Мертвым домом”. Он поддразнивал своих противников, что они „сидели в роще и смирно толковали”, как будто сам он не весть какие подвиги совершил. Тогда насмешка над „Мертвым домом” казалась просто бестактностью и следствием привычки к повелительному наклонению. Но теперь фельетонист с успехом доказал, что это было не более как следствие особенного пристрастия его к смеху, вызываемому не столько внешними предметами, сколько игривостью нрава»³⁹⁰.

Публикация «Записок из Мертвого дома» началась 1 сентября 1860 года в газете «Русский мир». Достоевский задумал «Записки

³⁸⁷ <Салтыков-Щедрин М. Е.> Для следующих номеров «Свистка» между прочим имеются в виду следующие статьи... // *Современник*. 1863. № 4. С. 87.

³⁸⁸ <Зайцев В.> Перлы и алмазны нашей журналистики // *Русское слово*. 1863. № 4. С. 16–17.

³⁸⁹ Там же. С. 17.

³⁹⁰ <Зайцев В.> Глуповцы, попавшие в «Современник» // *Русское слово*. 1864. № 2. С. 39.

из Мертвого дома» как главное свое литературное сочинение. Осложнила публикацию «Записок» цензура, которая потребовала для расследования вторую главу и задержала ее разрешение до 15 ноября. Из-за этого газета перенесла публикацию написанных Достоевским глав на начало 1861 г. В условиях активной авторской и редакторской работы Достоевский не мог одновременно писать и печатать «Записки» и роман «Униженные и оскорбленные» в двух разных изданиях: во «Времени» и «Русском мире». 14 февраля 1861 г. в газете «Санкт-Петербургские ведомости», в объявлении о выходе второго номера «Времени», появилось сообщение, что редакция журнала приобрела права на все двадцать пять глав «Записок из Мертвого дома». Достоевский возобновил публикацию «Записок» с апрельского номера «Времени», в котором он сначала перепечатал главы, опубликованные в «Русском мире», а с сентября возобновил публикацию новых глав произведения, которая завершилась лишь в декабре 1862 года.

Первый отклик на «Записки из Мертвого дома» появился 14 января 1861 года в фельетоне «Русского мира». Он был дан в связи с посещением Н. С. Курочкиным Петербургской городской тюрьмы. Для него публикация произведения Достоевского стала поводом поговорить об улучшении содержания преступников в тюрьмах, положении женщины в них. Он соглашается с мнением Достоевского, что «впечатления действительности всегда сильнее, чем впечатления простого рассказа», автор показывает «мертвые углы», «за тяжелыми воротами которых начинается для несчастных первое действие грозной драмы, последние сцены которой, с таким ужасом правды описаны г. Достоевским!..»³⁹¹.

Одним из первых приветствовал выход «Записок» А. П. Милюков. По его оценке, новое сочинение Достоевского открывает перед читателем новый и неизвестный мир, «недоступную terra incognita», за которой следишь «с напряженным любопытством и участием»: каторгу, ее жизнь и нравы, состав ее «странного» общества³⁹². Это книга, которая приковывает «внимание поразительной свежестью впечатления», знакомит читателя с «загробным светом», в который не ступала нога писателя, или из которого она еще не выходила, в ней создана картина «Мертвого дома или каторжного острога», которая «поразительна своей новостью и страшной правдою»³⁹³.

³⁹¹ Н. Новоспаский <Курочкин Н. С.> Петербургская летопись // *Русский мир*. 1861. № 4. С. 81–84.

³⁹² Милюков А. Записки из Мертвого дома, Ф. Достоевского // *Светоч*. 1861. № 5. С. 28.

³⁹³ Там же. С. 28–29.

А. П. Милюков сравнивает Мертвый дом с адом, он вызывает те же чувства, создает ту же «мрачную» картину: Достоевский «ведет нас в какой-то страшный мир страданий, в какой-то новый ад, только не фантастический, а действительный, и показывает нам такие же преступления и страдания, но тем более ужасные, что это не вымысел поэта, а голая правда»³⁹⁴. Описание каторги у Достоевского критик соотносит с адом «Божественной комедии» Данте, с которой у него возникают аллюзии. Так же тяжелы в описании Достоевского «узы страшного семейства):

«Отвращение и ненависть к работе, воровство, шпионство и доносы, беспрестанные наказания, контрабандная торговля вином, ростовщичество»³⁹⁵.

Как считает критик, еще ужаснее воспринимается созданная Достоевским картина, когда понимаешь, что «она не в глубине преисподней, а на поверхности земли, в нашем божьем мире, освещенном солнцем, наполненном благоуханием цветов: что это не бестелесные тени отживших, а живые люди с плотью и кровью, которые хоть и умерли нравственно, но еще живут телом, головою и даже сердцем»³⁹⁶. Он отмечает, что Достоевский «представляет нам ряд портретов, чрезвычайно разнообразных и типичных»³⁹⁷.

А. П. Милюков перечисляет преступников, образы которых создает Достоевский, и задается вопросом:

«... как может сжиться с таким местом человек, брошенный сюда из быта достаточной жизни, не за злодейство противоестественное, но по тем обстоятельствам, вследствие которых русский народ так гуманно дает ссыльным знаменательное название несчастных?»³⁹⁸.

После прочтения «Записок» он согласен с «остроумным» определением Достоевского, что человек живуч, он – «существо ко всему привыкающее»³⁹⁹. Для А. П. Милюкова каторга кажется еще более ужасной, чем ад, так как в ней нет градации наказания, различия работ и условий жизни, есть только «неравенство» срока ссылки. Он описывает восприятие читателями книги Достоевского, которая увлекательна, вызывает неистощимый интерес, она «то поражает вас ужасом, то вызывает слезы участия и жалости, то заставляет задуматься над

³⁹⁴ Там же. С. 29–30.

³⁹⁵ Там же. С. 31.

³⁹⁶ Там же.

³⁹⁷ Там же. С. 32.

³⁹⁸ Там же. С. 33.

³⁹⁹ Там же.

темной задачей человеческого сердца», «наводит вас на множество мыслей и вопросов, психических и социальных»⁴⁰⁰.

А. П. Милюков утверждает, что в «Записках из Мертвого дома» Достоевский обнаружил «талант может-быть гораздо больше, чем в других своих сочинениях, не исключая и Бедных Людей», в картинах «Мертвого дома мы видим истинного художника»⁴⁰¹.

Для критика правдивость содержания является главным достоинством произведения, определяет его художественное значение:

«... творчество состоит не в придумывании замысловатых сюжетов и эффектных сцен, а в искусстве из начал, представляемых жизнью, создать ясную картину, во множестве виденных нами лиц угадать полные типы и из действительности перенести их в область прекрасного»⁴⁰².

Прочитав «Записки из Мертвого дома», читатель никогда не забудет «ужасной и печальной жизни», так как «его Мертвый дом не даггеротипный снимок каторжного острога, а художественная картина, которая с достоинством фотографии соединяет все обаяние красок, дает не один какой-нибудь момент выражения человеческого лица, а всю игру его физиономии, что умеет всецело выразить один истинный художник»⁴⁰³.

Достоевский, по мнению автора рецензии, продемонстрировал умение в немногих чертах рисовать характеры во всей полноте: он «умел осветить ее таким высокогуманным светом, согрет таким теплым чувством, какие можно встретить только в сочинении, глубоко и долго зревшем в душе, полной любви и сочувствия к людям. В каждом преступнике он ищет человека, и каждый его портрет есть теплый, задумчивый вопрос, поставленный перед обществом во имя правды или человеколюбия»⁴⁰⁴. Милюкова удивляет Достоевский: он «едва набрасывает свои лица, но вы кажется читаете всю прошлую жизнь их, даже угадываете их будущую судьбу»⁴⁰⁵.

Еще один прием Достоевского – «немногими взмахами карандаша» нарисовать образ героя:

«У автора Бедных людей мы находили прежде любовь к деталям, к анализу сердца и характера в чертах мелких и тонких; здесь мы видим совершенно

⁴⁰⁰ Там же. С. 34.

⁴⁰¹ Там же. С. 34–35.

⁴⁰² Там же. С. 35.

⁴⁰³ Там же.

⁴⁰⁴ Там же. С. 35–36.

⁴⁰⁵ Там же. С. 36.

иной прием – умение в немногих, но крупных чертах представлять полный и оконченный образ»⁴⁰⁶.

А. П. Милюков обращает внимание на «некоторую беспорядочность изложения» в сочинении Достоевского, которая не является недостатком, а, наоборот, она «усиливает впечатление, производимое хаотической картиною острога»:

«... автор нередко начинает какой-нибудь очерк ехавгурто, делает резкие переходы от одного предмета к другому и снова возвращается к первому, многое не оканчивает, иное повторяет чтобы прибавить некоторые черты к набросанной прежде картине или образу»⁴⁰⁷.

Он предсказывает «Запискам» «огромный успех» у публики, так как это события «не минутной эфемериды, порожденные каким-нибудь мгновенным интересом или увлечением, а сочинения, которые живут и не умирают в литературе, как памятники своего века и общества»⁴⁰⁸.

Восторженный отзыв о «Записках из Мертвого дома» дал обозреватель «Сына отечества». Он отмечает, что «Записки» «замечательные вообще в литературном отношении, особенно обращают на себя внимание потому, что касаются быта, об котором мы до сих пор или вовсе не знали ничего, или знали слишком превратно, каков быт каторжных»⁴⁰⁹. Значение сочинения Достоевского он видит в том, что писатель напоминает о забытых людях. Читатель может почерпнуть из книги Достоевского «впервые такие об этом мире сведения, которых прежде и не подозревал»⁴¹⁰.

На продолжение публикации «Записок из Мертвого дома» во «Времени» откликнулся обозреватель «Русского мира». Он дал противоположную А. П. Милюкову оценку изображения характеров Достоевским. По его мнению, «типы, изображаемые автором, каждый отдельно, не достаточно характеристичны»⁴¹¹. «Записки» любопытны критику «как общий разносторонний очерк каторжной жизни и влияния ее на людей, обреченных ей»⁴¹². Особый интерес у него вызывают места, «где рассказывается о рождественских праздниках, бане и театре у арестантов»⁴¹³.

⁴⁰⁶ Там же.

⁴⁰⁷ Там же. С. 39.

⁴⁰⁸ Там же. С. 40.

⁴⁰⁹ Листок // Сын отечества. 1861. № 41. 8 октября. С. 1204.

⁴¹⁰ Там же.

⁴¹¹ Записки из Мертвого дома Ф. М. Достоевского // *Русский мир*. 1861. № 102. С. 1702.

⁴¹² Там же.

⁴¹³ Там же.

Критик отмечает «неоспоримое социальное значение» произведения Достоевского, которое было бы еще сильнее, «если бы при гуманном взгляде на судьбу людей, страдающих было сказано убедительное слово, имеющее чисто практический смысл и значение»⁴¹⁴.

В целом он высоко оценивает сочинение писателя:

«Кроме художественного достоинства, статья г. Достоевского „Записки из Мертвого дома“ есть *новое слово* в нашей литературе»⁴¹⁵.

Обозреватель «Сына отечества» отмечает новый предмет, о котором рассказывает Достоевский: писатель рисует «картины одна другой поразительнее, от которых то поет сердце в груди, то рождается новая дума, новый вопрос в уме»⁴¹⁶. Глава о госпитале каторжных так поражает автора фельетона, что он восклицает: «Боже мой! Что это за жизнь»⁴¹⁷.

Публикация «Записок из Мертвого дома» вызвала обсуждение необходимости реформ пенитенциарной системы, введение свободного труда, который способствовал бы исправлению преступников⁴¹⁸. В печати поднимались вопросы: почему привилегированные лица, освобожденные по закону от телесного наказания, заковываются в кандалы во время следования в Сибирь и на каторге⁴¹⁹. Автор заметки указывает на то, что кандалы и оковы являются телесным наказанием, требует прописать в законе необходимость их применения к привилегированным классам⁴²⁰. Сочинение Достоевского оказало влияние на живопись. Так, критика отметила картину Померанцева «Праздник Рождества в Мертвом доме», созданную на сюжет Достоевского⁴²¹.

⁴¹⁴ Там же. С. 1710.

⁴¹⁵ Там же.

⁴¹⁶ Там же.

⁴¹⁷ Там же.

⁴¹⁸ См. статьи: *Муллов П.* Вопрос о местах заключения арестантов в России. (По поводу «Записки из Мертвого дома». Ф. М. Достоевского) // *Век.* 1862. № 9–10. С. 87–92. Сравни: *З-н <Зарин Е. Ф.>* Записки из Мертвого дома. Ф. М. Достоевского. Две части. Санкт-Петербург. 1862 // *Библиотека для чтения.* 1862. № 9. С. 89–119.

⁴¹⁹ -Ъ. -Ъ. На каком основании надеваются кандалы на лиц привилегированных сословий? // *Русский мир.* 1862. № 22. 9 июня. С. 448.

⁴²⁰ Там же.

⁴²¹ *Z. Ах,* как приятно быть петербургским фельетонистом! Великое обилие материалов с кратким перечнем их. Стулья на Невском проспекте и неблагодарные петербуржцы. Что будет в Петербурге, когда пройдут века? Выставка в академии художеств. Практический элемент в живописи. Злато не презренный металл для художников. Театральные известия. Открытие консерватории и слухи о новой статье г. Серова. Остроумные расчеты управления лотереи на имения Шиманов и Сероки. Практический смысл одной из ее контор // *Русский мир.* 1862. № 38. 29 сентября. С. 713.

«Записки из Мертвого дома» получили положительную оценку оппонента «Времени» М. А. Антоновича, который дал комплиментарный отзыв:

«„Записки“ же, по своему содержанию, возбуждают живейший интерес, дают много пищи уму и чувству; они лучшее украшение „Времени“ и самый лучший приговор нашему времени вообще»⁴²².

П. А. Кусков, рассуждая о нравственном элементе в литературе, высоко оценил сочинение Достоевского:

«Во всё последнее время, по крайнему моему разумению, самая дельная и полезная вещь, явившаяся в нашей изящной литературе, это – „Записки из Мертвого дома“ Ф. М. Достоевского. Это сочинение может служить краеугольным камнем для всякого рассуждения: тут душа человеческая с ее страстями, болезнями, радостями, печалью, желаньями»⁴²³.

По мнению критика, для написания мемуаров «сверх всего нужна искренность»:

«Тут больше всего нужно отречься от самого себя и быть к самому себе посторонним, беспристрастным и строгим. Не у всякого есть эта страстная откровенность, эта страстная любовь к ближнему, которая заставляет его отдать свое тело и кровь на пищу друзьям своим; но тот, кто не обладает этою страстною откровенностью, вряд ли когда-нибудь и сумеет как бы то ни было насытить друзей своих»⁴²⁴.

Более всего критику запомнилась глава «Акульский муж», о содержании которой он отзывается: «Вот жизнь, вот настоящее ее значение»⁴²⁵.

Особенным явлением, к которому нельзя применить приемы эстетической и реальной критики, называет «Записки из Мертвого Дома» А. Хитров. Он исходит из того, что в правдивости рассказа Достоевского нельзя усомниться:

«Тон везде такой умеренный, всё правдоподобно, везде видно, что говорит человек, сам испытавший и действительно видевший то, о чем он говорит»⁴²⁶.

А. Хитров предлагает посмотреть на значение «Записок из Мертвого дома» с точки зрения поиска в них ответов на злободневные вопросы, связанные с бытом каторжных, их обстановкой, правами

⁴²² Антонович М. О духе «Времени» и о г. Косице, как наилучшем его выражении // *Современник*. 1862. № 4. С. 275.

⁴²³ Кусков П. Нечто о нравственном элементе в поэзии // *Светоч*. 1862. № 5. С. 10.

⁴²⁴ Там же.

⁴²⁵ Там же.

⁴²⁶ Х. А. <Хитров А.> Записки из Мертвого дома. Ф. М. Достоевского. (Время 1860 и 1861 г.) // *Сын отечества*. Воскресный номер. 1862. № 24. 17 июня. С. 564.

и положением. Он согласен со сравнением А. П. Милюкова каторги Достоевского и ада Данте:

«Тот же вид злодеев, тот же вид мук и страданий и тоже тяжелое впечатление на душу»⁴²⁷.

Критику представляется точной характеристика, которую дает Достоевский каторге, назвав ее «заживо – мертвым домом»:

«... в самом деле, в нем все так устроено, что как только вступишь в него и как только за вступившим затворятся ворота, нельзя не почувствовать, что всякая связь с живым миром уже прервана и жизнь вступившего должна идти уже по одной очень ограниченной мерке и даже на определенном пространстве»⁴²⁸.

А. Хитров вспоминает современную теорию о том, что преступник – жертва общества и сам по себе существо «предоброе», и предлагает проверить ее действительностью. Книга Достоевского, зарекомендовавшего себя как гуманнейшего писателя, сочувствующего бедному и слабому, дает читателю эту возможность. По мнению критика, Достоевский знакомит читателя «с тем, что есть на самом деле»: каторжные у него «являются не только не кроткими овечками, попадающими в тюрьму за ломоть хлеба, а, напротив, личностями, с которыми не дай Бог встретиться один на один»⁴²⁹. Автор рецензии вспоминает созданный Достоевским образ Газина, которого он называет «чудовищем», «извергом»⁴³⁰. Это личности, в которых автор не находит раскаяния, наоборот, «все они хвалятся своим злодейством, все они готовы и в самой каторге совершить новое преступление и совершают»⁴³¹. В произведении Достоевского А. Хитров увидел утвердительный ответ автора на вопрос, что каторга не может исправить человека:

«Не так устроена она, не такова в ней жизнь и порядки, чтобы могли они из арестанта сделать человека <...> арестант идет в каторгу уже наказанным, следовательно уже сквитавшимся с обществом, и он действительно так смотрит на себя. Между тем приходя на каторгу, он видит перед собой ничто иное, как другое тягчайшее наказание, встречает не просто работу, но работу – пытку, не жизнь, а муку, и не видит никого и ничего, что говорило бы ему о человечестве»⁴³².

⁴²⁷ Там же.

⁴²⁸ Там же.

⁴²⁹ Там же. С. 565.

⁴³⁰ Там же.

⁴³¹ Там же. С. 566.

⁴³² Там же.

Его также удивляет подмеченная Достоевским способность человека уживаться везде. А. Хитров обнаруживает в книге Достоевского много сцен, когда арестант «становится зверем, тем более страшным, что арестант большею частью не боится наказания, смотрит на него как-то тупо, привычно», наказание только ожесточает его⁴³³. Критик обращает внимание на мысль Достоевского, что «в каторге сходятся люди терпеть одну и ту же пытку совершенно часто за неравные преступления», отмечает «разницу в самых последствиях наказания»⁴³⁴. Из описания каторги критик делает вывод, что «мир каторжных – особый мир, с своими нравами и обычаями, и теперь ясно, что тот, кто хочет служить добром этому миру, должен изучать его, как специальность»⁴³⁵. Значение сочинения писателя состоит в том, что оно – «прямое и четное служение его страждущему человечеству»:

«Вызывая в обществе сострадание к этому кружку несчастных, убедительно доказывая при этом несостоятельность и во многом вред настоящих условий положения этого кружка, Записки в то же время пролагают очень ясно путь, каким можно внести свет и в этот темный угол»⁴³⁶.

А. Хитров, как и П. Кусков, особо выделяет главу «Акулькин муж». В ней и других главах Достоевскому, по мнению критика, удалось «отлично оттенить личность каждого встречавшегося ему лица и передать жизнь и историю каждого из них»⁴³⁷.

Примечательно, что «Записки из Мертвого Дома» стали критерием оценки других произведений. Так, обозреватель «Сына отечества» сделал комплимент автору опубликованного во «Времени» очерка «Темные углы», отметив, что его сочинение – это то же, что и «Записки из Мертвого дома», «с той только разницей, что вместо мужчин здесь идет речь о преступницах-женщинах»⁴³⁸.

В предновогоднем номере «Сына отечества» «Записки» названы в числе произведений, которые приобрела русская литература в 1862 г.: драма Островского «Козьма Минин», рассказ Писемского «Батька» и «Записки из Мертвого Дома» Достоевского⁴³⁹.

⁴³³ Там же. С. 567.

⁴³⁴ Там же. С. 569.

⁴³⁵ Там же. С. 571.

⁴³⁶ Там же.

⁴³⁷ Там же.

⁴³⁸ Текущая журналистика // *Сын отечества*. Воскресный номер. 1862. № 42. 21 октября. С. 989–992.

⁴³⁹ Листок // *Сын отечества*. Воскресный номер. 1862. № 52. 30 декабря. С. 1246.

Положительную оценку «Запискам из Мертвого Дома» дал Е. Ф. Зарин, который причислил их «к числу тех бесхитростных книг, которые не предъявляя никаких особенных претензий, касаются однако предметов, в высшей степени способных занимать человеческое внимание»; это «бесспорно интересная книга»⁴⁴⁰. Он обратил внимание, что в «Записках из Мертвого Дома» автор называет себя только издателем, он «сделался случайным обладателем „Записок“ человека, десять лет прожившего в „Мертвом Доме“»⁴⁴¹. Эффект этого приема заключается в том, что, если вы как читатель в состоянии забыть, что книга принадлежит автору, то «ваше доверие к нему будет совершенно полное; его наблюдения вам будут казаться непосредственными и самоличными, то есть имеющими все качества достоверного свидетельства»; если вы не можете «забыть авторской хитрости, то все-таки к лицу, говорящему не от своего имени, вы будете относиться с меньшим скептицизмом и с большим предрасположением верить ему, чем если бы он говорил прямо от себя»⁴⁴². Эта форма позволяет автору быть «отрывочным, забывать о хронологии, об искусственной последовательности изображений», это помогает ему высказывать «только то, что ему особенно хорошо известно <...> без всяких искусственных натяжек, не заботясь ни о каких условных требованиях и не придумывая насильственных соотношений между предметами там, где истинные отношения между ними остались или скрытыми или не изученными»⁴⁴³.

Анализ произведения является для критика лишь поводом для постановки и обсуждения вопросов:

«Кто же такие – убийцы и воры: сознательные протестаторы, или люди жалчайшего невежества и зверских понятий?»⁴⁴⁴.

Он считает, что «возводить разбойника из грубейшего невежды в сознательные протестаторы нисколько не гуманно, и, в отношении к самому разбойнику, в высшей степени несправедливо. Отнимать у него его скотское невежество в этом случае, значит посягать на его права»⁴⁴⁵. В «Записках из Мертвого Дома», утверждает критик, «преступнику приписывается критический взгляд на свои отношения

⁴⁴⁰ З-н <Зарин Е. Ф.> Записки из Мертвого Дома. Ф. М. Достоевского. Две части. Санкт-Петербург. 1862 // Библиотека для чтения. 1862. № 9. С. 89.

⁴⁴¹ Там же. С. 92.

⁴⁴² Там же.

⁴⁴³ Там же.

⁴⁴⁴ Там же. С. 95.

⁴⁴⁵ Там же. С. 96.

к обществу; он не потому преступник, что он существо падшее, достойное всего нашего сострадания, не потому, что, при своей нравственной тупости, он не способен иметь и двух правильных мыслей ни о своем значении в обществе, ни о значении самого общества, а потому, что он человек, вооруженный аргументацией, по которой он считает себя правым, а общество виновным»⁴⁴⁶. Е. Ф. Зарин считает отсутствие раскаяния «совершенным отуплением нравственного чувства и глубиной падения, могущего простирается до потери всякого сознания о добре и зле, – и такое оскотенение, без сомнения, служит в большинстве случаев нераскаянности гораздо вероятнейшим объяснением, чем теоретические соображения, предполагаемые в разбойниках, о несовершенствах общественного устройства»⁴⁴⁷. Он утверждает, что «в этом аду, в этой кромешной тьме, в этой бездне оскотенения и нравственного индефферентизма» нет «никаких убеждений, никаких расчетов с обществом и никакого сознательного восстания против него; а есть одно только нравственное одервенение и привычка»⁴⁴⁸. Он упрекает Достоевского в желании «блеснуть» передовым взглядом против пенитенциарных тюрем.

Критик проникся сочувствием к автору, положение которого в среде отъявленных душегубов несправедливо:

«Мы не знаем, какого рода преступление совершил несчастный наблюдатель каторжной жизни, <...> но каково бы ни было его преступление против общества, или одного только правительства, во всяком случае человек его образа мыслей, его нравственных понятий и образования, его общественного положения, о котором можно догадываться, что оно было довольно высоко, может служить лучшим примером и лучшим доказательством того, что для иного каторжника настоящею каторгою следует считать циническое сообщество каторжников, а самые каторжные работы и все тягости бесправного состояния только прибавкою к этому наказанию»⁴⁴⁹.

Свой разбор книги Е. Ф. Зарин завершает пожеланием ей «полного успеха»⁴⁵⁰.

Достоинством книги Достоевского рецензент «Иллюстрации» (В. Р. Зотов?) называет то, что она «вводит нас в мир совершенно неведомый, в мир русского острога и каторжников, и дает длинный ряд

⁴⁴⁶ Там же. С. 101.

⁴⁴⁷ Там же. С. 103–104.

⁴⁴⁸ Там же. С. 105.

⁴⁴⁹ Там же. С. 117.

⁴⁵⁰ Там же. С. 119.

в высшей степени любопытных картин тамошнего быта»⁴⁵¹. Он подчеркивает, что ее содержание основано на личном опыте писателя.

Критик ставит вопросы, которые возникают перед читателем во время знакомства с этой увлекательной книгой:

«Что вызывает его на преступление, как проявляется он в преступлении и после него, как к преступнику относится наше общество?»⁴⁵².

На эти вопросы по-разному отвечает образованное общество и простой народ. По мнению рецензента, книга Достоевского дает «много драгоценнейших материалов»⁴⁵³. Критик признается, что в его изложении «факты много потеряют в той живости, которая сообщена им изложением г. Достоевского, но зато, может быть, легче подойдет под некоторые общие соображения»⁴⁵⁴.

Он выделяет следующие «соображения»:

«Общество и администрация относятся к арестантам враждебно», «суровое отношение общества к преступнику не имеет достаточных оснований», «для преступника возможно нравственное возрождение, если только люди, поставленные в непосредственное сношение с ними, будут обращаться с ними по-человечески»⁴⁵⁵.

Завершая рецензию, он приходит к выводу, что содержание «Записок из Мертвого Дома» имеет громадный интерес:

«Те небольшие выписки, которые мы привели могут служить образцами художественности изложения, которое скрасило собою самые тяжелые картины»⁴⁵⁶.

Вспоминая об огромном и заслуженном успехе «Записок из Мертвого дома» еще при их публикации во «Времени», критик «Иллюстрированного листка» отмечает, что он был гарантирован обращением автора к жизни людей «заклейменных, опозоренных, бывших членов общества, наших погибших братьев, подвергшихся тяжелой участи»⁴⁵⁷. Рецензент высказывает надежду, что «гуманные преобразования»

⁴⁵¹ «Записки из Мертвого дома», соч. Ф. М. Достоевского // *Иллюстрация*. 1862. № 237. 20 сентября.

⁴⁵² Там же.

⁴⁵³ Там же.

⁴⁵⁴ Там же.

⁴⁵⁵ Там же.

⁴⁵⁶ Там же.

⁴⁵⁷ Записки из Мертвого дома, Ф. М. Достоевского. Издание второе 1862 г. // *Иллюстрированный листок*. 1862. № 42. С. 402.

изменили каторжную жизнь и не все факты, рассказанные Достоевским, сохранились в настоящее время. Кроме исторического и общественного значения, он видит достоинством книги то, что «Записки» замечательны по форме и изложению. Рецензент выделяет художественное значение сочинения Достоевского, которое удовлетворяет разных читателей с противоположными вкусами – романтиков, практиков, идеалистов и реалистов:

«В них нет пустых фраз, ни простого разбора фактов, но везде есть взгляд, мысль, убеждения; оттого рассказ автора так жив, одушевлен, увлекателен, а эпизоды запечатлеваются в памяти читателя <...> выбор фактов, способных заинтересовать и тронуть, даже самого равнодушного читателя, глубоко-патетический колорит, все это придает „Мертвому дому“ художественное значение»⁴⁵⁸.

Любое обращение к этой теме, по мнению критика, будет повторением, так как «чувства и страсти людей этого мира довольно однообразны <...>, отношения людей этого мира просты и несложны, и все это легко исчерпывается до дна одним произведением сильного таланта»⁴⁵⁹.

По его оценке, Достоевский «мастерски» достиг поставленной цели представить острого:

«... записки составляют одну большую, мастерски выполненную картину, разделенную на несколько частей; в каждой части изображен отдельный эпизод и все они связаны, одной мыслью: представить характеристические черты каторжной жизни, во всех ее частностях, во всех ее проявлениях, насколько это дозволяло однообразие этой жизни»⁴⁶⁰.

Среди недостатков произведения рецензент отметил «запутанность, сложность, происшедшие явно оттого, что автор записывал все случаи своей каторжной жизни так, как они возникали в его памяти, не придерживаясь строгой системы»⁴⁶¹.

В этом есть и положительный момент – писатель имел возможность «более глубоко и разносторонне обдумать изображаемые им факты, делаемые приговоры, вернее взглянуть на характеры лиц»⁴⁶². Рецензент считает, что Достоевского занимала «внутренняя, психическая сторона жизни арестантов»⁴⁶³. В «Записках» Достоевский, по мнению критика,

⁴⁵⁸ Там же.

⁴⁵⁹ Там же.

⁴⁶⁰ Там же.

⁴⁶¹ Там же.

⁴⁶² Там же. С. 403.

⁴⁶³ Там же.

изображает характеры, пытается разъяснить наклонности, страсти, желания, понятия, привычки, образ мыслей заключенных, которых представляет мечтателями. Мечта и надежда спасают заключенного от помешательства и смерти.

Вслед за Достоевским критик рассматривает принудительный труд и вынужденное сожительство как пытку, ставит вопрос о необходимости реформ, «чтобы наказание явилось более гуманным, более рациональным и справедливым»⁴⁶⁴, предлагает ряд мер по улучшению положения заключенных.

Рассматривая книгу Н. Г. Помяловского «Очерки бурсы», П. В. Анненков выделяет «Записки из Мертвого дома» как превосходный образец произведений смешанного рода, которые «могут быть приняты за правдивые записки очевидца, а вместе с тем, благодаря замашкам художественного освещения лиц и искусственного распределения частей, и за свободное создание писателя»⁴⁶⁵. Критик относит сочинение Достоевского, с одной стороны, к летописи, с другой – к вымыслу. Этот род произведений, по характеристике П. В. Анненкова, «более значителен, чем простой факт и менее достоверен, чем факт. Он не чистая истина, необходимая этнографу, статистику и администратору, да он и не свободное творчество, которым удовлетворяется фантазия читателя. Он в одно время правдив и обманчив для всех требований»⁴⁶⁶. Образ «Мертвого дома», который создает Достоевский, как утверждает критик, представляет собой «редкое сочетание голой истины, ослабленной литературной передачей ее, и артистического создания, ограничиваемого грубым фактом и беспощадной действительностью»⁴⁶⁷.

П. В. Анненков рассматривает «Записки из Мертвого дома» как «художественный и философский комментарий», благодаря которому «светлый луч искусств и даже поэзия играет у г. Достоевского на стенах ужасного дома и пробивается внутрь его, оставляя его по-прежнему домом печального назначения, не изменяя его безобразной наружности и не разукрашивая фальшивым освещением»⁴⁶⁸. Как утверждает критик, глубокий психологический анализ преступников объяснил и смягчил их преступления.

⁴⁶⁴ Записки из Мертвого дома, Ф. М. Достоевского. Издание второе 1862 г. Окончание // *Иллюстрированный листок*. 1862. № 43. С. 430.

⁴⁶⁵ Анненков П. В. Современная беллетристика. Г-н Помяловский // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1863. 5 января.

⁴⁶⁶ Там же.

⁴⁶⁷ Там же.

⁴⁶⁸ Там же.

По мнению А. В. Эвальда, Достоевский «вновь поднялся картинами „Мертвого дома“, описанием жизни ссыльных, крайне поучительной»⁴⁶⁹. Его произведение заинтересовало читателей по двум причинам:

«... во-первых, что о ней прежде не позволялось говорить; во-вторых, потому, что талант автора бесполезно глодал самого себя, изощряясь над ловлей неуловимых психических ощущений»⁴⁷⁰.

Он сравнивает «Село Степанчиково» и «Записки из Мертвого дома»: в первом он обнаруживает «натянутый мелодраматизм», «фальшивый юмор», «натянутость», во втором – «истинную драму», «естественную занимательность», в нем он видит «благодетельную сторону знания жизни, положительное влияние этого знания»⁴⁷¹. Критик размышляет об отсутствии в современной литературе общих выводов, общих стремлений, так как в современных произведениях общественные вопросы раздроблены: о чиновниках пишет Щедрин, о купцах – Островский, о ссыльных – Достоевский. Эти произведения оказываются «полезны одною только своею стороною, частностями, и к общему они никогда не возвышаются»⁴⁷². Эвальд предъявляет Достоевскому упрек, что он «не задал себе тех вопросов, которые общественный деятель, следящий за труднейшей современной задачей – о ответственности наказаний и преступлений, должен иметь в виду»⁴⁷³. Критик считает, что если бы Достоевский задал себе этот вопрос, то его материал разделился бы на две части и он своим описанием ответил бы и на другие важные вопросы: «где мы находимся по отношению к новейшим требованиям науки об уголовных наказаниях? Какой системы придерживаемся, или еще никакой не усвоили, еще остались на том пункте, когда физическое страдание считались единственным возмездием за преступления? Возмездие, устрашение или исправление преступника составляют нашу систему?»⁴⁷⁴. Он упрекает Достоевского в незнании, что есть такие системы:

«Недостаток идеи, следовательно, подрывает всю ту полезность, которую несет с собою талант, захватывая окружающую жизнь»⁴⁷⁵.

⁴⁶⁹ Ленивцев А. <Эвальд А. В.> Недосказанные заметки. Г. Ф. Достоевский и его «Мертвый дом» // *Отечественные записки*. 1863. № 2. С. 191.

⁴⁷⁰ Там же.

⁴⁷¹ Там же.

⁴⁷² Там же. С. 193.

⁴⁷³ Там же. С. 194.

⁴⁷⁴ Там же.

⁴⁷⁵ Там же.

А. Эвальд критикует Достоевского за то, что у типических лиц, которые он создает, «нет прошедшего, то есть автор не потрудился органически соединить их с тою жизнью, в которой они сделались преступниками. У всех у них, правда, есть своя краткая история, но такая же темная, как история происхождения Руси. Автор прибегает к своим априорическим объяснениям там, где должны были говорить факты из доострожной жизни. А так как это требование слишком велико, то автор начинает сочинительствовать. Он забывает, что на этом посту – он общественный служитель, имеет в виду выгоду общества»⁴⁷⁶.

По мнению фельетониста «Голоса», Достоевский, дав «ясную и полную картину острожной жизни», познаколив «с личностями ссыльных всякого звания и состояния», породил интерес к жизни заключенных:

«За г. Достоевским идет непрерывный ряд авторов, описывающих или быт тюрем, или личности подсудимых, или, наконец, самые процессы следствия»⁴⁷⁷.

Краткий отзыв об образах, созданных Достоевским, дан в статье, подписанной инициалами К. Л.:

«... в жизни нашего общества несравненно больше и трагического, и изящного, и доброго, чем в наших сочинениях. Мы вовсе не хотим сказать, что „все обстоит благополучно“; это для истинного художника и ненужно... Он очень рад, в глубине души, трагическому началу жизни. Например, злодеи г. Достоевского из „Мертвого дома“ – лица вовсе не той категории, на которую мы жалуемся; когда лицо сильно, оригинально и полно движения – оно уже не вполне отрицательно, как бы вредно оно ни было. Хлестаков более отрицателен, чем Нерон, и бледный прихвостень демократических стремлений отрицательнее самого страшного изувера и деспота, точно так же, как презренный светский мотылек отрицательнее ловкого итальянского разбойника»⁴⁷⁸.

Примером утилитарной интерпретации «Записок» Достоевского стали очерк М. И. Соколова «Заметки о беглых бродягах в России и Сибири» и статья Д. И. Писарева «Погибшие и погибающие» (сопоставление русской школы в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского и

⁴⁷⁶ Там же.

⁴⁷⁷ Наша грустная жизнь. (Третье письмо к редактору «Голоса») // *Голос*. 1863. № 52. 2 марта.

⁴⁷⁸ К. Л. Наше общество и наша изящная литература // *Голос*. 1863. № 63. 15 марта.

каторги), в которых сочинение Достоевского использовано как источник сведений об острожных нравах⁴⁷⁹.

Другие произведения Достоевского получили единичные отклики.

Так, рассказ «Скверный анекдот» произвел неприятное впечатление на обозревателя «Сына отечества». По его оценке, Достоевский «хотел коснуться чего-то важного, хотел затронуть какой-то вопрос, что-то такое выразить, но весь рассказ отзывается чем-то более шуточным, неправдоподобным, мало соответствующим жизни, как будто талантливый автор писал его так себе, от нечего делать, не заботясь много о серьезном выражении мысли»⁴⁸⁰.

Восторженный отклик на фельетон Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях» дал А. А. Григорьев, который признался, что сам бы воспел «добродетельное, нравственное (так в тексте. – О. З.) мещанство», если бы Ф. Достоевский не «возделал уже тебя в своих гениально умных и глубоких заграничных воспоминаниях»⁴⁸¹. Критик спрашивает читателей: знакомо ли им изображение Бри-бри и Мабиши, и отвечает, что если знакомо, то многое в жизни и искусстве определится ярко и ясно:

«Ведь только оригинальное критическое чутье русского человека могло с такою можно сказать нахальною беспощадностью и вместе с такою наивною разоблачить эти милые типы»⁴⁸².

Смех Достоевского, по мнению критика, «беспощадно наивен» и разоблачителен, писатель «правее и прямее» ложных суждений.

Попытки возобновить журнал в 1863 году были безуспешны. Можно было только начать новый журнал. Разрешение на издание журнала «Эпоха», который уже названием был двойником «Времени», было получено 24 января 1864 года.

5.

Позднее разрешение на издание журнала «Эпоха» оказалось «роковым». Журнал опоздал с выходом первого номера. Сдвоенный номер

⁴⁷⁹ Х... <Соколов М. И.> Заметки о беглых и бродягах в России и Сибири // *Современник*. 1863. № 8; Писарев Д. Погибшие и погибающие // *Луч*. Учено-литературный сборник. Т. 1. СПб., 1866.

⁴⁸⁰ Текущая журналистика // *Сын отечества*. Воскресный номер. 1862. № 51. 23 декабря. С. 1224.

⁴⁸¹ Григорьев А. Хроника спектаклей // *Якорь*. 1864. № 2. С. 29.

⁴⁸² Там же.

(№ 1–2) вышел только 24 марта 1864 года. Ф. Достоевский до конца апреля был в Москве и не мог участвовать в редактировании журнала. Редакции пришлось нагонять упущенное. График выхода номеров был осложнен болезнью и смертью М. М. Достоевского. Ф. М. Достоевский приступил к редактированию «Эпохи» в июле 1864 года [Нечаева 1975: 125]. В феврале 1865 года редакции «Эпохи» удалось рассчитаться с подписчиками 1864 года, но тут же выяснилось, что в условиях журнального кризиса 1865 года издание обанкротилось. Редакция опубликовала два номера – январский и февральский, издавать журнал далее денег не было.

«Записки из подполья» были опубликованы в журнале «Эпоха» (1864. № 1–2, 4). Первая часть «Записок из подполья» обратила внимание сотрудников «Современника». Именно этим произведением навеяны размышления Щедрина в статье «Литературные мелочи» о значении слова «дрянь» в отношении к человеку, есть ли различия между злонамеренным человеком, дураком и дрянным человеком.

Сатирик дает определение дрянного человека:

«... „дрянным“ следует называть такого человека, или такое положение, которого свойства ясно представить себе невозможно, на которых нельзя ни в каком случае рассчитывать, в которых совестно видеть что-либо враждебное, но в то же время немисливо находить что-нибудь и симпатичное»⁴⁸³.

Щедрин также затрагивает вопрос о самозванцах. Он утверждает, что самозванство прижилось в русской литературе до такой степени, что «ни один писатель не может безнаказанно выступить на литературное поприще, чтобы не подвергнуться опасности встретить себе созию (*sozic* в переводе с французского *двойник* – О. З.)»⁴⁸⁴. Щедрин перечисляет настоящих авторов и лже-авторов:

«Есть настоящий Крестовский (к сожалению, псевдоним) и есть псевдо-Крестовский (Всеволод, к сожалению, не псевдоним); есть Григорьев настоящий (П. П. актер и автор „Героев преферанса“) и есть псевдо-Григорьев (А. А., автор различных „веяний“); был настоящий Катков, переведший „Юлию и Ромео“, и есть псевдо-Катков, издающий теперь „Московские ведомости“; был настоящий Георгиевский (П. П., сочинитель „Краткого руководства к изучению российской словесности“) и есть псевдо-Георгиевский, который не знает, где у него начало, в Каткове или Леонтьеве, и где у него конец, в Феоктистове или Романовском; был настоящий Краевский, автор „Бориса Годунова“ и „Письма из-за границы“, и есть псевдо-Краевский, который ничего не пишет, а только внушает г. Альбертини; есть настоящий Достоевский

⁴⁸³ <Салтыков-Щедрин М. Е.> Литературные мелочи // Современник. 1864. № 5. С. 6.

⁴⁸⁴ Там же. С. 11.

(Ф. М., автор „Мертвого Дома” и „Бедных людей”) и есть псевдо-Достоевский (М. М., автор „Старшей и Меньшой” и предприниматель журнала „Эпоха”); есть настоящий Зайцев, который, ничего не пишет, есть псевдо-Зайцев, который, вместе с Кузьмой Прутковым, собирается написать драму под названием: „Мальчик, у которого фосфор не в голове, а на голове”...»⁴⁸⁵.

Щедрин рассказывает, что в первых двух номерах «Эпохи» ему слышатся рыдания редактора и сотрудников:

«„Не роди ты меня, мать-сыра земля”, умиленно-унылыми голосами вопиют все эти бескорыстные труженики, и в то же время присматривают, как бы им так приноровиться, чтобы всех прельстить смиренством да „тихим, кротким поведением”»⁴⁸⁶.

Сатирик не может понять причину рыданий «Эпохи», на его взгляд, у них нет повода для слез:

«... они изо всех сил друг друга поощряют, чувствую целый ряд усилий и потуг, слышу хор голосов, вопиющих: бодрей! смелей! – и все-таки остаюсь в совершенном недоумении»⁴⁸⁷.

Щедрин представляет «драматическое произведение» начинающего писателя – «драматическую быль» «Стрижи»⁴⁸⁸. В пародии под видом стрижей и редакции «Возобновленный Сатурн» изображены основные сотрудники редакции «Эпохи»: стриж-редактор журнала (М. М. Достоевский), стриж-философ (Н. Н. Страхов), стриж-эстетик (А. А. Григорьев), стриж-беллетрист унылый (Ф. М. Достоевский), стриж-беллетрист веселый, который находится в отсутствии, два стрижа-стихотворца.

В этой пьесе Ф. М. Достоевский не многословен. В конце ее он рассказывает о своем новом произведении, которое носит название «Записки о бессмертии души». В этом монологе стрижа-беллетриста осмеивается содержание «Записок из подполья»:

«Для стрижей это вопрос первой важности, а так как нам надобно прежде всего показать, что журнал наш есть орган стрижей, что он издается стрижами и для стрижей, то весьма естественно, что я сообразовался с этим и при выборе сюжета. Записки ведутся от имени больного и злого стрижа. Сначала он говорит о разных пустяках: о том, что он больной и злой, о том, что все на свете колдовратно, что у него поясницу ломит, что никто не может

⁴⁸⁵ Там же.

⁴⁸⁶ Там же. С. 17.

⁴⁸⁷ Там же.

⁴⁸⁸ Представление редакции журналов бр. Достоевских в виде птиц появилось впервые в статье: Н. Щедрин <Салтыков М. Е.> Тревоги «Времени» // Современник. 1863. № 3.

определить, будет ли предстоящее лето изобильно грибами, о том, наконец, что всякий человек дрянь, и до тех пор не сделается хорошим человеком, покуда не убедится, что он дрянь, и в заключение, разумеется, переходит к настоящему предмету своих размышлений. Свои доказательства он почерпает преимущественно из Фомы Аквинского, но так как он об этом умалчивает, то читателю кажется, что эти мысли принадлежат собственно рассказчику. Затем следует обстановка рассказа. На сцене ни темно, ни светло, в какой-то серенький колорит, живых голосов не слышно, а слышно сипение, живых образов не видно, а кажется, как будто в сумраке рассекают воздух летучие мыши. Это мир не фантастический, но и не живой, а как будто кисельный. Все плачут, и не об чем-нибудь, а просто потому, что у всех очень уж поясницу ломит... (*Чихает от волнения и умолкает*)»⁴⁸⁹.

Этот монолог стрижа-беллетриста коллеги встречают молчанием, а стриж-редактор требует у стрижа-эстетика, чтобы он в письме к нему изложил критические замечания:

«Это будет у нас отдел критический. Затем, господа, что касается собственно до текущей части журнала, то, надеюсь, что мы будем руководствоваться в этом случае примерами прошлых лет. Вы будете писать ко мне письма, а я буду молчать; потом вы будете писать письма друг к другу – и таким образом год пройдет у нас незаметно!»⁴⁹⁰.

Этот выпад Щедрина против Достоевского обострил литературную борьбу между журналами. Достоевский ответил на критику и сатиру Щедрина в редакционной статье «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах». В ответ Достоевскому Антонович написал статью «Торжество ерундивов»⁴⁹¹.

Критик так излагает точку зрения оппонента, упрекнувшего «Современник» в перемене убеждений:

«... послушайте-ка, что говорят со стороны умные люди! – изменил до того, говорят, что стал глумиться над г. Тургеневым, над идеалами – нигилистами, которые создал этот великий художник, и над всеми теми, которые стремятся поражать этим тургеневским идеалам и осуществлять их в жизни и литературе, изменил до того, что стал симпатизировать и питать дружбу к „Русскому инвалиду“, хвалить „Московские ведомости“ и пренебрегать дружбой Кроличкова, до того наконец, что произвел раскол в нигилизме»⁴⁹².

⁴⁸⁹ <Салтыков-Щедрин М. Е.> Стрижи. Драматическая быль // *Современник*. 1864. № 5. С. 24–25.

⁴⁹⁰ Там же. С. 25.

⁴⁹¹ Обстоятельства этой полемики подробно рассмотрены в работах [Борщевский], [Никитина; 1993: 552-555].

⁴⁹² <Антонович М. А.> Торжество ерундивов // *Современник*. 1864. № 7. С. 141.

В этих упреках, по мнению Антоновича, скрывается желание уязвить, уколоть, подточить что-нибудь или подрезать у «Современника»; каждый из оппонентов «несет в своем умишке весь свой яд и думает, как бы брызнуть им на своего врага, каждый поднимает свое копытцо и выжидает, нельзя ли лягнуть того же врага»⁴⁹³.

Первым, кто объявил о смерти направления «Современника» и прибежал на «лицемерные поминки», был орган стрижей, который, как считает Антонович, «в насмешку» назван «Эпохой». Статья Достоевского, по заключению критика, «вполне достойна стрижей», «в некоторых местах ее видны проблески истинного остроумия», но в целом Антонович уподобляет «Эпоху» «твари»:

«... она вся пропитана каким-то чахоточным удушьем и болезненною злостью, какую обыкновенно обнаруживает всякая прибитая и издыхающая тварь по отношению к тому, кто ее прибил; у твари глаза блестят от злости и дико поворачиваются, она оскаливает зубы и кажется, готова была бы изорвать на клочки прибившего, но – силы нет, и в чувстве своего бессилия, тварь злится еще сильнее, не знает, что ей делать, кричит, царапает землю, дерет собственную кожу, безобразно щелкает зубами – и т. д., одним словом, сама ускоряет собственное издыхание»⁴⁹⁴.

В упреке Достоевского, что «Современник» изменил свои убеждения на прямо противоположные, Антонович не видит ничего плохого, но его задело его утверждение об изменении редакции «Современника»: Правдолюбов (Добролюбов) скончался, остальных не оказалось на месте, начались беспорядки. Срываясь на ругань, он грубо намекает:

«... все понимают, почему должны торжествовать вы, а вместе с вами и вся литературная шваль, подобная вам; все вы, конечно, с великим удовольствием думаете, что теперь каждый раз вам будет доставаться хоть одним щелчком меньше»⁴⁹⁵.

Критик пытается устыдить «Эпоху» за такое отношение к «Современнику»:

«Как это мило, добросовестно и честно! И уже ли вы думаете подобными остротами или пиками уязвить „Современник“! Опомнитесь, стрижи! Вы сами на себя налагаете руки, сами терзаете свои внутренности. В других устах приведенные слова были бы еще хоть до некоторой степени извинительны, но в ваших они просто непостижимы: вспомните, что вы говорили

⁴⁹³ Там же. С. 142.

⁴⁹⁴ Там же. С. 143.

⁴⁹⁵ Там же. С. 148.

о „Современнике” *прежде*, спросите г. Косицу и другого неизвестного стрижа, писавшего у вас туманные статьи по критике, что они выражали *прежде* о главных сотрудниках, – вспомните все это *теперь* и устыдитесь, потому что это действительно для вас стыдно»⁴⁹⁶.

В конце критик пытается унизить оппонента:

«... как вы ни вертитесь, как ни остроумничайте о брюхе, яблоках, предпочтении сапогов Пушкину и т. д., но ничем подобным вы не смаете позора, вас покрывшего; припомните ваше раболепство пред „Русским вестником”, который совершил над вами заплевание; искренним раскаянием сотрите с вас заплевание, запаситесь смыслом и потом уже выступайте на обличение других в изменах и на опровержение воззрений ваших противников»⁴⁹⁷.

Антонович продолжил нападки на «Эпоху» в следующем номере. Он негодует, что «стрижи» после изменений в редакции обвинили «Современник» в том, что он «не умеет мыслить», «не умеет понимать», «проповедует ужасающие нелепости»⁴⁹⁸. Эти же обвинения он предъявляет редакции «Эпохи». Критик напоминает статью «Сказание о Дураковой плешу» («Время», 1863, № 3), подписанную Игдеевым (псевдоним И. Г. Долгомостьева). Антонович угрожает, что «Современник» мог за нее втоптать стрижей в грязь так, «что они не отмылись бы от нее в течение целого года»⁴⁹⁹.

Полемика Антоновича сводится к перебранке, обмену ругательствами. Он постоянно сбивается на них.

Критик ехидствует по поводу смерти М. М. Достоевского:

«... позволительно ли теперь „Современнику” потешиться над „новой” редакцией „Эпохи” и доказать читателям, что эта юная редакция, лишившись своего главы, совершенно потеряла голову и сама теперь не ведает, что творит, и „Эпоха” выходит теперь до того безобразна, что превосходит всякую Дуракову плешу»⁵⁰⁰.

Он уже глумится, но грозит, что пока «готовится»:

«Сам „Современник” колеблется и не решается глумиться, хотя все побуждает его к этому; у него готовы уже все орудия глумления, но он медлит пустить их в ход, у него в руках целая статья об „Эпохе”, но он еще не решился, печатать или не печатать ее»⁵⁰¹.

⁴⁹⁶ Там же.

⁴⁹⁷ Там же.

⁴⁹⁸ <Антонович М. А.> Вопрос, обращенный к стригам // *Современник*. 1864. № 8. С. 336.

⁴⁹⁹ Там же.

⁵⁰⁰ Там же. С. 337.

⁵⁰¹ Там же. С. 338.

Критик анонсирует свою статью, которая будет опубликована в сентябрьской книге «Современника»:

«... написана очень забавно и в некоторых местах возвышается до настоящего остроумия, вся очень правдива и доказательна»⁵⁰².

Он рисует карикатурную жизнь редакции «Эпохи»:

«Между стрижами остались одни только неоперившиеся птенцы, неопытные, не умеющие ни летать, ни издавать журнал, потому что покойный Михаил Михайлович Достоевский занимался редактированием журнала всегда сам и, как говорит г. Ф. Достоевский, „никому не доверял даже на время своих редакторских обязанностей“. Но нужно же было как-нибудь издавать журнал, и нужно же было как-нибудь редактировать его, и вот стрижи в первый раз в жизни встретились с вопросом: что такое редакция и что значит редактировать? Этот вопрос поставил их в тупик»⁵⁰³.

Он сочиняет преобразования, чтобы «усилить» журнал: перенести редакцию из погреба на Дуракову плешь, секретно отправить нетопыря в «Современник», чтобы он подсмотрел «портфель редакции» и т. д. Ссылаясь на статью Ф. М. Достоевского «Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском», М. Антонович отмечает роль М. М. Достоевского в журнале:

«... в составе книжек „Эпохи“ действительно заметен был известный выбор, и в этом выборе видна была известная мысль, статьи отличались современностью, вопросы решались именно те, которые стояли на очереди. Теперь же в книжке, вышедшей под новой и юной редакцией, собран такой сумбур, как будто она составила сама собою, как будто не редакция выбирала статьи, а сами статьи составили редакцию и своевластно залезли в книжку»⁵⁰⁴.

Критику так понравилась его мысль о том, что в «Эпохе» «не авторы сочиняют статьи, а сами статьи сочиняют и водят за нос авторов», что он дважды повторяет ее. Справедливо полагая, что статья Достоевского носит программный характер, он тут же упрекает «новую» редакцию в неследовании ее установкам:

«Михаил Михайлович свою мысль о почве, о земстве, о патриотизме, умел развивать оригинально и при нем „Эпоха“ умела сохранить свою отдельность от „Дня“ и „Московских ведомостей“ <...> теперь же „Эпоха“ бросилась разом в объятия „Дня“ и „Московских ведомостей“, слилась с ними и таким

⁵⁰² Там же.

⁵⁰³ Там же.

⁵⁰⁴ Там же. С. 338–339.

образом обезличилась, потеряла самостоятельность, уничтожилась и погрузилась в московскую литературу»⁵⁰⁵.

Антонович прямо признает, что его выступление – месть за статью «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах»:

«„Современник“ принял за правило руководствоваться в полемике известною в уголовном праве системою возмездия – око за око, зуб за зуб, т. е. наказывать всякую литературную ракалию тем же оружием, которым она сама согрешает»⁵⁰⁶.

В статье «Вопрос, обращенный к стрижам» он злобно повторяет те претензии за «неделикатное» поведение, которые были высказаны им в статье «Горжество ерундистов». Рядом с ней помещена другая статья Антоновича, которая своим заглавием «Раскаяние г. Альбертини, или Раскол в ерундистах» пародирует название статьи Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах».

Глумление над стрижами Антонович продолжил в сентябрьском номере «Современника», в котором он почти все свое обозрение посвятил «Эпохе». В нем критик радостно сообщает, что его замысел удался, стрижи попали в западню, теперь он может показать их публике в «настоящем неподдельном виде»:

«... стрижи влетели в расставленную для них мною западню, задели ту самую предательскую жердочку, от сотрясения которой захлопнулась крышка западни и заперла в ней стрижей. Блистательное доказательство, что я очень хорошо знаю все свойства и слабость стрижей!»⁵⁰⁷.

Критик объясняет, в чем заключается западня, которую он приготовил для обличения «Эпохи»:

«... полемические манеры „Эпохи“ очень нехороши, что в частности полемические приемы г. Достоевского очень некрасивы и в высшей степени неделикатны; вижу также, что ни „Эпоха“, ни г. Достоевский и не думают отставать от своих дурных манер и приемов в полемике, что напротив, эти манеры и приемы входят у них в привычку и грозят обратиться даже в их природу; вижу наконец и то, что никто не берет на себя труда образумить „Эпоху“ и г. Достоевского и отучить их от их дурных полемических замашек. Как бы это мне, думаю я себе, доказать, что эти замашки действительно дурны, убедить в этом не только публику, но и самое „Эпоху“ с г. Достоевским;

⁵⁰⁵ Там же. С. 339.

⁵⁰⁶ Там же.

⁵⁰⁷ <Антонович М. А.> Стрижи в западне (Истинное происшествие) // *Современник*. 1864. № 9. С. 77.

доказывать свою мысль прямо и серьезно – пожалуй, не достигнешь цели, „Эпоха” может эксплуатировать в свою пользу такие доказательства, г. Достоевский может сказать, что его полемика живьем режет, и потому-то противники называют ее дурною. Дай-ка пушусь на хитрость, решил я: буду полемизировать с „Эпохой”, употребляя ее же собственные манеры и приемы, напишу против г. Достоевского статьи и составлю ее по его же собственному рецепту, не говоря этого прямо»⁵⁰⁸.

В ответ на хамские выпады Антоновича «Эпоха» опубликовала «Заметки летописца» Н. Н. Страхова и «Необходимое заявление» Ф. М. Достоевского. Высказанное в них нежелание отвечать «Современнику» еще больше вывело критика из себя. Он истерично спрашивает «Эпоху»:

«... отчего же вы не молчите, отчего же вы не сохранили не только полного, но и никакого молчания, зачем же вы разговорились по поводу моего послания, да еще в двух статейках?» и т. п.⁵⁰⁹

В позиции «Эпохи» Антонович хотел видеть свою победу:

«Итак стрижи не отвечали, или точнее говоря, отвечали уклончиво на мое „послание” не потому, что не хотели отвечать, а потому, что не могли отвечать, не возражали на мои порицания их не из презрения к моему „посланию”, а просто потому, что порицания мои основательны, что в моем послании стрижи увидели, может быть, свое собственное творение, свои манеры и приемы, и фальшивое презрение употреблено ими для прикрытия их полной безответности»⁵¹⁰.

В ответ на упреки в хамстве и бестактности он оправдывается, что «Эпоха» «первой сделала вызов и объявила войну»⁵¹¹. Poleмика Антоновича провокационна и бессодержательна⁵¹². Он сам цинично

⁵⁰⁸ Там же. С. 77–78.

⁵⁰⁹ Там же. С. 80.

⁵¹⁰ Там же. С. 81–82.

⁵¹¹ Там же. С. 83.

⁵¹² См. статьи: <Антонович М. А.> Торжество ерундивов // Современник. 1864. № 7. С. 141–153; *Посторонний сатирик* <Антонович М. А. и Салтыков-Щедрин М. Е.> Стрижам (Послание обер-стрижу г. Достоевскому) // Современник. 1864. № 7. С. 154–170; <Антонович М. А.> Литературные мелочи. Раскаяние г. Альбертини, или Раскол в ерундистах. Гоффи Шульц, или г. Краевский и Катков (Современная параллель). Вопрос, обращенный стрижам // Современник. 1864. № 8. С. 297–340; *Посторонний сатирик* <Антонович М. А.> Литературные мелочи. Стрижи в западне (Истинное происшествие). Проект. К какой литературе принадлежат стрижи – к петербургской или к московской? Уловки стрижей. Увлечения стрижей // Современник. 1864. № 9. С. 77–122; *Посторонний сатирик* <Антонович М. А.> Литературные мелочи. К читателю. Любовное объяснение с «Эпохой». Неодобрительные средства «Эпохи». Сущность и характер «Эпохи». Дела в редакции «Эпохи». Послесловие // Современник. 1864. № 10. С. 239–287.

признается в этом. Отвечать такому критику было ниже своего достоинства. Редакция «Эпохи» проигнорировала дальнейшие нападки Антоновича.

Позицию «Эпохи» поддержал критик «Русского инвалида» А. С. Суворин. Отдав должное заслугам покойного редактора М. М. Достоевского, он пожелал новой редакции заняться вместо полемики «делом»:

«Увидим, как пойдет „Эпоха“ дальше, и будет ли она по-прежнему печатать такие удивительные (во всех отношениях) полемические статьи, каковыми наполнена последняя книжка⁵¹³, или смирится перед сильным, действительно остроумным противником и займется делом. А не худо бы полемику в сторону: ведь слишком уж простодушна»⁵¹⁴.

Еще один предмет полемики между Антоновичем и редакцией «Эпохи» возник в связи с публикацией переписки А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова («Эпоха», 1864, № 9). В рецензии на эту публикацию Антонович постарался обострить внутренние противоречия в журнале братьев Достоевских, поссорить живых и мертвых, создать конфликт между «старой» и «новой» редакциями⁵¹⁵. Ф. М. Достоевский поручил Н. Н. Страхову ответить на упреки Антоновича, но, по свидетельству критика, это сделал сам Достоевский, о чем он позже сообщил А. Г. Достоевской [Захарова 2021а: 34].

Полемика «Эпохи» с «Современником» и другими изданиями получила отражение в повести Достоевского «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» («Эпоха», 1865, № 2). Исследователи неоднократно подчеркивали ее связь со статьей «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» [Бельчиков 1928: 44–45], [Борщевский: 359–389], (5: 388), но в отличие от статьи, полемика по поводу сатирических эпизодов повести не состоялась, во-первых, из-за того, что успела выйти только ее первая часть, во-вторых, продолжения публикации не последовало из-за закрытия журнала: спорить было не с кем, но сюжет повести получил отражение в русской журналистике.

⁵¹³ Критик имеет в виду майский номер «Эпохи», в котором была опубликована статья «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах». Следующий шестой номер журнала вышел 30 августа 1864 г.

⁵¹⁴ И-н А. <Суворин А. С.> Журнальные и библиографические заметки. Бедность и бесцветность журналистики. «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки». Полемическая часть «Эпохи». Июньская книжка «Русского вестника» // *Русский инвалид*. 1864. № 175. 8 (20) августа.

⁵¹⁵ <Антонович М. А.> Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве Н. Н. Страхова. С примечанием Ф. Достоевского (Эпоха. 1864. Сентябрь) // *Современник*. 1864. № 11–12. С. 101–114.

В «Искре» пародию «Пассаж по поводу Пассажа» за подписью «Литературное домино» опубликовал Д. Д. Минаев. Предваряя свое сочинение, он отметил, что «Крокодил» – «гениально-скучная повесть», в которой читатель не найдет ничего «кроме „беспечального созерцания” и поприщинской веселости», «что пассажный крокодил вместе с „одним господином” проглотил и самое дарование г. Ф. Достоевского»⁵¹⁶. Свою пародию он озаглавил «Ужасный пассаж, или истинное повествование о том, как один господин важного сана обратился в водолаза, и что от этого произошло»⁵¹⁷. Обычно Д. Д. Минаев писал более остроумные пародии, здесь же рассказана история о том, как от укуса клопа некий господин превратился в собаку породы водолаз, которую держат на цепи во дворе в будке возле дома; она собирается распространять «Эпоху» меж собак.

Темы пародии были развиты в 17 и 32 номерах «Искры», в которых были опубликованы карикатуры на пародию Д. Д. Минаева⁵¹⁸. Пародия на литературные произведения была популярным жанром в «Искре». Так, в 1864 году, кроме пародии на «Крокодил», была опубликована пародия на роман «Бедные люди» – повесть в письмах «Бедные подписчики»⁵¹⁹.

Повесть «Крокодил» получила отрицательную оценку рецензента «Голоса», который вместо полемики по поводу сатирического представления газеты в произведении Достоевского прибегнул к компрометации автора, печатно заявив:

«Совета нашего, конечно, г. Ф. Достоевский не примет, но мы все-таки посоветовали бы ему остановиться на четвертой главе этого крайне бестактного рассказа, о котором ходят уже толки, весьма неблагоприятные для репутации журнала „Эпоха” и для самого г. Достоевского, как автора. И пусть не думает г. Достоевский, что в нас тут действует личная обида за его плохенькие остроты насчет газеты „Волос” – нет, мы люди уж обстрелянные, видали виды, и тем не менее чувствуем себя очень хорошо, живем и здравствуем как нельзя более благополучно, чего и г. Достоевскому желаем. Но мы говорим собственно о крокодиле и о господине, проглоченном крокодилом, а равно и о хорошенькой супруге господина, кокетке, радующейся, что мужа крокодил проглотил, и отказывающейся следовать за ним в утробу крокодила, а равно и о том, что господин намеревается проповедовать из утробы

⁵¹⁶ Литературное домино <Минаев Д. Д.> Пассаж по поводу Пассажа // Искра. 1865. № 14. С. 203.

⁵¹⁷ Там же.

⁵¹⁸ Наш апрель // Искра. 1865. № 17. С. 255 (см. иллюстрацию № 9); В зоологическом саду // Искра. 1865. № 32. С. 432.

⁵¹⁹ Бедные подписчики // Искра. 1865. № 28–30.

крокодила, днем, в магазинах пассажа, а вечером в салоне жены, для чего имеет в виду, что крокодила, в утробе которого он пребывает, будут приносить по вечерам в салон его хорошенькой супруги-кокетки. Все это, г. Достоевский, не может быть выкуплено плохенькими остротами на счет „Волоса” и „Санкт-Петербургских известий”: вы будете всеми осуждены наверно, и друзьями и недругами, и услуги не окажете никому...»⁵²⁰.

В статье критик говорит намеками, поэтому Достоевский мог не догадаться, о чем идет речь, но это первое печатное свидетельство возникновения сплетни. Как отмечает Е. И. Кийко, рецензент «Голоса» «выдвинул против автора обвинение в том, что „Крокодил” – памфлет на осужденного в 1864 г. правительством Александра II и сосланного в Сибирь Н. Г. Чернышевского. Краевский намекал, что Иван Матвеевич, проглоченный крокодилом и проповедующий из его чрева, – карикатура на Чернышевского, написавшего в Петропавловской крепости роман „Что делать?”, а его легкомысленная и недалекая жена – шаржированное изображение О. С. Чернышевской. Достоевский, как только ему представилась возможность, выступил в печати с опровержением этой сплетни, не побоявшись открыто высказать сочувствие ссыльному Чернышевскому» [Кийко 1989: 775].

Выступление «Голоса» имело литературные последствия: в ряде работ сплетня предстала фактом.

⁵²⁰ Вседневная жизнь // Голос. 1865. № 93. 6 апреля.

ГЛАВА 3

1866–1870. Откровения новой русской прозы

1.

Начальные семь глав романа «Преступление и наказание», включающие эпизод убийства, были напечатаны в первом номере журнала «Русский вестник» 1866 года, вышедшем 30 января. Первый оценочный отклик прозвучал в журнальном обзоре газеты «Голос» 17 февраля. Своеобразным «разогревом» к нему послужил фельетон «Вседневная жизнь» в «Голосе» от 13 февраля, где проводилось сравнение «Записок из Мертвого дома» с новой книгой Н. М. Соколовского «Острог и жизнь. Из записок следователя» (СПб., 1866), преподносимой автором как ряд невыдуманных историй. Из этого последнего и исходит критик:

«Нам кажется, что книга г. Соколовского, уступая книге г. Достоевского по отношению к таланту и мастерству изложения, превосходит ее с точки зрения голый истины»¹.

Фельетонист нисколько не сомневается в том, что «большая доля творчества» вредит «голой истине», а именно этим, по его мнению, грешит книга Достоевского². Можно лишь догадываться, что именно автор «Голоса» отнес к «творчеству», то есть к фантазиям художника; не исключено, что в их числе были христианские мотивы книги о каторжных страданиях.

Через три дня автор журнального обзора «Голоса», теперь уже по поводу «Преступления и наказания» высказывает уверенное

¹ Столбовой. Вседневная жизнь // Голос. 1866. № 44. 13 февраля. Интересно, что впоследствии, когда были опубликованы «Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату» В. П. Колесникова («Заря», 1869, № 4, 5), газета не преминула провести такое же сопоставление: «По богатству подробностей, эти «Записки» не уступают в интересе «Мертвому дому» г. Достоевского и даже превосходят его» (Библиография и журналистика // Голос. 1869. № 180. 2 июля). «Голые» факты вновь поставлены выше «художества», что довольно характерно для позитивистской критики.

² Этот упрек несколько напоминает нам известные притязания Варлаама Шаламова к «Одному дню Ивана Денисовича» А. Солженицына.

предположение, что новый «роман обещает быть одним из капитальных произведений автора “Мертвого дома”». Первое впечатление обозревателя было, очевидно, настолько сильным, что были на время забыты «партийные» расчеты либерального органа. Указание на «Записки из Мертвого дома» должно было напомнить о повсеместном успехе книги о русской каторге, но если там «истина» была, как мы видели, поставлена «Голосом» под некоторое сомнение, то начало нового романа освобождалось от подобных претензий (критик не знал, что его ждет на последующих страницах романа новое обращение к христианским мотивам). Так получилось, что именно «Голос» задал «психологическое» прочтение «Преступления и наказания», которое затем станет магистральным в последующих отзывах критики³.

«Страшное преступление, положенное в основу этой повести, рассказано с такою потрясающею истиною, с такими тонкими подробностями, что вы невольно переживаете перипетии этой драмы, со всеми ее психическими пружинами, переходите по изгибам сердца с первого зарождения в нем преступной мысли до ее окончательного развития. Здесь этот анализ, который, по нашему мнению, вредил некоторым из прежних сочинений автора, является не только не лишним, не только не утомляет вас, но полнее, живее дает чувствовать силу драмы. Самая субъективность автора, от которой иногда страдали характеры его героев, здесь несколько не вредит, потому что сосредоточивается на одном лице и проникается художественною ясностью типа»⁴.

Автор «Голоса», что следует отметить, довольно точно передал реакцию первых читателей романа. Через год, подводя итог публикации «Преступления и наказания», газета вновь констатировала: «Роман г. Достоевского во всё время читался с жадностью несмотря на то, что он так значительно растянут и одно и то же психологическое состояние до утомления эксплуатируется автором»⁵.

Приведенные свидетельства (тем более заслуживающие доверия, что либеральная по направлению газета не слишком-то была расположена к писателю) дополняет показание мемуариста: «Только его

³ Примером такого, исключительно психологического разбора может служить статья: Капустин С. По поводу романа г. Достоевского «Преступление и наказание» // Женский вестник. 1867. № 5, 7. Подробно рассматривается история героя, после преступления живущего под дамокловым мечом страха и оказавшегося в «нравственной тюрьме», исход из которой в виде проснувшейся любви «очень остроумно придумал г. Достоевский» (№ 7, с. 15).

⁴ Журналистика // Голос. 1866. № 48. 17 февраля.

⁵ Библиография // Голос. 1867. № 67. 8 марта.

и читали в этом 1866 году⁶, только об нем и говорили охотники до чтения, говорили, обыкновенно жалуясь на подавляющую силу романа, на тяжелое впечатление, от которого люди с здоровыми нервами почти заболели, а люди с слабыми нервами принуждены были оставлять чтение» [Страхов 1883: 289].

Взрыв читательских эмоций с живостью передавали журналисты:

«Начало этого романа наделало много шума, в особенности в провинции, где все подобного рода вещи принимаются, от скуки, как-то ближе к сердцу. <...> С этого именно времени научное слово „анализ“ получило право гражданства в провинциальном обществе, которое прежде его совсем не употребляло, — и новое слово, как видно, пришлось по вкусу. Только, бывало, и слышишь толки: ах, какой глубокий анализ! Удивительный анализ!.. О, да! — подхватывала другая барыня, у которой и самой уже возбудилось желание пустить в дело это новое словечко, — анализ действительно глубокий, но только знаете ли что? — прибавляла она таинственно, — говорят, анализ-то потому и вышел очень тонкий, что сочинитель сам был... при этом дама наклонялась к уху своей удивленной слушательницы... Неужели?.. Ну да, зарезал, говорят, или что-то вроде этого...»⁷.

«Читатель шаг за шагом следит, как преступная мысль, случайно запавшая в голову молодого человека, убитого безвыходно нищетою, растет, развивается, преследует этого несчастного, как кошмар, и наконец дает ему

⁶ Напомним, что в том же году и в том же «Русском вестнике» печатался роман Л. Н. Толстого «1805 год», переименованный затем в «Войну и мир». Впрочем, совсем другая иерархия представлена была в годовом обзоре другого автора, львиную долю статьи посвятившего защите от «тенденциозной критики» последнего романа И. С. Тургенева: «"Дым", по силе художественной стороны, есть самое капитальное произведение всей нашей беллетристики за весь прошлый год» (—ъ. Наша журналистика в 1867 г. // *Литературная библиотека*. 1868. № 1. Январь. С. 37). Стоит отметить, что на второе место критик поставил роман Г. П. Данилевского «Новые места» («Русский вестник», 1867, № 1, 2), обосновав свое мнение тем, что «свежесть и чистота основной идеи (борьба честного труженика с природою и обществом), поэтичность в описании новороссийской природы, обилие интереса в рассказе, оживляющего почти все главы этого романа-хроники, — всё это такие достоинства, какими современная беллетристика вообще не может похвастать». Еще более очевидный намек следовал далее: «При господствующем в современной литературе направлении, это произведение, при всех своих недостатках, имеет то значение, что путь деятельности, указываемый им, не есть повальное безотрадное разрушение, а путь созидания; потому не бесплодное раздражение вносит он в душу читателя (как большая часть рассказов нашего времени), а вместе с теплым чувством нравственного успокоения, возбуждает жажду здорового, честного труда» (там же, с. 37–38). Поэтому закономерно, что «Преступление и наказание» критик упоминает как будто нехотя, лишь в связи с разгоревшейся вокруг него полемикой, ловко уходя от собственной оценки (там же, с. 33–34).

⁷ Заметки и разные известия. «Преступление и наказание» // *Гласный суд*. 1867. № 159. 16 марта.

в руки топор – орудие убийства. Сюжет далеко не новый, но кажется совершенно новым благодаря той поразительной правде и отчетливости, с которыми автор, имевший случай близко наблюдать преступников, анализирует припадки полусумасшествия, под влиянием которого его Раскольников, почти бессознательно, совершает убийство и потом инстинктивно, движимый чисто животным чувством самосохранения, старается скрыть следы преступления»⁸.

«Тяжелая», но затягивающая импрессия, зафиксированная Страховым, подтверждается другими авторами:

«"Фу... какое скверное и мучительное впечатление остается после этой книги!"... говорят, бросая ее, люди, доказывающие этими самыми словами, что ни одно слово романа не оставлено ими без внимания, и что мысли, возбужденные им, тяжело западают в голову несмотря на всё желание от них отделаться»⁹.

«Чтение этого романа производит болезненное нервное состояние, читателя душит какой-то кошмар...»¹⁰.

«Вы точно присутствуете перед зрелищем, которое едва ли в состоянии вынести какие-либо нервы: человек, живой человек, режет перед вами свое тело и старается, улыбаясь, растолковать вам все подробности своего организма; вы не желаете смотреть на подобную сцену, но она против воли приковывает ваше внимание...»¹¹.

Первые читатели и критики романа склонны были объяснять этот феномен беспрецедентного эмоционального прессинга – способом повествования, принятого автором, как бы «вживающимся» в сознание героя и «заражающим» читателя деструктивной эмпатией.

«Первое впечатление <...> похоже скорее на то, что мы ощущаем в минуты тяжелого, страшного сновидения... <...> С каждой страницей оно овладевает нами полнее, давит нас, увлекает вперед без расстановки, без отдыха,

⁸ Литературные заметки // *Неделя*. 1866. № 5. 10 апреля. С. 73.

⁹ *Капустин С.* По поводу романа г. Достоевского: «Преступление и наказание» // *Женский вестник*. 1867. № 5. Современное обозрение. Критика и библиография. С. 2.

¹⁰ *Лохвицкий А.* Уголовные романы: «Преступление и наказание». Соч. Ф. Достоевского <...> // *Судебный вестник*. 1869. № 1. 1 января. Ср.: «Этот роман "Преступление и наказание" был именно страшным, он производил чуть не лихорадку, в особенности кто хорошо читает. Я читаю недурно, и когда я читал этот роман в маленьком кружке приятелей, с одной барышней сделалась непритворная истерика, когда Раскольников пришел в квартал и чуть не выдал себя. Я это не сочиняю в честь г. Достоевского, а хочу только сказать, что его романы вовсе не шутка, и вызывают глубокие чувства и размышления» (*Новый критик* <Куцевский И. А.> *Новости русской литературы* // *Новости*. 1875. № 31. 31 января).

¹¹ *А. И-н* <Суворин А. С.> Журнальные и библиографические заметки // *Русский инвалид*. 1867. № 63. 4 марта.

с такую неудержимую силою, которая скоро переступает границы простой томительной грезы. <...> ужас овладевает нами, сердце стучит, волосы готовы встать дыбом на голове!.. Неужели это вымысел? <...> нас тянут куда-то назло нашей воле; нас заставляют смотреть на то, чего мы не желали бы видеть, и принимать душою участие в том, что нам ненавистно. Мы всматриваемся в потемки, где чуть приметно мелькает для нас это нечто, и вдруг – яркий свет озаряет нам всю обстановку... Мы пришли наконец туда, дальше чего нельзя идти – мы видим у себя под ногами пропасть... На крайнем ее рубеже стоит человек, который нас звал и тянул за собой. Он силится устоять и хватает нас за руку; но ноги его скользят в крови... Вместе с его ногами скользят и наши... Мы слились с ним; мы не можем себя отделить от него несмотря на то, что он гадок нам... Мы не сделали того, что он сделал, и не хотели, чтоб он это сделал, но мы были свидетелями всего и не могли удержать его – мы стали его соучастниками; у нас голова кружится так же, как у него; мы оступаемся и скользим вместе с ним и вместе с ним чувствуем на себе неотразимое притяжение бездны»¹².

Это красноречивое описание принадлежит талантливому «эстетическому» критику и прозаику Н. Д. Ахшарумову, предложившему тогда одну из наиболее глубоких интерпретаций романа, о чем речь ниже, пока же заметим, что приведенное описание отчетливо передает непосредственное, не замутненное идеологическими предпочтениями восприятие первых читателей романа. Популярность Достоевского тогда резко возросла. По признанию М. Н. Каткова, сделанному им автору романа, у «Русского вестника» благодаря «Преступлению и наказанию» «прибыло 500 подписчиков лишних» (29₁: 24).

2.

Между тем идеологические предпочтения также не заставили себя ждать. Публицист некрасовского «Современника» Г. З. Елисеев в первом журнальном обозрении за январь 1866 года обрушился на романиста, бесцеремонно перейдя на личности («автор в восторге от написанной им дребедени, вероятно, воображает себя знатоком человеческого сердца, чуть-чуть не Шекспиром»)¹³ и подавая сигнал сателлитам к массивной атаке на входящего в моду и потому вдвойне опасно-

¹² Ахшарумов Николай. «Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского // *Всемирный труд*. 1867. № 3. Критика. С. 125–127.

¹³ <Елисеев Г. З.> Журналистика. Январь, 1866 // *Современник*. 1866. № 2. Февраль. Современное обозрение. С. 276. (Журнал вышел 1 марта).

го противника. Главное обвинение «прогрессивного» критика-публициста выглядит следующим образом.

«На наш же взгляд, автор, приступая к своему роману, если он хотел изобразить действительное, прежде всего должен бы был спросить себя: существует ли то, что я хочу описывать и изъяснять? Бывали ли когда-нибудь случаи, чтобы студент убивал кого-нибудь для грабежа? Если бы такой случай и был когда-нибудь, что может он доказывать относительно настроения вообще студенческих корпораций? В каких состояниях и сословиях не бывало подобных исключительных случаев? Из каких источников могу я удостовериться, что студенты убийство из грабежа почитают поправлением и направлением природы? Ведь если ничего подобного, что мне представляется, нет в действительности, то мой роман на подобную тему будет самым глупым и позорным измышлением, сочинением самым жалким. Если же что-нибудь подобное есть в действительности, то тут надобно действовать никак не посредством поэзии, а посредством полиции наружной или тайной. Какою разумною целию может оправдываться подобный сюжет для романа?»¹⁴.

Роман Достоевского был отрекомендован читателю как примитивная клевета на студенчество: «целая корпорация молодых юношей обвиняется в повальном покушении на убийство с грабежом»¹⁵. Этот пассаж получил мгновенную язвительную оценку в газете «Голос» (с попутной издевкой над плеоназмом «молодые юноши»):

«... статья в отделе “Журналистики” о первой части романа Ф. Достоевского “Преступление и наказание”, отличается ужасно предвзятою мыслью во что бы ни стало уронить автора. И, представьте, какие для этого придуманы средства! В романе студент в обстоятельствах, пагубно действующих на сердце и рассудок, делается злодеем и убивает старуху-ростовщицу. Что, спрашивается это доказывает? Кажется, то, что преступления были и бывают во всяком звании, при всякой степени образованности, в кругу людей отсталых и передовых, в зрелом возрасте и в молодежи. Но знаете ли, что нашел в романе критик “Современника”? Он открыл, будто г. Достоевский задумал свой роман вследствие озлобления “на движение последнего времени”, от недовольства молодым поколением и с целью “обвинить целую корпорацию молодых юношей в повальном покушении на убийство с грабежом”. Мы не шутим, критик уверяет в этом. Что же это такое? Посмеяться над таким отзывом нельзя, потому он слишком бессовестен. И автор этих позорных строк, и редакция, допустившая их в журнале, не могли, конечно, не подумать о их значении. Из романа Достоевского, конечно, можно было вывести подобное нелепое обвинение с такою же справедливостью, как, если б кто, по рассказу доктора Меригольда,

¹⁴ Там же. С. 276–277.

¹⁵ Там же. С. 277.

который задумал отравить и ограбить одного комиссионера – вздумал вывести заключение, что Диккенс имел здесь в виду обвинить всё племя евреев в повальном покушении на грабеж и убийство. В нашей журналистике до таких цинических нелепостей не доходили еще...»¹⁶.

Автор «Голоса» имел полное право назвать такой поворот мысли нелепым, можно было бы также припомнить саркастическую шутку автора «Носа»: «Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет». Однако в писании Елисеева была своя логика, внятная читателям и почитателям некрасовского журнала. Попробуем проследить ее.

Свой разбор первых глав «Преступления и наказания» автор «Современника» начал издавека – с критики писателей «так называемой натуральной школы», к которой в сороковые годы принадлежал и Достоевский. С высоты «современных идей» об искусстве Елисеев обнаруживает в том давнем направлении «два важных недостатка»:

«1) бесцельность художественных изображений, копирование действительности, только ради того, чтобы показать свое искусство копировать»¹⁷. <...>

¹⁶ А. М. Журналистика. «Современник» за январь и февраль 1866 г. // *Голос*. 1866. № 83. 24 марта. Чуть позже газета вновь припомнила «Современнику» его перл: «В литературном мире, кружках учащейся молодежи (не во гнев сказано господам, приходящим в азарт против Ф. М. Достоевского за то, что он избрал студента героем своего нового романа) <...> можно найти очень недурные сюжеты...» (Х. Л. <Загуляев М. А.> Вседневная жизнь // *Голос*. 1866. № 98. 10 апреля). Позднее другой журналист также называл Елисеева «каким-то нелепым господином, думавшим, что г. Достоевский в Раскольникове изобразил “целую студентскую корпорацию”» (–ъ. Наша журналистика в 1867 г. // *Литературная библиотека*. 1868. № 1. Январь. С. 33).

¹⁷ Это утверждение следующему некрасовскому журналу пришлось, с оговорками, дезавуировать: «По своему внутреннему содержанию натуральная школа была отголоском того социального движения, которое в то время господствовало во Франции. Защита раба от произвола господина, женщины от родового ига, осмеяние апатии и рутины, грубого невежества, отсутствия честности, гуманности и гражданского чувства — вот мотивы натуральной школы. Вследствие этого натуральная школа по самому существу своему была поэзией тенденциозною. Писатели, принадлежавшие к этой школе, изображали жизнь не ради одной чистой художественности, а с целью анализа этой жизни, выражения своих общественных симпатий и антипатий. Этот анализ был часто весьма не глубокий, узкий и поверхностный, завися от степени развития большинства писателей того времени; нередко писатели опускали совершенно из виду всякий анализ и увлекались художественным воспроизведением действительности без всякой цели, совершенно в духе чистого искусства; но, во всяком случае, общее направление натуральной школы было все-таки тенденциозное, аналитическое и отрицательное по преимуществу» (Скабичевский А. Очерки умственного развития нашего общества. 1835–1860. Н. А. Полевой, В. Ф. Одоевский, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов и их сподвижники // *Отечественные записки*. 1871. Т. 198. № 9–10. С. 466).

2) неразборчивость между действительностью и недействительностью, смешение действительности, существующей в качестве отдельных, исключительных фактов, случайных, ничтожных явлений, с действительностью, имеющей широкое основание в жизни, или разумное *raison d'être*. Отсюда выбор в герои таких лиц, которые представляли чистые курьезы в нравственном мире, как например «Двойник» г. Достоевского»¹⁸.

За «благодушное» отношение к первым творениям Достоевского досталось и Белинскому, который, как сокрушался новейший критик «Современника», «от ногтей юности пропитанный чисто художественными воззрениями на литературу, до самой смерти своей не мог окончательно отрешиться от этих воззрений» и потому «художественность признавал и за теми произведениями, которые представляли собою только бесцельное изображение действительности», лишь в самый последний период своей деятельности догадавшись, что искусство «может служить целям чисто практическим»¹⁹. Несколько странно читать эти снисходительные поощрения Белинского на страницах «Современника», но Елисеев знал, что делал и куда вел своих читателей. В его задачу входило похоронить натуральную школу и ее вождя для того, чтобы заявить следующее:

«Воспитанные в таких эстетических воззрениях, поэты натуральной школы, за исключением немногих, оказались несостоятельными для восприятия воззрений последнего времени на искусство. И так как это необходимо повлекло за собою падение прежнего их авторитета, то некоторые из них не могли благодушно перенести такой неожиданной ими катастрофы. Они стали в оппозицию к тем идеям, которые заняли место сказанных воззрений, стали и с озлоблением преследовать самые идеи. Нам не нужно называть имен и лиц; читатель, следивший за литературою последнего времени, знает, о ком и о чем мы говорим.

В ряды этих озлобленных движением последнего времени, видимо, хочет стать теперь и г. Ф. Достоевский новым своим романом»²⁰.

Что это за «воззрения последнего времени» и кто эти упавшие авторитеты натуральной школы, которые «стали в оппозицию» к новым идеям и пустились «с озлоблением преследовать» их? «Читатель, следивший за литературою последнего времени», должен был припомнить разнос, учиненный «Современником» едва ли не самому знаменитому представителю натуральной школы – И. С. Тургеневу за его роман

¹⁸ <Елисеев Г. З.> Журналистика. Январь, 1866 // *Современник*. 1866. № 2. Февраль. Современное обозрение. С. 273.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же. С. 273–274.

«Отцы и дети». В статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, № 3) Тургенев обвинялся в клевете на молодое поколение и на те идеи, которыми оно вдохновляется. Констатировалось и художественное падение бывшего авторитета: «в романе, за исключением одной старушки (очевидно, матери Базарова – В.В.) нет ни одного живого лица и живой души» [Антонович: 37]. Статья Антоновича, в глубинном подтексте, подводила итог известному разрыву Тургенева с «Современником» и с возобладавшими в редакции взглядами на искусство (в том числе на тургеневские произведения), проводимыми Н. А. Добролюбовым и его учителем Н. Г. Чернышевским. Не принявший новой утилитарной эстетики автор «Отцов и детей» был представлен как «главный представитель и служитель чистого искусства для искусства» [Антонович: 44].

Нетрудно заметить, как мерка, приложенная Антоновичем к «Отцам и детям», теперь приложена была его соратником Елисеевым²¹ к «Преступлению и наказанию»: в глазах обоих сотрудников «Современника» и Тургенев, и Достоевский оклеветали молодое поколение с его радикально-прогрессивными настроениями. Интересно, что и в том, и в другом случае имел место и некий личный счет, предъявленный редакцией к обоим романистам. В образе Базарова был (не без основания) усмотрен выпад автора в сторону покойного Н. А. Добролюбова (см.: [Никитина 2001: 3–5]). Что же касается реакции «Современника» на «Преступление и наказание», то многое проясняют два эпизода из воспоминаний Достоевского.

Эпизод первый – разговор с Некрасовым весной 1866 года:

«– Ну, вот мы вас обругали, – сказал он мне (то есть в его журнале за “Преступление и наказание”).

– Знаю, – сказал я.

– А знаете почему?

– По принципу, должно быть.

– За Чернышевского.

Я остолбенел от удивления.

– NN, который написал критическую статью, – продолжал издатель, – сказал мне так: “Роман его хорош, но так как он в своей повести, два года назад, не постыдился надругаться над несчастным ссыльным и окарикурировать его, то я его роман обругаю”.

– Так это всё та же глупая сплетня о “Крокодиле”? – вскричал я, сообразив» (21: 24).

²¹ В своих воспоминаниях Г. З. Елисеев трактует роман «Отцы и дети» как «безобразный поступок Тургенева», из-за которого молодое поколение потеряло уважение в глазах читающей публики [Шестидесятые годы 1933: 563].

Эпизод второй, весной 1865 года – объяснение Н. Н. Страховым намеков либеральной прессы:

«Знаете, что там думают? Там уверены, что ваш “Крокодил” – аллегория, история ссылки Чернышевского, и что вы хотели выставить и осмеять Чернышевского» (21: 28).

В отличие от Антоновича, лишь мимоходом отнесшего Тургенева к «искусству для искусства», Елисеев на материале «Преступления и наказания» развивает идею о противостоянии этих ретроградных писателей новейшим и прогрессивным воззрениям на искусство. «Эстетическую» аргументацию он дополняет и усиливает в журнальном обозрении за февраль («Современник», 1866, № 3). Под прогрессивными воззрениями на искусство критик понимает, безусловно, эстетическую теорию Н. Г. Чернышевского, чья диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» вышла в 1865 г. вторым изданием без указания имени автора и вызвала в «Современнике» (1865, № 1) многословную апологию – статью М. А. Антоновича «Современная эстетическая теория», а также еще более решительные отрицания «бесполезного» искусства в статьях В. А. Зайцева и Д. И. Писарева в «Русском слове» (1865, № 4 и 5). В русле этих выступлений, устанавливающих современную **норму** для суждений об искусстве, и находится эстетическая программа Елисеева, на основании которой он судит «Преступление и наказание» как произведение, которое «можно было написать только в ненормальном состоянии умственных способностей»²² и которое в художественном отношении значительно «ниже» повести Н. Д. Ахшарумова «Натурщица» (опубликована в «Отечественных записках», 1866, № 3–4): тоже «чепуха и галиматья», но «не кровавая, как у г. Достоевского; а добродушная, безобидная, веселая, игривая»²³.

Елисееву важно было показать, что его оценки не субъективны (в чем он видел недостаток критики Антоновича), но естественным образом проистекают из строго **научных** «современных взглядов» на искусство. Имя Чернышевского упоминать было нельзя, да к тому же Елисеев предпочел выставить, как знамя, европейские авторитеты, а именно Лессинга и Прудона, чья книга вышла осенью 1865 года в русском переводе под заглавием «Искусство, его основания и общественное назначение» (об участии ее в формировании эстетики русских

²² <Елисеев Г. З.> Журналистика. Февраль, 1866 // *Современник*. 1866. № 3. Март. Современное обозрение. С. 33. (Журнал вышел 27 марта).

²³ Там же. С. 43.

шестидесятников см.: [Егоров 1991: 36–43]. Так, из Лессинга он выписывает антигегелевское определение искусства как «подражания природе», которое должно отсеивать случайное, чтобы «занимать наши нравственные силы такими предметами, которые заслуживают этого»²⁴. Опираясь на европейские авторитеты (а Прудон, по мнению критика, «приходит к тем же самым выводам и заключениям относительно искусства, к которым приходит и Лессинг»)²⁵, Елисеев выносит суровый приговор роману Достоевского:

«Из сказанного нами видно, как несовместно с понятием истинного искусства изображение явлений одиночных, исключительных, никому не известных, тем более измышление для поэтического изображения явлений вовсе не существующих, таких, например, как представляет собою студент Раскольников в новом романе г. Достоевского»²⁶.

В этом последнем случае Елисеев призывает в союзники также и отставленного им Белинского, сумевшего прозорливо осудить склонность Достоевского к фантастике.

Другое назначение искусства, по убеждению Елисеева (с отсылкой к тому же Лессингу), – «давать <...> предметам верное освещение, так чтобы для нас не оставалось ни малейшего сомнения, чего бы мы могли желать и чего отвращаться»²⁷. Как выражался «русский Лессинг», искусство есть нечто вроде «Handbuch» [Чернышевский; 2: 86]. Елисеев следует завету, провозглашенному в «Современнике» десятилетие назад («если идея фальшива, о художественности не может быть и речи» [там же]), развивает его, уверяя, что «в наше время истинною поэзией может быть только поэзия прогрессивной мысли» и что «в ряду художественных произведений, дошедших до нас из прошедших веков и сохранивших доселе право на бессмертие, нет ни одного консервативного»²⁸. «Преступление и наказание» представляется критику воплощением консервативной и потому однозначно фальшивой идеи. Здесь, как очевидно, кроется главный пункт расхождения писателя с прогрессистским лагерем. Вот как этот пункт описывал критик еще в первом журнальном обозрении:

«Но чем же, спрашивается, студент убеждается, что убийство, которое он совершит, не есть преступление, а некоторым образом подвиг?

²⁴ Там же. С. 35, 36.

²⁵ Там же. С. 34.

²⁶ Там же. С. 37.

²⁷ Там же. С. 36.

²⁸ Там же. С. 45, 55.

О! отвечает автор. Чтобы убедиться в этом, ему вовсе не было нужды трудиться. Подобные убеждения “были, по словам автора, самые обыкновенные и не раз уже слышанные им – молодые разговоры и мысли” (!!!??). Вот оно куда пошло!»²⁹.

Военные действия «Современника» против «ретроградного» направления, взятого автором романа, поддержал анонимный автор «Литературных заметок» в «Неделе»:

«Но отдавая полную справедливость таланту г. Достоевского, мы не можем пройти молчанием тех грустных симптомов, которые в последнем его романе обнаруживаются с особенною силою. С г. Достоевским случилось то же, что и со многими другими писателями последнего времени; превознесенный в начале преувеличенными похвалами, впоследствии он подвергся незаслуженным нападкам. Фет, Майков, Соллогуб и Тургенев подвергнулись той же участи. <...> Что же касается г. Федора Достоевского, то он лично далеко не подвергается таким яростным нападкам, как упомянутые нами выше писатели. Насмешки сыпались преимущественно на покойного его брата Михаила Достоевского, бывшего редактора журнала “Время”, выродившегося потом в “Эпоху” и действительно дававшего обильную пищу сатире своим пустословием: само собой разумеется, что г. Ф. Достоевскому, как сотруднику братниного журнала, тоже подчас доставалось, но все-таки это по нашему не служит извинением крутому повороту назад, совершенному впоследствии автором “Мертвого дома”, некогда считавшегося мучеником убеждений, нисколько не похожих на проводимые им в “Крокодиле” и в последнем его романе “Преступление и наказание”»³⁰.

Знаменательно, в связи с упомянутым выше сюжетом, соседство «Крокодила» и «Преступления и наказания» в ряду «грустных симптомов» ренегатства некогда прогрессивного автора. В этой связи опять не обошлось без сравнения «Отцов и детей» с «Преступлением и наказанием», но автор «Недели», в отличие от Елисеева, несколько разграничивает их и к тому же уточняет и дополняет конечный вывод своего коллеги.

«Как бы то ни было, г. Ф. Достоевский в настоящую минуту недоволен молодым поколением. Это бы еще ничего. В поколении этом действительно есть недостатки, заслуживающие порицания, и выводить их наружу вполне похвально, конечно, если дело ведут честно, не бросая камня из-за угла. Так поступил Тургенев, изобразивший (впрочем, весьма неудачно) недостатки молодого поколения в своем романе “Отцы и дети”, но г. Тургенев вел дело начистоту, не прибегая к грязным инсинуациям. Он просто обвешал

²⁹ <Елисеев Г. З.> Журналистика. Январь, 1866 // *Современник*. 1866. № 2. Февраль. Современное обозрение. С. 274.

³⁰ Литературные заметки // *Неделя*. 1866. № 5. 10 апреля. С. 73.

своего Базарова всеми недостатками, которые, по его мнению, присущи молодому поколению, и вывел его на суд общественный. Некоторые за это автора похвалили, большинство же осыпало бранью и насмешками; но никто не может сказать, чтобы г. Тургеневым руководили нечистые побуждения. Он поступил, правда, бестактно, за что и понес достойное наказание, но он шел прямо, открыто к своей цели.

Не так поступает г. Ф. Достоевский в своем новом романе. Он не говорит прямо, что либеральные идеи и естественные науки ведут молодых людей к убийству, а молодых девиц к проституции, а так, косвенным образом, дает это почувствовать, а как некоторые господа “с негодованием” отрицают подобное обвинение, то мы долгом считаем указать на факты, послужившие нам основанием к нелестному заключению о прямоте души автора “Крокодила”. Факты эти следующие: в новом романе его вор и убийца – студент, это бы еще ничего, это можно приписать случайности, студент такой же человек, как и всякий другой, почему же и ему не заниматься воровством и убийством, если другие этим занимаются, к тому же бывают такие побудительные причины... какие же однако причины, что именно подстрекнуло студента Раскольникову к ограблению и убийству закладчицы и ее сестры? подстрекнул его к этому студент (опять студент! что за страшное стечение случайностей!) излагавший пред своим приятелем теорию, что убивать злых старух для блага человечества дело совершенно похвальное. Обратим внимание читателя также на следующее обстоятельство. Автор перед тем, как пустить “по желтому билету” едва грамотную Соню, дочь пьянюшки Мармеладова, дает ей прочесть, что бы вы думали? Поль-де-Кока? Баркова? нет – физиологию Льюиса (!!!) Тут автор, обыкновенно столь верный художественной правде, не отступил даже пред очевидной несообразностью, девушке, всё образование которой, по собственным словам его, “остановилось на Кире Персидском”, он дает читать ученое сочинение, в котором она не в состоянии понять ни бельмеса»³¹.

Отдельный интерес, на наш взгляд, вызывает заключительная реплика литературного обозревателя «Недели» по адресу Достоевского:

«Поэтому мы советуем г. Достоевскому бросить ложную стыдливость и поставить точку на і, в этом отношении ему хорошим образцом может служить г. Ключников, весьма эффектно изобразивший в лице гимназиста Коли (в романе «Марево») всю пагубу нынешней системы воспитания»³².

Имеется в виду один из героев романа В. П. Ключникова «Марево» (1864), юный нигилист Коля, который с первого знакомства заговаривает о геологии, Канте, Руссо («весь запас сведений выложил») и занимается

³¹ Там же.

³² Там же.

научными опытами, в частности, совершенствует сорóк, чтобы они свободно говорили человеческим языком: предполагается, что дрессированные птицы заменят со временем рассыльных с эстафетами. Этот персонаж, как мы полагаем, оказался прототипическим по отношению к образу Коли Красоткина в романе «Братья Карамазовы». Достоевский хорошо знал роман «Марево» и даже собирался о нем писать (см.: [Викторovich 1985: 149–153]).

Сатирический журнал «Искра», поддерживая инициативу «Современника», в апреле 1866 г. напечатал в трех номерах (12, 13, 14) пародийное переложение повести Достоевского «Двойник». Смысл пародии заключался в том, что поставленный на место господина Голядкина автор «Преступления и наказания» (под именем Федора Стрижова, автора романа «Злодейство и возмездие») переживает раздвоение личности. Первый и настоящий Стрижов так характеризуется редактором консервативного журнала: «Автор этого романа, кажется, принадлежит к числу таких литераторов, про которых Н. И. Греч весьма справедливо заметил, что они злоупотребляют своим талантом, описывая страдания народа»³³. Его двойник предлагает свои услуги по исправлению романа, дабы его приняли к публикации в журнале «Русский хожалый» (подразумевается «Русский вестник», в котором печаталось «Преступление и наказание», одно из значений слова «хожалый» – рассыльный при полиции). Между «вторым» Стрижовым и редактором журнала происходит знаменательный диалог:

«– <...> я исправлю и дополню роман моего двойника; приведу героя романа, бывшего студента Раскольников, в квартал, где помощник надзирателя будет кричать на бывшего студента, и насмехаясь над ним, говорить: “сами п-п-подличают, а вот-с извольте взглянуть на них, вот они в самом своем привлекательном теперь виде-с”... Раскольникову вдруг захочется сказать квартальному надзирателю и его помощнику что-нибудь особенно приятное и он начнет делать перед ним сердечные излияния <...>... Тема великолепная: унижение нигилиста в квартале...

– Позвольте, – прервал меня редактор, – Федор Стрижов изобразил в лице Раскольникова человека без силы и воли, человека, который почти вовсе не борется с нищетой, а больше гуляет и, по какому-то предопределению, всякий раз становится очевидцем раздирающих сцен, проникнутых болезненною поэзией. Но все-таки в этом Раскольникове, даже после преступления, обнаруживается человеческое чувство. <...> наконец, возроставшая, по словам автора, в Раскольникове “гордость и самоуверенность”

³³ И. Р. <Россинский И. Н.> Двойник. Приключения Федора Стрижова // Искра. 1866. № 12 (ц. р. 2 апреля). С. 161.

плохо гармонируют с низостью сердечных излияний в квартале <...>. Кроме этого в романе немало несообразностей. Почему все усилия Раскольникова навлечь на себя подозрение приглашением дворников того дома, где совершилось убийство, пойти с ними в квартал и “всё рассказать” и вопросом другому лицу: “а что если я убил?” – остались без последствий? Почему эти дворники, без сомнения, уже привлеченные к делу, не исполнили желания Раскольникова? Почему обувь Раскольникова, замаранная кровью, не обратила ничьего внимания, пока кровь не затерлась в грязи и в пыли? Почему в бреде болезни у него вырывались только такие слова, которые не возбуждали в бывших при нем лицах никакого подозрения?

– Позвольте, (докладываю я) недостатки романа Федора Стрижова искупаются введенными мною в этот роман капитальнейшими сценами. Если сам Стрижов имеет двойника в моем лице, почему же Раскольникову не иметь двойника в другом Раскольникове, придуманном мною для казни нигилистов эту карикатуру? Этот-то последний Раскольников “весь на принципах как на пружинах” (слова эти включены мною в роман). Главный принцип, навязанный косматым, выражен в романе следующими словами: “чем более в обществе устроенных частных дел, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно исключительно себе, я тем самым приобретаю как бы и всем”. Этим-то принципом неоднократно оправдывалось (по словам романа) в студенческих кружках убийство для грабежа. <...> Мой Раскольников не тот Раскольников, который, совершив преступление, окончательно теряется и даже не захватывает ассигнаций убитой ростовщицы – нет, мой Раскольников злобный, косматый нигилист, пугало, созданное сподвижниками вашего сикофанства. Впрочем, я надеюсь, что болезненная поэзия моего двойника замаскирует в глазах большинства читателей мою тенденцию сценами, напоминающими “Мертвый дом”, “Униженных и оскорбленных”. <...> Надеюсь, заключил я, что исправленный и дополненный роман моего двойника, обогащенный сценами, из которых те, кому ведать надлежит, могут узнать “каковы сочинители, студенты, глашатаи”, будет помещен у вас в журнале.

– Могу положительно обещать это, – отвечал редактор “Русского жоголого”. Опасаюсь только одного: быть может, ваш двойник не захочет уничтожить значение всей своей прошлой литературной деятельности и вздумает протестовать против ваших исправлений. Бывали примеры печатных протестов со стороны авторов против хозяйственной перекройки их сочинений в нашей редакции.

– Будьте спокойны (обнадеживаю его). Двойник мой, раздраженный до крайности против свистунов, уже отрешился от нормального человеческого мышления, написавши, в пику хлебным свистунам, историю господина, проглоченного крокодилом в Пассаже. Федору Стрижову остается сделать только один шаг, чтобы перейти из области болезненной поэзии в область

взбаламученной беллетристики, и я заставлю его сделать этот шаг и примкнуть к Писемскому, Ключникову и Стебницкому»³⁴.

Стрижов-1 поначалу решает протестовать против власти над ним навязчивого и преуспевающего двойника, но затем примиряется и мечтает лишь попасть в крокодила, из которого будет удобно «опровергнуть свистунов», поскольку «из крокодила так всё легко опровергать». С этой целью он отправляется в Петербург, в Пассаж, где его, будто в наказание, проглатывает чудовищный крокодил, так что последней мыслью несчастного было: «Нужно остерегаться свистобоязни и нигилофобии»³⁵. Правда, всё это происходит уже в расстроеном воображении Стрижова.

Выступления «Современника», «Недели», «Искры», как видим, были продиктованы желанием сивелировать успех романа, обвинив автора в ренегатстве и, возможно, в сервильности. Однако, судя по всему, оппоненты Достоевского добились обратного эффекта, о чем свидетельствовали менее ангажированные издания. Так, например, Я. П. Полонский в «Отечественных записках», говоря о «партийной нетерпимости» в современной критике, привел, среди других, и такой пример ее результативности: «Ф. Достоевский является с лучшим своим романом, и несмотря на возглас, что в лице Раскольникова он будто бы обижает молодое поколение – торжествует»³⁶. Иронически описывает другое издание итоги дискредитации Достоевского:

«Главнейшим образом заинтересовала всех не литературная сторона романа, а, так сказать, тенденциозная: вот, мол, студент ведь старуху-то зарезал, следовательно тут тово, что-нибудь да недаром! А тут, как раз кстати, появилась и известная рецензия, в “Современнике”, которая, надобно правду сказать, много дала “Русскому вестнику” новых читателей. О новом романе говорили даже шепотом как о чем-то таком, о чем вслух говорить не следует»³⁷.

³⁴ Там же. С. 161–162. Писемский, Ключников и Стебницкий (Лесков) упоминаются как авторы известных антинигилистических романов. «Взбаламученная беллетристика» – от названия антинигилистического романа А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1863). «Хлебные свистуны» и сама фамилия героя Стрижов – аллюзии на полемику с «Современником», которую вели журналы братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» в 1863–1864 гг.

³⁵ И. Р. <Россинский И. Н.> Двойник. Приключения Федора Стрижова // *Искра*. 1866. № 14 (ц. р. 23 апреля). С. 184.

³⁶ Полонский Я. П. Прозаические цветы поэтических семян. Сочинения Д. Писарева. I, III и V части // *Отечественные записки*. 1867. Т. 171. Апрель, кн. 2. С. 746.

³⁷ Заметки и разные известия. «Преступление и наказание» // *Гласный суд*. 1867. № 159. 16 марта.

3.

Прочтение романа, отличное от интерпретации «Современника» и его сателлитов, предложил Д. И. Писарев в журнале «Дело». В связи с этим невольно припоминается его же, пятилетней давности, противостояние М. А. Антоновичу по поводу романа «Отцы и дети». В новом столкновении с «Современником» Писарев еще решительнее заявил методологические принципы так называемой реальной критики, так что наследником и продолжателем Добролюбова, основателя этого направления, вновь оказывался не родной ему «Современник», а оппонент журнала. С провозглашения своей позиции, нарочито противопоставленной идеологической преднамеренности Елисеева и Ко, критик и начинает свою статью.

«Приступая к разбору нового романа г. Достоевского, я заранее объявляю читателям, что мне нет никакого дела ни до личных убеждений автора, которые, быть может, идут вразрез с моими собственными убеждениями, ни до общего направления его деятельности, которому я, быть может, несколько не сочувствую, ни даже до тех мыслей, которые автор старался, быть может, провести в своем произведении и которые могут казаться мне совершенно несостоятельными. Меня очень мало интересует вопрос о том, к какой партии и к какому оттенку принадлежит г. Достоевский, каким идеям или интересам он желает служить своим пером и какие средства он считает позволительными в борьбе со своими литературными или какими бы то ни было другими противниками³⁸. Я обращаю внимание только на те явления общественной жизни, которые изображены в его романе; если эти явления подмечены верно, если сырые факты, составляющие основную ткань романа, совершенно правдоподобны, <...> я всматриваюсь и вдумываюсь в эти события, стараюсь понять, каким образом они вытекают одно из другого, стараюсь объяснить себе, насколько они находятся в зависимости от общих условий жизни...»³⁹.

«Сырые факты», извлекаемые критиком из контекста романа и поставленные в контекст «общих условий жизни», выстраиваются им как свидетельства обвинения обществу, допускающему столь жестокие, прямо бесчеловечные условия нищеты. В силу этого рецензия Писарева, превращенная им в публицистику социального протеста, пределала не простой путь к читателю. Первая ее часть, подвергнутая жесткому вмешательству цензуры, увидела свет 13 апреля 1867 г. в сильно

³⁸ Иначе говоря, критик, в отличие от «Современника», «Недели», «Искры», готов пренебречь обвинениями в адрес Достоевского как автора «Крокодила» за насмешку над ссыльным Н. Г. Чернышевским.

³⁹ Писарев Д. Будничные стороны жизни. «Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского. Две части. 1867 г. // Дело. 1867. № 5. Современное обозрение. С. 1–2.

урезанном виде в пятом номере журнала «Дело» под названием «Будничные стороны жизни». Вторая часть под новым названием «Борьба за существование» была напечатана после смерти автора только в августовском номере «Дела» 1868 г. (вышел 22 августа). А следом, 21 декабря, увидел свет и полный текст всей статьи (в двух означенных частях) под ее первоначальным авторским названием «Борьба за жизнь» и с восстановленными цензурными изъятиями – в девятом томе десятимого собрания сочинений критика, изданного Ф. Павленковым⁴⁰.

Писарев детально и экспрессивно, опираясь на роман, показывает, как студент Раскольников «борется с нищетою» и «наконец изнемогает в непосильной борьбе» и «погружается в то мучительное оцепенение, которое обыкновенно овладевает утомленными, измученными и окончательно побежденными людьми»⁴¹. Развивая мысль Мармеладова «бедность не порок, <...> нищета – порок-с» (6: 13), Писарев пропускает ее через магнитное поле сословной вражды и передает нам воззрение «состоятельного человека»:

«Он оборван и голоден, – следовательно он чем-нибудь и как-нибудь виноват; он оборван и голоден, – следовательно он опасен, и всякий порядочный человек при встрече с ним должен тщательно наблюдать за его руками, чтобы эти грязные и дрожащие руки не посягнули каким-нибудь образом на благосостояние порядочного человека. Так рассуждают обыкновенно обеспеченные люди...»⁴².

В этих-то условиях, продолжает радикальный критик, «безответная жертва» бедности не может не сделать то, что от нее ожидается, т. е. «отдает себя в полное распоряжение тех мрачных и диких мыслей, которые порождаются отчаянием, голодом, озлоблением против людей», и вполне естественным образом является мысль совершить преступление. В журнальном варианте статьи цензор вычеркнул «статистическую» аргументацию критика, но она вскоре была восстановлена в книжном издании:

«Можно даже сказать, что большая часть преступлений против собственности устраивается в общих чертах по тому самому плану, по какому устроилось преступление Раскольникова. Самой обыкновенной причиной воровства, грабежа и разбоя является бедность; это известно всякому, кто сколько-нибудь знаком с уголовной статистикой. Далее, не трудно понять

⁴⁰ Подробнее о цензурной истории статьи см. комментарии И. Б. Павловой и Г. Г. Елизаветиной в изд.: [Писарев; 10: 474–485].

⁴¹ Писарев Д. Будничные стороны жизни. «Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского. Две части. 1867 г. // Дело. 1867. № 5. Современное обозрение. С. 2.

⁴² Там же. С. 3.

и не трудно даже доказать фактами, что воровать и грабить человек в большей части случаев решается только тогда, когда честный труд оказался для него недоступным или когда он убедился в том, что честный труд составляет слишком медленное и недостаточное лекарство против гнетущей бедности. Это значит, что человек, решившийся воровать и грабить, искал труда – и не нашел его или нашел его в таких нищенских размерах, которые не покрывают его насущных потребностей. За неудачными поисками должна последовать апатия; во время апатии должно сложиться убеждение, что нет возможности оставаться честным человеком и что надо выбирать одно из двух: голодную смерть или преступление»⁴³.

Через несколько страниц цензор выбрасывает еще один большой фрагмент, в котором Писарев поставил риторический (для него) вопрос, «оставалась ли за Раскольниковым свобода выбора», подводя читателя к однозначно отрицательному ответу. Сам этот вопрос, говорит критик, «имеет очень важное и глубокое общественное значение»⁴⁴. Понятно, что речь идет о необходимости смены социальных обстоятельств, которые толкают бедных людей на преступление. Логическая цепочка, выстроенная критиком, кажется ясной и потому безупречной, но в этой ясности и простоте теряется сложность природы человека, открываемая Достоевским. Писарев в данном случае не в ладу с жизненной правдой, представляя мотивы преступлений категорически однозначно: они, якобы, совершаются «только тогда, когда честный труд оказался <...> недоступным». Это не соответствует и многоаспектной мотивации в романе преступления Раскольникова, где разные мотивы (в диапазоне, условно говоря, от социальных до философских) выстраиваются в определенную иерархическую последовательность, игнорируемую критиком.

Так, пытаясь объяснить Соне побудительные причины своего преступления, Раскольников начинает с признания, как будто вырвавшегося из глубин сознания (но проигнорированного критиком): «– Знаешь, Соня, сказал он вдруг с каким-то вдохновением, – знаешь, что я тебе скажу: если б только я зарезал из того, что голоден был, – продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее, – то я бы теперь... счастлив был! Знай ты это!» (6: 318).

Затем в своем самоотчете герой всё же возвращается к тем мотивам, которые акцентирует Писарев («содержать себя не мог» и т. д.), но автор при этом замечает: «Он говорил как будто заученное» (6: 319). Соня ему не верит («это не то, не то»), да и сам герой затем опровергает себя: «Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог.

⁴³ Писарев Д. И. Сочинения: в 10 ч. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1868. Ч. 9. С. 208.

⁴⁴ Там же. С. 213.

А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и на хлеб я бы и сам заработал; наверно! Уроки выходили; по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно озлился...» (6: 320). Писарев из этой тирады заимствует «уроки по полтиннику» как насмешку над честным трудом, но не замечает положительного примера Разумихина, он и вообще не желает замечать этого оптимистичного бедняка, антипода озлившегося Раскольникова⁴⁵, что и понятно: успешно преодолевающий жизненные невзгоды Разумихин ломает стройную концепцию критика. Оказывается, выбор у Раскольникова все же был, однако важнее оказалось то, что он, по его собственному выражению, озлился и предался идее, носящейся в воздухе эпохи (об этом обстоятельно писал другой критик – Н. Д. Ахшарумов, см. о нем ниже).

Именно это последнее обстоятельство – утверждаемую в романе глобальность наполеоновской идеи Раскольникова – критик опровергает особенно рьяно, пытаясь внушить читателю, что это «изобретение» героя не более как плод его расстроенного ума, самооправдание обыкновенного грабителя. Критик всерьез защищает Ньютона и Кеплера от «нелепого» предположения Раскольникова насчет их готовности прибегнуть к «насильственным мерам», однако, что интересно, лишь мельком касается главного исторического обоснования «идеи» – фигуры Наполеона (не называя его имени), выдвинутого всем ходом Великой французской революции. Всеми возможными средствами, в том числе и умолчанием, Писарев стремится утвердить главное, что разделяет его с автором романа:

«Теория Раскольникова не имеет ничего общего с теми идеями, из которых складывается миросозерцание совершенно развитых людей. <...> на этой теории лежит печать его личного характера и того исключительного положения, которым была порождена его апатия»⁴⁶ (т. е., по Писареву, всё та же сокрушительная нищета).

⁴⁵ О традиции принижения этого героя в критике и литературоведении см. подробнее: [Викторovich 2019b: 47–49].

⁴⁶ Писарев Д. Борьба за существование. «Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского. Две части. 1867 г. // *Дело*. 1868. № 8. Современное обозрение. С. 12. (В книжном издании исправлено: вместо «совершенно» – «современно»). В. П. Буренин, рецензируя статью Писарева в ее книжном варианте, заметил, что Достоевский, напротив, «везде в романе старается уяснить, что дикая теория Раскольникова имеет близкую связь с различными так называемыми новыми идеями, что она есть прямое порождение этих идей. Писарев совершенно игнорирует изъяснения г. Достоевского, т. е. игнорирует основу всего его романа, и истолковывает дело со своей собственной точки зрения с свойственной ему живостью диалектики» (Z. <Буренин В. П.> Журналистика // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1868. № 250. 13 сентября).

Современные идеи переустройства общества на новых основаниях – как это, по-видимому, представлялось и во что свято верил радикальный критик-публицист – по своей сути не могли быть сопряжены с идеей насилия. Автор «Преступления и наказания» увидел совсем иную перспективу в «миросозерцании современно развитых людей», и в свете этой, ныне хорошо известной перспективы, наивными и близорукими представляются уверения критика:

«Мне кажется, что Раскольников не мог заимствовать свои идеи ни из разговоров со своими товарищами, ни из тех книг, которые пользовались и пользуются до сих пор успехом в кругу читающих и размышляющих молодых людей»⁴⁷.

В этом последнем утверждении, следует заметить, Писарев сходится с Елисеевым: они оба не хотят видеть в наполеоновской идее Раскольникова хоть какой-то значимый общественно-исторический смысл. Отмахнувшись от романа как предупреждения и пророчества, один свел его антинигилизм к бездарной клевете на молодое поколение, а другой, отдавая должное большому художнику и выведя антинигилизм за скобки, вычленил социальный пласт изображения и подвел к нему собственную мысль о неизбежности протеста, пусть даже в искаженной форме преступления.

4.

В отзывах первых критиков и читателей «Преступления и наказания» немало суждений, свидетельствующих о некоторой растерянности перед непривычным художественным строем романа. Так, обозреватель июльских журналов 1866 года в «Неделе» восхищается сценами с Порфирием Петровичем, но при этом удрученно замечает:

«... как в этих сценах, так и вообще во всем романе слишком много той капризности творчества, которая у г. Достоевского переходит часто из достоинства в довольно досадный для читателя недостаток, мешая ему сосредоточиться на мысли автора»⁴⁸.

Одним из немногих, кто тогда приблизился к пониманию художественного своеобразия «Преступления и наказания», был Н. Д. Ахшарумов,

⁴⁷ Писарев Д. Борьба за существование. «Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского. Две части. 1867 г. // Дело. 1868. № 8. Современное обозрение. С. 10.

⁴⁸ Русская журналистика // Неделя. 1866. № 28. 18 сентября. С. 440.

упрямый поборник ушедшей в тень эстетической критики (да и сама-то статья его напечатана была весьма маргинальным журналом). Вот как он начинает свое монографическое исследование романа:

«В созданиях поэтической мысли не всё преемственно. Между законными и незаконными чадами литературных родителей попадаются образцы самобытной особенности. С первого взгляда на них и прежде чем мы успеем сознательно их оценить, нам становится как-то дико. **Привычный вкус не находит знакомого впечатления, руководящие нити оборваны, все ожидания сбиты с толку.** Что-то странное, незнакомое попадаетея беспрестанно и смотрит на нас неприветливо. Мы с беспокойством осматриваемся, мы ищем напрасно чего-нибудь, что помогло бы нам ориентироваться, узнать достоверно: где мы, с какой стороны вошли и куда нас зовут?.. Первое впечатление, производимое романом г-на Достоевского, действительно таково, и мы не можем сказать, чтобы оно было приятно. Оно похоже скорее на то, что мы ощущаем в минуты тяжелого, страшного сновидения...»⁴⁹.

Критик признается, что ему **с трудом удалось отделить себя от Раскольникова в процессе чтения** романа. Этот эффект он называет «неотразимым притяжением бездны», роман как бы предупреждает читателя о его незащитности перед злом.

«...вне нас самих, а нередко и в нас нет никакого ручательства, никакого барьера, нас обеспечивающего? Пусть всякий сам это решит... На этом узком балконе четвертого этажа вы часто стояли, но теперь с него сняты перила. Выйдите на него и поглядите вниз... Зачем вам перила? Ведь вы стояли же часто и прежде, не опираясь на них?..»⁵⁰.

Ахшарумов признает, что притяжение зла может вызвать нищета, но в отличие от Писарева он не абсолютизирует зависимость человека от этого зла, поскольку есть множество людей («поденщики»), которые обречены с ним бороться, но при этом не теряют веры в правоту жизни в отличие от ненависти к ней героя Достоевского. Критик исходит из свойств личности Раскольникова, анализа ее, а не «среды» (хотя попутно даются тонкие характеристики других героев романа, особенно Катерины Ивановны, Свидригайлова, Порфирия Петровича) поставлен здесь на первое место:

«Вместо того чтоб сравнить себя с обыкновенным поденщиком и, поняв со стыдом, что этот последний во многом существенно человеческом выше и лучше его, поставить задачей для своего самолюбия как можно быстрее

⁴⁹ Ахшарумов Николай. «Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского // *Всемирный труд*. 1867. № 3. Критика. С. 125. (Журнал вышел 24 марта).

⁵⁰ Там же. С. 128.

пополнить такой недостаток, человек этот предпочел просто выделить себя из толпы и признать за единицу другого порядка, за одно из тех высших существ, для которых обыкновенный путь не указан. Процесс, приведший его к этому выводу, был процесс чисто личных иллюзий. Свое спесивое отвлечение к обыкновенной дороге он принял за неспособность идти этой дорогой, а неспособность эта, в его глазах, стала вернейшей порукою, что он способен к чему-то другому, лучшему. Чтобы оправдать эти иллюзии, он должен был, разумеется, положить в основание их общие взгляды, успевшие уже приобрести все свойства авторитета, взгляды, конечно выработанные не им, но которые приходились ему с руки, и главнейшим из них явилось, весьма естественно, отрицание естественного порядка. Оно было с руки ему и естественно в его положении, потому что, не находя себе места в этом порядке, он, разумеется, был не слишком расположен его уважать»⁵¹.

Дальнейшая история героя сводится к тому, что «идея», которой он поначалу играет, «как со страшной игрушкой», постепенно втягивает в игру, и «игрушкой» становится уже сам Раскольников. Смысл теории, в которой «увяз» теоретик, так объяснен критиком:

Это попытка ввести в сферу нравственной истины систему арифметических отношений. Попытка несбыточная, потому что понятие неделимо. Право уединенной личности и право миллионов людей равно, потому что здесь нет двух прав, а есть только одно, и нельзя его отрицать с одной стороны у одного человека, не отрицая тем самым с другой у всех остальных. Об эту-то неделимость понятия и спотыкается прежде всего парадокс Раскольникова»⁵².

Собственно идея Раскольникова мало занимает Ахшарумова (впрочем, как и других критиков того времени, сугубый интерес к ней возникнет только на пороге нового века). Проблему главного героя он видит прежде всего в том, что «Раскольников был поэт»⁵³, и в связи с этим находится меткое наблюдение над особенностью сюжета романа, опережающее более знаменитое: «наказание в романе чуть что не опережает преступление» [Анненский: 191].

«Наказание начинается раньше, чем дело совершено. Оно родилось вместе с ним, срослось с ним в зародыше, неразлучно идет с ним рядом, с первой идеи о нем, с первого представления»⁵⁴.

⁵¹ Там же. С. 132.

⁵² Там же. С. 145.

⁵³ Это наблюдение поддержал другой журналист, солидаризируясь с мнением Ахшарумова (по-своему понятым), «что герой романа – слабый человек, взявший на себя роль не по силам, что он узкий теоретик-поэт, которому недостает здравого смысла» (–ъ. Наша журналистика в 1867 г. // *Литературная библиотека*. 1868. № 1. Январь. С. 33).

⁵⁴ Ахшарумов Николай. «Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского // *Всемирный труд*. 1867. № 3. Критика. С. 149.

Критик выставляет автору недоумевающий вопрос:

«Но каким образом такой лирик, Гамлет, такой малодушный и слабонервный мечтатель мог найти в себе столько решимости, чтобы исполнить действительно им задуманное, это не так-то ясно»⁵⁵.

Претензия по-своему замечательная, поскольку она ведет нас к той точке, где горизонт ожидания критика существенно расходится с горизонтом художественного мира самого произведения. Объяснение критика в данном случае предоставляет хорошую возможность артикулировать проблему эстетического взаимодействия автора и героя.

«Мы должны допустить, что автор сделал ошибку, **не отделив достаточно ясной чертой себя от своего создания**. Он был, как говорили у нас во время оно, недостаточно объективен. Его собственный, местами высоко лирический, местами неподражаемо юмористический взгляд на Раскольникова и на его поступок в жару увлечения нечувствительно ускользнул от него, перешёл к Раскольникову и с свойственно этому последнему дерзостью усвоен был им. Очень полезно для того, чтобы лучше понять изображаемое лицо, поставить себя, как говорится, на месте его, **войти в его положение и пережить собственным сердцем**; но сердце и сердце рознь. Того, что чувствовал бы такой поэт, как г-н Достоевский, если бы он каким-нибудь колдовством мог очутиться действительно в положении Раскольникова, того не мог, даже и приблизительно, чувствовать настоящий Раскольников, а если бы мог, то он никогда не сделал бы такой мерзости. Это была ошибка – ошибка существенная, и, раз убедаясь в ней, нетрудно себе объяснить, какие она имела последствия. Анализ, в основе своей глубоко верный, получил ложный оттенок, и этот ложный оттенок явился вокруг головы Раскольникова какою-то бледною ореолою падшего ангела, которая вовсе ему не к лицу. <...> едва успев вынырнуть из кровавой лужи, в которую он окунулся, вдруг поднимает голову и смотрит на всё с высоты неприступной. На сердце у него всемирное горе, на языке язвительная сатира; это уже не мальчик, недоучившийся в школе и с голодухи озлобленный, а со злости додумавшийся до чёртиков, это Гамлет или Фауст, человек совершенно зрелый и эстетически развитой!...»⁵⁶.

Как видим, ожидания критика (в его качестве читателя) были обмануты: Раскольников не вмещался в известный эстетический канон, когда автор позиционирует героя как отчуждаемый от него (и от читателя) комплекс личных свойств, иначе говоря, самодостаточный тип, существующий по собственным и понятным нам правилам. Золотое

⁵⁵ Там же. С. 146.

⁵⁶ Там же. С. 148–149.

сечение объективности, коим так дорожит литература победившего реализма, здесь оказывается неприменимым если не полностью, то частично – в отношении главного героя. Этот последний представляется критику воплощением слишком общих осязаний жизни, связующих героя какой-то необрезанной пуповиной с самим автором, который со всем этим идет потом к читателю. На первый план выходит самая рефлексия героя (или также автора?), эту новую разновидность жанра следовало бы назвать **романом сознания** (сознания вообще, **как такового**). Тургенев, приверженный устоявшейся мировой традиции, бросил уничижительное слово «самоковыряние» (Тургенев. Письма; 6: 66) и со своей точки зрения был прав: Достоевский переступал границу дозволенного литературными «приличиями».

5.

Таким образом, перед первыми критиками «Преступления и наказания» во весь рост вставала проблема Раскольникова как нового, эстетически небывалого еще героя. Традиционные мерки оказывались непригодными для постижения художественного новаторства писателя. Это наглядно продемонстрировал автор газеты «Гласный суд», свою растерянность переписавший на счет романиста, якобы допустившего некий художественный дефект.

«По прочтении “Преступления и наказания”, невольно является вопрос: что это такое? Роман это, или просто психологическое исследование, изложенное в общедоступной форме? В одном только случае произведение это можно назвать романом, если смотреть на главное действующее лицо, на Раскольникова как на тип, т. е. как на воплощение какого-нибудь определенного направления, усвоенного обществом, или хотя более или менее значительную часть этого общества. Надобно правду сказать: **если даже автор в лице Раскольникова и действительно хотел воссоздать новый тип, – то попытка эта ему не удалась.** У него герой вышел – просто-напросто сумасшедший человек, или, скорее, белогорячечный, который хотя и поступает как будто бы сознательно, но, в сущности, действует в бреду, потому что в эти моменты ему представляется всё в ином виде. С первого раза действительно кажется, что анализ нравственного состояния преступника до совершения и после совершения убийства, произведен автором очень верно, – но это только так кажется и, притом, на первых только порах. У Раскольникова – все признаки белой горячки; ему только всё кажется; действует он совершенно случайно, в бреду»⁵⁷.

⁵⁷ Заметки и разные известия. «Преступление и наказание» // *Гласный суд*. 1867. № 159. 16 марта.

Иное объяснение феномена Достоевского предложил анонимный автор «портретной» статьи о писателе в иллюстрированном журнале «Воскресный досуг», написанной явно под впечатлением от прочитанных глав «Преступления и наказания». Достоевский, говорит критик, отличается «от всех других писателей» тем, что «углубляется во внутренний мир человека, <...> беспощадным анализом выставляет всю его внутреннюю, духовную сторону – его мозг и сердце, ум и чувства». Кажется, что критик приблизился к отличительной фактуре объекта, но... остановился, чтобы упрекнуть писателя в том, что и составляет его отличительность:

«Но обратив всё внимание на внутренний мир, он **почти совершенно забыл о внешнем**; слишком быстро проводит он перед глазами читателя и обстановку, и место действия и т. п. От этого повести его делаются несколько растянутыми, теряют в занимательности и в некоторых местах ходят скорее на психологические этюды, чем на беллетристические произведения»⁵⁸.

Через десять лет П. Д. Боборыкин подобное же наблюдение сделает над русским романом вообще («главным образом психологическим») в его отличии от европейского, более погруженного в «житейские подробности»⁵⁹. Такое представление рождалось, несомненно, под воздействием романов Достоевского.

Как заметил другой критик, в «Преступлении и наказании» сознание героя настолько поглощает, растворяет в себе внешний, предметный мир, что нередко замещает его собою: «индивидуальные представления его, мысли его, – казались ему не мыслями только, а совершающимися вне его событиями, <...> он бред своего воображения принимал за действительность»⁶⁰.

В эту зыбкость, неопределенность, сон, бред, безумие погружался читатель, плывя по этому морю душевного бедствия вместе с симпатичным ему героем (несмотря на «кровавую лужу», как заметил Ахшарумов), не доверяющим здравому смыслу Разумихина и Порфирия Петровича, вплоть до маяка – Сони. Но и здесь критики находят некую неубедительность изображения героини, его бесплотность (как впоследствии В. В. Набоков сетовал, что Соня совсем лишена признаков ее ужасной профессии).

⁵⁸ Ф. М. Достоевский // *Воскресный досуг*. 1866. № 164. 10 апреля. С. 214.

⁵⁹ Боборыкин П. Д. Реальный роман во Франции // *Отечественные записки*. 1876. № 6. Современное обозрение. С. 348.

⁶⁰ Капустин С. По поводу романа г. Достоевского: «Преступление и наказание» // *Женский вестник*. 1867. № 7. Современное обозрение. Критика и библиография. С. 1

«... и тогда он упал перед ней на колени, тогда он отдал ей душу свою навсегда.

Всё это, однако, в романе выходит вяло и бледно не столько в сравнении с энергическим колоритом других мест рассказа, сколько само по себе. Идеал не вошел в плоть и кровь, а так и остался для нас в идеальном тумане. Короче сказать, всё это вышло жидко, неосязательно»⁶¹.

Недовольство критика можно понять: он судит «Преступление и наказание» за границею созданного автором **романа сознания**, где Соня представлена нам по большей части в восприятии ее Раскольниковым. Это он, вместе с автором, наблюдает изменчивый облик «вечной Со-нечки», колеблющийся между ущербной болезненностью и могучей энергетикой веры, ощущает на себе действие спасительной для него духовной силы. Этого достаточно для романа сознания – Раскольникова, а не Сони. Идеал, действительно, еще «не вошел в плоть и кровь», это будет задачей только следующего романа Достоевского.

А. С. Суворин в газете «Русский инвалид» подтвердил важнейшее общее впечатление («**Раскольников вовсе не тип**»), уверяя по старинке, что «в этом заключается слабая сторона романа».

«... причины, побудившие Раскольникова на преступление <...> чисто индивидуального свойства, а вовсе не из тех, которые носятся в воздухе»; «Раскольников как явление чисто болезненное подлежит скорее психиатрии, чем литературной критике»⁶².

Вскоре уже в другой газете Суворин повторил суждение о сочиненности главного героя романа Достоевского:

«Раскольников, – лицо совершенно фантастическое, ничего общего не имеющее с действительностью, которая продолжает нам доставлять убийц образованных и необразованных, руководящихся в своих деяниях исключительно духом стяжания. <...> Между тем находились люди, которые готовы были указывать на Раскольникова как на представителя известной части молодежи, получившей вредоносное образование. Но где же доказательства, где тень доказательств? Базаровых мы встречали в действительной жизни, но Раскольниковых ни действительная жизнь, ни уголовная практика нам не представила»⁶³.

⁶¹ Ахшарумов Николай. «Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского // *Всемирный труд*. 1867. № 3. Критика. С. 151.

⁶² А. И-н <Суворин А. С.> Журнальные и библиографические заметки // *Русский инвалид*. 1867. № 63. 4 марта.

⁶³ Незнакомец <Суворин А. С.> Недельные очерки и картинки // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1867. № 70. 12 марта.

Последнее утверждение находилось как будто в прямом противоречии с фактом, поразившим воображение читателей «Преступления и наказания»: 12 января 1866 г., во время печатания первых глав романа были убиты и ограблены ростовщик Попов и его служанка. Суворин настаивал на исключительно внешнем сходстве преступлений Данилова и Раскольникова. Его с готовностью поддержал другой журналист, отмечавший, что Данилов «действовал очень основательно» в отличие от героя Достоевского, и потому он «столько же похож на Раскольникова, сколько живая, хотя и печальная, действительность может походить на произведение болезненно настроенного воображения»⁶⁴. Оба критика прошли мимо внутреннего, глубинного сродства интеллектуальных преступников, литературного и реального, что третий критик обозначил как «шаткость нравственного строя» и в связи с этим констатировал совершенно иную реакцию современников:

«Общество с изумлением видело, как художник уяснял ему явления, которые в то же время совершались в действительности, перед глазами всех. Такое совпадение не случайность, а представляет нам образчик <...> художественной чуткости...»⁶⁵.

В воспоминаниях Страхов сообщал, что Достоевский и сам «гордился таким подвигом художественной пронизательности» [Страхов 1883: 290]. Это подтверждает и письмо романиста А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 г.: «А мы нашим идеализмом пророчили даже факты» (28₂: 329).

6.

Наиболее значимый анализ романа «Преступление и наказание» в контексте творчества писателя и современной литературной ситуации был представлен Н. Н. Страховым в трех статьях из продолжающегося цикла «Наша изящная словесность» в журнале «Отечественные записки» (1867, февраль – апрель). Критик зафиксировал в своих воспоминаниях реакцию самого Достоевского на его выступление: «Вы одни меня поняли» [Страхов 1883: 290].

⁶⁴ Заметки и разные известия. «Преступление и наказание» // *Гласный суд*. 1867. № 159. 16 марта.

⁶⁵ <Страхов Н. Н.> Наша изящная словесность. Статья третья. Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. Стелловского. Том I. 1865. СПб. Том II. 1866. СПб. «Преступление и наказание». «Русский вестник». 1866 г. // *Отечественные записки*. 1867. Т. 170. Февраль, кн. 1. С. 556.

Разбору предшествовал отзыв о романе в журнальном обозрении:

«Самым крупным литературным явлением последнего времени был, без сомнения, роман Ф. Достоевского “Преступление и наказание”. Он читался (особенно первая его часть) с величайшею жадностью. Несмотря на силу внешнего интереса – рассказа об уголовном деле, автор довел внутренний интерес до такой высоты, что внешний ему не препятствует и отступает на задний план. Смысл романа – шаткость нашего умственного и нравственного строя – выступает во многих местах с поразительной правдой»⁶⁶.

В том же номере журнала следом была напечатана «статья третья» из цикла «Наша изящная словесность» Н. Н. Страхова, посвященная выходу собрания сочинений Достоевского в издании Стелловского и с задачей «указать главные черты» творений писателя. Обращаясь в первую очередь к «Преступлению и наказанию», одному из трех наиболее популярных у читателя и лучших по мнению критика (два других: «Бедные люди» и «Записки из Мертвого дома»), он варьировал сказанное выше:

«Читая его, конечно, всякий был поражен мыслью о тех страшных духовных болезнях, которыми страдает наше общество. Перед нами открыта новая, до сих пор нетронутая сторона нашего болезненного развития»⁶⁷.

Любопытно, что разговор о творчестве Достоевского критик предвзял сравнением науки и искусства не в пользу первой вопреки торжествующему позитивистскому сциентизму радикальных критиков:

«Никакой ученый, никакой исследователь не может так хорошо *чувствовать* духовного состояния своего времени и народа, как чувствует его художник. Если сила художественная велика, то нравственный современный строй отражается в ней с удивительною верностью, которой нельзя достигнуть никакими исследованиями»⁶⁸.

Первым писателем, вполне соответствовавшим такой задаче, Страхов называет Пушкина, который «глубоко чувствовал наш внутренний склад, наш духовный строй, и первый положил начало правильным

⁶⁶ Литературные новости // *Отечественные записки*. 1867. Т. 170. Февраль, кн. 1. С. 123–124 (журнал вышел 14 февраля, т. е. в тот же день, что и декабрьская книжка «Русского вестника» с окончанием романа «Преступление и наказание»). Вероятно, автор этих строк – Н. Н. Страхов: выражение «шаткость нравственного строя» повторено в его статье (см. выше) в том же номере журнала.

⁶⁷ Там же. С. 548–549.

⁶⁸ <Страхов Н. Н.> Наша изящная словесность. Статья третья. Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. Стелловского. Том I. 1865. СПб. Том II. 1866. СПб. «Преступление и наказание». «Русский вестник». 1866 г. // *Отечественные записки*. 1867. Т. 170. Февраль, кн. 1. С. 544–545.

отношениям литературы к этому складу»⁶⁹. Пришедший затем Гоголь (а следом за ним и писатели его «школы») выразил «страшный» «протест против пошлости нашего существования», так что стало казаться, что «нет на Руси живого места и живого человека». «Поворот» в сторону «живого человека», т. е. по существу возвращение к опыту Пушкина (который «более правильно относился к русской действительности, чем Гоголь»)⁷⁰ произошло в творчестве Достоевского начиная с его первого романа «Бедные люди» (предпочтение Пушкина перед Гоголем, оказываемое Макаром Девушкиным, Страхов приписывает самому автору).

«В первых своих повестях г. Ф. Достоевский вывел тоже чиновников. Но поворот виден был сразу. Это были также забытые, дрожащие, смиренные, конфузящиеся люди; но у них было то, в силу чего человек бывает человеком: у них оказалось человеческое сердце. <...> оказалось, что эти жалкие люди способны питать очень чистые и глубокие чувства»⁷¹.

Поставив вопрос, какое качество отличает Достоевского уже в его раннем творчестве, критик так отвечает на него:

«Очевидно – способность к очень широкой симпатии, умение симпатизировать жизни в очень низменных ее проявлениях, пронизательность, способная открывать истинно-человеческие движения в душах искаженных и подавленных, по-видимому, до конца. Такова, как нам кажется, отличительная черта его таланта, и она объясняет нам весь цикл его произведений.

Борьба между тою искрою Божию, которая может гореть в каждом человеке, и всякого рода внутренними недугами, одолевающими людей – вот постоянная тема его произведений»⁷².

«Ширина симпатии», как выражается Страхов, «дорогое свойство для художника», однако имеющее свою оборотную сторону: «Симпатизировать какому-нибудь несчастному событию, нравственному потрясению, внезапному упадку сил и т. п., легче и проще, чем симпатизировать лицу, то есть всей его душевной жизни, взятой в органической целостности». Отсюда постулировалась специфическая особенность художества Достоевского: **«он не так мастерски рисует лица, как изображает**

⁶⁹ Там же. С 546.

⁷⁰ Там же. С. 551.

⁷¹ Там же.

⁷² <Страхов Н. Н.> Наша изящная словесность. Статья третья. Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. Стелловского. Том I. 1865. СПб. Том II. 1866. СПб. «Преступление и наказание». «Русский вестник». 1866 г. // *Отечественные записки*. 1867. Т. 170. Февраль, кн. 1. С. 551–552.

сцены и положения»⁷³. Этот постулат высказан критиком пока что в самом общем виде, но вскоре он получит более глубокое толкование на материале романа «Преступление и наказание».

В статье, непосредственно посвященной «Преступлению и наказанию», Страхов категорически отверг прочтение романа в критике, конкретно А. С. Сувориным, как истории умопомешательства. Такое прочтение, утверждает Страхов, происходит потому, что критик «боится прямого толкования» романа. Между тем Раскольников и действительно относится к современным нигилистам, но не к тем «скудоумным и скудо-сердечным», которых привычно шаржировали в антинигилистических романах и повестях. Достоевский взял на себя «задачу более трудную»: «Это не фразер без крови и нервов, это – настоящий человек».

«Итак автор взял натуру более глубокую, приписал ей более глубокое уклонение от жизни, чем другие писатели, касавшиеся нигилизма. Цель его была – изобразить страдания, **которые терпит живой человек**, дойдя до такого разрыва с жизнью. Совершенно ясно, что автор изображает своего героя с полным состраданием к нему. Это не смех над молодым поколением, не укоры и обвинения, это – плач над ним. <...> Он изобразил нам нигилизм не как жалкое и дикое явление, а в трагическом виде, как искажение души, сопровождаемое жестоким страданием. По своему всегдашнему обычаю он представил нам человека в самом убийце, как умел отыскать людей и во всех блудницах, пьяницах и других жалких лицах, которыми обставил своего героя»⁷⁴.

Подобное художественное решение, говорит Страхов, способен был представить только писатель, обладающий «свойством *широкой симпатии*»: вводя это понятие, критик, как видим, отсылал к предыдущей своей статье о Достоевском. В новом романе Страхов прежде всего замечает, «как в душе человека борется жизнь и теория» и как «победа осталась за жизнью»⁷⁵.

Вершины проницательности и теоретической глубокомысленности критический анализ Страхова достигает во второй части статьи о «Преступлении и наказании». «Раскольников не есть тип» вроде Базарова, – возвращается он к основному тезису и задается вопросом, в данном

⁷³ Там же. С. 554.

⁷⁴ <Страхов Н. Н.> Наша изящная словесность. «Преступление и наказание». Роман в шести частях с эпилогом. Ф. М. Достоевского. Издание исправленное. Два тома. Петербург. 1867 // *Отечественные записки*. 1867. Т. 171. Март, кн. 2. С. 330–331 (журнал вышел 29 марта).

⁷⁵ Там же. С. 333.

случае риторическим: «Что же? Мешает это роману?» Приведем целиком последующее рассуждение критика в силу его чрезвычайной значительности.

«Но главное, очевидно, здесь не в человеке, **не в обрисовке известного типа**. Не здесь центр тяжести романа. Цель романа состоит не в том, чтобы вывести перед глазами читателей какой-нибудь новый тип, изобразить нам “бедных” людей, “подпольного” человека, людей “мертвого дома”, “отцов и детей” и т. д. Весь роман сосредоточивается около одного поступка, около того, как родилось и совершилось некоторое *действие* и какие повлекло за собою последствия в душе совершившего. Так роман и называется; на нем написано не имя человека, а название события, с ним случившегося. Предмет обозначен вполне ясно: дело идет о *преступлении и наказании*.

И в этом отношении всякий согласится, что роман г. Достоевского очень типичен. Удивительно типично изображены все те процессы, которые совершаются в душе преступника; вот что составляет главную тему романа и что поражает в нем читателей. Живо и глубоко схвачено в нем то, как идея преступления зарождается и укрепляется **в человеке**, как борется с нею душа, инстинктивно чувствуя ужас этой идеи; **как человек**, вскормивший в себе злую мысль, почти лишается наконец воли и разума и слепо повинует ей; как он *механически* совершает преступление, долго созревавшее в нем органически; как пробуждается в нем потом боязнь, подозрительность, злоба к людям, от которых ему грозит кара; как начинает он чувствовать омерзение к себе и к своему делу; как прикосновение живой и теплой жизни пробуждает в нем муки бессознательного раскаяния; как, наконец, жесточенная душа не выдерживает и размягчается до чувства умиления.

Перед этим страшным процессом личность Раскольникова с ее особенностями совершенно сглаживается и исчезает. Сперва поглотила его извращенная идея, а потом в нем с неодолимою силою просыпается *человек, человеческая душа* и мучит его своим пробуждением, с которым он старается совладать. При таких явлениях **индивидуальность действующего лица естественно должна отступить на задний план**. Так следует это из самого смысла романа. Преступление вовсе не есть действие, характеристическое для личности Раскольникова; люди, в характеристику которых входит преступление, совершают дела этого рода гораздо легче и совершенно *иначе*. Раскольникову же просто довелось *перенести* на себе преступление; можно сказать, что *оно с ним случилось* и душа его отозвалась на него так, как отозвалась бы, вообще говоря, душа *всякого человека*»⁷⁶.

⁷⁶ <Страхов Н. Н.> Наша изящная словесность. «Преступление и наказание». Роман в шести частях с эпилогом. Ф. М. Достоевского. Издание исправленное. Два тома. Петербург. 1867. Статья вторая и последняя // *Отечественные записки*. 1867. Т. 171. Апрель, кн. 1. С. 514–515. (журнал вышел 13 апреля).

Страхов в первой статье о «Преступлении и наказании» формулировал ощущение, многократно произносимое по поводу этого да и всех последующих романов Достоевского: «Читая роман, вы чувствуете, что преступление Раскольникова есть явление необычайно редкое, есть случай в высокой степени характеристический, но исключительный, совершенно выходящий из ряду вон»⁷⁷. Теперь же, во второй статье, он говорит, что в Раскольникове находит себя **«душа всякого человека»**. Впрочем, подобное (кажущееся) противоречие мы видим и в первой цитате: «характеристический, но исключительный». Здесь критик, как нам представляется, подошел ближе других к осмыслению художественного новаторства Достоевского⁷⁸. На него когда-то, еще по поводу ранних произведений писателя, указывал Валериан Майков, говоря о смене «социального» ракурса на «психологический». Исключительное в социальной перспективе представляется типическим в плане психики человека. **Человека вообще**, а не как представителя сословия либо другого какого социометрического разряда. «Душа преступника» Раскольникова воспринимается читателем как **«душа человека» – такого же, как и сам читатель**. Отсюда поразительный эффект присутствия и даже слияния с героем, с удивлением, а порой с недоумением отмечаемый первыми читателями и неангажированными критиками романа. С этой целью Достоевский создал уникальную форму повествования (кстати, не сразу найденную в процессе работы над нарративной стратегией текста), где организующую роль сыграла переведенная в план поэтики психологизма несобственно-прямая речь, вживляющая читателя в сознание героя. Во всяком случае, Страхов предварил то понимание жанра «Преступления и наказания» как **романа сознания**, к которому подведут впоследствии исследования В. В. Виноградова, М. М. Бахтина. Не лишне будет заметить, что ряд формулировок Страхова вошел, иногда дословно, в седьмое, дополненное издание популярной книги К. П. Петрова «Курс истории русской литературы» (СПб., 1871), переиздававшейся как учебное пособие вплоть до начала XX века.

⁷⁷ <Страхов Н. Н.> Наша изящная словесность. «Преступление и наказание». Роман в шести частях с эпилогом. Ф. М. Достоевского. Издание исправленное. Два тома. Петербург. 1867 // *Отечественные записки*. 1867. Т. 171. Март, кн. 2. С. 333.

⁷⁸ Впоследствии Страхов резко изменил свое отношение к этому качеству таланта Достоевского, на что получил новое, и теперь уже можно сказать, конгениальное определение «романа сознания»: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее» [Толстой; 66: 254].

Между тем статья Страхова вызвала, как и сам роман, прямо-таки приступ буйного веселья одного из записных шутников прогрессивной журналистики Д. Д. Минаева. Достоевский, как уверяет сатирик, «поэт болезненных и мелких ощущений», в силу чего «в сознании публики он стоит в числе самых посредственных беллетристов», до смерти перепугавшихся «чудовища нигилизма» и строчащих «пасквиль на всё молодое». Его герой – «какой-то нравственный урод в виде молодого человека, убивающего старуху только во имя убеждения»⁷⁹. И вот этого-то писателя, «не знающего действительной жизни», только подумать, критик Страхов поднимает на щит! В особенности развеселило профессионального балагура приведенное выше соображение Страхова, что «Раскольников не есть тип»: по убеждению Минаева, критик этим утверждением убил писателя.

В издевках Минаева, разумеется, присутствует заказное зоильство направленной критики в духе высказавшихся о романе «Современника», «Искры», той же «Недели». Однако не стоит всё сводить к партийным разборкам. В минаевском зубоскальстве, сопровождавшем и впоследствии творения Достоевского, просматривается вполне искреннее эстетическое раздражение. Ему, представителю запоздавшего русского просветительства, трудно, практически невозможно понять сложность открывшегося художественного мироздания. Вот один из характерных примеров разрыва читателя и писателя. Минаев цитирует признание Раскольникова «Я не человека убил, я принцип убил» (6: 211) и возмущенно восклицает:

«Понимаете ли вы тут что-нибудь? **Я ровно ничего не понимаю** и понять не стараюсь, как не стараюсь понять бормотанья кликуш и беллетристов вроде покойного Ивана Яковлевича. <...> Затемнять подобным образом смысл всякого **простого** явления <...> нелепо и смешно»⁸⁰.

Искреннее признание это дорогого стоит. Не совпали не просто идеи, радикальная и консервативная, но в целом мировидения, представления о природе человека: простая она или сложная? О простоте и упрощенности современных «прогрессивных» взглядов Достоевский будет размышлять в октябрьском «Дневнике писателя» 1876 г. как о заразительном самодовольстве недомыслия: «... какая иногда *простота!* Какая прямолинейность, какая скорая удовлетворимость мелким и ничтожным на слово, какая всеобщая стремительность поскорее

⁷⁹ М. <Минаев Д. Д.> Наши призраки. Журнальные размышления и выводы. Статья первая // *Неделя*. 1868. № 32. С. 1011–1012.

⁸⁰ Там же. С. 1014. Ивана Яковлевич – Корейша, знаменитый юродивый.

успокоиться, произнести приговор, чтоб уж не заботиться больше, и – поверьте, это чрезвычайно еще долго у нас простоит» (23: 142).

7.

Роман «Идиот» печатался в журнале «Русский вестник» весь 1868 год, захватив январь 1869. Первая часть романа в январском (главы 1–7) и февральском (главы 8–16) номерах журнала, вышедших соответственно 31 января и 8 марта 1868 г., судя по свидетельствам современников, вызвала горячий интерес читателей. А. Н. Майков в письме Достоевскому от 18 февраля сообщал об «успехе» и «возбужденном любопытстве» и, в частности, ссылаясь на критика Н. И. Соловьева, который «видел на многих сильное впечатление» [Достоевский. Письма; 2: 413]. 14 марта Майков признавался писателю, что роман «читается запоем» [там же: 419]. Другой корреспондент Достоевского, С. Д. Яновский, писал 31 марта на большом эмоциональном подъеме под впечатлением от первой части романа:

«... масса вся, безусловно вся в восторге! В клубе, в маленьких салонах, в вагонах на железной дороге (ведь я постоянно бываю в разъездах и вот на днях только возвратился из Тамбова) – везде и от всех только и удается слышать одно и то же: читали ль Вы последний роман Достоевского? ведь это прелесть, просто не оторвешься до последней страницы. В истине этих слов клянусь вам честью!.. Многие, многие, выражая мне свой восторг, говорили прямо, что **они ничего подобного еще не читали**, они влюблены в роман, а от истории Marie до сих пор плачут. Действительно, рассказ до того правдив и искренен, что я, грешный, не раз и не два прекращал чтение от того, что дух захватывало от легочного спазма и он проходил только от вспырнувших слез!» [Письма Яновского: 375].

Сильное впечатление первых читателей от увлекательности первой части романа подтверждали и журналисты:

«Произведение это <...> обещает быть <...> интереснее романа "Преступление и наказание", <...> хотя и страдает теми же недостатками – некоторою растянутостью и частыми повторениями какого-нибудь одного и того же душевного движения»⁸¹.

«...уже теперь можно сказать, что роман будет читаться с большим интересом. Интрига завязана необыкновенно искусно, изложение прекрасное, не страдающее даже длиннотами, столь обыкновенными в произведениях г. Достоевского...»⁸².

⁸¹ Библиография и журналистика // *Голос*. 1868. № 47. 16 февраля.

⁸² А. И-н <Суворин А. С.> Журнальные и библиографические заметки // *Русский инвалид*. 1868. № 52. 24 февраля.

«С первых же строк читатель заинтересован рассказом, и чем далее он вчитывается, тем сильнее растет его интерес»⁸³.

Оценки критиков тем не менее резко разошлись уже с самого начала публикации романа. Как это часто бывает, именно отрицательные отзывы (если вынести за скобки партийную ангажированность) позволяют увидеть писательского «лица необщее выражение», приводящее в негодование читателей с устоявшимися представлениями. Подобного рода конфликты «горизонта ожидания» современников с горизонтом предстоящего им художественного мира дают возможность указать на законы новой эстетики, устанавливаемые гением. Так, «Идиот» положил начало прениям **о границах реализма** (ключевое слово эпохи) и о том, является ли реалистом Достоевский с его новым романом.

Выражая мнение определенной части читающей публики, свое сомнение в реалистичности «Идиота» осторожно, но твердо изложил А. Н. Майков в письме к Достоевскому от 14 марта 1868 г.:

«Впечатление вот какое: ужасно много силы, гениальные молнии (например, когда Идиоту дали пощечину и что он сказал, и разные другие), но во всем действии *более возможности и правдоподобия, нежели истины*. Самое, если хотите, реальное лицо – Идиот (это вам покажется странным?), прочие же все как бы живут в фантастическом мире, на всех хоть и сильный, но фантастический, какой-то исключительный блеск. **Читается запоем, и в то же время – не верится.** „Преступление> и наказание>“ наоборот – как бы уясняет жизнь, после него как будто яснее видишь в жизни... Но сколько силы! сколько мест чудесных! Как хорош Идиот! Да и все лица очень яркие, пестры – только освещены-то электрическим огнем, при котором самое обыкновенное знакомое лицо, обыкновенные цвета получают сверхъестественный блеск и их **хочется как бы заново рассмотреть**... В романе освещение, как в „Последнем дне Помпеи“; и хорошо, и любопытно (любопытно до крайности, завлекательно), – и чуджо!» [Достоевский. Письма; 2: 419].

Письмо Майкова – по-своему замечательное свидетельство о той рецептивной коллизии, внутри которой оказались первые читатели романа: он завораживал и отталкивал одновременно. «Электрический блеск», конечно, не дневное естественное освещение, как и отблески извергающегося Везувия: почти всё «чуждо», необыкновенно, но ведь и «любопытно до крайности», так что даже «хочется как бы заново

⁸³ К. Письма о русской журналистике. «Идиот». Роман Достоевского. «Русский вестник»; книжка 1-я и 2-я // *Харьковские губернские ведомости*. 1868. № 41. 18 апреля.

рассмотреть!»! Оказывалось, что трудно, почти невозможно читать роман в контексте реализма как жизнеподобия, но при этом без ответа оставался вопрос: каким образом «искажение» жизни столь могущественно притягивает к себе внимание читателя?

Мнение Майкова, очевидно, заставило задуматься Достоевского над указанной рецептивной коллизией, так что, вероятно, именно поэтому, лишь отчасти согласившись с корреспондентом в ответном письме от 21–22 марта 1868 г., он настойчиво просит, почти умоляет: «Ради бога, пишите мне всё, что услышите (если только услышите) об “Идиоте”. Мне это надо, надо, непременно надо! Ради бога!» (28₂: 283). «Надо», как мы полагаем, для дальнейшего выстраивания авторской стратегии завоевания читателя.

Значительный материал в этом смысле предоставляла автору критика. Так, несколько схожую с майковской, но куда более агрессивную позицию читателей, усомнившихся в реализме Достоевского, взялся отстаивать журналист и критик В. П. Буренин, впоследствии ставший своеобразным спутником писателя, не раз менявшим свою орбиту. Он приступил к борьбе с «Идиотом» (которая порой воспринимается как борьба критика с самим собой) в журнальных обзрениях газеты «Санкт-Петербургские ведомости» сразу после публикации первых семи глав романа. Январское обозрение он начинает сравнением рассказа И. С. Тургенева «История лейтенанта Ергунова» с новым романом Достоевского, благо оба произведения печатались в одном номере «Русского вестника». Первые строки обозрения – поток восторга в адрес Тургенева, чья слава подошла к своему зениту, затмевая (пока) Достоевского.

«Счастлив писатель, ставший любимцем публики. Каждая строка такого писателя ценится публикою так, как будто бы она состоит не из слов, а из чистейших бриллиантов, каждый рассказец его, будь он даже в две с половиною странички, привлекает к себе общее внимание, возбуждает толки и сопровождается похвалами»⁸⁴.

Новый рассказ Тургенева, «историю о том, как лейтенант был обобран мошенниками», по оценке критика, вряд ли может быть интересен своим содержанием, но важна художественная обработка: «только такой тонкий художник, как г. Тургенев, мог из столь пустыньского сюжета сделать такую артистически-изящную литературную вещицу», которая «читается с упоением и даже восторгами». Иное дело – новый

⁸⁴ З. <Буренин В. П.> Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1868. № 53. 24 февраля.

роман Достоевского, который «представляет совершенную противоположность рассказу г. Тургенева»:

«Г. Тургенев избрал самый обыденный, простой сюжет и наполняет свой рассказ подробностями действительности, описывая ее с естественностью, умеряемой теплым поэтическим чувством. Г. Достоевский, напротив, сразу бросает своего героя (и вместе с ним читателя) в круг сложной интриги и делает как этого героя, так и окружающих его лиц в некотором роде аномалиями среди обыкновенных людей. Герой г. Достоевского молодой человек, князь Мышкин, четыре года лечившийся в Швейцарии от какой-то “нервной болезни в роде падучей или виттовой пляски”, возвращается в Петербург в начале романа. Князь Мышкин не только беден, но, что называется, совершенный голяк; приезжает он в северную Пальмиру, никого в оной не зная, не имея понятия о жизни ее обитателей, с маленьким узелочком, заключающим всё его достояние, и с некоторым остатком идиотизма, не изгнанного лечением за границей. Разумеется, с такими данными в северной Пальмире играть какую-либо роль трудно; но автор “Идиота”, бодрствуя над князем, в самый же день его приезда вдруг создает ему такое положение, что он, именно благодаря идиотизму, получает влияние на всех действующих лиц»⁸⁵.

В этом плане совершенной нелепостью представляется критику сцены в передней дома Епанчиных:

«... лакей, узрев мизерность посетителя, разумеется, сомневается в возможности принятия такого лица барином. Но тут начинается помощь идиотизма – князь вступает в беседу с лакеем и вдруг, ни с того, ни с другого принимается пространно ему проповедовать об ужасе смертной казни. Лакей трогается тирадой князя, князь стяжает его благосклонность, и его допускают к генералу»⁸⁶.

⁸⁵ Там же.

⁸⁶ Там же. Готова обзор, Буренин мог прочесть совершенно противоположное и, скажем прямо, более адекватное суждение другого обозревателя: «...потрясающее действие производит рассказ Мышкина, когда он описывает виденную им за границей смертную казнь, когда говорит о несправедливости смертной казни и с ужасающею правдой передает последние ощущения казнимого. Два раза говорит об этом Мышкин: сначала камердинеру родственницы своей, генеральши Епанчиной, а потом ей самой и ее трем дочерям, и, несмотря на это повторение, читателю всякий раз становится жутко, когда речь заходит о том, что вот осужденному объявлен приговор, и он *всё* знает, *наверно* знает, что должен умереть — через час, через полчаса, через пять минут, через четыре, через три, через две минуты, через минуту, через несколько секунд, и наконец, сейчас, сию секунду! С такою правдой и изобразительностью, как в романе г. Достоевского, может описывать последние минуты осужденного на смертную казнь только человек, сам испытавший нечто подобное, человек, голова которого была уже под лезвием секиры, или против ружейных дул, и которому лишь в последнюю минуту объявили смягчающий приговор» (Библиография и журналистика // *Голос*. 1868. № 47. 16 февраля). Буренина эти доводы, как видно, не убедили.

Противоестественность, по мнению критика, свойственна и другим эпизодам романа. В отличие от читателей, описанных Яновским, Буренина (представительствующего от каких-то других читателей) повергает в жестокое недоумение рассказанная Мышкиным «ровно на *одинадцати* страницах без отдыха» история Мари –

«... сентиментально-жалостный рассказ о какой-то несчастной швейцарской девице, которая была презираема соотечественниками за преступную любовь и с горя умерла. Рассказ этот делает то, что Мышкин вдруг приобретает доверие семейства Епанчина, до того приобретает его, что становится сейчас же, непосредственно за рассказом, посредником сердечных отношений секретаря генерала и младшей генеральской дочери...»⁸⁷.

«Поистине говоря, – завершает критик свой разнос, – герой, едва выпрыгнувший из вагона и вдруг совершающий столько подвигов, чудесен, и потому рассказ г. Достоевского имеет характер некоторой фантазмагии». Вместе с тем удивительно, что не оставив камня на камне от «реализма» писателя, Буренин вынужден сделать в конце признание, не согласующееся с предыдущими инвективами:

«... первая часть читается необыкновенно легко и в некоторых эпизодах ее чувствуется та сила и живость болезненных представлений и образов, которую **невольно затрогивается чувствительность нервных читателей**»⁸⁸.

Признав в произведении «силу и живость болезненных образов», критик, как видим, стремится во что бы то ни стало обуздать аудиторию ревнителей Достоевского до немногих особо «чувствительных» и «нервных читателей». Себя критик к ним относить не желает и потому с нарочитым пренебрежением говорит об истории швейцарки Мари как чрезмерно затянутом «сентиментально-жалостном рассказе».

Недоумение (в отличие от Майкова) вызывает у Буренина главный герой романа: его «идиотизм» творит чудеса, выражающиеся в поразительном «влиянии на всех действующих лиц» (Рогожин, камердинер, семейство Епанчиных). Поставленный в тупик критик, оказавшись в положении потерявшегося Гани Иволгина, не может себе объяснить стремительно поднявшийся авторитет князя ничем иным, как только исключительной волей автора, установка которого, впрочем, Буренину тоже не ясна. По убеждению критика, Достоевский совершает ненужное насилие над «действительностью», что царит, в отличие от него,

⁸⁷ Z. <Буренин В. П.> Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1868. № 53. 24 февраля.

⁸⁸ Там же.

у Тургенева. В самом этом сравнении есть большая доля истины: «действительность» и впрямь выступает в разных своих обличиях у названных писателей. Беда критика в том, что реализмом Тургенева он хочет побить реализм Достоевского, объявив первый единственно приемлемым для «здорового», то есть трезвомыслящего читателя. Впоследствии мы увидим, как кардинально изменится шкала ценностей у Буренина в период его сотрудничества в «Новом времени», пока же он неутомимо глумится над непостижимым для него «фантазмагорическим» романом.

После выхода февральского номера «Русского вестника» с 8–16 главами, завершающими первую часть романа, Буренин спешит скаламбурить: «"Идиот" г. Достоевского, кажется, вполне безнадежен»⁸⁹.

«Герой, только что выпрыгнувший из вагона, в несколько часов успевает свести знакомства с десятком лиц, сделаться поверенным интимных отношений людей, которые до встречи с ним не подозревали его существования, получить пощечину, влюбиться с одного взгляда в женщину, известную ему только по рассказам, забраться к ней без приглашения на вечер, высказать ей там свою любовь и даже предложение сделать, даже сочувствия с ее стороны добиться и, что называется, заключение спектакля, объявить публике, что он получает миллионное наследство. Все это совершается при самых необыкновенных обстоятельствах и отношениях окружающих героя лиц, — отношениях, в которых не добьешься ни смысла, ни толку. Лица, группирующиеся вокруг князя Мышкина, тоже если не идиоты, то как будто тронувшиеся субъекты. Тринадцатилетние мальчики у г. Достоевского говорят не только как взрослые люди, но даже на манер публицистов, пишущих газетные статьи, а взрослые люди, женщины и мужчины, беседуют и поступают, как десятилетние ребята. Словом, роман можно было бы не только идиотом назвать, но даже "Идиотами": ошибки не оказалось бы в подобном названии. И еще если б всё это **собрание нелепых лиц, выдаваемых автором за действительные** и даже интересные характеры, всё это сплетение нелепых событий, пришитых живыми нитками одно к другому, представлялось читателям ради какой-либо серьезной цели, тогда еще можно бы извинить неестественность и сказочность романа. Но г. Достоевский, очевидно, никакой цели не имеет и набрасывает сцену за сценой для собственного удовольствия. В авторе "Записок из мертвого дома" прискорбнее, чем в ком-либо другом, видеть подобную небрежность к своему дарованию»⁹⁰.

⁸⁹ Z. <Буренин В. П.> Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1868. № 92. 6 апреля.

⁹⁰ Там же.

Мерка, избранная для измерения «фантастичности» «Идиота» теперь – не Тургенев, а сам же Достоевский, когда-то поражавший и реализмом, и «серьезной целью» книги о каторге. Для критика, получается, есть как бы два Достоевских, не соприкасающихся друг с другом: Достоевский «Записок из Мертвого дома» и Достоевский «Идиота». Увидеть органическую связь одного с другим – это была такая задача, которая оказалась не по силам не одному критику «Санкт-Петербургских ведомостей». К тому же над тогдашним Бурениным еще тяготела склонность к радикальным идеям, он осудил изображение в романе «клики молодежи», которую «автор романа заставляет действовать нервно-болезненно, с тайной задней мыслью опозорить какие-то их стремления, очевидно неприятные автору». Отметим при этом некоторое колебание критика, не свойственное его тогдашним единомышленникам:

«Быть может, мое впечатление ошибочно, и я бы желал убедиться в этом, потому что мне глубоко жаль видеть дарование г. Достоевского упражняющимся в подборе каверзных чувств и ощущений, будто бы присущих современным юношам...»⁹¹.

И всё же главной проблемой критика была его собственная эстетическая невосприимчивость, порожденная ориентацией на другие, общепризнанные каноны и авторитеты реализма, прежде всего Тургенева. Художественные «сигналы», посылаемые автором нового романа, не распознавались «приемным устройством» иного (тургеневского) образа. Вот весьма показательный пример.

«Есть в произведении г. Достоевского целые страницы буквально непонятные. Укажем, например, на ту главу, где рассказываются блуждания идиота по городу, перед припадком падучей болезнью. Может быть, в описании тех диких ощущений, какие автор навязывает своему больному герою, много истины; но кто же может оценить эту истину, кому могут быть интересны эти патологические ощущения, кроме эпилептиков? Решительно непонятно, каким образом можно посягать в романе на изображение подобных аномальных явлений, не имея в виду никакой морали, кроме отягощения головы читателя анализом печального и непривлекательного болезненного состояния?»⁹².

Имеются в виду III–V главы второй части, описывающие странно-смутное состояние Мышкина, закончившееся эпилептическим припадком под занесенным ножом Рогожина. Критик узрел исключитель-

⁹¹ Z. <Буренин В. П.> Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1868. № 250. 13 сентября. Вместо «современным» в газетном тексте – «довременным».

⁹² Там же.

но медицинский аспект, упустив тонкую вязь психологических нюансов (колебание князя между «верой» и «неверием» в доброе начало души Рогожина) и символизм провоцирующих лейтмотивов («глаза» – «нож»). Не обнаружив художественной системы в романе, Буренин приписал автору бесцельность эпилептоидного творчества, прозрачно намекая на болезнь писателя, и далее позволил себе шокирующее, в его духе, предположение с навязчивым медицинским акцентом: почему бы в таком случае не написать роман о «страданиях героя, преданного пороку, ужасные последствия которого изображены <...> доктором Тиссо» (подразумевался онанизм). «Спрашиваю, – провокационно вопрошает Буренин, – чем такой герой хуже “Идиота”?»⁹³.

К беспочвенным фантазиям Достоевского Буренин относил прежде всего замеченные им усилия автора представить князя Мышкина в качестве положительного героя. С этим он категорически не был согласен: князь никак не мог быть его героем, хотя бы немного близким и понятным.

Начало романа, оттолкнувшее Буренина, было иначе прочитано другими критиками, которые предприняли пусть слабые, но всё же попытки понять князя Мышкина, предложив версии его «положительности». Первым вступил на этот путь уже цитированный выше анонимный обозреватель газеты «Голос»:

«Герой романа – какой-то князь Мышкин, больной, слабый, тщедушный, простой, незлобивый, бестактный, но понятливый, даровитый, наблюдательный, чрезвычайно способный на тонкий анализ, как собственного своего, так и чужих характеров. Тип этот, в таком широком размере встречается, может быть, в первый еще раз в нашей литературе, но в жизни он далеко не новость. Мы беспрестанно, сплошь и рядом, встречаем людей, которых общество клеймит позорным именем дураков и идиотов, и которые, однако, по достоинствам ума и сердца, стоят несравненно выше своих надменных хулителей. Вся вина этих людей в отсутствии житейского такта: они, как дети, неспособны на самую невинную ложь; они не умеют ни лавировать, ни применяться к людям или к обстоятельствам; они не знают, что можно сказать и о чем следует промолчать; они спешат высказать все, что знают и чувствуют, и с тою же легкостью, с какою раскрывают перед всеми свою душу и свои убеждения, не задумываются открыть (разумеется, в простоте сердца, не преднамеренно) и чужую тайну. Такою чрезмерною откровенностью и простосердечием Мышкины вредят и себе, и другим, и в то время, когда иные, не имея ни убеждений, ни собственных взглядов, но отлично

⁹³ З. <Буренин В. П.> Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1868. № 92. 6 апреля.

умея вовремя вторить чужим взглядам, составляют себе репутацию умных и дельных людей, очень часто добираясь, сверх того, путем проницательства и лакейства, до более или менее высоких общественных положений, Мышкины, гораздо более способные и умные, с глубокими убеждениями, с трезвым, хотя и несколько отвлеченным взглядом на жизнь, остаются в тени и слышат за дураков и идиотов! Безусловно оправдать их нельзя, так как и сам Христос заповедал ученикам своим с голубиною кротостью соединять змеиную мудрость; но г. Достоевский сумел сделать своего князя Мышкина чрезвычайно симпатичным характером, представив его совершенным ребенком, чрезвычайно знающим и способным, но все-таки ребенком, “единым от малых сих”»⁹⁴.

Будучи в плену собственных представлений о «типе» Мышкина, обозреватель «Голоса» высказывает автору и некоторое недоумение по поводу кажущихся ему несоответствий и нестыковок:

«Мышкин выставлен, между прочим, больным человеком: он страдает припадками падучей болезни, которые бывали прежде так сильны, что действительно доводили его почти до идиотства, помешали ему получить правильное воспитание и сделали его чуть ли не совершенно неспособным знать женщин. **Черта, на наш взгляд, совсем лишняя и нисколько не ладящая с общим замыслом характера:** несмотря на всё искусство автора, ему не удается болезненность и физические недостатки сделать сочувственною чертою, а идиотом и дураком могли считать Мышкина и без наделения его падучею болезнью, за одно его простосердечие и чрезмерную откровенность. При том, и сам автор, к концу напечатанной ныне части романа, не выдерживает своего первоначального намерения, и того самого Мышкина, который говорит, что не способен, по болезни, любить женщин, заставляет потом потихоньку покрывать поцелуями портрет все той же Настасьи Филипповны»⁹⁵.

Интересно, что с Бурениным решительно разошелся также и его будущий соратник А. С. Суворин. Последний день в день с первым (24 февраля) по поводу начальных семи глав романа заявил, что в Мышкине писатель «напал на мысль очень счастливую, хотя и отзывающуюся патологическим характером»⁹⁶. Патология вновь не давала покоя,

⁹⁴ Библиография и журналистика // *Голос*. 1868. № 47. 16 февраля.

⁹⁵ Там же. Похожее недоумение по поводу болезни Мышкина спустя десятилетие выразит другой критик, близкий к «Голосу»: «Какая внутренняя художественная необходимость заставила Достоевского раскрывать нравственную красоту человека в такой невыносимо тяжелой, болезненной форме?» (*Марков Е. Л. Критические беседы*. IV. Романист-психиатр (По поводу новых сочинений Достоевского) // *Русская речь*. 1879. № 5. С. 271).

⁹⁶ А. И-н <Суворин А. С.> Журнальные и библиографические заметки // *Русский инвалид*. 1868. № 52. 24 февраля.

однако критик, как и его коллега в «Голосе», всё же сделал попытку понять пришедшего в литературу нового героя.

«Детская откровенность, отсутствие задних мыслей, прямота, доходящая до наивности – вот свойства князя Мышкина. Это – взрослый ребенок, поставленный автором в самые сложные пути нашей искусственной жизни <...>. С первых же строк вся симпатия читателя переносится на Мышкина, который, при уме своем и порядочном образовании, остается довольно беззащитным. Трудно угадать, что сделает автор с этим оригинальным лицом, насколько рельефно удастся ему сопоставить искусственность нашей жизни с непосредственной натурой...»⁹⁷.

Фельетонист еще одной газеты сумел заметить в первых главах романа ту особенность писателя, которая, как уже говорилось, вела его к созданию «романа сознания»:

«Глубокий психологический анализ, отличающий все произведения г. Достоевского вообще и в особенности его “Преступление и наказание”, в новом романе доведен до высоты совершенства. Каждое слово, каждое движение героя этого романа, князя Мышкина, не только строго обдуманно и глубоко прочувствовано автором, **но и как бы пережито им самим**»⁹⁸.

Итог предпринятым усилиям понять главного героя на основании первой части романа подвел анонимный автор провинциальной газеты:

«В круговороте жизни, в который автор бросает своего героя, – на Идиота не обращают внимания; когда же при столкновении с ним личность героя высказывается во всей ее нравственной красоте, впечатление, наносимое ею, так сильно, что сдержанность и маска спадает с действующих лиц и нравственный их мир резко обозначается. <...> роман, очевидно, задуман широко, по крайней мере этот тип младенчески непрактичного человека, но со всей прелестью правды и нравственной чистоты, в таких широких размерах впервые является в нашей литературе»⁹⁹.

8.

Продолжение романа «Идиот», следует признать, уже не вызвало такого интереса критиков, как первая его часть.

⁹⁷ Там же.

⁹⁸ Фельетон. Хроника общественной жизни // *Биржевые ведомости*. 1868. № 46. 18 февраля.

⁹⁹ К. Письма о русской журналистике. «Идиот». Роман Достоевского. «Русский вестник»; книжка 1-я и 2-я // *Харьковские губернские ведомости*. 1868. № 41. 18 апреля.

Отголосками критики Буренина отзывалась еще более недоброжелательная реакция «Искры»:

«Это такая сказка, в которой чем больше неправдоподобностей, тем лучше. Люди сталкиваются, знакомятся, влюбляются, дают друг другу пощечины – и всё это по первому капризу автора, без всякой художественной правды. Миллионы наследства летают в романе, как мячики...»¹⁰⁰.

Свой несколько вторичный отзыв фельетонист подновил эпиграммой собственного изделия:

У тебя, бедняк, в кармане
 Грош в почете – и в большом,
 А в затейливом романе
 Миллионы нипочем.
 Холод терпим мы, славяне,
 В доме месяц не один.
 А в причудливом романе
 Топят деньгами камин.
 От Невы и до Кубани
 Идиотов жалок век,
 «Идиот» же в том романе
 Самый умный человек ¹⁰¹.

Так, веселясь, враждебная роману критика спешила отправить его на свалку. Д. Д. Минаев вскоре продолжил свою очистительную миссию, припомнив недавнее участие Достоевского в коллективном преследовании «лазаретом русской печати» «призрака нигилизма», а именно роман «Преступление и наказание» как очередной «пасквиль на всё молодое». Критик даже взялся судить Достоевского от имени всех (!) читателей: «поэт болезненных и мелких ощущений, <...> в сознании публики он стоит в числе самых посредственных беллетристов»¹⁰².

Минаев затем еще раз, в другом издании (в сильно полевевшей «Неделе»), повторил свой «искровский» приговор, что «Идиот» не роман, а «сказка». Обращение автора к этому жанру критик теперь объяснял тем, что в предыдущем романе («Преступление и наказание») Достоевский «был подавлен образами своей измученной фантазии» и теперь для отдохновения «бросился в сказку, в неправдоподобный роман», в котором

¹⁰⁰ *Литературное домино* <Минаев Д. Д.> Nota bene (отрывки безыменных чувств и мнений) // *Искра*. 1868. № 18. 19 мая. С. 221.

¹⁰¹ Там же.

¹⁰² М. <Минаев Д. Д.> Наши призраки. Литературные заметки и размышления. Статья первая // *Неделя*. 1868. № 32. 4 августа. С. 1011.

«одни куклы, прыгающие на нитке автора», «негодяи делаются вдруг добродетельными, а идиоты чуть не гениями»¹⁰³. Особенно возмущает критика, что писатель, так и не сумев избавиться от тени Раскольникова, вводит в роман сведения из недавней уголовной хроники – об убийстве семейства купца Жемарина: романист «вообразил, что он составляет номер “Полицейских ведомостей”»¹⁰⁴. Минаев предлагает включить в роман сочиненную им якобы в том же духе сцену, где князь Мещерский-Идиот у ног Настасьи Петровны (так небрежно переименована здесь героиня) признается, что он на самом деле скандальный французский журналист Анри Рошфор, о преследовании которого правительственными кругами много писали газеты. Пародия вышла дубоватая по части юмора. Статья Минаева называлась «Наши призраки», к каковым, в силу их оторванности от современной жизни, он размашисто отнес, кроме Достоевского, Тургенева («озлобленного на новый век»), Л. Толстого (за «туманно-мистические страницы» и «отрицание крепостничества» в «Войне и мире»), поэтов Майкова и Полонского. В литературе последнего времени прогрессивному автору прогрессивного издания мерещится «какая-то мистическая оргия, бешеный шабаш неистовствующих кликуш»¹⁰⁵. В последующих своих журнальных обозрениях в «Неделе» Минаев потерял интерес к роману «Идиот», который «тянется непонятно с какою целью сочиняемый», нагружая немногих читателей «путаницей разных размышлений, разговоров и споров действующих лиц, с которыми романист не знает, что делать»¹⁰⁶.

Интерес критики начиная со второй части романа и действительно резко упал¹⁰⁷. Характерна в этой ситуации перемена, произошедшая на другом полюсе русской журналистики, в близком Достоевскому Н. Н. Страхове. После прочтения первой части романа он писал автору в середине марта 1868 года:

«Какая прекрасная мысль! Мудрость, открытая младенческой душе и недоступная для мудрых и разумных, – так я понял Вашу задачу. Напрасно вы боитесь вялости; мне кажется, с „Преступления и наказания“ Ваша манера

¹⁰³ М. <Минаев Д. Д.> Наши призраки. Литературные заметки и размышления. Статья вторая и последняя // *Неделя*. 1868. № 34. 18 августа. С. 1083.

¹⁰⁴ Там же. С. 1085.

¹⁰⁵ Там же. С. 1086. Ср. отзыв А. И. Герцена в письме к Н. П. Огареву 13 (25) октября 1868 г.: «Статьи в “Неделе” – бонпринципны, но большей частью бездарны. Что ты нашел в “Наших призраках” ex<emph>gr<emph>atia?» [Герцен; ХХІХ: 476].

¹⁰⁶ М. <Минаев Д. Д.> Осенние листы русской журналистики. (Литературные арабески) // *Неделя*. 1868. № 42. С. 1083.

¹⁰⁷ «Одним из самых неудачных произведений» писателя посчитал его провинциальный обозреватель (*Л. Журналистика // Одесский вестник*. 1870. № 63. 21 марта).

окончательно установилась, и в этом отношении я не нашел в первой части „Идиота“ никакого недостатка» [Шестидесятые годы 1940: 258–259].

Впоследствии, 31 января 1869 г., Страхов обещал романисту написать рецензию [там же: 262], однако не исполнил обещания. Есть основания полагать, что он разочаровался тогда в Достоевском и его романе, отдав все свои симпатии Л. Н. Толстому. Дело в том, что летом того же 1868 года вышли в отдельном издании четыре тома (из тогдашних шести) романа «Война и мир» и вызвали взрыв исключительного успеха. Он оттянул на себя интерес читателей и оттеснил «Идиота» на периферию литературного процесса. Так получилось, что один великий романист затмил другого и тем самым невольно поставил под сомнение его значимость (их параллельное сосуществование в одной национальной литературе, двух медведей в одной берлоге, кажется беспрецедентным в анналах мировой литературы, случай Гете и Шиллера явно другой, исключаяющий «битву титанов»), но ситуация вытеснения, как мы понимаем, была временная, критик же бросился ее абсолютизировать. Так, в статье о романе Толстого он поспешил противопоставить его неназванным произведениям с «запутанными и таинственными приключениями», «описанием грязных и ужасных сцен», «изображением страшных душевных мук»¹⁰⁸. Эстетика Толстого торжествовала в статьях увлекающегося Страхова, но – так получалось – за счет эстетики Достоевского. Только «серебряный век» русской мысли поставит двух гениев на равнодостоинные места: Толстой – «великий художник ставшего», в то время как Достоевский «обращен к становящемуся», художество первого – «Аполлоново», а второго – «Дионисово» [Бердяев; 2: 16–17], первый видит «душу», второй слышит «дух» человека [Мережковский].

Автор «Идиота» болезненно воспринял падение интереса к роману («Но теперь всякое мнение давно затихло» – 29; 10) и флюиды, идущие от враждебно настроенных по отношению к нему критиков и читателей. Отстаивая свое право на альтернативу той литературе, что достигла своей вершины в толстовской эпопее, он открыл тогда полемику со своими оппонентами о границах реализма. Ее первым аккордом можно считать реплику в письме А. Н. Майкову от 11 декабря 1868 г., когда стало очевидно, что критика от романа отвернулась:

«Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм – реальнее ихнего. Господи!

¹⁰⁸ *Страхов Н.* Война и мир. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы I, II, III и IV. Издание второе. Москва, 1868. Статья первая // *Заря*. 1869. № 1. С. 124.

Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает» (28₂: 329).

Возможно, говоря о необходимости осмыслить последнее десятилетие, Достоевский подспудно разумел и эффектный уход своего соперника (Толстого) в историю. Вскоре, 26 февраля 1869 г., закончив роман, Достоевский ответил и непосредственно Страхову, всё еще ожидая от него рецензию и, предвидя толкование критика, вызывал его на спор:

«У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и **то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного**. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив. В каждом номере газет Вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем они действительность, потому что они *факты*. Кто же будет их замечать, их разъяснять и записывать? Они поминутны и ежедневны, а не *исключительны*. <...> Неужели фантастичный мой “Идиот” не есть действительность, да еще самая обыденная! Да именно теперь-то и должны быть такие характеры в наших оторванных от земли слоях общества, – слоях, которые в действительности становятся фантастичными. Но *нечего* говорить! В романе много написано наскоро, много растянуто и не удалось, но кой-что и удалось. Я не за роман, а за идею мою стою» (29₁: 19).

Интересно, что в этом полемическом письме Достоевский сравнивает свой роман с новейшими произведениями Гончарова (начало романа «Обрыв») и Тургенева (повесть «Несчастливая»), но оставляет за скобками Толстого. Полемика не могла не иметь продолжения. Расхождение «горизонта ожидания» критика и творческой интенции писателя наиболее выпукло обозначилось в известном письме первого ко второму 12 апреля 1871 г.:

«Очевидно – по содержанию, по обилию и разнообразию идей Вы у нас первый человек и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен. Этому не противоречит то, что на всем Вашем лежит особенный и резкий колорит. Но очевидно же: **Вы пишете большею частью для избранной публики**, и Вы загромождаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее. Например, „Игрок“, „Вечный муж“ произвели самое ясное впечатление, а всё, что Вы вложили в „Идиота“, пропало даром. Этот

недостаток, разумеется, находится в связи с Вашими достоинствами. Ловкий француз или немец, имей он десятую долю Вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в историю всемирной литературы. И весь секрет, мне кажется, состоит в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен. Простите, Федор Михайлович, но мне всё кажется, что Вы до сих пор не управляете Вашим талантом, не приспособляете его к наибольшему действию на публику. Чувствую, что касаюсь великой тайны, что предлагаю Вам нелепейший совет – перестать быть самим собою, перестать быть Достоевским» [Шестидесятые годы 1940: 271].

Призывы к «простоте», сугубой «ясности»¹⁰⁹ и в самом деле коренным образом расходились с эстетической природой романа Достоевского. Из не расположенной к нему критики писатель извлекал полезные для себя уроки, но все-таки более частного свойства, скорее из сферы тактики, чем стратегии (см. 16: 175). По пути «сложности» Достоевский продолжит идти и дальше, не убоившись упреков в элитарности («Вы пишете большею частью для избранной публики»). По глубокомысленному замечанию Вяч. Иванова, «он великий зачинатель и предопределитель нашей культурной сложности. До него всё в русской жизни, в русской мысли было просто. **Он сделал сложными нашу душу, нашу веру, наше искусство...**» [Иванов: 267].

Судя по всему, процесс «усложнения» происходил уже с первыми читателями «Идиота», но не нашел своего отражения в критике. Он, возможно, шел чрезвычайно медленно, но все же шел. Поначалу, очевидно, автор поддался общему настроению, что отразилось в его письмах, в частности, С. А. Ивановой 26 января 1869 г.: «...он <роман «Идиот»> для публики не эффектен, и следственно, 2-е издание если и состоится, то принесет так немного...» (29₁: 10). Второе издание всё же состоялось в 1874 г. и показало растущий спрос читателей. Об этом свидетельствуют уже иного рода наблюдения автора романа вроде того, что зафиксировано им в записной тетради 1876–1877 гг.:

¹⁰⁹ Этому критерию, по Страхову, не вполне отвечал и роман «Преступление и наказание», отчего и был неверно прочитан некоторыми критиками: «... есть в романе значительные недостатки, которые мешают художественной ясности образов, а следовательно, и препятствуют их ясному пониманию. Например, при вполне твердой, вполне отчетливой манере писать лица нельзя было бы так легко причислить Раскольникову к сумасшедшим» (<Страхов Н. Н.> Наша изящная словесность. «Преступление и наказание». Роман в шести частях с эпилогом. Ф. М. Достоевского. Издание исправленное. Два тома. Петербург. 1867 // Отечественные записки. 1867. Т. 171. Март, кн. 2. С. 328–329).

«Меня **всегда поддерживала не критика, а публика**. Кто из критики знает конец “Идиота”, сцену такой силы¹¹⁰, которая не повторялась в литературе. Ну, а публика ее знает» (24: 301).

В письме от 14 февраля 1877 г. к А. Г. Ковнеру, назвавшему «Идиот» шедевром, Достоевский поспешил обозначить формирование вокруг этого романа круга приверженцев как особого типа читателей¹¹¹:

«Представьте, что это суждение я слышал уже раз 50, если не более. Книга же каждый год покупается и даже с каждым годом больше. Я про „Идиота“ потому сказал теперь, что все говорившие мне о нем, как о лучшем моем произведении, **имеют нечто особое в складе своего ума**, очень меня всегда поражавшее и мне нравившееся» (29₂: 139).

1868 год завершил фельетон «Биржевых ведомостей», принадлежащий, как было доказано, перу Н. С. Лескова¹¹². Фельетонист оттолкнулся от горестной констатации современного состояния литературы: «Беллетристика только тем и занимается, что изображает с каким-то стоном и плачущим выражением в лице только одни черные, подавляющие стороны жизни»¹¹³. На этом фоне критик выделил два произведения, идущие вразрез с общей тенденцией: роман Ф. М. Решетникова «Где лучше» «как явление светлое» и роман Достоевского «Идиот» «как явление странное». Странность Достоевского, по мнению Лескова, заключается в его «мономании» – в «пристрастии к духовно изувеченным людям»; таков «больной телом и душою калека Раскольников», по поводу которого зря «критика накричала» про клевету на молодое поколение.

«... из-за нападков на это обстоятельство **мало было обращено внимания** на внутреннее достоинство романа. Романы же г. Достоевского представляют глубокое внутреннее достоинство именно психологическим анализом своим. Г. Достоевский обладает им в замечательной, в неподражаемой степени. Главнейшее достоинство и нового романа заключается в том же анализе»¹¹⁴.

¹¹⁰ Действительно, никто из критиков ее не заметил или по каким-то причинам проигнорировал.

¹¹¹ Уже в наше время о клубе «идиотистов» говорит герой последнего фильма Андрея Тарковского, долгое время вынашивавшего замысел экранизации романа.

¹¹² См.: [Столярова]; исследователь, впрочем, атрибутирует статью, перепечатанную в «Вечерней газете» (1869. № 1. 1 января). Впервые же она была напечатана в газете «Биржевые ведомости» (1868, № 349, 31 декабря).

¹¹³ <Лесков Н. С.> Фельетон // *Биржевые ведомости*. 1868. № 349. 31 декабря. Не лишне упомянуть, что в это время Лесков создавал собственные «светлые» образы божедомов-соборян.

¹¹⁴ Там же.

Далее Лесков отсылает к известным уже нам попыткам определить смысл романа критиками «Голоса», «Русского инвалида» и отчасти тех же «Биржевых ведомостей», оценивая их довольно двусмысленно:

«Некоторые видят в романе “Идиот” проведение автором такой идеи: честная простота и бесхитростность, откровенная, непоколебимая правдивость, соединенная с глубокою гуманностью и пониманием человеческой души, а главное, правдивая простота во всех отношениях с людьми, честность и любовь к ним – есть всепобеждающее, гигантски сильное средство к достижению каких бы то ни было общественных или частных целей. Не знаем, насколько такой взгляд на роман г. Достоевского верен, потому что роман еще далеко не кончен; из того же, что напечатано, подобное заключение вывести довольно смело, хотя основания для этого есть. Главное действующее лицо романа, князь Мышкин, – идиот, как его называют многие; человек крайне ненормально развитый духовно, человек с болезненно развитою рефлексиею, у которого две крайности, наивная непосредственность и глубокий психологический анализ, слиты вместе, не противореча друг другу...»¹¹⁵.

Заметные колебания и сомнения критика относительно главного героя романа сменяются затем безапелляционной оценкой: «все до единого лица в романе – явления чисто патологические», и это обстоятельство (поставившее в тупик и других критиков, как мы уже видели) сводит на нет «психологический анализ, тонкий в некоторых деталях до поразительности». Критика особенно поразил рассказ князя «о виденной им смертной казни и о совершающемся в душе приговоренного».

«Как-то жаль становится, что такое тонкое понимание душевных явлений, даже в едва заметных движениях, тратится на изображение каких-то ненормальных, часто даже до утрировки неестественных лиц. По нашему мнению, в последних двух книжках “Идиот” начинает *diminuendo*¹¹⁶ развиваться. Напр., по впечатлению, производимому в начале романа, Аглая, – девушка, в которую потом влюбляется князь, – представляется вовсе не глупою дурочкою-институткою, какую вдруг она заявляет себя в последней книге...»¹¹⁷.

«Последние две книжки» – октябрьский и ноябрьский «Русский вестник» (даты выхода 12 ноября и 6 декабря 1868 г.), заключающие в себе последние главы (VII–X) третьей части романа и начальные главы (I–IV) четвертой части. Известно, что VIII главу третьей части, свидание князя с Аглаей на зеленой скамейке Достоевский считал своим шедевром

¹¹⁵ Там же.

¹¹⁶ Музыкальный термин, обозначающий постепенное уменьшение силы звука.

¹¹⁷ Там же.

[Достоевский в воспоминаниях; 2: 214]. У него были основания: в этой сцене магия образа Аглаи держится на непредсказуемых перепадах наивно-детского простодушия и неудержимой агрессии женской природы. Лесков же замечает здесь только «глупую дурочку-институтку». Слепота критика обусловлена, как нам представляется, нежеланием признать открываемую Достоевским двойственность человеческой природы. Проще было списать ее в область патологии (вслед за Бурениным и другими), что мы и видим в трактовке Лескова и что еще неоднократно повторится в критике.

Через два месяца Лесков начнет свою апологию «Войны и мира» с указания на «художественную правду и простоту» толстовского эпоса¹¹⁸. А через год фельетонист будет рассуждать о том, почему Тургеневу не стоит обижаться на молчание критики и читателей по поводу его неудачных «безделушек» «Собака», «Лейтенант Ергунов», «Бригадир» и «Несчастливая»: в этом молчании, утверждает Лесков, проявилось уважение к писателю. Последний проговорился «пустым словом», но всё же это не то, что случилось с Достоевским в «Идиоте» и Писемским в «Людах сороковых годов»: Тургенев такой «капитальной глупости не написал и не краснел» за нее¹¹⁹.

Исследователь, введший в научный оборот цитированные выше обозрения Лескова, полагал, что неприятие романа Достоевского объясняется тем, что «Лесков, как и многие другие литераторы того времени, судил о произведениях своего великого современника с позиций социально-бытового реализма, требующего от художника обязательного житейского правдоподобия изображаемых картин, их бытовой и психологической характерности. Герои идеологического романа Достоевского, являющие собой иную степень художественного обобщения действительности, значительно более абстрактную, ближе познавшие «страсти логики», чем «логику страсти», кажутся Лескову чуждыми и странными» [Столярова: 228]. Кроме недостатка «зримой конкретности» Лескову чужд, как полагает исследователь, и «самый нравственный строй героев Достоевского, погруженных в страдание, разрушительный самоанализ, рефлексия и представляющихся ему лицами патологическими», в то время как у самого Лескова герои «цельные и страстные», к тому же имеются и праведники (что, на наш взгляд, не является чертой отличия). Из всего этого делается вывод о «принципиальном отличии

¹¹⁸ <Лесков Н. С.> Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому. «Война и мир». Соч. гр. Л. Н. Толстого. Т. V. 1869 г. // *Биржевые ведомости*. 1869. № 66. 9 марта.

¹¹⁹ <Лесков Н. С.> Русские общественные заметки // *Биржевые ведомости*. 1869. № 340. 14 декабря.

оптимистической концепции человека у Лескова от пессимистической концепции человека у Достоевского» [Столярова: 229]. Этот вывод навеян, безусловно, традицией восприятия Достоевского, идущей от прижизненной критики, но такое восприятие нельзя назвать адекватным. **Пессимизм Достоевского – миф, сложившийся в результате предвзятого прочтения произведений писателя.** Оптимизм автора «Идиота» просто иначе выражен, скорее апофатично по сравнению с Лесковым (кого также вряд ли можно отнести безусловно к однозначным оптимистам).

Рецептивная проблема заключалась во многом в невосприимчивости значительной части аудитории (не одного Лескова), **еще не привыкшей** к новой поэтике Достоевского. Куда более привычной (хотя тоже не без проблем) была ясная и величественная «простота» Толстого, а вместе с ним и Тургенева (за исключением «таинственной» прозы, осужденной и Лесковым), которые в глазах многих современников Достоевского противостояли той «неясности», «туманности», «неопределенности», что всё более нарастали в «Идиоте» начиная со второй части. Достоевский опускался в иррациональную сферу сознания, которую склонный к позитивной рациональности читатель спешил отнести к патологии либо к мистике, а то и к тому и другому вместе. Позднее, уже после смерти Достоевского старые претензии повторил французский критик Мельхиор де Вогюэ. Дарование Достоевского, – уверенно утверждал он в книге «Русский роман» (1886), – пошло на убыль после «Преступления и наказания», потому что подлинный реализм, как он говорит, сменился мистическим. Вот именно этого Достоевскому простить и не могли. «Идиот» оказался в этом смысле **рубежом** расслоения читательской аудитории, причем критика, начиная со второй части романа, заняла в основном позицию замалчивания, не желая или не умея судить писателя по законам, им самим над собою признанным, по известному выражению Пушкина¹²⁰.

¹²⁰ Несколько странно читать в современном академическом издании («исправленном» переиздании) следующее объяснение сложившейся вокруг романа зоны молчания: «Причина молчания крылась отчасти в противоречивости идеологического звучания романа, гуманистический пафос которого сложным образом сочетался с критикой “современных позитивистов”» [Битюгова и др.: 616]. В первом, советском, издании ПСС такая конструкция с опорой на «позитивистов» выполняла соответствующий идеологический заказ, но сегодня позиционируемая «противоречивость» такого рода выглядит явным анахронизмом. Далее приводится причина более адекватного свойства: «С другой стороны, тогдашняя критика еще не была достаточно подготовлена к восприятию эстетического новаторства Достоевского», – однако само «новаторство» сводится лишь к «роли “фантастических”, “исключительных” элементов реальной жизни» [там же].

Но вот что интересно в связи с этой историей расслоения: меньше чем через полтора года после уничижительной реплики Лескова другой писатель, совсем, кажется, с неожиданной стороны, подал реплику совершенно в другом роде. В 1871 году М. Е. Салтыков-Щедрин пишет рецензию на новое произведение Оммулевского и вдруг обращается к «Идиоту» и с болью (видимо, не дающей покоя) говорит о высоком значении этого романа, в то же время «странно» враждебного «к интересам, занимающим современное мыслящее русское общество», карикатурно представленное компанией молодых героев:

«По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже **идет далее, вступает в область предвешений и предчувствий**, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа “Идиот”, – и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которою бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п. Это, так сказать, конечная цель, в виду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями. И что же? несмотря на лучезарность подобной задачи, поглощающей в себе все переходные формы прогресса, г. Достоевский, нимало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, по-видимому, устремляется и заветнейшая мысль автора. Дешевое глумление над так называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения, – всё это пестрит произведения г. Достоевского пятнами совершенно им несвойственными и рядом с картинами, свидетельствующими о высокой художественной прозорливости, вызывает сцены, которые доказывают какое-то уже слишком непосредственное и поверхностное понимание жизни и ее явлений. Где кроется причина столь глубокого противоречия? В простой ли случайности или в нежелании автора отделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается рождение нового явления, – это покажет время. Но нельзя не согласиться, что этот внутренний раскол производит впечатление очень грустное и притом весьма существенно отражается на творческой силе самого автора. С одной стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой – какие-то загадочные

и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева...»¹²¹.

Учитывая скептическое отношение сатирика ко всякого рода утопическим проектам (вспомним его желчную ремарку по поводу «Что делать?»), его на сей раз более чем сочувственная оценка «отдаленнейших исканий человечества» у Достоевского задавала такую перспективу прочтения «Идиота» (да и творчества писателя в целом), которая кардинально противоречила складывавшейся в критике репутации «фантастического» романа. Судя по всему, Щедрин выразил позицию тех немногих, но постепенно умножавшихся **читателей особого рода**, которые не испугались «сложности» Достоевского и приняли в свое сердце князя Мышкина, простив ему «патологию» и «мистику». И даже горькие сетования Щедрина на антинигилизм Достоевского ничуть не колеблют значения поставленного им вопроса об идеале, художественно выраженном. Самая возможность такой постановки вопроса со стороны критика, которого трудно заподозрить в близости к идейно-эстетическому направлению автора «Идиота», весьма показательна: она удостоверяла, что **вектор адекватности** в истории восприятия романа медленно, но верно брал свое.

Заметим кстати, что реплика Щедрина имела место в «Отечественных записках», в которых меньше года назад можно было прочитать его же шаржированный диалог между последовательно-прогрессивной женой с «Отверженными» Гюго в руках и мужем-рenegатом, изрядно струхнувшим на фоне процесса нечаевцев и предложившим взять что-нибудь «поновее и поталантливее» (то есть не столь «опасное»):

«– Что же, например? – спросила она.

– Да мало ли что? Например, “Идиот” г. Достоевского. – Она сделала гримасу. – “Преступление и наказание” его же, – продолжал я с прежнею храбростию. – Некоторые критики очень хвалили этот роман именно за картинность, которую только и берет В. Гюго. – Она поморщилась»¹²².

9.

На следующее свое произведение после «Идиота» Достоевский возлагал особые надежды в плане борьбы за своего читателя. 26 февраля

¹²¹ <Салтыков-Щедрин М. Е.> Светлов, его взгляды, характер и деятельность («Шаг за шагом»). Роман в трех частях Оммулевского. СПб. 1871 г. // *Отечественные записки*. 1871. № 4. Новые книги. С. 302.

¹²² <Салтыков-Щедрин М. Е.> Наши бури непогоды // *Отечественные записки*. 1870. № 2. С. 403.

1869 г. он писал Страхову: «Я чувствую, что сравнительно с “Преступлением и наказанием” эффект “Идиота” в публике слабее. И потому всё мое самолюбие теперь поднято: мне хочется произвести опять эффект...» (29₁: 21). Замысел романа «величиною в “Бедных людей”» (дебютный успех не забывался) вскоре несколько усох до размеров рассказа, но желание «эффекта» осталось. Об этом красноречиво говорит переписка Страхова и Достоевского.

14 февраля 1870 г. Страхов: «Ваша повесть производит весьма живое впечатление и будет иметь несомненный успех. По-моему, это одна из самых обработанных Ваших вещей, – а по теме – одна из интереснейших и глубочайших, какие только Вы писали: я говорю о характере Трусоцкого; **большинство едва ли поймет, но читают и будут читать с жадностью**» [Шестидесятые годы 1940: 266].

26 февраля Достоевский: «С жадностью прочел тоже Ваши несколько строк одобрения о моем рассказе. Это мне и лестно и приятно; читателям, как Вы, я бы и всегда желал угодить, или лучше – только им-то и желаю угодить» (29₁: 108).

17 марта Страхов: «Предсказание мой сбылось. Ваш “Вечный муж” пользуется великим вниманием и читается нарасхват» [Шестидесятые годы 1940: 266].

16 апреля он же: «Ваш “Вечный муж”, конечно, лучше всего явившегося в нынешнем году...» [там же: 267].

В приведенных репликах, вне сомнения, присутствует некий дипломатический элемент: Страхов как фактический редактор «Зари» (где печатался «Вечный муж») был крайне заинтересован в участии Достоевского в журнале, а последний нуждался в таком рецензенте, как Страхов. Но и выведя за скобки понятный политекс, можно быть уверенным, что «Вечный муж» и сам по себе понравился критику гораздо более «Идиота» в силу большей «обработанности». Да и Достоевский не совсем кривил душой, когда признавался, что желал угодить своему строгому критику. Рассказ и действительно написан в согласии с критериями рационально выверенной художественной телеологии, едва не геометризма в сюжетно-композиционном построении (см.: [Петровский]). Достоевский как будто хотел показать Страхову и ему подобным, что он вполне может писать и в таком ключе (впоследствии схожим образом будут построены маленькие шедевры художественной прозы, входящие в состав «Дневника писателя») – для того, чтобы торжествующе вернуться к «чрезмерно усложненным» романам.

Страхов, конечно, поторопился с заявлением о «несомненном успехе». У рассказа сразу же обнаружили порицатели, и среди них –

близкий и Достоевскому и Страхову А. Н. Майков, 16 апреля заметивший автору, что «во всем создании есть раздвоенность интереса трагического и комического; всего рельефнее это выражается в сцене с урыльником: не знаешь, которому впечатлению отдаться» [Достоевский. Письма; 2: 474].

«Сцена с урыльником» в конце главы IX «Привидение» сотрясла классический вкус Аполлона Майкова. Трагическое и комическое в крайностях смертного ужаса и фарса здесь так тесно сплелись, что, кажется, вошли друг в друга. Комическое *qui pro quo* (поиск ночного горшка воспринят как покушение на жизнь) и «шутка» нарочитого молчания странным образом открыли путь к преступлению. Между фарсом и трагедией, по убеждению Майкова, должна быть проложена четкая непереходимая граница, дабы не вводить в соблазн и недоумение читателя. Напротив, можно сказать, что граница между смешным и ужасным пересекается в рассказе не один раз, как в ту, так и в другую сторону. Обратное движение (по сравнению с «урыльником») – от трагедии к фарсу, «от ножа к умилению» (9: 104) – совершается в сцене с гретыми тарелками, чтобы затем с новой силой и без всякой передышки вернуться от умиления к ножу, точнее, к бритве. Достоевский в «Вечном муже» стирает привычные границы, предвидя недоумение или даже возмущение «правильного» читателя, испытывающего потрясение основ – эстетических, конечно, но и нравственных тоже, что вскоре будет доказывать. Н. Михайловский в статье «Жестокий талант» (1882), кульминационной для рецептивной достоевскофобии. Разбор «Вечного мужа» займет у критика едва ли не центральное место среди доказательств нарушения писателем **установленной меры**.

Между тем один из эпизодов рассказа, как нам представляется, включает в себе своеобразную антикритику Достоевского. Это глава XII «У Захлебининых», где описано рискованное исполнение Вельчаниновым запредельно страстного романа Глинки. Растерянность эстетически ортодоксальной критики здесь выражает «несколько опешенный» глава семейства: «Но... не слишком ли сильно? Приятно, но сильно...». Зато по реакции остальной, более подвижной в своей восприимчивости, аудитории мы видим, как с трудом, но преодолевается страх «чрезмерности»: «Очарование, а в то же время и недоумение проглядывали и на лицах всех слушательниц; всем как бы казалось, что невозможно и стыдно так петь, а в то же время все эти личики и глазки горели и сверкали и как будто ждали и еще чего-то» (9: 82). Кажется, что Достоевский здесь отчасти смоделировал и свои отношения с читателями и критиками.

Первым из них откликнулся В. П. Буренин, который отвел «Вечному мужу» два абзаца в обзоре январского номера «Зари», представляющей ему «воскресшей “Эпохой” наших дней». Критик, по существу, лишь варьировал то, что было им сказано в свое время о романе «Идиот»: и здесь он находит «те же болезненно-фантастические мотивы», которыми автор названного романа «окончательно сокрушил читателя». Вновь мы находим и отсылку к читателям особого рода, коим может нравиться такое искусство:

«В наше время повести этого рода потеряли всякий кредит и нравятся **разве только особенным любителям** болезненной “фальшивой психологии”. “Вечный муж” начат очень ловко, хотя по всем правилам рутины; таинственностью, которая, потомив воображение читателя на двадцати страницах, благополучно разъясняется на двадцать первой. После таинственности следуют “нервические” диалоги двух главных действующих лиц, в которых автор играет психологическими мотивами с искусством, хорошо изученным не только им самим, но даже и читателями его прежних произведений. Затем выступает на сцену одно из любимейших лиц г. Достоевского – преждевременно развитый болезненный ребенок-девочка, и вокруг этого лица устраивается драма по обычному рецепту»¹²³.

Примечательно, что и в новом отвержении «болезненности» Достоевского Буренин опять проявил непоследовательность, признавая, что писатель «местами обнаруживает свое, конечно, немалое дарование в полной силе»¹²⁴.

Более благожелательным, хотя и еще более кратким был журнальный обозреватель «Голоса», одобрявший, в отличие от Буренина, открываемую Достоевским таинственность душевной жизни человека даже в самых пошлых обстоятельствах:

«... Что может быть обыкновеннее истории человека, который женится; женившись, он становится совершенным рабом своей жены и добродушно, сам того не замечая, носит длинные рога; овдовев же, спешит вновь жениться, на новое рабство и новые рога: что может быть, повторяем, обыкновеннее этой истории? А между тем – такова уже особенность таланта г. Достоевского – он рассказывает эту обыкновенную историю, со всеми ее реальными и вседневными, по-видимому, ничтожнейшими подробностями, таким образом, что **воображение читателя постоянно возбуждено**, и какая-то таинственность, какая-то тайна кроется во всех этих кажущихся пошлостях жизни»¹²⁵.

¹²³ Z. <Буренин В. П.> Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1870. № 31. 31 января.

¹²⁴ Там же.

¹²⁵ Библиография и журналистика // Голос. 1870. № 79. 20 марта.

«Голосу» вторил, дополняя, «Одесский вестник», нажимая на слова «болезненный», «больной» (начинающие преследовать писателя):

«Сильное, но болезненное дарование сказывается в этой повести, <...> автор рисует, с обычным ему искусством, ряд странных, **читаемых с болезненным раздражением** сцен. Местами, как и во всех своих произведениях, г. Достоевский с удивительною силою хватается за больные места человеческого сердца и мрачным светом освещает в нем темные и далекие уголки, укрываемые обыкновенно каждым старательно от посторонних нескромных взглядов»¹²⁶.

В пользу одесского обозревателя можно прибавить, что он первым уловил весьма значимый мотив, ускользнувший от других критиков (и подхваченный затем Н. Н. Страховым) – это внезапно проснувшаяся совесть Вельчанинова, посылающая ему тягостные воспоминания. Таким «посланником» оказался и «вечный муж».

Место рассказа (повести, как его чаще называют критики вопреки авторскому подзаголовку) в творчестве писателя и в истории современной русской литературы определил Н. Н. Страхов как бы «к слову» в разговоре о кризисе, наметившемся в творчестве Тургенева, и о том, что этот кризис нельзя считать проявлением общего литературного застоя (о чем вещали суровые критики «Отечественных записок», «Дела», «Недели»).

«Что же случилось? Дело, кажется, такое, что о нем стоит подумать. Наша литература ведь не пустяк. Она нынче *процветает* в полном смысле этого слова; она процветает, ширится и развертывается, тогда как, например, литература французская, немецкая, английская – или падают, или находятся в застое. <...> Как бы строго мы ни стали судить о наших художниках слова (а мы, русские, всегда расположены строго судить о самих себе), нельзя не согласиться, что у нас не мало хороших писателей, что они много сделали, много делают теперь и много обещают в будущем. Европейские критики, немцы и англичане, находят, что наши писатели по силе и мастерству своего художества *не уступают никаким европейским*. А что сказали бы эти критики, если бы они могли понять внутреннюю задачу русских писателей, ту задачу, которая составляет душу нашей литературы и разрешается ею с таким напряжением и успехом, с такою глубокою и неутомимою серьезностию! **У нас нет установившихся, окрепших форм и воззрений**; у нас всё растет, всё вновь складывается. Большею частию наши писатели даже не останавливаются в своем развитии, а продолжают делать все новые и новые шаги до тех пор пока пишут. Так Тургенев вырос безмерно в сравнении с тем, чего ожидал от него Белинский. Так Лев Толстой поднимался еще правильнее и неуклоннее, и взошел еще выше. Так Достоевский, несмотря на колебания,

¹²⁶ Л. Журналистика // *Одесский вестник*. 1870. № 63. 21 марта.

всё еще продолжает подыматься, и для русского критика ясно, что, например, в повести “Вечный муж” этот писатель, работающий так давно, сделал новый шаг в развитии своих идей. Этих примеров довольно. В силу этого непрерывного роста – наша литература теперь уже не та, что была пять лет назад; она растет быстро, как сказочный богатырь. **Уловить душу этого развития, его движущую силу, – вот задача нашей критики...**»¹²⁷.

Развернутый анализ «Вечного мужа» был, наконец, дан в 1872 году в газете-журнале «Гражданин» в связи с выходом отдельного издания рассказа. Рецензия была опубликована анонимно, но не представляет большого труда определить ее автора. Им был, вне всякого сомнения, тот же Н. Н. Страхов.

Аргументы в пользу его авторства следующие.

1. Страхов был тогда ведущим критиком «Гражданина», вторым после него рецензентом был П. К. Щербальский, стиль которого далек от атрибутируемой статьи, да и никогда Достоевский не входил в сферу его интересов.

2. Рецензия развивает взгляды Страхова на творческую манеру Достоевского, высказанные им ранее, в том числе в цитированном выше письме к романисту от 12 апреля 1871 г.

3. Рецензент, пускаясь в рассуждения о недостатках произведений писателя, объясняет их спешной работой и проявляет исключительную осведомленность в сокровенных подробностях творческого процесса писателя. Автопризнания Достоевского по поводу «Идиота» («в романе много написано наскоро» – 29₁: 19) в письмах Страхову от 26 февраля 1869 г. и 23 апреля 1871 г. совершенно очевидно использованы в атрибутируемой рецензии (см. далее).

4. Страхов не часто скрывал свое имя, но в данном случае это было необходимо, дабы не давать повода для насмешек враждебной критике, ведь Страхов редактировал журнал, в котором печатался рецензируемый рассказ.

Критик начинает рецензию с кратких общих характеристик (что характерно для Страхова) состояния литературы, места в ней Достоевского и эволюции его творчества. И также в самом начале – о главном недостатке писателя:

«... это – какая-то неровность, выражавшаяся тем, что в промежутки между произведениями капитальными, истинно-художественными, появлялись у г. Достоевского вещи относительно слабые; но слабость их тоже особен-

¹²⁷ *Страхов Н.* Последние произведения Тургенева // *Заря*. 1871. Февраль. Кн. 2. Критика. С. 1–2.

ного рода: каждое из таких произведений было задумано сильно, глубоко и оригинально, содержало места, блещущие талантом, в целом же оказывалось невыдержанным, неудавшимся»¹²⁸.

К таким «неровным» произведениям Страхов, как мы помним, относил роман «Идиот», здесь не названный, но явно подразумеваемый как совсем недавняя и общепризнанная «неудача» несмотря на «сильный, глубокий и оригинальный» замысел (ср. цитированное выше письмо Страхова Достоевскому середины марта 1868 года).

Далее рецензент позволяет себе сделать предположение об интимных тайнах творческой лаборатории писателя (в критике того времени явление исключительное), во многом варьирующее высказывание на эту тему Страхова в известном нам письме Достоевскому от 12 апреля 1871 года: «Вы до сих пор не управляете Вашим талантом». В ответном письме от 23 апреля 1871 г. Достоевский признал за собою этот недостаток и сделал еще одно признание: «... я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам...» (29₁: 208). Рецензент «Гражданина», нет сомнения, читал это письмо Достоевского. Сравним:

«Наш автор одарен такою силою фантазии, что раз сложившийся в ней поэтический замысел овладевает всем его существом в такой степени, при которой невозможно спокойствие, необходимое для тщательного исполнения замысла; он не в силах тогда справиться с наступающими на него, им же созданными образами, находясь под влиянием их мыслей, чувств и страданий, которые на время делают его собственными мыслями, чувствами и страданиями. В такие минуты его состояние нам представляется состоянием крайнего напряжения, следовательно, состоянием ненормальным. В подобном состоянии всё переведенное на слова кажется тусклым, в сравнении с тою ясностью, с которой оно рисуется в воображении поэта. Страстное желание одолеть эту тусклость и осветить ярче предмет заставляет автора усиливать краски, но предмет только зарисовывается, потому что **волнение не дает автору стать в положение будущего читателя**, мешает правильному ходу его работы и, таким образом, удачность исполнения делается уже случайностию»¹²⁹.

Высказанные Страховым наблюдения не лишены проницательности, что и отметил сам Достоевский. Но также очевидно, что наблюдательный критик очень далек, по собственной природе своей, от вулканической природы критикуемого им художника. То самое «состояние

¹²⁸ <Страхов Н. Н.> Вечный муж. Рассказ Федора Достоевского. С.-Петербург, 1872 // *Гражданин*. 1872. № 7. 5 февраля. С 262.

¹²⁹ Там же. С. 262–263.

крайнего напряжения», в котором и создавались творения Достоевского, представляется критику «состоянием ненормальным».

И далее, объясняя неудачи писателя, в первую очередь того же «Идиота», отсутствием «правильного хода работы», «нетерпением и поспешностью» (слишком уж доверяясь сетованиям Достоевского), Страхов судит его как бы с позиции Толстого или Тургенева. Ему органически не понятно, что дискомфорт, гонка срочной работы приводили к максимальной концентрации творческой энергии здесь и сейчас. Замечаемая Страховым неровность и нервность стиля, исключаящие «спокойное созерцание предмета», составляли как раз фундаментальное свойство поэтики Достоевского. Сам писатель, соглашаясь с критикой «невыдержанных» глав романа «Идиот», горячо отстаивал вершинные и «выпевшиеся прямо из сердца» эпизоды и сцены¹³⁰. Страхов, как и другие критики, поначалу захваченные идущей crescendo первой частью романа, словно проваливались в последующих частях, останавливаясь на «провалах» и не взбираясь на вершины – а именно на них держится «внутренняя» композиция произведения. А. А. Блок образно определял такой метод творчества: «Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды»¹³¹. Так и роман «Идиот» оказался в целом непрочитанным современными критиками, не ориентировавшимися по «звездам» («остриям») романных кульминаций.

Иное дело для Страхова – рассказ «Вечный муж», отмеченный «глубиной психологического анализа», но своей линейной структурой ближе скорее «Преступлению и наказанию» (с восторгом принятому критиком), нежели кумулятивному «Идиоту»: он принадлежит «к разряду произведений удачных, стройных и строго выдержанных». Однако, замечает критик, **«не всякий читатель, увлекаясь внешним интересом рассказа, способен проникнуть до той глубины предмета, до которой проник автор»**¹³² (ср. в письме Страхова Достоевскому 12 апреля 1871 г.: «Вы пишете большею частью для избранной публики»). Рецензент до банальности просто, но, судя по всему, верно объясняет незамеченность рассказа текущей критикой:

¹³⁰ Что, кстати говоря, почувствовал в «Идиоте» тот же Салтыков-Щедрин: «Это – гениально задуманная вещь; в ней есть места поразительные, но еще больше плохо высказанного и бог знает как скомканного» [Пантелеев: 451].

¹³¹ URL:<http://blok.lit-info.ru/blok/dnevnik/dnevnik-i-zapisnye-knizhki-2.htm>

¹³² <Страхов Н. Н.> Вечный муж. Рассказ Федора Достоевского. С.-Петербург, 1872 // *Гражданин*. 1872. № 7. 5 февраля. С 263.

«... едва ли мы ошибемся, если предположим, что рассказ “Вечный муж” больше одного раза – или никем не прочтен, или прочтен очень и очень не многими; потому что, при его появлении, критика почти его не заметила, а не заметила оттого, что сама, может быть, чуть-чуть, **слегка его пробежала...**»¹³³.

В связи с этим критик дает весьма дельный совет вдумчивому читателю, имеющему шанс войти в число «избранных»: Достоевского надо читать медленно и чтобы понять – непременно **перечитывать**.

«... с первого раза не всякий читатель, увлекаясь внешним интересом рассказа, способен проникнуть до той глубины предмета, до которой проник автор, и потому, при вторичном чтении, будет беспрестанно встречать черты, прежде им не замеченные, освещающие самые темные уголки в душах действующих лиц»¹³⁴.

Беглое чтение, согласимся со Страховым, – далеко не последняя причина невосприимчивости газетно-журнальной критики к эстетике и поэтике Достоевского.

Предложенный Страховым анализ рассказа «Вечный муж» отличается тонким пониманием его поэтики. Так, критик уловил композиционную задачу долгой экспозиции: «... его <Вельчанинова> начинают посещать незваные гости – призраки прошлого, зазываемые, без его ведома, услужливой памятью». Последующий сюжет с участием Трусоцкого в этом контексте – как бы продолжение работы совестливой памяти (впоследствии будет предложено прочтение сюжета рассказа как «развертывания сна» [Бем 1938]). Точен Страхов и в характеристике Трусоцкого: «человечек, одержимый неодолимой жаждой такого счастья, которого достигнуть он не способен и которым обладать не достоин». В итоге оба героя «разоблачают свои души до их последних темных закоулков, до того, что в прозрачной дали ясно рисуются не только их прошлое, но и будущее»¹³⁵.

Обратил внимание критик и на образ Лизы:

«... не помним, чтобы у кого-нибудь, кроме Диккенса и Ф. Достоевского, встречали мы такое чудное изображение детей, и именно тех детей, о которых простые люди обыкновенно говорят: “такие дети не живут!” К таким детям принадлежат Павел Домби и Лиза Трусоцкая, хотя они во многом совсем не похожи друг на друга и хотя на первого положено автором несравненно больше красок, чем на вторую»¹³⁶.

¹³³ Там же.

¹³⁴ Там же.

¹³⁵ Там же.

¹³⁶ Там же. С. 264.

В конце рецензии Страхов вышел на обобщающий пассаж, кажется, впервые заявив, что неразрешимая пока для критики **проблема понимания** Достоевского означает, прежде всего, проблему самой критики, ее эстетической и философской **готовности** к встрече с художником такого типа и масштаба:

«... отношения нашей критики к литературным произведениям с некоторого времени очень изменились. Может быть, мы с ней сделали и дельнее, но недостаточное внимание к таким крупным явлениям отечественной литературы, как Ф. Достоевский, едва ли только не у одних нас возможное, во всяком случае говорит о притупившейся впечатлительности, а может быть и о незначительном уровне высшего духовного развития»¹³⁷.

¹³⁷ Там же.

ГЛАВА 4

1871–1874. В зоне турбулентности

1.

В статье Н. Н. Страхова о «Вечном муже», которой мы завершили предыдущую главу, между прочим, говорилось, что все произведения Достоевского можно подразделить «на два разряда: одни горячо касаются какого-нибудь общественного вопроса; другие чужды всех подобных вопросов, а имеют предметом исключительно внутренний мир души человеческой»¹. К последним был отнесен рассказ «Вечный муж», а к первым – не названный, но подразумеваемый, начавший печататься роман «Бесы». Классификация, предложенная критиком, достаточно условна, т. к. оба начала не существуют у Достоевского «в чистом виде»; можно лишь говорить о тяготении того или иного произведения к одному из обозначенных полюсов. Так, в романе «Бесы» (который и подтолкнул Страхова к такой дифференциации) соотношение социального и психологического принимает форму исследования общественной психологии. Интересно, что при начале публикации этого романа один из фельетонистов высказал примечательное наблюдение над русской культурой пореформенной эпохи:

«В наше время <...> вся сила печатного слова, всё его влияние на общество зависит именно от публицистической, а не от эстетической деятельности литераторов. <...> Пусть назовут мне хоть одно русское художественное произведение последнего времени, совершенно свободное от всякой задней публицистической мысли <...>. Если поглядеть поближе, то окажется, что не только романы гг. Тургенева, графа Толстого, Гончарова, Достоевского и т. д., но и картины г. Гэ и даже статуя Ивана Грозного Антокольского, в сущности, не более, как замаскированные передовые статьи. <...> В эпохи сознательной общественной работы искусство не может оставаться чуждым задачей общественной жизни»².

¹ <Страхов Н. Н.> Вечный муж. Рассказ Федора Достоевского. С.-Петербург, 1872 // *Гражданин*. 1872. № 7. 5 февраля. С 263.

² *Заязжий*. Листок // *Голос*. 1871. № 80. 21 марта.

Печатание романа «Бесы» в журнале «Русский вестник» растянулось на два года (1871–1872), что во многом предопределило неустойчивость читательского интереса. О реакции на первые две главы романа, опубликованные в январском номере «Русского вестника» (вышел 23 января 1871 г.), Н. Н. Страхов сообщал Достоевскому 17 февраля 1871 г.: «Роман Ваш читается с жадностью; успех уже есть, хотя и не из самых больших. Следующие части, вероятно, поднимут и до самого большого» [Достоевский. Письма; 2: 502]. Однако ожидаемый Страховым «самый большой» успех откладывался. 28 февраля были опубликованы главы III–IV первой части во втором номере «Русского вестника». 12 апреля Страхов пишет Достоевскому, что нашел в них «чудесные вещи», «верхи художества» (Кириллов, хромоножка, Кармазинов), тем не менее они вызвали некоторую растерянность читателей: «Но впечатление в публике до сих пор очень смутное; она не видит цели рассказа и теряется во множестве лиц и эпизодов, которых связь ей не ясна». Повторялась история с «Идиотом», с которой Страхов и связал складывающуюся рецептивную коллизию: **«Вы пишете большею частью для избранной публики, и Вы загромождаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее»** [Страхов 1924: 199–200]. Сильнее, добавим от себя, для читателя с несовершенным устройством воспринимающего «аппарата», еще не готового к полноценному усвоению «сложной» поэтики Достоевского. Происходила постепенная дифференциация читательской аудитории, засвидетельствованная Страховым уже после публикации последней, третьей части романа: «Кругом я слышу ожесточенные споры – одни читают с величайшей жадностью, другие недоумевают» [там же: 204–205]. Сам себя Страхов относил к первой группе читателей и о той же третьей части писал А. Н. Майкову 14 января 1873 г., что он открыл для себя новые горизонты новой художественности (именно цельности сложного):

«Смерть Кириллова – поразительна, и то место, которое мне читал в Петербурге Федор Михайлович, не потеряло своей страшной силы и при чтении. Как хороша смерть Лизы! Степан Трофимыч с книгоношею и весь его конец – очарование. **Я удивляюсь теперь цельности этого романа.** Николай Ставрогин, очевидно, вставное лицо, как и Свидригайлов в “Преступлении и наказании”, но не лишнее, а как будто из другой картины, писанной в том же тоне, но еще страшнее и печальнее» [Литературное наследство; 86: 421].

Наблюдаемые нами колебания Страхова (см. выше о его оценке «Идиота» и начальных глав «Бесов») отражают, как нам представляется, не только и даже не столько эволюцию писателя, сколько динамику совершенствующегося читателя, его, если угодно, воспитание, обучение новой эстетике. Постепенно складывался определенный культурный тип – **читатель Достоевского**, у которого взаимодействие с художественным миром писателя вызывало эстетическое удовлетворение.

2.

Отношение критики к «Бесам» менялось в процессе печатания романа. Первые две главы вызвали осторожную похвалу обозревателя «Голоса», отметившего свойственное автору «Преступления и наказания» «уменье разгадывать смысл душевных движений», но при этом «излишнюю и местами очень утомительную плодovitость в рассказе», что своей мелочностью «мешает художественной полноте и правде»³. Следом выступивший обозреватель «Биржевых ведомостей» еще ярче обозначил раздвоение читательского восприятия:

«Имя этого <...> писателя не перестает возбуждать интерес, несмотря на то, что творческая его сила несколько ослабела, а присущий всем его произведениям недостаток – растянутость изложения – с каждым новым его произведением всё более и более становится заметным. Зато г. Достоевский такой замечательный психолог, что способность его к анализу человеческой души, особенно резко проявившаяся в знаменитом его романе “Преступление и наказание”, **приковывает внимание читателя** к каждому из его романов, хотя бы самая басня его и не представляла особенного интереса. Известно, что одна дама резюмировала однажды впечатление, произведенное на нее первую повестью г. Достоевского “Бедные люди”, словами: “Скучно до смерти, но заливаюсь слезами”. Дело в том, что г. Достоевский не мастер разнообразить свои произведения цветистостью слога и обилием эпизодов: его произведения несколько одноцветны и манера изложения однотонна, но читатель всегда найдет в них серьезную мысль, меткую обрисовку характеров, отсутствие всего поверхностного, придающего литературному произведению один только наружный блеск, в ущерб внутреннему содержанию»⁴.

³ Библиография и журналистика // *Голос*. 1871. № 40. 9 февраля.

⁴ Новые журналы // *Биржевые ведомости*. 1871. № 48. 19 февраля.

В. П. Буренин в «Санкт-Петербургских ведомостях» продолжил свой придирчивый надзор над творчеством Достоевского, в особенности над его несовершенством в глазах «про-тургеневски» ориентированного критика:

«Вместе с живыми лицами, вроде помянутого либерала <Степана Трофимовича>, выходят куклы и надуманные фигурки; рассказ тонет в массе ненужных причитаний, исполненных нервической злости на многое, что вовсе не должно бы вызывать злости, и т. п. Нервическая злость мешает много роману и побуждает автора на выходки, без которых, право, можно было бы обойтись»⁵.

«Нервическую злость» критик, очевидно, усмотрел в описаниях как петербургского передового «нового сброда» («Говорили об уничтожении цензуры, <...> о полезности раздробления России по народностям <...>, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины...» – 10: 22), так и провинциального «прогрессивного уголка». В ту пору либерально настроенному Буренину не могло понравиться едкое изображение «высшего русского либерализма», его «европейского» высокомерия: «Мы надевали лавровые венки на вшивые головы». Или: «Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев...» (10: 30, 31, 33). Пройдет совсем немного времени, и Буренин будет с еще большей желчью, чем Достоевский, высмеивать западничество либеральной русской интеллигенции.

Внимательно следя за продолжением «Бесов», Буренин назойливо настаивает на том, что писатель «не должен увлекаться субъективными ощущениями», Достоевский же «подчиняется в своем творчестве по преимуществу нервам» (очень приглянулось критику это словцо, как ему показалось, разрешающее проблему Достоевского), отсюда и являются «дикие и странные фигуры»⁶. Буренин подробно анализирует образы Кириллова и Шатова, чтобы показать невозможность подобных персонажей «в лучшей части современной молодежи». Ломясь в открытую дверь, критик заключает, что писатель «не знает, не видит», что «молодое поколение чуждо мистицизма»,

⁵ Z. <Буренин В. П.> Журналистика. Новые романы: «В водовороте» г. Писемского, «Бесы» г. Достоевского, «Лес рубят — щепки летят» г. Михайлова, «Хороший человек» г. Слепцова, «Николай Негорев, или благополучный россиянин» г. Кущевского // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1871. № 65. 6 марта.

⁶ Z. <Буренин В. П.> Журналистика. Нечто о «новых» типах в романе г. Достоевского «Бесы» // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1871. № 250. 11 сентября.

и создает «фантастические субъективные призраки собственного воображения», «искажает действительность»⁷. Правда, критик вынужден оговориться, сделав исключение для вполне реалистичных «типов» Верховенского-отца и капитана Лебядкина (позднее он добавит к ним Кармазинова и Лембке).

На защиту радикальной молодежи поднялся и журнал «Дело», со свойственной ему брутальной развязностью сообщив, что Достоевский вывел на сцену «невозможных монстров», «умотрясителей и извергов “новой идеи”», которые «действительно могут запугать воображение» доверчивых читателей. «Каждая глава романа есть новая мерзость, новый ужас, идущие *crescendo*...». Критик предлагает рассматривать как единое целое напечатанные в «Русском вестнике» роман Достоевского «Бесы» и роман Лескова «На ножах», отмечая, что оба писателя: «... до такой степени *окатковились*, что в новейших своих романах слились в какой-то единый тип, в гомункула, родившегося в знаменитой чернильнице редактора “Московских ведомостей”»⁸.

Весной 1872 года вновь востребовались «Биржевые ведомости», поспешив занять место среди гонителей романа. Вновь констатируется несоответствие Достоевского канону реализма (священная корова эпохи!) как жизнеподобия: писатель «хочет уверить нас в действительности существования типов, подобных тем, которых он рисует нам в своем романе “Бесы”»⁹. Так, пересказав проект Шигалева, критик издевательски называет «шигалевщину» — «открытием г. Достоевского» вроде тех, что делал гоголевский Поприщин. Резюме:

«Автор “Бесов” всегда отличался умением рисовать характеры болезненные, эксцентричные. Стоит вспомнить, **какого рода действие производится на читателя** некоторыми страницами его романов “Преступление и наказание”, “Идиот” или его рассказа “Вечный муж”, чтобы понять, какого рода впечатление должен оставить весь этот госпиталь его последнего еще

⁷ Там же. Позднее критик серьезно дополнит этот характерный аргумент от жизнеподобия в окончательной рецензии на роман (Z. <Буренин В. П.> Журналистика. «Бесы», роман г. Ф. Достоевского // Санкт-Петербургские ведомости. 1873. № 6. 6 января). По мнению Буренина, Достоевский оторвался от современной молодежи, всё еще находясь под обаянием «социалистического мистицизма» сороковых годов, и потому он «приписывает современным кружкам склонность к таким нелепостям, которые, конечно, дороги и важны были в свое время, но в наши дни утратили значение и кажутся несколько смешными» (там же).

⁸ *L'homme qui rit* <Минаев Д. Д.> Невинные заметки / Дело. 1871. № 11. Ноябрь. С. 57–59.

⁹ М. Н. Журналистика и библиография // Биржевые ведомости. 1872. № 83. 24 марта.

неоконченного произведения, рекомендуемый (конечно, для желающих) за собрание людей нового времени»¹⁰.

3.

В конце 1872 – начале 1873 гг., когда, наконец, после годового перерыва завершалось печатание «Бесов» в «Русском вестнике» (третья часть в двух последних номерах 1872 года) и вышло отдельное издание (22 января 1873 г.), на автора обрушился шквал критики. В какой-то мере роковым оказалось привходящее обстоятельство: Достоевский принял на себя редакторство консервативного еженедельника «Гражданин», до него уже успевшего за год издания стать жупелом для либеральной и радикальной журналистики. Современникам было очевидно, что имел место осознанный вызов, брошенный торжествующему общественному мнению. В таком контексте, а также при сопоставлении романа с публицистикой «Дневника писателя» начала 1873 года стало ясно, что писатель двинул всю мощь своего таланта против так называемого прогрессивного лагеря. В этом смысле фельетонист «Голоса», включившийся в травлю писателя, был, так сказать, в своем праве, заявив ему: «... вы очень хорошо знали, что делали, измышляя своих “Бесов” и заключая союз с публицистами “Гражданина»»¹¹. Брошенный вызов, разумеется, не остался без ответа.

Газета «Голос», которая 28 октября 1871 г. заявляла, что роман «хотя и не принадлежит к лучшим произведениям автора, но все-таки является одним из капитальнейших явлений русской литературы за нынешний год», теперь предприняла целый ряд нападений на него. Московский корреспондент газеты доказывал, что писатель попытался «проникнуть, понять и объяснить» открывшееся на нечаевском процессе (обстоятельство, наиболее обсуждаемое и осуждаемое в критике), но не сумел этого сделать:

«... его Петр Степанович, Николай Всеволодыч, Шатов, Липутин, Виргинский и вся масса лиц, положений и эпизодов, безумных, кровавых, выполненных то высокоталантливо, то очень слабо, не говорит ничего, и после прочтения его длинного романа выносятся то же **тяжелое впечатление страшной безалаберности**, которое выносилось после чтения стенографического отчета о заседании петербургской судебной палаты, разбиравшей “нечаевское” дело»¹².

¹⁰ Там же.

¹¹ *Нил Адмирари* <Панютин Л. К.> Листок // *Голос*. 1873. № 21. 21 января.

¹² *Московские заметки* // *Голос*. 1873. № 17. 17 января.

Уже на следующий день эстафету подхватил другой обозреватель газеты, целиком перешедший на фельетонные обороты:

«Не говорю об основной идее романа – осмеяние и без того смешных наших доморощенных революционеров – недостойно художественного воспроизведения; не говорю также о том, что истинный художник не возьмет для своего “капитального произведения”¹³ целиком из стенографических отчетов готовых героев и готовых речей. Этого мало: г. Достоевский берет готовых, живых людей, превращает их в идиотов и маньяков и заставляет их бредить наяву. **Он не объясняет причины**, двигающей их неопытными головами и толкающей их на безумие и погибель, а просто издевается над своими героями и заставляет их резать и вешать друг друга без всякого на то основания. Главный “куръез” романа состоит в том, что все почти герои его или с ума сходят или просто идиотствуют, или режут друг друга, или, наконец, сами стреляются и вешаются. Есть в романе герой губернатор – он с ума сходит; есть там еще один герой, отставной профессор сороковых годов – он также сходит с ума и умирает; главный герой, сын отставного профессора – сводит всех с ума и убивает без всякой причины одного полудиота и другого полного идиота; другой главный герой – женится на идиотке и ни с того, ни с сего вешается; идиотка-жена и брат ее идиот – зарезаны каторжником, который, в свою очередь, найден убитым на большой дороге; прекрасная героиня романа – несколько раз сходит с ума, а затем убита народом; к одному герою после трехлетней разлуки приезжает жена и рождает ему, через несколько часов по приезде, ребенка, который вместе с матерью, несколько дней спустя, умирает; в город, где совершают свои подвиги “бесы”, приезжают “знаменитый” литератор и не менее “знаменитый” агитатор – и оба с ума сходят. Словом, что ни герой, то сумасшедший, убийца, самоубийца»¹⁴.

«Остроумный» пересказ романа дает достаточное представление об уровне фельетонной критики (не останавливающейся, как можно заметить, перед подтасовками), да и об остроте ума типового фельетониста. Как вскоре будет сказано у Достоевского: «Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер!» (21: 42). Тот же Ковнер, продолжая обтачивать свое остроумие на Достоевском, легко переходит на личность писателя, демонстрируя еще один ходовой инструмент фельетонной критики:

¹³ Так роман был оценен, вместе с «Войной и миром» Толстого и «Соборьями» Лескова, в одной из статей издания, редактируемого самим Достоевским (<Мещерский В. П.> Алексей Слободин. Семейная история. «Вестник Европы». 1872. Октябрь, ноябрь и декабрь // *Гражданин*. 1873. № 1. 1 января), что и вызвало многочисленные насмешки в печати.

¹⁴ <Ковнер А. Г.> Литературные и общественные курьезы // *Голос*. 1873. № 18. 18 января.

«Я уж не говорю о том, что наша русская литература есть только рабское, обезьянье подражание западной литературе, но сама по себе она подчас выкидывает такие коленца, что сомневаться в ее обезьяньем происхождении нет никакой возможности. Писал, кажется, человек вещи очень хорошие, выказал некоторый талант и наблюдательность, сделал более или менее удачные обобщения и вдруг забыл всё свое прошлое, примкнул к каким-то четвероногим и, договорившись до чертиков и “бесов”, старается доказать, что никакой теории Дарвина не нужно, потому что и без этой теории можно убедить всякого, что и талантливый, и добросовестный писатель в конце концов не более как индивидуум, иногда не способный даже к дальнейшему развитию»¹⁵.

Стоило только В. Г. Авсеенко заикнуться об изображении «общественной психологии» в романе Достоевского (см. далее) и сравнить его с Золя, как его поставил на место еще один литературный эксперт из критико-фельетонной команды «Голоса»:

«Эмиль Золя выработал действительно новую форму социального романа, не имеющего ничего общего с романами г. Достоевского, и если этого не видит г. А., то потому, что или не знаком с произведениями Золя, или же окончательно не способен к критическому анализу. Золя как реалист – не тенденциозен: он изучает в своих романах известную эпоху по тем фактическим данным, которые действительно существуют, и выбирает для этого моменты самые крупные, краски самые густые, и его действующие лица до такой степени реальны, живы, что во Франции не возбуждают такого нелепого спора, который вертится на вопросе: существуют такие люди или нет? Если французская критика и упрекает его за что-нибудь, то уж, во всяком случае, не за фантастичность его картин и типов, а за новую художественную форму, которая, с известной метафизической точки зрения, составляет фальшь. Вы этого не знали, г. А., и поэтому совершенно невпопад стали приравнивать Золя к г. Достоевскому с болезненным раздражением, доходящим до галлюцинации, изучающему одни только больные натуры, которых, по выражению одного из действующих лиц романа “Бесы”, съела идея <...>. Ну, а если дело касается помешательства, то **это уж не искусство**, а, так сказать, медицинское исследование; это не социальный роман, а трактат психиатрии, и его место не в литературе, а в клинике душевных болезней...»¹⁶.

Для вящей убедительности критик «Голоса» разбирает характеры Кириллова и Шигалева, дабы доказать неменяемость героев, а вместе

¹⁵ <Ковнер А. Г.> Литературные и общественные курьезы // *Голос*. 1873. № 60. 1 марта.

¹⁶ W. <Вильде М. Г.> Литература и жизнь // *Голос*. 1873. № 253. 13 сентября.

с ними и самого автора: бесы, уверяет он с присущим ему апломбом, накопились не в России, «а в болезненном воображении самого г. Достоевского»¹⁷.

Это утверждение – что «бесовщина» не в России, а только в больном воображении писателя – красной нитью, настойчиво и безапелляционно, проходит практически через все отклики «Голоса» на роман Достоевского.

В том же направлении действовала и сатирическая «Искра», сосредоточившая истертое остроумие на обыгрывании названия романа, на мотивах безумия и фантастичности:

«Фантастический праздник на Гутуевском острове, Ф. М. Достоевскому. Все посетители обязательно в бесовском костюме. Музыка – новая опера Цезаря Кюи “Бесовское наваждение»” или “Гражданин” пьеса в 52 музыкальных нумерах <столько номеров в год у «Гражданина» – В.В.>. Все участвующие в празднике под конец должны непременно сойти с ума или застрелиться. Иначе вход запрещается»¹⁸.

«Сюжет седьмой. Ф. Достоевскому. Роман “Оборотни”. Собственно сюжета и стройного плана не требуется. Можно по произволу (чем капризнее, тем лучше) распорядиться следующими атрибутами мистическо-забористого романа: духовидцы и “красные” мазурики, фурьеризм и синильная кислота, прокламации, револьверы и доносы, Женева и “Малинник”, принципы 1789 года и грабеж во время пропаганды, мохнатые люди и девственницы, развращенные духом. Миллион действующих лиц и поголовное истребление их в конце романа, у которого должен быть эпиграф из “Сцены из Фауста” Пушкина:

Фауст. Всех утопить!

Мефистофель. Сейчас!..»¹⁹.

Автор этих и других реприз Д. Д. Минаев, скорее всего, был и автором «искровской» рецензии на роман. Впрочем, и в этом жанре критик не ушел далеко от привычных установок. Вся рецензия написана на тему: «”Бесы” оставляют точно такое же крайне тяжелое впечатление, как посещение дома умалишенных»²⁰. И далее – становящийся традиционным критический «анализ» романа через простой перечень героев с явными признаками помешательства.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Л. Д. <Минаев Д. Д.> Вчера, сегодня и завтра (вседневные заметки) // *Искра*. 1873. № 9. 4 марта. С. 7.

¹⁹ *Литературное домино* <Минаев Д. Д.> Праздничные подарки «Искры» // *Искра*. 1873. № 19. 15 апреля.

²⁰ <Минаев Д. Д.?> «Бесы» Федора Достоевского // *Искра*. 1873. № 6. 21 февраля. С. 5.

На защиту русского общества от автора романа «Бесы» поднялся и «Сын отечества». Ему не понравилось, для начала, что Достоевский, взяв эпиграф из Евангелия, выступил «в роли толкователя текстов Св. Писания» в «форме романа», да еще и применил их к современным событиям:

«Читатель <...> невольно останавливается на вопросе: да за свое ли дело взялся г. Достоевский? <...> Не сфальшивил ли он, представив Россию какой-то недужной и одержимой бесами? <...> дают ли право эти Каракозовы и Нечаевы заподозревать всё общество в серьезной язве и заразе? Не суть ли они проявление лишь местной болезни, болезни только некоторых членов?»²¹

Уже по тому, как задаются эти вопросы, понятна позиция автора, да и вопросы по существу оказываются риторическими, ответ вопрошающему с самого начала очевиден: если «всё русское общество» отнеслось к Нечаеву «с негодованием», то г. Достоевский, как бы теперь сказали, вредный алармист.

Свой вклад в общее дело защиты в целом-таки здоровой России от неадекватного Достоевского внесло и одно из ведущих провинциальных изданий, автор которого сравнил появление романа «Бесы» с рождением у крестьянки Лужского уезда ребенка-монстра. Далее следует разговор со знакомым доктором, который по роману поставил диагноз его автору (мероприятие, не согласное с врачебным кодексом, но еще не раз наблюдаемое в литературе о Достоевском):

«– Это, – объяснил мне доктор, – случай мрачного помешательства – *melancholia*. Представляемые романом мрачные ощущения <...> могут быть обобщены термином: *болезненное опасение* <...>. Под влиянием такого раздражения субъективного происхождения больной не всегда бывает безопасен. А что эти явления имеют субъективное происхождение – в том можно убедиться на романе г. Достоевского. Внешних раздражающих причин, которые могли бы вызвать этот аномальный роман, **кажется, не существует**»²².

На вопрос о сходстве романного сюжета с делом Нечаева доктор дает исчерпывающе утешительный ответ: на суде был разворошен не более как «микроскопический муравейник» и «придавать ему обобщенное значение – значит впадать в душевное состояние пациента, одержимого бесоманией»²³.

²¹ Библиографическая заметка // *Сын отечества*. 1873. № 40. 16 февраля.

²² С. Г.-В. <Герцо-Виноградский С. Т.> Очерки современной журналистики // *Одесский вестник*. 1873. № 19. 25 января.

²³ Там же.

Одесский критик дополнил портрет «больного» Достоевского еще одной, уже знакомой, чертой:

«Герои романа под влиянием ложной идеи о том, что они посланы будто бы для открытия человечеству его социальных язв, бросаются в какую-то мистическую пучину и утопают в ней. Такие романы, как “Идиот” и “Бесы” при всей талантливости автора очень напоминают ряд литературных самоубийств»²⁴.

Причина «литературного самоубийства» когда-то замечательного писателя, по соображению критика (повторенному Ковнером и прочими), – измена прежним прогрессивным убеждениям. Главная идея нового романа, пагубная для художника, как полагает одесский критик, состоит в том, что «г. Достоевский смотрит на молодую Россию как на какой-то скотный двор Авгия»²⁵.

Чуть раньше Ковнера и Герцо-Виноградского об идейном и эстетическом «падении» Достоевского провещал А. С. Суворин в «Новом времени»: роман «Бесы», авторитетно подтвердил популярный журналист, не что иное, как «дикая, болезненная фантазмагория высокого и когда-то светлого ума», свидетельствующая о «почти окончательной утрате таланта»²⁶. Эта парадигма падения становилась наиболее устойчивой в критике (ср.: «Вам будет больно видеть падение писателя, без сомнения талантливого, и падение человека в этом романе»²⁷), а такие издания, как «Голос», «Искра», «Петербургская газета», «Одесский вестник», как мы видели, без обиняков и метафор забронировали Достоевскому место в сумасшедшем доме. Вряд ли это была только фигура речи.

Достоевский, а вернее, повествователь главы «Бобок» «Дневника писателя» («Гражданин», 1873, 5 февраля) иронически изложил газетное перевозбуждение в виде амбивалентного сюжета:

«А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: “При таком, дескать, самобытном таланте... и вот что под самый конец оказалось... впрочем, давно уже надо было предвидеть...” Это еще довольно хитро; так что с точки чистого искусства даже и похвалить можно. **Ну а те вдруг еще умней воротились**» (21: 42).

²⁴ Там же.

²⁵ Там же.

²⁶ А. С. <Суворин А. С.> Журналистика // *Новое время*. 1873. № 16. 16 января.

²⁷ Новые книги. «Бесы». Роман Федора Достоевского. В трех частях. // *Сияние*. 1873. Т. 1. № 15. 20 апреля. С. 239. Рубеж падения и здесь проведен в том же месте: «... с романом “Преступление и наказание” мы расстались с прежним г. Достоевским, которому могли сочувствовать и о котором должны были говорить. Теперь мы имеем дело с совершенно другим человеком» (там же, с. 240).

Следует, правда, заметить, что критика Суворина всё же несколько отличалась от оголтело-разнузданной кампании, развязанной против романа Достоевского рядом изданий. Критик «Нового времени» в самом начале своей статьи особо оговорился, что «не следует забывать, что человек, написавший “Бедных людей”, “Записки из Мертвого дома” и психологически бесценный этюд об убийстве Раскольникова, занимает почетное место в нашей литературе...»²⁸ независимо от происхождения с ним в настоящее время. Прогноз же на будущее был неблагоприятный: «После “Бесов” нам остается только поставить крест на этом писателе и считать его деятельность законченной»²⁹. Пройдет совсем немного времени, и Суворин постарается забыть тот прогноз³⁰: истина откроется ему после расставания с либерализмом отечественного закала.

Еще дальше Суворина отступил от норматива В. П. Буренин, не торопившийся хоронить романиста:

²⁸ А. С. <Суворин А. С.> Журналистика // *Новое время*. 1873. № 16. 16 января.

²⁹ Там же.

³⁰ Данное обстоятельство, как нам представляется, необходимо учитывать при решении спорного вопроса об атрибуции цитируемого текста (и двух других). Современный исследователь так описывает ситуацию: «Интересно, что в 1873 г. в “Новом времени” вышло три весьма противоречивых критических отзыва о творчестве Достоевского, подписанных псевдонимом “А. С.” <16 и 30 января, 6 марта>. Согласно словарю псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей <Масанова>, эти тексты принадлежат перу А. С. Суворина. Однако исследователь Л. Е. Азарина доказывает, что это мнение ошибочно <Азарина Л. Е. Литературная позиция А. С. Суворина: дис. ...канд. фил. наук. М., 2008>. Суворин собирал вырезки из газет и журналов со своими статьями — благодаря этому исследователи могут сегодня идентифицировать анонимные или подписанные псевдонимами публикации Суворина. Однако в суворинском архиве нет вырезок, содержащих данные фельетоны, а сам писатель нигде не упоминает о своем сотрудничестве в газете “Новое время” до ее приобретения в 1876 г. Библиограф С. И. Пономарев, составляя перечень литературно-критических статей Суворина к 50-летию его творческой деятельности, включил три указанных фельетона в число работ, принадлежащих перу Суворина. Сам же Суворин, просматривая библиографию Пономарева, под списком публикаций в “Новом времени” 1873 г. подписал: “Нет, не мое” <РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 1099>, — и этому опровержению стоит верить» [Проценко: 151]. Стоит верить однако и нежеланию Суворина признавать своими тексты, противные его новым убеждениям и показывающие убогую слепоту его либерального прошлого. Да и в этическом плане некоторые тогдашние высказывания Суворина оставляли желать много лучшего; так, он заявлял, что «помимо желания автора **мы все-таки склонны гораздо более симпатизировать безнравственному, положим, но умному, энергичному и упорно стремящемуся к цели**» (!) Петру Верховенскому, «чем дряблему, бесхарактерному приживальщичу отцу» (А. С. <Суворин А. С.> Журналистика // *Новое время*. 1873. № 16. 16 января). Было чего стыдиться «положим, умному, энергичному» издателю и журналисту...

«Несмотря на всю фантазмагоричность этого романа, несмотря на всю болезненность творчества даровитого автора, все-таки приходится сказать, что “Бесы” – едва ли не лучший роман за настоящий год. Среди множества эпизодов, наполненных странным сочинительством, среди хаоса внешнего содержания романа в “Бесах” встречаются страницы, исполненные живой правды, встречаются лица, созданные почти художественно. Таковы, например, фигуры: Степана Петровича Верховенского, идеалиста сороковых годов, и губернатора Лембке. Разные современные гении буржуазной беллетристики – все эти гг. Стебницкие, Маркевичи, Авсеенки, Боборыкины, Ахшарумовы, – никогда не создадут таких типов, при всем их усердии и при всей их ловкости»³¹.

Противоречие, захватившее критика, требовало разрешения, и Буренин откликается на финал публикации «Бесов» большой аналитической статьей в двух номерах «Санкт-Петербургских ведомостей». Он начинает с характерных **читательских претензий** к автору:

«...”фабула” “Бесов”, вообще говоря, крайне спутана: в роман введено много эпизодов и сцен, вовсе не относящихся к его основе, и притом эпизодов очень туманно мотивированных. Многочисленные действующие лица романа совершают в продолжение трех частей самые удивительные подвиги. Одни из этих лиц на публичных балах целуют незнакомых женщин, хватают за нос мужчин и выходят за такие деяния на дуэль; другие дают пощечины своим сотоварищам из необъяснимых психологических побуждений, причем дающие пощечины и получающие оные остаются взаимно довольны; третьи убивают самих себя по самым странным и фантастическим соображениям; четвертые поджигают, убивают и скандалят самым возмутительным образом; пятые глупо и добровольно подводят себя под скандалы, устраиваемые четвертыми; наконец, шестые на целых печатных листах говорят такой мистический вздор, что их можно почесть за одержимых белою горячкой. Всё это – и спутанность фабулы романа, и многочисленность излишних эпизодов, и странность, даже дикость многих его героев – **положительно сбивает с толку читателей...**»³².

Далее мы видим, как, оторвавшись ненадолго от читательских недоумений, критик делает попытку всё же уловить своеобразие этого странного, но притягивающего к себе произведения:

«... сущность этого романа заключается не в его внешней, запутанной фабуле, **а в его общем духе** и некоторых мотивах и лицах, выделяющихся сво-

³¹ Z. <Буренин В. П.> Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1872. № 345. 16 декабря.

³² Z. <Буренин В. П.> Журналистика. «Бесы», роман г. Ф. Достоевского. («Русский вестник» 1871-1872 г.) // Санкт-Петербургские ведомости. 1873. № 6. 6 января.

ею реальностью и законченностью среди множества остальных, созданных авторской фантазией “теоретически”, при полном отсутствии живого, жизненного материала. Разнообразная, пестрая и крайне хаотическая картина “Бесов” в целом объеме для нас вовсе не интересна: она не что иное, как только фон для некоторых “идей” г. Достоевского и для некоторых образов, художественно взятых им из действительности»³³.

Перед нами не что иное, как попытка соединить свою эстетическую мерку с «правилами» самого произведения. Фрагментированность композиции, собранной вокруг высших ее точек (кульминации «идей»), вызывает у критика ощущение «крайне хаотической картины», но примиряют с ней «некоторые образы», кажущиеся «взятыми из действительности», т.е. соответствующими традиционной миметической поэтике. Эти последние служат как бы переходными звеньями к принятию необычного художественного целого романа. К примирению с тем, что «для эллинов безумие», ведет тот путь, который критик предлагает расставшемуся читателю Достоевского:

«Если мы отрешим свое внимание от бросающегося в глаза разнообразия этого фона романа и **сосредоточимся на его духе, на его мысли**, на том немногом живом материале, который разбросан среди груды всяких мертворожденных авторских фантазий, то этого будет слишком достаточно, чтоб получить о новом произведении г. Достоевского определенное и, как мне кажется, довольно правильное представление»³⁴.

Антинигилизм Достоевского не вызывает у критика особой неприязни, он предъявляет и здесь требование скорее эстетического свойства:

«...цель, которую поставил себе автор в “Бесах”, могла бы быть достигнута им тогда только, когда бы он представил помянутое движение известным частным явлением, порожденным общими причинами, **и указал** в художественном рассказе эти **причины**. Но в том-то и дело, что явление, воспроизводимое автором, представляется в романе исключительным, аномальным»³⁵.

Здесь-то и обнаруживает себя фундаментальное расхождение критика с писателем: «Может быть, я очень ошибаюсь, но мне кажется, что аномальные явления – самое неподходящее дело для художества»³⁶. Отметим, впрочем, момент колебания, сомнения критика в диктуемой им

³³ Там же.

³⁴ Там же.

³⁵ Там же.

³⁶ Там же.

прописи (у Белинского, напомним, не было никаких сомнений, когда он осудил избранную Достоевским поэтику исключительного). Писатель, сосредоточившийся на аномалиях бытия, напоминает Буренину:

«... комический образ деятеля, который, намереваясь пролить свет окружающим его, начинает дело с того, что выстраивает перед самим собой высокую стену, загораживающую лучи солнца <...>. В самом деле, принимаясь за художественное воссоздание таких событий и таких образов, которые составляют уклонение от правильных законов жизни, каждый беллетрист заранее отнимает у себя цель искусства: ясное, точное и глубокое **выяснение общих причин**, обусловивших подобные события и факты»³⁷.

Буренин, кажется, не замечает внутреннего противоречия в своем осуждении Достоевского: «уклонения от правильных законов» имеют место в реальной жизни, но писатель, как полагает критик, не должен их «воссоздавать». Непонятно тогда, каким образом можно будет добиться «выяснения» их причин. На осмысление и преодоление этого противоречия критику понадобится не так уж много времени, но прожитого «рядом» с Достоевским, автором «Подростка», «Дневника писателя», «Братьев Карамазовых», «Пушкинской речи» (см. следующие главы). И прожитого, что важно, в России смутных семидесятых годов. Пока же сосредоточенность писателя на хаосе текущей действительности представляется не более как «репортерством» критику, еще не освободившемуся от плена общепринятых идейных и эстетических канонов. Разделяя предубеждение прогрессивной журналистики относительно процесса Нечаева, Буренин утверждает (пока), что такого рода негодяи «на святой Руси существуют как случайные аномалии» (вновь это ключевое для критика слово), а потому в романе читатель видит лишь «плод праздного и болезненного воображения автора», оказавшегося для него дороже «истины действительности». Стоит припомнить, что сразу после 1 марта 1881 года тот же Буренин схватится за роман «Бесы» именно как за «истину действительности». Тогда выписки из «неправильного» романа критик сопроводит следующим комментарием:

«А наша псевдо-либеральная критика старается уверить, что Достоевский только тогда стоял на известном пьедестале общественного писателя, когда его хвалил Белинский и ценил Добролюбов, что с того времени он успел изменить “жизненным идеям”, успел впасть в предосудительно-ретроградное направление и чуть ли не погубить совсем свою крупную

³⁷ Там же.

писательскую репутацию. Нечего сказать, попала в этом случае критика пальцем в небо!»³⁸.

Удивительно, но пальцем в небо еще недавно попадал сам автор этих строк вкупе со своим редактором-издателем!

Однако вернемся в 1873 год. Лихо пройдясь по «фантастическим», «мистическим», «сумасшедшим» образам романа, Буренин заканчивает первую часть рецензии не совсем ожидаемо:

«Но в “Бесах” есть и другая сторона кроме фантазмагорической – сторона вполне реальная, есть и другие лица кроме призраков болезненной авторской фантазии – лица живые и воспроизведенные с художественным мастерством»³⁹.

Им-то и посвящена напечатанная через неделю вторая часть рецензии, образуя в итоге ощущение некоего эстетического разлада в сознании критика, выражаясь современным языком, когнитивного диссонанса. Эту вторую часть Буренин почти целиком посвятил разбору характера Степана Трофимовича Верховенского, пожалуй, самому детальному и пронизательному в тогдашней критике, не скупившейся на похвалы в адрес этого образа романа. Буренин дал ему самую высокую оценку, назвав более точной версией типа Рудина⁴⁰. Этого мало. Критику удалось уловить ведущее качество персонажа, на котором у Достоевского держатся все остальные:

«Эта удивительная, удивительно схваченная и уясненная автором **искренность** подобных натур в совершении не только всяких карикатурных глупостей, но даже и всевозможных моральных безобразий, составляет их характеристическую сущность, источник всех непривлекательных и смешных ее качеств и в то же время источник той “сердечности”, “душевной теплоты”, которыми они славятся и которые для поверхностных зрителей делают их иногда симпатичными»⁴¹.

³⁸ Буренин В. Литературные очерки. Мнение критика «Вестника Европы» о Достоевском. Произведения Достоевского. Первый и второй период его творчества. Выдержки из «Бесов», касающиеся злобы дня. Заключение // *Новое время*. 1881. № 1817. 20 марта.

³⁹ Z. <Буренин В. П.> Журналистика. «Бесы», роман г. Ф. Достоевского. («Русский вестник» 1871–1872 г.) // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1873. № 6. 6 января.

⁴⁰ Имя этого тургеневского героя у читателей «Бесов» всплывало не раз. Более обобщенную аллюзию предложил А. Н. Майков: «Это тургеневские герои в старости» (данное выражение известно из ответного письма Достоевского от 2 марта 1871 г., назвавшего майковскую характеристику «гениальной» – 29; 185).

⁴¹ Z. <Буренин В. П.> Журналистика. «Бесы», роман г. Ф. Достоевского. («Русский вестник» 1871–1872 г.) // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1873. № 13. 13 января.

Буренин высказал догадку, открывавшую ему возможность собственного прочтения, не выходящего за пределы аутентичности: «Фигура Верховенского составляет средоточие всего романа». В связи с этим он вернулся к своим прежним наблюдениям над фрагментарной поэтикой Достоевского, сосредотачивающей внимание читателей (подобно вспышкам света на театральной сцене) на нескольких узловых эпизодах и характерах, выписанных на высочайшем подъеме творчества. Критик основывался на публичном признании писателя, относившемся к роману «Униженные и оскорбленные»: «... будет два-три места горячих и сильных; <...> два наиболее серьезных характера будут изображены совершенно верно и *даже художественно*» (20: 134). Цитируя эти слова (редкий тогда случай обращения критика к материалам творческой истории), Буренин предлагает увидеть в них некий общий принцип:

«Это откровенное признание автора, относящееся к роману “Униженные и оскорбленные”, одинаково приложимо почти ко всем большим произведениям г. Достоевского, все его романы представляют в целом фельетонные наброски, спешный, необработанный труд, в котором иногда начало эпизодов едва сведено с концом; все они преизобилуют множеством “кукол, а не людей”, множеством “ходячих книжек” <...>. Но несмотря на эти недостатки произведений даровитого беллетриста, даже в самых слабых и диких из его романов, даже в таких сумбурных, как “Идиот”, всегда отыщется одно, два лица живых, верных действительности, почти типических. Такие лица порой выходят не совсем выдержанными в целом романе, на некоторых страницах и в некоторых эпизодах являются шаржированными; тем не менее по глубине замысла и по живому, реальному выполнению общего их характера такие лица без преувеличения могут назваться художественными фигурами: **они оставляют неизгладимое впечатление в представлении читателя** как характерные образы русской жизни и действительности»⁴².

4.

Когда после выхода романа «Бесы» на писателя обрушилось гонение либеральной и радикальной прессы, в общем хоре хорошо был слышен и голос П. Н. Ткачева, выступившего в журнале «Дело» (1873, № 3 и 4) со статьей, громко названной «Больные люди». Здесь присутствует весь

⁴² Там же.

набор тогдашних обвинений автора «Бесов»: в ренегатстве, в клевете на молодое поколение, в болезненном пристрастии к «психиатрическим аномалиям» и т. п. Следует иметь в виду, что вся эта шумная обструкция Достоевскому выражала настроение «передовой» интеллигенции (см.: [Туниманов 1975: 267–269]), особенно ее молодежного крыла, представительница которого, В. В. Тимофеева-Починковская, засвидетельствовала как факт: «... новый роман Достоевского казался нам тогда уродливой карикатурой, кошмаром мистических экстазов и психопатии...» [Достоевский в воспоминаниях; 2: 140]. В читательском отношении к «Бесам» обозначились те элементы массового психоза, что были описаны в самом романе: у многих, захваченных общим негодованием на «ренегата» (для чего необязательно было читать сам роман), «санки полетели с горы» (10: 342–343).

Полетели они и у ведущего критика радикального журнала «Дело». Выпишем один из перлов разносной «деловой» критики:

«Последний роман г. Достоевского доказывает самым бесспорным образом то, что было, впрочем, очевидно и по первому его роману, “Бедным людям”, – отсутствие в авторе всякой творческой фантазии <!>. Напрасно автор думал впоследствии (в “Преступлении и наказании” и в “Идиоте”), когда явился спрос на “ужасное”, дополнить этот существенный недостаток своего таланта фантастическими вымыслами; напрасно он прибегал к театральным эффектам, **безжалостно эксплуатируя и свои собственные нервы и нервы своих читателей**, – из его потуг ничего не выходило, кроме безобразных нелепостей во вкусе французских беллетристических ремесленников. <...> В “Бесах” окончательно обнаруживается творческое банкротство автора “Бедных людей”: он начинает переписывать судебную хронику, путая и перевирая факты, и наивно воображает, будто он создает художественное произведение. Подобно большинству наших беллетристов, и г. Достоевский способен лишь на анализ внутреннего мира человеческой души, на психологическое резонерство <...>. Вы видите, что дальше психологического анализа он не может идти, что за пределами психологии он совершенно бессилён»⁴³.

«Анализ внутреннего мира человеческой души», оказывается – «лишь», т. е. имеются куда более важные для человека предметы... Увы, автор этих строк, как и множество его читателей, действительно так и думали, поэтому ценность «психологического анализа» была очень невелика по сравнению с проблематикой, так сказать, общественной.

⁴³ П. Н. <Ткачев П. Н.> Больные люди. «Бесы», роман Федора Достоевского, в трех частях. СПб., 1873 // *Дело*. 1873. № 3. С. 160–161.

Потому Достоевский был, как им казалось, не их автор. Вместе с тем статья Ткачева производит странное впечатление: аттестовав роман как «притязательную бездарность», критик посвящает ему чрезвычайно объемный текст. Стоит ли «бездарность» таких напряженных усилий аналитического ума?

Объявив Степана Трофимовича Верховенского «не более как компиляцией, составленной по известным образцам, данным Писемским, Гончаровым, Тургеневым и т. п.»⁴⁴, Ткачев затем отдает множество страниц рассказу об этом герое и обнаруживает в нем такие качества, которые не были замечены другими писателями в деятелях сороковых годов: тщеславие, соединенное с трусостью, «неумеренное, до уродливости развитое чувство эгоизма, весьма миролюбиво уживавшееся с довольно честными (говоря, конечно, сравнительно) идеалами, с весьма гуманным мировоззрением»⁴⁵.

Довольно непоследовательными выглядят экскурсы Ткачева в область социальной психологии. Как будто забыв, что он только что назвал «больных» героев романа «манекенами», критик пускается в мучительные объяснения истоков их психических отклонений, кроющихся в условиях умственного и материального существования так называемых нигилистов: у них нет, говорит он, никакой возможности развивать и претворять свои мысли. «Мысли, не завершающиеся деятельностью, *мысли бездеятельные* очень скоро вырождаются и становятся *больными мыслями*»⁴⁶. Ткачев пускается в долгие объяснения истоков духовного нездоровья прототипов героев романа и тем самым признает де факто наличие самой проблемы **неправильно развившегося поколения**. Хула здесь переходит в диалог с анализирующим автором, и критик начинает невольно свидетельствовать в пользу психологической правдивости романа. Чтобы понять сей казус, следует вспомнить, что Ткачев был участником кружка С. Г. Нечаева, преображенно отразившегося в романе «Бесы», и нес моральную ответственность за кровавый исход известных событий. Получается, что Ткачев как будто оправдывается (вероятно, так оно и было неосознанно). Статья критика приобретает тем более важное и редкое качество: это как бы оценка романа с точки зрения.. изображенного в нем типа сознания.

⁴⁴ Там же. С. 163.

⁴⁵ Там же. С. 167–168.

⁴⁶ П. Н. <Ткачев П. Н.> Больные люди. «Бесы», Федора Достоевского, в трех частях. СПб., 1873 // Дело. 1873. № 4. С. 376.

Вот что Ткачев, считающийся одним из прототипов прожектера Шигалева в «Бесах», пишет о своем литературном отражении:

«У каждого из них, как хочет показать автор, благородная и бескорыстная идея жить на пользу ближних, всецело посвятить себя служению их интересам, выродилась в какую-нибудь узенькую и нелепую идейку, деспотически овладевшую их существом, – идейку, на алтаре которой они самым добросовестным образом сжигают свою жизнь»⁴⁷.

Ткачев, по существу, не опровергает здесь Достоевского, а дополняет его, предлагая увидеть вместо фарса – трагедию своего поколения, когда, при определенных условиях, «из очень хороших и вполне здоровых побуждений может развиваться дикая *idée fixe*»⁴⁸.

Применив к самому Ткачеву исповедуемый им метод реальной критики, спросим: что хотел сказать автор статьи «Больные люди» и что в конечном счете у него *сказалось*? Прорыв в искреннее и честное раздумье о судьбе своего поколения, отразившейся в романе Достоевского, пускай с оговорками совершенный во второй части статьи, привел **к возможности диалога**, поначалу отвергнутого в ее первой части. Предложение Ткачева рассмотреть истоки и причины искаженного сознания молодых героев романа, не исключено, было принято во внимание писателем в его следующем романе «Подросток».

Если критик леворадикального направления П. Н. Ткачев двигался от желания развенчать Достоевского к спонтанно не отвергаемому диалогу, то вектор правого, консервативного критика В. Г. Авсеенко повернулся в обратную сторону, задав амплитуду колебаний не меньшую, чем на противной стороне.

После выхода ноябрьской книжки «Русского вестника» 1872 года с первыми четырьмя главами третьей части романа Авсеенко сконцентрировал внимание на фигуре «вернувшегося» Степана Трофимовича Верховенского:

«... в сущности очень хороший человек, но слишком уж захмелевший от гегелевской философии и вообще науки сороковых годов, почувствовавший в себе высшего человека и до шутовства всю жизнь носившийся с этим сознанием»⁴⁹.

Однако в этом «бесподобнейшем» персонаже, которому «суждено стать рядом с самыми яркими типами, созданными русской

⁴⁷ Там же. С. 378.

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ А. О. <Авсеенко В. Г.> Очерки текущей литературы // *Русский мир*. 1872. № 315. 2 декабря.

художественной литературой», критик усматривает проявление слабых, с его точки зрения, сторон романной поэтики Достоевского. Примечательно, что Авсеенко берет на себя миссию представительства **от обобщенного читателя**:

«К сожалению, все эти черты, развитые даровитым беллетристом, слишком разбросаны в массе ненужного, неразработанного материала, и **читатели постоянно должны держать свою память в сильном напряжении** для того, чтобы этот превосходно задуманный тип целостно присутствовал в его уме»⁵⁰.

Выходит, по логике критика, что «целостно» образ всё же «присутствует», но для этого читатель должен «сильно напрячься». В трогательной заботе о самочувствии читателя критик невольно прикоснулся к действительному, природному качеству рецензируемого романа: он и в самом деле требует напряженных интеллектуальных усилий, поскольку в этом мире, как бы сказал поэт, «душа обязана трудиться». Далеко не всегда читатель, подходящий к роману Достоевского, готов к этому. Проблема прижизненной критики была еще и в этом.

Недоволен Авсеенко всеми остальными героями романа, названными им, вслед за Степаном Трофимовичем, «бесенятами»: в них, по его мнению, недостает «индивидуальных признаков»: «Это стадо, народившееся от старого беса сороковых годов и снабженное всеми свойствами стадного существования»⁵¹. Впрочем, не очень ясно, недостаток это или достоинство романа, такая неопределенность нередка у Авсеенко.

Критик «Русского мира» вскоре продолжил разговор о «Бесах» в очередном обозрении. Прочитав евангельский эпиграф к роману и комментарий Степана Трофимовича («Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!» – 10: 499), Авсеенко поставил перед критикой высокую цель:

«Идея романа, высказанная таким определенным и смелым образом, заставляет отнестись к этому произведению серьезно и оценить не одни художественные и литературные достоинства и недостатки его, но и проверить, в какой мере удачно выразилась упомянутая идея в форме и в типах романа»⁵².

⁵⁰ Там же.

⁵¹ Там же.

⁵² А. О. <Авсеенко В. Г.> Очерки текущей литературы // *Русский мир*. 1873. № 5. 6 января.

Реализуя заданный подход, критик с самого начала указывает на очевидную для него ограниченность романиста:

«... уже из тех строк, которыми автор формулирует свою идею, видно, что идея эта понята им самим довольно односторонне, что **он принял часть за целое**, категорию подпольных деятелей – за целое общество. Оттого происходит, что в течение целого романа, на каждой странице, читателю дается почувствовать что-то чрезвычайно общее и широкое, как бы долженствующее обнять целую Россию, со всеми ее “язвами и миазмами”, а между тем на самом деле действие романа до крайности микроскопично и вращается в таком подпольном мирке, с которым сотни тысяч людей даже никогда в свой век и не столкнутся»⁵³.

Удивительно, как сходятся крайности – радикальной и либеральной критики с одной стороны, и консервативной с другой. Сходятся в утверждении «микроскопизма» романа, только одна сторона обижена за искаженный портрет «молодого поколения», а другая страдает от неполноты картины «общества»⁵⁴. В итоге для тех и для других роман по большому счету **не верен действительности**.

Причины неполноты Авсеенко видит в особенностях творческой индивидуальности автора, в его жизненном горизонте:

«В этом таланте очень много глубины и в особенности способности додумываться; но он соприкасается только с немногими сторонами русской жизни, и есть стороны, остающиеся ему совершенно чуждыми, что когда Г. Достоевский заговорит о них – выходит что-то очень похожее на то, как если бы вдруг вам подставили к глазам призму и вы взглянули бы сквозь нее на предметы, близко вам знакомые и являвшиеся вам всегда при обыкновенных условиях зрения. Г. Достоевский – писатель с ограниченной областью творчества, как бывают актеры с ограниченным репертуаром...»⁵⁵.

Не устраивает критика сам отбор материала для романа и та эстетическая «призма», через которую романист смотрит на племя нигилистов:

«Что такое в самом деле эти Верховенские, Ставрогины, эти Виргинские, Шатовы, Лебядкины, Липутины, все эти полу-действительные, полу-сочиненные лица, которыми автор окружил единственное во всем романе живое лицо, своего героя, своего беса-отца, беса сороковых годов – Степана Трофимовича?

⁵³ Там же.

⁵⁴ Что в данном случае имел в виду консервативный критик, можно только догадываться, но судя по его последующим выступлениям, он явно не удовлетворен был изображением «высших сфер» общества в романе, и в особенности его могли поразить «щедринские» краски в портретировании супругов Лембке и трагифарсовый конец недалекого (как и его предшественник) губернатора.

⁵⁵ Там же.

Представляют ли они собою типы, преобладающие хотя бы в одном только учащемся поколении современной России? участвуют ли они решительным образом в движении жизни? воплощаются ли в них те стремления, идеи, даже тот *modus-vivendi*, с которыми мы встречаемся среди текущей действительности? выражают ли они собою господствующее направление господствующих слоев общества, которое одно только может дать увлившему его автору право сказать, что в его эпопее отразилась вся современная жизнь со всеми ее язвами и недугами?

Очевидно, что кучка людей, не пристроившихся ни с какой стороны к действительной жизни, людей с полу-нормальной умственной организацией, думающих по законам какой-то своей, недоступной обыкновенному человеку логике, говорящих каким-то сочиненным языком, каким кроме них не говорит ни один смертный, и устраивающих в заоблачном городе революционное общество – кучка таких людей, конечно, **не может представлять собою современной России...**⁵⁶

Тех, кто может представлять Россию, Авсеенко не находит в романе Достоевского, и он по-своему прав за вычетом одного обстоятельства: автор такой задачи перед собою и не ставил. Критика по уже установившейся в отношении Достоевского практике в очередной раз пренебрегла пушкинским заветом судить художника по законам, им над собою признанным.

Основополагающей чертой героев романа (подробнее говорится о Шигалеве и Кириллове) критик называет их стремление быть во что бы то ни стало оригинальными, даже до «нелепости». Этот лейтмотив «Бесов», по мнению Авсеенко, полностью противоречит российской действительности.

«Современный человек именно страдает отсутствием того стремления к самостоятельной умственной деятельности, которое, как мы видели, отличает героев г. Достоевского. Не додуматься до своего, а поскорее усвоить себе ходячие идеи, ходячий облик, устроить свою жизнь как можно зауряднее, т. е. как можно менее отличаться от других людей и как можно теснее примкнуть к обыденной действительности с ее мелкими, будничными, материальными интересами – вот о чем больше всего заботится современный человек, т.е. такой человек, в лице которого можно признать отражение века, века посредственности по преимуществу. В этот печальный век посредственности, среди общества, занятого исключительно интересами материального комфорта, кучка людей, блуждающих в мрачных потемках за поисками убегающей от них идеи, представляет только ничтожную болячку, созревшую на организме, зараженном совершенно иным недугом»⁵⁷.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ Там же.

Так, критик (по первой профессии он же и романист) предлагает свое видение русских недугов, отличное от видения Достоевского. Он явно просмотрел изображение массового типа «обыкновенных» нигилистов в романе, названных там «нашими», но в чем он был прав – эти герои отправлены автором на периферию романного пространства. Перемещение их на первый план привело бы скорее к тогдашнему тривиальному антинигилистическому роману, нежели к роману Достоевского. Идеино и эстетически консерватор Авсеенко решительно разошелся с консерватором Достоевским, что лишний раз подтверждает многосторонность и противоречивость явления русского консерватизма (см.: [Бердяев 1998]).

Показателен анализ сцены примирения Шатова с женою, которым Авсеенко заканчивает статью. Критик видит здесь лишь проявление слабости «русского человека с его расплывающейся бесхарактерной добротой и мягкостью, переходящей в нравственную распушенность»:

«Весьма поучительным является в этом эпизоде Шатов, которого жена бросила несколько лет назад, увлекшись Ставрогиним, и вдруг, как снег на голову, возвращается к нему, чтобы родить на его чердаке чужого ребенка – и он, этот русский муж, робеет и благоговеет перед нею, и делается с первых же минут ее чернорабочим рабом, чем-то вроде мальчишки на побегушках, и чувствует всё свое ничтожество перед этой женщиной. Он не смеет ни сидеть, ни ходить, ни стоять в ее присутствии – и не потому, чтобы она каким-нибудь хитрым и искусственным образом опутала его своими сетями, а просто так, потому что **он настоящий русский муж, чуть не с наслаждением самоуничтожающийся** в присутствии вздорной и порочной жены, которая его же будет уверять, что он заел ее век, что она жертва семейного деспотизма. И он поверит, этот образцовый русский супруг, что он деспот, злодей, и еще с большим самоуслаждением будет уничтожаться перед женой и бегать для нее с чайником через двор за кипятком – чтобы искупить свое злодейство. А жена будет еще более брюзжать и выделявать всяческие лансады и язвить его – увы! неуязвимое для жены – самолюбие... Это очень верно, очень глубоко и очень грустно...»⁵⁸.

Выписанный фрагмент – замечательное свидетельство того, как можно читать Достоевского «против Достоевского», видя свое, понятное, близкое, и пренебрегая при этом художественной логикой самого произведения. В данном случае в романе читателю показывают отнюдь не подавление одного человека другим, а последнее пристанище

⁵⁸ Там же.

любви в несчастных, потерянных душах. Очевидно, не в силах Авсеенко было дочитать до этого, в общем-то, простого смысла. Заметим, правда, что в более поздней своей статье о романе критик убрал насмешки над «самоуничтожающимся» Шатовым и даже назвал весь эпизод «лучшей во всем романе страницей»⁵⁹. Критик то ли сам, наконец, «дочитался», то ли ему подсказали. И то, и другое говорит о непростом пути романа к читателю с его субъективными пристрастиями, фобиями и догмами.

В статье «Общественная психология в романе», вошедшей в цикл статей, публиковавшихся в журнале «Русский вестник» и констатирующих падение в обществе культурных идеалов, Авсеенко вновь обращается к роману «Бесы». Здесь он как будто пересмотрел свое недовольство нерепрезентативностью героев Достоевского⁶⁰ и последовательно, одного за другим, рассматривает их как варианты социальной болезни нигилизма, правда, с характерной оговоркой: «... но среда хотя и несет ответственность за выделяемые ею болезненные аномальности, еще не должна считаться зараженною»⁶¹. Теперь задача Авсеенко – методом разбора основных персонажей романа Достоевского заявить о существовании «подполюя нашей интеллигенции», развившегося на почве *полуобразования*, забвения культурных традиций русского образованного общества. Это, если можно так выразиться, **применительная критика**, т. е. использующая художественный «материал» для сообщения собственной концепции (реальная критика как бы с другого бока политического спектра). Теперь Авсеенко готов если не принять, то хотя бы понять (несколько принужденно) обоснованность столь чуждой ему самому романной поэтики:

⁵⁹ А. <Авсеенко В. Г.> *Общественная психология в романе. «Бесы», роман Федора Достоевского. В трех частях. С.- Петербург, 1873 // Русский вестник. 1873. Т. 106. Август. С. 821).*

⁶⁰ Хотя и не отказался от него совсем; прежние претензии вынесены на периферию статьи и выражены теперь уклончиво и неотчетливо: «Если мы вспомним что огромная масса современного общества отличается замечательным равнодушием к *идее*, что практические, материальные интересы приобретают над ним все большую и большую власть, то и этого будет достаточно чтоб убедиться в невозможности всякой прямой посылки от “Бесов” г. Достоевского к современному обществу en gros, в опасности всяких положительных выводов и обобщений» (Там же. С. 828–829). На перемену взглядов, думается, повлиял и тот факт, что статья печаталась в том же журнале, что и сам разбираемый роман. Когда Достоевский отдаст свой следующий роман «Подросток» в конкурирующие «Отечественные записки», критика Авсеенко станет куда как жестче. Уж таковы нравы партийной журналистики...

⁶¹ Там же. С. 827.

«Среда эта еще очень мало разработана нашей литературою, и г. Достоевский едва ли не первый обособил ее в своих наблюдениях и изучил ее в той замкнутости, в том уединении среди волнующейся кругом нее обыденной, практической жизни, которая и составляет главную особенность этого общественного слоя. Задача была не легкая; только углубляясь вместе с автором в темные дебри этого подполья, чувствуешь сколько трудностей приходилось преодолеть, чтобы помощью художественного освещения заставить выступить из мрака самые темные извилины этого подпольного мира. Сначала странные, неестественные краски, которыми автор рисует избранную им среду, криволинейность изображений, резкие тоны, напоминающие фантазмагорию – **ставят читателя в некоторое недоумение**. Кажется, будто автор ошибкою взял фальшивый тон, и опасешься за правильность раздвигающейся дальше и дальше перспективы. Но чем более подвигается действие романа, чем более накапливается на полотне самых удивительных красок и контуров, тем яснее начинаешь сознать что в этом случае сама жизнь в ее подпольных извилинах нарядилась в противоестественные краски и изломала свои нормальные пути и очертания. Мало-помалу убеждаешься, что тон действительно взят нестерпимо-фальшиво, но не в романе, а в самой жизни, выступившей из своих законных форм и безмерно удалившейся от своего обычного русла»⁶².

Коробит критика изломанность языка, на котором говорят герои Достоевского (крайняя степень синтаксического разлома – речь Кирилова), но и здесь находится объяснение: они говорят «именно языком полуобразованного подполья, каким кроме них не говорит ни один живой человек»⁶³.

Коробят критика и нравы «дикой богемы подпольной интеллигенции», но и они не придуманы, а разве только заострены автором:

«Потасовки и пощечины сопровождают чуть не каждую встречу членов этого союза, причем получивший оплеуху и давший ее смотрят на эту маленькую случайность так, точно как если б один из них высморкался в носовой платок. Они говорят друг другу “мерзавец” и “подлец” так же спокойно, как другие говорят “здравствуйте”; но при этом щепетильны и обидчивы до последней степени и в душе страстно ненавидят и презирают друг друга»⁶⁴.

Вывод критика, применившего глобальную поэтику романа к своим воззрениям, таков:

⁶² Там же. С. 810.

⁶³ Там же. С. 811.

⁶⁴ Там же. С. 812.

«Не Ставрогин, не Верховенский, не Шатов и не Кириллов выражают собою идею последнего произведения г. Достоевского. Настоящий герой его есть, как мы сказали, психическая гангрена, заразившая весь этот подпольный муравейник, все эти недужные организации»⁶⁵.

Вывод о «гангрене», как видим, распространяется лишь на «подпольный муравейник», в то время как глобальность романа гораздо глобальнее: бесовщина, по Достоевскому, сильна тем, что у нее имеются нравственно-социальные корни, недужно общество, а не отдельный его «слой». Но именно последнее и тщится доказать Авсеенко, тем самым сужая идейно-художественный потенциал романа «Бесы».

Можно констатировать, что роман «Бесы» стал, пожалуй, наиболее проблемным из произведений Достоевского в плане восприятия его читателями и критикой. Конфликт в читательской аудитории разделил ее на две непримиримые группировки, критика же в подавляющем большинстве оказалась на стороне гонителей романа. Тем важнее был каждый голос в защиту писателя. Такой голос прозвучал со страниц франкоязычной газеты «Journal de St-Petersbourg», ориентированной на владеющих языком в России, а также на зарубежную аудиторию (газета вышла из недр министерства иностранных дел). Обозреватель газеты М. А. Загуляев выступил со своим отзывом о «Бесах» после выхода ноябрьской книжки «Русского вестника», где были напечатаны I – IV главы заключительной третьей части романа. Отзыв этот особенно интересен тем, что он выражает точку зрения читателей (от их имени говорит критик), принявших роман или хотя бы сделавших усилие его понять, к чему и призвал Загуляев тех, кто поспешил отложить роман в сторону (а таких, видимо, было немало) от нежелания духовно потрудиться или под воздействием складывавшейся его репутации. Ввиду принципиального значения этого выступления для истории восприятия романа приведем без сокращений ту часть обозрения, где говорится о «Бесах»:

«... роман Достоевского читается с тем болезненным интересом, который вызывают все недавние произведения этого замечательного романиста, оригинальный талант которого обладает странной силой **заставить читателя** принять вещи, которые его возмутили бы у любого другого писателя. Нельзя подойти ближе к границам, за которыми фантазия оборачивается болезненностью, и невозможно в то же время увереннее идти по дороге, столь опасной для литературной репутации романиста. Господин Достоевский обладает странным даром **насильно удерживать внимание и симпатии**

⁶⁵ Там же. С. 813.

читателя и увлекать его в области, куда он решительно бы отказался следовать за другим автором, каким бы ни был его талант. Читая последние главы “Бесов”, читатель должен испытывать многократно желание освободиться от наваждения, жертвой которого он становится, начиная с первых страниц. И он задается вопросом: в полном ли он рассудке? Ведь **он позволяет себя увлечь** рассказу, безумно отличающемуся от всего, что **он привык читать**. И, однако, мы заклинаем любого читателя, кто начал это чтение, не прерывать его, пока он не доберется до последней страницы. Любая разумная критика должна признать себя бессильной перед лицом этой несравненной красоты и невероятных эксцентричностей, перед этим постоянным фейерверком, в дыму которого мы задыхаемся, но фантастические отблески которого привлекают и неодолимо удерживают наш взгляд. Такие вещи не анализируются, их читают, ими восхищаются, *в душе (in petto)* возмущаясь бесстыдством (*sans-gêne*) гениального писателя, который позволяет себе такие эксцентричности. И только когда роман Достоевского будет закончен, можно будет говорить о нем с полным знанием дела и анализировать его главную идею, которая, несомненно, масштабна, так как Достоевский, видимо, хочет найти в бесах изначальные причины целой серии заблуждений и опасных фантазий (*lubies*), на которые наталкивается наше общество в течение более десятилетия и последние остатки которых имели большой резонанс во время судебного процесса, который состоялся в 1871 году в Санкт-Петербурге⁶⁶. Задача, как видим, огромна, и понадобилось много решимости, чтобы взяться за нее. Однако что-то нам говорит, что господину Достоевскому удастся остаться на высоте того дела, которое он предпринял, и что его “Бесы”, вышедшие отдельным изданием **и перечитанные на свежую голову той же публикой, которая их пробегает сейчас запыхавшись**, окажется одним из самых любопытных памятников эпохи интеллектуального развития русского общества, которую мы заканчиваем переживать и первые годы которой уже начинают приобретать в наших глазах несколько легендарный характер»⁶⁷.

В этой небольшой, но необыкновенно (для того времени) пронзительной заметке намечен, по существу, дальнейший путь – нет, **не романа к читателю, а читателя к роману**.

5.

Достоевский, став редактором и автором еженедельника «Гражданин» (1 января 1873 г. – 15 апреля 1874 г.), выдержал беспрецедентный

⁶⁶ Над членами кружка С. Г. Нечаева.

⁶⁷ L. V. <Загуляев М. А.> Les revues russes // *Journal de St-Petersbourg*. 1872. № 323. 3 декабря.

натиск радикальной и либеральной прессы. А. Н. Майков в письме Н. Н. Страхову 20 января 1873 года кратко выразил ситуацию, в которой оказался Достоевский, став редактором еженедельника «Гражданин»: «залаяла вся свора прогресса <...> как клевету! <...> публика верит» [Литературное наследство; 86: 428].

Уже 4 января 1873 года, на третий день после выхода первого номера «Гражданина», подписанного Достоевским как редактором, он получает напутствие от либеральной газеты «Голос» в фельетоне «Литературные и общественные курьезы». Направление «Гражданина» здесь характеризуется как «юмористическое», на грани «лечебницы душевных болезней» (без этого теперь, после «Бесов», никак). Фельетонист выражает надежду, что «в будущем “Гражданин” будет стоять на высоте все-российского юмора»⁶⁸.

Через день «Домашняя беседа», так сказать, оплот обскурантизма и вечный предмет насмешек, также напутствовала нового редактора (по этому напутствию редко кто потом не прошелся из записных фельетонистов). В разделе «Блестки и изгарь» была опубликована статья «Ржаная каша сама себя хвалит» (скорее всего, принадлежащая перу редактора В. И. Аскоченского) в поддержку «Гражданина» как «сподвижника», хотя последний «страха ради иудейска» и «сторонится от нас». Заканчивалась статья призывом: «Так давайте же руку, почтенный „Гражданин“, и пойдемте вместе на дело и делание наше, даже до вечера. Вы станете говорить в гостях, а мы – дома»⁶⁹ (то есть обыгрывались заглавия изданий, «в гостях» – подразумевалось, вероятно, воздействие на западнически настроенную интеллигенцию).

Два этих напутствия, как Сцилла и Харибда, определили на все последующие дни редакторства Достоевского его репутацию. Либералов не устраивал консерватизм «Гражданина», а записных консерваторов – его либеральные замашки. В объявлениях о подписке на 1873 год было пущено в оборот самоопределение «Гражданина» как «органа русских людей, стоящих вне всякой партии»⁷⁰. Очевидно, составлял объявление фактический издатель князь В. П. Мещерский: в «Сыне Отечества» и в «Современных известиях» было продолжение процитированной

⁶⁸ <Ковнер А. Г.> Литературные и общественные курьезы // Голос. 1873. № 4. 4 января.

⁶⁹ <Аскоченский В. И.??> Ржаная каша сама себя хвалит // Домашняя беседа. 1873. № 1. 6 января.

⁷⁰ В «Сыне отечества» 5, 9 и 12 января, в «Современных известиях» 9 января, в «С.-Петербургских ведомостях» и «Голосе» 15 января, в «Московских ведомостях» 24 января.

дефиниции в духе его тогдашнего патетического либерал-консерватизма: «... и уважающих свободу – но свободу порядка». На эту словесную невразумительность с азартом накинута насмешливая «Петербургская газета»⁷¹. Очевидно, не понравилась формулировка и Достоевскому: в последующих объявлениях эта часть самоопределения была отрезана, оставшаяся же, судя по всему, не вызвала возражений редактора, зафиксировавшего в записной тетради более точную вариацию: «орган людей с независимым суждением» (21: 258).

Заявленная принципиальная внепартийность «Гражданина» была воспринята большинством тогдашних СМИ как безжизненная и даже смешная утопия: в ситуации происходящего на протяжении десятилетия размежевания общественных сил призыв «Гражданина» к интеграции «лучших людей» (прозвучавший уже в редакционной заметке «Желание», завершавшей первый номер, подписанный Достоевским) был совсем **не в духе времени** наступления буржуазных ценностей и, параллельно, радикализации оппозиционного настроения образованного общества.

Сам факт прихода автора только что изданных «Бесов» в «ретроградный» «Гражданин» стал поводом для шумной кампании против него. Журнал «Дело» в анонимной рецензии на «Куль хлеба и его похождение» С. В. Максимова давал автору совет поступить в «Гражданин»:

«Г. Достоевский был не хуже вас; и уж если человек, в котором Белинский указывал чаяния Израиля, если автор „Мертвого дома“, дописавшись до чертиков в своем романе „Бесы“, поступил в странноприимный дом кн. Мещерского, то вам-то и подавно подобает приютиться там же. В настоящее время в “Гражданине” очень хорошо несмотря на то, что у него почти вовсе нет подписчиков. Гг. Мещерский и Достоевский удостоились такой чести, что

Их сам Аскоченский заметил

И, в гроб сходя, благословил!..

<...> Тщитесь, г. Максимов, и новая компания Аскоченского, Мещерского и Достоевского приютит вас. <...> тогда вы можете сами расхваливать в “Гражданине” свои произведения, как это без всякого зазрения совести делает г. Достоевский относительно своего романа “Бесы”. Тогда вы будете, по крайней мере, пристроены к определенному месту и попадете в пантеон, славный именами Булгарина, Бурачка, Каткова, Мещерского, Аскоченского и его преемника Ф. Достоевского»⁷².

⁷¹ Летучие заметки // *Петербургская газета*. 1873. № 7. 14 января.

⁷² *Куль хлеба и его похождения*, рассказанные С. Максимовым. С 105 картинками и рисунками. СПб. 1873 // *Дело*. 1873. № 4. С. 392–393.

Автор, судя по всему, использовал ходячее к тому времени выражение: Достоевский «дописался до чертиков», т. е. до «Бесов». Формулировка варьируется в эпиграмме «Искры»:

«Две силы взвесивши на чашечках весов,
Союзу их никто не удивился.
Что ж! первый дописался до “Бесов”,
До чертиков другой договорился»⁷³.

В отлучении Достоевского от приличного общества за «постыдный» союз с князем Мещерским следует выделить несколько версий.

Наиболее агрессивно повела себя в отношении Достоевского низовая журналистика. Настоящую войну объявила новому редактору «Гражданина» «Петербургская газета», особенно в лице своего ведущего фельетониста Н. А. Лейкина. Чтобы представить уровень лейкинской критики, приведем некоторые перлы из рубрик «Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова» (Подпись: Лкн.) и «Летучие заметки» (без подписи).

1873 г., 7 января: «Литературный купец-апраксинец князь Мещерский серьезно вообразил, что его “Гражданин” есть не что иное как вексель и что журнал этот может скрашиваться подписью. Так, недавно объявил он в газетах, что № 1 журнала “Гражданин” вышел за подписью Ф. М. Достоевского. Говорят, что если и после этого фортеля князь не дождется, что его журнал будет принят публикою, то он намерен нанять для подписи еще пару настоящих литераторов».

28 января: «Всякий раз как читаю <...> “юродивые статьи” Мещерского или “горячечный бред гражданинского фельетониста Ф. Достоевского”, – снится ерунда».

Там же о «Дневнике писателя»: «В степи Сахара найден, говорят, “Дневник литератора”, который куплен г. Ф. Достоевским для помещения в „Гражданине” за 3 фунта стерлингов».

20 февраля: «В “Гражданине” скоро пойдет новый роман Достоевского: “Моя могила, или Я сам себя похоронил”».

11 марта в «Словаре достопамятных людей русских и их изречений»: «Достоевский Фед. замечателен перерождением своего мозга без вреда общему органическому здоровью».

22 сентября: «Г-н Достоевский по-прежнему „бесится” в „Гражданине”».

7 октября: «Г-н Достоевский, продавшийся в „Гражданин” за чечевичную похлебку, видя, что похлебка эта с каждым днем становится всё жиже и жиже, сбежит в „Русский вестник”».

⁷³ М. <Минаев Д. Д.> Фотографические карточки. V. На союз Ф. Достоевского с кн. Мещерским // *Искра*. 1874. № 2. 11 февраля. С. 7.

14 октября в «Кратком алфавитном указателе петербургских увеселений» о «Гражданине»: «Очень потешный еженедельный журнал, дающий свои каскадные представления по понедельникам. Первый любовник “Гражданина” – князь Мещерский, первый комик – г-н Достоевский, первый трагик – г-н Страхов».

16 декабря по поводу статьи Достоевского «Одна из современных фальшей» («Гражданин», 10 декабря): в пародийном описании ада являются тени Достоевского и В. П. Мещерского. Они «в массе спокойно жрущих червей отыскивали революционный дух и чуть слышными разбитыми голосишками кричали: „Точку к реформам!..“, „Долой науку!“, „Знания, науки и школьные сведеньица суть гибель молодежи!“».

25 декабря: В «Летучих заметках» в статейке «Рождественские подарки некоторым деятелям с елки „Петербургской газеты“» предлагается: «Достоевскому – глиняный горшок для той чечевичной похлебки, за которую он продал себя в „Гражданин“».

1874, 21 февраля по поводу «Письма хорошенькой женщины. II. О молодом поколении» В. П. Мещерского («Гражданин», 18 февраля): «... за что же называть всех русских учителей (сверху донизу) в гимназиях, школах и проч. *вреднейшими революционерами* земного шара!! Мы крайне удивимся, если подобный донос на всю коллегию учителей пройдет для „Гражданина“ бесследно. Ведь за такую фразу мало привлечь г. Достоевского к позорному столбу, у которого всё общественное мнение имело бы право... сделать что?.. Не договариваем... Тьфу! тьфу!..»

Критики Достоевского-журналиста, судя по многочисленным репликам, поначалу «не верили» в его субъектность в составе редакции «Гражданина» и формировали облик редактора как «завесы» («нанят для подписи», как уверяла «Петербургская газета» 7 января 1873 г.), при помощи которой князь Мещерский пытается придать respectable лицо своему одиозному изданию. Однако очень скоро первыми своими выступлениями в «Гражданине» («Старые люди», «Среда», «Влас») Достоевский вывел разговор на уровень высших ценностей, признаваемых или не признаваемых современным обществом. Уже в главе «Старые люди» «Дневника писателя» (1 января 1873 г.) он обозначил главный пункт своего расхождения с Белинским и его последователями: «Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. <...> нравственную ответственность личности он отрицал радикально» (21: 10).

В следующей главе «Среда» (8 января) писатель развернул свою мысль на примере распространившихся оправдательных приговоров новых судов присяжных на основании популярного тезиса

«среда виновата». «И не было бы у нас сильнее беды, – писал Достоевский, – как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: “Нет, не виновен, ибо нет ‘преступления!’” (21: 18). Автор «Дневника писателя» доводит свою мысль до крайнего ее выражения. «Прямо скажу, – бесстрашно заявляет он, – строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них» (21: 19). Бесстрашие консервативного публициста вызвало серию возмущенных отповедей. Так, В. П. Буренин дает Достоевскому определение «кликучесный фельетонист» за то, что он «дошел до проповеди очистительного значения каторги, до приглашения наших присяжных к “спасению” подсудимых “строгим наказанием”»⁷⁴. Как видим, критик берет лишь внешнюю канву высказывания Достоевского в главе «Среда», не углубляясь в стоящую за нею христианскую по своему существу идею нравственной ответственности личности как высшей ее свободы. Точно так же поступали в большинстве своем и другие оппоненты Достоевского, совершенно оправдав предсказание «беспристрастного» собеседника (скорее всего, К. П. Победоносцева) из главы «Нечто личное» («Гражданин», 1873, 15 января): «статья ваша может произвести неприятное недоумение. Подумают, что вы за отмену суда присяжных и за новое вмешательство административной опеки» (21: 30).

Стоит, однако, отметить выбивавшийся из общего тона обзор уже известного нам в такой роли М. А. Загуляева во франкоязычной газете «Journal de St. Petersbourg», где давалась оценка началу редакторской и публицистической деятельности Достоевского в «Гражданине». По мнению критика, Достоевский не прибавил популярности этому изданию, высказывая «идеи, вызванные болезненным вдохновением». Одновременно Загуляев отдает должное искренности и смелости публициста и отвергает «башибузучество» (*l'element bachibouzouk*) русской печати, напавшей на Достоевского. Мы, заявляет он,

⁷⁴ Z. <Буренин В. П.> Очистительное значение каторги и нервически-восклицательные фельетоны г-на Ф. Достоевского // Санкт-Петербургские ведомости. 1873. № 20. 20 января. Сам «Гражданин» назван здесь органом «секты патристических кликуш», надеющихся на мистицизм, а о Достоевском добавлено: «Он выкликает по поводу живых и мертвых людей, с которыми ему случалось сталкиваться, рассказывает о своих сношениях с лицами, положение которых могло бы удержать его от всяких рассказов...» (намек на отбывавшего каторгу Чернышевского и покойных Белинского и Герцена, воспоминания о которых, по словам критика, «жалкие» и «курьезные», включены в первые выпуски «Дневника писателя»).

«поостережемся вступать в этот хор»⁷⁵. Это был единственный хотя бы осторожный голос, утонувший в сладострастном ансамбле «передовой» печати. Консервативная же пресса («Московские ведомости», «Русский вестник», «Современные известия») в журнальные баталии вокруг редактора «Гражданина» не вмешивалась: партийная солидарность в этих кругах как-то не приживалась...

Произошло всё, как предсказывал Победоносцев. Статья Буренина в «Санкт-Петербургских ведомостях», напомним, вышла 20 января. На другой день (!) эстафету подхватило «Новое время»: «... диффамация на юный русский суд присяжных и за что же? – за то, что этот суд не проявляет старческой дворянской злости к несчастным, невежественным жертвам, попадающим на скамью подсудимых». Достоевский, пошедший «в послушание к князю Мещерскому», противопоставляется критиком автору «Записок из Мертвого дома», вызвавшему участие и сострадание русского общества к «отребиям человечества»⁷⁶.

30 января к негодующему хору присоединится А. С. Суворин: «мы приходили в недоумение, читая желчные, ядовитые выходы против суда присяжных и <...> милосердия»⁷⁷. 4 февраля уже известный нам Н. А. Лейкин в «Петербургской газете» подытожил «общее мнение»: Достоевский «убил себя наповал фразой „очистительное влияние каторги“»⁷⁸. Такой фразы, заметим, Достоевский не говорил, ее, как помним, соорудил Буренин, но вот уже вслед Буренину и Лейкину А. С. Суворин 25 февраля приводит слова «каторга освежает и очищает человека» **как цитату из Достоевского**⁷⁹.

25 марта Достоевскому пишет провинциальный читатель-юрист, сочувствующий «Гражданину», но доверившийся газетным истолкователям. Он читает лекцию автору «Среды», не замечая, что во многом

⁷⁵ LV. <Загуляев М. А.> Le Revues Russes // *Journal de St. Petersbourg*. 1873. № 26. 28 января. Заступничество Загуляева вызвало ядовитую реплику «Голоса»: «... гг. Достоевский и Мещерский могут совершенно спокойно продолжать свою “полезную” деятельность, будучи уверены, что найдут защиту своей деятельности в каком-нибудь русском журнале французского пошиба, где будет доказано, как дважды два — пять, что только баши-бузюки русской литературы могут нападать на г. Достоевского, очутившегося в лагере князя Мещерского. У нас всё ведь возможно!» (<Ковнер А. Г.> Литературные и общественные курьезы // *Голос*. 1873. № 32. 1 февраля).

⁷⁶ *Человек, который мыслит*. Невские думы // *Новое время*. 1873. № 21. 21 января.

⁷⁷ А. С. <Суворин А. С.> Обзорение недельных газет // *Новое время*. 1873. № 30. 30 января.

⁷⁸ Лкн. <Лейкин Н. А.> Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова // *Петербургская газета*. 1873. № 18. 4 февраля.

⁷⁹ *Незнакомец* <Суворин А. С.> Недельные очерки и картинки // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1873. № 55. 25 февраля.

повторяет его же мысли (см.: 21: 14). Он, таким образом, спорит не с Достоевским, а с его образом, созданным газетчиками:

«... значение суда присяжных гораздо шире и многостороннее, чем Вы его понимаете <...> – это, может быть, и не есть лучшая организация суда для правильного решения дела (коллегия коронных судей, образованных специалистов в этом отношении благонадежнее), но во всяком случае прекрасная школа общественного развития для народа»⁸⁰.

Репутация ниспровергателя суда присяжных надолго закрепилась за Достоевским. Любопытно, как эта репутация поддерживалась иногда фактами совсем «из другой оперы». Так, в журнале «Дело» (1873, № 1) во «Внутреннем обозрении» Н. Ч. в оглавлении (с. 121) значится: «Отношение к преступникам присяжных заседателей и суда. Взгляд на эти отношения г. Ф. Достоевского». Однако в самом обозрении (с. 130–131) цитируется не глава «Среда» из «Дневника писателя», а напечатанная в том же № 7 «Гражданина» статья <В. П. Мещерского> «Сентиментальная фальшь в области уголовного суда», во многом примитивизирующая мысли Достоевского (см. подробнее: [Викторович 2019а: 41–48]). Таким образом, Достоевский оказался в ответе за своего издателя, к тому же изрядно травестированного: он обвинен был в «развязности Хлестакова» и в хлопотах за смертную казнь. В следующем номере журнала (№ 2. Внутреннее обозрение, с. 131) Н. Ч. рассказывает уже о некоем приятеле, которого статья Достоевского «Среда» повергла в такое уныние, что он объявил «о скором закрытии суда с присяжными».

Очевидное народолюбие автора «Записок из Мертвого дома» было также поставлено под большое сомнение. Слово «крепостничество» по отношению к взглядам Достоевского первым 11 января употребил обозреватель «Нового времени»⁸¹. Достоевский мгновенно откликнулся в статье «Нечто личное» 15 января:

«Экономическое и нравственное состояние народа по освобождении от крепостного ига – ужасно. Несомненные и в высшей степени тревожные факты о том свидетельствуют поминутно. Падение нравственности, дешевка, жиды-кабатчики, воровство и дневной разбой – всё это несомненные факты, и всё растет, растет. Ну что ж? Если кто-нибудь, тревожась духом и сердцем, возьмет перо и напишет, – что же, неужели закричат, что он крепостник и стоит за обратное закрепощение крестьян?» (21: 31).

⁸⁰ Письмо из Самары П. А. Матвеева, члена окружного суда, к Достоевскому 25 марта 1873 г. // ИРЛИ. № 29773.

⁸¹ Доктор П. <Пушкарев Н. Л.> Сентиментальная фальшь в области уголовного суда // Новое время. 1873. № 11. 11 января.

Именно так и произошло. 25 января фельетонист «Голоса» вопрошал Достоевского:

«И неужели же народ „желал“ страдать? <...>. Неужели народ желал татарского ига? неужели ему были милы казни Ивана Грозного? неужели он не хотел расстаться с крепостным правом и его атрибутами?... Грустно становится за писателя, который не понимает больше окружающей его жизни...»⁸².

Чуть позже Достоевский, в свою очередь, горестно заметит о хозяине «Голоса» А. А. Краевском: «Обвинял же меня в крепостничестве» (21: 115).

Мифы, если они кому-то выгодны, живут долго. Так, Н. К. Михайловский припомнил уже покойному писателю в знаменитой статье «Жестокый талант» про его «оправдание» крепостного права [Михайловский: 186], и тот «факт», что он «негодовал на слабость приговоров суда присяжных и требовал строгих наказаний, острога и каторги» [там же: 187]. Эти идейные палиндромы уже закрепились в сознании «прогрессивных» читателей, и критик использует их как нечто общеизвестное для продвижения своей мысли о «безнужном мучительстве» [там же: 186] как сущности всего творчества Достоевского. Мы, таким образом, наблюдаем, как формировались мифы, не имеющие ничего общего с реальными убеждениями писателя. Неадекватность критики в данном случае может быть объяснена прежде всего **расхождением ее ценностных установок с христианской аксиологией** автора и редактора «Гражданина».

Нечто подобное мы наблюдаем и в реакции критики на главу «Влас» «Дневника писателя» («Гражданин», 1873, 22 января), в особенности на утверждение, что «самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания» (21: 36). Контекст этого высказывания завязан на идее покаяния, однако не пройдет и недели, как «Русский мир» пустится в насмешливо-издевательские предположения: «А мы-то, глупцы <...> ждали облегчения этим страданиям...». По мнению фельетониста, спасения следует ждать не от кающихся Властов, как думает Достоевский, а от «совокупности интеллигентных сил России»⁸³. Наступление на Достоевского поддержат и на другом фланге политического спектра. «Неделя» однозначно заявит, что не верит в «самоочищение, покаяние и смирение», проповедуемые Достоевским⁸⁴. Через месяц подключится фельетонист «Биржевых ведомостей»

⁸² <Ковнер А. Г.> Литературные и общественные курьезы // *Голос*. 1873. № 25. 25 января.

⁸³ Z.Z.Z. Наблюдения и заметки // *Русский мир*. 1873. № 26. 28 января.

⁸⁴ <Шелгунов Н. В.> Заметки провинциального философа. (Посвящается «Гражданину») // *Неделя*. 1873. № 5. 4 февраля.

и назовет статьи Достоевского в «Гражданине» «коробами нелепостей», поскольку тот

«... уверяет, что человек, стремящийся к духовному просветлению, должен для этой цели попасть на каторгу, ибо каторга обладает развивательною силою больше, чем самое лучшее классическое образование! Ведь ставит же он в великое достоинство русскому народу будто бы обуревающую его донкихотскую потребность страдать!»⁸⁵

Убеждение Достоевского в **искупительной силе пережитых страданий**, краеугольное в христианском учении о спасении, было поставлено в чуждый ему социально-гедонистический контекст, и тем самым первые критики писателя немало поспособствовали формированию мифа об антигуманизме Достоевского. Впоследствии его насаждали Н. К. Михайловский, А. Белый, М. Горький, В. Вересаев и др. В их интерпретации мысль Достоевского предельно упрощалась: «человек сам хочет и любит страдать <...>, так незачем и рассуждать о причинах и целях страдания – пусть себе страдает» [Михайловский: 188], не надо даже и заботиться о социальных недугах.

Поэтому не стоило удивляться тому, что беззаветно доверяющий печатному слову прогрессивно настроенный читатель укорял бывшего петрашевца: «Ваш пиэтизм в чем же имеет корни? Убоялись споров, что Вы не по плечу современному обществу <...> право, Ваш „Гражданин“ порочит наше время, наше общество»⁸⁶.

Образ Достоевского лепился враждебной ему журналистикой и принимался доверчивым читателем еще и при помощи такого приема, как приписывание редактору идей его сотрудников, первоначально также прошедших переозвучку. Так, Нил Адмирари <Л. К. Панютин> в фельетоне «Листок» («Голос», 1873, 11 ноября) квалифицировал «Петербургское обозрение» в № 45 «Гражданина» (5 ноября) как «обвинительный акт против студентов». Предложение автора обозрения В. П. Мещерского устроить дешевые квартиры для студентов «на началах общежития» фельетонист истолковывает как заботу об удобстве для полиции⁸⁷. Через неделю другое издание подбавляет жару, рассказывая о некоем «счастливом писателе и журналисте», предлагающем согнать на пустырь учащуюся молодежь и приставить к ней дядьку-

⁸⁵ Экс <Чебышев-Дмитриев А. П.> Кое о чем // Биржевые ведомости. 1873. № 57. 4 марта.

⁸⁶ Письмо Р. В. Авдиева к Достоевскому из Одессы 15 февраля 1873 г. // ИРЛИ. № 29 626.

⁸⁷ Нил Адмирари <Панютин Л. К.> Листок // Голос. 1873. № 312. 11 ноября.

надзирателя, чтобы затем вывозить на лекции в глухих железных фургонах. Имя «счастливого писателя» не остается втуне: «Нечто подобное предлагает устроить для студентов именно на началах общежития, г. Достоевский в своем „Гражданине”»⁸⁸. Либеральная пресса не гнушалась, как видим, и такими на скорую руку склепанными страшилками: всё шло в дело; благая, как казалось, цель оправдывала средства.

Год работы Достоевского в «Гражданине» либеральная и радикальная пресса (они шли тогда в ногу) отметила итоговыми приговорами. Так, журнальный обозреватель «Дела», перечислив все грехи редактора «Гражданина», многократно перемытые в периодике, резюмировал: Достоевский «внес в журнал новый элемент <...> мистицизма, фантастичности, бесовщины», а его выпуски «Дневника писателя» были «переполнены вымыслами болезненной фантазии и такими бреднями, которые невольно заставляют пожалеть о настоящем умственном состоянии писателя, возбуждавшего когда-то столько надежд»⁸⁹. Радикального журналиста поддержал представитель более умеренного лагеря; В. П. Буренин, тогда еще либерал, дал такую оценку «Дневнику писателя»:

«Эти фельетоны оказались преисполненными такого мистицизма, который иногда граничил с истерическим выкликиванием (припомним, например, мистико-беллетристические излияния, озаглавленные „Бобок”»⁹⁰.

Популярный соратник Буренина А. С. Суворин (тоже пока либерал), в той же газете представляя русские журналы в виде «литературной кадрили» (следы чтения «Бесов»!), «Гражданину» отвел роль клоуна⁹¹. В «Биржевых ведомостях» можно было прочесть определение Достоевского как «фабриканта благонамеренной мысли»⁹².

Сложившееся настроение так называемого образованного общества передает Н. Н. Страхов в письме Н. Я. Данилевскому 6 января 1874 г.: «Гражданин» не читается ни университетом, ни литераторами, ни тою <консервативною! – В.В.> компаниею, которая собирается по субботам у Ивана Петровича Корнилова. Между тем подписка хороша; 2 ½ тысячи наверно будет. Но несчастный Достоевский совсем измучился.

⁸⁸ Вместо фельетона (Письмо в редакцию) // *Новое время*. 1873. № 13. 18 ноября.

⁸⁹ Журнальное обозрение // *Дело*. 1873. № 12. С. 101.

⁹⁰ Z. <Буренин В. П.> Обзор журналистики за прошлый год // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1874. № 5. 5 января.

⁹¹ *Незнакомец* <Суворин А. С.> Недельные очерки и картинки // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1874. № 27. 27 января.

⁹² Ч. П. <Чебышев-Дмитриев А. П.> Заметки о русской журналистике // *Биржевые ведомости*. 1874. № 31. 1 февраля.

Я его очень ценю и многое ему прощаю, но при его теперешней раздражительности просто избегаю с ним видеться» [Письма Страхова: 131–132].

А. Г. Достоевская позднее вспоминала: «Федор Михайлович за время своего редакторства вынес много нравственных страданий, так как лица, не сочувствовавшие направлению “Гражданина” или не любившие самого князя Мещерского, переносили свое недружелюбие, а иногда и ненависть на Достоевского. У него появилась в литературе масса врагов, именно как против редактора такого консервативного органа, как “Гражданин”. Как это ни странно, но и в дальнейшем времени, и до и после смерти Федора Михайловича, многие не могли простить ему его редакторства “Гражданина”» [Достоевская: 306].

1873 год можно назвать годом гражданской казни Достоевского и как автора «Бесов», и как редактора «Гражданина»: одно сошлось с другим. На него обрушилась лавина насмешек, издевательств, грубой брани: «Мы стали выручкой для всех фельетонистов: не об чем писать – а, ну есть “Гражданин”, обругать его; к тому же либеральная тема...» (21: 156). Конечно, в жизни Достоевского были уже 1863 и 1864 годы – споры с «нигилистами», переходящие на личность, но такой обструкции – еще не было. Редактора «Гражданина» обвиняли в том, что он человек отсталый, ретроград, защитник крепостного права, воспеватель каторги, ренегат, доносчик, бездарь... Наконец, просто сумасшедший.

Достоевский, смеем думать, предвидел такой прием, что было нелегко, и вполне сознательно двинулся навстречу опасности, как говорится, с открытым забралом: никогда еще он так откровенно, от себя, не высказывал краеугольных оснований христианского мирозерцания. К тому же он знал, куда шел, вступление в редакцию консервативного «Гражданина» – **это был вызов господствующему в России общественному мнению**. Дал знать себя бойцовский темперамент – это первое, а второе, и самое главное: Достоевский ощутил свое время как время решающего выбора для России. Автор «Бесов» почувствовал пророческим даром, что Россия уже двинулась, уже пошла – не туда. Знать это и молчать, спасая свою репутацию, было не в его силах.

В ответ на замечание одного из корреспондентов о низкой популярности «Гражданина» Достоевский написал: «Увы, мы в высшей степени сознаем, что ее потеряли! Мы дорожим лишь тем, что пользуемся некоторой симпатией нескольких толковых людей, которые в наше время всеобщего лакейства мысли решились сметь

Свое суждение иметь.

А надежды наши лишь в том, что круг этих людей несомненно и заметно увеличивается» (21: 155–156).

Примером, подтверждающим надежды Достоевского на расширение круга понимающих читателей, может служить переворот, произошедший вскоре с его гонителями А. С. Сувориным и В. П. Бурениным. Последний всего через какие-то пять лет вступится за тот самый обруганный им «мистицизм» Достоевского:

«Лампадное масло может претить и в искусстве и в морали только тогда, если оно разливается <...> из лицемерных побуждений. <...> Если же это <...> лампадное масло является продуктом страдавшей глубокой жизненной скорбью души <...>, то, как бы ни было “ненаучно” и несовершенно подобное настроение, в нем несомненно заключается известная реальная сила»⁹³.

Чтобы такое понимание пришло в голову недавнему либералу, **должно было наступить время Достоевского**, его отсчет начнут «Дневник писателя» 1876–1877 гг. и «Братья Карамазовы».

6.

В течение двух лет печатания романа «Бесы» (1871–1872) было заметно отсутствие в общем хоре голосов двух авторитетных журналов – «Отечественных записок» и «Вестника Европы». Можно предположить, что они дожидались окончания журнальной публикации, однако «Вестник Европы» не реагировал и тогда. Это, судя по всему, была сознательно выбранная тактика – замалчивание. На это указывает один эпизод из редакционной переписки – письмо М. К. Цебриковой редактору журнала М. М. Стасюлевичу в феврале 1872 г.:

«Я начала статью “Подпольный мир” о романах Достоевского, за которым, оставя в стороне его тенденции “Русского вестника”, нельзя не признать значения общественного психиатра, хотя чуть дело дойдет до исследования причин болезни, он превращается в знахаря, который приписывает ее злему духу: **но диагноз его хорош**. Я именно с этой точки разбираю его, стараясь выразить мою мысль возможно дипломатически. Если статья этого рода нужна для “Вестника Европы”, то я пришлю вам первую половину и при том желала бы знать, есть ли возможность поместить ее в апрельской книжке...”⁹⁴.

⁹³ Буренин В. Литературные очерки // *Новое время*. 1879. № 1273. 14 сентября.

⁹⁴ М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1913. Т. 5. С. 154.

Планируемая статья не появилась ни в апреле 1872 года, ни после. Скорее всего, журналу такая статья не требовалась. О «Бесах» солидному либеральному изданию было говорить неприлично. Да и о деятельности Достоевского как редактора «Гражданина» журнал хранил невозмутимое молчание, лишь однажды прервав его, высокомерно ответив на критику со стороны «Гражданина», в частности, указав Достоевскому как редактору на его неосведомленность в церковных вопросах⁹⁵.

Что касается «Отечественных записок», то они лишь выдержали двухлетнюю паузу до завершения романа, очевидно, наученные опытом мгновенной, но неумной реакции на «Преступление и наказание». За эти два года журнал трижды вспоминал о Достоевском. В апреле 1871 г. это был рассмотренный выше удивительно проникновенный отклик Салтыкова-Щедрина на роман «Идиот» и творчество Достоевского в целом. Уже печатался роман «Бесы», так что сожаления Щедрина насчет «дешевого глумления над так называемым нигилизмом и презрения к смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения»⁹⁶, без сомнения, относились и к новому роману (хотя и не названному).

Второе упоминание Достоевского содержится в статье Скабичевского, где речь шла о писателях натуральной школы, поддержанных Белинским: Достоевский был только упомянут в общем списке⁹⁷, подробно же критик говорил о Тургеневе, Гончарове и Григоровиче.

В третий раз Достоевский, теперь уже как автор «Бесов» был упомянут в анонимной рецензии на «Историю русской литературы» П. Полевого. Передавая перипетии любви В. А. Жуковского к своей ученице Марии Протасовой, рецензент делает отступление:

«Не правда ли, что в одной этой выдержке из биографии Жуковский встает перед вами как живой, во всей своей неподкрашенной правде, весьма напоминая собою одного из героев последнего романа г. Достоевского “Бесы”, какого именно, читатели и сами легко догадаются, если только читали хотя бы одну первую часть этого романа»⁹⁸.

⁹⁵ Один ответ на все вопросы. От редакции // *Вестник Европы*. 1873. № 8.

⁹⁶ <Салтыков-Щедрин М. Е.> Светлов, его взгляды, характер и деятельность («Шаг за шагом»). Роман в трех частях Омудевского. СПб. 1871 г. // *Отечественные записки*. 1871. № 4. Новые книги. С. 302.

⁹⁷ Скабичевский А. Очерки умственного развития нашего общества. 1825–1860 // *Отечественные записки*. 1871. Т. 198. № 1–2. С. 466.

⁹⁸ История русской литературы в очерках и биографиях. Сочинение П. Полевого. СПб., 1872 // *Отечественные записки*. 1872. № 11. Новые книги. С. 63.

Читателям предлагалось узнать в поэте-романтике – Степана Трофимовича Верховенского в его отношении к своей ученице Лизе Тушиной, в которой он видел «какое-то необычное существо» (см. 10: 67, также 86–89). Не думаем, что Жуковский может претендовать на роль прототипа, скорее всего, следует говорить об обратном движении – литературы к жизни, когда созданный писателем образ накладывается на реальных людей в реальных обстоятельствах и позволяет лучше понять их. Образ Степана Трофимовича, очевидно, произвел на рецензента столь неизгладимое впечатление, что и в отце-основателе русского романтизма он прозревает травестированного романтика позднего русского либерализма.

Начался 1873 год, роман «Бесы» был полностью опубликован в журнале, и вышло его отдельное издание, и в это же время Достоевский заступил на должность редактора еженедельника «Гражданин». Указанные два обстоятельства критика рассматривала в их идейной связи, не были исключением и «Отечественные записки». Ведущий публицист и критик журнала даже заявил, что начавшийся в «Гражданине» «Дневник писателя» Достоевского «может быть рассматриваем как комментарий к “Бесам”⁹⁹.

Было и еще одно, третье, вроде бы побочное обстоятельство, но особым образом повлиявшее на репутацию писателя и публициста. Это был представленный посетителям Второй передвижной выставки портрет Достоевского кисти В. Г. Перова. Враждебные писателю газетные фельетонисты из «Голоса» и «Петербургской газеты» (особенно постарался Л. К. Панютин)¹⁰⁰ увидели в этом портрете наглядное доказательство распространяемой ими клеветы о болезненной невменяемости писателя. Были тогда и суждения, отмечавшие «простоту и задушевность»¹⁰¹, однако всё же превалировали версии «болезненности» писателя, выразившейся в портрете¹⁰². Оказавшись в эпицен-

⁹⁹ Н. М. <Михайловский Н. К.> Литературные и журнальные заметки. Февраль 1873 г. // *Отечественные записки*. 1873. № 2. Современное обозрение. С. 327.

¹⁰⁰ Нил Адмирари <Панютин Л. К.> Листок // *Голос*. 1873. № 14. 14 января.

¹⁰¹ П-в <Петров П. Н.> Передвижная выставка в Академии художеств // *Биржевые ведомости*. 1873. № 6. 6 января.

¹⁰² «Очень хорош <...> портрет Достоевского, в бледном и болезненно-утомленном лице которого отражается то нервное и напряженное настроение, которым проникнуты все произведения этого автора» (Вторая передвижная выставка картин // *Новое время*. 1873. № 6. 6 января); «Сгорбленная, худощавая фигура автора «Записок из Мертвого дома», в сером пиджаке, с болезненным взглядом, впалыми щеками и болезненною же выразительностью всего лица, производит немалое впечатление на зрителя...» (Фельетон // *Нива*. 1873. № 5. 5 февраля. С. 79).

тре споров о Достоевском как писателе и личности, портрет, созданный большим художником, был веским высказыванием о человеческой значительности портретируемого. Журналисты не случайно отмечали, что на выставке «публика толпится» именно перед портретом Достоевского¹⁰³.

Собственную интерпретацию произведения Перова дали «Отечественные записки»:

«Такой свежей, мягкой и тонкой живописи, при поразительном сходстве и глубокой верности в передаче характера, не только личного, но и литературного, мы не встречали до сих пор у г. Перова, да и вообще находим редко у наших портретистов. Автор “Записок из Мертвого дома” сидит, сомкнув руки на колене, погруженный в безвыходно-скорбную думу...»¹⁰⁴.

Мы не думаем, что определение «**безвыходно-скорбная дум**а» адекватно высказыванию художника, но оно соответствует представлению о Достоевском, транслируемому «Отечественными записками». С этого же номера начинается оспаривание автора «Бесов» и «Дневника писателя», печатаемого в «Гражданине». Роль ведущего взял на себя Н. К. Михайловский. Сразу же скажем, что это была на тот момент наиболее фундаментальная полемика с писателем и публицистом (мыслителем – можно было теперь сказать, глядя на перовский портрет) на высшем идейном, а не фельетонно-пропагандистском уровне.

Первое в новом году обозрение «Литературные и журнальные заметки» Н. К. Михайловский начал с оценки современного состояния литературы (не разделяя художественную, публицистическую и научную), которой отводил ведущую роль в общественной жизни: «... ей до известной степени принадлежит власть и над судом, и над политикой, и над экономической деятельностью»¹⁰⁵. Вместе с тем критик и публицист заявил об «оскудении литературы», приписав эту оценку **всем читателям** (узнаваемый ход!):

¹⁰³ [Передовая статья] // *Русский мир*. 1873. № 5. 6 января. Однако журналист всё же вставил свое критическое замечание: «Достоевский похож, но изображен в натянутой позе <...> лицо вышло насупленным не в меру, а глаза до того прикрылись веками, что трудно разобрать их выражение» (там же). И здесь, кажется, дала себя знать «партийность»: в том же номере опубликована указанная выше придирчивая рецензия Авсеенко на «Бесов».

¹⁰⁴ П. К. <Ковалевский П. М.> Вторая передвижная выставка картин русских художников // *Отечественные записки*. 1873. № 1. С. 94.

¹⁰⁵ Н. М. <Михайловский Н. К.> Литературные и журнальные заметки. Январь 1873 г. // *Отечественные записки*. 1873. № 1. Современное обозрение. С. 133.

«Нет, таланты есть, есть даже весьма крупные. И тем не менее все согласны в том, что общий уровень литературы стоит весьма низко»¹⁰⁶.

Называется и причина: «нет живой общественной струи», поскольку «старое старится, молодое не растет». Среди перспективного «старого» критик видит лишь Щедрина и Островского, в его списке нет ни Л. Толстого, ни Достоевского, ни Гончарова, ни Тургенева. По поводу же «молодого» Михайловский возлагает надежды на «группу талантливых народных писателей»: Решетников, Г. и Н. Успенские, Левитов, «отчасти Слепцов». Правда, это направление еще не окрепло, а «колесо жизни повернулось». Есть еще группа «инсинуационной литературы», которую возглавляет Стебницкий (Лесков), который, по выражению критика, «показал в “Соборянах”, что для него не существует предел “некуда”»¹⁰⁷. В «Соборянах» Михайловского раздражает нигилист Термосесов, «уже просто каторжник», и ничего более критик не желает видеть в лесковском шедевре.

Под «живой общественной струей» критик-народник подразумевает прежде всего **«служение интересам народа»**. В этой точке он, кажется, должен бы сойтись с Достоевским, Толстым, да и с тем же Лесковым, однако этого не происходит или происходит лишь частично. Михайловский четко объясняет, какие именно «интересы народа» он имеет в виду: на первом плане экономические, «сюда устремлены все помышления». Публицист озабочен «благосостоянием народа», причем подлинным, а не таким, которого достигла буржуазная Европа, где «национальное богатство есть нищета народа». Вслед за Чернышевским и Марксом Михайловский повторяет, как заветное, что «труд есть мера ценности»¹⁰⁸, и потому его пожелание «потерявшим темь» писателям: «... чтобы идея труда заняла в беллетристике то же или по крайней мере такое же место, какое занимает идея любви»¹⁰⁹.

После всех программных заявлений в самом конце обозрения критик переходит к Достоевскому. Его останавливает утверждение автора «Дневника писателя» (глава «Старые люди», «Гражданин»,

¹⁰⁶ Там же. С. 141. Позднее критик выразится еще сильнее: «Презируя существующую литературу, я глубоко чту литературу в принципе» (Н. М. <Михайловский Н. К.> Литературные и журнальные заметки. Сентябрь 1873. Письмо к графу В. Орлову-Давыдову // *Отечественные записки*. 1873. № 9. Современное обозрение. С. 118).

¹⁰⁷ Н. М. <Михайловский Н. К.> Литературные и журнальные заметки. Январь 1873 г. // *Отечественные записки*. 1873. № 1. Современное обозрение. С. 140.

¹⁰⁸ Там же. С. 136.

¹⁰⁹ Там же. С. 159.

1873, 1 января) по поводу Белинского: «... как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинаться с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества» (21: 10).

«Богословскими вопросами, – отвечает Михайловский, – социализм никогда не занимался», но при этом «все социалисты признавали христианство учением высоконравственным»¹¹⁰. Отвергая утверждение об атеистичности социализма в принципе, публицист далее дает понять, что этот вопрос для социалистов находится на периферии, главный же интерес, всех объединяющий, носит экономический характер: все они согласны в том, что рабочему люду принадлежит «исключительное право на продукт его труда в полном объеме» и достичь этого можно «только при помощи ассоциации». Россия к этому наиболее способна в силу сохранения крестьянской общины:

«Экономическое зерно социализма не представляет у нас, в России, учения революционного, так как большинство нашего народа владеет продуктами своего труда и достигает это при помощи ассоциации – поземельной общины»¹¹¹.

С этих позиций Михайловский сурово оценивает высказывания редактора «Гражданина»:

«...рассуждения вроде тех, какие делает г. Достоевский, пугают общество и извращают истину. Это ведет к множеству печальных результатов, из которых мы отметим хоть один – Нечаевское дело»¹¹².

Это был по-своему сильный ход: сделать консерваторов, в том числе Достоевского, виновниками «печального» уклонения социализма в терроризм (т. е. делая из социализма пугало и не оставляя ему других средств кроме насилия). Свою статью Михайловский заканчивает ударной фразой: «Революционный в Европе, социализм в России консервативен»¹¹³.

Статья Михайловского дала Достоевскому, как он сам признавался, богатый и во многом неожиданный материал для размышления. В «заметке редактора» («Гражданин», 1873, 2 июля) он характеризует своего оппонента как «одного из самых искренних публицистов, какие только

¹¹⁰ Там же. С. 160.

¹¹¹ Там же.

¹¹² Там же.

¹¹³ Там же. С. 161.

могут быть в Петербурге», и обещает: «... о социализме непременно отвечу» (21: 156, 157). Специального ответа Достоевский не написал, однако в последующих своих произведениях, художественных и публицистических, он, несомненно, имел в виду существование такой позиции, честной, искренней, со своей правдой.

В следующем номере журнала Михайловский, давая оценку и роману «Бесы», и «гражданской» публицистике Достоевского, перевел спор с писателем из плоскости общественных идей в сферу нравственно-философскую.

В романисте Достоевском критик признаёт «блестящий психиатрический талант», но при этом полагает, что лучшая сфера применения «психиатрии» – не современность, а «европейская жизнь XIV – XV столетий», где имеются «бичующиеся, демономаны, ликантропы, все эти Макабрские танцы, пиры во время чумы и проч., весь этот поразительный переплет эгоизма с чувством греха и жаждой искупления», на худой конец можно избрать «наше масонство», Татаринову, раскольников, «монастырскую жизнь» или «наконец, спиритизм»¹¹⁴. Короче говоря, «психиатрия» в данном контексте – это когда люди ощущают присутствие сверхъестественного в своей жизни. Ирония критика несколько напоминает реакцию Раскольникова на открывшуюся ему религиозную жизнь Сони: «Разве всё это не признаки помешательства?» (6: 248). Другие критики заявляли об этом прямо, Михайловский делает это более изысканно, но суть везде одна: на газетно-журнальных страницах разразился **«герменевтический скандал» веры и неверия**. На современном писателю языке публичной словесности первое называлось уклончиво: «мистицизм». Как-никак существовала еще так называемая духовная цензура, переименование было несколько вынужденным, однако, думается, не только вынужденным. Назвать веру мистицизмом – значило как бы унижить ее, не зря Достоевский чуждался этого слова. Оно будет реабилитировано только в следующем столетии после прививки, сделанной к секуляризованной культуре Владимиром Соловьевым.

Но вернемся в 1873 год. Повторяя сказанное и до него, Михайловский акцентирует внимание своих читателей на том, что излюбленные герои Достоевского – «молодые люди, занимающиеся разрешением религиозных вопросов», в связи с чем критик ставит знакомый уже нам вопрос и знакомым же образом отвечает на него:

¹¹⁴ Н. М. <Михайловский Н. К.> Литературные и журнальные заметки. Февраль 1873 г. // *Отечественные записки*. 1873. № 2. Современное обозрение. С. 315–316.

«...имел ли какое-нибудь основание г. Достоевский группировать около Нечаевского дела людей, проникнутых мистицизмом? Думаю, что нет, а тем паче не имел он права ставить их типами современной русской молодежи вообще. <...> Едва ли русская молодежь так пристально занимается мистико-религиозными вопросами»¹¹⁵.

В который уже раз мы читаем упреки Достоевскому в исключительности, нетипичности его героев. Прежде всего нетипична, с точки зрения его оппонентов, самая нечаевщина. Вот и Михайловский повторяет как мантру: «Нечаевское дело есть до такой степени во всех отношениях монстр, что не может служить темой для романа с более или менее широким захватом»¹¹⁶. Как говорят в таких случаях, история рассудила наших героев.

В вопросе о типичности и нетипичности Михайловский приводит пример, на котором стоит задержаться:

«В начале нынешнего столетия в Париже и в Берлине существовали клубы самоубийц, по статуту которых члены по жребию должны были убивать себя по одному в год. Это факт любопытный. Но что бы сказали о писателе, который, рисуя картину европейской жизни начала нынешнего века, наполеоновские войны поставил бы в задний угол, а клуб самоубийц на первое место? Писатель этот мог бы быть очень точен в описании своих героев, но **несоблюдение правила художественной перспективы** испортило бы всё дело»¹¹⁷.

Любопытный аргумент откопал критик, но вот беда: он, кажется, даже не замечает, что этот его аргумент – палка о двух концах (в отличие от своего оппонента Михайловский как бы односоставен), и своим вторым концом она бьет любителя простых решений. Ведь само существование подобных клубов говорит об эпохе и о той среде, где они возникли, может, даже больше, чем описания всех подвигов Наполеона. Но чтобы увидеть такую «художественную перспективу», нужно иное, чем у Михайловского, зрение, настроенное по другим «правилам». Нужен Достоевский, «богатый эксцентрическими идеями», как говорит о нем несколько свысока «правильный» критик, даже немного сочувствующий писателю: «они, очевидно, его просто мучат».

Эксцентрические идеи мучат и героев, составляющих «исключительную собственность г. Достоевского», таких, как Ставрогин, Шатов, Петр Верховенский, Шигалев. «Все они находятся на границе нормального

¹¹⁵ Там же. С. 323.

¹¹⁶ Там же.

¹¹⁷ Там же. С. 324.

и ненормального состояния духа», – говорит критик, но в отличие от большинства своих коллег не признает их сумасшедшими, они «держатся на границе ума и безумия». Именно в таком состоянии они и нужны Достоевскому.

«В большинстве случаев он решает при помощи своих психиатрических субъектов какую-нибудь нравственную задачу, и большею частью придает решению мистический характер. Он, если позволена будет некоторая восточность метафоры, разыгрывает на струнах душевной болезни нравственно-политические мотивы. В “Бесах”, как и в “Преступлении и наказании”, как, сколько помнится, и в “Идиоте” он устраивает целые оркестры такого рода. Он делает это двояко. Либо он берет какой-нибудь психологический мотив, например, чувство греха и жажду искупления (мотив, его особенно интересующий) и заставляет его действовать в образе. Вы видите, например, что человек согрешил, его мучает совесть, он налагает наконец на себя какую-нибудь эпитимию и тем достигает душевного спокойствия. Это один прием. Он был применен г. Достоевским в “Преступлении и наказании”. В “Бесах” неудачную попытку этого рода представляет Ставрогин. Другой прием состоит в том, что измученному душевною болезнью человеку влагается в уста известное разрешение какого-нибудь нравственного вопроса. В “Бесах”, к сожалению, преобладает второй прием»¹¹⁸.

Особенность Михайловского-критика в том, что, неодобрительно препарировав Достоевского, он невольно ставит вопрос о специфике его поэтики. Так произошло и с его идентификацией «любимых» героев Достоевского. По выражению писателя, их «съела идея». «И это тип, без сомнения, в высшей степени интересный и поучительный», – свидетельствует критик, но тут же оговаривается, что имеет в виду не «тип как живой образ», таковых у Достоевского чрезвычайно мало, они не очень-то интересны самому романисту. Его задача иная – «заставить человека без устали **проповедывать пришитую к нему идею**». У писателя «такой громадный запас эксцентрических идей, что он просто давит ими своих героев»¹¹⁹. Кажется, что стоит только переменить знак минуса на плюс, и мы получим теорию «идеологического романа» Достоевского [Энгельгардт] или хотя бы ее начальный контур.

Наблюдения критика над некоторыми героями романа бывают с этой точки зрения показательны. Так, он привлекает для анализа фигуру Лямшина, показывая, как его «штучка» «Франко-прусская война» заслоняет характер героя, которого «читатель совсем было и забыл»

¹¹⁸ Там же. С. 318–319.

¹¹⁹ Там же. С. 319.

за этим превосходным этюдом¹²⁰. Подобное же «исчезновение» наступает и другого героя.

«Петр Верховенский обнаруживает свою “идею” только в конце второй части романа. И пока этого не случилось, вы можете следить за его фигурой, можете рассуждать, удовлетворительна ли она в литературном отношении (весьма неудовлетворительна), какова она как нравственный тип и т. п. Но вдруг на Верховенского нападает восторженное состояние, оказывается, что он фанатик. Он развивает свою идею. Он восторженно доказывает Ставрогину, что необходимо одно или два поколения разрушения, пожаров, убийств, разврата <...>. Мы привели только часть практического плана Верховенского, а он еще на нескольких страницах развивает теоретическую сторону своей идеи. И во все это время читатель до такой степени поражен дикою оригинальностью, эксцентричностью идеи, что **Верховенского тут как будто и не бывало**. Точно вы читаете дикую книгу или слушаете дикую речь совершенно неизвестного и ни малейше вас не интересующего человека»¹²¹.

Говоря об «исчезновении Верховенского как образа, как характера», критик близко подошел к постижению непривычной структуры образов героев в романе Достоевского, но остановился в глубочайшем недоумении и изрек осуждающий приговор: мол, произошло «пожирание тучных коров поэзии тощими коровами фантазии»¹²². Как будто поэзия случается без фантазии. В данном случае скорее тучными коровами поэзии подавились тощие коровы аристотелевской поэтики.

Неудачей писателя Михайловский считал фигуру Ставрогина – «с претензиями, но крайне тусклую», зато нагруженную идеями самого писателя, проявившимися в «Дневнике писателя» 1873 года, в особенности в главе «Влас»: «дерзость» кощунственной мысли, «забвение всякой мерки во всем» и «потребность страдания», т. е. все те качества, которые Достоевский видит в русском народе. Еще больше критика раздражает образ Шатова, в которого писатель «загрузил» собственные представления о русском «народе-богоносце». Если каждый народ должен иметь своего бога (так Михайловский понял Достоевского), то как это вяжется с христианством, где нет эллинов, ни иудеев – возмущается критик, не замечая, что **он спорит не с Достоевским, а с собственным представлением о Достоевском**. Потому он в сердцах и бросает: «Да, он многое просмотрел, он всё просмотрел»¹²³.

¹²⁰ Там же.

¹²¹ Там же. С. 320–321.

¹²² Там же. С. 321.

¹²³ Там же. С. 335.

Эту фразу можно было бы вернуть самому критику: он «просмотрел» в Достоевском, а вернее сказать, не принял в нем христианскую систему ценностей, предлагая взамен другую, вне-христианскую, как бы ни провозглашал он обратное. Показателен спор критика с идеей страдания и покаяния присутствующих, по Достоевскому, русскому народу. Михайловский приводит два сюжета из книги Афанасьева «Народные русские легенды»: по одному (№ 28 «Грех и покаяние») великому грешнику зачлось во спасение убийство разбойника¹²⁴, а по другому (№ 30 «Крестный отец»), напротив, грехи убитого разбойника перешли к его убийце. Критик подводит читателя к мысли о «разнородном составе правды народной», из которой Достоевский выбирает себе подходящее. Критик даже завидует ему (разумеется, с сарказмом):

«Ему хорошо жить. Он знает, что бы с народом ни случилось, он в конце концов спасет себя и нас. <...> Легко тоже жить с мыслью о том, что мой народ любит страдать»¹²⁵.

«Легкому» существованию примирительного якобы у Достоевского отношения к жизни Михайловский противопоставляет «трудную» судьбу протестующих и болеющих о своем «долге народу». В этом месте статьи слог публициста наполняется лиризмом и даже какой-то проныкновенностью: так с врагами не разговаривают («Впрочем, я знаю, г. Достоевский над этим не посмеется...»)¹²⁶. Так разговаривают с оппонентом, когда надеются на его понимание. В конечном счете критик со всею страстью старается направить писателя на путь истины, как он, критик, ее понимает.

«Как! Россия, этот бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, – и в вашем романе нет ни одной черты из этого мира! Вы сосредоточиваете свое внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев! **В вашем романе нет беса национального богатства**, беса самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. Свины, одолеваемые этим бесом, не бросятся, конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев. Если бы вы их заметили, они составили бы украшение вашего романа. **Вы не за тех бесов ухватились**. Бес служения народу – пусть он будет действительно бес, изгнанный из больного тела России, – жаждет в той или другой форме искупления, в этом именно вся его суть. Обойди-

¹²⁴ Эту легенду приводит и Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо», которая, кстати говоря, печаталась в том же номере «Отечественных записок».

¹²⁵ Там же. С. 339.

¹²⁶ Там же. С. 340.

те его лучше совсем, если вам бросаются в глаза только патологические его формы. Рисуйте действительно нераскаянных грешников, рисуйте фанатиков собственной персоны, фанатиков мысли для мысли, свободы для свободы, богатства для богатства. Это ведь тоже *citoyens du monde civilisé*, но *citoyen*ы, отрицающие свой долг народу...»¹²⁷.

Основываясь на этой части статьи, А. С. Долинин предположил, что «призыв» Михайловского был «явно услышан» Достоевским и реализовался в следующем романе «Подросток» в теме «богатства для богатства» [Долинин: 13]. Не отрицая такой возможности, всё же укажем, что Достоевский и сам, без наводки Михайловского, давно изучал «беса богатства» пореформенной России: «Униженные и оскорбленные», «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Преступление и наказание» (Лужин), «Идиот» (Лебедев и др.). Присутствует эта тема, не замеченная критиком, и в «Бесах» – эпизод возмущения шпигулинцев, вызванный мошенничеством фабриканта и, как бы теперь сказали, слиянием бизнеса и власти (управляющий фабрики покумился с полицмейстером). Не оставит эта тема Достоевского и впоследствии, в «Подростке», «Дневнике писателя», «Братьях Карамазовых». Она у романиста и публициста в целом не на самом переднем плане, но активно, в числе других, формирует образ современного мира. Таким образом, критика Михайловского шла во многом мимо, хотя мы не исключаем, что Достоевский не остался равнодушным и к открытым «Отечественными записками» военным действиям против господ Колупаевых и Разуваевых.

Экономический аспект Михайловский вновь поднял в следующем своем обзоре, развив одно замечание, брошенное им в предшествующей статье в адрес Достоевского-редактора: как, нападая на социализм, он мог напечатать в своем издании статью М. Степанова «Плутократия» («Гражданин», 1873, 5 марта), признающую справедливость требований американских социалистов.

«Автор утверждает, что повсюду в Европе плутократия, т. е. кучка денежных дельцов, банкиров, ажиотеров, спекулянтов, “финансистов”, ограничила с одной стороны право и значение верховной власти, а с другой – обобрала и довела до нищеты и отчаяния народ»¹²⁸.

Михайловский усматривает в этом «нравственном шатании» журнала Достоевского проявление общей «зародышевости» русской общественной мысли.

¹²⁷ Там же. С. 342–343.

¹²⁸ М. Н. <Михайловский Н. К.> Литературные и журнальные заметки. Март, 1873 г. // *Отечественные записки*. 1873. № 3. Современное обозрение. С. 160.

«...и сами мы только зародыши, и интересы наши только зародышевые, и вся Россия наша есть огромный зародыш. Мы – действующие лица недописанной и только набросанной драмы. Но жизненные драмы не остаются в портфеле автора. Они непременно дописываются и ставятся на сцену, вызывая аплодисменты, лавровые венки, букеты роз и камелий с одной стороны, свистки и гнилой картофель с другой. Допишется и поставится на сцену и наша русская драма. И мы за нее ответственны, потому что мы не только действующие лица ее, а и авторы»¹²⁹.

Тон и уровень критики Михайловского разительно отличались от общепринятого тогда в радикальной и либеральной печати по отношению к автору «Бесов» и «Гражданина»¹³⁰. Он давал возможность приблизиться к подлинному диалогу противостоящих направлений русской мысли. Нравственный строй русской журналистики оба оценивали вполне солидарно.

Михайловский: «Да, мы боимся. <...> Главное, себя самих, своей мысли боимся. Ни одной мысли не смеем довести до ее логического конца, ибо на каждом шагу нас смущают вопросы: не будет ли это слишком либерально? слишком консервативно? слишком радикально? недостаточно либерально? недостаточно консервативно? и т. д., смотря по той якобы партии, к которой мы себя причисляем»¹³¹.

Достоевский: «Это целая толпа пишущей братии, когда-то, от предков наследовавшая несколько либеральных мыслей, но в совершенной их наготе и наивности, безо всякого их развития и толку. Что у Белинского и Добролюбова предлагалось всё же с некоторою последовательностью, то утратило у них все концы и начала. <...> Первая их забота, разумеется, чтоб было либерально. Но как написать либерально? – он уже и не знает, забыл; потому что никогда не имел ни одной своей мысли и совершенно не знает, что в сущности должно оказываться либеральным» (21: 157).

¹²⁹ Там же. С. 162–163.

¹³⁰ В самой редакции «Отечественных записок» были и другие, куда более агрессивные противники Достоевского вроде внутреннего обозревателя Н. А. Демерта, чьи устные высказывания зафиксировала В. В. Тимофеева-Починковская [Достоевский в воспоминаниях; 2: 158–159]. На страницах журнала Демерту было позволено сделать лишь попутную оговорку насчет «Бесов» как «уродливого» романа (Д. <Демерт Н. А.> Наши общественные дела // *Отечественные записки*. 1873. № 7. Современное обозрение. С. 146).

¹³¹ Н. М. <Михайловский Н. К.> Литературные и журнальные заметки. Сентябрь 1873. Письмо к графу В. Орлову-Давыдову // *Отечественные записки*. 1873. № 9. Современное обозрение. С. 120.



Илл.1. К стр. 502

Н. А. Степанов. Журналист и сотрудник.

Карикатура, изображающая А. А. Краевского и Ф. М. Достоевского, была напечатана на вклейке в «Иллюстрированном альманахе» Н. Некрасова и И. Панаева 1848 г. Альманах сначала был разрешен цензурой, отпечатан, а потом запрещен. Несмотря на подписку о нераспространении, данную Панаевым, какое-то количество экземпляров все-таки разошлось. Достоевский, без сомнения, с карикатурой был знаком.

ниту началась литературная деятельность г. Дружинина. Уль зашелъ за разумъ: отрицаніе перешло свои крайніе предѣлы и свирѣпствовало въ душныхъ, тѣсныхъ и грязныхъ формахъ натуральной школы: запахъ бѣлыя Г. Прохаргина распространялся повсюду, г. Голявкинъ сталъ высканивать уже изъ каждаго сапога, принимавшаго уродливые фантастическіе виды: когда добросовѣстѣйшіе изъ мыслившихъ и чувствовавшихъ людей, подъ гнетомъ отрицанія издавали стоны душевной боли, какъ Огаревъ или Тургеневъ, смиренно называя «лишними людьми» «Гамлетами Щигровскаго уѣзда» порожденія своей большой фантазіи, или столь же послѣдовательно относились съ ироніей къ самому отрицанію, какъ отнесся къ своему Петру Царовичу авторъ «Обыкновенной исторіи» — другіе по своему растолковали слова учителя, о томъ, что обмельѣла жизнь, обмельѣлъ человекъ, — обмельчаніе приняли за настоящее дѣло, за нѣчто законное и желаемое. Изъ душныхъ чердаковъ и сырыхъ подваловъ поднялись вопли и стоны, не за прекращеніе жизни, не за душу человека — но за правоту обмельчавшей жизни, за закон-

лагаемъ, въ примѣрахъ. Но мы сказали, что въ особенности въ наше время — письменность изъ внѣшнихъ побужденій, письменность вызванная тѣми или другими произведеніями, распространяется значительно и притомъ исключительно почти въ по-

М. Бедвицкий.

11 Окт. 1855 г. в. в.



Грав. Куренковъ.

Время. Пора, любезный, за работу — разнеси-ка эти объявленія.

Осень. Объ чемъ?

Время. Обо мнѣ. Я обращаюсь въ журналъ.

Осень. Какъ?

Время. Да такъ. Я буду косить литературныя знамена то-сти, установившіяся идеи и мнѣнія, спекулятивный духъ журналовъ.

Осень. А васъ развѣ даромъ будутъ раздавать?

Время. Ты ничего не понимаешь. Меня издѣютъ изъ глубочайшаго уваженія къ русской литературѣ. Мое дѣло косить, рубить, учить — брр!.. не попадайся никто — разшибу!...

МЕЛКОКЛАВЯЮЩІЕ И БЛИЗОРУКІЕ.

(Н. Степанова).



Грав. Н. Куренковъ.

Время. — Косица! Объяви мелкоклавающимъ свистунамъ, что они надоели публикѣ, потому, въ видѣ назиданія, напечатай что нибудь злое: эхъ вы!.. Ужъ куда вамъ... Серьезно говорить съ ними не стоитъ, они портятъ только дѣло.

Косица. — Да у насъ никакихъ дѣлъ нѣтъ.

Время. — Какъ!—А въ шкафахъ что?

Косица. — Сами извольте знать: чужія мифіи; ну а заголовки точно наши



**Петербургъ лѣтомъ: на
— Журнальные искатели почвы, оконча-
тельно теряютъ ее подъ ногами на пе-
тербургскихъ улицахъ.**



1) *Современ. слово.*—Хорошо съ, да сказать то что?—Последнее слово еще впереди, а современное слово, не всякому по сердцу.

2) *Домаш. Бесѣда.*—О прогрессъ, прогрессъ, зрящій во дно адово! Горе тебѣ и твоимъ дѣтелямъ, изрыгающимъ на площадяхъ литературныхъ: долой все старое! Распни, распни его!

3) *Литературн. боецъ.*—Слава мнѣ, поразившему полицію въ полиціи!

4) *Съверн. пчела.*—нѣтъ, г-да, не съ того

начали: прежде наберите потомъ давайте реформы.

5) *Голосъ.*—Прекрасно, да мы-то еще неразвиты, готовы для такихъ блаваній.

6) *Русскій листокъ.*—Какъ выпваешься изъ силъ, горло: ей ты, общество, и—А либеральное правите. стороны кричатъ: за мнѣ дѣло и портятся.



рите волонтеровъ, а рмы.

ю, величественно!—нты, тупы и не подготовлены для такихъ блаваній преобразо-

Кажется, стараешься, гъ, кричишь во все ю, не заходи впереди! вительство съ другой мною, впереди!—Ну

7) *Время.*—Косица, справься съ дѣлами и доложи мнѣ, примутся ли эти растенія на нашей почвѣ.

Косица.—Осмѣлюсь доложить В. П-ву, что у насъ почва еще не отыскава.

8) *Москов. вѣдомости.*—Все это миражъ, призракъ, ребяческій обманъ, мальчишество, самообольщеніе!

9) *Наше время.*—Совершенная правда, сэръ, одиѣ казенныя объявленія заслуживаютъ нѣкотораго вниманія.

Москов. Вѣд.—Отойдите, это не ваше дѣло.



Косица. — Намъ положительно пзвѣстно, что редакція «Головѣшки» съ открытія новой подписки, сидитъ на постномъ маслѣ.

— Какъ!.. При 7 т. подписчиковъ — Богъ съ вами М-г Косица! Да и это не бѣда, если только сама редакція постится, вотъ если сотрудниковъ угощаютъ постнымъ масломъ — это ужь больно пехорошо.

Илл. 7. К стр. 121.

«Время» напуганно своею тѣнью.



Время. — Косица! Твои громовыя статьи порождаютъ враговъ... Враги.. всюду враги!

Косица. — Успокойтесь мой, благородный другъ? Вы пугаетесь своей тѣни... нашихъ собственныхъ статей — вѣдь ихъ никто не боится.

Илл. 8. К стр. 121.



Илл. 9. К стр. 171



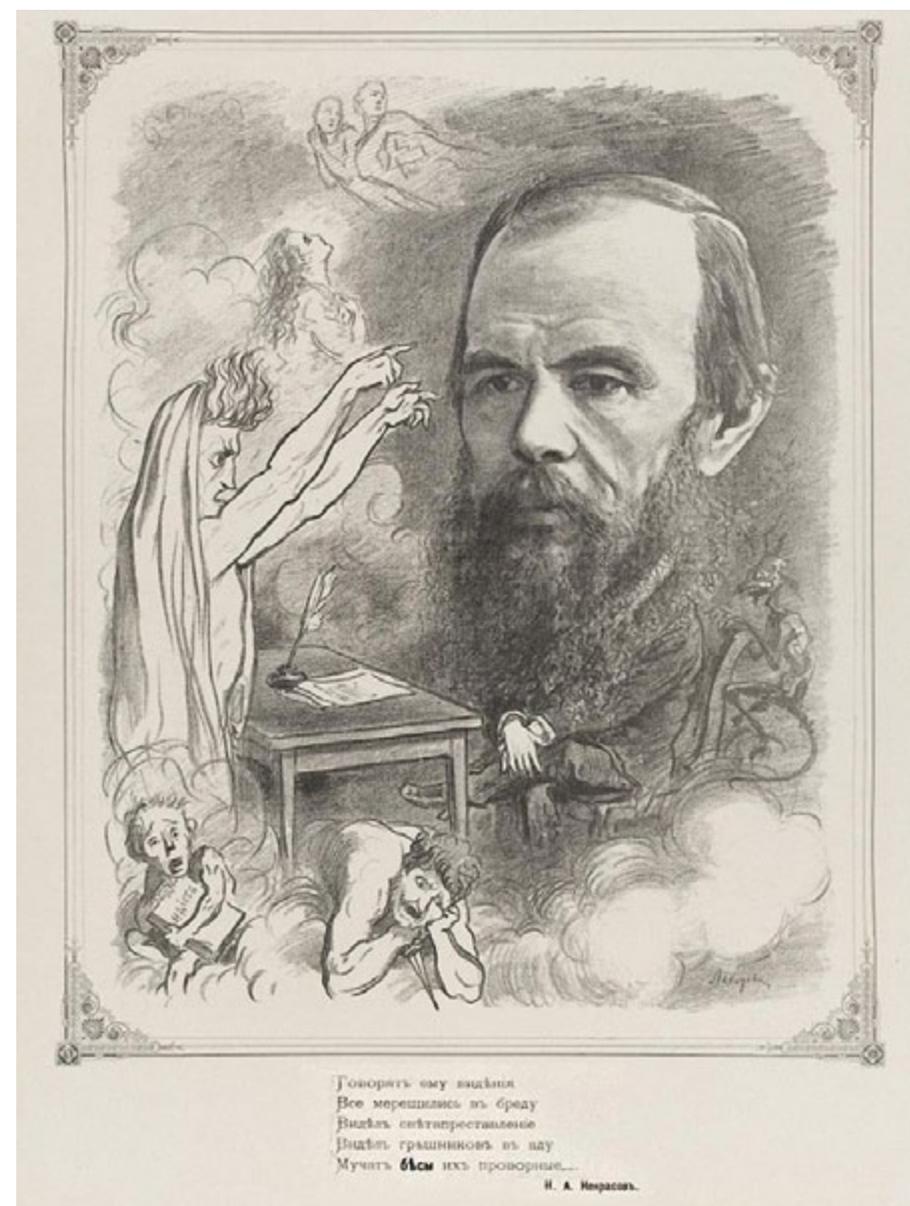
Илл. 10.

А. М. Волков. 1867 комический год (Искра. 1867. № 14. С. 175).



Илл. 11.

С. Любовников. [Карикатура на Ф. М. Достоевского]
Подпись: Он болен; грезятся ему ужасные виденья,
И пишет он теперь одну лишь чепуху.
(Маляр. 1872. 10 сентября).



Илл. 12.

А. И. Лебедев. Литография «Ф. М. Достоевский».
(Карикатурный альбом современных деятелей. Изд. журнала
«Стрекоза». Лист. Премия 1879 г.)

НАДЪ ГРОВОМЪ Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО.

Братья—читатели! Въ этой книжкѣ вы найдете нашу статью о „Карамазовыхъ“. Работая надъ ней, изучая это новое его произведение,—едва ли не самое гениальное изъ всѣхъ,—потрясенные глубиной и грандиозностью его задачи,—задачи—выяснить психологически одно изъ широчайшихъ явленій во всей исторіи человѣчества, а именно, стремленіе человѣчества къ любви общеловѣческой и даже общеміровой, — мы все яснѣе и яснѣе сознавали то необыкновенное величіе его гениа, которое ставитъ его произведение по его, такъ сказать, научно-психологическому матеріалу и задачамъ—на ряду съ работами Тайлоровъ, Спенсеровъ, Фейербаховъ, Максовъ Миллеровъ, а по глубинѣ нравственнаго чувства, лирическаго одушевленія и гениальной художественности—на ряду, съ величайшими произведеніями міровыхъ гениевъ поэзій, если не выше ихъ! Не надгробная фраза, не цвѣты краснорѣчія, а искреннее убѣжденіе наше, основанное на знаніи и изученіи, подсказываетъ намъ, что не пройдетъ и десятка лѣтъ, какъ произведенія Достоевскаго станутъ извѣстны всему міру, потрясутъ до глубины души чуждые намъ народы, будутъ изучаться въ теченіи вѣковъ, какъ великое созданіе великаго психолога, великой любви къ людямъ, открывающее очи даже слѣпымъ на величайшія задачи человѣчества, на задачи любви, на обязанности людей—видѣть человѣка, видѣть брата даже въ преступникѣ, даже въ самомъ жалкомъ истцадѣи человѣчества.

И вотъ въ это-то время, въ эти-то мгновенія наше сердце, потрясенное его великимъ произведеніемъ, узнало вѣсть: Достоевскаго нѣтъ! Учитель умеръ! Нѣтъ великаго художника, великаго мыслителя, великаго страдальца-гражданина!

Братья—читатели! Вы уже уяснили себѣ и сами, вы уже почувствовали давно въ глубинѣ вашего сердца всю невыразимую словами потерю, которую несетъ Россія, несетъ весь міръ въ лицѣ этого человѣка!

Еще и еще разъ повторимъ: весь міръ! Ибо вѣрнѣе не только въ это, но и въ то, что Европа даже раньше насъ пойметъ и оцѣнитъ его произведенія, да и намъ объяснитъ. Не такъ думалъ самъ Достоевскій и онъ первый возсталъ бы противъ насъ! Но, да проститъ онъ намъ это несогласіе съ нимъ! Простите и вы, братья — читатели, если думаете иначе. Мы не можемъ иначе мыслить: мы сознаемъ въ глубинѣ души, что мы еще дѣти передъ западнымъ міромъ! О, много еще, много у насъ младенческаго, архаическаго! Самая кончина Достоевскаго, эта преждевременная, почти насильственная смерть,—этотъ результатъ его ужаснаго прошлаго,—развѣ не плодъ нашего младенчества?... Но не будемъ возбуждать злобы и горечи у гроба человѣка, такъ страстно любившаго людей и на всѣ ихъ нитки и мученія отвѣчавшаго однимъ: „Прости имъ, Боже! Не вѣдаютъ, что творятъ!“

Будемъ лучше, братья, горько рыдать, надъ его безвременной могилой, будемъ горько каяться, вспоминая, его слова, что общественное „я“, слагается изъ частныхъ, личныхъ „я“, — что надо высоко поставить личное „я“, чтобы высоко стало наше общественное „мы“. Вспомнимъ это и, среди нашихъ рыданій, дадимъ себѣ клятву не оставаться болѣе холодными зрителями или палачами нашихъ гениевъ, пророковъ, нашихъ великихъ учителей любви и правды!

„БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ“.

Романъ Ф. М. Достоевскаго.

(Критическій анализъ).

I.

Романъ нашего великаго художника такъ обширенъ по своему внутреннему содержанию, такъ грандиозенъ по своимъ художественнымъ и психологическимъ задачамъ, что мы полагаемъ посвятить ему не одну, а двѣ, быть можетъ, даже три отдѣльныхъ статьи. Дѣль у насъ уже готовы.

Обыкновенно критическія статьи начинаются обширными предварительными разъясненіями; но мы ихъ рѣшили отложить до второй статьи, отодвинуть въ конецъ дѣла. Тамъ мы выскажемся и о нашихъ общихъ взглядахъ на великихъ художниковъ вообще, и о противорѣчіяхъ ихъ теоретическихъ взглядовъ ихъ художественнымъ работамъ, однімъ словомъ, тамъ мы опредѣлимъ типъ самаго г. Достоевскаго и какъ художника, и какъ мыслителя-публициста, а теперь приступимъ къ роману, прямо ex abrupto, безъ предварительныхъ соображеній. Романъ достаточно говоритъ самъ за себя.

Мы считаемъ нужнымъ оговорить впередъ только одну мысль, которую разовьемъ въ послѣдствіи и безъ которой немислимо пониманіе произведеній того типа, къ которому принадлежатъ произведенія Достоевскаго. Надо замѣтить, что мы значительно отыкли отъ такихъ произведеній, которыми имѣютъ своимъ предметомъ, своей основной тѣмой не столько частныя и скоропреходящія явленія извѣстнаго историческаго момента, сколько основныя свойства человѣческой природы и психики; для нашего времени приходится это пояснить. Дѣло въ томъ, что исторія человѣчества представляетъ быструю смѣну, какъ въ поворамъ, идеаловъ, стремленій и потребностей, формъ борьбы за эти идеалы и потребности, формъ отношеній и т. п. Что было ново и прогрессивно вчера, сегодня само становится консервативно или даже реакціонно, смѣняясь новыми формами. Вчера еще всѣ лучшіе умы Россіи Рудинъ, Бельтоны, Тургеневы, Бѣлинскіе заняты крѣпостнымъ правомъ, гнетущимъ русскихъ крестьянъ, завтра крѣпостное право рухнуло, воз-

Илл. 13.

Некролог, написанный Л. Е. Оболенским. Помещен перед его же статьей о романе «Братья Карамазовы» (Мысль. 1881. № 2. Февраль. С. 228–229).



Илл. 14.

В. И. Порфирьев. [Иллюстрация к роману «Преступление и наказание»].
Подпись: «— Убийцу проговорил он вдруг тихим, но ясным и отчетливым голосом». Внизу факсимиле писателя: «Помещенный вами эскиз весьма не дурен. Федор Достоевский» (Осколки. 1881. № 2. 10 января).

7.

В 1874 году профессор Петербургского университета О. Ф. Миллер в Клубе художников при большом стечении слушателей прочитал десять публичных лекций «Русская литература после Гоголя», посвященных творчеству Гончарова, Достоевского, Писемского, Некрасова и Щедрина. Лекции были застенографированы и затем опубликованы в выходящей по воскресеньям «газете политической и литературной» «Неделя» (впоследствии неоднократно переиздавались). В первых двух лекциях было определено понятие гоголевского направления, дана характеристика творчества Белинского, литературы сороковых годов в лице Григоровича и Тургенева, основное же внимание было уделено трем романам Гончарова. В третьей лекции разговор о Достоевском Миллер начал с тезиса о том, что автор «Бедных людей» сделал «значительный шаг вперед против “Шинели”» Гоголя. Демонстративно опираясь на Белинского и оспаривая Добролюбова, Миллер определил своеобразие характеров Девушкина, старика Покровского, а затем и Неточки Незвановой, Нелли (из «Униженных и оскорбленных») словами: «теплится искра Божия»¹³². Под этим подразумевалось, что данные герои Достоевского проявили замечательную **способность к самоотверженной любви**. Особо отмечается такое качество Девушкина, как «забота о других бедняках» и философствования его на эту тему. Лектор в связи с этим цитирует слова Достоевского из «Зимних заметок о летних впечатлениях» о самопожертвовании как «признаке высочайшего развития личности» (5: 79) и комментирует их: «Вот что составляет идеал нашего писателя»¹³³. Поэтому определение Добролюбова «забитые люди», утверждает Миллер, страдает «односторонностью»: если в личности героев Достоевского

«... несмотря на всю их приниженность, вполне сохранилась способность любить до самоотвержения, а Достоевский именно в этом и видит самое сильное проявление личности, стало быть, она тут не совершенно забита»¹³⁴.

Появляются у Достоевского также герои, которые «не выходят из заколдованного круга личных забот и стремлений» – Голядкин,

¹³² Миллер О. Русская литература после Гоголя. (За исключением драматической). Лекция III. Достоевский. «Бедные люди» и пр. – «Неточка Незванова». – «Униженные и оскорбленные». – «Записки из Мертвого дома» // *Неделя*. 1874. № 20. 19 мая. С. 750.

¹³³ Там же. С. 754.

¹³⁴ Там же.

Прохарчин. Тема эгоизма у Достоевского получает затем сильное продолжение. «Замечательную психологическую глубину» Фомы Опискина не заметил Добролюбов (да и другие критики, добавим от себя), а между тем Достоевский показывает, что можно ждать от «человека оскорбленного, униженного», когда ему «представляется возможность забрать власть в свои руки»:

«Он с каким-то наслаждением проделывает над другими то, что сам вынес: загнанность его прежнего положения развила в нем эгоизм до последних пределов»¹³⁵.

Продолжение открытого Достоевским психологического типа Миллер находит в герое «Записок из подполья»; здесь уже открывается «бездна эгоизма, который развился <...> от ожесточенности человека приниженного»¹³⁶.

Во второй лекции критик-профессор рассмотрел три последних романа Достоевского. По поводу «Преступления и наказания» он вернулся к тому впечатлению шока, что испытали читатели романа (см. выше гл. 3):

«... дух замирает, и однако, **как всем хорошо известно**, не можешь оторваться от книги. <...> читаешь – и поневоле веришь, что всё это возможно, до такой степени психологически верен весь процесс развития преступления и его последствий»¹³⁷.

В Раскольникове Миллер, подробно разбирая первую часть романа, нашел то самое качество, что определяло и раньше героев Достоевского с альтруистической жилкой – **«сильно развитая сострадательность»**¹³⁸. При этом автор, замечает критик, не пошел за традицией поднимания на ходули мелодраматических преступников, особенно сильной во французской литературе, для него «преступление так и остается *преступлением*»¹³⁹. При всей сострадательности Раскольников всё же может быть отнесен к «хищному типу» по классификации Ап. Григорьева (его авторитет для Миллера не меньше, чем авторитет Белинского). Гордость и озлобление сохраняются до конца романа, уступая в конце концов влиянию «многолюбящей Сони». «Чудо» преображения героя

¹³⁵ Там же. С. 752.

¹³⁶ Там же.

¹³⁷ Миллер Ор. Русская литература после Гоголя. (За исключением драматической). Лекция IV. Достоевский. «Преступление и наказание». – «Идиот». – «Бесы» // *Неделя*. 1874. № 22. 2 июня. С. 820.

¹³⁸ Там же. С. 821.

¹³⁹ Там же. С. 823.

напоминает нечто подобное, что «совершается в церкви “Мертвого дома” высшею христианскою любовью»¹⁴⁰.

Критик не устает подчеркивать, что «преступление Раскольникова **подготовлялось жизненными впечатлениями**», поэтому он оспаривает интерпретацию Н. Н. Страхова, сводившего героя Достоевского и с ним весь русский нигилизм к торжеству теоретизма, оторванного от жизни. Напротив, уверял Миллер, нигилизм – «явление, *вытекавшее из нашей жизни*, и в этом смысле *не отвлеченное*»¹⁴¹. На этой почве вырастает и полемика критика с самим автором, сделавшим Разумихина рупором своих идей, а еще больше с его последующими романами, в которых Достоевский, по мнению критика, «окончательно попадает не на свою дорожку, уклоняясь от той, которая дала ему возможность так глубоко проявить <...> свое гуманное сердце»¹⁴². Писатель, укоряет его критик, «увлекся примером других» в обличении молодого поколения с помощью образов Базарова, Марка Волохова и др. На нигилистов он посмотрел не как на «несчастных», а «как на бесноватых и сумасшедших». В «Идиоте» насмешка над молодежью еще не так сильна, ее заслоняет центральный персонаж, несущий в себе новую вариацию главной темы писателя: Мышкин «жалость принимает за любовь (это напоминает и любовь Раскольникова к больной дочери своей квартирной хозяйки)»¹⁴³.

«Это тот же любимый народом сказочный Иванушка-дурачок, оказывающийся, как известно, только человеком не “себе на уме”, не выносящим зрелища постороннего горя, постоянно забывающим себя для других»¹⁴⁴.

Правда, и здесь, как и в случае с Разумихиным, критика не устраивает, что автор нагружает героя своим славянофильством (как впоследствии Шатова). Еще большее недовольство вызывает у Миллера роман «Бесы». Он утверждает, что писатель слишком поверхностно подошел к явлению русского нигилизма, ухватившись за отдельные факты:

«... нужно уловить смысл, нужно показать, как могло всё это произойти, из чего всё это возникло, а вот этого-то мы и не видим»¹⁴⁵.

Например, как сложился характер Петра Верховенского, «этого наш автор не разъяснил». Правильная постановка вопроса – не «кто

¹⁴⁰ Там же. С. 826.

¹⁴¹ Там же. С. 827.

¹⁴² Там же. С. 828.

¹⁴³ Там же.

¹⁴⁴ Там же.

¹⁴⁵ Там же. С. 830.

виноват», а «что виновато», каковы «причины всего этого». Если мы не знаем причин (т. е. социальных обстоятельств, порождающих протест молодежи), «то лучше и не делать некоторых явлений предметом художественных произведений»¹⁴⁶, – сурово отчитал критик писателя, хотя в последнем абзаце призвал не забывать его «заслуги».

Любопытна судьба миллеровских лекций. В 1878 году он переиздал их без существенных изменений. Но грянуло 1 марта 1881 года, и в новую версию лекций профессор внес весьма значительные коррективы. Роман «Бесы» теперь уже интерпретировался как исключительно верное изображение русского нигилизма, и нашлись в нем «причины», и нашлись объяснения, «из чего всё это возникло».

«Относительно происхождения нигилизма есть замечательные строки в записной книжке Федора Михайловича¹⁴⁷. “<...> Да они ниоткуда не взялись, а всё были с нами, в нас и при нас”. <...> Нигилизм есть оторванность от всяких преданий, беспочвенность, и в этом отношении русские люди давно нигилисты» [Миллер: 190].

Разные были пути читателей к Достоевскому.

¹⁴⁶ Там же. С. 831.

¹⁴⁷ Миллер принял участие в подготовке издания «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского» (СПб., 1883).

ГЛАВА 5

1875–1878. Трудный путь к читателю

1.

Уже начало публикации в «Отечественных записках» (1875. № 1, вышел 22 января) первых пяти глав романа «Подросток» вызвало разлад в критике.

С одной стороны, его встретило доброжелательное напутствие М. А. Загуляева, которого порадовал сам факт публикации романа в журнале, оппонирующем Достоевскому. Этому обстоятельству критик придает особое значение (во многом вопреки сопровождавшей роман сдержанной ремарке «от редакции» Н. К. Михайловского, о которой речь еще впереди), оно соответствовало его ожиданиям относительно наступающей эры «разрядки в страстях литературных партий», «примирительной умеренности и очень полезного эклектизма в области литературы»¹. Предполагая, по первой части, что в романе пойдет речь об охватившей страну и мир «жажде наживы», Загуляев обозначил свое видение таланта и значения Достоевского в русской литературе:

«Там, где другие писатели, наблюдая этот феномен, отмечали только факты, изложенные на страницах книги с поверхностным красноречием, Достоевский рассматривает эти факты как мыслитель и философ, который привык вьедливо изучать человеческое сердце и подниматься от результатов к причинам. Для него речь идет не о том, чтобы показать знакомые всем фигуры, рассказать, упорядочив их, вчерашние и сегодняшние события, но о том, чтобы изучить моральный поток, который нас уносит, и установить логические причины всеобщего влечения, внешне безрассудного и ненормального. В этом одна из наиболее ярких особенностей таланта Достоевского. Человек никогда не является для него бездумным существом. Выдающийся романист всегда утверждал, напротив, что все наши действия являются результатом нашей внутренней работы, одной из этих “бурь под черепом” (*tempêtes sous un crâne*), о которых говорит Виктор Гюго»².

¹ L. V. <Загуляев М. А.> *Les revues russes // Journal de St.-Petersbourg*. 1875. № 27. 29 января.

² Там же.

В анализе первых глав нового романа Загуляев проявил присущую ему широту культурного кругозора – качество довольно редкое в критике того времени. Он обратил внимание на те стороны романа, которые не были замечены его современниками.

«Новый роман Достоевского называется “Подросток”. Его герой именно подросток, который оказывается в совершенно исключительной ситуации. Незаконный сын дворянина и крестьянки, брошенный в жизнь без поддержки и в обстоятельства, которые легко могут сделать его одним из деклассированных людей, которые столь легко становятся марионетками и адептами социальных утопий, этот молодой человек не дает себя завлечь примером, но старается создать собственную независимую цель. Бедный и презираемый, он пожираем желанием стать могущественным и уважаемым всеми. В другую эпоху он постарался бы стать знаменитым благодаря умственным трудам или героическому подвигу, но жизнь общества, которая разворачивается перед ним, вовсе не годится, чтобы питать благородные устремления. Созерцая спектакль торжествующей наживы, думающий подросток приходит к мысли, что деньги – это лучшее и, может быть, единственное средство успеха. На этом он строит систему неоспоримой логики. Единственная цель его жизни – стать как Ротшильд, и ничто его не остановит. Он всё взвесил, всё предусмотрел в яростном и жутком моральном одиночестве, в котором он замкнулся <...>. Если хорошенько задуматься об этих странных мечтах подростка, то находишь, что они не столь уж нелепы, как может показаться с первого взгляда. Скорее всего, в наше время нет молодого человека, способного разработать систему, созданную героем романа Достоевского, но, однако, не следует торопиться утверждать, что эта система абсолютно ни на чем не основана. Безграничная власть денег, несомненно, является самым заметным фактом нашей эпохи. Если хорошенько поискать, то можно найти следы этой власти во всех событиях современной истории. Эта истина была признана уже давно не только практическими людьми, но также и некоторыми творцами социальных систем. Нажива как средство даже едва не стала однажды основой некоей “религии”, если вспомнить, что знаменитый отец Анфантен стремился в итоге стать первосвященником бога Миллиарда. Последователи Сен-Симона, правда, опередили свою эпоху. Они присутствовали лишь при заре царства, которое они предсказывали и которое старались регламентировать. Полный расцвет порядка вещей, который они приветствовали, должен был произойти позже, ведя за собой торжество голого факта и материальной силы над самыми возвышенными идеями и самыми благородными устремлениями. Таким образом, видные мыслители более тридцати лет назад вывели умозаключения, более или

менее аналогичные тем, которыми господин Достоевский наделяет своего “подростка”. С тех пор никто не имеет права, как нам кажется, придираться к автору по поводу странности его сюжета»³.

М. А. Загуляев, как нам представляется, обозначил процесс формирования нового читателя Достоевского, приближающегося к соразмерному восприятию текстов писателя (предстоит также исследовать его участие в продвижении Достоевского к европейскому читателю). Процесс этот был непростым и для самого Загуляева, о чем свидетельствует его претензия к роману, характерная для читательских страхов «тяжелого» Достоевского:

«Но почему господин Достоевский не захотел отказаться от манеры повествования, которую он избрал несколько лет назад, этой немножко болезненной и спотыкающейся манеры, которая **делает для многих очень трудным чтение его романов?** Эта особенность огорчительна, особенно в рассказах, сюжеты которых требуют зрелого взвешивания. Работа становится двойной и **может оттолкнуть тех, кто ищет в чтении только простое развлечение.** Если бы господин Достоевский мог выбрать другой прием повествования, его произведения, отмеченные столь высокой гениальностью, были бы более популярны и более высоко ценились бы, чем теперь. Будучи убежденными поклонниками его прекрасного таланта, мы хотели бы со своей стороны, чтобы все разделяли наши убеждения на этот счет, прежде всего поэтому мы позволяем себе высказывать наши соображения автору “Преступления и наказания”»⁴.

Пожелание «чтобы все» выглядит, конечно, несколько наивно, поскольку, следует признать, Достоевский – писатель «не для всех». Сам же Загуляев проговорился фразой о «тех, кто ищет в чтении только простое развлечение», – таким читателям по определению Достоевский и не нужен. Расширение круга избранных, о чем хлопочет критик, безусловно желательно, но надо понимать, что оно имеет свои естественные ограничения: «Бесов» и «Подростка» вряд ли когда-нибудь «с базара понесут».

Нас еще ждут встречи с L. V. на страницах этой книги, а пока, как ни увлекательно беседовать с прорастающим сквозь тернии, формирующимся **читателем Достоевского**, приходится переместиться в самую нижнюю часть «спектра адекватности», к тем самым терниям.

Новую анти-Достоевскую кампанию, которая настраивала читателей на неприятие начавшегося романа, открыл (по совпадению, в тот же

³ Там же.

⁴ Там же.

день, что и Загуляев!) критик «Русского мира» В. Г. Авсеенко: он поспешил отметить безнравственную «авторскую распущенность» и «небывалую неблагопристойность» подробностей вроде обильных пощечин и частотности слов «плевать», «подлец», «разврат» и т. д.⁵ Нечто подобное Авсеенко, как мы помним, замечал еще в «Бесах», но там он оправдывал «грязные» подробности грязью изображаемого предмета, теперь же за всё должен был ответить автор. Критику надо было еще провести коварную мысль, что прежде, в «Русском вестнике», тексты Достоевского подвергались чистке (намек на историю главы «У Тихона»), а редакция «Отечественных записок» оказалась «невзыскательной» и напечатала текст, каким он был представлен автором.

Достоевский, констатировал критик, «вводит читателя в самую интимную глубину порока», – и из этого наблюдения, в общем-то небезосновательного, выводилось чрезвычайно серьезное **моральное** обвинение в адрес писателя: он **приучает читателя** «к мыслям и речам, которые лучше было бы не выносить на свет Божий из темных подполий». Социально-психологический эффект художественной деятельности Достоевского, как это видится критику, ведет к ослаблению нравственно-эстетического иммунитета образованного общества:

«Если считают ядовитыми для общества сладострастные изображения французских романистов <школы «натурализма» Золя – В.В.>, то еще более ядовитую надо считать литературу, которая держит читателя в смрадной атмосфере подполья и мало-помалу <...> притупляет его обоняние, приучает его к этому смрадному воздуху»⁶.

Защита от Достоевского морально-эстетической резистентности (если использовать медицинскую терминологию) русского общества во многом предвещала установки эстетического охранительства К. Н. Леонтьева⁷.

«Русский мир» на этом не успокоился. Уже через три дня тему поддержал анонимный фельетонист (не исключаем, что и это был Авсеенко, уж очень схожи), сообщавший, со слов некоего авторитетного автора модного журнала, что в моду входит соединение пестроты с простотой:

⁵ А. О. <Авсеенко В. Г.> Очерки текущей литературы. Новогодняя книжка «Отечественных записок». Чем отличается роман г. Достоевского, написанный для этого журнала, от других его романов, писанных для «Русского вестника». Нечто о плевах, пощечинах и т. п. предметах // *Русский мир*. 1875. № 27. 29 января.

⁶ Там же.

⁷ Позднее и сам Леонтьев в статье «Достоевский о русском дворянстве» («Гражданин», 1891, № 204) писал, что «Подросток» произвел на него «отрицательное, местами даже до болезненности тягостное и отвратительное впечатление».

«Фасон этот выработан совершенно самостоятельно в одной чисто-русской мастерской и носит чисто-русское название: *Подросток*. <...> Автор ссылается на новый роман г. Достоевского, в подкрепление своей главной мысли, что природа создала наготу не для того чтобы скрывать ее, и что нынешние дамские туалеты безнравственны именно потому, что все эти фру-фру изменяют естественные формы человеческого тела. Он приводит в пример Жан-Жака Руссо, который признаётся в своей исповеди, что во дни молодости любил из-за угла неожиданно показываться проходящим дамам в виде, приближающемся к естественному. Затем сообщаются наблюдения г. Достоевского над лучшими способами сбережения носильного платья, и опубликованный им секрет продолжительной носки сапог. <...> лиф *Подросток* темно-грязного цвета, отделанный *плевками* (совершенно новое *rassementerie* в русском вкусе, *trés á la mode* в нынешнем литературном сезоне)»⁸.

После этой беллетризованной «рекламной паузы» Авсеенко вновь вернулся к роману, дабы концептуально усилить свою позицию:

«В художественном таланте г. Достоевского есть стороны, где он является мастером; но есть *нечто*, постоянно мешающее ему напасть на эти стороны и толкающее его испортить дело там, где ему удастся выбраться на свою настоящую дорогу. Это фатальное *нечто* – **полное незнание действительной жизни**, неумение попасть в тот тон, в котором разыгрываются некоторые жизненные мотивы в практической действительности, привычка смотреть на многие явления жизни сквозь призму какого-то особенного, в высшей степени странного мирозерцания, не имеющего места в живой действительности»⁹.

Далее критик подробно пересказывает историю самоубийцы Оли и по поводу эпизода в борделе резюмирует:

«Факт сам по себе совершенно невозможен в действительности и потому никак нельзя сказать, чтобы он необходимо вытекал из обстоятельств рассказа. Автора просто **покинуло чувство действительности**, как покидает оно его каждый раз, как он увлекается идеей – **показать читателю всю глубину человеческого падения** и ввести его в самые тайные гнездилища порока и разврата»¹⁰.

Критик ничуть не ощущает противоречия в этих словах (выделенных нами), его ведет другая логика – собственной концепции.

⁸ Фельетон // *Русский мир*. 1875. № 21. 2 февраля.

⁹ А. О. <Авсеенко В. Г.> Очерки текущей литературы. Еще о «Подростке» г. Достоевского («Отечеств. записки», февраль) // *Русский мир*. 1875. № 55. 27 февраля.

¹⁰ Там же.

Увлеченность «грязными» подробностями, отсутствие «чувства меры» и составляет, по Авсеенко, «странность мирозерцания» Достоевского и, как уже говорилось, **опасность** для общественной морали. Разное, конечно, бывает «чувство меры», в данном случае щепетильность критика (прюдство, как тогда говорили на французский манер) переступает собственную меру из страха, если не ужаса перед неприкрашенной действительностью. Здесь, безусловно, есть проблема, создаваемая неистребимым стремлением искусства к расширению границ дозволенного. Опасна вседозволенность, но не лучше и брезгливость, переходящая в чистоплюйство. В «тайные гнездилища порока», получается по Авсеенко и ему подобным критикам Достоевского (несть им числа), литература не должна заглядывать: вдруг это кого-то соблазнит! «Малым сим», возможно, и не следует братья за такие романы, но, с другой стороны, не для них они и пишутся. Авсеенко абсолютизирует интересы одной возможной группы читателей, игнорируя интересы другой группы, для которой «посещение бездны» в высшей степени полезно.

Авсеенко повторит затем свои предостережения на другой, более солидной «площадке» журнала, в котором Достоевский печатал свои романы кроме «Подростка»:

«Его тема – нравственная болезнь, овладевающая человеком и повергающая его в глубину порока и разврата. Но это тема весьма опасная и скользкая. Изображение нечистых явлений психической и социальной жизни едва ли может быть предметом романа вне известных границ, полагаемых установившимися требованиями приличия и вкуса. Роман не специальная книга, предназначенная для известного, ограниченного круга читателей. Всё грамотное общество составляет публику романиста. Поэтому мы думаем, что, изображая грязь и ужас нравственного падения, романист не должен переступать черты, за которой кончается художественное впечатление и начинается неопрятное анатомирование зараженного организма. Г. Достоевский в последнем романе часто переходит за такую черту. В «Подростке» есть подробности, **возмущающие образованное чувство**, есть грязи, по нашему мнению, решительно неподобающие в литературном произведении»¹¹.

Против «грязного» романа ополчились и два провинциальных блюстителя нравов. Один из них подсчитал, что герой Достоевского

¹¹ А. <Авсеенко В. Г.> Литературное обозрение // *Русский вестник*. 1876. Т. 121. Январь. С. 507.

«...совершает всевозможные безобразия, непрерывно сквернословит, плюет по пять раз на одной странице (36 и 37 стр.) и даже по три раза в четырех строчках (47 стр.), попирает ногами всякие приличия и человеческие чувства, обижает родителей и родственников, и за всё это бранит себя пошляком и подлецом по четыре раза на странице (1 стр.)»¹².

Другой еще решительнее высказался о главном герое романа (написанного, разумеется, «в нервическом состоянии»):

«Этот нравственный урод уже с первых страниц романа отталкивает вас от себя своим нравственным безобразием. Он незаконный сын барина и дворовой женщины, и вот его мучит вопрос, каким образом между его отцом и матерью завязались амурные отношения. И при развитии этой темы **читатель обречен присутствовать** как раз столько времени, что ему, наконец, становится гадко; но **чувство гадливости не оставляет читателя в продолжение всего романа**, герой которого с циническим и идиотским апломбом повествует о разных перипетиях своей жизни. Не успели вы перелистовать страницу, на которой рассказывается, как герой еще в ранней молодости ознакомился со “всей женской наготой”, как вы уже на странице, повествующей о том, как герой с каким-то товарищем устраивали уличную охоту на женщин и т. д.»¹³.

Эстетическая идиосинкразия в этом случае как-то органично соединяется с идеологической:

«В чем же идея романа? Да в том же, в чем и идея “Бесов”. Г. Достоевский продолжает и в этом романе смотреть на молодую Россию, как на какой-то скотный двор Авгия, запруженный нечистотами...»¹⁴

Соседнее (географически) издание не согласилось с такой оценкой романа:

«Новый роман Достоевского “Подросток” уже успел вызвать едкие замечания нашего доморощенного зоила. Наш зоил увлекся недавними прецедентами автора “Подростка” и, видимо, не вникнув поглубже в смысл этого нового произведения, увидел в нем поклеп на молодое поколение. Подобный взгляд на новое произведение Достоевского более чем ложен. Раскольников, к несчастью, тоже новый тип и исключительно юный; неужели имеем мы право бросать камнем в автора за то, что он счел нужным обнажить перед обществом этот болезненный продукт его

¹² Т. Л. К. Журнальное обозрение // *Киевский телеграф*. 1875. № 19. 12 февраля.

¹³ Z. Z. –Z. <Герцо-Виноградский С. Т.> Литературные и общественные заметки. Новый роман г. Достоевского. // *Одесский вестник*. 1875. № 36. 13 февраля.

¹⁴ Там же.

во всей наготе <...>? И в “Подростке” Достоевский, подвергнув своему верному психическому анализу больного, изломанного субъекта, взятого из действительной жизни, раскрывает перед нами страшную картину из будничной жизни¹⁵.

Далее критик анализирует идею Ротшильда, можно сказать, социологически:

«Отчего же не вернуться ему в ту рабочую среду, к которой принадлежала и мать его, и тот, кто должен был бы быть его отцом? Отчего не искать спасения в труде? На это у него уже не хватает ни сил, ни умения: он больной, изломанный субъект»¹⁶.

Так раскололась южная провинция в прочтении первой части романа. Одесского критика это не остановило, и вскоре он скрестит юмор Дерибасовской с чопорностью Авсеенко:

«...”униженные и оскорбленные” были исчерпаны художником в его “Записках из Мертвого дома”. После этого идет ряд исковерканных и искалеченных. <...> Читая “Бесов”, “Подростка”, вы **точно попадаете в неведомый вам мир**, где действующие лица не имеют ничего общего с обыкновенными людьми: ходят вверх ногами, едят носом, пьют ушами; это какие-то исчадия, выродки, аномалии, психические нелепости. В романе то и дело раздаются плевки, потасовки, пощечины, зуботычины, крепкие слова, выстрелы, отравления, вопли, драки, скандалы...»¹⁷.

Печать столичная между тем не желала уступать провинции. «Сын отечества» брезгливо отмахнулся от «Подростка», а заодно и от «Анны Карениной»:

«...роман г. Достоевского, подобно роману гр. Толстого, не отличается особенной прелестью и достоинствами, напротив, препорядочно скучен и презрительно растянут»¹⁸.

Эстетическое неприятие нового романа Достоевского поддержал критик либерально-народнической ориентации А. М. Скабичевский: «Как хотите, а это не искусство», т. к. исключительная задача «натурализма» Достоевского, как уверяет критик, – **произвести сильное впечатление на нервы читателя**. По-своему замечательную параллель позволил себе «биржевый» обозреватель: «...даже и трение пробкой

¹⁵ Журналистика // Новороссийский телеграф. 1875. № 43. 22 февраля.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Z. Z. <Герцо-Виноградский С. Т.> Литературные и общественные заметки // Одесский вестник. 1875. № 58. 13 марта.

¹⁸ Русская литература // Сын отечества. 1875. № 145. 28 июня.

по стеклу будет тоже искусством, потому что способно довести до истерики иного нервного человека»¹⁹.

Пробка пробкой, но Скабичевский попытался дать и несколько более внятное объяснение, почему сумасшедшие герои Шекспира (Лир) или Гоголя (Поприщин) оставляют читателя «спокойным созерцателем», а «полусумасшедшие» герои Достоевского возмущают его душевное спокойствие:

«...когда же читаете роман г. Достоевского, то **вы сами как будто участвуете** в галлюцинациях его героев и **переживаете вместе с ними** все их нравственные муки»²⁰.

Кажется, сказав это, критик теперь сформулирует, наконец, мысль о художественной специфике романа Достоевского, однако этого не происходит: сказав «а», он не говорит «б», как будто боится сделать следующий шаг. И взамен этого... зовет на помощь «эстетическую полицию»:

«Мне кажется, что в искусстве должен быть какой-то **предел**, за который оно **не должно переходить в своем действии на сердце читателя**, иначе оно перестает быть искусством, а делается самою жизнью»²¹.

Знаменательные слова (привет либеральному народнику Скабичевскому от консерватора Авсеенко!), маркирующие границу, которую пересек новый художник, но которую не решается за ним перешагнуть **старый читатель** (не по возрасту, а по эстетическому воспитанию). Внутренний конфликт разрывает Скабичевского, в целом-то одобрявшего «оригинальный замысел» с ротшильдовской идеей Подростка: мы видим, как уже готовый воспринять художественные новшества читатель безуспешно пытается освободиться от власти довлеющих над ним эстетических догм.

В дебаты о реалистичности первой части романа включился И. А. Куцевский (критик и талантливый беллетрист, слишком рано ушедший из жизни), предложив неожиданный вариант литературно-критического жанра – что-то вроде *автобиографической рецензии*. Для начала он оправдал «чрезмерность» шокирующих низменных подробностей в романах Достоевского.

«Так страшно и невозмутимо роется г. Достоевский в человеческой душе,

¹⁹ Заурядный читатель <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы // Биржевые ведомости. 1875. № 35. 6 февраля

²⁰ Там же.

²¹ Там же.

и иногда бывает жутко и неловко смотреть на него. Винить за это г. Достоевского было бы столь же, конечно, основательно, как винить какого-нибудь профессора патологической анатомии, роющего руками в сгнивших легких человека, умершего от чахотки. Если б никто не захотел мараить рук, разбирая и рассматривая эти легкие, мы бы до сих пор не знали – что эта за болезнь такая чахотка»²².

Без романов Достоевского, объявлял критик, будет невозможно лечение нравственных и социальных болезней²³. Тем самым были решительно и в корне дезавуированы стереотипно (и бесконечно) множащиеся претензии к Достоевскому, готовившие формулу «жестокоего таланта» [Михайловский]. Непосредственно о «Подростке» Куцевский пишет, апеллируя, как и его оппоненты, к опыту читателей романа:

«Если вы читали этот роман, **вы умышленно солжете, если скажете, что вас не пробирала дрожь, читая его**, что ваши чувства не были задеты, возмущены, взбудоражены. Такое впечатление может производить только один Достоевский»²⁴.

Останавливаясь на ротшильдовской идее Подростка, критик-беллетрист в поисках убедительной аргументации бесстрашно переходит к собственному жизненному опыту, подтверждающему реальность, а не фантастичность (как часто утверждалось) главного героя романа:

«Когда я приехал в Петербург, мне было шестнадцать лет, и я проделывал много глупостей. Между прочим, я точь-в-точь соображал, как герой г. Достоевского, что лучше всего мне сделаться российским Ротшильдом: прибавить к своим достоинствам и талантам обаяние капитала... Я никогда не пробовал писать, – и едва ли мог бы написать те соображения, которые привели меня к этому. **Г. Достоевский написал их**. Он сам, вероятно, и не испытал даже никогда страсти... нет! – не страсти – а ужаса к копленю денег. Пускаясь в откровенность, я без церемонии сознаюсь, что я взапрос мечтал

²² *Новый критик* <Куцевский И. А.> Новости русской литературы. «Подросток», роман г. Достоевского. Нечто о г. Достоевском. Его опала. Почему всё это произошло. Как опасно выставлять героя из молодого поколения ниже 80 лет от роду. Как опасно выставлять героем старца 80 лет. Выписка из Гоголя об этом предмете. Сюжет романа г. Достоевского // *Новости*. 1875. № 31. 31 января.

²³ «Врачом», «диагностом» позднее назвал Достоевского другой критик, полагавший, что «Подросток» – «этюд о душевной болезни» (Кифа <Ясинский И. И.?> Литературные заметки. Тургенев. Гр. Толстой. – Достоевский // *Астраханский справочный листок*. 1876. № 49. 22 апреля).

²⁴ *Новый критик* <Куцевский И. А.> Новости русской литературы // *Новости*. 1875. № 31. 31 января.

быть миллионером... <...> Я сам, нижеподписавшийся, клялся, что, сделавшись миллионером, буду ходить в рваной рубахе и в лаптях, чтобы весь народ удивился, почему все именитые купцы в собольих шубах и чиновники с кокардами кланяются мне чуть не до земли»²⁵.

Далее цитируются строки Некрасова «Огни зажигались вечерние <...> В кармане моем миллион!» (стихотворение «Секрет» [Некрасов; 1: 159–160]), еще раз подтверждающие верность Достоевского действительности, которой не хотели бы видеть брезгливые читатели. (Впоследствии Достоевский и сам вернется к этому стихотворению в «некрасовском» «Дневнике писателя» за декабрь 1877 г.)

При Куцеевском «Новости», где он был постоянным сотрудником, продолжали следить за печатанием «Подростка», защищая реализм Достоевского, «отдельных сцен, иногда просто **потрясающих читателя** своей жизненной правдой»:

«Читая роман, всякий из нас невольно вспомнит те несправедливости, которые он оказывал в двадцать лет своим старикам, так бескорыстно и тепло любившим его. Редкий (я не говорю про людей систематически и хорошо воспитанных) – редкий из нас, окончивши курс в гимназии, не считал себя великим человеком, не стремился к величию и не бодался, как козел»²⁶.

«Г. Достоевский, певец “униженных и оскорбленных”, <...> выводит обыкновенно на сцену людей маленьких, невзрачных, заставляет их вращаться в самой обыкновенной среде, испытывать самые мелкие, крошечные тревожения, так что сюжет его творений на первый взгляд кажется до того ничтожным, что и не стоило бы труда обрабатывать его. Но это только на первый взгляд; **чем больше вчитываешься в его произведения**, тем рельефнее выступают художественные красоты его обработки, тем живее, интереснее становятся его лица. Мелочная борьба каждого ничтожного индивидуума как бы отражает в себе ту борьбу любимцев судьбы, которая издали кажется гигантскою. Вы видите, что перед вами ползает червяк; но этот червяк жив; у него есть свои интересы, свои потребности, свои радости и печали»²⁷.

Правда, не прошло и месяца, как тот же критик уже сетовал, что роман его «утомил» обилием ненужных подробностей и речевым беспорядком:

«Господи, какие только выражения этот подросток не употребляет. Здесь вы встретите и “экспансивности”, и “рансеньированы”, и “конфидент”; а наряду с этими галантерейными светскими выражениями искренно выступают и наши растрепанные народные: “наплевать”, “свинство” и друг. Мне кажется,

²⁵ Там же.

²⁶ Фельетон. Новости русской литературы // Новости. 1875. № 65. 7 марта. Не исключено, что автором был тот же И. А. Куцеевский.

²⁷ М. В. Фельетон. Журналистика // Новости. 1875. № 120. 3 мая.

что художественность и верность произведения ничуть бы не пострадала, если бы г. Достоевский оставил в стороне все эти “экспансивности” и “свинства”... Бедный русский язык!..»²⁸.

2.

Окончание журнальной публикации «Подростка» (последние 9–13 главы третьей части вышли 21 декабря 1875 г.) собрало не так много рецензий.

Противоречивое отношение к роману, которое мы наблюдали у А. М. Скабичевского, сам критик, наконец, разрешил с присущей ему находчивостью: он приписал двойственность самому писателю. Подобную же идею критик четыре года назад приложил к творчеству Л. Н. Толстого и, опережая Михайловского, заявил о «противоречиях» «сильного художника» и «слабого мыслителя» (статья «Гр. Л. Толстой как художник и мыслитель», «Отечественные записки», 1872, № 8, 9), теперь пришла очередь Достоевского.

«Мне кажется, что в самом г. Достоевском, как писателе, сидят два двойника <...>: один из них представляется вам крайне нервно-раздраженным, желчным экстафиком и к тому же резонером, впадающим то в самый безнадежный, мрачный скептицизм, в котором вы не видите и тени хотя малейшей веры в человека, то, напротив того, в мистический бред не то в славянофильском духе, не то в духе переписки с друзьями Гоголя. <...> Как художник и романист, этот писатель крайне небрежен, иногда высказывает и поразительную неумелость. Он любит измышлять хитросплетенные, запутанные сюжеты для своих романов; но сюжеты эти бывают составлены обыкновенно так неловко, что вы читаете иногда целые сцены **и буквально не понимаете**, что такое говорят перед вами действующие лица, **и только перечитывая эти сцены в другой раз, когда вами ранее прочитан уже весь роман, вы догадываетесь о значении этих непонятных разговоров.** <...> вы встречаете целые сцены и главы, в которых герои говорят и действуют и которые поражают вас своею фантастическою необычайностью и таким странным колоритом, точно как будто действие романа совершается совсем не в той жизни, в среде которой вы живете, а на какой-то иной планете <...>. Прибавьте к этому ко всему тяжелый и нестройный слог и любовь к длинным отвлеченным рассуждениям самого туманного свойства. Вот вам один из двойников, составляющих г. Достоевского. Но рядом с ним существует другой совершенно противо-

²⁸ М. В. Фельетон. Журналистика // *Новости*. 1875. № 143. 31 мая.

положных свойств: это гениальный писатель, которого следует поставить не только на одном ряду с первостепенными русскими художниками, но и в числе самых первейших гениев Европы нынешнего столетия. <...> В противоположность своему хитроумному собрату, писатель этот крайне наивен и прост, но здесь перед вами наивность и простота гения. Когда вы читаете его, вас прежде всего поражает, что какие это самые заурядные, самые обыденные черты жизни берет он, но чем более вдумываетесь вы, тем более поражает вас общечеловеческое, глубокое, существенное значение этих черт»²⁹.

Так, от всего «Подростка» критик готов оставить только историю самоубийцы Оли да сцену матери и сына в пансионе Тушара, которую приводит в своей статье почти полностью.

«...всё остальное является совершенно излишними аксессуарами, переливаниями из пустого в порожнее запутанных интриг, резонерств, полоумного бреда людей не в полном разуме и пр. и пр.»³⁰.

Как-то это заявление не очень вяжется с титулом «первейшего гения Европы». Доверившись художнику только в той части, где он был ему близок и понятен, критик так и не разрешил собственного раздвоения между «старым» и «новым», как бы ни старался он перевести стрелки на писателя.

С более адекватным разбором романа, выражающим восприятие другой (очевидно, меньшей) части радикальной молодежи, выступил Л. А. Паночини на страницах уже знакомого нам «Киевского телеграфа», решительно изменив отношение этого издания к «Подростку».

«Что касается художественности романа <...>. Достаточно указать на всеми признанную репутацию автора его как психолога, на то **сильное потрясающее впечатление, какое производит роман этот на читателя...**»³¹

Критик сосредотачивает внимание на социальном мотиве романа, видя в нем сатиру на «культурный слой». Перебрав героев этого слоя (Версиллов – «избалованный тунеядец, грубый эгоист», Ахмакова – «любит денежки и из-за них готова, что допускает и втюрившийся в нее Подросток, снизойти до проституции», Анна Андреевна – «расчетливая и деньголюбивая, как жид»...), Паночини движется к целостной оценке произведения.

²⁹ Заурядный читатель. <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы // Биржевые ведомости. 1876. № 8. 9 января.

³⁰ Там же.

³¹ Н. Гребцов <Паночини Л. А.> Журнальное обозрение. «Подросток», роман Ф. Достоевского («Отечественные записки» 1875 года, №№ 1 1, 12) // Киевский телеграф. 1876. № 6. 14 января.

«Роман оставляет в читателе тяжелое чувство. Невольно возникает в голове желание бежать куда-нибудь из этого Бедлама <...>. Весь роман построен на двух пружинах: страсти к наживе и любовной, и обе эти страсти доходят в людях этого слоя до мании, до какого-то дикого остервенения. И в здоровом обществе эти две страсти существуют и являются также главными двигающими пружинами. Но здесь не одни они будут – будет еще любовь к людям и религия. Кроме того – это будут животные страсти, идеализированные гуманностью, очеловеченные; главное же – они никогда не достигнут такой напряженности, так сказать, беззаветности – это главное. В здоровом обществе труд – основа жизни, а религия – регулятор ее. <...> Прочитайте “Подростка” и посмотрите, есть ли в нем хотя одно действующее лицо, которое бы имело у себя религию, определяющую все его поступки, которое бы делало лишь то, что должно, а не то, что хочется. Такая личность есть – это Макар Иванович, бывший крепостной г. Версилова, потом странствующий собиратель пожертвований на церкви и богомолец. Но Макар Иванович, человек глубоко религиозный – не культурного слоя дитя, а мужик. <...>. У человека, трудящегося в поте лица своего и имеющего религию, подобных вулканических мерзостей не может быть»³².

В киевском критике, особенно в его рассуждениях о здоровом обществе зримо ощущается представитель поколения, возросшего на романе «Что делать?», Паночини и в самом деле приближался к революционным кругам. Но, что удивительно, из своих рациональных представлений о параметрах общественного здоровья он не выбрасывает религию и «путаного» Достоевского, более того, защищает романиста от расхожих обвинений со стороны идейных единомышленников и оригинально объясняет зависимость структуры романа от структуры современной жизни.

«Внешняя характеристическая черта жизни, описываемой г. Достоевским, – это ее многообразие, **сложность**, запутанность. Через это роман делается немного неудобочитаемым, но это отчасти, может быть, вследствие технических недостатков. Само по себе это многообразие – явление, сопутствующее прогрессу, вернее, часть его. <...> Таково у нас время с начала 60-х годов, время, взбудораженное рядом реформ, время непривычного и неожиданного. Старые боги упали, новых нет: личность разнуздана и не знает, что с собой делать; она мечется и бросается из стороны в сторону <...>. Вот почему роман нашего времени непременно должен быть запутанным, полным интриги и всякой махинации. Вот почему и монте-кростовская запутанность и чудовищность фабулы “Подростка” полна жизненной правды и вполне соответствует “духу времени”

³² Там же.

и духу описываемой романом среды, на которую реформенное наше время повлияло наиболее разрушительно»³³.

Однако последнее слово радикальной критики в 1876 году принадлежало не Паночини. Вернувшийся к Достоевскому П. Н. Ткачев отвел писателю VII–X главы большой обзорной статьи «Литературное попури», печатавшейся в четырех номерах журнала «Дело». Достоевский здесь рассматривается в ряду таких писателей, как Н. Алеева и М. Вовчок. Ткачев всячески подчеркивает свою принадлежность к направлению так называемой реальной критики, варьируя ее положения, сформулированные Н. А. Добролюбовым. Что касается Достоевского, то Ткачев прямо отсылается к статье своего учителя «Забитые люди» и берется применить ее положения к новому произведению писателя – роману «Подросток».

Начинает критик с того, что называет Достоевского «одним из первокласснейших художников нашего времени», но затем, собственно-ручно дезавуируя эту оценку, вспоминает, что талант писателя все-таки «односторонний», сосредоточенный на «психиатрии» вместо психологии, а после оговорки вытаскивает из архива некогда сказанное Добролюбовым по поводу «Униженных и оскорбленных» и прилагивает старый ценник к новому товару: «значение г. Достоевского, как художника с чисто-эстетической точки зрения очень и очень не велико»³⁴.

Противоречия, разрывавшие, как мы помним, Скабичевского, и здесь выходят на сцену. Вот, к примеру, такой пассаж выдает реальный критик:

«Он смотрит на человеческую душу сквозь увеличительное стекло и это стекло он всегда наводит лишь на известные душевные состояния, на известные явления и факты психического мира; эти-то излюбленные им состояния, явления и факты всегда выдвигаются у него на первый план, принимают чрезвычайные, непропорционально огромные размеры и, само собою понятно, **производят на читателя резкое, сильное, нередко потрясающее впечатление**»³⁵.

«Потрясающее впечатление», которое получил Ткачев-читатель, Ткачев-критик спешит отнести к воздействию «непропорционального» изображения человеческой души, искажающего действительность. Как

³³ Там же.

³⁴ П. Никитин <Ткачев П. Н.> Литературное попури. (Статья вторая) // Дело. 1876. № 5. Современное обозрение. С. 309.

³⁵ Там же. С. 308.

это может быть (да еще «само собою понятно»)? Случается, при известных обстоятельствах, что ложь производит некоторое впечатление, но «потрясти» может только правда, то, что соприкасается с действительностью. Последующий равнодушный разбор творчества Достоевского и его последнего романа доказывает, что Ткачев увидел в них нечто действительно задевающее за живое.

Не замечая, что противоречит сам себе, критик заявляет о «непропорционально сильном освещении» душевных состояний героев у Достоевского, при котором они «кажутся исключительными, ненормальными»:

«Но вот именно благодаря этому обстоятельству, их понимание значительно облегчается, **они становятся видимыми для самых близоруких людей**, а критика черпает в них драгоценный материал для характеристики целого типа не только отвлеченных чувств и страстей, но и живых, конкретных характеров»³⁶.

Повторяя вслед Добролюбову, что роман Достоевского ниже «критики эстетической», Ткачев применяет к нему «критику публицистическую», довольствующуюся предлагаемым писателем «материалом». Так же, как и Добролюбов, Ткачев не замечает здесь противоречия, на которое его предшественнику указал Достоевский в статье «Г. –бов и вопрос об искусстве»: высокого качества «материал» может дать только истинный художник, утилитарное отношение к искусству вредит самим же утилитаристам, они «идут прямехонько против самих себя» (18: 91).

Что же за «материал» нашел Ткачев у Достоевского? По существу, тот же самый, что и Добролюбов: изображение «забитого человека». Забитость у одних выражается в «холопской приниженности», у других же – «напротив, в злобном ожесточении». Ткачев останавливается на этом втором варианте. Со времен Добролюбова, говорит он, «утекло много воды» и положение «русских интеллигентных забитых людей» сильно изменилось.

«...бесцельное и бессмысленное озлобление перестало удовлетворять наиболее развитую и сравнительно наиболее счастливую часть забитых людей. <...> Они стали задумываться, мысль напряженно работала; идеи нарастали за идеями; ум всё более и более отвлекался от будничной, практической деятельности, всё дальше и дальше уносился в беспечальную область отвлеченных идеалов. Скоро оказалось, что в этой-то области и следует искать спасения. <...> И вот на место или, лучше сказать, рядом с людьми

³⁶ Там же.

“ожесточенными” и “озлобленными” появились теперь люди идейные. Первые искали выхода в чувственной разнузданности, в диких и безумных порывах животных чувств и инстинктов; вторые – в мире идей и “высших идеалов”.

Таким образом, идейные люди представляют третью, наиболее интеллектуальную, категорию забитых людей. Анализу их “души” г. Достоевский посвятил “Преступление и наказание”, и “Подростка”. В первом из этих произведений анализ этот крайне односторонен и неполон, а в “Подростке” он достигает той глубины, той обстоятельности и той сравнительной объективности <...>. И мне кажется, последний роман г. Достоевского имеет почти такое же значение для оценки *идейных* забитых людей, какое имел его первый роман (“Бедные люди”) для оценки людей типа Девушкиных, Голядкиных и им подобных»³⁷.

Ткачев подробно анализирует социально-психологические корни ротшильдовской идеи Подростка, залегающие не только в буржуазном строе современного общества (власть денег), но и в свойствах личности героя, принадлежащего к новым, «идейно забитым людям». Критик объясняет поведение унижаемого героя в пансионе Тушара (уход в лакейство) и на рулетке у Зерщикова («я не только вор, но я и доносчик») тем, что «забитый человек находит наслаждение в созерцании своего самоуничужения»³⁸. Прикоснувшись к субстанции подпольного сознания, выведенного Достоевским, критик тут же уходит в сторону, истолковывая его исключительно как «протест рабского бессилия». Такого рода протест, полагает Ткачев, и выливается в создание соответствующей ему «идеи». Конечно, говорит он, идея Подростка «свидетельствует о человечности его натуры, она – та “божия искра”, которая выделяет его из толпы бездейных, пресмыкающихся рабов», однако по сущности своей, проистекающей из власти денег и безвольного эгоизма, она выражает лишь «рабское бессилие». Таким образом трактуя идею Подростка, Ткачев проходит мимо ее главной составляющей – момента необходимого самоутверждения личности, столь же неизбежно искажаемого при недостатке внутреннего «благообразия».

Мечты Подростка о своем будущем могуществе, которым он не воспользуется, довольствуясь одним сознанием сего могущества, Ткачев также трактует по-своему:

«Вникните же в душевное состояние человека, способного рассуждать таким образом. Он так освоился со своим “униженным”, затертым положением,

³⁷ Там же. С. 315–316.

³⁸ П. Никитин <Ткачев П. Н.> Литературное попури. (Статья третья) // Дело. 1876. № 6. Современное обозрение. С. 3.

что в его голове даже и мысли не является высвободиться из него. Он может себя представить Ротшильдом, но Ротшильдом забитым, “униженным и оскорбленным”, гордым одним только внутренним сознанием, что я, мол, все-таки Ротшильд! Богатство и сила нужны ему не для того, чтобы действительно, реально отстаивать свои человеческие права, а только для того, чтобы иметь право сказать себе: “мог бы и я пользоваться всеми этими правами, да сам не хочу!”³⁹

Такое прочтение вряд ли находится в согласии с романом, зато оно в полном согласии с концепцией не способных к реальному протесту «забитых людей», концепцией, **роману навязанной**.

В самом конце статьи Ткачев намекает, что есть и другие, «реальные подростки», чьи идеи проистекают не из господствующей среды, стремящейся только к наживе.

«...существенная особенность «идеи» реальных подростков в том именно и состоит, что она находится, обыкновенно, в резком противоречии с интересами и потребностями, унаследованными ими от породившей их среды. Автор проглядел этот факт. <...> Таким образом, и последний роман г. Достоевского (как и некоторые из предыдущих, в особенности “Бесы”), несмотря на мастерской анализ характеристических особенностей души “забитого идейного человека”, далеко не удовлетворяет той жизненной правде, на которую реальная критика смотрит как на один из главных критериев, определяющих общественное значение всякого художественного произведения»⁴⁰.

Намек был ясен. Критику желалось увидеть тип героя из современной молодежи, презирающей погоню за наживой и способной к самопожертвованию ради великой цели. Достоевский скоро и сам придет к этому типу эпохи, только Ткачев его не узнаёт и отнесет к «новым забитым людям» (о чем речь еще впереди). Мы имеем в виду Алексея Карамазова, так характеризуемого автором: «...был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшей из мрака мирской злобы к свету любви души его» (14: 17).

Сыграла ли для Достоевского какую-то роль «подсказка» Ткачева, трудно сказать (как и в случае «подсказки» Михайловского в статье о «Бесах»). Диалог с критикой со стороны Достоевского был непредсказуем, как и полагается живому диалогу.

³⁹ Там же. С. 10–11.

⁴⁰ Там же.

В критике Ткачева при всех удалениях ее от романа, была всё же своя логика. Далеко не всегда этим могли похвастать враждебные Достоевскому авторы.

Предел вкусовой критики, можно сказать, диктат устарелого и при этом агрессивного «вкуса» продемонстрировала «Иллюстрированная неделя», передавшая затем эстафету «Иллюстрированной газете». В обеих хозяином был В. Р. Зотов, организовавший в своих «Петербургских письмах» эстетико-моральное преследование Достоевского. Критик-журналист уже до этого оформил свою позицию по отношению к писателю, опубликовав его краткую биографию⁴¹, вызвавшую, по прочтении, резкую отповедь Достоевского в январском «Дневнике писателя» 1876 г (22: 37–38). Начиная с «Преступления и наказания» писатель, по утверждению критика, «вступил на ложный путь» изображения «болезненных аномалий». Достоевский, вероятно, имел основания заподозрить своего биографа в элементарной зависти (24: 117–118): Зотов был весьма плодовитым, но малоуспешным прозаиком.

В «Иллюстрированной неделе» критик навязывал свое восприятие читателю, говоря как бы от имени самого читателя – старинный способ манипулирования сознанием. Практически каждую публикацию романа в «Отечественных записках» критик сопровождал руководящим комментарием.

9 марта 1875 г. «Первые главы этого произведения нас положительно не удовлетворили». Только глава о самоубийстве Оли «напомнила прежнего Достоевского, который сказал так много хорошего своим “Мертвым домом”, “Униженными и оскорбленными” и **затем убил свою репутацию “Бесами”, “Идиотом”** и другими произведениями болезненной, горячечной фантазии». В «Подростке» автор задал «так много труднейших и запутанных психологических вопросов», что непонятно, как он их сможет разрешить⁴².

18 мая 1875 г. Вторая часть в апрельском номере «значительно менее интересна, нежели первая, и вся наполнена распутываньем какой-то, пока еще непонятной, сложной интриги <...>. Нам кажется, что автор слишком вдался в массу подробностей, крайне мелких и никому, кроме его самого, не интересных, а между тем главная фабула романа вовсе не продвигается вперед». Это «понижает тон романа, разрушает общее его впечатление, делает всё произведение монотонным, растянутым. <...> Если автор в дальнейшем

⁴¹ В. З. <Зотов В. Р.> Достоевский Федор Михайлович // Русский энциклопедический словарь, издаваемый профессором С.-Петербургского университета И. Н. Березиным. Отдел II. Т. 1: Д–Ж. СПб., 1874[–1875]. С. 475.

⁴² <Зотов В. Р.> Петербургские письма // *Иллюстрированная неделя*. 1875. № 110. 9 марта. С. 154.

развитии романа будет так же растянуто описывать вводные, не идущие к делу сцены, то этим окончательно отобьет охоту продолжать его чтение»⁴³. 8 июня 1875 г. «С каждой новой главой этого произведения интерес его всё более уменьшается и надо много терпения и усилий воли, чтоб продолжить его чтение. Роман этот – произведение положительно нездоровое, и г. Достоевскому можно серьезно посоветовать отдохнуть, успокоиться, полечиться и до времени не утомлять свою уставшую голову измышлением романов с невозможной фабулой и полусумасшедшими героями романов, в которых нет ни жизни, ни правды, ни даже, местами, простого здравого смысла. <...> Грустно видеть человека, еще недавно со славою стоявшего во главе нашей литературы, а теперь опустившегося до того, что произведения его не только стали скучны, бесцельны, но и просто непонятны. Из уважения к читающей публике, к самому себе, к своим прежним заслугам г. Достоевский должен был бы отказаться от литературы, если не может писать иначе»⁴⁴.

5 октября 1875 г. (после долгого перерыва в печатании). «...это не роман, а очень неудачное произведение <...>. Особенно теперь, когда в течение лета, разумеется, совершенно забылась запутанная, сложная и невозможная интрига романа, целые страницы и главы его кажутся каким-то невозможным бредом: кажется, написано по-русски, правильным, отчетливым языком, толпа разнородных лиц толкается в нем, что-то говорит и делает, но из всего этого выходит невообразимый сумбур, в котором местами нельзя доискаться и тени смысла»⁴⁵.

14 декабря 1875 г. «И без того уже болезненно сложная интрига запутывается еще больше, автор видимо теряет и перепутывает все ее нити и ведет рассказ с такою непоследовательностью и отрывочностью, которая плохо рекомендует состояние его духа»⁴⁶.

18 января 1876 г. «Что касается до художественной стороны романа Достоевского, в этом отношении он представляет немало интересных глав и несомненно талантливых страниц, но в общем это всё же слабое, больное произведение; автор не только не сладил с основной идеей, но в дальнейшем развитии запутанной фабулы вовсе позабыл о ней, отбросил в сторону. От этого, при остальных недостатках романа, общее впечатление раздваивается, интерес значительно понижается»⁴⁷.

⁴³ <Зотов В. Р.> Петербургские письма // *Иллюстрированная неделя*. 1875. № 119. 18 мая. С. 295.

⁴⁴ <Зотов В. Р.> Петербургские письма // *Иллюстрированная неделя*. 1875. № 122. 8 июня. С. 346.

⁴⁵ <Зотов В. Р.> Петербургские письма // *Иллюстрированная неделя*. 1875. № 139. 5 октября. С. 619.

⁴⁶ <Зотов В. Р.> Петербургские письма // *Иллюстрированная неделя*. 1875. № 149. 14 декабря. С. 779.

⁴⁷ <Зотов В. Р.> Петербургские письма // *Иллюстрированная газета*. 1876. № 3. 18 января.

Приведенные фрагменты можно было бы озаглавить «Дневник непонимающего читателя». В какой-то мере на нем сказалось общее недоброжелательство журналиста, но в гораздо большей степени непонимание порождено **эстетическим разрывом между читателем и автором**. Так, ожидая развития заявленной идеи Ротшильда и не находя ее в романе, критик спешит отнести сей факт к просчетам писателя. Между тем в сюжетном плане романа эта идея – лишь антураж, одно из проявлений общего нравственного «беспорядка», составляющего, так сказать, тотальный сюжет романа, не прочитанный критиком. Вместе с тем в истории восприятия романа стоит иметь в виду и отмеченный критиком факт разрыва чтения у первых читателей, когда после долгого перерыва в журнальной публикации (с 18 мая до 19 сентября) ослаб интерес к нему и в значительной степени потерялась необходимая при чтении большого эпического произведения захваченность его течением.

3.

В истории восприятия «Подростка» прижизненной критикой особая роль принадлежит Всеволоду Сергеевичу Соловьеву, сопроводившему роман своим «конвоем» параллельно Зотову, но в противостоянии с ним. Молодой критик более всех других поработал над созданием положительного для Достоевского фона в тогдашнем медиапространстве.

В первый день нового 1873 года, когда началась новая жизнь для автора «Бесов» и с этого дня редактора еженедельника «Гражданин», Достоевский идет знакомиться с 24-летним выпускником юридического факультета Московского университета, старшим сыном знаменитого историка С. М. Соловьева Всеволодом. Накануне он получил от него письмо, поразившее писателя, гонимого критикой, особенно за его «сумасшедший» и «вредный» роман «Бесы». В письме же молодого кандидата прав Достоевский прочитал такие слова: «Вы играете в моей жизни громадную роль – бывают минуты, когда я дышу Вами» [Летопись; 2: 327]. Последовавшее знакомство привело к быстрому и тесному сближению. Писатель вводит нового знакомого в свой самый ближний круг, посвящает в творческие планы, делится сокровенными воспоминаниями, а тот, в свою очередь, показывает литературные опыты и выслушивает советы мастера. Очевидно, Достоевский, оценив возможности Соловьева, рассчитывал на его сотрудничество в редактируемом

им «Гражданине». Судя по всему, редактор предложил ему руководство двумя разделами, библиографическим и юмористическим. Соловьев печатал в «Гражданине» небольшие статьи, проходя своеобразную литературную школу: «У меня чуткость слуха только теперь развивается под строгим влиянием моего замечательного, но, к несчастью, часто раздраженного учителя» [Летопись; 2: 435].

После ухода Достоевского из «Гражданина» в апреле 1874 года, уходит оттуда и Вс. Соловьев. Однако он уже всерьез «заболел» журналистикой, о чем в позднейшей (1900 года) «Автобиографии» вспоминал: «С половины 70-х годов я усиленно предался журнальной деятельности и между прочим вел отдел критики в “Петербургских ведомостях” и “Русском мире” (Черняева)»⁴⁸.

В «Санкт-Петербургские ведомости» Соловьев пришел по приглашению нового редактора Е. А. Салиаса и вел отдел критики во всё короткое время его редакторства с 1 января по 27 мая 1875 года. Уже в первом выпуске обозрения «Наши журналы» («Санкт-Петербургские ведомости», 1875, 11 января) за подписью *Sine ira* (без гнева – лат.) Соловьев формулирует свою установку на преодоление партийной узости журнальной критики: для решения задач, стоящих перед искусством, уверяет он, «нужен дух мира и любви», а не вражды и нетерпимости. Этой утопичной программе Вс. Соловьев оставался верен до конца жизни, и в упоминавшейся «Автобиографии» заявлял: «Я стоял вне каких-либо журнальных партий и лагерей»⁴⁹. Возвращаясь к первому выступлению нового критика «Санкт-Петербургских ведомостей», стоит также отметить установленные им ценностные ориентиры в лице трех вершинных явлений современной литературы: Лев Толстой, Достоевский, Тургенев (последнего он вскоре исключит). Тем самым был обозначен крутой разворот умеренно-либерального издания, которое прежде числило Достоевского в рядах «врагов прогресса». И дело было не только в одной данной газете: заявивший свою позицию начинающий критик противостоял мейнстриму тогдашних СМИ. Кстати говоря, после ухода Соловьева газета вернулась к полу-недоброжелательным оценкам творчества Достоевского. Так, В. В. Марков сообщал о падении читательского интереса к «Подростку» как следствии художественной неудачи писателя:

«...почти все характеры, выводимые им в “Подростке”, отличаются оригинальностью, переходящую в странность, но эта оригинальность повергает

⁴⁸ ИРЛИ. Ф. 326. № 62.

⁴⁹ Там же.

только в недоумение, потому что **мы не вполне понимаем мотивы**, руководящие их поступками. Сам подросток совершенно забыл о своей оригинальной идее...»⁵⁰.

Как будто отвечая своему преемнику, Соловьев в первой большой статье о «Подростке» ввел в оборот некий библиопсихологический мотив: значительная часть публики, предположил он, «просто *боится* его романов»⁵¹, потому что привыкла в литературе искать легкого чтения. Достоевский слишком труден для этой публики, к тому же он как нарочно собирает на своих страницах «всё, что только есть темного, больного, мучительного, безобразного в нашей общественной и личной жизни. Он вскрывает такую глубину человеческого я и освещает в ней такие явления, что иногда, действительно, мороз подирает по коже...»⁵². Правда, следует заметить, что это достоинство Достоевского в глазах критика оборачивается и его же недостатком:

«...в направлении этого тончайшего анализа, имеющего дело почти исключительно с темными и болезненными проявлениями человеческой и общественной жизни, и выражается односторонность его таланта»⁵³.

Эта оговорка может быть интерпретирована как вынужденная уступка подавляющему мнению, однако, как увидим далее, она выражала и некоторое колебание самого критика. Адекватная оценка произведений Достоевского, по убеждению Соловьева, возможна лишь в будущем, по выходе из сложившейся вокруг него «атмосферы». Тем не менее уже сейчас, уверен критик, можно говорить об удачной постановке фигуры заглавного героя вместе с его «юной эгоистической теорией» как «порождения темных сторон нашего общественного строя»⁵⁴.

Давая волю поэтическому воображению, критик описывает роман Достоевского как «тяжелое сновидение»:

«...всё перепутано, всё крутится, несется в каком-то вихре, и надо всем этим царит одно мучительное, давящее и необычно сильное ощущение. Проснешься – даже не помнишь подробностей этого сна; но испытанное в нем ощущение сохранилось всецело, и никогда его не забудешь»⁵⁵.

⁵⁰ В. М. <Марков В. В.> Литературная летопись // Санкт-Петербургские ведомости. 1875. № 272. 11 октября.

⁵¹ *Sine Ira* <Соловьев В. С.> Наши журналы // Санкт-Петербургские ведомости. 1875. № 32. 1 февраля.

⁵² Там же.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Там же.

⁵⁵ Там же.

К наблюдениям над сновидческой реальностью в романах Достоевского позднее придет и литературоведение [Бем]. К новациям Соловьева можно отнести и его суждение о юморе Достоевского, который «по силе и оригинальности напоминает юмор Диккенса».

«Являются новые люди, **сложные люди**», – продолжает критик разбор первой части романа и подробно разбирает эпизод самоубийства Оли в связи со «страшным вопросом» о волне самоубийств, ставших чуть ли не будничным явлением⁵⁶.

Как справедливо отмечает комментатор, «из всех печатных откликов на опубликование первой части романа наиболее сочувственным был разбор “Подростка” Вс. С. Соловьевым» [Архипова: 348]. Приятное открытие сделал тогда автор романа, писавший жене 6 февраля 1875 года: «У Пуцыковича же узнал, что *Sine ira* в “С.-Петербургских ведомостях” – вообрази кто! – Всеволод Сергеевич Соловьев!» (29₂: 8–9).

Вступился Соловьев за Достоевского и в связи с оправдательными оговорками Н. К. Михайловского относительно появления ретроградного писателя в передовых «Отечественных записках» («Записки профана» Михайловского, выразившие позицию редакции, опубликованы были в том же январском номере журнала, что и начало «Подростка»). «Что за предупредительность», – иронически восклицает Соловьев и называет «странным» признание, что, мол, если бы антинигилизм Достоевского в его новом романе был активнее, то редакция «Отечественных записок» отказалась бы «от чести видеть на своих страницах произведение г. Достоевского, даже если б он был гениальный писатель»⁵⁷. «Какое журнальное мужество, какие рыцарские понятия», – поддевает «профана» критик «Петербургских ведомостей»⁵⁸. К этому эпизоду как показа-

⁵⁶ *Sine ira* <Соловьев Вс. С.> Наши журналы // Санкт-Петербургские ведомости. 1875. № 58. 1 марта.

⁵⁷ Н. М. <Михайловский Н. К.> Записки профана // Отечественные записки. 1875. № 1. С. 158.

⁵⁸ *Sine ira* <Соловьев Вс. С.> Наши журналы // Санкт-Петербургские ведомости. 1875. № 32. 1 февраля. Накануне еще эмоциональнее поставил на место «профана» И. А. Кущевский: «И всякого должно взять зло при виде шавки, не только облаивающей слона, но еще объявляющей, что только по ее бесконечному великодушию и неизреченному милосердию, слон не был проглочен ею, шавкою, одним глотком, и благополучно, жив, здрав и невредим, прошел по улице... (Новый критик <Кущевский И. А.> Новости русской литературы // Новости. 1875. № 31. 31 января). «Цинической» назвал эту оговорку «Гражданин» (1875, № 5, с. 112), и «гримасой» – «Русский вестник» (1876, № 1, с. 499). В прогрессивном «Киевском телеграфе» ее назвали «неловой», но с противоположной стороны: «Как вы думаете, читатель, удовольствовалась ли бы подобными мотивами старая редакция “Современника”, знамя которого взяли поддерживать теперешние “Отечественные записки?” Боюсь, что нет» (Т. Л. К. Журнальное обозрение // Киевский телеграф. 1875. № 19. 12 февраля).

тельному для нравов «нашего печального времени» Соловьев вернется еще раз в обзоре «Наши журналы» в номере от 15 февраля, а затем (своеобразный ответ Михайловскому!) предпримет сравнительный анализ второй части «Подростка» на фоне тривиальных беллетристических и стихотворных опусов на соседних страницах «Отечественных записок» («Санкт-Петербургские ведомости», 1875, 3 мая).

К защите чести и достоинства писателя Соловьеву пришлось еще раз вернуться⁵⁹, когда В. Р. Зотов в «Иллюстрированной газете» (1876, 3 января) представил историю с указанной выше оговоркой Михайловского в оскорбительном для Достоевского смысле («клевета на меня» – 24: 129).

С октября 1875 г. до октября 1876 г. Вс. Соловьев ведет отдел критики «Русского мира»⁶⁰, сменив известного нам В. Г. Авсеенко и резко повернув руль теперь уже другого издания, и тоже ранее не благоволившего Достоевскому. В первом же выпуске обзора «Русские журналы», подписанного криптонимом «В. С.», новый критик заговорил о Достоевском. Вот как Соловьев оценил роман «Подросток», когда после летнего перерыва в «Отечественных записках» были опубликованы четыре первых главы заключительной третьей части: герой потрясен оскорблением в игорном доме, и появляются два новых персонажа, как два полюса, равно влекущие к себе Подростка – Макар Иванович («благообразие») и Ламберт («подлость»), обозначен «приступ к окончательной катастрофе»:

«Действие запутывается всё более и более. Почти все без исключения выведенные лица представляют характеры сложные и крайне болезненные. Жизнь этих людей – какой-то непрерывный и несносный бред, оставляющий в читателе самое тяжелое впечатление. Невозможно остановиться на новых появившихся главах, пока дальнейшее развитие романа не распутает перепутавшиеся нити. Остается заметить одно: признавая и глубоко ценя высокий талант почтенного автора, являющийся в полной своей силе и на страницах “Подростка”, убеждаясь

⁵⁹ Вс. С.-в. <Соловьев Вс. С.> Современная литература // *Русский мир*. 1876. № 23. 24 января.

⁶⁰ Приходится признать ошибку, допущенную в статье: *Викторович В. А., Голосова О. Е.* Соловьев Всеволод Сергеевич // *Русские писатели: 1800–1917: Биографический словарь*. Т. 5: П–С. М.: Большая российская энциклопедия, 2007. С. 742–743. Ошибочно указаны даты сотрудничества критика в «Русском мире»: «с окт. 1875 по 1878». Правильно: с окт. 1875 по окт. 1876. Указанные далее статьи «Русского мира» 1877 года принадлежат С. А. Венгеру (псевдоним W), который пришел на смену Соловьеву.

в действительном существовании тех болезненных явлений, которые он подмечает в нашем обществе, мы всё же не можем думать, что одни эти явления достойны серьезных исследований. Едва ли возможно представить себе общество, состоящее исключительно из лиц, действующих в “Подростке”»⁶¹.

Возникает ощущение, что критик пытается примирить «негатив» прежних высказываний газеты, принадлежавших В. Г. Авсеенко, с новым «позитивом», хотя при этом странным образом не замечая фигуру Макара Ивановича, которому в рецензируемых главах отдано самое большое пространство текста. Впрочем, в «негативных» отголосках нового обозревателя хорошо слышны и его собственные, цитированные выше, представления об «односторонности» изображения действительности в романе Достоевского.

Очевидно, именно эта статья Соловьева привела к первой серьезной размолвке писателя и критика, которую последний описал в своих мемуарах [Достоевский в воспоминаниях; 2: 216–217]⁶². Судя по всему, умолчание критика о Макаре Ивановиче и явная недооценка им этого образа и вызвали наибольшее раздражение романиста. По версии мемуариста, устные разъяснения автора оказались гораздо интереснее и богаче им написанного:

«Достоевский говорил часа два <...>. Если бы то, что он говорил мне тогда, появилось перед судом читателей, то они увидели бы один из высочайших и поэтических образов, когда-либо созданных художником». Опять же по версии Соловьева, Достоевский в конечном счете согласился с ним («я знаю, что вы правы <...>; но мне было так тяжело, что именно вы дотронулись до самого больного места!..») [там же].

Скорее всего, подобная сцена действительно имела место, но смысл ее остался закрытым для самоуверенного молодого критика. Достоевский, с одной стороны, бывал чрезмерно самокритичен (нечто похожее мы наблюдали в эпизодах его согласия с укоризнами Н. Н. Страхова), а с другой, образ Макара Ивановича уже вел его к будущему старцу Зосиме, и в разговоре с Соловьевым писатель, возможно, значительно развил свою «любимую» (что отметил и Соловьев) художественную мысль.

В ноябрьском номере «Отечественных записок» появились 5–8 главы третьей части, и они дали возможность Соловьеву продолжить

⁶¹ В. С. <Соловьев В. С.> Русские журналы // *Русский мир*. 1875. № 181. 4 октября.

⁶² Публикаторы мемуаров дали ошибочный комментарий к этому эпизоду, отослав совсем не к тем статьям В. С. Соловьева [Достоевский в воспоминаниях; 2: 524].

разговор о романе в той же рубрике «Русские журналы» «Русского мира». По утверждению критика, теперь наконец прояснилась фигура Версилова:

«Перед нами один из “алчущих правды”, из немногих людей, искренно и с мучением останавливающихся на думах о будущем человечества и горячо принимающих к сердцу его настоящее»⁶³.

В подтверждение Соловьев приводит видение обезбоженного мира как «оригинальную фантастическую идею, бродящую в голове Версилова». Далее Соловьев вновь защищает Достоевского от «профана» Михайловского, на сей раз от обвинения в злоупотреблении уголовными хрониками⁶⁴. Напротив, утверждает критик «Русского мира», «судебная хроника <...> оказывается самым верным отголоском жизни». Соловьев вполне разделяет опасения Достоевского за судьбу молодого поколения, «этих потерянных мальчиков». Статья завершается словами:

«Мы высоко ценим чуткость таланта Ф. М. Достоевского, постоянно подмечающего каждое ядовитое испарение, появляющееся в общественной атмосфере и отравляющее слабые побеги молодой жизни»⁶⁵.

Следующий свой обзор, не связанный напрямую с Достоевским, Соловьев начал с рассуждения о современном «человеке, потерявшем почву», и потому критик естественным образом вышел на «художника-мыслителя», указывающего на это «мучительно-печальное» явление:

«Вот почему в последних произведениях Достоевского, самого современного и самого чуткого из наших лучших писателей, мы встречаем так много лиц, мечущихся во все стороны, жадно ищущих чего-то и безнадежно погруженных в темноту безрассветную. Всё это люди, потерявшие почву, проклявшие ее и не нашедшие себе исхода»⁶⁶.

Далее эту характеристику критик переносит на политических эмигрантов и переходит к рассказу А. Незлобина (А. А. Дьякова) «Кружок».

⁶³ В. С. <Соловьев Вс. С.> Русские журналы. Новые главы романа «Подросток» // *Русский мир*. 1875. № 237. 29 ноября.

⁶⁴ Н. М. <Михайловский Н. К.> Записки профана // *Отечественные записки*. 1875. № 1. С. 157.

⁶⁵ В. С. <Соловьев Вс. С.> Русские журналы. Новые главы романа «Подросток» // *Русский мир*. 1875. № 237. 29 ноября.

⁶⁶ В. С. <Соловьев Вс. С.> Русские журналы. Люди, потерявшие почву. Русские социал-демократы в Швейцарии. <...> // *Русский мир*. 1875. № 244. 6 декабря.

Из записок социал-демократа» в «Русском вестнике»⁶⁷. Очевидно, статья Соловьева привлекла внимание Достоевского к этому рассказу (24: 75). Да и вообще он становится внимательным читателем молодого критика, о чем и пишет ему 28 декабря 1875 г.: «Статьи Ваши в “Русском мире” читаю постоянно и №№ эти аккуратно покупаю. <...> Самый последний фельетон Ваш читал с особенным удовольствием» (29₂: 68).

Имелся в виду последний за год фельетон «Русские журналы», который Достоевский отметил также в записной книжке (24: 90). Соловьев предлагает здесь краткий пересказ (что он умел делать) романа Троллопа «The way we live now» как «картины современного английского общества, в среде которого, как и в других странах, заметны признаки нравственного разложения».

«Тяжелые, ужасные сюжеты дает такая эпоха писателю, и все более чуткие современные таланты в своих новых произведениях представляют мало светлых страниц <...>. Пусть же из новых романов глядят на нас все ужасы, все язвы нашего времени – но с этими ужасами и язвами нужно обращаться очень осторожно»⁶⁸.

В призыве к осторожности можно заметить нечто близкое давнему «авсеенковскому» опасению Соловьева насчет «односторонности»

⁶⁷ В ответ Соловьев получил пространное письмо от автора, оспорившего упрощения консервативной печати, недооценившей всепроникающее воздействие нигилистов на семью и администрацию: «в этом отношении я нахожу и “Бесы” г. Достоевского далеко не удовлетворяющим громадности задачи, чтобы выяснить нигилистическое влияние в нашем обществе, <...> если бы печать могла серьезно, без сатирического озлобления, проследить за деятельностью этих лиц и их влиянием на окружающих, то, вероятно, выяснилось бы многое, что заслуживает не одного высокомерного пренебрежения. Цюрихский архив русского кружка представляет громадную массу материала для обстоятельного выяснения нигилизма и социализма не в Цюрихе <...>, а в русском обществе, в семействе, где люди эти изолгались <?> в умеренных либералов и в благонамеренных дельцов. <...> Сколько сил, дарований, честности и правды погребено жертвой мишурного фразерства... и погибали не бессильные люди, а преимущественно честные и одаренные силой критической мысли, потому что только они и боролись с своими воспитательными традициями за новое направление, только они и могли страдать от нравственного разлада и хлыщевой безурядицы, носившейся в нашем обществе. Пустые и пошлые люди сдавались без боя, без протеста, и под доктриной социалистских учений несли одну жажду разврата и денег. Правда, это преобладающий тип, достаточно уже выясненный многими нашими писателями (Достоевский, Гончаров, Лесков и пр.), но он едва ли верен, <a> как представитель данной эпохи, по-моему, даже и совсем не верен. В женщинах это направление отразилось с особенной силой...» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. № 98. Л. 76–77). Более чем вероятно, что Соловьев показал это письмо Достоевскому. В таком случае оно «участвовало» в дальнейших размышлениях автора «Дневника писателя» о современной ситуации и о судьбе молодого поколения.

⁶⁸ В. С. <Соловьев Вс. С.> Русские журналы // *Русский мир*. 1875. № 262. 24 декабря.

Достоевского. Однако теперь он находит новый поворот: «нам нужно громкое, проникнутое страданием слово мыслящего наблюдателя», только слово подобного свойства поможет нам «уяснить себе настоящее наше положение, найти какой-нибудь выход из окружающего мрака». После таких заявлений приходит наконец момент истины, ее торжественного провозглашения:

«У нас есть такой наблюдатель <...>. Стоит внимательно и беспристрастно вслушаться в речь его, стоит взглянуться в область общественных явлений, которую он перед нами открывает, чтобы понять и оценить его значение в современной литературе как глубоко искреннего и замечательного толкователя самых характеристичных и печальных явлений нашей эпохи. Мы говорим о Ф. М. Достоевском...»⁶⁹.

В таком тоне и масштабе о писателе мало кто тогда говорил в публичном пространстве. На фоне скептических отзывов о «Подростке» это было особенно заметно. Далее критик берет под защиту произведение, печатание которого только что завершилось:

«В течение года толки газетных критиков не были особенно благоприятны этому роману; но дело в том, что на романиста пока нападали только за внешнюю сторону его произведения, да указывали на некоторые подробности этого во всяком случае глубоко задуманного и многое затрагивающего романа. Мы думаем, что, **перечтя его с начала до конца, следует отнестись к нему иначе**»⁷⁰.

Последний совет, увы, не был услышан в XIX веке. Но, с другой стороны, и сам-то «советчик» не разъяснил, что он подразумевает под «внутренней стороной» и «глубиной» произведения кроме самых общих указаний на изображенные в нем «темные» и «болезненные явления». Да, судя по дальнейшему, он и сам не последовал собственному предложению «перечесть с начала до конца» всего «Подростка». Это сделает только критика следующего века.

27 декабря 1875 года после публикации цитированной статьи Соловьев писал Достоевскому: «Если читаете “Русский мир”, то знаете, что я достиг своего. Говорю об Вас постоянно. Теперь приготавливаю статью для 1-го № и снова буду указывать на общественное значение Вашего романа»⁷¹. И действительно, в указанном номере в обзоре «Прошлый год в литературе» Соловьев (теперь Вс. С–в) вновь говорит о «Подростке» как

⁶⁹ Там же.

⁷⁰ Там же.

⁷¹ РГБ. Ф. 93. II. 8. 122. Л. 8.

о верной картине разложения современного общества, правда, и здесь не удержавшись от уклончивой оговорки: «Обвинения, высказанные критикой, может быть, и верны, но они далеко не достаточны для произнесения приговора над романом»⁷². Впоследствии Соловьев отмечал, что из «произведений о современной общественной жизни» в последнее время обратили на себя «всеобщее внимание» только романы «Анна Каренина» и «Подросток»⁷³. Думается, что по отношению к роману Достоевского это было некоторое преувеличение: во всяком случае, с критикой он явно разошелся, о читательском же спросе нам известно не очень много. Отдельное и единственное прижизненное издание романа 1876 года (сравнительно небольшим тиражом в 2400 экз.) расходилось с трудом. Да и сам Соловьев через пять лет писал совсем иначе: «"Подросток" не произвел сильного впечатления» [Достоевский в воспоминаниях; 2: 218].

Остывание от горячего увлечения Достоевским отчетливо выразило себя в переписке Соловьева с К. Н. Леонтьевым, которого он усиленно поддерживал вопреки критическому мейнстриму и с которым устанавливалась прочная взаимность. В отличие от Достоевского Леонтьев поддержал поворот Соловьева к «легкому» жанру популярной исторической романистики («Княжна Острожская», 1876) как поворот к эстетически «чистой» прозе: «...он восхитил меня, особенно тем, что в нем язык такой простой и благородный, чуждый всех тех юмористических грубостей, от которых избавиться не может ни Тургенев, ни Достоевский, ни даже Толстой...» (из письма Леонтьева В. С. Соловьеву 15 января 1877 г., [Литературное наследство; 86: 473]). Эстетическая, если не сказать эстетская, чистоплотность как программная установка К. Н. Леонтьева как нельзя лучше послужила утверждению Соловьева на его новом поприще. И отход от Достоевского в этом контексте становится еще более уверенным, санкционированным, так сказать, эстетически. В «исповедальном» письме от 12 июня 1879 года Соловьев пишет Леонтьеву, в частности, задевая печатающийся роман «Братья Карамазовы» и удивительно совпадая в оценках со своим корреспондентом:

«О Достоевском два слова: его в настоящее время на руках носят, хотя талант его, судя по последнему роману, в большом упадке. Но ведь он теперь представитель того мировоззрения, которое сделалось симпатичным многим русским людям, и к тому же автор "Преступления

⁷² В. С. С-в <Соловьев В. С.> Прошлый год в литературе // *Русский мир*. 1876. № 1. 1 января.

⁷³ В. С. С-в <Соловьев В. С.> Современная литература // *Русский мир*. 1876. № 51. 22 февраля.

и наказания” и “Записок из Мертвого дома”, как бы затем ни искажился – уже этими двумя творениями стал наряду с величайшими творцами-художниками XIX века» [там же: 484].

Эта расстановка ценностей творчества Достоевского останется незыблемой у Соловьева и впоследствии, когда он напишет некрологическую статью в «Ниве», а затем воспоминания о Достоевском («Исторический вестник», 1881. № 6, 7). В последних он объяснит художественную слабость романов, написанных после «Преступления и наказания», спешкой писателя, вечно нуждавшегося и болезненно страдавшего от «отсутствия денежных средств». (Очень личный мотив, сделавший самого Соловьева литературным поденщиком высокого ранга). В конечном итоге он придет к той точке зрения, с которой когда-то спорил или делал вид, что спорил:

«Потому-то в его романах так много неясного, запутанного, потому-то его романы, и в особенности последние, широко задуманные, в общем производят впечатление только богатейшего матерьяла для настоящих романов» [Достоевский в воспоминаниях; 2: 215–216].

4.

Сохранившиеся подготовительные материалы к роману «Подросток» дают возможность наблюдать движение творческой мысли писателя. В это движение составной частью входит реакция писателя на суждения критиков о романе. Так, записи от 22 марта 1875 г. под общим заглавием «Для предисловия», раскрывают замысел Достоевского отвечать критикам первой части романа в предисловии к отдельному его изданию. Достоевский, судя по этим наброскам, собирался ответить на главную претензию первых критиков «Подростка» относительно якобы оторванности романа от реальной жизни современного общества, нетипичности или даже исключительности изображенных характеров и ситуаций. Достоевский не мог с этим согласиться и обратил это обвинение против самих критиков. Формировалась твердая, энергичная и – горькая **антикритика**:

«Факты. Проходят мимо. Не замечают. *Нет граждан, и никто не хочет понатужиться и заставить себя думать и замечать.* Я не мог оторваться, и все крики критиков, что я изображаю ненастоящую жизнь, не разубедили меня. Нет *оснований* нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение, – и всё прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало» (16: 329).

Возникает вопрос, почему же критики не узнали даже и «фактов», отразившихся в романе. Дальнейший ход мысли Достоевского должен ответить на этот неизбежный вопрос. А далее следует развернутое сравнение автора «Подростка» прежде всего с Л. Толстым, к которому нередко прибегали критики (прежде всего Авсеенко) решительно не в пользу первого. Достоевский, напротив, утверждает, что «высокохудожественные» полотна Толстого, Гончарова именно и «изображали жизнь исключений»:

«Напротив, их жизнь есть жизнь исключений, а моя есть жизнь общего правила. В этом убедятся будущие поколения, которые будут беспристрастнее; правда будет за мною. Я верю в это» (16: 329).

В этих пророческих словах, выводя за скобки крайне полемическое суждение о коллегах, необходимое для заострения мысли, сказался не только знающий себе истинную цену художник, но и замечательно тонкий критик (одно перешло в другое). Такого критика ждал и не дождался писатель после публикации первой части «Подростка» (приблизившегося к этому уровню И. А. Куцевского Достоевский, видимо, не прочел), а затем ловил и с благодарностью отмечал хотя бы редкие проблески понимания в отзывах Всеволода Соловьева.

В набросках «Для предисловия» Достоевский в качестве критика Достоевского гениально сформулировал один из главнейших мотивов, мимо которого прошли другие критики:

«Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!» (16: 329).

О «подполье» героев «Подростка» критика писала, но как? Авсеенко сурово осуждал в романе «смердную атмосферу подполья», «мысли и речи, которые лучше было бы не выносить на свет Божий из темных подполий» (см. выше). Очевидно, эти порицания Достоевский и имеет в виду в тех же набросках:

«Подполье, подполье, *певец подполья* – фельетонисты повторяли это как нечто унижительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда. <...> Причина подполья – уничтожение веры в общие правила. “Нет ничего святого”. Недоконченные люди <...> вроде инженера в “Бесах”» (16: 330).

Такого масштаба критики на себя Достоевский так и не дождался. Приведенные наброски часто цитируются в литературе о Достоевском, но напрашивается вопрос, почему же сам писатель так и не осуществил

замысла антикритики в виде предисловия к отдельному изданию «Подростка». Возможно, автор не захотел брать на себя работу современных ему критиков и возложил все надежды, как он сам говорит, на «будущие поколения, которые будут беспристрастнее». Но самое главное: антикритика была необходима прежде всего самому автору в качестве **акта эстетического самоопределения**, и в этом качестве как движущая сила творческого процесса создания романа. Этот акт растворился в дальнейшем развитии замысла, а некоторые из притязаний критиков были учтены при выстраивании суггестивной «политики» романиста, отчетливо выразившейся в целеуказаниях самому себе: «БЫСТРЕЕ 2-ю часть» (16: 331); «Внезапное объяснение читателю себя самого (для ЯСНОСТИ à la Лев Толстой)» (16: 360); «Свидание ЕГО с нею должно быть в высшей степени искреннее с ЕГО стороны и РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ» (16: 372)⁷⁴.

Подобные установки не означали смену творческой стратегии («писать отрывистее» – 16: 130), изначально заложенной в художественный замысел романа тайн, разгадываемых героем и вместе с ним читателем. Речь шла о тактике вовлечения, втягивания последнего в экстраординарный универсум.

Еще одна тема несостоявшегося предисловия к «Подростку» – отчуждение критиков от эстетической реальности романа. Повторяемый на разные лады упрек – в отсутствии художественного единства. Как писал Ткачев, события следуют одно за другим без всякой, по-видимому, внутренней необходимости (он всё-таки оговаривается «по-видимому», но не поясняет своей оговорки). Элемент случайности был провозглашен преобладающим элементом поэтики «Подростка».

Сам Достоевский ситуацию разлада с критиками объясняет, обращаясь к ним в черновиках следующим образом: «Можно не понимать писателя по двум причинам: или потому что он пишет неясно **или через собственную умственную несложность**. Я полагаю, что вы не понимаете по сей последней причине» (16: 407). Действительно, та сложность, которая была эстетической природой нового романа, оказывалась по большей части непрочитанной в силу интеллектуальной неготовности

⁷⁴ В какой-то мере данные установки явились продолжением тех выводов, которые Достоевский сделал после критики Страхова (см. выше): «Избегнуть ту ошибку в “Идиоте” и в “Бесах”, что второстепенные происшествия (многие) изображались в виде недосказанном, намёчном, романическом, тянулись через долгое пространство, в действии и сценах, но без малейших объяснений, в угадках и намеках, вместо того чтобы *прямо объяснить истину*. <...> тем самым затемнялась главная цель, а не разъяснялась, именно потому, что читатель, сбитый на проселок, терял большую дорогу, путался вниманием» (16: 175).

критиков к ее восприятию. В частности, по адресу указанной выше рецензии С. Т. Герцо-Виноградского Достоевский выразился безапелляционно: «Говорят, что Оля недостаточно объяснила, для чего она повесилась. **Но я для глупцов не пишу**» (16: 330).

Мы возвращаемся к вопросу о «чрезмерной» усложненности романа, поднимавшемуся критиками. Где находился самый высокий и трудно-преодолимый барьер? Достоевский приводит показательный пример: «Мой рассказ о купце. Вы таких сложностей, в таком непосредственном виде, ни у кого теперь не сыщете» (16: 407). Имеется в виду рассказанная Макаром Ивановичем история «чудесного» преображения закореневшего во зле купца Скотобойникова, которая действительно может быть совершенно непонятна, если прикладывать к ней «простые» мерки позитивного мышления, каковые критика по большей части и прикладывала к роману Достоевского. Секуляризованный читатель далеко не всегда во времена Достоевского (да и сейчас тоже) готов был к восприятию такой сложности, гораздо легче было списать ее на «мистицизм» автора, что критика чаще всего и делала.

На первый план, разумеется, выступала сложность двух главных героев – Версилова и Подростка. К ним прямое или косвенное отношение имеет глубочайшее суждение писателя о сущности подпольного сознания в цитированном «предисловии»: присутствие идеала в душе, духовная жажда, потребность во что-то верить и при этом – отсутствие веры. «Вы сердитесь, что есть такие люди, – обращается писатель к критикам. – Чтoб вглядеться в них, открыть их – надо иметь любовь к людям. **Тогда будете иметь и глаза, и увидите**, что их множество. Подпольный человек есть главный человек в русском мире» (16: 407).

К числу не принявших роман относился и человек весьма искушенный в литературе – Иван Сергеевич Тургенев. В письме к Щедрину в конце 1875 года он говорит о публикации предпоследней порции романа в ноябрьском номере «Отечественных записок»: «Я заглянул было в этот хаос. О Боже! Что за кислятина, больничная вонь и никому не нужное бормотанье и психологическое ковырянье» [Тургенев. Письма; 11: 164]. Что конкретно вызвало такую реакцию Ивана Сергеевича? Речь идет о главах с 5 по 8 третьей части романа. В начале пятой главы – сцена объяснения Анны Андреевны с Подростком. Последний очень хорошо понимает, что собеседница ведет интригу и, конечно, лжет; она, что называется, себе на уме. Он всё это понимает, но прибавляет: «О, я чувствовал, что она лжет (хоть и искренно, потому что лгать можно и искренно)» (13: 340). Замечание в скобках – уже барьер для читателя,

большой вопрос – преодолет ли он его. Дальше больше: Подросток этой ложью увлекается, потому что она произносится с необыкновенным воодушевлением, как он говорит, и он даже готов соглашаться с лгуньей! И вот его резюме «О, мужчина в решительном нравственном рабстве у женщины, особенно если великодушен». И уточнение: «...а человек к тому же – такая сложная машина, что ничего не разберешь в иных случаях, и вдобавок к тому же, если этот человек – женщина» (13: 340). «Не разберешь» – простительно герою-подростку, но в таком же положении в романе вместе с ним оказывается и сам автор. Писатель же должен разобраться – требует от него недоумевающий читатель, в положении которого оказалось подавляющее большинство первых критиков романа.

Тургенев – читатель не рядовой, да и мотив таинственности души ему не совсем незнаком. Очевидно, у Достоевского иной градус таинственности, иная природа. В героях Достоевского имеет место множественная, многовекторная мотивация поступков героя, его психологической жизни. И эта множественность еще к тому же накладывается на множественность толкований в романе того или другого поступка. Читатель, таким образом, оказывается в мире двойной неопределенности: и гносеологической, и онтологической. Это мир, где мы не только не знаем, что есть истина, но даже и не уверены в том, что происходит на самом деле.

Дополнительную неопределенность вносит подростковое сознание. Кстати говоря, Тургеневу, как и многим критикам романа, копаться в психологии подростка было не очень интересно⁷⁵. К примеру,

⁷⁵ Единственное, пожалуй, исключение – анонимная рецензия в журнале «Детский сад». Рецензент оценивает роман в духе прогрессивных педагогических идей: Достоевский «дает глубоко верный психический анализ душевной жизни рано озлобленного подростка, причина «порчи» которого – «предрассудки барства» и «отсутствие любви». «Требование душевного благообразия, насколько могут догадаться по запутанному и горячешному изложению повести люди, знающие кровную потребность подростков, выросших в озлоблении и рано задумывавшихся над своей жизнью, — это потребность идеала, потребность руководящей нити в жизни», но в романе мало кто может предложить эту нить, поскольку всеми движет эгоизм. Исключением мог бы стать Версилов, но его «мистическая любовь к России и прозрение будущего ее мистического величия не дала сил для жизни, так видно из хода повести, хотя автор держится иного взгляда на своего героя». Другие претенденты – мать и сестра героя, но их «руководящая нить жизни — чисто женская любовь, вся жизнь их отдана любимому человеку — душевное благообразие очень дешевого сорта». Остается Макар Иванович, но и его благообразие, по мнению рецензента, сильно подпорчено тем, что оно «не от мира сего» (Подросток Достоевского // *Детский сад*. 1876. № 9. С. 458, 459, 461, 462).

история с Ламбертом. Подросток прекрасно понимает интригу, которую ведет Ламберт, и видит, что его хотят обмануть. Но при этом он идет за Ламбертом, он покупается на примитивную версию о возможности женитьбы на Ахмаковой. Подросток стремительно уверовал в такую возможность, ни на миг не утрачивая сознание, что всего этого, разумеется, не может быть. Как всё уложилось вместе, как это переварить «правильному» читателю? Так и критики ловились на простое решение и вслед за Ламбертом повторяли, что Ахмакова готова на любые сделки ради «документа».

Для понимания открытий «неправильного» Достоевского **должен был сформироваться и соответствующий «неправильный» читатель.** Роман «Подросток» с предельной откровенностью обнажил проблему. Своей кульминации достиг тогда не только идеологический, но и эстетический конфликт писателя и критики (и стоящих за нею читателей).

Этот конфликт описал М. А. Загуляев на собственном примере. Как мы видели, критик восторженно приветствовал начало публикации романа, однако всего лишь через месяц, прочтя продолжение, он убедился, что писатель не стал развивать идею Ротшильда, столь воспламенившую критика. По мнению последнего, уход в сторону от этой идеи нарушил последовательность и стройность повествования:

«... почти не продвигается вперед главная идея произведения, об оригинальности которого мы говорили. Эта вторая часть целиком посвящена эпизодам, как бы привитым на самую интригу и связь которых с этой интригой не очевидна»⁷⁶.

Огорчение Загуляева можно понять: роман пошел, по его убеждению, не в ту сторону. Явилось великое множество побочных (опять же с его точки зрения) эпизодов и героев, сломавших ожидаемую стройность и вызвавших ощущение хаоса (не у одного Загуляева, как помним). Критик предъявил счет писателю не только от своего имени:

«Беда в том, что пока что господину Достоевскому не удалось найти манеру письма, ясную **для большинства его читателей**, чтобы они понимали основные цели его произведений. Писатель оставляет **слишком много работы** тем, к кому он адресуется. Он недостаточно дает себе отчет в том факте, что **не все люди обладают** достаточной долей воображения и необходимой философской интуицией, чтобы с полуслова понимать новые и оригинальные идеи, которые одолевают несколько болезненный мозг романиста. Для многих людей читать романы господина Достоевского – это **настоящая работа**,

⁷⁶ L. V. <Загуляев М. А.> Les revues russes // Journal de St.-Petersbourg. 1875. № 55. 28 февраля.

и автор, похоже, не отдает себе в этом отчет, о чем весьма сожалеем, как в отношении романиста, так и в отношении читателя...»⁷⁷.

Сетования Загуляева оставляют двойственное впечатление: слово «работа» дважды фигурирует в приведенном отрывке в негативном смысле, как бы утверждая право читателя на легкое времяпровождение с книгой в руках. В конечном счете на потребу такого именно читателя стал писать исторические романы Всеволод Соловьев, разорвав с Достоевским. Вряд ли это был тот путь, на который толкал писателя Загуляев, но так, объективно говоря, получалось. В одном из следующих отзывов о романе критик посетовал, что опубликованные новые главы «очень немного продвигают развитие интриги этого романа и не представляют собой абсолютно ничего выдающегося»⁷⁸. Эта «измена» Загуляева огорчила писателя, сообщавшего жене:

«Даже “Journal de St-Petersbourg” похвалил было “Подростка”, но, вероятно, кто-нибудь дал приказ ругать, и вот в последнем № прочел, что в окончании 2-й части всё вяло “et il n’y a rien de saillant” <и ничего выдающегося – франц.>. То есть всё, что угодно, можно сказать, упрекнуть даже за прежние эффекты, но нельзя сказать, что нет сальянтного. Впрочем, вижу, что роман пропал: его погребут со всеми почестями под всеобщим презрением. Довольно, будущее покажет, а я энергии на будущее не теряю нисколько» (29₂: 46)⁷⁹.

Фраза Достоевского о «приказе» – эмоциональное преувеличение, Загуляев искренне выразил свою позицию, которую развил в конце года, при завершении печатания романа:

«Для мыслителя чтение нового романа г. Достоевского может еще иметь большое очарование, потому что оно подсказывает новые идеи и ставит вопросы жизненной важности, но **большинство читателей** требует от произведения искусства совсем другого, чем **работа мозга, увлекательная, но тяжелая**. Раньше г. Достоевский умел как бы удовлетворить обе категории почитателей его таланта, сегодня он, похоже, потерял свою прежнюю способность»⁸⁰.

Загуляев немного поторопился: «Братья Карамазовы» опровергнут его прогноз («романист скользит по склону, по которому нельзя

⁷⁷ Там же.

⁷⁸ L. V. <Загуляев М. А.> Les revues russes // Journal de St.-Petersbourg. 1875. № 150. 8 июня.

⁷⁹ Исправляем ошибку, допущенную в авторитетных научных изданиях (29₂: 215–216, комментарий и [Летопись; 3: 27]), отнесших реплику Достоевского к номеру газеты от 28 февраля. На самом деле она относилась к номеру от 8 июня.

⁸⁰ L. V. <Загуляев М. А.> Les revues russes // Journal de St.-Petersbourg. 1875. № 346. 28 декабря.

подняться обратно») и вернут критика в стан тех, кто считает работу чтения Достоевского тяжелой, но увлекательной. Невзирая на пресловутое «большинство».

5.

Как в случае с «Бесами», хотя не так решительно, в читательском восприятии окончание «Подростка» «наезжало» на первый выпуск «Дневника писателя» (вышел 31 января 1876 г.). Начинаясь уникальному проекту суждено было во многом переломить описанную выше коллизию и форсировать становление особой культурной институции: **читатель Достоевского**. Процесс был скорый, но не простой.

21 декабря 1875 г. в «Голосе» появилось первое объявление о подписке на «Дневник писателя»: «Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном» (22: 136). Январский выпуск «Дневника» вышел 31 января следующего года. За этот промежуток некоторые газеты успели отреагировать на саму идею издания. Первой отметилась «Петербургская газета», где автор рубрики «Листки из дневника Ивана Александровича Хлестакова» потехи ради обозначил свое первенство:

«Даже моим примером увлекся такой известный романист, как г. Достоевский и, вероятно, соблазненный успехом моего “дневника”, будет ежемесячно сам издавать “Дневник писателя”, заявляя в газетах: “одним, дескать, пером всё это писать буду...” Значит, что кроме “вечных чернилиц” есть еще “вечные перья”. Надо запастись!.. Не об этом ли самом вечном пере Федор Михайлович в покойной “Эпохе” написал некогда свой известный конфетный билетик:

Ро-ро-ро,

Золотое перо?

Бессмысленные строки иногда также хорошо запоминаются, как слова гениальных поэтов»⁸¹.

Объектом издевки стали слова из объявления: «...составится целое, книга, написанная одним пером» (22: 136). «Ро-ро-ро Молодое перо» – строчки из пародийного стихотворения Достоевского в статье «Опять Молодое перо» («Время», 1863, № 3), направленной против Салтыкова-Щедрина (20: 96). Шутка Достоевского в свое время не имела успеха

⁸¹ И. Хлестаков <Курепин А. Д.> Листки из дневника Ивана Александровича Хлестакова // *Петербургская газета*. 1876. № 5. 8 января.

и была воспринята как сигнал падения уровня полемики, так что фельетонист «Петербургской газеты» этим напоминанием прогнозировал будущему изданию опускание на дно журналистики.

Иронически подхватывая почин Достоевского, «Петербургская газета» завела и у себя раздел «Дневник писателя», сопроводив его новой издевкой:

«Нынче немного даже охотников вести дневники и летописи текущих событий. Никому нет охоты следить и наблюдать за современниками и сохранить сказание о них для потомства. Кажется, с Ф. М. Достоевским мы являемся последними могиканами. Да и то как знать, какая судьба постигнет наши “писательские дневники” в будущем и кому они попадут в руки?»⁸²

В защиту Достоевского вновь выступил Вс. Соловьев, заявивший о независимой позиции Достоевского, его внепартийности. Эта позиция, по мнению критика, уже завоевала право на существование. Возможно, Соловьев несколько поторопился и посмотрел, что называется, через розовые очки, но он верно уловил происходивший тогда репутационный сдвиг в положении Достоевского в литературном мире и во мнении читателей.

«Эта репутация установилась на таком прочном и действительном основании, что никакая грязь безыменной газетной злобы и пошлости не в силах ее запачкать. И это, как кажется, уже понято вовремя, и к авторской деятельности Ф. М. Достоевского повсюду начинают относиться с должным уважением. Так, мысль его о самостоятельном издании “Дневника” вызвала во всех газетах самые сочувственные отзывы»⁸³.

Мы уже видели, что не во всех, но что верно: газеты без желтой окраски выразили сочувствие будущему изданию. Первым высказался А. С. Суворин (который только что вынужден был уйти из одной редакции в другую):

«Публика должна поддержать это предприятие, если она ценит искреннюю мысль талантливого писателя, который пробует выбиться из-под издательских застав. Свободно излагать свою мысль, отвечать за всё самому, горевать над своею неудачею, радоваться своему успеху и не видеть у себя за спиною постороннее лицо, которое приятно улыбается, если вы кладете ему в карман, и кисло смотрит, если вы не достаточно содействуете своим произведением, которое вам стоило годового труда, его карманным интересам, – это огромное наслаждение. Это значит быть независимым, значит

⁸² Читальщик. Летучие заметки // *Петербургская газета*. 1876. № 8. 13 января.

⁸³ Вс. С-в <Соловьев Вс. С.> Современная литература // *Русский мир*. 1876. № 38. 8 февраля.

иметь свой угол, свою публику, своих друзей и не обращать внимания на то, что в вас ничего не возбуждает кроме равнодушия. Я от всей души желаю Ф. М. Достоевскому успеха...»⁸⁴

Эту мысль через неделю подхватил другой литератор, снабдив ее собственным, экономическим, нюансом:

«Г. Достоевский хочет попытаться освободить себя из-под гнета журнальных предпринимателей, беседовать с публикою прямо от своего лица, не прибегая ни к какому издателю, ни к какой редакции. <...> Инициатива г. Достоевского покажет еще раз, что в среде писателей началось гораздо более серьезное брожение в смысле экономического устройства литературного труда. Прежние условия и формы недостаточны, потому что писатель не в состоянии освободить себя от опеки всякого рода, и чисто денежной и нравственной»⁸⁵.

Боборыкин не удержался, чтобы не сделать внушение будущему изданию с точки зрения шаблонных представлений о Достоевском:

«...позволю себе одно замечание: если в дневнике г. Достоевского будет преобладать публицистический характер, то можно априорически положить, что автор вряд ли выскажет в нем что-нибудь новое, что-нибудь такое, чего он не мог или не хотел высказывать, когда был во главе еженедельного журнала "Гражданин". <...> какое воззрение имеет автор "Подростка"? Сказать это очень затруднительно. Можно только наметить все те странности, какие заключают его взгляды по разным вопросам, интересующим нашу интеллигенцию. Тех же странностей следует ожидать и в его дневнике. Этот даровитый романист прошел через множество жизненных испытаний, но его развитие имело характер скорее регрессивный, чем прогрессивный. Увлечения молодости, доставшиеся ему горькою ценою, привели его к какой-то смеси туманного идеализма и почвенного мистицизма, которая вырыла между ним и стремлениями молодых поколений огромную и глубокую яму»⁸⁶.

Запомним это внушение, претендующее на прогноз, исходящий из того, что «молодым поколениям» совсем не по пути с бывшим

⁸⁴ *Незнакомец* <Суворин А. С.> Недельные очерки и картинки // *Биржевые ведомости*. 1876. № 3. 4 января. Позднее с ним солидаризировался журналист «Голоса»: «Счастливая мысль пришла Ф. М. Достоевскому! В его "Дневнике писателя" нельзя не видеть попытки эмансипироваться от издателей и редакции. Чем виноват г. Достоевский, если он настолько оригинален, что не подходит вполне ни под одну из рамок, представляемых существующими периодическими изданиями русскому писателю...?» (*Гамма* <Градовский Г. К.> Листок // *Голос*. 1876. № 39. 8 февраля).

⁸⁵ *Боборыкин П.* Воскресный фельетон // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1876. № 11. 11 января.

⁸⁶ Там же.

редактором «Гражданина». Пройдет меньше полугода, и всезнающему Боборыкину придется, что называется, съесть свою шляпу.

Иного рода «трейлер» запустил и сам Всеволод Соловьев. 10 января 1876 г. он запросил «некоторые сведения» у автора⁸⁷ и, получив от него необходимые пояснения (29₂: 72–73), опубликовал заметку, где, в частности, говорилось:

«Свободная беседа художника-психолога, затрагивающая самые разнообразные явления нашей общественной и нравственной жизни, по нашему мнению, может и должна получить важное и полезное значение»⁸⁸.

Соловьев записал характерный разговор на вечере у Я. П. Полонского, где собрались «представители всевозможных редакций»:

«– Он, наверное, начнет опять о Белинском, о своих воспоминаниях. Кому это теперь нужно, кому интересно?!

– Ну, а если он начнет о вчерашнем и сегодняшнем дне? – спрашивал я.

– В таком случае еще того хуже... что он может сказать?! Он будет бредить!..» [Достоевский в воспоминаниях; 2: 218].

Интерес к изданию был так сильно подогрет разноречивыми предположениями и долгим ожиданием, что вышедший, как уже говорилось, 31 января первый выпуск моножурнала тиражом в 2000 экземпляров разошелся почти мгновенно, так что через несколько дней понадобился дополнительный такой же тираж. Сегодня это назвали бы удачным маркетинговым ходом, однако следует иметь в виду, что всё же решающую роль в успехе сыграл, говоря тем же языком, контент. Читатель таким образом выразил свое отношение к напечатанному в необычном издании, оставалось дело за критикой, и она не заставила себя долго ждать.

Первой «у корыта», как всегда, оказалась мелкотравчатая пресса. Уже на следующий день (!) «Петербургский листок» возмутился приведенным у Достоевского «неожиданным» мнением, что отмена телесных наказаний в школах привела к умножению трусливых характеров. Газета поспешила приписать самому Достоевскому нехитрую максиму:

«Итак, чтобы приучить детей к страданиям, к лишениям, к перенесению обид, к уничтожению в них самолюбия, стоит только их драть почаще»⁸⁹.

⁸⁷ РГБ. Ф. 93. П. 8. 122. Л. 8.

⁸⁸ Петербургские известия // Русский мир. 1876. № 16. 17 января.

⁸⁹ Александр С. <Соколов А. А.> Из дневника прапорщика Власа Ловласова // Петербургский листок. 1876. № 23. 1 февраля.

Обличитель забежал вперед, слишком положившись на прежние заветы фельетонной травли Достоевского, но был поправлен старшим товарищем, который хотя тоже осудил «неожиданное» мнение о телесных наказаниях, но квалифицировал выпад «листка» как «неприятную выходку» «мелкой печати, которая, очевидно, даже не трудится прочесть то, о чем говорит, а если и читает, то имеет какой-то непонятный интерес исказить прочтенное»⁹⁰. Очевидно, имелось в виду, что Достоевский привел все-таки не свое, а чужое мнение и усомнился в нем. Подобного рода неоднозначные ситуации в «Дневнике писателя» повторятся и приведут к новым спорам о том, как, например, трактовать шокирующие высказывания «парадоксалиста». В данной же ситуации «мелкая» пресса не согласилась с «большой» и дала отпор, настаивая на правильности своего прочтения Достоевского⁹¹.

«Петербургский листок» принял на свой счет намек «Голоса», между тем насмешка над не умеющей читать «мелкой» прессой, возможно, была адресована и другому похожему изданию. «Петербургская газета», находясь всё в том же тренде дешевого фельетонного зубоскальства, особо не вчитываясь в новые страницы Достоевского, выставила ему старинный счет. Застрельщиком выступил неугомонный гонитель Достоевского, «Общий Друг» Д. Д. Минаев, живо состряпавший по старому лекалу очередной стихотворный пасквиль:

Вот ваш «Дневник... Чего в нем нет?
И гениальность, и юродство,
И старческий недужный бред,
И чуткий ум, и сумасбродство,
И день, и ночь, и мрак, и свет.
О, Достоевский плодовитый!
Читатель, вами с толку сбитый
По «Дневнику» решит, что вы –
Не то художник даровитый,
Не то блаженный из Москвы.⁹²

Заметим, впрочем, что сравнительно с прежними минаевскими диатрибами здесь появились, вместе с привычными «юродство», «бред» и т. п., – «гениальность», «чуткий ум»... На следующий день «Петербургская газета», продолжая тему противоречий Достоевского, уверяла

⁹⁰ Гамма <Градовский Г. К.> Листок // Голос. 1876. № 39. 8 февраля

⁹¹ Александр С. <Соколов А. А.> Два слова фельетонисту газеты «Голос» // Петербургский листок. 1876. № 29. 10 февраля.

⁹² О. Др. <Минаев Д. Д.> Ф. Достоевскому по прочтении его «Дневника» // Петербургская газета. 1876. № 23. 3 февраля.

читателей, что в январском «Дневнике писателя» хотя и есть «одна бестенденциозная глава», «Мальчик у Христа на елке» (которую газета тут же и перепечатала), но всё остальное

«...служит новым доказательством, что ум г. Достоевского имеет болезненные свойства и что умозерцания его служат наглядною картиною, до каких смешных абсурдов может договориться человек, который берется обвинять современное общество, вовсе не имея о нем понятия. Главнейшие нападки г. Достоевского устремлены на молодое поколение вообще и в особенности на “подростков” и даже крошечных людей. Сущность этих нападок формулировать весьма трудно, но, вообще, по его понятиям, это скверный народ молодежь, подростки и даже дети. Молодежь он обвиняет за обуявшую ее страсть к самоубийствам (ну, скажите на милость, гг. статистики и ученые, разве можно всей молодежи приписывать такую страсть, на основании ваших научных данных, а вот г. Достоевский приписывает!)»⁹³.

Логика «настеганных» (16: 257) журналистов⁹⁴ однако отступала перед взятым в «Дневнике писателя» философичным тоном, поставленным над фельетонным суесловием и партийными разборками (в этом, кстати сказать, был смысл завершающей главки «Одна турецкая пословица», не понятой и даже обидевшей некоторых оппонентов писателя, принявших на свой счет «лающую собаку» – 22: 38).

Взятый писателем тон (кроме турецкой пословицы) оценил критик «Санкт-Петербургских ведомостей» В. В. Марков (ему временно передал свои права на разбор «Дневника писателя» Боборыкин, вероятно, не ожидавший от Достоевского такого поворота)⁹⁵. Его удивило, что «в “Дневнике” господствует вообще очень мирное настроение, и размышления автора о разных предметах отличаются большим добродушием»⁹⁶.

⁹³ Кабинетные моралисты. По поводу «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского // *Петербургская газета*. 1876. № 24. 4 февраля.

⁹⁴ По поводу приведенного пассажа Достоевский в следующем выпуске «Дневника писателя» иронизировал над сепаратной логикой: «Петербургская газета» поспешила напомнить публике в передовой статье, что я не люблю детей, подростков и молодое поколение, и в том же № внизу, в своем фельетоне, перепечатала из моего «Дневника» целый рассказ: “Мальчик у Христа на елке”, по крайней мере, свидетельствующий о том, что я не совсем ненавижу детей» (22: 39).

⁹⁵ «Говорят, – растерянно констатировал провалившийся предсказатель, – что первый номер очень хорошо разошелся... Я этому искренно обрадовался, хотя и не нашел в содержании почти ничего сколько-нибудь ценного в моих глазах. И не нашел ничего лучшего, как пожелать своим единомышленникам повторить опыт Достоевского (Боборыкин П. Д. Воскресный фельетон // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1876. № 39. 8 февраля).

⁹⁶ В. М. <Марков В. В.> Литературная летопись // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1876. № 38. 7 февраля.

Позиция критика (и представляемого им издания) выразилась в предложенной им иерархии:

«В “Дневнике” интереснее всего те части, которые содержат в себе рассказ или воспоминания, например, рассказ о колонии малолетних преступников, заметка о русском обществе покровительства животным, где чрезвычайно хорошо пересказана сцена с фельдъегерем, который жестоко колотил ящика в затылок, чтоб заставить их ехать скорее, и фантастический очерк под заглавием “Мальчик у Христа на елке”. Гораздо слабее те повести, где автор выступает в качестве публициста, так как суждения его о разных текущих вопросах, вероятно, из желания быть беспристрастным, страдают чрезмерною многосторонностью и расплываются в нечто неопределенное, смутное. Есть и некоторые странности, например, размышления под заглавием “Золотой век в кармане”, где автор торжественно уверяет, без объяснения причин, собравшихся на бал случайных гостей, что они умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, что ни Шекспир, ни Шиллер, ни Гомер, не нашли бы достаточно светлых красок, для изображения удивительных совершенств, находящихся в каждом из них...»⁹⁷

В разряд «неопределенного, смутного», судя по всему, попала главка о спиритизме, смысл которой критик не понял в силу ее «чрезмерной многосторонности». Весьма показательно, что и ход мысли Достоевского в главе «Золотой век в кармане» остался за гранью понимания критика, чья односторонность, переходящая в ограниченность, предопределена односторонностью и ограниченностью позитивного мышления. Тонкая диалектика идеалистического воззрения оказалась просто не востребованной.

Другое замечание Достоевского – «Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении» (22: 9) – вызвало горячий протест «Сына отечества»:

«Ведь чтоб быть последовательным этой удивительной мысли, неизбежно придешь к тому выводу, что все школы и учебные пособия надо уничтожить, а педагогику вовсе упразднить, потому что они *облегчают* обучение?! Подобные абсурды не нуждаются в комментариях»⁹⁸.

Абсурдной показалась критику мысль Достоевского о значении духовного **труда** в развитии ребенка. Если восстановить контекст, после процитированного предложения у Достоевского следовало: «Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка

⁹⁷ Там же.

⁹⁸ Петербургские заметки // *Сын отечества*. 1876. № 29. 4 февраля.

гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни сё, ни доброе ни злое...» (22: 9). Вся эта тирада была направлена против модного тогда увлечения либеральной педагогики так называемым наглядным обучением (подробнее: [Викторович 2005а: 35–42]). Критик, прочитавший Достоевского глазами «прогрессивного» лагеря, увидел в реплике писателя покушение на школу вообще, как будто не может быть **другой** школы. Непонимание возникло на границе противостоящих направлений русской мысли (в данном случае педагогической), когда одно направление полагает «абсурдом» существование другого. Интересно было бы проследить, как само это слово «абсурд» по отношению к Достоевскому передается, словно по эстафете, от не задумавшейся подхватить его «Петербургской газеты» к пылающему праведным гневом «Сыну отечества» и шествует далее по просторам русской журналистики, соединяясь с именем Достоевского.

Недавний защитник писателя И. А. Куцевский, продолжая считать автора «Подростка» первым в современной русской литературе, был, однако, поражен «странностью» нового творения, его несовместимыми противоречиями (почти по Минаеву). «Ребяческим бредом» показалось ему авторское вступление, всё же остальное – «азбучными нравовчениями». Критик остановился в недоумении:

«Но чем же объяснить плоскости и банальности “Дневника писателя”? Чем объяснить то, что умный, образованный и талантливый человек с наивностью ребенка трудится доказывать нам, что если нищего мальчика (“мальчика с ручкой”, как называет г. Достоевский) вымыть, одеть, как барича, посадить в хорошую теплую школу, он воровать и просить милостыни не будет... Кому это неизвестно? – Вот если б г. Достоевский указывал, где нам взять капиталы на устройство приютов для всех этих “мальчиков с ручками” – это было бы дело другое»⁹⁹.

Действительно, чем объяснить, что умный, образованный и талантливый человек с наивностью ребенка трудится доказывать нам, что публицистика должна быть сосредоточена исключительно на раздаче практических указаний. Случившуюся аберрацию зрения (ведь мы видели Куцевского в другом качестве, когда он умно толковал «Подростка») мы не можем объяснить иначе, чем начальной идиосинক্রазией к новому жанру журналистики, созданному Достоевским. Можно припомнить, что подобного же рода недоумение при встрече с «Дневником писателя» испытал и такой опытный журналист, как Н. П. Гиляров-

⁹⁹ *Новый Критик* <Куцевский И. А.> Фельетон. Новости русской литературы // *Новости*. 1876. № 38. 7 февраля.

Платонов, напечатавший в «Современных известиях» характеристику моножурнала как «странного явления», не похожего ни на передовые статьи, ни на фельетоны, хотя «есть такие сообщения, которые имеют интерес всеобщий» (см.: [Викторovich 2013: 91]). Куцевский и Гиляров – знающие свое дело журналисты, к тому же уважающие литературный талант Достоевского, но затвердевшие в их сознании представления, какой должна быть журналистика, не позволяли им принять самую природу «Дневника писателя». «Наивному» сознанию простых читателей, не обремененных профессиональными догматами, было в чем-то проще соединиться с этой природой.

Положение о несоответствии «Дневника писателя» канонам журналистики в недоброжелательном ключе развил еще один знаток профессии, знакомый нам В. Р. Зотов. Сама по себе «мысль хороша», но для ее реализации, утверждает он, «необходимо чаще беседовать с публикою, по крайней мере раз в неделю. Через месяц многие происшествия уже теряют интерес новизны». В этих рекомендациях закоренелого газетчика – полное непонимание жанра, предложенного Достоевским. Однако Зотов упорно гнет свою линию, ставя в пример популярные фельетоны А. С. Суворина (в подтексте явно имея в виду и собственное фельетонное творчество). Сравнение выходит не в пользу Достоевского: для непринужденной беседы с читателем требуется «легкая форма», а Достоевский, как уверяет Зотов, доказал свою неспособность к жанру фельетона во время участия в «Гражданине».

«Самый язык его не отличается необходимою для этого легкостью, а, напротив, полон тяжеловесными оборотами и неуклюжими, часто грубыми выражениями. Остроумия в нем нет ни малейшего»¹⁰⁰.

Ничего нет другого, как оставить эти замечания на совести пристрастного оценщика, тем более что в откликах на начало «Дневника писателя» возобладали совсем другие «технические» оценки: критиков подпирали читатели, с азартом принявшие читать единственные в своем роде брошюры – не фельетоны, не передовицы, не обозрения, не аналитические статьи и не очерки, но как бы и то, и другое, и третье, и нечто большее, идущее непосредственно от личности автора. Он сам, его душевный склад и духовный мир открывались читателям, подчас неожиданно.

«Чтение произведений г. Достоевского напоминает поездки в незнакомые страны, когда реальность редко совпадает с теми представлениями, которые

¹⁰⁰ <Зотов В. Р.> Петербургские письма // *Иллюстрированная газета*. 1876. № 3. 18 января.

вы имели заранее, когда не представляешь, что тебя ждет, и успех столь же неожиданен, как и провал. Впрочем, наш автор абсолютно честен. Он совершенно наивно признаётся, что он пишет свой дневник как для себя, так и для публики, и, следовательно, если читатель ищет там что-то другое, чем беглые впечатления, которые автор там излагает, пусть он умоет руки»¹⁰¹.

Критике предоставлялась возможность принять или оспорить личные суждения писателя. На первый план вслед за «беглыми впечатлениями» незаметно выходили идеи, прямо указывающие на фундаментальные ценности, признанные автором. Спор был поэтому неизбежен, но спор не по маргиналиям, в которых захлебывалась современная журналистика.

6.

Магистральный мотив «Дневника писателя» быстро уловил А. М. Скабичевский. Он охотно приветствовал начинание Достоевского, но снабдил его существенными оговорками, ввернув и здесь свою концепцию «двух Достоевских»:

«Перед нами тот же г. Достоевский, рассуждающий подчас довольно сбивчиво обо всем, что попадает ему на глаза, но зато подчас высказывающий оригинальные, глубокие и светлые мысли или же неожиданно обранивающий какой-нибудь поэтический образ первой величины. Первый выпуск “Дневника писателя”, надо сказать по правде, не представляется особенно удачным. Оттого ли произошло это, что г. Достоевский не разговорился еще, или предметы, о которых он судит, взяты не вполне удачно, – но “Дневник” оставляет в вас какое-то неполное впечатление, и всё вам кажется, что чего-то в нем недостает. Не понравилась мне также какая-то как будто неискренность автора: в некоторых местах, хотя бы, например, в главе о спиритизме, вы не разберете, кто такой перед вами – мистик ли, прикидывающийся скептиком, или скептик – мистиком. Очень может быть, впрочем, что это происходит вовсе не от неискренности автора, а опять-таки оттого, что г. Достоевский является перед нами в виде двух двойников, совершенно противоположных и непрестанно борющихся между собою»¹⁰².

«Благодаря светлому двойнику», говорит далее Скабичевский, нам, его идейным противникам, можно-таки найти общий язык с Достоевским.

¹⁰¹ Т. S. <Безобразова Е. Д.> Chronique // *Journal de St.-Petersbourg*. 1876. № 262. 3 октября.

¹⁰² Заурядный читатель <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы // *Биржевые ведомости*. 1876. № 36. 6 февраля.

Следует признание, которое мы здесь выпишем без сокращений ввиду принципиального значения для истории восприятия Достоевского его современниками из среды народнической интеллигенции:

«Мне кажется даже, что, несмотря на некоторую странность в ходе и изложении его мыслей местами, на всю его мизантропию, подозревающую повсюду разврат и растрение, – **мы с тобою, читатель, далеко не так расходимся с г. Достоевским**, как это может показаться с первого взгляда; напротив того, у нас с ним гораздо более точек соприкосновения, чем это кажется с первого взгляда. Мы расходимся в таких пустяках, которые, если раздумать, не стоят выеденного яйца, зато сходимся в таких вещах, которые должны быть дороже для нас самой жизни, если только у нас есть с тобою какие-нибудь честные и глубоко внедренные убеждения, а не одно поверхностное усвоение каких бы то ни было прекрасных теорий. Что нам за дело, верит ли г. Достоевский в чертей или только иронизирует (а если иронизирует, то с каким тонким умом и юмором!), видит ли он в молодом поколении идеальных ангелов или же подряд людей искалеченных и пропитанных язвами разврата, – это дело его вкуса, разумения, наконец возраста, а главное – дело тех тяжких испытаний, какие вынес он в своей жизни, – но рядом со всем этим оказывается, что мы живем с ним одною верою в такие вещи, которые, еще раз повторяю, должны составлять сущность нашего существования»¹⁰³.

Это сущностное начало, объединяющее писателя с народнической молодежью – боль о народе, о его судьбе в новые времена владычества «золотого мешка». Скабичевский с сочувствием цитирует строки «Дневника писателя» о нарастающем «зуде разврата», «обожании даровой наживы», проникающих в народное сознание, правда, с оговоркой, что речь должна идти не о всём народе, а об «отдельных личностях народа». С особенным восторгом и восхищением цитирует критик следующие строки:

«Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все когда-нибудь образованы, очеловечены и счастливы» (22: 31).

После такого заявления Скабичевский готов простить автору «путаницу понятий», например, в обращении к пошлой «публике художественного клуба»: «Вы не верите, что вы так прекрасны?» (22: 12), –

¹⁰³ Там же.

вызвавшем недоумение не у одной «Биржевой газеты». Масштаб и диалектика «золотого века в кармане» были далеко не всем понятны, так что к критикам Достоевского даже в большей степени, чем к рядовым читателям, относятся слова автора: «А беда ваша вся в том, что вам это невероятно» (22: 13).

Февральский выпуск «Дневника писателя» 1876 г. показался Скабичевскому «дельнее и цельнее» январского¹⁰⁴. Прочитанное наводит критика на мысль, что в постановке вопроса об интеллигенции и народе обнаруживается «поразительное сходство» консерватора Достоевского с народническим публицистом Н. К. Михайловским. О рассказе «Мужик Марей» критик заявляет, что он «дышит теплотою, крайнею простотою и глубокою правдою», и после него «статья о речи Спасовича вообще произвела <...> сильное и потрясающее впечатление»: перед «вековечными идеалами» народа обнаружилось:

«...как жалок, как мишурен и как эфемерен представляется весь этот наш книжный прогресс, основанный на соискании докторских дипломов и искусственных, накрахмаленных цветах софистического красноречия...»¹⁰⁵

«Книжный прогресс», в свою очередь, не промолчал. Одним из первых возражение, пока еще мягкое, оформил Г. К. Градовский в «Голосе». Достоевский, заявил он, впал в противоречие, предложив «судить русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает» (22: 43). Градовский следующим образом транскрибирует мысль Достоевского:

«Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь на деле, но зато идеалы у него хороши. Идеалы эти “сильны и святы”, и они-то “спасали его в века мучений”. Не поздоровится от таких выгораживаний! Ведь и сам ад вымощен добрыми намерениями, и г. Достоевскому известно, что “вера без дел мертва”. Да откуда же стали известны эти идеалы? какой пророк или сердцевед в состоянии проникнуть или разгадать их, если вся действительность противоречит им и недостойна этих идеалов? Г. Достоевский оправдывает наш народ в том смысле, что “они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут”.

¹⁰⁴ Заурядный читатель <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы // *Биржевые ведомости*. 1876. № 70. 12 марта.

¹⁰⁵ Там же. Со Скабичевским солидаризировался другой критик: рассказ «Мужик Марей» – «прелестный», «полный глубокой правды, широкой гуманности и стоящий во внутренней связи с предшествующими рассуждениями автора о народе», а вторая глава беспощадно разоблачила «нравственное неряшество» речи Спасовича в процессе Кроненберга (*И-н. Журнальное обозрение // Русские ведомости*. 1876. № 82. 31 марта).

Но ведь отсюда недалеко и до нравоучения: пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша»¹⁰⁶.

Градовский предположил, что подобные «противоречия» порождены тенденциозностью литературы, когда писатели берутся «разыгрывать роль охранителей или либералов», и рекомендовал «стоять в стороне от тенденций», «лицом к лицу к жизни», чтобы и дальше писать рассказы «вроде “Мужика Марья”». Очевиден был намек на «охранительство» Достоевского, ему советовали держаться подальше от консервативных разоблачителей народа «гг. Бланков и Фетов» (имелись в виду братья Григорий и Петр Бланк, а также Афанасий Фет, отстаивавшие в своих статьях интересы дворянства). Достоевский отвечал своему критику в мартовском «Дневнике писателя», обойдя тему тенденциозности, но зато предельно заострив вопрос, мимо которого прошел Градовский, а именно он-то и составлял суть выступления писателя: «Есть у народа идеалы или совсем их нет – вот вопрос нашей жизни или смерти» (22: 74).

К дискуссии о народе подключился С. А. Венгеров и обратил внимание на то, что по Достоевскому не только интеллигенция у народа, но и народ у интеллигенции должен взять ею наработанное, т. е. завоевания культуры. Развивая далее симпатичную ему мысль Достоевского в сторону западничества, Венгеров выставил такие тезисы, с которыми автор «Дневника писателя» уже не согласился бы:

«...вся программа настоящего времени, все его стремления, желания и цели, все руководящие принципы семидесятых годов, словом, всё их profession de foi может быть исчерпано одним словом: Европа. Твердое решение стать на одинаковую ступень со всеми другими народами, составляющими семью культурных наций, привить себе уроки тысячелетней цивилизации, жить не через пень-колоду одним голым отрицанием или мечтательным романтизмом, а с определенным пониманием своего исторического назначения, привести богатые силы русского народа под господство разумных начал, при помощи которых мы в состоянии создать свое нравственное и национальное могущество, побороть темные силы, мешающие такому расцвету, положить основание плодотворной работе будущих поколений на почве европейского образования...»¹⁰⁷.

Тезис Венгерова о Европе с энтузиазмом подхватит критик «Русского вестника» В. Г. Авсеенко (западничество объединило в данном

¹⁰⁶ Гамма <Градовский Г. К.> Листок // Голос. 1876. № 67. 7 марта.

¹⁰⁷ Фауст Щигровского уезда <Венгеров С. А.> Очерки текущей литературы // Новое время. 1876. № 19. 18 марта.

случае либерала и консерватора), пойдя уже на прямую конфронтацию с «народничеством» Достоевского. Мысль о том, что спасение в народе, утверждает Авсеенко, родилась в среде петербургской журналистики, потерявшей в «бестолковом кружении» и бросившейся в идеализацию народа:

«Мы убедились в совершенной неспособности самим открыть ларчик и передать его в руки народу: открой мол его за нас. С этой минуты нам делается чрезвычайно легко. Мы сдали всю задачу народу»¹⁰⁸.

Достоевский, как это очевидно для Авсеенко, поддался «фальшивой» тенденции и в февральском «Дневнике писателя» «много говорит о народе и о предстоящей нам необходимости погрузить в него свои пустые сосуды». К «излишествам» Достоевского Авсеенко отнес его утверждение, что русская литература «преклонилась пред правдой народной». Пушкин, Лермонтов и Гоголь не преклонялись, а «только любили народ», уверял критик. Движение же шло совершенно в обратном направлении:

«...вопреки мнению г. Достоевского главною задачей нашей литературы, особливо с тридцатых до шестидесятых годов, было усвоение идеалов западно-европейских, идеалов общих, идей цивилизации, права, законности, гуманности – всего того, чего недоставало нашей русской жизни и нашему русскому народу»¹⁰⁹.

Мысль Достоевского, против которой протестовал и Градовский, в изложении Авсеенко выглядит следующим образом:

«...народ наш только потому хорош что желал бы стать хорошим, в настоящем же своем положении даже отвратителен»¹¹⁰.

Авсеенко не удержался и представленный таким образом ход мыслей Достоевского откомментировал с грубой нетерпимостью:

«Толковать о любви к народу, подразумевая под ним что-то призрачное, вычитанное из книжек или надуманное в часы авторствования, и знать, что это в самом деле призрак, и что действительность вовсе не достойна нашей любви – сколько тут наивности, граничащей с цинизмом!»¹¹¹

¹⁰⁸ А. <Авсеенко В. Г.> Опять о народности и о культурных типах// *Русский вестник*. 1876. Март. С. 365.

¹⁰⁹ Там же. С. 366.

¹¹⁰ Там же. С. 369.

¹¹¹ Там же. С. 368. Этот выпад далее в статье сопровождается смягчающей оговоркой, вероятно, вставленной с подачи редакции «Русского вестника», рассчитывающей на продолжение сотрудничества Достоевского.

В противовес «мечтательному призраку», созданному Достоевским, Авсеенко представил свой образ народа в соответствующем консервативном духе:

«...он обладает многими такими прекрасными качествами, которые гораздо выше приписываемого ему “всеоткрытого” ума. На его плечах, на его терпении и самопожертвовании, на его живучей силе, горячей вере и великодушном презрении к собственным интересам создалась независимость России, ее сила и способность к историческому призванию. Он сохранил нам чистоту христианского идеала, высокий и смиренный в своем величии героизм...»¹¹².

Все названные качества, определяемые Авсеенко как «стихийные добродетели», в своей совокупности сводятся к одному: народ наш терпеливо-послушный (властям предержащим да повинуется). Оно сочетается при этом с главным недостатком: «до сих пор народ наш не дал нам идеала деятельной личности», «идеалы же народные суть по преимуществу идеалы растительной, стоячей жизни»¹¹³. Требуемый идеал личности, по Авсеенко, сохранил лишь так называемый культурный слой, ориентированный на европейские ценности. Именно он и должен быть разумным руководителем стихийной народной массы.

Достоевский не остался в долгу и в следующем, апрельском «Дневнике писателя» ответил оппоненту и иже с ним «высшим господам, подгоняющим Россию» (22: 103), показав образец культурной, но бескомпромиссной антикритики, сорвав аплодисмент у знатоков – П. Д. Боборыкина, С. А. Венгерова, А. У. Порецкого. Это был своеобразный мастер-класс ведения полемики. Достоевский «рассердился до некоторой раздражительности», – писал Порецкий, – но не за себя, а за оскорбление, нанесенное русскому народу. Раздражаться вообще плохо, но «зато как хорошо, как язвительно-хорошо вышло»¹¹⁴.

В мае 1876 г. к обсуждению «Дневника писателя» присоединился критик Г. А. Ларош, ведущий рубрику «Литература и жизнь» в газете «Голос». Объясняя свое опоздание, он вернулся к мотиву страха перед Достоевским, заявленному два года назад Всеволодом Соловьевым:

«О г. Достоевском и его “Дневнике” мне давно уже следовало поговорить с читателем. Если я до сих пор отлагал эту речь, если я в “Литературе и жизни” ни разу, ни одним словом не касался г. Достоевского, то это отчасти

¹¹² Там же. С. 370.

¹¹³ Там же. С. 372, 376.

¹¹⁴ <Порецкий А. У.> Органическое явление. (Заметки из текущей жизни) // Гражданин. 1876. № 17. 23 мая. С. 499.

происходит (надо всегда говорить правду) от боязни, от некоторой трусости. Да, я боялся г. Достоевского как темы очень сложной и тонкой. Я не встречал более трудного объекта для литературной критики; в этом писателе соединяется решительно всё, что может озадачить и запугать читателя не только поверхностного, но даже очень и очень внимательного»¹¹⁵.

Что же так напугало критика, бывшего вообще-то не из пугливого десятка? Давая объяснение, Ларош припоминает, что славянофильствующего Достоевского объединила с западничеством «Русским вестником» их «общая ненависть к покойному “Современнику”». Это припоминание, как оказалось, не соответствующее действительности (Достоевский в записной книжке отметил, что к журналу Некрасова у него «никогда не было ненависти», а относительно Каткова он испытывает «уважение» к его деятельности – 23: 166), нужно было критику, чтобы перейти к определяющему, по его представлению, качеству Достоевского как творческой личности:

«Чувство, конечно, не совсем христианское, но в литературе очень ценное: *ненавидеть* умеет не всякий»¹¹⁶; для этого нужен талант, и хотя журнал, главную силой которого был Ф. М. Достоевский, некогда вещал устами Аполлона Григорьева, что довольно мы ненавидели, что для нас, русских, всего важнее “любить уметь”, но сам Ф. М. Достоевский в редкой степени одарен этим талантом и ненавидит так, что иной раз вчуже страшно становится. Эта желчность даровитого писателя не есть качество (хорошее или дурное) его сердца: надеюсь, никто не понял меня так превратно. Это – не более как чисто литературное качество; но так или иначе, а эта желчность помогла ему написать некоторые из лучших страниц “Преступления и наказания” и “Идиота”; отнимите у г. Достоевского раздражение, отнимите расстроенные нервы, и вы отнимите самого Достоевского»¹¹⁷.

Подготовив таким образом почву (небезосновательную, заметим), Ларош готов, наконец, объяснить пугающую его своим оправданием войны главу «Парадоксалист» апрельского «Дневника писателя». По ходу дела критик бросает не лишнее интереса замечание:

¹¹⁵ L. <Ларош Г. А.> Литература и жизнь // *Голос*. 1876. № 138. 19 мая.

¹¹⁶ Ларош поднял тему, активно обсуждавшуюся в литературе. Выраженная им точка зрения получила наиболее яркое выражение в поэзии Некрасова: «То сердце не научится любить, Которое устало ненавидеть» [Некрасов; 1: 182]. Достоевский коснулся этой темы в февральском «Дневнике писателя» 1876 г. в описании «драчливости» отечественной журналистики, в которой при этом он видит «повсеместное честное и светлое ожидание добра». Достоевский резюмирует: «Ну вот и довольно бы с нас: зачем нам еще какой-то там “прочной ненависти”» (22: 41).

¹¹⁷ L. <Ларош Г. А.> Литература и жизнь // *Голос*. 1876. № 138. 19 мая.

«Слово, вполне применимое к самому автору. Г. Достоевский всегда был писатель парадоксальный, не менее парадоксальный, чем Альфонс Карр, “Осы” которого тем легче припоминаются здесь лишний раз, что и по внешней форме новый журнал г. Достоевского как нельзя более походит на них»¹¹⁸.

Проявив эрудицию, критик, увы, оставляет в стороне заявленную парадоксальность и всерьез, многословно убеждает читателя, что война – это плохо. Достоевский в таком контексте, в глазах Лароша, утрачивает любовь к людям, страдающим от бессмысленного пролития крови. Мы видим, как критик «Голоса» готовит почву для будущей дефиниции «жестокый талант».

Достоевского обидела такая интерпретация, и он готовил антикритику, которая так и не дошла до публичного поля, оставшись в записных книжках. Писатель оценил «благородный тон» Лароша, но тем более горячо отверг приписываемые ему «достоинства». «Ненависть» к «Современнику» (о чем уже говорилось выше) здесь было не самое обидное допущение, куда больше расстроило Достоевского утверждение об отсутствии в его произведениях любви: критик ударил его в самое сердце. Ударил жесточайшей несправедливостью, так что автор не удержался от самооправдания, действия в любом случае не выигрышного и потому приправленного горькой самоиронией: «Меня никто не хвалит, так я сам начну хвалиться» (23: 166). Приведем фрагмент ответа Ларошу:

«И вот на днях читаю о моей злобе. <...> Кусочек чего-то казенного. Сцена “Идиота”, убийства в белую ночь, <...> эту сцену нельзя было написать без некоторой любви к человечеству, без некоторого уважения к человечеству, я этой сценой горжусь. Насчет же искривлений – самоубийства, “Подросток”, грязь. Я думаю, что тут надо было любить человека. <...> Я не могу самоубийства пройти мимо» (23: 166).

Достоевский, как уже говорилось, не стал оправдываться, вероятно, рассудив, что он всё равно не изменит стратегию чтения таких своих читателей и критиков, как Ларош. Уверенность в своей правоте критику придавал тот факт, что он был **отчасти** прав, увидев в текстах Достоевского то качество, которое впоследствии Михайловский назовет жестоким талантом. **Частичное восприятие** произведений Достоевского было (да и остается) проклятием такого рода критики и чтения: за жестокостью препарирования души человека у Достоевского не видят, не чувствуют, не осязают, хоть брось, движущую силу этой «жестокости»

¹¹⁸ Там же.

– любовь к человеку, не остановившуюся на жалении его. Вот начало, соединяющее, наконец, все части в единое **целое**.

Ларош между тем не успокоился и в следующей статье, о майском «Дневнике писателя» 1876 г., пошел еще дальше в избранном направлении. Критик отдает должное меткости и самобытности, с которыми писатель создал «правдоподобный» (оценим тонкую иронию) образ Настасьи Каировой, обвиняемой в покушении на убийство. Достоевский, указывает критик, пренебрег той симпатией, которую вызвала к себе обвиняемая у всех присутствовавших на судебном процессе, не говоря уже о стороне защиты (здесь Ларош также улавливает у Достоевского «фальшивую ноту»: он якобы сердится на адвокатов за то, что они адвокаты, т. е. профессиональные защитники).

«...г. Достоевский остался непреклонен, как “дьяк, в приказах поседельный”. Автор “Дневника” посмеивается над снисходительным психологическим отношением к преступлению, над взглядом, столь характерным для XIX-го века и столь противоположным узкой и сухой, формальной и безжалостной *юридичности* прежних веков. Автор высказывает желание, чтоб присяжные избегали “пагубной сентиментальности”, но тут же брюзгливо оговаривается, что это желание трудно исполнимо. “Сентиментальность, – смеется он, – так всем по плечу, сентиментальность такая легкая вещь, сентиментальность не требует никакого труда (?), сентиментальность так выгодна, сентиментальность с направлением *даже ослу придает теперь вид благовоспитанного человека*”...

Конечно, ложная чувствительность – пагуба и отравка, хотя бы потому, что она, своим смешным преувеличением, роняет в наших глазах и настоящую, истинную чувствительность и, таким образом, косвенно служит к увеличению суммы чёрствости и злости, обращающейся в людях. Но читая приведенные сейчас строки, я не мог не сказать внутренне: “Г. Достоевский, г. Достоевский! Не вам бы говорить, не нам бы слушать!” Кажется, я не изреку ничего нового и ужасающего, когда скромно замечу, что сентиментальность играет далеко не последнюю роль в романах и повестях самого писателя, так безжалостно теперь осуждающего ее»¹¹⁹.

Так что же «теперь» случилось с когда-то поражающим своею гуманностью автором «Бедных людей» и «Записок из Мертвого дома»? Не замечая того, что самая гуманность у Достоевского качественно преобразилась, уйдя от поверхностной сентиментальности, Ларош с поспешной либеральной «казенностью» (по слову Достоевского) выносит грозный вердикт об измене писателя своим прежним гуманным взглядам.

¹¹⁹ L. <Ларош Г. А.> Литература и жизнь // *Голос*. 1876. № 152. 3 июня.

«...”измена знамени”, в которой я обвиняю знаменитого писателя, заключается в том, что он, со времени появления “Преступления и наказания” – стало быть ровно десять уже лет – стал гонителем и прокурором “униженных и оскорбленных” <...>. Конечно, сочувствие г. Достоевского давно уже покинуло наковальню и перешло на сторону молота; конечно, консерватор, давно сидевший на дне знаменитого писателя, до того разросся и раскинул свои загибающиеся ветви, что сбил в уголок, прижал и почти задушил филантропа. Случилось это очень просто и без всякого коварства со стороны г. Достоевского. Он всегда был певцом страдания, бардом забитости и пришибленности. Это придавало поэзии его характер филантропии, что он сам видел и что некоторое время, вероятно, доставляло ему удовольствие. Но, мало-помалу (быть может, под влиянием раздражения, возбужденного в нем журнальными столкновениями, печатными дрызгами), в нем усилился элемент аскетизма, элемент отречения от благ сего мира и умерщвления плоти. Это совершилось тем легче, что страдание и несчастье вообще охотно прибегают к утешениям религии, а от светлой и снисходительной религиозности до религиозности суровой и аскетической – переход хотя длинен, но гладок и неумолим. Итак, в г. Достоевском наряду с филантропией выступил второй элемент – аскетизм. Затем оставалось сделать еще один шаг, и этот шаг был сделан: осталось воспеть не страдальцев, не “униженных”, а самый принцип страдания, само унижение. Вместо прежнего “посмотрите, как несчастен человек, которого пытаются”, мы теперь услышали: “посмотрите, как хорошо, когда человека пытаются покрепче”»¹²⁰.

Приведенный фрагмент – откровенный и потому столь значительный для **истории неадекватного прочтения** Достоевского и постижения глубинных причин этой неадекватности. Мы видим, как идеология выстраивает глухую стену между критиком и писателем. Консерватизм отменяет филантропию – в этом заявлении ведь только **часть** правды¹²¹.

¹²⁰ Там же.

¹²¹ Не все в либеральных рядах разделяли эту позицию. Так, популярный одесский журналист описал проведенный им эксперимент в одной прогрессивной компании, когда он прочел собравшимся свое подражание «Мальчику у Христа на елке» и получил соответствующий отклик: «”Воззвание к филантропии! — Какая нелепость!” — “Да разве филантропия серьезное дело!” — “Здесь нужно радикальное средство!” — “Так рассказ не годен?” — спросил я. — “Не годен!” хором ответили мои гости. О, милые культурные люди! они забраковали бы всего Диккенса, того самого Диккенса, который весь был состраданием и любовью, который избрал целью всей своей деятельности, всего своего творчества и в особенности в “святочных рассказах” защиту слабых и бедных, не рекомендуя никаких средств, так как он не был социальным философом, а лишь вечно констатируя эту бедность, нищету, униженность, придавленность, забитость, убожество, и открывая в мире этих несчастных истинно человеческую душу... Да здравствуют же русские Диккенсы и да будет над ними благословение Божие!» (Z. Z. Z. <Герцо-Виноградский С. Т.> Фельетон. Русский Диккенс // *Новороссийский телеграф*. 1877. № 576. 6 января).

Есть консерватизм и консерватизм (то же можно сказать и о филантропии), но если говорить о том его изводе, которому причастен Достоевский, да, он отвергает тотальную филантропию без границ, снимающую с повестки ответственность личности. «...в г. Достоевском наряду с филантропией выступил второй элемент – аскетизм». Ларошу не откажешь в проникательности, если учесть, что в данном случае слово «аскетизм» заменяет, по принципу смежности, другое более точное слово – христианство с его ценностью истинно свободной и ответственной личности. Самая короткая формула, против которой ополчаются оппоненты Достоевского, дана была (не в первый раз) в цитированных выше набросках антикритики: «ЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (23: 166). В тех же набросках Достоевский провел черту между не понимающими критиками и понимающими читателями:

«Преступление и наказание». Удивляюсь, что поняли. Критик не понимал. Публика. Она разбирает<ся?>» (23: 166).

По стопам Лароша вскоре двинулся Скабичевский, отбросивший недавние дифирамбы автору «Дневника писателя» и кинувшийся защищать Каирову от «черствого бессердечия» Достоевского, прикрытого «самою сердобольною гуманностью в христианском духе, тем иезуитским смирением паче гордости, которое некогда возводило ближнего на костер, скорбя об его падении и молясь о его спасении»¹²².

Нападение на Достоевского имело, как видим, не одно сочувствие к несчастной женщине, принародно позоримой писателем (что она покушалась на убийство соперницы, так с кем не бывает). Еще больше возмутил критика настойчиво проводимый «христианский дух», сводимый теперь не к аскетизму, как у Лароша, а прямо-таки и исключительно к кострам инквизиции. Время рукопожатий, как еще в «вегетарианском» феврале предполагал Достоевский («И потому, хоть я и угодил иным и ценю, что мне протянули руку, ценю очень, но все-таки предчувствую чрезвычайные размолвки в дальнейших подробностях, ибо не могу же я во всем и со всеми быть согласным, каким бы складным человеком я ни был» — 22: 42), быстро прошло. Конфликт

¹²² Заурядный читатель <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы». Майский выпуск «Дневника писателя», в котором г. Достоевский, находя, что суд не совершил всего, что следовало над г-жею Каировой, довершает дело суда тем, что закидывает грязью несчастную женщину // *Биржевые ведомости*. 1876. № 159. 11 июня. Позднее к инвективам Лароша и Скабичевского примкнет Н. С. Лесков, подготовивший к печати дневник Каировой во многом для того, чтобы доказать «жестокость» Достоевского [Дневник Каировой].

между агрессивно прогрессивной критикой и отстаивающим христианские («устаревшие») ценности писателем усиливал мировоззренческую составляющую и только ожидал, чтобы выйти на более значимые темы. Ждать пришлось недолго.

Октябрьский «Дневник писателя» 1876 г. взорвал Скабичевского. Заметки «о простоте и упрощенности» (возможно, небезосновательно приняв их на свой счет) критик обращает на самого писателя и приходит к выводу, что мышление последнего до крайности примитивно:

«... взять Константинополь, водрузить на Софийском соборе крест, отслужить в соборе молебен, – и турки тираны, турки фанатики немедленно превращаются в торговцев тряпьем и бродят по нашим дворам, перекрикая татар: “Халаты, халаты”. Ну, подумайте ради Христа, можно ли придумать что-либо проще и прямолинейнее подобного решения славянского вопроса?»¹²³

Сомнение в способностях Достоевского прогнозировать ход исторических событий – только разминка. Далее под вопрос поставлено подкупающее читателей глубокомыслие писателя.

«По-видимому он так хитро обо всем рассуждает, такие во всем открывает неисчерпаемые глубины и нераспутываемые хитросплетения, такие делает неожиданные сближения и сопоставления. На первых порах вы подумаете, что господин себе на уме, что между строк и невесть какие глубокие истины таятся в речах его, а раскусите, что на самом деле таятся в конце концов всех его рассуждений, – и вы увидите незатейливую и прямолинейную простоту...»¹²⁴

Так что же «на самом деле таятся» в речах Достоевского? Мы подошли к тому месту, где бережно хранится яблоко раздора. Вот как оно выглядит с точки зрения критика «Биржевых ведомостей»:

«Попробуйте распутать все хитросплетенные нити рассуждений г. Достоевского <...>, – и окажется, что правда эта заключается не в чем ином как в смеси запахов ладана и конопляного масла в великом посту и квартире какого-нибудь Кита Китыча. Вот она где исконная русская правда, от всех зол избавительница и всех душевных болячек врачевательница»¹²⁵.

В перечисленных атрибутах «правды» Достоевского вперед выступает «запах ладана», от него и мутит критика, пользительное же ко-

¹²³ *Заурядный читатель <Скабичевский А. М.>* Мысли по поводу текущей литературы. Нечто о прямолинейной простоте взглядов г. Достоевского. (См. «Дневник писателя» № 10) // *Биржевые ведомости*. 1876. № 306. 5 ноября.

¹²⁴ Там же.

¹²⁵ Там же.

нопляное масло и нестрашного у Островского самодура Кита Китыча («В чужом пиру похмелье») он бы еще потерпел. Мы пришли к конечной точке разномыслия критика и писателя. Вот как Скабичевский истолковывает главу «Приговор» «Дневника писателя», заключающую исповедь самоубийцы по идейным соображениям – из-за утраченной веры в бессмертие души:

«Ах г. Достоевский, г. Достоевский, неужели в самом деле воображаете, что вещи на свете совершаются так легко и просто: додумался человек до каких-либо идей и так уж и должен спешить поскорее покончить с собою не из чего иного, как из-за этих идей? Однако же как же объяснить, что тысячи людей живут с этими идеями, очень хорошо зная, что они в один прекрасный день обратятся в ничто, что эта участь ожидает и всё человечество, и однако ж ничего, живут, и мало того, что как-нибудь прозябают, а живут полную жизнью, стремясь всею душою и к своему личному праведному счастью, и к устройению праведного счастья всего человечества. <...> Но почему же идеи эти одним мешают жить, а другим не мешают? Не показывает ли это, что кроме идей тут вмешиваются какие-то иные причины, которые в одном случае присутствуют и придают идеям такой трагический, часто байроновский колорит, а в другом отсутствуют, и те же самые идеи остаются отвлеченными, умственными формулами, нимало не препятствующими людям трудиться, бороться, стремиться, одним словом, жить и наслаждаться жизнью? Очень может быть, что в этих причинах вся главная суть-то и заключается...»¹²⁶.

Что недоговаривает критик и о чем должен догадаться читатель? Если дело не в идеях, если не они в конечном счете движут нами, то что? «Какие-то иные причины» – это жизненная среда, которую в первую очередь определяет материальное благополучие человека, дающее ему опору и уверенность в себе (о безыдеальности как принципиальной позиции Скабичевского см.: [Кантор 2014: 416–420]). Вопрос о бессмертии души в этом контексте совершенно излишний, только мешающий «жить и наслаждаться жизнью». Скабичевский в принципе не так далеко ушел от фельетониста сатирического еженедельника «Развлечение», который болью о бессмертии героя «Приговора» назвал «смешным и жалким анахронизмом» и популярно Достоевскому разъяснил ситуацию: «Теперь век *чугунных понятий*, век положительных мнений, век, держащий знамя: “Жить во что бы то ни стало!..”»¹²⁷.

Главка «Два самоубийства», о дочери Герцена и петербургской девушке-швее, показала фельетонисту совершенно излишней.

¹²⁶ Там же.

¹²⁷ Енне. <Попов Н. Е.> Дневник благонамеренного сатирика // *Развлечение*. 1876. № 51. 14 декабря. С. 391.

Особенно странным в его глазах выглядит вопрос, «которая из этих душ больше мучилась на земле» (23: 146). Дочь Герцена фельетонист называет «пустенькой самоубийцей» и с некоторым даже раздражением внушает Достоевскому:

«Хорошо было бы, если бы и наши “передовые” писатели поменьше дарили своим вниманием всех этих “судий и отрицателей жизни”, как назвал их сам почтенный издатель и автор “Дневника”»¹²⁸.

Н. Е. Попов выражает, думается, точку зрения своих читателей (или подлаживается к ней, стараясь угодить подписчикам «Развлечений»), не желающих **«усложнять жизнь»**. В ней, жизни, всё просто, а такие писатели, как Достоевский только запутывают и забивают головы читателей ненужными умственными ухищрениями. То же и со швеей: сказано же было, что «не могла приискать себе для пропитания работы», к чему же рассуждения об «истребившей себя душе» (23: 146)? Ничего бы не было, «если бы ей были предложены более лучшие условия существования»¹²⁹. Непоколебимо-ходульный Энпе в данном случае представляется нам немного примитизированным «двойником» Скабичевского.

Достоевский в декабрьском «Дневнике писателя» 1876 г. отвечал критику «Развлечения», а через него, безусловно, и Скабичевскому как выразителю значительной части общества:

«...г. Энпе несомненно выражает собою целый тип, целую коллекцию таких же, как он, господ Энпе, <...> – тип ну вот тех самых “чугунных понятий” <...>. Для меня же лично, одно из самых ужасных опасений за наше будущее, и даже за ближайшее будущее, состоит именно в том, что, на мой взгляд, в весьма уже, в слишком уже большой части интеллигентного слоя русского по какому-то особому, странному... ну хоть предопределению всё более и более и с чрезвычайною прогрессивною быстротою укореняется совершенное неверие в свою душу и в ее бессмертие. <...>. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле *лишь одна* и именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, *лишь из нее одной вытекают...*» (24: 46–47).

Убедил ли Достоевский своих оппонентов? Что касается Скабичевского, то вряд ли. «Дневник писателя» выражает «клерикальный взгляд на вещи»¹³⁰ – дальше этой «всё объясняющей» констатации критик идти

¹²⁸ Там же. С. 392.

¹²⁹ Там же.

¹³⁰ *Заурядный читатель* <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы // *Биржевые ведомости*. 1877. № 267. 21 октября.

не желает, хотя, противореча самому себе, признает значение художественных творений писателя, построенных на фундаменте тех же самых «клерикальных взглядов». Такова была, пожалуй, главная «проблема Достоевского» в русской критике, не у одного Скабичевского не сходились концы с концами.

Показательный образчик субстанциального несхождения с Достоевским продемонстрировал одесский критик и впоследствии историк литературы С. И. Сычевский. Поначалу, прочитав апрельский номер «Дневника писателя», где в главке «Парадоксалист» «талантливый автор выводит одного своего приятеля, защищающего пользу и удовольствие войны» (эта главка многих обескуражила своей «многосторонностью», неожиданным поворотом мысли), критик следом за Ларошем признаётся, что он «был немного сбит с толку»¹³¹. В следующем фельетоне, вернувшись к апрельскому «Дневнику писателя», Сычевский даёт общую характеристику этому оригинальному явлению:

«Физиономия Достоевского как романиста выяснилась вполне. Он, так сказать, приверженец доктора Крупова и полагает, что все люди страдают помешательством на каком-нибудь пункте. Чрезвычайно оригинально было бы проследить приложение такого воззрения к фактам текущей жизни. Но г. Достоевский этого не делает. В своем “Дневнике” он является обыкновенным, – но очень умным, – фельетонистом славянофильского пошиба. Признаюсь откровенно, – этот тип мне несимпатичен, как несимпатична мне вообще манера Достоевского ставить вопросы и решать их. Я сказал, что он очень умен; но в его уме недостает одной черты, которую я считаю весьма существенною: точности. Правда, взамен этого у него есть наблюдательность, яркое и весьма часто очень меткое слово, искренность, чувство... Да, чувство. Достоевский **особенно силен так называемой логикой чувства**. Она часто подкупает до такой степени, что не замечаешь ни логических скачков, ни парадоксов, ни противоречий... От г. Достоевского трудно чему-нибудь научиться: фактов он не сообщает; объективной оценки их он не делает; субъективная же его оценка может служить только для характеристики его самого, и с этой точки зрения, повторяю, – “Дневник писателя” очень интересен»¹³².

Далее приводятся примеры алогизмов писателя. «Ультра-славянофильские воззрения» на народ как носителя «высшей правды, добра

¹³¹ Z. <Сычевский С. И.> Смех и горе // *Одесский вестник*. 1876. № 112. 23 мая.

¹³² С. С. <Сычевский С. И.> Литературные очерки. «Дневник писателя» Достоевского. Характеристика этого «Дневника» и автора его как мыслителя. Аргументация г. Достоевского и ее недостатки. Вопрос о войне: г. Достоевский и Виктор Гюго. <...> // *Одесский вестник*. 1876. № 116. 29 мая.

и красоты», по мнению Сычевского, автор «Дневника писателя» доказывает довольно странным способом:

«В подтверждение этого он привел факт, что нянюшка его, Алена Фроловна, предложила его родителям в минуту несчастья скопленные ею несколько сот рублей. Это было, когда маститый романист имел всего девять лет от роду. Другой факт, приводимый им в подтверждение этого же мнения, заимствован из “Семейной хроники” Аксакова и заключается в том, что лодочки перевезли через реку, в очень опасное время, мать к больному ребенку и не хотели взять за это денег... Признаюсь, – я улыбнулся, прочтя эту страницу. Я чувствую и охотно верю, что г. Достоевский говорит всё это от чистого сердца. Я допускаю, что его глубочайшее убеждение состоит в том, что в необразованной именно массе есть настоящее местопребывание истины, добра и красоты в их высших проявлениях. Хорошо. Но, разве можно *так* доказывать подобные положения? Я не спорю с г. Достоевским. Я только улыбаюсь его способу решать такие общие вопросы. **Тут нужна статистика**, тут нужно указание на общественные и исторические причины, производившие этот общий факт...»¹³³

Потрясающее признание улыбчивого журналиста и критика: частный случай сердечного участия требует подтверждения «статистики» (непонятно только, кто и как будет вычислять «местопребывание истины, добра и красоты»), а убедительность художественного образа в его глазах гроша ломаного не стоит. Мы отчетливо видим здесь, как позитивизм, предлагая свои решения «общих вопросов», проник в самую сердцевину гуманитарной науки. Ему осталось только окончательно поставить на место Достоевского, что он и делает с большим удовольствием:

«Общий вывод из этого тот, что автор “Дневника писателя”, будучи отличным романистом-художником, является совершенно несостоятельным как мыслитель. У него, собственно говоря, есть все материалы для этого, за исключением одного: математической дисциплины мысли, если можно так выразиться. Все формы доказательств являются у него по первому востребованию, как бы в калейдоскопе, но ни одна из них не играет серьезной роли... Да что стесняться? Скажу прямо: мне кажется, что у г. Достоевского нет серьезного убеждения, а есть нервные прихоти»¹³⁴.

Сычевский на этом не успокоился и развернул глубоко концептуальное наступление на автора «Дневника писателя». Он не мог пройти мимо растущей как на дрожжах читательской популярности «не симпа-

¹³³ Там же.

¹³⁴ Там же.

тичного» ему моножурнала. «Нервные прихоти» писателя по какой-то непонятной причине оказались востребованными большой аудиторией. Следовало всё расставить по своим местам, разъяснить доверчивой массе ее заблуждения и развенчать кумира. Оставалось всё то же хорошо знакомое нам средство – развести художника (хорошего) и мыслителя (плохого) как два сосуда, не сообщающиеся друг с другом.

«Мыслевая основа его произведений всегда была крайне однообразна и только художественные их достоинства бросались в глаза. Из прежних произведений Достоевского едва ли читатели помнят хоть одну новую, оригинальную, блестящую мысль. Достоевского, как мыслителя, мы узнали только со времени “Гражданина”. Но там он говорил множество парадоксов и даже парадоксов довольно рогатых. **Вообще говоря, его не любили. Но с того времени, как он стал ежемесячно издавать “Дневник писателя”, симпатии публики были ему завоеваны.** Он умел ловко этим воспользоваться и стал в каждом номере по частям развивать свои основные воззрения на “народный” вопрос, обрывая рассуждения на самом интересном месте»¹³⁵.

Короче говоря, «ловкий» Достоевский многих сумел ввести в заблуждение. Как это ему удалось, плохому мыслителю, критик не разъясняет, останавливаясь «на самом интересном месте». Ему важнее разоблачить сущность «протаскиваемых» под шумок популярности вредных для России идей. Что же это за идеи? Речь заходит об июньском «Дневнике писателя» 1876 г., о поставленном там «восточном вопросе».

«Суть дела в том, что г. Достоевский признает русских существенно отличною от европейцев психическою организациею. Отличие это, клонящееся к чести и преимуществу русских, заключается в том, что будто бы мы – носители одного очень важного принципа, долженствующего обновить мир»¹³⁶.

К этому месту Сычевский дает многозначительное, но уклончивое примечание:

«Г. Достоевский даже название этому принципу подыскивает. Неверное и нехорошее название, обросшее колючками, о которые до крови может уколоться всякий неосторожный человек»¹³⁷.

И всё, и обрыв, фигура умолчания, тайна полишинеля. Какой же «принцип» Достоевского имеется в виду? Догадливый читатель,

¹³⁵ С. С. <Сычевский С. И.> Журнальные очерки. Золя о Жорж Санд. Идеалисты, романтики и реалисты в жизни и литературе. Берлинские биржевые идеалы. Г. Достоевский и его profession de foi по славянскому народному и восточному вопросам // *Одесский вестник*. 1876. № 155. 15 июля.

¹³⁶ Там же.

¹³⁷ Там же.

заглянув в июньский «Дневник писателя», мог отыскать «неверное и нехорошее название, обросшее колючками». Найдем его и мы:

«...это не игра в слова, а тут действительно будет нечто особое и неслыханное; <...> это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение креста Христова и окончательное слово православия, во главе которого давно уже стоит Россия» (23: 50).

Вот обо что, по понятиям либерального критика, «до крови может уколиться всякий неосторожный человек». Глубинная причина расхождения критика и писателя – мировоззренческая (что мы видели недавно в случае с Ларошем и Скабичевским), а в этой сфере действительно не может быть компромиссов.

«А! Так вот к чему сводились все обещания Достоевского; вот та теория, которую он несколько месяцев мазал по губам своих читателей! Та же затхлая хомяковщина и аксаковщина, под тем же кислым соусом! Благодарю, не ожидал»¹³⁸.

Слава Богу (в этом случае надо бы со строчной), – облегченно вздыхает критик, – уж теперь-то, когда Достоевский наконец открыл свои карты:

«...ожидать от него “нового слова” – никто не будет. Я не думаю, что, при настоящем положении науки и общественного мнения, кто-нибудь поверил “словечку” г. Достоевского»¹³⁹.

Теперь, когда редакционный архив «Дневника писателя» достаточно изучен (см: [Волгин 2019: 12–88], [Письма читателей]), можно сказать, что надежды прогрессивного критика не оправдались. Нашлись читатели, поверившие слову Достоевского. Да и сам Сычевский в дальнейшем то спорил с Достоевским, обвиняя его в германо- и юдофобии¹⁴⁰, в пренебрежении многонациональностью и многоконфессиональностью России¹⁴¹ (выражение «халаты и мыло» вызвало возмущение не у него одного)¹⁴², то спешит «отдать справедливость его искренности

¹³⁸ Там же.

¹³⁹ Там же.

¹⁴⁰ С. С. <Сычевский С. И.> Журнальные очерки // *Одесский вестник*. 1876. № 208. 23 сентября.

¹⁴¹ Z. <Сычевский С. И.> Воскресные заметки // *Одесский вестник*. 1876. № 222. 10 октября.

¹⁴² В связи с этим эпизодом другой либеральный журналист окрестил Достоевского «будочником патриотизма» (*Мыслете <Гребенщиков М. Г.?> Листок // Голос*. 1876. № 273. 3 октября).

и задушевности» в славянском вопросе¹⁴³ и признает в «Кроткой» не только художественный «шедевр», но и постановку «важнейшей из общественных идей» – «идеи брака»¹⁴⁴. А прочитав «Братьев Карамазовых», Сычевский и вообще напишет настоящий панегирик автору (см. далее). Стало быть, поторопился одессит с отменой «нового слова» от Достоевского и в итоге «отменил» самого себя.

Оценки «Дневника писателя» 1876 года в целом оказались очень высокими даже у оппонентов Достоевского. Тот же принципиально разошедшийся с ним Г. А. Ларош удивлялся «энергии и живучести автора, приготовляющего аккуратно к сроку, аккуратно к последнему числу месяца не головную работу, не сухой отчет или компиляцию, а произведения, требующие внутреннего жара и вдохновения»¹⁴⁵. С. А. Венгеров, заметивший «усталость» Достоевского в последних романах, констатировал: «не трудно заметить по тону, духу и содержанию “Дневника”, что он как бы возродился с тех пор, как его издает»¹⁴⁶. Нельзя не усомниться в «усталости» автора «Идиота», «Бесов» и «Подростка», но Венгеров уловил действительно какую-то происшедшую с писателем перемену. Критик (а в будущем деятельный историк литературы) предпринял попытку проанализировать происходящее на его глазах изменение литературной репутации, понять секрет возрастающего авторитета Достоевского.

«Успех – великое дело и в особенности для писателя. <...> Я, разумеется, тут не говорю о том успехе, который иной раз является следствием погони за популярностью, я не говорю о том успехе, который происходит от удовлетворения низменных чувств читающей публики или лести всем ее инстинктам – такой успех унижает писателя в его же собственных глазах. Но не такого сорта успех “Дневника”. Г. Достоевский говорит обществу резкое, суровое слово, **но это слово искренне и поэтому к нему все невольно прислушиваются**. Должно быть, замечая, что общество наше еще в состоянии слушать истину, г. Достоевский стал гораздо снисходительнее смотреть на него и в нем нет больше того страшно-пессимистического настроения духа, под влиянием которого написаны “Бесы”»¹⁴⁷.

¹⁴³ Z. <Сычевский С. И.> Воскресные заметки // *Одесский вестник*. 1876. № 222. 10 октября.

¹⁴⁴ С. С. <Сычевский С. И.> Журнальные очерки // *Одесский вестник*. 1876. № 277. 16 декабря.

¹⁴⁵ L. <Ларош Г. А.> Литература и жизнь // *Голос*. 1876. № 152. 3 июня.

¹⁴⁶ Фауст Щигровского уезда <Венгеров С. А.> Литературные очерки // *Новое время*. 1876. № 107. 17 июня.

¹⁴⁷ Там же.

Среди мотивов стремительно возраставшей репутации «Дневника писателя» невозможно не заметить гендерной составляющей. Русские читательницы и всегда были на шаг впереди читателей, особенно если дело касалось не политической, а нравственно-духовной жизни общества. В случае с «Дневником писателя» существенную роль сыграла также искренне и энергично выраженная позиция автора в так называемом женском вопросе, волновавшем русских читателей обоих полов ничуть не меньше острых проблем проведения реформ. Отстаивание Достоевским высокого статуса женщины, выраженные им надежды на ее решающую роль в судьбе России привлекли к нему горячие симпатии лучшей половины общества, что нашло выражение и в публичном пространстве¹⁴⁸.

Успех «Дневника писателя» 1876 года поднялся к точке кипения после публикации рассказа «Кроткая» в качестве ноябрьского выпуска моножурнала. Успех был всеобщим, мы отмечаем лишь одно исключение – высказывание обозревателя под криптонимом «Б.» юного еженедельника, старавшегося быть во всем либеральным. Рассказ «идеального мистика» Достоевского показался обозревателю скучноватым: «... читатель, дойдя до половины рассказа, начинает чувствовать некоторое утомление» от «психологических длиннот»¹⁴⁹. Трудно не заподозрить авторство П. Д. Боборыкина, принимавшего активное участие в этом журнальчике и использовавшего данный криптоним в других изданиях. А если это так (в чем мы не сомневаемся), то трудно также не заподозрить автора в писательской зависти.

Были попытки несколько смикшировать успех. Так, Скабичевский, поприветствовав появление на арене «Дневника писателя» «талантливое художника» вместо «плохого мыслителя», заметил, что «Кроткая» не относится к «особенно сильным произведениям Достоевского», однако при ее разборе, по обычаю оспаривая самого себя, нашел, что «главное достоинство этой повести в психическом анализе, в той массе поразительных противоречий, какие раскрываются перед вами в натуре героя»¹⁵⁰.

«Кроткая» тронула даже зоилы русской печати. «Есть у него маленький рассказ “Кроткая”; просто плакать хочется, когда его читаешь, таких

¹⁴⁸ Хохрякова <Л. Х.> По поводу рассуждений Ф. М. Достоевского о русской женщине // Церковно-общественный вестник. 1876. № 72. 2 июня; Педагогическая хроника. Страничка из жизни // Женское образование. 1876. № 6. Август. С. 283–285.

¹⁴⁹ Б. <Боборыкин П. Д.> За две недели. (Журнальные заметки) // Московское обозрение. 1876. № 12. 19 декабря).

¹⁵⁰ Заурядный читатель <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы // Биржевые ведомости. 1876. № 341. 10 декабря.

жемчужин немного во всей европейской литературе» [Салтыков-Щедрин в воспоминаниях; 2: 262], – говорил редактор «Отечественных записок», очевидно, под этим впечатлением написав Достоевскому записку с настойчивой просьбой дать для журнала «хотя небольшой рассказ» [Салтыков-Щедрин; 19, : 36]. Другим из растрогавшихся зоилов был В. П. Буренин. Вынужденный сменить газетную трибуну и осваивая «площадку» «Нового времени», которая станет для него коренной, Буренин в конце 1876 года подытоживает предшествующую свою историю с Достоевским, и моментом истины становится для критика именно «Кроткая». Он характеризует ее как «не особенно выработанный психиатрический этюд», но при этом подробнейшим образом и с величайшим интересом разбирает.

«Тут мы встречаемся с темой, не раз уже затронутой в нашей литературе: мелкая эгоистическая личность с искаленным и дико направленным самолюбием сталкивается с кроткой забитой женской натурой, таящей в себе инстинктивное сознание правды и добра. <...> разумеется, “план” жалкого эгоиста, драпирующегося из трусости пред собственной совестью в тогу гордого и мрачного мстителя обществу, не удался ему и не мог удасться. <...> Его мелкость и нравственная сухость и подлость сделались ей невыносимы»¹⁵¹.

Анализу «Кроткой» Буренин предпослал некий трактат о Достоевском как писателе, его месте и значении в современной литературе, ориентируясь на прецедентную статью Добролюбова «Забитые люди» и оспаривая ее основной постулат о малохудожественности произведений писателя, активно эксплуатирующийся в критике. «В настоящее же время, – утверждает Буренин, во многом дезавуируя и собственную недавнюю позицию, – после “Преступления и наказания”, после “Бесов” сомневаться в огромном художественном даровании г. Достоевского невозможно...»¹⁵²

Отвёл Буренин и самый избитый довод в пользу «нехудожественности» Достоевского, сделав это не без изящества тонкого понимания поэтики романиста:

¹⁵¹ Тор <Буренин В. П.> Литературные очерки. Об исключительности и одинокости дарования г. Достоевского. – Отчего у него нет подражателей и отчего он не создал школы? – Вопрос о художественности г. Достоевского. – Своеобразная задача его произведений. – Г. Достоевский психиатр в беллетристике. – Его психиатрические этюды имеют прямое отношение к действительности и глубоко затрагивают ее. – Несколько слов о новой повести г. Достоевского // *Новое время*. 1876. № 297. 24 декабря.

¹⁵² Там же.

«Обыкновенно те, кто заподозривает художественность автора “Бесов”, в числе главных своих аргументов проводят тот, что все действующие лица произведений г. Достоевского **говорят языком самого автора**, что в речах и мужских и женских его персонажей постоянно слышится та особенная манера, те особенные приемы, которые свойственны самому г. Достоевскому, которые сквозят даже в его публицистических работах. Это замечание справедливо, но только отчасти. Дело в том, что действительно по внешности герои и героини романов почтенного писателя выражаются языком, похожим на его собственный, авторский язык, но **именно только по внешности**: эта субъективная манера, или даже манерность языка нисколько не препятствует действующим лицам высказывать с величайшею реальностью и глубокою правдой их **настоящую психическую сущность**, их настоящие чувства и притом высказывать так живо и часто с таким потрясающим драматизмом, что авторская манера, сквозящая в их речах, нисколько не мешает иллюзии художественного изображения»¹⁵³.

Однако прежнюю свою «оговорку» эстетического свойства Буренин за собой всё же оставляет:

«...отнюдь не подобает судить о художественных качествах произведений г. Достоевского по их впечатлению в целом. С этой стороны романы автора “Бесов” до такой степени не выдержаны, запутаны и, так сказать, хаотичны, что действительно могут возбуждать споры относительно художественности творчества их автора. Но если, отбросив путаницу и невыдержанность общего, мы обратимся к оценке отдельных эпизодов и типов в помянутых романах, тогда огромное и яркое художественное дарование г. Достоевского предстанет вне всяких сомнений не только для опытного критического взора, но и для каждого простого читателя»¹⁵⁴.

Буренин перечисляет некоторые из несомненных удач писателя: Степан Трофимович Верховенский (тип Рудина, но «выработанный более определенно, более законченно, всесторонне и притом в более широкой и сложной бытовой обстановке»), рассказ Мармеладова, «полный драматизма, хватающего за сердце поразительно психическою правдою и глубиною», «рассказ матери о том, как удавилась ее дочь» в «Подростке», «удивительный эпизод маленькой Нелли в “Униженных и оскорбленных”». Выбор эпизодов говорит об эстетической ориентации критика на каноны традиционного реализма. Ощущения художественного целого у него не возникает, поскольку такого рода эпизоды не определяют общую природу романа: рядом с ними, заполняя эфир,

¹⁵³ Там же.

¹⁵⁴ Там же.

функционируют образы искаженной реальности. Буренин здесь возвращается к своему определению, что Достоевский не психолог, а психиатр, которого, согласно избранной профессии, интересуют характеры изломанные, неуравновешенные. В то же время критик отвергает ставшую тривиальной формулировку, что романы Достоевского – построенный автором сумасшедший дом его собственной большой психики. Аномальность героев Достоевского Буренин предлагает рассматривать как отражение аномальности общественной жизни современной России, едва вышедшей из крепостной эпохи. Не порывая с социальной критикой Добролюбова и не освободившись еще от «прогрессивных» установок, Буренин заявляет, что основная тема Достоевского – «беспомощность личности перед диким гнетом насилия», «болезнь “униженного и оскорбленного” самолюбия, не находящего исхода своим тревожным стремлениям вследствие бездушного и несправедливого общественного строя».

«Художественный анализ ненормальных, искаленных психически натур, анализ ненормальных болезненных страстей и положений, обуславливаемых ненормальными влияниями жизни – вот обычная задача романов и рассказов нашего автора. Исключительная задача эта преследовалась и преследуется г. Достоевским с упорным постоянством, с удивительной пронизательностью, наблюдательностью и любовью. Разработкой этой исключительной задачи в самых разнообразных мотивах и художественных представлениях, иногда доходящих, если так можно выразиться, до нервических абсурдов (в “Белых ночах”, в “Идиоте”), даровитый автор занимался и занимается с такой страстной напряженностью, которая порой налагает на его художественно-психиатрические этюды печать необычайной глубины, **но порой увлекает его за пределы искусства** в чуждую последнему область патологии. У г. Достоевского не было, нет, да вероятно и не будет соперников и последователей в его особенном беллетристическом жанре...»¹⁵⁵.

Буренин, пожалуй, впервые в критике заявил об одиночестве Достоевского, проистекающем из экстраординарности его художественного зрения и отчуждения от него «литературной общественности». Пересмотр собственных отчужденных позиций привел критика и к реформатированию прежней его интерпретации романа «Бесы».

«Г. Достоевский в широкой, хотя несколько хаотической, утрированной и в иных подробностях не особенно верной картине начертил если не образы, то олицетворения “политических” стремлений на нашей почве,

¹⁵⁵ Там же.

обращающихся в дикое, безрезультатное, порой ужасное, порой честное, порой жалкое, порой комическое – да простят меня за неудачное слово – маньячество. Г. Достоевский с большой пронизательностью выставил общие причины, порождающие политических маньяков: отсутствие настоящей солидарности с основною и единственною живою силою нашей жизни – с народом...»¹⁵⁶.

Сказавшаяся в этих словах эволюция Буренина, перерождение нигилиста в консерватора, весьма показательны не только для объективного истолкования места и значения данного критика с его непростой репутацией в истории литературы¹⁵⁷. Буренин в каком-то смысле флюгер, тонко улавливающий ветры эпохи (не в осуждение употребляем мы это слово, т. к., по нашему представлению, хорошая критика не может не быть метеорологической службой литературы). Перемену в литературной и общественной репутации Достоевского Буренин сумел уразуметь постольку, поскольку сам не стоял на месте.

7.

«Дневник писателя» 1877 года Достоевский начинает с того же, чем он заканчивал «Дневник» прошедшего года – с наблюдения над «спорами и разъединениями нашими». Причины разъединений, образовавших в том числе и зоны непонимания вокруг самого Достоевского в критике, он подразделяет на два вида: от «ошибок ума» и от «ошибок сердца».

«Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца; излечиваются же не столько от споров и разъяснений логических, сколько неотразимою логикою событий живой, действительной жизни <...>. Не то с ошибками сердца. Ошибки сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный дух иногда даже во всей нации, несущий с собою весьма часто **такую степень слепоты, которая не излечивается** даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу; напротив, перерабатывающая эти факты на свой лад, ассимилирующая их с своим зараженным духом, причем происходит даже так, что скорее умрет вся нация, сознательно, то есть даже поняв слепоту свою, но *не желая* уже излечиваться» (25: 5).

¹⁵⁶ Там же.

¹⁵⁷ Шаг в эту сторону, а также приближение к большой теме «Буренин как критик Достоевского», в частности, осмысление буренинской концепции «цинического реализма» см.: [Баршт 2019: 287–296].

«Дневник писателя» 1877 года вошел в такую зону турбулентности, в которой «ошибки сердца» возобладали над «ошибками ума». Война и обнаруживающиеся всё более неоднозначные ее последствия раскололи русское общество. Достоевский все силы своего таланта бросил на разъяснение «главнейшей сущности» происходящего в России, в народе движения как «очистительного» и «покаянного» (25: 215–217).

Скептики не скупилась на крепкие выражения, и вновь мы наблюдаем вокруг Достоевского знакомое обволакивающее облако ксенофобии: «в славянофильстве юродствующий публицист»¹⁵⁸, «мистические разглагольствования»¹⁵⁹, «исступленное кликушество»¹⁶⁰, «славянофильское кликушество»¹⁶¹ (популярное словечко, чуть не термин)...

Первый номер 1877 года критик и писатель Н. В. Успенский встретил кислым приветствием: «дряблые размышления автора на одну и ту же тему, о нашей оторванности от почвы», не спасут и броские названия глав.

«Пикантные заглавия секций “Дневника” напоминают афиши Егарева, Берга, Малафеева и др., подвизающихся в настоящую сырную неделю на Царицыном лугу, так что мысль читателя “Дневника” должна совершать *salto mortale* от одной главы к другой, поименованных таким образом: “Три идеи”. – “Миражи, штунда и редстокисты”. – “Именинник”. – “Примирительная мечта вне науки”. – “Замученный Фома Данилов”. Всё это сильно смахивает на балаганные афиши: “Правда сильнее меча”. – “Первый блин да комом”. – “Приказчик Кирилл всех турок перехитрил” и т. д. Какими бы однако специями ни приправлял автор “Дневника” свою философию, **читающая публика не изменит о нем своего мнения как о талантливом беллетристе и как о скучном проповеднике**»¹⁶².

«Дилетантом славянобесия» назвал Достоевского приклеившийся к нему Скабичевский¹⁶³. Он полагал (и не он один), что прежде

¹⁵⁸ Мизантропов Н. <Пятковский А. П.> Калейдоскоп. Литературные и общественные заметки. Первые впечатления войны. Толки о ней в газетной прессе. Пророки и шовинисты. Отрезвляющие голоса. <...> // *Дело*. 1877. № 4. С. 179.

¹⁵⁹ Некто из толпы <Свешникова Е. П.> «Дневник писателя». Ежемесячное издание Ф. М. Достоевского // *Кронштадтский вестник*. 1877. № 61. 22 мая.

¹⁶⁰ Заурядный читатель <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы // *Биржевые ведомости*. 1877. № 239. 23 сентября.

¹⁶¹ С. С. <Сычевский С. И.> Журнальные очерки // *Одесский вестник*. 1877. № 238. 2 ноября.

¹⁶² В. Печкин <Успенский Н. В.> Заметки // *Сын отечества*. 1877. № 6. 6 февраля.

¹⁶³ Заурядный читатель <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы. <...> Спор г. Достоевского с Данилевским о владении Константинополем и в чем должна заключаться наша истинная миссия прежде всего. (См. Дн<евник> Достоевского, № 11) // *Биржевые ведомости*. 1877. № 330. 23 декабря.

славян мы должны позаботиться о своем собственном народе. Не была воспринята логика Достоевского, уверенного, что боление о братьях-славянах поднимает дух русского народа и тем самым движет его к нравственному возрождению, предпосылочному для всех остальных сфер национальной жизни. Такая логика была чужда позитивистскому сознанию.

Оппоненты писателя особенно настаивали на его дилетантстве в политических вопросах. Еще летом 1876 года, когда Достоевский впервые так полно и откровенно заявил свои взгляды на «восточный вопрос», И. Ф. Василевский констатировал, что июньский «Дневник писателя» «пахнет порохом», а славянофильские идеи автора составили «учение фантастическое», не учитывающее политических реалий. Если европейская дипломатия, предположил Василевский, уже всё решила, то война будет бессмысленным кровопролитием¹⁶⁴. Скептически настроенный журналист угадал-таки последующий ход событий! В его глазах Достоевский был «отвлеченный мечтатель, если хотите, “ясновидящий предчувственник” (говоря его словами о покойной Жорж Занд), но крайне плохой, наивный политик»¹⁶⁵. Противоречие, заложенное в эту характеристику (если ясновидящий предчувственник, то почему плохой политик?) составило затем основную коллизию восприятия критикой сильно политизировавшегося «Дневника писателя» 1877 года. Писали многократно, что даровитый беллетрист взялся не за свое дело:

«...мыслит он не реально, а Бог знает как, – хоть святых вон выноси. В то же время сколько искренности, сколько любви, сколько фанатизма в его привязанности к народу, к России!»¹⁶⁶

Писали, что он «чудак в политике»:

«В последнем <сентябрьском> номере своего дневника он делает одно из чрезвычайно широких политических обобщений и сводит все настоящие вопросы на борьбу между православием и католицизмом. Но, по странной нелогичности, православие у него стоит рядом с протестантизмом, а католицизм – смешивается с исламом и с пресвитерианством... Выходит очень странный маскарад, далеко не говорящий в пользу логичности его обобщения. Тем не менее, идея хороша»¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Буква <Василевский И. Ф.> Наброски и недомолвки // Биржевые ведомости. 1876. № 182. 4 июля.

¹⁶⁵ Там же.

¹⁶⁶ Журнальные заметки // Дело. 1877. № 6. С. 63.

¹⁶⁷ С. С. <Сычевский С. И.> Журнальные очерки // Одесский вестник. 1877. № 238. 2 ноября.

«Широкое обобщение», что «весь ключ теперешних и грядущих событий всей Европы лежит в католическом заговоре и в предстоящем, несомненном и огромном движении католичества» (26: 11–12) Достоевский сделал еще в май-июньском «Дневнике писателя», но, по его словам, на это ключевое положение «кажется, никто не обратил внимания, и статья прошла (в печати) бесследно» (26: 12). Достоевский-политик со своим комбинациями и предсказаниями оказался либо не интересен, либо высмеян. Некоторые из предсказаний его всё же сбылись, а некоторые остались дожидаться своего часа. Так, его ожидание скорой неизбежной общеевропейской войны оказалось ошибочным лишь в сроках.

В целом несхождение политической публицистики Достоевского 1877 года с современной ему журналистикой объяснимо разноуровневым мышлением: Достоевский в отличие от политики сиюминутных интересов предложил «далевой» цивилизационный подход, развивая тип историософского мышления, предложенный Н. Я. Данилевским в книге «Россия и Европа» (1869). Этот подход и его, так сказать, методология, были заявлены в первом же выпуске «Дневника писателя» 1877 года, в первой его главе «Три идеи». Множество нареканий вызвала якобы «клерикальная» точка зрения автора, обзор европейских событий с сугубо конфессиональных позиций. Потому и была замолчена или осмеяна его теория «католического заговора». Между тем в упомянутой главе, в которую явно не вчитались оппоненты Достоевского, он совершенно отчетливо заявил: «Я не про религию католическую одну говорю, а про всю идею католическую, про участь наций, сложившихся под этой идеей в продолжение тысячелетий, проникнутых ею насквозь» (25: 6). Речь, как видим, не о конфессиях в узком смысле, а о культурной типологии, о цивилизациях, сформировавшихся в лоне тех или иных конфессий. Религия, по Достоевскому, фундамент, но не всё здание. Критики же эту историческую диалектику писателя и мыслителя пропускали мимо ушей.

Интересно, что сколько бы Достоевский ни убеждал в отсутствии у России захватнических планов в русско-турецкой войне, оппоненты ему не верили, цивилизационный подход ими не считывался. Вот как, например, Скабичевский представлял идеи, высказанные в сентябрьском «Дневнике писателя» 1877 года:

«...если любой западный клерикал о том только и мечтает, нельзя ли устроить так, чтобы французы перестали быть французами, англичане – англичанами и проч., а чтобы и Франция, и Англия, и Германия, и Австрия были

не чем иным как отдаленными провинциями Рима, то почему же и г. Достоевскому не мечтать о том же с восточно-клерикальной точки зрения? Что ему интересы отдельных народов – сербского или болгарского, чешского или русского перед величественным зрелищем Восточной Византийской империи, воздвигнутой во всем ореоле великой державы Константина Великого?»¹⁶⁸

Имперская идея действительно близка писателю, но не до такой же степени (на которой, собственно говоря, все империи самоуничтожаются); хищный оскал Достоевскому точно не свойственен.

В расстановку европейских сил, описанную Достоевским, Скабичевский вносит одно уточнение несколько загадочного свойства:

«...он только совсем опускает из виду один элемент, который на самом деле именно и является неким страшным гостем, стучащимся в двери Европы. Гость этот одинаково враждебно относится ко всем старым вопросам и партиям, о которых трактует г. Достоевский; восточный или католический вопросы, феодальные или буржуазные стремления, клерикалисты или республиканцы – всё это ему в равной мере чуждо и ненавистно, потому что всё это одинаково исключает его и мешает ему войти в ту дверь, в которую он стучится...»¹⁶⁹.

Кто этот «страшный гость»?

Любопытно, что Скабичевский здесь едва ли не повторил выражение, сказанное Достоевским четыре года назад: «Неужели правда, что и в Германии уже силен космополитический радикализм? Что уже и к ней стучится в двери французское учение – коммунизм?» (21: 223). Неизвестно, помнил ли Скабичевский сказанное Достоевским обозревателем иностранных событий в «Гражданине» 5 ноября 1873 года, однако совпадение знаменательное. Достоевский прекрасно знал и видел, что в двери европейской цивилизации настойчиво стучится так называемое четвертое сословие (как некогда стучалось третье), это рабочий класс, пролетариат, собираемый под знамена «космополитического радикализма» Интернационала. Он ничуть не упустил из виду эту новую силу, но он видел в ней, в силу своего цивилизационного подхода, «лишь вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее

¹⁶⁸ *Заурядный читатель* <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы. Нечто о предсказаниях г. Достоевского, о том, почему они не могут сбыться, и что было бы, если бы они сбылись (см. «Дневник писателя», сентябрь) // *Биржевые ведомости*. 1877. № 267. 21 октября.

¹⁶⁹ Там же.

последствие, выработавшееся веками. Ибо социализм французский есть не что иное, как *насильственное* единение человечества – идея, еще от древнего Рима идущая и потом всецело в католичестве сохранившаяся» (25: 7).

Мог ли Скабичевский не то чтобы принять, а хотя бы понять ход мысли Достоевского и самый масштаб ее, который уже вел писателя к созданию грандиозного в своей историософской универсальности образа Великого инквизитора? Вряд ли. Пока же Достоевский, вероятно, всё же ответил Скабичевскому (прямо не названному) в ноябрьском «Дневнике писателя» 1877 г.:

«Католичество умирать не хочет, социальная же революция и новый социальный период в Европе тоже несомненны: две эти силы, несомненно, должны согласиться, два течения слиться» (26: 90).

Русская литература, отвечающая на вызовы переломной эпохи, естественно, оказалась в центре внимания автора «Дневника писателя» 1877 года. Начиная год, он высказал упрек критике, не устающей твердить о литературном безвременье, об упадке писательских сил.

«Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок, не явилось так много талантливых писателей, как у нас, и так сряду, без промежутков. А между тем я даже и теперь, чуть не в прошлом месяце, читал опять о застое русской литературы и о “пустынях русской словесности”» (25: 27).

Выделенное кавычками выражение взято было из статьи «Отечественных записок», где автор «вполне разделял недовольство большинства общества современною беллетристикою», представляющей собой «бесплодную пустыню»¹⁷⁰. Задетый Достоевским критик не остался в долгу и ответил, правда, уже в другом издании (он, по пословице, пел на двух клиросах). Любопытно, как и в этом случае Скабичевский сумел ввернуть излюбленную позитивистами теорию «среды», столь ненавистную Достоевскому:

«Главная причина, как и во всем, в чем только заслуживаем мы порицаний, лежит здесь конечно в общих условиях нашей жизни, в результате которых получается вездесущий во всех отраслях нашей литературы и жизни минорный, пессимистический, самообличающий тон, который преследует нас от колыбели до могилы. <...> разве не бывает, что люди совершенно равные, которые могли бы жить в мире и согласии, любоваться друг на друга

¹⁷⁰ Скабичевский А. Беседы о русской словесности (Критические письма) // *Отечественные записки*. 1876. № 11. Современное обозрение. С. 2.

и радоваться, – вдруг начинают осыпать друг друга упреками, насмешками, порицаниями и расходятся. И всё это происходит не от чего иного, как от того, что оба несчастны. <...> в несчастье темно и угрюмо делается всё вокруг нас, нет друзей, со всех сторон в глазах наших шипят змеи и копошатся гады, и на самых близких и хороших людей начинаем мы смотреть с ненавистью и отвращением»¹⁷¹.

Несколько слов в январском «Дневнике писателя» Достоевский сказал о новом романе Тургенева «Новь», удивив ими известного нам (только сменившего маску-псевдоним) одесского критика: интересный сам по себе эпизод, говорящий, как можно было читать и понимать Достоевского. Автор «Дневника писателя» указал читателям на строки в романе «Новь», не цитируя их, и от себя добавив, что с ними «глубоко не согласен» (25: 28). Заглянув в указанное место романа, можно было прочесть: «...Соломин не верил в близость революции в России, но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них – не издали, а сбоку. <...> он держался в стороне...» («Вестник Европы», 1877, № 1, с. 92). Одесский критик был поражен негативной реакцией Достоевского на эти строки: «Это автор-то “Бесов!” Вот уж поистине: “на свете странные бывают приключения!”»¹⁷² Однако удивляться приходится на самого критика: несогласие Достоевского явно относилось не к словам Соломина о близости революции, а к позиции героя, который «не мешал» и «держался в стороне». Скорее всего, эту «объективность» Достоевский приписывал самому Тургеневу (иное прочтение см.: 25: 368–369, комментарий). Критик проявил, увы, типичное качество не одной тогдашней журналистики – ее торопливость, сродни той, о которой Достоевский хотел написать в послесловии к «Бесам» (11: 308).

Однако не Тургенев был главным «героем» литературных глав «Дневника писателя» 1877 года. На роль истинных выразителей эпохи Достоевский выдвинул Льва Толстого и Некрасова. За первым подходом к Толстому в январском «Дневнике писателя» последовал февральский анализ «злобы дня» в романе «Анна Каренина», вызвавший письмо Н. С. Лескова: «Дух Ваш прекрасен, – иначе он не разобрал бы этого так» [Лесков; 10: 449]. Ставший новым «спутником» писателя Скабичевский также с удовлетворением отметил слова Достоевского

¹⁷¹ *Заурядный читатель <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы. Письмо моему престарелому оптимистическому другу // Биржевые ведомости. 1877. № 47. 18 февраля.*

¹⁷² *Барон Икс <Герцо-Виноградский С. Т.> Журналистика // Новороссийский телеграф. 1877. № 603. 10 февраля.*

о «наступающей будущей России честных людей, которым нужна лишь одна правда»¹⁷³. Сильно удивил русскую критику июльско-августовский выпуск, где об «Анне Карениной» (не имевшей большого успеха в прессе) было заявлено как «факте особого значения», «который бы мог отвечать за нас Европе» (25: 198–199). С юга России прилетело симптоматичное недоумение:

«Читателям “Одесского вестника” известно, как высоко я ставил и ставлю этот прекрасный роман. Но даже меня заставило протереть глаза мнение Достоевского, будто “Анна Каренина” – это именно и есть то новое, мировое слово, которое дает славянскому духу право на вековое первенство между всеми народами... И знаете, в чем заключается это слово? Что выражает собою “Анна Каренина”? Она, по мнению Достоевского, доказывает ту великую мысль, что карать человеческие заблуждения и прегрешения есть дело не человеческое, а Божие... Не думаю, чтобы сам граф Толстой согласился с таким толкованием своего произведения...»¹⁷⁴.

Можно подивиться, как уверенно критик говорит от имени автора романа, но еще удивительнее то, как он толкует толкование Достоевского, подавая нам еще один пример **парциальной критики**. Приводится только верхняя, так сказать, **часть** толкования Достоевского: «отмщение» воздает Бог, а не человек (таков, между прочим, эпитафия к роману, т. е. как раз слово автора), – но не приводится «подводка» к нему:

«Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределены и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей *окончательных*, а есть Тот, который говорит: “Мне отмщение и аз воздам”» (25: 201–202).

Куда одесский критик подевал всю эту поразительную по глубине тираду? Она опущена по той простой причине, что выражает суть христианского решения проблемы вины. Давая своим читателям «вершки

¹⁷³ *Заурядный читатель* <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы. Повесть г. Незлобина «Weltschmerzer» (См. «Русский вестн.» № 2) и моя попытка заставить г. Незлобина покраснеть посредством выдержки из «Дневника» Достоевского (см. «Дневник писателя» — февраль) // *Биржевые ведомости*. 1877. № 68. 11 марта.

¹⁷⁴ С. С. <Сычевский С. И.> Журнальные очерки // *Одесский вестник*. 1877. № 238. 2 ноября. В той же статье достается Щедрину за «неразборчивость насмешки» – еще один показатель умственной несложности идеологизированной критики.

без корешков», критик сводит толкование Достоевского к нерассуждающей, тупой покорности воле Божьей. Полуправда, как известно, горше неправды.

В еще бóльшую зону турбулентности попал декабрьский выпуск «Дневника писателя» 1877 года, наполовину посвященный Некрасову. Это была первая в русской критике попытка сформулировать, «в чем именно заключается <...> суть и смысл этого явления» (26: 113). На третий день после выхода моножурнала его горячо приветствовал В. П. Буренин:

«Оценка личности Некрасова столь же глубокая, сколько верная <...>. Только таким любящим народ сердцем и можно постигнуть настоящую суть поэзии Некрасова и отличить в этой поэзии то, что действительно составляет ее великую сущность, ее плодотворное зерно, от наносной шелухи, которой в стихотворениях покойного найдется немало»¹⁷⁵.

Как и следовало ожидать, суждения Достоевского получили опровержение со стороны тех, кто считал себя соратниками покойного поэта. Скабичевский, продолжая спор, начатый над могилой Некрасова, о том, кто «выше», Некрасов или Пушкин с Лермонтовым, предложил, как ему казалось, разрешительную формулу: «Некрасов <...> выше их, – выше их именно тем, чем наш век выше века Пушкина и Лермонтова»¹⁷⁶. Критик, увлеченный своей «исторической» аргументацией (далекой от реального историзма) не захотел заметить, что опровергаемый им автор «Дневника писателя» лишь вынужден был отвечать на этот вопрос, абсолютно не соглашаясь с самой его постановкой:

«...я не меряю аршином, кто выше, кто ниже, потому что тут не может быть ни сравнения, ни даже вопроса о нем. Пушкин, по обширности и глубине своего русского гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным мировоззрением. Он великий и непонятый еще предвозвеститель. Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, малая планета, но вышедшая из этого же великого солнца» (26: 118).

¹⁷⁵ Буренин В. Литературные очерки. Кой-что о «Дневнике писателя» Достоевского и его авторе. – Эхо и голос в журналистике. – Примеры журнального эха и голоса в суждениях г. Скабичевского о Некрасове и суждение г. Достоевского. – Рутинные и малоосмысленные тирады о Некрасове и мнение о нем «молодых друзей». – Слова «Дня» о Пушкине и значении некрасовской поэзии // *Новое время*. 1878. № 681. 20 января.

¹⁷⁶ Заурядный читатель <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы. Еще несколько слов о том, выше ли Некрасов своих предшественников и в чем именно, по поводу последнего «Дневника» Достоевского // *Биржевые ведомости*. 1878. № 27. 27 января.

Сказанное о Пушкине в этой главе, предвещавшее знаменитую Речь Достоевского 1880 года, прошло тогда мимо ушей критиков, в том числе и Скабичевского, к тому же продемонстрировавшего уровень собственной культуры, высказавшись по поводу Тютчева, который, по Достоевскому, «обширнее его <Некрасова> и художественнее», но «никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое бесспорно останется за Некрасовым» (26: 112). Скабичевский был оскорблен до глубины души: Тютчев, презрительно бросил он, в поэзии «совершенно то же самое», что поверхностный князь Мещерский в беллетристике¹⁷⁷. Вести диалог на таком уровне не имело смысла.

В более серьезную полемику с Достоевским вступили «Отечественные записки». Разъяснение Достоевским личности Некрасова, его «двойственности и практичности», обсуждавшихся в печати, обозреватель журнала Г. З. Елисеев назвал «шедевром кабалистического искусства»¹⁷⁸. Совершенно неприемлемым для него был тезис о борьбе поэта с «демоном». «Миллион – вот демон Некрасова! <...> Это был демон гордости, жажды самообеспечения, <...> демон осилил...», – утверждал Достоевский, – и поэт «за то и заплатил страданием, страданием всей жизни своей» (26: 122–123).

«И демон самообеспечения <...> и вечная якобы борьба с этим демоном, и проистекавшая отсюда якобы именно потребность очищаться в любви народной, но непременно пушкинской, всё это измышлено г. Достоевским не для чего другого, как для того, чтобы привести <...> к плитам сельского храма»¹⁷⁹.

К плитам сельского храма, заметим, приводил своих читателей сам Некрасов («Гишина», «Рыцарь на час»). Критик же стремился доказать, что подобные мотивы в поэзии Некрасова мимолетны, а его привязанность к передовому (революционному) лагерю органична и постоянна. Зерно концепции Достоевского было оставлено в стороне, а оно состояло в доказательстве, что «противоречия» и «раздвоения» поэта не статичны и потому не абсолютны. Некрасов в глазах Достоевского – весь в движении самопреодоления, нравственного самоосуждения, и прекрасен в нем – именно этот нравственный труд личности, «духовное художество». В этом принципиальное отличие диалектики Достоевского от апологетики Елисеева, уклонившегося от той **сложности**, которую

¹⁷⁷ Там же.

¹⁷⁸ <Елисеев Г. З.> Внутреннее обозрение // *Отечественные записки*. 1878. № 3. Отдел II. С. 122.

¹⁷⁹ Там же. С. 125–126.

Достоевский извлекает не из «сплетен» (его собственное выражение), а прежде всего из исповедальных мотивов лирики самого Некрасова. Формула «русский человек в наше печальное, переходное время» (26: 126), по существу, варьировала то, что уже было сказано самим Некрасовым о себе: «сын больной большого века» [Некрасов; 2: 12].

Вторая половинка концепции Достоевского заключалась в утверждении, что в своей любви к народу Некрасов (вслед за Пушкиным) поднялся над шаблонной жалостливостью, приняв идущее от народа требование: «Не люби ты меня, а полюби ты мое» (26: 115). В этом утверждении Достоевского Елисеев услышал фальшивую ноту:

«Так мужика любили и в крепостное право, и те самые бары, которые гнули его в дугу, совершенно искренно увлекались и русской природой, и историческими святынями народа <...>. Легче ли было от этой любви народу?»¹⁸⁰.

Логика Елисеева предельно проста: если Достоевский не выводит на первый план социальный мотив, значит, он с крепостниками, помогает им «гнуть в дугу» простой народ, и ему однозначно не по пути с Некрасовым. Логика, преследовавшая Достоевского в прижизненной критике...

Не удержался Елисеев и от того, чтобы больно уколоть Достоевского нечистыми подозрениями. Поставив вопрос, мог ли Некрасов хоть в чем-то сблизиться с «лагерем г. Достоевского и “Гражданина”», критик в своем ответе резко понизил уровень полемики, перейдя на личности:

«Есть люди, которые за свои убеждения охотно пойдут в тюрьму, ссылку, на смерть и т. д., и есть другие, которые легко отступятся от них ввиду приобретения сотен тысяч, славословия толпы, достижения уважения у высокопоставленных лиц и т. п.»¹⁸¹

Двухлетняя история «Дневника писателя», да и всё творчество Достоевского начиная с «Преступления и наказания» (припомним боевую интерпретацию романа тем же Елисеевым) в представленной парадигме выглядят сплошным пасквилем. Для такого рода критики все средства хороши, и на Елисееве они, увы, не закончились.

В отличие от Елисеева П. Н. Ткачев хотя и числит за Достоевским ряд «бестактностей» вроде «Крокодила» и полемики с «Современником», тем не менее признает, что его «бестенденциозные произведения» «проникнуты высокими, истинно-человечными, гуманными чувствами» (называются «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого

¹⁸⁰ Там же. С. 125.

¹⁸¹ Там же. С. 134.

дома», «Преступление и наказание», «Идиот» и «Подросток»)¹⁸². В «защите» Некрасова, предпринятой Достоевским, Ткачева не устраивают два утверждения выразителя «больных людей».

Первое. Достоевский «любит копаться в “сокровенных тайниках”» человеческой души, вот он и придумал, что Некрасову в целях очищения от грехов «ничего более не оставалось, как полюбить народ». Получается, по Достоевскому, что «Некрасов любил народ не ради самого народа, а ради самого себя». Закрадывается предположение, что Достоевский, оправдывая такой эгоизм, «имел в виду <...> самого себя»¹⁸³.

Второе. Достоевский уверяет, что истинно любить народ «значит любить всё то, что он любит». Но это не любовь, а «идолопоклонство», поскольку она принуждает принимать в народе его невежество и предрассудки, порожденные неправильным строем жизни¹⁸⁴.

И в первом, и во втором случае критик прочитывает Достоевского, что называется, без нюансов. Так, «полюби ты моё» означало – полюби то, что я люблю, мои святыни, но никак не мои грехи. Весь вопрос в том, признаёт ли очередной жалельщик народа самое наличие в народе таковых святынь. С этим у оппонентов Достоевского были всегда большие проблемы. Что же касается версии автора «Дневника писателя» о перетекании «собственной скорби по себе самом» у Некрасова в «любовь к народу» (26: 119), то это всё же версия, и ничего другого, кроме версии, гипотезы и не может быть в отношении чужой души, что Достоевский и оговаривает – «как понимаю я» (26: 119). Убедительность же его гипотезы основывается опять же и прежде всего на документальной основе, которой в данном случае является **поэзия Некрасова**, его всенародная исповедь. К этим нюансам критик остался глух, убоявшись «сокровенных тайников», с первого шага иронически забракованных.

Декабрьским выпуском «Дневника писателя» 1877 года завершились двухлетние дебаты вокруг моножурнала Достоевского в критике. Однако не они в конечном счете определили судьбу издания. Решающую роль сыграло отношение к нему рядовых читателей, оно до некоторой степени повлияло и на перемены в области не то чтобы репутации, но скорее **доверия** к писателю в русской журналистике. На этот факт указал с присущей ему резкостью В. П. Буренин:

¹⁸² *Все тот же <Ткачев П. Н.> Литературные «мелочи». Философские размышления о нравственности, нравственных идеалах и о других мелочах. (Посвящается гг. Суворину, Достоевскому и Елисееву) // Дело. 1878. № 6. Современное обозрение. С. 19–20.*

¹⁸³ Там же. С. 21–22.

¹⁸⁴ Там же. С. 23.

«„Дневник“ г-на Достоевского был таким оригинальным, а главное, таким глубоко искренним изданием, что он приобрел себе самые живые симпатии не только у читателей, но даже и среди наших журнальных котерий, которые любят называть себя партиями. Несмотря на парадоксальность многих воззрений высокодаровитого писателя, в его „Дневнике“, в продолжение двухлетнего срока, было высказано много своеобразных, верных и иногда необыкновенно глубоких, светлых мыслей и наблюдений и притом высказано такой задушевной, убеждающей, горячей речью. Без всякого сомнения, в нашей периодической литературе немного насчитывается изданий, могущих по внутреннему интересу конкурировать с этим маленьким журналом, издававшимся одним лицом, без помощи каких бы то ни было сотрудников. Все, кто читал „Дневник“, – **а его читали очень и очень многие**: он имел замечательный успех – конечно, пожалеют о том, что автор прекращает свою задушевную и симпатичную беседу о различных вопросах и явлениях современной действительности»¹⁸⁵.

Буренина поддержала провинциальная газета, произнесшая слова, которые долго не решались высказать столичные издания:

«Давно, более четверти века тому назад, Ф. М. Достоевский жестоко поплатился за свои идеалы; но ему суждено было увидеть осуществление всего, за что он прежде ратовал, и он говорит теперь с нами о задачах нашего времени с искренностью человека, которому нечего скрывать, и с тем авторитетом, на какой ему дают право перенесенные им испытания. **Его слушают как учителя и горячо сочувствуют ему, как испытанному другу.** Его „Дневник“ имеет огромный успех. Но что всего важнее и чему до сих пор не было примеров – это нравственная связь, прекрасная сама по себе и удваивающая силы писателя и возвышающая его душу <...> Таких хороших и **таких близких отношений между писателем и обществом до сих пор еще не было** <...> „Дневник писателя“ сделал первый удачный опыт в этом отношении, и в этом его огромная заслуга»¹⁸⁶.

Своеобразный итог своим штудиям подвел и Всеволод Соловьев, чуть раньше Буренина и Тхоржевских напечатав в набирающей популярность «Ниве» краткую биографию Достоевского, многое записав со слов самого писателя (звучащий голос «героя» делает некоторые ее части автобиографическими). Критик включил сюда и свои прежние газетные суждения, например, о страхе, испытываемом читателями перед романами Достоевского. Читатели, полагал Соловьев, **«ищут легкого и занимательного чтения», а не «тяжелой работы для мысли».**

¹⁸⁵ Буренин В. Литературные очерки // *Новое время*. 1878. № 681. 20 января.

¹⁸⁶ Иван-да-Марья <Тхоржевские И. Ф. и А. А.> Ф. М. Достоевский и его «Дневник писателя» // *Донская пчела*. 1878. № 11. 5 февраля.

Поэтому, как считает критик, «вполне беспристрастная оценка “Бесов” и “Подростка” возможна только в будущем, да и сам Достоевский хорошо понимает это». Тем не менее Соловьев не только снимает, но и несколько усиливает свои претензии, сопроводив их смягчающей оговоркой: «В последних романах Достоевского много неясного и беспорядочного <...>. Но все эти недостатки порождаются сущностью той задачи, которую взял на себя автор». Новый подъем популярности Достоевского, в особенности у молодых читателей, Соловьев фиксирует в связи с изданием «Дневника писателя»: «Никто не умеет так говорить с нашей молодежью, как Достоевский», потому что он говорит не как строгий учитель, а как «любящий отец, страдающий страданиями детей своих»¹⁸⁷.

Соловьев этим утверждением включался в полемику о влиятельности «Дневника писателя» среди молодежи. А. У. Порецкий, внимательно следивший за публикациями «Дневника писателя» и сопровождавший их своими комментариями в «Гражданине», с удовлетворением заметил:

«...где-то был недавно напечатан слух, что “Дневник писателя” имеет у нас большой успех между учащейся молодежью. Не знаю как кому, а для меня этот слух был подобен ясной утренней заре, и мне кажется, что кто следил за этим единственным в своем роде изданием и вникал в дух, его оживляющий, тот ни за что не упрекнет меня в излишестве или пристрастии. В последнее время не раз поднимались жалобные голоса об оскудении или даже совершенном исчезновении в нашем обществе нравственного идеала, *нашего* нравственного идеала, о происшедших от того принижении духа, безурядице в молодых головах и о последовавших затем разных “прискорбных явлениях”. Многие не верили в справедливость всех этих жалоб, а которые верили или сами жаловались, те не умели помочь горю, потому что не находили слова, могущего найти дорожку к молодым сердцам. Кажется, автор “Дневника” нашел это слово у себя в душе, – это мягкое, горячее, **зовущее к нравственному идеалу слово...**»¹⁸⁸.

Опираясь на получаемые письма, Достоевский даже с некоторым энтузиазмом писал о «горячем, благородном настроении в большей части нашей молодежи, о таком искреннем желании ее послужить всякому доброму делу на общее благо» (26: 127). В творческом сознании писателя, очевидно, уже складывались контуры героя будущего романа. Энтузиазм Достоевского поспешил охладить ведущий критик радикального журнала:

¹⁸⁷ Соловьев В. Федор Михайлович Достоевский // *Нива*. 1878. № 1. 2 января. С. 1–3.

¹⁸⁸ Е. Былинкин <Порецкий А. У.> Цикл понятий. (Заметки из текущей жизни) // *Гражданин*. 1877. № 15. 21 апреля. С. 384.

«...г. Достоевский <...> если верить его заявлениям, пользуется большою симпатиею и любовью молодежи, она даже смотрит на него (опять-таки если верить его заявлениям) в некотором роде как бы на своего учителя. Очень может быть, что на этот счет г. Достоевский немножко и ошибается...»¹⁸⁹.

Ошибался ли сам Ткачев? Молодежь, которая писала автору «Дневника писателя» и смотрела на него «в некотором роде как бы на своего учителя», составляла, разумеется, только часть целого¹⁹⁰. Другую часть видел среди своих читателей Ткачев. Были и такие, кто слушал и того, и другого. Достоевский, до «Дневника писателя» отдавший «Подростка» в «Отечественные записки», еще надеялся, что «целое» не порвется и с этой надеждой шел к будущему роману и Пушкинской речи.

¹⁸⁹ *Все тот же <Ткачев П. Н.> Литературные «мелочи» // Дело. 1878. № 6. Современное обозрение. С. 19.*

¹⁹⁰ Арифметика еще ничего не решает, но и ее показатели не будут лишними. По авторитетному свидетельству, у «Дневника писателя» 1877 года «было около 3000 подписчиков и столько же расходилось в розничной продаже» [Страхов 1883: 300].

ГЛАВА 6.

1879–1880. Споры на вершине

1.

1 февраля 1879 года вышел январский номер «Русского вестника» с начальными главами романа «Братья Карамазовы» (книга первая и вторая), и сразу же запустился процесс поляризации критики.

Первыми отозвались столичные газеты. «Сын отечества» кратко и сдержанно напомнил, что Достоевский – писатель, принадлежащий прошедшей уже эпохе, а начало его нового романа «написано как-то сухо и безжизненно»¹. Совсем другой аккорд взяло «Новое время» в лице своего ведущего критика. В. П. Буренин предвидел сетования читателей на «сложность» романа, они и вправду очень скоро прозвучали, так что даже был дан не в первый (и не в последний) раз звучащий откровенный совет:

«Читателю, любящему легкое чтение, лучше не братья за такое произведение»².

Буренин своим читателям предложил иное: сопоставить роман Достоевского с «произведениями талантов поверхностных вроде гг. Е. Маркова, Боборыкина, Авсеенко, Маркевича и т. п.». Их романы и впрямь «соблазнительно-ясны с первых же страниц», но созданы «по известным шаблонам». Достоевский же «пишет, по выражению Бёрне, “кровью своего сердца и соком своих нервов”», потому у него «шаблонного ни одной крупинцы». Критик настраивал читателя на **труд** «постижения человеческой души и природы». Предвидя упреки в «мистицизме» и «отсталости», Буренин не опровергает их, но предлагает задуматься над тем, что эти особенности писателя «гораздо более содержательны и поучительны, чем шаблонная справедливость и шаблонная современность ценителей и судей, оценивающих

¹ Русская литература // *Сын отечества*. 1879. № 34. 9 февраля.

² *Некто из толпы* <Свешиков Е. П.> «Братья Карамазовы» // *Кронштадтский вестник*. 1879. № 25. 25 февраля.

русскую жизнь и русских живых людей по условным кабинетным теориям»³.

Не обошлось и без противоречий: критик поначалу к художественным недостаткам отнес тот факт, что «автор влагает в уста старца <Зосимы> слишком много рассуждений самого г. Достоевского в его известном “Дневнике писателя”», но затем порадовался, что он

«... слава Богу, не натуралист модной школы, а крупный реалист школы Гоголя и Диккенса, и потому он мыслей не чуждается и в обрисовке героев **высказывает свою субъективность очень смело и, право, не ко вреду своих произведений и читателя**»⁴.

С этой статьи в газетной рубрике «Литературные очерки» В. П. Буренин взял на себя роль «спутника» писателя, которую до него примеряли – с разными, впрочем, целями – Вс. Соловьев, Скабичевский, Зотов, да и он сам. На сей раз почти двухлетнее печатание глав романа Буренин неутомимо сопровождал своими комментариями в набиравшем популярность «Новом времени», предпринимая усилия приблизить к читателю новое произведение русского гения (именно так он оценивал теперь значение Достоевского), а в ряде случаев защитить его от неадекватных, а иногда и злонамеренных интерпретаций (отчасти с ним может сравниться в этом еще один критик – М. А. Загуляев).

Начало иному прочтению романа положил А. М. Скабичевский в газете «Молва», преобразовавшейся из «Биржевых ведомостей». Через неделю после Буренина он сообщал, что «каких-нибудь особенно новых типов или новых мотивов жизни роман этот по-видимому не обещает»⁵. Так, Федор Павлович Карамазов – «престарелый помещик, вылезший в люди из приживальщиков-шутов, пьяница и развратник в роде Свидригайлова в “Преступлении и наказании”», Грушенька – «одна из тех загадочных прелестниц, которые выходили уже на сцену в прежних романах г. Достоевского (напр. в “Идиоте”)». Однако новое всё же было, и Скабичевский не преминул его отметить:

«Кроме неизбежного во всех романах г. Достоевского психиатрического элемента, немалое мы видим в новом романе возлияние и деревянного масла. Так, в монастыре ведется между действующими лицами целый

³ Буренин В. Литературные очерки. Начало нового романа г. Достоевского. – Общественные замечания о даровании автора. – Интерес первых глав романа. <...> // *Новое время*. 1879. № 1060. 9 февраля.

⁴ Там же.

⁵ *Заурядный читатель* <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы // *Молва*. 1879. № 45. 16 февраля.

богословский спор насчет того, церковь ли должна слиться с государством и обратиться в него или, наоборот, государство обратиться в церковь, и кончается спор конечно уж утверждением последнего положения...»⁶.

Деревянным маслом называли елей, используемый при богослужении. Критик верно заметил, что в новом романе Достоевского религиозная тематика значительно расширила свою сферу по сравнению с предыдущими художественными произведениями писателя; роман вобрал в себя опыт «Дневника писателя». Это обстоятельство вызвало нескрываемое раздражение Скабичевского, получившее затем продолжение в значительной части критики. Достоевский в современном ему историческом пространстве сделал слишком смелый шаг, выйдя за рамки дозволенного влиятельным «общественным мнением». Роман попадал в зону отчуждения, негласно отведенную для «церковников» прогрессивно настроенным образованным обществом. «Молва» сделала только первый шаг в сторону радикализации восприятия романа под знаком воинствующего атеистического сознания.

Тема «деревянного масла» продолжила свое поступательное движение после публикации третьей книги романа в февральском номере «Русского вестника». «Его не все любят, им не увлекаются, он редко доставляет чарующее наслаждение; **но его все читают**, он дает наслаждение безжалостной правды даже в своих эксцентричностях»⁷, – признавался критик «Голоса», а дальше сосредотачивал внимание на «эксцентричностях». Их он находит еще в предшествовавшем роману «Дневнике писателя»:

«Публицистика г. Достоевского была невозможною, по ее мистическим выходкам; **но она жадно читалась**, потому что чуткая душа и ум г. Достоевского живо отзывались на все события и потому, главным образом, что “Дневник писателя” безусловно честно давал разумное оправдание самым безрассудным увлечениям и нежеланиям видеть печальную истину»⁸.

Намеки очевидны: «мистические выходки» – религиозные темы «Дневника», им хотя и «давалось разумное оправдание», но в сущности они так и остались «самым безрассудным увлечением» писателя и доказывали его «нежелание видеть печальную истину» – небытие Бога и бессмертия души. Переходя к роману, критик отмечает некое

⁶ Там же.

⁷ <Ларош Г. А.> Литературная летопись // Голос. 1879. № 67. 8 марта. Атрибутируется предположительно, по прямой связи данной заметки с последующим выступлением «Голоса» (см. далее).

⁸ Там же.

противоречие: автор «безжалостен в своем реализме; в публицистике же, как и в основных идеях своего романа, он самый безбрежный идеалист и мистик»⁹.

«... из напечатанных глав романа выносятся заключение, будто г. Достоевский задался мыслью, что образование, наука, усвоение знаний представляют тлен и прах, что цельные, положительные натуры создаются только на почве религиозности, в самом узком смысле этого слова, что “неверующие” в этом значении могут проявлять одни только безобразия <...>. Нельзя, однако, не удивляться странности противопоставления, хотя бы даже в идее, **науки и религии, образованности и религиозности**. Эту странность и тенденцией автора объясняется, почему в романе “Братья Карамазовы” что ни “образованный” человек, то или негодяй, или психически больной, или готовый своротить с пути чести и правды, впасть в самую отвратительную жизнь и преступления. Наоборот, положительными героями в “Братьях Карамазовых” являются только те люди, которые говорят текстами из священных книг, читают “Четы-минеи” или, по крайней мере, носят подрясник и входят в общение с монастырскими подвижниками»¹⁰.

Вызов был брошен, и писатель не собирался отмалчиваться, он просит редактора «Русского гражданина» В. Ф. Пуцыковича «повременить» с ответом: «“Голосу” я отвечу и сам; но лишь осенью, когда узнаю в точности, кто писал. Это мне нужно для характера ответа» (30: 62). Очевидно, Достоевский собирался отвечать в духе собственных черновых записей о «знании и вере» (15: 201). Возникает вопрос, почему же не ответил. Мы полагаем, потому, что тема получила более развернутое продолжение в критике, в том числе в самом «Голосе», и с чистой полемикой неплохо справлялся «оруженосец» Буренин (см. далее), ответ же «по существу» был дан в самом романе, в главе «Из бесед и поучений старца Зосимы». В разделе «Нечто об иноке русском и о возможном значении его» можно было прочесть:

«У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью» (14: 284).

Жгучую тему осторожно затронул в «Неделе» рецензент первой части романа. Алексей Карамазов, замечает он, «сильно напоминает “Идиота” <...>, с тем только различием, что герою нынешнего романа приданы черты религиозного энтузиазма», да и в целом «вопросы религиозные, как можно угадывать, будут играть большую роль». Рецензент сильно

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

сомневается, чтобы такой герой «мог изобразить собою “сердцевину” эпохи», и не ожидает от писателя «нового слова»¹¹, однако не спешит с разоблачением его «мистицизма» и не проявляет к нему «ненависти» (доказывая, что атеизм в принципе мог быть и не воинствующим). Больше того, критик признаёт за идеалистическим мировоззрением даже определенное преимущество в сфере художественного творчества:

«Г. Достоевский был всегда идеалистом в искусстве и в своих взглядах, и в этом заключается его сила, так как понимание им человека как нравственно-духовного существа позволяло ему нередко глубоко заглядывать в человеческую душу, но он не уберегался от крайностей своего мировоззрения: его идеализм во многих случаях переходит в загадочный мистицизм. Мы не принадлежим к числу завзятых реалистов в искусстве; нам кажется, что в этой области должно быть соблюдено равновесие между стихиями – реальною и идеальною»¹².

В «Братьях Карамазовых» «замечательный реалист-художник», согласно критику, создает впечатляющие образы героев (кроме Алеши, конечно), а «идеальная стихия» в нем выразилась «в основе художественного творчества»¹³. Несомненна эклектика в примирительной программе автора «Недели» (не редактора ли П. А. Гайдебурова?), однако она содействовала движению атеистической критики от вражды к диалогу с Достоевским. Значителен и теоретический аспект данного высказывания, развитие которого мы находим в рефлексии современного исследователя: «Строгий реалист может в совершенстве знать, судить, изображать жизнь “как она есть”, он глубоко *вникает в нее*, но в пределах своей реалистической компетенции он не может *понимать* ее в полном смысловом объеме, не может определять, насколько она *истинна, добра, прекрасна* в абсолютном исчислении, – если *понимание* разуметь как владение трансцендентными действительности смыслами и способность соотносить ее с ними» [Котельников 2009: 15].

Тот же вопрос о соотношении «реализма» и «идеализма» в романе ставил Скабичевский, но решал его без всяких примирений и компромиссов в духе своей теории о «двух Достоевских». Он едва ли не целиком выписывает драматическую сцену объяснения Алексея Карамазова со Снегиревым (глава VII книги четвертой), чтобы акцентировать мотив протеста в истории Илюши и призвать художника к ответу:

¹¹ Н. «Братья Карамазовы». Роман Ф. М. Достоевского, часть первая («Русск. вестн.» январь, февраль) // *Неделя*. 1879. № 5. 29 апреля. С. 160, 158.

¹² Там же. С. 160–161.

¹³ Там же. С. 161.

«Мне бы хотелось лично спросить г. Достоевского, **неужели он не чувствует**, как вся эта выписанная мною сцена из его романа, полная вопиющей правды, радикально расходится с сердобольною философию почтенного беллетриста, которую он размазывает на сотнях страниц, обильно поливая ее деревянным маслом. И еще бы: там напущенное, предвзятое резонерство больного ума, а здесь сама жизнь глаголет устами писателя, вырываясь мощными стонами из его наболевшего сердца. Какая жалкая комическая роль выпадает на долю философии г. Достоевского в этой сцене хотя бы в образе этого сердобольного и смиренномудрого святоши Алексея...»¹⁴.

В заданном самому себе русле продолжал продвигаться «Голос», напечатав внушительную статью по поводу первых четырех книг романа. Автором этой продуманной и хорошо написанной статьи, как нам представляется, был сотрудник газеты, музыкальный и литературный критик Г. А. Ларош. Аргументы в пользу его авторства следующие:

1. Автор припомнил спор по поводу главы «Парадоксалист» апрельского «Дневника писателя» 1876 г. (война как «*благо* для человечества»)¹⁵ и повторил аргументы, высказанные тогда Г. А. Ларошем в статье, подписанной его криптонимом L. (см. выше, стр. 346).

2. Автор повторил и усилил высказанную тогда же мысль, в связи с характером личности и творчества Достоевского, о споре на чувство ненависти в литературе (см. выше, стр. 345):

«Литература – такое уж дело, в котором честная ненависть так же необходима, как и честная любовь, такое дело, в котором без ненависти не обойдешься и в котором ненависть может повести к благодетельным и плодотворным последствиям. Как бы ни было, но ненависть, по-видимому, делает духовный глаз человека необыкновенно зорким»¹⁶.

3. Среди аргументов в атрибутируемой статье фигурируют факты из истории музыки (традиции итальянской оперы, биография Рихарда Вагнера), показывающие хорошую осведомленность автора в этой области.

4. Косвенным подтверждением нашей версии может служить реплика в письме Достоевского от 23 августа 1879 г. по схожему

¹⁴ *Заурядный читатель* <Скабичевский А. М.> Мысли по поводу текущей литературы. Сравнение человека с шарманкой. Арии, наигрываемые шарманками, носимыми нашими беллетристами в своих головах. Шарманка г. Достоевского, заведенная на лучшую и наиболее симпатичную ее арию (см. «Русск. вестн.», № 4, «Братья Карамазовы») // *Молва*. 1879. № 141. 25 мая.

¹⁵ <Ларош Г. А.> «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского // *Голос*. 1879. № 148. 30 мая.

¹⁶ Там же.

полемическому поводу: «Статью в “Голосе” читал (Ларош, должно быть)» (30; 118). Вероятно, он выяснил, кто напал на него в марте.

5. Изложенная в статье концепция творчества Достоевского получила развитие в итоговой статье критика «Поклонение Достоевскому»¹⁷.

Достоевский, заявляет критик «Голоса», «более и более входит в моду», и даже есть люди, которые ставят его выше Тургенева и Л. Толстого, считая таким же представителем русской литературы, каким в последние сорок лет является Гюго для французов (любопытное, однако, наблюдение!).

«Таких жарких поклонников у автора «Преступления и наказания», быть может, и немного, но они есть, и, конечно, только недюжинная моральная сила могла вызвать такие искренние преувеличения. Недюжинная сила и есть: г. Достоевский **плывет против течения**. Он пишет не только в таком духе, но и *в таком тоне*, что неминуемо должен восставить против себя большинство читателей; мало сказать, что он не льстит модному либерализму, но буквально **дразнит и бесит читателя парадоксами, направленными против самых заветных убеждений значительного большинства современных людей**, и всё это в такой угловатой форме, с такою желчью и ожесточением, что, по видимому, и нейтральный, равнодушный к “направлениям” **читатель порою должен терять терпение** и становиться в ряды противников г. Достоевского. **А на деле выходит наоборот**. Не делая уступок в существе и не допуская смягчений в форме, г. Достоевский приобретает всё новых сторонников и прозелитов. Остается одно: остается объяснить явление силою его таланта, искренностью его убеждений, отвагою и дерзостью его борьбы с современными воззрениями и, конечно, отчасти тем обаянием, которое производит парадокс, когда его высказывают отчаянно и с беззаветною решимостью»¹⁸.

Вновь, как и три года назад, критик останавливается в недоумении и даже страхе перед необъяснимым явлением. Объяснение он ищет в прецеденте, и таковым представляется ему Жозеф де Местр: «весь секрет в том, чтоб быть неприятным и пикантным, чтоб не только плыть против течения, но и кричать об этом».

«Г. Достоевский – прежде всего Жозеф де Местр, возмущенный безбожием современного мира и требующий самого радикального и беззаветного поворота к прошлому – не ко вчерашнему притом прошлому, не к тому милому и знакомому нам времени, когда городские были просто будочниками, а к самым отдаленным и суровым временам средних веков. “Религия любви” у писателей пошиба де Местра постоянно на языке, и не на одном языке; им кажется, что они носят эту религию и в сердце, что они –

¹⁷ Л. <Ларош Г. А.> Поклонение Достоевскому // *Голос*. 1882. № 68. 14 марта. Об этой статье см. ниже.

¹⁸ Там же.

истые последователи Христа. Но кто не заражен де местровским гневом и де местровскими вожделениями, тому всегда будет казаться, что их религия – скорее всего религия мести и ненависти. Вспомните ту недурную в художественном отношении страничку Жозефа де Местра, где он с упоением описывает церемонию *колесования*, и сравните ее с тою страничкой в романе “Идиот”, где одно из действующих лиц разглагольствует о мучительных казнях вообще или о каком-то сорте особенно, не могу припомнить, и вы увидите по совпадению, среди каких образов охотно возвращается воображение этих кротких проповедников “любви”¹⁹.

Последним сравнением и самым словечком «разглагольствует» критик, несомненно, обладающий тонким эстетическим вкусом, вдруг «проваливается», не считывая ту боль о человеке (удачнейшее из определенных Добролюбова), которая звучит пронзительной нотой в рассказе князя Мышкина о смертной казни. Критику мерещится «упоение», и этот феномен можно объяснить не столько глухотой, сколько нежеланием слушать и слышать консерваторов, тем более охранителей типа де Местра и Достоевского (сама по себе параллель двух мыслителей, впрочем, заслуживает внимания; см.: [Парсамов]). Мы видим, как идеологические предрассуждения искажают зрение и слух воспринимающего.

Среди «пикантных» мотивов романа критик особо акцентирует представленное «без обиняков и недомолвок сладострастие в его различных фазах» и необычную для русской литературы «смелость пера, с которою автор третирует этот щекотливый предмет».

«Это испуг порока, это бешенство воображения как выбранная тема чрезвычайно характерно для г. Достоевского. Суровый аскет и обличитель безбожности современного человека, автор “Бесов” имеет одну черту, общую с Федором Павловичем Карамазовым. Как у того в отношении женщин, так и у нашего автора в употреблении литературного оружия притупился вкус от чрезмерного пользования жгучими приправами. Не забудьте, что мы имеем дело с романом аскетическим, почти со средневековым “жизнём”: перед нами развертывается “скит” во всем благоухании его святости <...>. Федор Павлович со своим коньяком, со своими мовешками и смердящими нищенками, очевидно, понадобился для контраста»²⁰.

В конечном счете, полагает критик, ссылаясь на сцену диспута о церковном суде в начале романа, Достоевский ведет нас к идее перевоплощения государства в церковь, что означает, о ужас, возвращение к временам инквизиции.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же.

«Россия должна превратиться в иезуитский Парагвай прошлого столетия: все гражданские и уголовные дела должны быть переданы в духовные консистории. <...> Будем надеяться, что призывам де Местров и Достоевских не удастся воротить эти века, не удастся засадить просвещенного, богатого знаниями и кроткого нравом человека XIX-го века в мрачный застенок инквизиции»²¹.

Критику «Голоса» с не меньшим пафосом и «кротким нравом» отвечал критик «Нового времени»:

«Да, нужна необыкновенная пронизательность <...>, чтоб усмотреть инквизитора, проповедника мести и ненависти в писателе, идейное значение всех произведений которого сводится именно на защиту человека от всякого рода насилия и гнета, на признание за высшее руководство жизни гуманной христианской, или точнее, Христовой любви, внутренней свободы и всепрощения»²².

Буренин настойчиво советует своему оппоненту внимательно прочитать главу «Великий инквизитор», нарушающую художественную «цельность» романа, но «необыкновенно интересную» как «апофеоз Христовой любви и свободы»²³.

Для полноты картины всё же следует добавить, что Ларош через неделю после поношения Достоевского напечатал статью, где признал бессилие критики перед этим явлением: его, как море, нельзя вычерпать, он пугает своим масштабом и своими противоречиями, поэтому в критике «литературная деятельность его остается как бы не уясненной»²⁴. Не лишено интереса толкование критиком эпиграфа к роману:

«... кто-то в романе должен оказаться в положении евангельского пшеничного зерна и принести много плода. В такой роли, по-видимому, должен оказаться один из Карамазовых, Алексей...»²⁵.

Хорошо знавший Лароша М. И. Чайковский писал, что критику с его скептическим строем души, антипатией к проповеди и всякому пафосу были чужды такие писатели, как Гюго, Лев Толстой

²¹ Там же.

²² Буренин В. Литературные очерки. Роман г. Достоевского. – Обвинение автора в инквизиторском фанатизме и ненависти. – Пятая глава пятой книги романа. <...> // *Новое время*. 1879. № 1203. 6 июля.

²³ Там же.

²⁴ <Ларош Г. А.> Литературная летопись. Еще о романе г. Достоевского, но с другой стороны. Литературный замысел автора. Можно ли найти что-нибудь «национальное» в героях романа г. Достоевского? <...> // *Голос*. 1879. № 156. 7 июня.

²⁵ Там же.

и Достоевский, но он был восторженным поклонником «красоты и высшей правды» в их произведениях, в том числе в «Братьях Карамазовых» [Чайковский].

«Сильное воображение и замечательный талант» признаёт в Достоевском другой известный критик – В. В. Чуйко в 1878 г. перешедший из «Голоса» в «Новости». При этом, уверен критик, «г. Достоевский не считает нужным наблюдать людей и изучать жизнь», как это делает Тургенев, он без остатка погружен в мир своего воображения²⁶. Писатель на этой почве «выработал мировоззрение» и не хочет знать ничего, что выходит за его рамки. На какое «мировоззрение» намекает Чуйко, ясно из его пространного разбора истории Федора Павловича Карамазова: приведя байку о Дидероте и митрополите Платоне, критик замечает, что образ старшего Карамазова очерчен «чрезвычайно талантливо», но выстроен на «одной единственной черте», не названной, но очевидной в контексте статьи – на атеизме или по крайней мере на сомнении в бытии Божием. Эта «черта» естественным образом перетекает во всепоглощающий эгоизм:

«... все другие лица романа наделены этою единственною практическою чертою, <...> г. Достоевский кроме этой черты в психической жизни человека ничего другого не видит, и потому его лица – фантастические создания, а не действительность»²⁷.

Критик идет еще дальше и торжественно объявляет, что и все герои предыдущих романов Достоевского «сколочены на одну колодку» – «крайне болезненно вздутого самолюбия», «других художественных концепций г. Достоевский никогда не создавал»²⁸. На двух воплощениях этой «концепции» в «Братьях Карамазовых» Чуйко остановился подробнее – это Ракитин и Миусов, в одном писатель разоблачил «практический» социализм, а в другом – либерализм. И в том, и в другом источником эгоизма Достоевский тщится выставить атеистические наклонности героев. В итоге критик дает следующее определение мировоззрения Достоевского:

«... какой-то странный, почти непонятный мистицизм, основанный на той же болезненной черте самолюбия, составляющей, по мнению г. Достоевского, всю нравственную сущность человека»²⁹.

²⁶ В. Ч. <Чуйко В. В.> Литературная хроника // *Новости и биржевая газета*. 1879. № 125. 18 мая.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же.

²⁹ Там же.

Торжество парциального восприятия (часть вместо целого), уже неоднократно наблюдаемое нами в прижизненной критике Достоевского, в данном случае, что тоже характерно, обрушивается в глумление над писателем:

«В его романах нет людей; и есть какая-то макабрская пляска фантомов с дикими жестами и бешеными прыжками <...> мистическое изуверство с припадком почти сумасшествия»³⁰.

Свое прочтение романа Чуйко затем даст в другом издании, убрав полемические излишества и, что самое удивительное, подробно и увлеченно пересказывая сюжетные перипетии³¹. Если это не более как «пляска фантомов», то зачем же такое к ней исключительное внимание? В конце печатания «Братьев Карамазовых» критик, опять в «Новостях», констатировал «скуку и отвращение», высказав попутную догадку, что весь роман написан для того только, чтобы автор мог поразить врагов-материалистов и тем самым разоблачить русское интеллигентное общество³².

Выраженное Скабичевским, Ларошем и Чуйко атеистическое отторжение от романа осенью 1879 года поддержал другой авторитетный журналист – В. Ф. Корш – в двух номерах газеты «Молва» (12 и 19 октября 1879 г.). Он подхватывает мысль Лароша о «бешенстве воображения» у Достоевского и развивает ее в рамках концепта «фантазия»:

«Я не знаю писателя, в произведениях которого ничем не ограниченная фантазия играла бы такую поглощающую, исключительную роль и пользовалась бы такою абсолютною властью, какие предоставляет ей г. Достоевский. Фантазия, конечно, дар богов; но, наделив ею человека вообще и поэта в особенности, они дали тому и другому способности, до известной степени регулирующие то, что может подсказывать им фантазия»³³.

³⁰ Там же.

³¹ *Дилетант* <Чуйко В. В.> *Новости русской литературы* // *Огонек*. 1880. № 17. 16 апреля. С. 333–335 и № 20. 14 мая. С. 383–389.

³² В. Ч. <Чуйко В. В.> *Литературная хроника* // *Новости*. 1880. № 347. 30 декабря. Приведем фрагмент пересказа сюжета, свидетельствующий, насколько внимательно читал критик «скучный» роман: «Дмитрий обезумел от ярости и ударил старика по голове медным пестиком от ступки, захваченным в квартире Грушеньки. Старик повалился. Дмитрий побежал из сада, но наткнулся на Григория, слугу его отца, которого тоже хватил пестиком» (там же). И впрямь «макабрская пляска», только принадлежащая фантазии критика.

³³ *Отшельник* <Корш В. Ф.> *Журналистика*. Продолжение моих скромных заметок о «Братьях Карамазовых». Фантазия и мистицизм г. Достоевского. Две Фиваиды. Характерные места романа. Чудо и действительность // *Молва*. 1879. № 288. 19 октября.

Таким регулятором, по Коршу, выступает, разумеется, современное научное знание, давно разоблачившее фантазии религиозного толка, у Достоевского же, увы:

«... господствующая тенденция совсем не современная, мистическая, переносящая вас во времена отдаленные, когда люди не знали и не понимали многого из того, что они знают и понимают в наше время. Его тенденция какая-то смешанная, отчасти жизненная, отчасти очень и очень отсталая, и вы напрасно стали бы искать в последних его произведениях здорового поэтического отклика на то, что волнует теперь умы и сердца мыслящих русских людей. Чистейший мистицизм сквозит и на каждой странице “Братьев Карамазовых”, нередко делая это новое произведение г. Достоевского неудобочитаемым, и только необыкновенный талант автора спасает этот мрачный, мистический роман, местами **подвергающий терпение читателя весьма серьезным испытаниям**. <...> Вы возвращаетесь в таком мире, где люди кланяются друг другу в ноги, беспрестанно целуют друг у друга руки, безобразно развратничают и ругаются или читают высокие поучения»³⁴.

«Неудобочитаемый», но «необыкновенный талант» – из этого замкнутого гипнотического круга, очерченного воинствующим атеизмом и культом науки, Корш и ему подобные «мыслящие» читатели романа не знают выхода. Не идти же за Достоевским, который «влечет нас за собою в опустевшую теперь Фиваиду»³⁵.

Однако известны примеры, когда из того же круга читатели, повинаясь непосредственному эстетическому чувству, пошли-таки за писателем. Один из них – известный нам одессит С. И. Сычевский, недавний яростный обличитель Достоевского, который по прочтении части романа (чуть меньше половины), отставил в сторону собственный европействующий либерализм и предубеждения против «мракобесного» катковского журнала, чтобы напечатать настоящую апологию «Братьев Карамазовых» как «произведения колоссального», что «сияет как солнце <...> среди всей современной беллетристики, русской и иностранной»³⁶. Его рецензия местами звучит гимном во славу гения (особенно поразительным, если перечитать прежние суждения критика о писателе):

³⁴ *Отшельник <Корш В. Ф.>* Журналистика. Общий характер последних произведений г. Достоевского. Их тенденциозность. — «Братья Карамазовы» («Русский вестник», январь—сентябрь). — Две крайности: мистицизм и разврат. — «Старец» Зосима и старик Карамазов. — Атеист. — «Великий инквизитор» // *Молва*. 1879. № 281. 12 октября.

³⁵ Там же.

³⁶ *Сычевский С.* Журнальные очерки // *Правда*. 1879. № 125. 9 июня.

«Души множества действующих лиц этого романа **открывают читателю** все свои самые сокровенные тайны, и в этом хаосе побуждений, мыслей, желаний, слов, действий, характеров, типов – самый сильный, самый хладнокровный человек сначала теряется и остается пораженным могуществом гения автора, вдруг бросившего перед его глазами этот чудовищно-прекрасный, душевный и **нравственный апокалипсис целого общества, целого народа...**»³⁷.

Будучи знатоком и популяризатором Шекспира (читал одесситам лекции), Сычевский проводит параллели между Клеопатрой и Грушенькой, «нравственным отчаянием» Яго и «бесконечно сложной личностью» Федора Павловича Карамазова, который делается циником, «чтобы заглушить внутренний свой голос». Как бы отвечая на вопрос, заданный за два дня до того Ларошем³⁸, одесский критик находит «чисто русскими, глубокими типами» Зосиму, Ферапонта, мадам Хохлакову, Катерину Ивановну, Снегирева с сыном. «"Братья Карамазовы", – говорит он, – это целый мир русских типов», **роман следует читать и два, и три раза, чтобы понять заключенную в нем чисто природную «могучую силу»**³⁹.

Ситуацию раскола среди первых критиков романа легко продемонстрировать на двух газетах, в названиях которых было выставлено общее слово. Одна – цитируемая выше «Правда» из Одессы, а другая – столичная «Русская правда», недолго просуществовавшая из-за цензурных гонений на ее радикализм. Критик М. А. Протопопов, как и другие, отметил «верования, которым г. Достоевский предан с силою настоящего фанатизма», но отнесся к этому «мистицизму» несколько иначе, нежели предшественники, назвав «невинным» и «настолько безобидным, что бороться с ним нет надобности»⁴⁰. Другое в Достоевском тревожит критика и даже представляется ему неразрешимой загадкой личности писателя:

«... по какой-то аномалии, коренящейся в самой глубине его духовной природы, он, однако же, **не любит этого мира, этой жизни**, и, рисуя нам с необык-

³⁷ Там же.

³⁸ Критик обиделся на писателя, нашедшего национальное начало в Федоре Карамазове (см.: 14: 7): «Но это не новость в г. Достоевском, имеющем, очевидно, о "национальном" несколько смутное понятие, смешанное в его представлении с чем-то другим, что его и сбивает, ставя в неловкое положение человека — с одной стороны, перед "национальным" преклоняющегося, с другой стороны, в это же "национальное" плюющего» (<Ларош Г. А.> Литературная летопись // *Голос*. 1879. № 156. 7 июня).

³⁹ Сычевский С. Журнальные очерки // *Правда*. 1879. № 125. 9 июня.

⁴⁰ Александр Горшков <Протопопов М. А.> Русская журналистика. Новый роман г. Достоевского «Братья Карамазовы». – Нравственные идеалы г. Достоевского. – Алеша Карамазов как исцелитель («Русский вестник», 1879 г.) // *Русская правда*. 1879. № 51. 22 июня.

новенною силою анализа и неподражаемую яркостью людские страдания, он нисколько не двусмысленно санкционирует необходимость, законность, разумность этих страданий»⁴¹.

Слово «страдание», как уже говорилось, поворачивается к нам разными своими гранями в устах Достоевского и его оппонентов. Достоевский акцентировал очистительную силу страданий, без чего немислим духовный рост личности. У оппонентов был другой взгляд: они видели источник страданий лишь в гнете обстоятельств, в бесчеловечном устройстве общества и приходили к необходимости **изменения среды** ради избавления человечества от страданий. Позиция эта была четко и однозначно сформулирована одним из авторитетных представителей данного лагеря: «страдание есть то, с чем мы должны, а, главное, можем бороться» [Короленко]. Исходя из этой ясной постановки задачи, критики прогрессивного направления (Н. К. Михайловский, М. А. Протопопов, П. А. Кропоткин, В. В. Вересаев, А. М. Горький и др.) обвиняли Достоевского в оправдании и даже в поэтизации страданий⁴². Эта крайне упрощенная, частичная и потому ложная трактовка оказалась весьма живучей. На этом пути, полагал «полный» Достоевский, человек в лучшем случае достигнет материального благополучия (сытости), но не духовной гармонии.

На этот счет у Протопопова и иже с ним был решающий, как им казалось, контраргумент, высказанный тогда же, при чтении «Братьев Карамазовых»:

«Не хлебом единым живет человек, это, конечно, так; но дело в том, что без хлеба жить человеку тоже невозможно, и вот именно этого-то Достоевский и не хочет знать, по-видимому. <...> Поэтому все проповеди аскетизма <...> не увлекали и не волновали масс, тогда как каждое слово, призывавшее к жизни, к борьбе за счастье, к надежде, жадно подхватывалось ими на лету»⁴³.

«Ибо таков человек», – наставлял Протопопов автора «Братьев Карамазовых», который проник в тайники человеческой души, но не понимает таких простых вещей. «Причина причин» его непонимания, согласно Протопопову, кроется в «нравственном идеале г. Достоевского», который «не от мира сего, и оттого-то он не для мира сего». Художественный инстинкт подсказал Достоевскому, как полагает критик,

⁴¹ Там же.

⁴² См.: [Твардовская 1990b]. Автор указанной работы, по сложившейся в советской науке традиции, склоняется к тому, чтобы разделить эти обвинения.

⁴³ Александр Горшков <Протопопов М. А.> Русская журналистика // Русская правда. 1879. № 51. 22 июня.

сцену, где Алексей Карамазов говорит: «Расстрелять!». «Правда жизни взяла, хотя на минуту только, верх над неправдой тенденции»⁴⁴.

Правда жизни, разумеется, была в этой реплике героя, и критик толкует ее с евангельской цитатой наперевес: «"Око за око" – есть закон справедливости», – при этом вычеркивая утверждаемое Иисусом в цитируемом высказывании соотношение закона и благодати. Восприятие как Евангелия, так и романа Достоевского у критика **частичное**. Впрочем, он хорошо видит прецедент в истории русской литературы, припоминая «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя и как бы забегая вперед, подсказывает Горькому его всесветный афоризм: «Мало *любить* человека; надо *уважать* его, а г. Достоевский разучился этому»⁴⁵.

Пафос Протопопова, следует признать, заключал в себе магистральную идею эпохи. Надвигалась революция, предощущением которой живет последний роман Достоевского, средства остановить «бешеную тройку» на глазах иссякали, и Алексей Карамазов, судя по всему, должен был стать жертвой эпохи с ее гибельным противоречием, о котором потом скажет один из чутких читателей Достоевского: «А голодные так голодны, и все-таки революция права. Но она права не идеологически, а как *натиск*, как *воля*, как *отчаяние*» [Розанов].

Не мог не поучаствовать в гонении на Достоевского и П. Д. Боборыкин. Ему показалось, что гонение это как-то уж очень слабеет в последнее время. Однажды наблюдая, как на литературном вечере овации достались и Тургеневу, и Достоевскому, он возмутился «малодушием» публики, не желающей замечать, что один из этих писателей

«... злоупотребляет своим дарованием, идет по заведомо ложному пути, грешит против правды и художественной, и житейской, выдает нам продукты своего болезненного ума, всей своей душевной патологии за нечто здоровое, ценное...»⁴⁶.

Всё реже, сокрушается строгий блюститель, критика говорит Достоевскому правду в глаза. Боборыкин, разумеется, исправляет неправильное положение вещей и напоминает городу и миру, что уже в «Дневнике писателя» («тут весь Достоевский») открылось в полную меру, «что русская жизнь сделала из радикала 40-х годов». В нем произошло дикое «смещение народничества, идеализма и мистики», и теперь бывший петрашевец «проповедует нам искупление языком какого-то схимника с Афон-

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Б. <Боборыкин П. Д.> Журнальная летопись // *Русские ведомости*. 1879. № 304. 2 декабря.

ской горь»⁴⁷. Критики еще говорят о таланте писателя, извиняющем его заблуждения, но Боборыкин с этим согласиться принципиально не может: никакой талант, авторитетно заявляет он, не загладит «оторванность от жизни и здорового движения идей». Так и «Братья Карамазовы» «идут мимо жизни». «Вот их приговор», – возвещает Боборыкин.

Что же вошло в состав его обвинительного заключения, если оставить за скобками банальную зависть продуктивного, но посредственного беллетриста?

Утверждается, что роман Достоевского – исключительно плод воображения автора, всецело поглощенного «мистическим резонерством»; он не имел «даже возможности наблюдать новую русскую жизнь **как следует**». «То, что он творит, есть его игрушка <...>. Разве это искусство, понимаемое в его настоящем смысле?». Искомый же смысл – вот он: «выражение **настоящего, то есть срединного русла теперешней русской жизни**»⁴⁸. Становится понятен прозвучавший суровый «приговор»: он произнесен с высоты торжествующей позитивистской эстетики, породившей то литературное направление, к которому имел честь принадлежать сам Боборыкин – к новейшему натурализму образца популярного в России Эмиля Золя. Боборыкин одним из первых начал пропагандировать «Новые приемы французской беллетристики» (так называлась его статья в «Неделе», 1872, 3 марта), в первую очередь стремление к научной точности (что высмеял Михайловский в статье «Письма о правде и неправде», «Отечественные записки», 1877, № 12). К моменту выхода рецензии Боборыкина на «Братьев Карамазовых» сам Золя в одном из своих «Парижских писем» в «Вестнике Европы» (1879, № 9) изложил программный тезис своей теории «экспериментального романа» о необходимости приближения литературы к науке. Из этого же источника проистекает у Боборыкина и обвинение Достоевского в «антихудожественной» субъективности (жупел натурализма!), «неисправимой тенденциозности». Единственная удача писателя, по Боборыкину, – «Записки из Мертвого дома» как «талантливо составленный протокол».

Статья Боборыкина завершалась внушительным воззванием к критике, которой пора уже понять:

«Его <Достоевского> дарование вряд ли *творческое* дарование, разумея под творчеством главную художественную способность: отрешаться от своего я и создавать нам объективные, жизненные образы»⁴⁹.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Там же.

Боборыкин нашел полное понимание у рецензента «Русского курьера», повторившего почти через год, когда закончилась публикация романа, что Достоевский совсем не романист, потому что не способен «воспроизводить жизнь – как она есть»⁵⁰. Похожие сетования раздалились и со страниц «Недели»:

«"Братья Карамазовы" совсем не удались, хотя прекрасных частностей в них много. Это потому, что они сами, при всей их обширности, представляют лишь частность; что не захвачен в них внутренний смысл жизни во всей его полноте и разносторонности; что они полны обличений и горьких укоров, русского же современного человека касаются лишь слегка. Ушел куда-то русский человек, ушел и пропал совсем, и нет глаза, который мог бы его заметить, нет руки, которая вытащила бы его на свет Божий или хоть изобразила бы нам, что он делает, как живет-поживает»⁵¹.

Вступил в жесткую полемику с Боборыкиным В. П. Буренин. Нельзя при этом не заметить одно прелюбопытное обстоятельство: горячо оспаривая приведенные выше соображения Боборыкина, критик «Нового времени» как будто не замечает, что он тем самым опровергает... самого себя шестилетней давности. Не он ли выставлял счет автору «Бесов»: «мистический вздор», «авторские фантазии», «при полном отсутствии живого жизненного материала» («Санкт-Петербургские ведомости», 1873, 6 января)? Эволюция Буренина вообще показательна для тех процессов, которые происходили в читательском мире семидесятых годов. У Боборыкина, как мы видели, были свои сторонники, но количество и качество их были уже не те, что шесть лет назад: многих из них оставил дух войны на уничтожение Достоевского, который еще владел непримиримым «летописцем» либерально-профессорских «Русских ведомостей».

Потому Буренин и не усомнился, по принципу взаимности, перейти на личности, предложив сравнить роман Достоевского с «выдающимися» произведениями Боборыкина и Евгения Маркова. Не удержался критик и от эмоциональной тирады относительно литературных «нравов»:

«... меня всегда возмущало и всегда возмущает такое пошлое, завистническое отношение разных беллетристических и критических верхоглядов к истинной художественной силе и к крупным продуктам этой силы. Не зная, чем донять эту силу, верхогляды кричат: ты хоть и большой талант,

⁵⁰ Н. Б. Литературная летопись // *Русский курьер*. 1880. № 309. 12 ноября. Вся надежда теперь, писал критик, только на Тургенева.

⁵¹ Журнальные очерки // *Неделя*. 1880. № 51. 21 декабря. С. 1707.

да устарел, отношения никакого к современности не имеешь, содержания никакого нового, идей новых нет в твоих произведениях; а мы вот хоть и патентованные посредственности, да зато отношение к самому последнему времени имеем, содержанием блещем, идеи самые нынешние выражаем... Право, точно московские продавцы оладьев: "горячие оладьи, горячие, с пылу с жару, три копейки за пару"...»⁵².

По счастью, добавляет автор, **существует оценка читателей и добросовестной критики**. К последней он относит статьи о Достоевском того самого Евгения Маркова, которого поначалу записал в компанию с Боборыкиным, но теперь по достоинству оценил его усилия (в отличие от боборыкинских), направленные на формирование объективной по отношению к Достоевскому внепартийной критики. Буренин тем самым отделил Маркова-критика от Маркова-беллетриста (в Боборыкине они слились до неразличимости).

К «добросовестным критикам» следует отнести и М. А. Загуляева, который, на наш взгляд, дал наиболее точное разрешение спора о сравнительной эстетике Золя и Достоевского, противоположное боборыкинскому. Об этом споре Загуляев вспомнил в связи с «фривольными» сценами «Братьев Карамазовых», сопоставив их с популярным тогда у читателей новым романом Золя «Нана».

«Сцена в Мокром – жесткая, антиэстетичная (в сравнении с “Нана” Золя, которая превзойдена на сто локтей), однако во всей этой сцене растущего опьянения Грушеньки, нет ни единого слова, которое шокировало бы самое деликатное ухо, ни единой черты, которая не соответствовала бы самым суровым требованиям литературной эстетики. Это почти невероятно, но это так. <...> Жесткие реалистические рамки этой психологической драмы лишь усиливают ее странную моральную красоту. Дмитрий Карамазов и Грушенька являются как бы преображенными мощью их взаимной любви, мощью, которая внезапно вспыхивает и которая, как вы чувствуете, будет воздаянием за всё прошедшее. Так понятый и так поставленный на службу идеи реализм, который открыто исповедует г. Достоевский, ни в чем не похож на натурализм г. Золя. Рядом с Грушенькой Нана – это всего лишь жалкая марионетка, доказывающая тезис, который под личиной внешней смелости вовсе не превосходит самый элементарный уровень буржуазной морали. Русский романист видит выше и дальше, употребляя те же материалы, что и его французский собрат, он создаёт грандиозное

⁵² Буренин В. Литературное обозрение. Последние главы романа Достоевского «Братья Карамазовы». — Мнение одного критика о таланте, уме и романе Достоевского. — Современные произведения с современными идеями. — Мнение г. Евг. Маркова о «Братьях Карамазовых» // *Новое время*. 1879. № 1357. 7 декабря.

здание, в то время как автор “Нана” довольствуется тем, что лепит пастиш банальных вилл Онъера. Нам могут заметить, что, возможно, это связано с различием сюжетов двух романов. Конечно, разница очень велика, но два эти произведения объединяет нечто большее. В одном и другом чисто физическая страсть является главным мотором действия. Однако г. Золя видел в великолепной мощи этой страсти лишь самую приземленную сторону, ее *разрушающую* энергию, а Достоевский использует тот же сюжет другим способом. У него животное на наших глазах становится человеком в высоком смысле этого слова»⁵³.

2.

1879 год был отмечен не только спорами о печатающихся «Братьях Карамазовых». Вышли в свет две работы, обобщающие на тот момент творческий путь писателя (П. Н. Полевого и упоминавшегося Е. Л. Маркова) и продолжающие начатое в таких известных изданиях (см. выше), как статья Добролюбова «Забитые люди» (1861), седьмое издание «Курса истории русской литературы» К. П. Петрова (СПб., 1871), лекции О. Ф. Миллера (1874), биографическая статья Вс. С. Соловьева («Нива», 1878, № 1). Насколько важным представлялся самому писателю подобного рода «репутационный» жанр, свидетельствует его болезненная реакция на биографическую статью В. Р. Зотова в «Русском энциклопедическом словаре, издаваемом <...> И. Н. Березиным» (1874–1875). Упомянутая публикация Соловьева должна была исправить зотовские измышления, потому и писалась она при консультациях биографа с Достоевским. Похожая ситуация, вероятно, имела место и при подготовке очерка П. Н. Полевого для третьего издания его «Истории русской литературы в очерках и биографиях» (первоначально опубликован в журнале «Огонек», 1879, № 33 и 34). Известно, что еще 7 июня 1876 г. Полевой обращался к Достоевскому с просьбой сообщить ему «достоверные биографические данные» [Литературное наследство; 86: 449], на что тот обещал «доставить» их «к концу августа» (29₂: 312). Так или иначе, но судя по статье, Полевой располагал некоторыми данными, не известными в печати.

Характеристику творчества Достоевского Полевой начинает с вопроса о репутации. Писатель «стоит особняком» в современной литературе, и уже этот факт сам по себе вызывает споры.

⁵³ L. V. <Загуляев М. А.> Les revues russes // Journal de St.-Petersbourg. 1879. № 328. 9 декабря.

«Некоторым почитателям такое особнячество нравится только потому, что оно для них представляется чем-то вроде *пряности* среди общего пресного направления, как выражаются они. Зато другим именно и не нравится такая пряность; из-за нее, или, лучше сказать, из-за того, что вообразили ее в известном писателе, он является предметом нелюбви, нерасположения многих»⁵⁴.

Полевой далее развивает тему читательского восприятия произведений Достоевского, суммируя уже известные нам высказывания критиков.

«Говорят, что романы его скорее “психологические очерки”, чем вполне художественные произведения. Их будто бы и читать весьма трудно. Действительно, люди, не привыкшие *думать* при чтении, не прочтывают до конца романов и повестей г. Достоевского. Но ведь на таких читателей не приходится обращать много внимания. **Существует еще другой сорт читателей**, которые говорят, что Достоевского *страшно* читать, что романы его действуют, как кошмар. <...> Но ведь что же делать, если жизнь, сама жизнь, настоящая, неприкрашенная, дает эти сюжеты, эти впечатления, **если только не захочешь от них отвертываться?**...»⁵⁵.

«Такой талант, какой у Достоевского, – замечает критик, – развивается при исключительных условиях». Многие из них скрыты от глаз читателя и «во многом непонятны современникам... История настоящего есть дело будущего». Полевой свою задачу видит в первом, так сказать, приближении к некоторым значимым обстоятельствам формирования личности художника для **приближения** его к читателям. Среди них важнейший – фактор детства, к которому привлечено исключительное внимание и в произведениях Достоевского.

«Расти пришлось нашему писателю в большом семействе. Должно быть, в семье существовала такая обстановка, которая могла способствовать в ребенке развитию задатков для его будущей деятельности»⁵⁶.

Другой фактор, отмеченный биографом, – природа, русская деревня:

«Впечатлительный ребенок находил большое удовольствие забираться в лес “с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежеками и белками, с его сырым запахом перетлевших листьев”. Но такая любовь к природе не развила в Достоевском той способности, какой отличается, напр., И. С. Тургенев в своих “Записках охотника”. Мы говорим о способности

⁵⁴ Полевой П. Современные русские писатели. VII. Федор Михайлович Достоевский // *Огонек*. Иллюстрированный журнал литературы, науки и искусств. 1879. № 33. С. 662.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Там же. С. 663.

описывать живо природу... У нашего писателя редко находим мы места, посвященные поэтическим красотам мертвой природы; его занимают более мысли и думы человека. Хотя, разумеется, жизнь в деревне в раннем детстве не осталась без влияния на развитие художественного таланта. В душу ребенка не запало то “кладбищенство”, какое с детства немало заело художественную сторону таланта несчастного Помяловского. Лесные прогулки, “запах березняка” остаются в памяти на всю жизнь. Деревня, природа – вот что развивает художественное чувство в человеке»⁵⁷.

Наконец, третий фактор – чтение: Пушкин, Вальтер Скотт, Карамзин, Фенимор Купер, Жорж Санд...

«И в училище страсть к литературе и истории не покидали будущего писателя. Математика, лежащая преимущественно в основании инженерных наук, разумеется, не совсем гармонировала с господствующей в душе страстью, с пылким воображением. <...> Может быть, математическое образование и не осталось без последствий; может быть, ему-то и обязан Федор Михайлович точностью своих психологических анализов»⁵⁸.

Значительное место в биографии уделено Белинскому и литературной атмосфере сороковых годов с их возросшим вниманием к «идеям». Не обошел биограф и драматичную для молодого писателя сторону литературной жизни:

«Но счастливое время начинающейся литературной известности и самых пышных надежд не прошло без треволнений. Как обыкновенно, начались всевозможные литературные неприятности, раздоры. Несмотря на молодость, многое должно было сильно поразить впечатлительное сердце Ф. М. Достоевского; немало мечтаний, светлых надежд разбилося о пошлую действительность. Возникло какое-то странное нервное раздражение, отразившееся и на здоровье молодого писателя...»⁵⁹.

«Начало нового направления» в творчестве писателя биограф относит к роману «Преступление и наказание»:

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ Там же. С. 663 – 664. Фраза о любви к литературе и истории свидетельствует, на наш взгляд, что Полевой был знаком с той краткой автобиографией, которую Достоевский надиктовал жене и в которой указал, что «особенно стал заниматься литературой, философией и историей» (27: 120). Во всяком случае, нельзя исключать возможность личного общения биографа и его «героя». Об этом говорят некоторые детали (напр., подробности ареста М. М. Достоевского), о которых биограф мог узнать только от самого писателя.

⁵⁹ Полевой П. Современные русские писатели. VII. Федор Михайлович Достоевский. Окончание // *Огонек*. 1879. № 34. С. 680. Ср. в надиктованной автобиографии: «Но наступившее затем постоянное нездоровье несколько лет сряду вредило его литературным занятиям» (27: 120).

«Многие старались видеть в том произведении как бы нападки на “молодое поколение” с чисто субъективной точки зрения автора. Но субъективные взгляды еще далеко не так ясны в этом произведении, как в последующих. Чем дальше, тем больше автор становится виден из-за вымышленных им характеров, являясь действительно как бы проповедником, защитником известной дорогой ему идеи, правильного, по его мнению, взгляда на жизнь»⁶⁰.

Что очень важно, биограф находит нужным встать на защиту автора «Бесов»:

«Характеры, выведенные на сцену в этом романе, представляются чуть ли не в первый раз появившимися в нашей литературе. Настоящее и верное понятие о значении названного романа и характеров его героев принадлежит более или менее отдаленному будущему, когда события, так сказать, профильтруются сквозь успокоившееся от треволнений время»⁶¹.

Интересно, что первым «тенденциозным» романом Полевой считал не «Бесов», а «Идиота». Он находит нужным защитить или хотя бы как-то оправдать автора этого романа, почти не замеченного критикой:

«Ясно, что здесь автору хотелось, кроме простой обрисовки реальных типов, провести и известную идею. Князь Мышкин, главный герой романа, несмотря на свое болезненное развитие, на свой прежний “идиотизм”, отличается от всех честностью, правдивостью, христианским смирением. Всё это такие качества, которые автор ставит выше эгоистического развития и ума. Тут же в романе представлен и гордый характер “падшей”, хотя и против воли, женщины... Роман, по-видимому, писался неровно. Болезнь автора мешала полному развитию рассказа»⁶².

«Дневник писателя» Полевой называет явлением «замечательным по замыслу и по впечатлению, произведенному на всё общество и в особенности на нашу молодежь», и добавляет: «Кажется, ни в одной литературе ничего подобного не было. <...> писатель вдруг сделался советником, учителем...»⁶³.

«Вообще, “Дневник писателя” представляется весьма крупным и важным по своему значению явлением нашей общественной жизни за последнее время. Будущая история нашего общества непременно даст ему довольно почетное место в ряду других событий и, наверное, **оценит его влияние**»⁶⁴.

⁶⁰ Полевой П. Современные русские писатели. VII. Федор Михайлович Достоевский. Окончание // *Огонек*. 1879. № 34. С. 681.

⁶¹ Там же. С. 682.

⁶² Там же.

⁶³ Там же.

⁶⁴ Там же.

Вопреки многим суждениям критиков, Полевой дает иную оценку идейному перерождению писателя, указывая, напротив, на «стойкость его убеждений»:

«Идеалы, существовавшие в душе его в юные годы, не угасли, не выдохлись, как это бывает у большинства, хотя, может быть, изменились взгляды относительно путей к их достижению»⁶⁵.

Ничуть не умаляя заслуги П. Н. Полевого, преодолевавшего в своей работе расхожие представления о Достоевском, следует всё же заметить, что его усилия отразили некий поворот, происходящий в сознании современников писателя. Возраставший интерес к биографии то ли «странного», то ли «страшного» художника был также частью общего культурного процесса расширения **спектра адекватности** (термин предложен: [Есаулов 1995]) в восприятии явления Достоевского.

Этот процесс в более сложном виде отразился в выступлениях известного публициста, критика и беллетриста Е. Л. Маркова. Недавно печатавший эффектные статьи в «Голосе», он в 1879 году в новообразованном журнале «Русская речь» взялся вести рубрику «Критические беседы», в итоге сформировался цикл проблемных статей о современной русской литературе. С самого начала критик заявил свой исходный тезис о повсеместном у нас, в России, торжестве «литературной хандры» как «духовной болезни нашего века, которая сулит скверный исход нашему будущему, и от которой нам бы следовало отделаться поскорее со всею энергиею и мужеством, на которую только мы способны»⁶⁶. Либеральный публицист увидел причину этой болезни в вынужденном «идеализме» писателей, не востребованных «руководителями общества» пореформенной эпохи.

«Общий раздраженный, отрицательный тон нашей литературной мысли, ее слишком идеологический характер ясно показывают, что мысль эта слишком мало имеет возможности применять себя к актам практической жизни <...>. Она злится, хандрит, придирается ко всему живому, ненавидит всё живое или уносится в фантастические мечты и сама чахнет и истомляется в этой хандре, в этих мечтаниях больного воображения, как старая дева, которая страстно готовилась любить и жить, но которой выпало на долю засыхать в одиночестве, не познав любви, не ведая жизни»⁶⁷.

Таков неутешительный диагноз, поставленный Марковым практически всей новейшей русской литературе.

⁶⁵ Там же. С. 683.

⁶⁶ Марков Евгений. Критические беседы. III. Книжка и жизнь // Русская речь. 1879. Март. С. 209.

⁶⁷ Там же. С. 224–225.

«Островский в комедиях, Щедрин в сатире, Достоевский в романах, Некрасов в поэмах и лирике, целый стан менее серьезных писателей вроде Решетникова, Помяловского, Успенских и множества других в повестях и очерках рисуют русского человека, русское общество в таких ужасающих черных красках, с таким полным отсутствием какого-нибудь радующего или бодрящего цвета, что читателю остается завернуться безмолвно в тогу отчаяния и отдаться ударам судьбы без сопротивления и протеста. <...> корень этой внутренней неудовлетворенности нашего духа находится в отсутствии у нас настоящей общественной жизни»⁶⁸.

Критик-публицист развернул свою концепцию в статье о Достоевском («трудно выбрать для иллюстрации нашего современного литературного характера более подходящий материал») «Романист-психиатр» в двух номерах журнала. В качестве эпитафии он выставил слова из «Книги премудрости Соломона» [11: 25–27]: «Ты любишь всё существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил; ибо не создал бы, если бы что ненавидел». Творчество Достоевского под таким эпитафией рассматривается как противоречащее библейской мудрости движение от «любви» к «ненависти» (заметна переключка с изложенной выше концепцией Лароша), протекавшее под «осязательным влиянием современной литературной атмосферы»⁶⁹.

Под знаком «любви» пребывало, по Маркову, раннее творчество писателя. «Бедные люди» «живут, потому что любят», тем доказывая, что «писатель может всецело предаться изображению общественного горя, общественного зла, не убивая в себе и в своем читателе любви к человечеству, веры в человечество»⁷⁰. И так вплоть до «Записок из Мертвого дома», непревзойденной вершины, дающей «наслаждение в человеке тем зерном золота, которое скрыто в нем». Однако «это высокое настроение писателя, по-видимому, прошло и окончилось вместе с его несчастьем»⁷¹.

«Душа убывает» постепенно по мере движения вперед во всех этих многотомных романах, если сравнивать их с «Записками». В них уже не разлито то христианское чувство всепрощения, та неподдельная братская любовь к человеку, то спокойное и твердое восприятие всех неизбежных зол жизни, та тихая радость простыми радостями жизни, которыми дышит, которыми проникнуто насквозь, словно теплотою летнего солнца,

⁶⁸ Там же. С. 226–227.

⁶⁹ Марков Евгений. Критические беседы. IV. Романист-психиатр. (По поводу сочинений Достоевского) // *Русская речь*. 1879. Май. С. 244.

⁷⁰ Там же. С. 252, 254.

⁷¹ Там же. С. 245.

всякая страница “Мертвого дома”. Нет, здесь уже жизнь судится желчным и пессимистским взглядом, здесь уже люди являются для осмеяния их глупостей, для позора их слабостей, для обличения их мнимых достоинств, здесь почти всё – разочарование, бесцельность, отсутствие смысла, здесь один нераспутываемый нравственный хаос. Одним словом, здесь та же, хотя и своеобразная, душевная хандра, которая заразою охватила нашу литературную мысль, убежавшую от жизни, забывшую жизнь, **возненавидевшую жизнь**»⁷².

Субъективизм писателя (вновь возникает этот мотив) приводит к тому, что из его произведений уходит «изображение жизни, письмо с натуры, правдоподобность действий и характеров».

«Вся энергия творчества, все силы таланта Достоевского, по-видимому, уходят в этих романах только на то, чтобы раскопать до конца, выскрести до дна хотя высоко своеобразную, но все-таки более или менее больную психику какого-нибудь одного мрачного героя и его устами, его насильственным лицедейством высказать свои **безнадежные воззрения на жизнь и на людей**. <...>. Оттого, читая роман Достоевского, забываешь, что читаешь роман: всё кажется, будто в ваших руках пространный дневник больного из психиатрического заведения или психиатрическое исследование врача»⁷³.

Мы видим, как критик наткнулся на реальное своеобразие «одинокого художника» (так его воспринимал не только Марков) – на **деформацию эпического начала**, без которого немислим самый жанр романа. Однако вместо того, чтобы понять и принять предлагаемые писателем новые жанровые условия, Марков выводит Достоевского вообще за границы литературы в разряд «научного исследования»⁷⁴. Забывая при этом, что правила игры в искусстве диктует не критик, не «теоретик», а «практик» в лице великого художника. Согласно этим правилам, Достоевский – романист нового типа, и открываемые им тонкости «психии» увидены художником, а не естествоиспытателем, в ряды которых его спешит записать самоуверенный критик. Точно так же «любовь к человеку» не убывает в поздних романах Достоевского, как это представлялось Евгению Маркову, она перестраивается, теряя сентиментальную окраску, но углубляя тот метафизический смысл, который несет в себе христианство. Остановившись на границе предложенного Достоевским нового измерения, эстетического и духовного, критик

⁷² Там же. С. 245–246.

⁷³ Там же. С. 247.

⁷⁴ Там же. С. 274.

не пошел за писателем, вместо этого встав в позицию судьи, руководствующегося законами, уже упраздненными высшей инстанцией.

Далее Марков рассматривает последовательно три романа: «Идиот», «Преступление и наказание» и «Бесы» («Подросток» даже не упоминается). Нарушение хронологической последовательности критику необходимо, чтобы показать «убывание любви» (т. е. подогнать под свою концепцию), которая в «Идиоте» еще присутствует, хотя в искаженном виде:

«... присущее Достоевскому чувство симпатии к внутренней “человечности” человека не покидает его в “Идиоте”. Как в “Мертвом доме” он преклоняется перед этой человечностью даже в образе убийц и разбойников, так здесь он преклоняется перед ней в лице полусумасшедшего человека»⁷⁵.

Марков, как уже говорилось, осудил в этом романе «союз добродетели с идиотизмом», унижающий добродетельного героя:

«Как бы ни были высоки сами по себе гуманные идеи писателя, но когда они проявляются в формах психиатрического настроения, они уже не могут возбуждать сочувствия, а только могут возбудить любопытство. Вообще похождения этого доброго князя Мышкина с его нелепыми действиями, губящими и его, и других, рядом с великодушнейшими мечтами его о всеобщем добре и всеобщей любви – точно так же **скребут сердце читателя**, как веселые потехи старых бар над кривлявшимися у их стола добрыми дурачками, карликами и прочим невинным шутовским людом»⁷⁶.

Пропустив возможное соображение, что, может, в этом-то и заключается цель **трагического** искусства («скрести сердце читателя»), Марков упорно ведет к нужному ему выводу:

«Вот этот-то безотрадный взгляд на судьбу и положение всего доброго в мире, на торжество в нем только зла и безобразий составляет ту новую струну, которая прибавилась в произведениях Достоевского после его мужественных воззрений на мир из-за железных решеток “Мертвого дома”. В “Идиоте” она звучит еще несколько слабее, но она разрастается шире и громче в “Преступлении и наказании” и достигает последней высоты диапазона в “Бесах»»⁷⁷.

Подбираясь к названным романам, критик делает весьма знаменательное, на наш взгляд, искреннее и честное признание, фиксирующее тот конфликт читателя и писателя, на который мы уже не раз обращали внимание в нашем обзоре:

⁷⁵ Там же. С. 269.

⁷⁶ Там же. С. 271.

⁷⁷ Там же. С. 272.

«Романы Достоевского всегда **заставляют** много думать и всегда **заставляют** читать себя с любопытством. Но они **читаются не с наслаждением, а с болью, почти с ненавистью**»⁷⁸.

Переходя к «Преступлению и наказанию», критик еще раз засвидетельствовал то беспрецедентное воздействие романа на читателей, о котором мы говорили в соответствующей главе. Приведем и это дополнительное показание:

«Вы словно **сами сидите в нем**, в его воспаленном и смущенном мозгу, тревожно **бредите с ним** на его одинокой постели, трусливо **крадетесь с ним** за топором в конурку дворника, **делаетесь вместе с ним** обезумевшим автоматом-убийцею в роковых темных комнатках старой ростовщицы. Что автор действительно горько и тяжело пережил на самом себе последовательные ощущения своего героя, что он действительно передумал и выстрадал всем своим существом каждый оттенок мысли Раскольникова, когда писал эти замечательные страницы, – в этом сомневаться невозможно. Только такое **всцелое перенесение себя в душу своего героя** в состоянии было дать такое удивительно-правдивое и удивительно-выразительное изображение»⁷⁹.

Однако это пока «наивное» читательское восприятие, критик же обязан продвигать свою концепцию. Он ее и продвигает.

«Если Мармеладов и совершенно сочиненная, совершенно неестественная дочь его Соня, напоминающая своею бесцветною сентиментальностью разных Фантин и Козетт В. Гюго, – держат мысль автора в преданиях его прежнего творчества, то Катерина Ивановна, Раскольников, Свидригайлов – выступают крупными и резкими типами нового настроения Достоевского. Бессмыслие и несправедливость существования проповедаются каждым шагом, каждым словом их»⁸⁰.

В строгом соответствии с концепцией критик интерпретирует характер главного героя. Приведа его слова «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился» (6: 246), он заключает:

«А между тем нет человека, не исключая его сестры, его матери, его друга, которых бы он действительно любил, ради которых он понес бы хоть какое-нибудь лишение, не только страдание»⁸¹.

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ Марков Евгений. Критические беседы. Романист-психиатр. (По поводу сочинений Достоевского). (Окончание) // Русская речь. 1879. Июнь. С. 152–153.

⁸⁰ Там же. С. 163.

⁸¹ Там же. С. 167–168.

Марков не верит «гуманным» началам ни в характере Раскольниковва, ни в его «идее» (о которой он, впрочем, не очень-то и распространяется), предвещающая уже современную нам концепцию «самообмана Раскольникова» [Карякин]. «В нем был только душевный холод и воспаленность мечты... И над всем этим – необъятное себялюбие»⁸². Не вполне соответствуя романному образу, эта характеристика зато хорошо служит сочиненной концепции.

Роман «Бесы», по Маркову, представляет собою окончательное падение писателя на пути обезчеловечения его позднего творчества:

«Тут уже совсем нет типов добра, идей добра; тут нет даже слабой попытки, даже отдаленного желания отыскать их, изобразить их, **ободрить ими хотя немного угнетенный дух читателя**... Плач и скрежет зубовный наполняют грешную юдоль скорби, в которой мечутся “Бесы” Достоевского. Точно вы перелистываете мрачный альбом Густава Доре к Дантову “Аду”... <...> по прочтении трех томов романа «Бесы» вам делается так гадко, так бессмысленно на душе, что вы бежали бы куда-нибудь и от людей, и от самого себя. Тут всё осмеяно, тут всё поругано и низвергнуто в корне. Душа человека беспощадно вывернута наизнанку, выскоблена до костей, прощупана, как решето, грубым зондом исследователя и кинута им с отвращением в помойную лохань, как негодная, грязная тряпка... Я думаю, что бесы действительного ада, если бы он существовал, оказались бы все-таки симпатичнее и разумнее безобразных “Бесов” Достоевского»⁸³.

С особенным пристрастием трактует Марков образ Степана Трофимовича Верховенского, вступая в противоречие с подавляющим большинством критиков, признававших его как, возможно, единственную удачу романиста. Марков настроен непримиримо, заподозрив здесь величайший подвох: «этим типом расплачиваются какие-то старые счета с отжитым». Да, не все факты биографии героя совпадают с известными обстоятельствами жизни Т. Н. Грановского.

«Но тем не менее только близорукий не поймет, что Степан Трофимыч есть тенденциозная сатира на того “чистоплотного либерала 30-х годов”, по великолепному выражению Некрасова, представителем типа которых был еще так недавно знаменитый московский профессор»⁸⁴.

Можно удивляться, с какой яростью Марков вступился за светлую память покойного историка. Однако представляется нам, что негодование критика вызвал не только чисто этический момент (других-то он

⁸² Там же. С. 169.

⁸³ Там же. С. 170–171.

⁸⁴ Там же. С. 174.

не очень и покоробил). «Чудовищный», «возмутительный, грязный <!> памфлет»⁸⁵ не потому ли так возмутителен, что красноречивейший из либеральных публицистов-критиков усмотрел в нем и свое отражение?

«Мы теряемся в догадках, какой еще общий вывод думал сделать автор из своего романа, в котором он изображал лучших представителей старой мысли, лучших “отцов”, низкими, пустыми и лживыми шутами, паразитами, годными только на праздную болтовню, а в представителях нового времени видел бесноватых той Христовой притчи, в которой бесы переселялись из человека в свиней...»⁸⁶.

Можно подумать, что «общий вывод» романиста о преемственности поколений и об ответственности «отцов» (даже и «лучших») лежал где-то очень далеко... Любопытный получился критический казус: Степан Трофимович, прочитанный новейшим «Степаном Трофимовичем». Чем-то это напоминает эффект чтения Девушкиным повести Гоголя.

«Перед вами происходит не художественное правдивое изображение целого человека, как он есть, с его достоинствами и недостатками, в его добре и зле, – нет, это какое-то надоедливое, придирчивое и безжалостное помыкание слабым ближним, который не успел утаить от вас своих пороков, сквозь доверчивость которого вы подглядели каждую черную ниточку у него внутри, и которого вы с жадностью радостного открытия хватаете именно за эти черные нитки его, грубо залезаете своими бесцеремонными кулаками в его внутренности и тащите, комкаете, рвете оттуда всё, что зацепили в этот кулак, и не хотите расстаться с своею жертвою, а волочите ее без сострадания по улице, всем показывая черноту разоблаченного грешника, всех громко сзывая к себе, заливаясь злорадным, ликующим хохотом, что вот, мол, на какой пьедестал себя сажал человек, а какая оказалась дрянь, гляньте только, прохожие, какая дрянь, и плюйте на него вместе со мною, и радуйтесь вместе со мною, что дрянь, дрянь, и ничего больше!..»⁸⁷.

Эмоционально, и даже чересчур для всегда уравновешенного критика. Еще один пассаж указывает на прием самозащиты, к которому Марков по либеральной привычке прибегал не раз (и который, что поделать, также отразился в Верховенском-réре):

«Кому другому, но уж во всяком случае не Достоевскому пристало потешаться над напрасною подозрительностью русского “высшего либерализма”, в котором, как он знает, далеко не всегда можно позировать безопасно»⁸⁸.

⁸⁵ Там же. С. 178.

⁸⁶ Там же. С. 175.

⁸⁷ Там же. С. 177–178.

⁸⁸ Там же. С. 178. Эту тему критик разовьет с новой силой: *Марковъ Евгений. Критические беседы. VII. Литературный сыск // Русская речь. 1879. Ноябрь. С. 309–344.*

В итоге критик задается риторическим вопросом:

«Где же, наконец, кто же, наконец, люди Достоевского? Где же, в каких веках и странах укоренились его идеалы, его принципы, цели его деятельности?»⁸⁹.

Марков их не обнаруживает в «Бесах», а в «Подросток», как мы уже говорили, он не заглядывал. Следует отметить, что его «беседы» происходили, когда не так давно прошел «Дневник писателя» и вовсю печатались «Братья Карамазовы», однако критик ни словом не обмолвился о них. Концепция «угасания человечности» в таком случае могла утратить свою стройность.

Горячо выступил против этой концепции М. А. Загуляев, нашедший в статье Маркова (в первой ее части) «очень верные оценки и очень тонкие наблюдения наряду со спорными утверждениями», в числе которых громкое заявление, что «талант Достоевского клонится к закату» и что после «Записок из Мертвого дома» писатель «принес всё в жертву психологическому исследованию своих главных персонажей, которые вращаются в среде второстепенных, совершенно лишенных правдоподобия»:

«Где это он всё увидел? Они одарены такой силой жизни, что это вредит основной интриге. Нет, талант г. Достоевского не клонится к закату. Романист, может быть, напрасно не делает уступок привычкам многим из наших читателей. Мы первые отметили трудность, которую испытываешь в том, чтобы с самого начала принять его произведение, но критик, отмечая эту особенность, не имеет права останавливаться на этом по личному вкусу, потому что критик – это не обычный читатель, **он обязан преодолеть трудности**, которые может вызывать произведение такого автора, как г. Достоевский»⁹⁰.

Марков обратился к последнему роману Достоевского лишь в конце года. И вот здесь его читателя поджидал некий сюрприз. Сама теория, в ней развиваемая, была не нова, критик обращался к ней и в предыдущих статьях. Она не слишком убедительно гласила, что сатира и роман – жанры не только не сочетаемые, но и враждебные друг другу. Сатира (подробно говорилось о последних произведениях Щедрина) «не указывает ни на что положительное, она не зажигает в груди ничего, кроме презрения или ненависти», а вот роман рассказывает, «что есть

⁸⁹ Марков Евгений. Критические беседы. Романист-психиатр. (По поводу сочинений Достоевского). (Окончание) // Русская речь. 1879. Июнь. С. 184.

⁹⁰ L. V. <Загуляев М. А.> Les revues russes // Journal de St.-Petersbourg. 1879. № 138. 27 мая.

светлого рядом с этими картинами тьмы, куда можно направить свой взор ради успокоения и утешения»⁹¹. Для иллюстрации этого тезиса Марков и обращается к последнему роману Достоевского, который, впрочем, раздражает его эстетическое чувство не меньше тех же «Бесов».

«В романе Достоевского беседует и философствует всякий без исключения, как бы мало кто ни подходил по своему положению и умственным силам к философу. Философствует у него и монах, и лакей, и забубенный кутила-скандалист, и старый оскотинившийся развратник, и уездная барыня, и полуграмотный гимназист, и публичная женщина...»⁹².

Вновь обвиняя писателя в субъективности («автор говорит за всех»), Марков вновь проскакивает мимо жанрового своеобразия произведения. Впрочем, обнаруживается и достоинство: критик напоминает, что еще в «Бесах» Достоевский начал у нас тему наследственности (мать и сын Ставрогины, отец и сын Верховенские), опередив в этом самого Золя, теперь же он развил ее в картине семейства Карамазовых, в объединяющей всех его членов «карамазовщине». Но еще важнее этой идеи, продолжает критик, другая, имеющая отношение «к общественному значению романа»⁹³:

«В “Братьях Карамазовых” Достоевский отчасти остается прежним Достоевским, мрачным автором “Преступления и наказания”, “Идиота”, “Бесов”, отчасти является в новом свете, гораздо более напоминающем теплое, гуманное настроение его юности»⁹⁴.

«Новый свет», по Маркову, излучают образы Алексея Карамазова и старца Зосимы. Подобное откровение в либеральной критике могло быть расценено как ренегатство, ведь уже высказались по этому поводу, как мы видели, авторитетные критики данного лагеря и безоговорочно определили сих героев по разряду «мистицизма», «деревянного масла» и т. д. Марков более обтекаемо и, как бы теперь сказали, толерантно формулирует суть проблемы:

«В наших образованных слоях укоренились **отчасти основательные** предубеждения против **уже слишком** догматических, **слишком** мало соответствующих общему движению человечества формул нравственности на почве строгой ортодоксальной церковности. К тому же автор, как нарочно, дает

⁹¹ Марков Евгений. Критические беседы. VIII. Сатира и роман в настоящем году // Русская речь. 1879. Декабрь. С. 257.

⁹² Там же. С. 269.

⁹³ Там же.

⁹⁴ Там же. С. 276.

этому специальному миру такое центральное значение в своем романе, к какому наше литературное общество **вовсе не привыкло**»⁹⁵.

Проблема в данном случае, как резонно замечает Марков, в позиции критика, признающего или не признающего за автором право свободного выбора предметов изображения.

«Критиканы эти, кажется, не хотят знать, что художник не проповедует и не пропагандирует идей, а рисует яркие типические образы человечества, из которых всякий может извлекать ту проповедь, какую он в состоянии в них вычитать. С этой точки зрения мы радуемся смелости и откровенности Достоевского, который настолько уважает достоинство писателя, настолько дорожит его нравственною самостоятельностью, что без всякого стеснения решается выступить в скептическую и материалистическую среду нашего литературного мира со своим старцем Зосимой, со своим юношей – иноком Алешей, со всеми этими иеромонахами Паисиями, юродивыми и богомолками»⁹⁶.

Отсюда золотое правило для критики формулирует Марков:

«Каковы бы ни были наши собственные сочувствия и взгляды, **мы никогда не должны забывать, что человечество не в нас одних**, что его мысль течет не в одном узеньком фарватере наших личных убеждений. <...> Сам критик может быть свободным мыслителем, которого не тревожат вопросы религии. Но разве из этого следует, что религия исчезла с лица земли, что нет кругом него миллионов, для которых в ней заключаются весь смысл и весь центр тяжести существования. Какое же право имеет литература наказывать проскрипцией художественное изображение таких могучих стихий человеческой жизни?»⁹⁷.

Марков нашел, так сказать, соломоново решение увязки атеистического мировоззрения читателя и критика с религиозными мотивами романа. Зосима ему представляется одним из самых удачных художественных образов, нарисованных «без всякого следа схоластики или фанатизма»⁹⁸. Об Алексее Карамазове сказано еще сильнее:

«Вот вам образ почти идеальной высоты, почти мистических свойств, а между тем построенный на самой несомненной реальной почве, возможный, понятный и прекрасный даже с точки зрения научного человека и рационалиста. Слишком ярые противники идеализма забывают, что и мистицизм есть реальный факт, имеющий вполне реальные основы»⁹⁹.

⁹⁵ Там же. С. 277–278.

⁹⁶ Там же. С. 279–280.

⁹⁷ Там же. С. 280.

⁹⁸ Там же. С. 283.

⁹⁹ Там же. С. 284–285.

В поддержку Маркова раздался голос из Саратова: провинциальный рецензент также не согласился с мнением либерального большинства, что Достоевский «идеализирует мистицизм»:

«... никакой идеализации аскетов и монахов в романе мы не видим; для человека, который хотя сколько-нибудь знаком с монастырским миром, кажутся удивительно верными описания и характеристики монастырских нравов, обычаев и вообще жизни. <...> Ф. М. Достоевский в данном случае вполне удержался на высоте призвания художника...»¹⁰⁰.

Тема эта получит дискуссионное продолжение, как и определение, кажется, впервые прозвучавшее: Иван Карамазов – «миниатюрный Фауст на русской почве»¹⁰¹.

3.

1880 год отмечен некоторым падением интереса критики к «Братьям Карамазовым», виною чему отчасти был большой перерыв в печатании, связанный с событием Пушкинской речи, которая отвлекла на себя внимание журналистики (см. ниже). Отметим некоторые из газетных откликов.

К статье в «Новороссийском телеграфе» исследователи не раз обращались (см. 15: 486, комментарий), поскольку в ней анонимный автор-петербуржец передал «кое-какие слухи о дальнейшем содержании романа»: «Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве...»¹⁰². Каким образом это может произойти, для критика – полная загадка. Впрочем, загадкой предстают перед ним и напечатанные части романа. Критик свидетельствует, что роман, несомненно, захватывает читателя, однако производит при этом странное впечатление:

«... ни один самый добросовестный читатель не в состоянии последовательно рассказать ход событий, найти логическую нить в этом сложном лабиринте трагических или курьезных сцен, уловить, одним словом, ту реальную жизненную канву, на которой г. Достоевский выводит узоры своей творческой фантазии <...>, он постоянно удаляется в сторону, загромождая роман эпизодами, вставными лицами, рассуждениями...»¹⁰³.

¹⁰⁰ Х. Журнальное обозрение // *Саратовский дневник*. 1880. № 251. 21 ноября.

¹⁰¹ Там же.

¹⁰² Z. Журнальные заметки // *Новороссийский телеграф*. 1880. № 1578. 26 мая.

¹⁰³ Там же.

Критик, однако, не ставит здесь точку, но берется описать процесс постижения романа читателем, смутно догадывающимся, что не в сюжете одном, а и в этой загроможденной, кажется, ненужными вещами композиции романа заключен брезжащий смысл, который еще надо постараться уловить:

«... мало-помалу первоначальная драма совершенно исчезает, и благодаря сценам, эпизодам, размышлениям, **возникает совершенно новое содержание**, но до такой степени запутанное, неясное, неформленное, что оно только *чувствуется*, но не *понимается*. В конце концов **читатель начинает подозревать**, что не драма и не психология больной, страдающей души интересует автора, а что-то совершенно особенное, какая-то идея, – une idée fixe, – глубоко засевшая в мозгу его и теперь мало-помалу выступающая наружу»¹⁰⁴.

Перед нами дневник читателя, как будто иллюстрирующий понятие герменевтического круга Ф. Шлейермахера. Мы видим, с каким трудом («из какого сора») вырастает **читатель Достоевского**, как непросто формируется его способность двигаться **от части к целому**. Корреспондент одесской газеты честно признаётся, что движение это чрезвычайно затруднено как эстетическим ступором перед «романом сознания» («нет характеров, типов»), так и ценностным, мировоззренческим барьером:

«"Братья Карамазовы" – роман совершенно мистический, написанный с целью проповеди какого-то совершенно особого, мистического мирозерцания, которое однако ж и теперь представляется уму читателя совершенно неясным и туманным. Не раз делал я величайшие усилия – уяснить себе это странное мирозерцание г. Достоевского, но, признаюсь, отступал побежденный, ничего не понимая»¹⁰⁵.

Несколько иного рода «герменевтический скандал» устраивает В. П. Буренин, читатель куда более продвинутый, но и всё же... Прочитав в июльском номере «Русского вестника» (1880) первые пять глав одиннадцатой книги, критик берет на себя роль адвоката измученных романом читателей: «... автор продолжает играть на читательских нервах, осложняя темную драму и запутывая ее еще более неясными намеками на то, кто настоящий убийца. Да простит меня высокодаровитый писатель, но это играние на нервах читателей и это запутывание драмы производится им уж слишком долго, слишком пространно и с явным авторским расчетом на усиление впечатления, на раздражение нервов читателей вконец»¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Там же.

¹⁰⁵ Там же.

¹⁰⁶ Буренин В. Литературные очерки // Новое время. 1880. № 1603. 15 августа.

Критик отчасти прав: Достоевский действительно использовал ряд приемов усиления занимательности (см: [Давидович]), его, в отличие от Буренина, не коробило соединение детективного элемента с философским, а уж на вкус читателя последующего столетия эти претензии кажутся весьма архаичными. Они становились архаичными уже и тогда. Читатель, существо более консервативное по природе, просто не успевал за писателем. Достоевский, по выражению современного исследователя, применил к читателям «парфянскую тактику»: **завлечь** «противника», чтобы неожиданно пустить в него стрелу [Назиров: 150–158].

Буренин усматривал и еще один «коренной недостаток огромного таланта г. Достоевского» – нагромождение «надорванных сцен с надорванными истерическими героями». В особенности его шокировала фантазия Лизы Хохлаковой о распятом мальчике и ананасовом компоте (не его одного шокировала, за этой сценой тянется немалый шлейф в литературе о Достоевском). Подобному «истерическому кривлянию», как полагал критик, не место в литературе, а если еще припомнить мальчика, растерзанного собаками, «чувствительному читателю» становится совсем не по себе. Нечто «искусственное», нарочитое видится Буренину в этих моментах болевого шока, однако он сам же сознается, что вряд ли писатель захочет освободиться от этих «излишеств». Как в подобном же случае говорил Страхов, для этого Достоевский должен перестать быть Достоевским. Проблема, поставленная Бурениным, имеет, впрочем, не одно только эстетическое измерение; чтение Достоевского может быть действительно серьезным испытанием для людей с низким болевым порогом. Здесь есть материал для размышления психиатров.

При завершении журнальной публикации романа Буренин вернулся к теме, нередко обсуждаемой в критике, – о языке романа. К рассуждениям о монологичности («автор говорит за всех героев») критик добавил и свои наблюдения лингвистического свойства:

«... все говорят характерным слогом автора “Дневника писателя”, со свойственным одному г. Достоевскому постоянным *заклинанием*, с частыми излюбленными оборотами речи вроде повторения по два раза одного слова, вставок: “о, я не говорю” или “и уж конечно” и т. п.»¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Буренин В. Литературные очерки. Последние главы «Братьев Карамазовых». – Нечто о внешнем языке действующих лиц романа г. Достоевского. – Сатира на наше прокурорское и адвокатское красноречие. – Игра в психологию и либерализм прокурора. – Софистика адвоката. – Призвание всей России для санкции лжи. – Заключение // *Новое время*. 1880. № 1687. 7 ноября.

Буренин, надо отдать должное, находит очень точное определение, во многом опережающее лингвистические теории XX века: он разделяет **внешний** и **внутренний** язык персонажей:

Достоевский «искупает внешнее однообразие и даже, если хотите, сочиненность языка действующих лиц своих произведений глубоким захватом их души»¹⁰⁸.

Мы в который уже раз видим, как критика приближается к пониманию жанровой специфики «романа сознания»; Буренин в данном случае делает это наиболее решительно и проникательно. Далее он разбирает речи прокурора и адвоката в сценах суда, замечая, что и та и другая речь «внешне отдают фразами “Дневника писателя”, но «внутренняя сущность» их – «либеральная игра адвокатского и прокурорского искусства», причем «возведенного в перл создания»: прокурор всё сводит к «заветной идейке, что *вся Россия* стремится только к грязи и преступлениям», а Фетюкович «лжет и фиглярничает с полным презрением к правде» («Паганини либеральной лжи»), и оба возвышаются до пафоса. Судебные сцены романа вызовут значительный отклик, в том числе в юридической литературе, но анализ Буренина ничуть не теряется на этом фоне.

Разбор не столько романа, сколько идей, в нем прочитываемых, предпринял выпускник юридического факультета Харьковского университета, будущий известный философ права К. Н. Ярош, опубликовавший в декабре 1880 г. в только что возникшей харьковской газете «Южный край» (№ 18, 19, 21, 26, 27) цикл «Литературно-общественные очерки». Почитая своими «учителями» О. Конта и Э. Литтре, Ярош развенчивает идею Достоевского о религиозном происхождении морали. Она происходит, согласно данным современной науки, исключительно из особенностей природы человека и благоприобретенного исторического опыта. К бескорыстию как «факту нашей природы» добавляются «благоразумный эгоистический расчет» и «интеллектуальная способность “симпатии”» – «таковы естественные силы человеческой души»¹⁰⁹. С этих позиций критик-позитивист выносит свой приговор Ивану Карамазову, не понявшему значения науки, которая «не придает крыльев, а развязывает лишь руки для тяжелого труда»:

«Если бы “рассудочность” Ивана не висела беспомощно в воздухе, он не пришел бы к странной мысли выбросить совесть за борт, потому что знал бы, что чувство

¹⁰⁸ Там же.

¹⁰⁹ Ярош К. Литературно-общественные очерки. (Продолжение). II. Г. Достоевский о состоянии нашего общества и о душе нашего народа. III. Галлюцинация Ивана Карамазова // Южный край. 1880. № 19. 19 декабря.

обязанности, долга, – как признано всеми психологами, – есть несомненный факт человеческой души, особенная способность человеческой природы»¹¹⁰.

Еще дальше продвинулся черт из кошмара Ивана, который выражает «рассудочность» не только этого героя, но и «человеческую рассудочность вообще», развивая «обскурантистские» мысли Достоевского из «Дневника писателя» 1880 года, что «наука, знание – само по себе, а настоящее духовное просвещение – само по себе, и что первое приносит только вред второму». На самом же деле именно наука открыла нам настоящее положение вещей, что «христианские нравственные предписания – перевод книги, которая лежит перед нами в подлиннике»¹¹¹, то есть, понятно, сама природа. «Метафизически-поэтическая» же идея Достоевского о нравственности как независимом от ума «голосе сердца» превратила такого героя, как Алексей Карамазов, «в бесплотный призрак правды и добра»¹¹².

В разговоре Дмитрия с Алешей о Бернарах критику даже чудится «восхваление невежества», и он предупреждает: «Путь, избранный г. Достоевским, весьма опасен»¹¹³. Таков итог позитивистского прочтения романа.

Оказавшись уже на вершине, возведенной художником и мыслителем, его оппоненты всё еще вели спор о самом существовании этой вершины. Нигилистическая критика (Корш, Боборыкин) и здесь находила разные способы остракизма, уподобляясь известной Моське, но надо заметить, что это уже не был стройный хор голосов, как раньше, во времена «Бесов» и «Гражданина», когда «залаяла вся свора прогресса», по выражению Аполлона Майкова. Потерялась слаженность ансамбля («своры»), из него выпадали голоса, однозначно перешедшие «на другую сторону» (Буренин, Сычевский) и присоединившиеся к тем, кто утверждал, что следует не столько спорить с гением, сколько изучать его явление и природу (Загуляев). Были и те, кто искал примирительной золотой середины: «с одной стороны» – «с другой стороны» (Марков). Те же, кто остались враждовать с Достоевским, но не могли не признать его гениальность, теперь должны были окончательно развести хорошего художника и плохого мыслителя (Скабичевский, Ларош, Протопопов, Ярош).

Серьезной проверкой для оппонирующей Достоевскому критики стала глава «Великий инквизитор». Шедевр художественного и фило-

¹¹⁰ Там же.

¹¹¹ Ярош К. Литературно-общественные очерки. (Продолжение). IV. «Черт впадает в обскурантизм» // Южный край. 1880. № 21. 21 декабря.

¹¹² Ярош К. Литературно-общественные очерки. (Окончание). VII. Алеша // Южный край. 1880. № 27. 30 декабря.

¹¹³ Там же.

софского творчества, которому суждено было открыть новые горизонты в истории мировой культуры, «прогрессивные» критики прочли как продолжение известных публицистических высказываний Достоевского о католической церкви и не более. Чуть дальше других пошел Е. Э. Картавцов (человек и сам по себе незаурядный), который не убоаясь произнести вслух, что автор романа «выдвигается в роли самостоятельного политического мыслителя». По поводу «Великого инквизитора» киевский рецензент не избежал характерного для направленной критики противоречия: с одной стороны, «рассказ Достоевского своим мрачно величавым колоритом и красотой напоминает скандинавские саги», а с другой – «его софистика часто глубоко запрятана»:

«И всё же первые впечатления после рассказа сводятся к одному из коренных взглядов автора: “католичество путь к идолопоклонству”. В этом рассказе отразились те сомнения и та борьба мнений, **которые выработали славянофильскую теорию**. В этом отношении публицистические этюды, вставляемые Достоевским в его романы, имеют огромное значение. Во-первых, они с подробностью и часто с большой ясностью развивают принципы многих сильных умов и, во-вторых, открывают нам, теперешним деятелям, тот умственный и душевный процесс, путем которого выработались существующие мнения, задолго до нас зародившиеся»¹¹⁴.

Как говорится, темна вода во облацех. Но хотя бы какой-то намек на «принципы сильных умов» (предполагаем по контексту, что имелся в виду А. С. Хомяков), или, как выразился о поэме другой провинциальный рецензент, «глубокое и логическое развитие некоторых теоретических вопросов»¹¹⁵.

Оппоненты Достоевского в лучшем случае остановились на пороге великой «поэмы», в худшем – просто прошли мимо нее, не заметив.

«Братья Карамазовы» пробудили интерес к творчеству Достоевского в критике, формировавшейся на страницах церковных изданий (общий обзор их см. в следующей главе). Религиозные мотивы романа получили здесь более широкое толкование. Один из рецензентов заметил по этому поводу:

«Светская печать <...> несмотря на важность подобной темы обыкновенно умалчивает об этом предмете или видит в нем пустой мистицизм автора, или считает себя непризванною рассуждать вообще о нем»¹¹⁶.

¹¹⁴ К. Е. <Картавцов Е. Э.> Среди журналов // *Киевлянин*. 1880. 18 ноября.

¹¹⁵ Х. Журнальное обозрение // *Саратовский дневник*. 1880. № 251. 21 ноября.

¹¹⁶ Кириллов А. Церковно-религиозные вопросы, затрагиваемые в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // *Донские епархиальные ведомости*. 1880. № 8. 15 апреля. С. 295.

Сам автор цитируемых строк посвятил разбору романа в аспекте указанной темы цикл публикаций¹¹⁷, представляющий собою реальный комментарий к соответствующим эпизодам романа с осторожной критикой неточностей, объясняемых критиком «беллетристической» природой произведения. Разборы эти, имеющие в основном компилятивный характер, вероятно, служили учебным материалом: журнал издавался при Донской духовной семинарии, где А. А. Кириллов был инспектором (он вскоре надолго станет редактором журнала). Для влияния на широкий круг читателей этого было явно недостаточно. Между тем задача осмысления духовных начал романа Достоевского стояла очень остро, ее обозначил один из авторитетнейших богословов того времени о. Александр Иванцов-Платонов¹¹⁸ в письме к Достоевскому 20 декабря 1880 г.:

«Никогда еще ни одному из поэтов и романистов русских (кажется – и иностранных) не приходилось так глубоко касаться высших сторон духовной жизни и так сердечно освещать нас нравственно-христианской идеей, как Вы это делаете в своих произведениях. **В Вашем лице художественная литература входит в ту область, которая обыкновенно считается специальным достоянием религиозно-нравственной литературы.** Нужно бы, чтобы и со стороны специальной духовно-нравственной литературы сказалось о Ваших произведениях серьезное слово»¹¹⁹.

Отец Александр упоминает в своем письме лишь одну достойную в этом смысле публикацию (хотя ею и «нельзя удовлетвориться») – статью специалиста по нравственному богословию С. Д. Левитского в двух номерах лучшего на то время духовного журнала «Православное обозрение». Критик-богослов взялся выяснить, что спасает от отчаяния такого писателя, как Достоевский, погруженного в «болезненные уродливые явления человеческой души»:

«... его нравственные стремления находят себе полное удовлетворение только в христианском идеале. Этот последний не представляется у него каким-либо отвлеченным, безжизненным началом, но есть живая деятельная сила, имеющая обновить человечество. Поэтому как бы ни была безобразна существующая наличная действительность, в ней всегда мы найдем

¹¹⁷ Там же, 1880, № 8, 16, 17, 1881, № 4, 13, 18.

¹¹⁸ Ему принадлежит программная статья, требующая от духовно-церковной журналистики и критики обрести «живую судящую силу» (<Иванцов-Платонов А. М.>. Духовная литература и журналистика // *Православное обозрение*. 1861. Т. 6. Декабрь. С. 577).

¹¹⁹ Эпистолярные материалы // Достоевский: Материалы и исследования. 10. СПб.: Наука, 1992. С. 226–227. Публ. и коммент. Б. Н. Тихомирова.

небольшую горсть носителей этого идеала, стремящихся хотя отчасти осуществить в своей жизни его требования. Многие, быть может, найдут в этом идеале в той форме его, в какую он отливается у г. Достоевского, много мечтательного, мистического, иные, пожалуй, склонны назвать это бредом расстроенного старческого воображения, но всякий, **для кого нравственный идеал христианства не представляется только пустою мечтой**, не может не признать широты и глубины философско-богословских воззрений нашего автора»¹²⁰.

Подробнейшим образом Левитский разбирает идею о преобразении государства в церковь, стержневую для романа, а также воззрение Достоевского на монастырскую жизнь. Критик приписывает роману мысль о том, что только из монастыря придет спасение России, и горячо ее оспаривает:

«... нам кажется, что он слишком пессимистически относится к мирской жизни и слишком большие надежды возлагает на граждан монастырской общины. <...> Разве наша история бедна народными деятелями, которые вышли из мира и воспитались среди его треволнений?»¹²¹.

Этот по существу спор критика с самим собой, кажется, является отголоском тяжбы между черным и белым духовенством, шедшей внутри церкви. Отсюда то искажение смысла романа, которое мы видим у критика: он, вероятно, уловил некоторое предпочтение, которое Достоевский отдавал черному духовенству, хотя прекрасно видел и в романе показал его уязвимые места и даже пороки. Так или иначе, говорит критик, но чаяния Достоевского заключаются в том, чтобы «пересоздать гражданский порядок общества, сообщивши ему дух христианской любви». Кто-то назовет это «младенческой мечтой», а кто-то – «пустым сумасбродством». Но есть ход истории, уловленный в романе, который показывает:

«... только тогда человечество достигнет своей заветной цели, вполне будет счастливо, когда оно составит из себя одно духовное братство, деятельность которого будет основываться на началах взаимного, бескорыстного служения составляющих его членов; только тогда уничтожится та разъединенность, которая, как разъедающий червь, подтачивает жизнь современного общества и лишает его счастья. <...> Само человечество никогда не станет на этот путь, и потому **эти идеалы навсегда останутся пустой мечтой? Но почему же?** Если эта идея уже и теперь имеет некоторых последователей,

¹²⁰ С. Д. Л. <Левитский С. Д.> Идеалы будущего, набросанные в романе «Братья Карамазовы» // *Православное обозрение*. 1880. Сентябрь. С. 33. Первоначальный анализ этой статьи см.: [Григорьев].

¹²¹ Там же. С. 58.

то почему же ей не завоевать себе всеобщего господства? Она имеет в себе задатки истинности, а истина сама в себе заключает все условия своего бессмертия и торжества над временными препятствиями и врагами»¹²².

Доходит дело у Левитского и до поэмы о Великом инквизиторе, которую он толкует как критику католицизма, но при этом выявляет **трагические** мотивы, оставившие равнодушными других критиков:

«... католичество однако, по представлению г. Достоевского, думает даровать человечеству то, что составляет его заветную цель, именно, – хочет сделать его счастливым. <...> От человека нельзя требовать свободной веры и любви, он ужасно тяготится предоставленным ему даром свободы совести и чувствует себя невыразимо несчастным, обладая этим непосильным для него даром. Поэтому, чтобы осчастливить его, необходимо отнять у него эту свободу и сделать его рабом: в рабстве заключается его истинное счастье, а не в предоставлении ему свободы»¹²³.

По сравнению с Хомяковым Достоевский вносит совершенно новые ноты в критику католицизма, констатирует критик. Однако некое сомнение может посетить читателя: реальна ли фигура Великого инквизитора, можно ли отыскать среди деятелей католической церкви хотя бы одного, кто бы «дошел до непомерно безумной мечты *исправить дело Христа?*»¹²⁴. «Страдающий инквизитор одна фантазия» (14; 237), по слову Алеши, но в фантазии этой, прибавляет критик, Достоевскому удалось выразить **«высшую идею»** католицизма, поддерживающую его жизнеспособность¹²⁵, но только до известного предела, потому что «где нет свободы, там нет и жизни, свойственной человеку»¹²⁶. Финал поэмы, поцелуй Христа, критик толкует символически:

Достоевский «хотел этим показать, каковы должны быть отношения православных к католикам. Все горячие споры, ученые обширные исследования, раскрывающие подробно ложь и заблуждения католического учения, тогда только увенчаются желаемым успехом, когда они будут подкрепляться силою деятельной любви»¹²⁷.

Далеко не все православные читатели романа были им удовлетворены. Вызревал «раскол в консерваторах» (как и «в нигилистах»,

¹²² Там же. С. 65–66.

¹²³ С. Д. Л. <Левитский С. Д.> Идеалы будущего, набросанные в романе «Братья Карамазовы» // *Православное обозрение*. 1880. Октябрь. С. 218.

¹²⁴ Там же. С. 231.

¹²⁵ Там же. С. 239.

¹²⁶ Там же. С. 241.

¹²⁷ Там же. С. 244.

о чем ниже). Дочь поэта Е. Ф. Тютчева (автор «Рассказов из священной истории Ветхого и Нового завета для народного чтения») уже по прочтении «Каны Галилейской» писала К. П. Победоносцеву:

«Достоевский взялся за слишком трудное дело, желая совместить в своем романе, изобразить *словом* то, что одна жизнь может *совокупить*, – и сильный человеческий дух, просвещаемый и наставляемый свыше, *примирить*, т. е. соблазн внешний веры, малодушия и малоумия верующего – с беспредельною гармониею Истины. Есть глубокие ключи, которых **не может, не должно касаться человеческое слово**. Не словопрениями изгоняется сей темный дух соблазна и самовольного сомнения – но токмо молитвою и постом. Разоблачать язву, выставлять ее напоказ – можно, но кто ее исцелит?..» [Литературное наследство; 86: 489].

Границы слову поставлены, теперь не слева, а справа и сверху.

Не зная сомнения, осудил «неканоничность» религиозных мотивов романа К. Н. Леонтьев. В поучениях старца Зосимы, как и в Пушкинской речи писателя (о чем ниже) он нашел гуманистические «новшества» эвдемонизма, противоречащие христианству. Достоевский, по его убеждению, в своих произведениях начиная с «Преступления и наказания» только лишь «приближался к Церкви», чему мешала «чуть не еретическая» мечта о построении на земле «здания всечеловеческой жизни»:

«... в “Братьях Карамазовых” учение этого *земного эвдемонизма с христианским* оттенком стало еще определеннее. Хорошие монахи в этом романе говорят не совсем то, и даже, пожалуй, и вовсе не то, что говорят обо *всем этом в действительности тоже очень хорошие монахи, и на Афоне, и у нас...*»¹²⁸.

Очевидно противоречие между осуждением Леонтьева («вовсе не то») и свидетельствами людей сведущих, не нашедших «ереси» у Достоевского: мы привели выше только некоторые, число же их многократно увеличилось после смерти писателя, о чем речь далее (см. также: [Беловолов]).

Вместе с тем у Достоевского, писателя «сердечно мыслящего», Леонтьев находил и то, что его потрясло, например, в изображении глубоко несчастной семьи Мармеладовых:

«И когда эти люди проявляют, при всем этом, высокие качества души своей, – глубоко потрясенный читатель тотчас же понимает, что эта теплота, эта “психичность”, этот род нравственного лиризма возможен именно при тех только буднично-трагических условиях,

¹²⁸ Леонтьев К. О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике. II. // *Варшавский дневник*. 1880. № 169. 7 августа.

которые избраны автором. То же самое можно найти в избытии и в «Братьях Карамазовых»¹²⁹.

Далее приводится в пример изображение семьи Снегиревых, история Дмитрия Карамазова и «жестокой Груши», которая «только при допросе в первый раз чувствует, что она этого Дмитрия истинно любит». Критик явно подгоняет эпизод под свою концепцию (чувство Груши открылось ей чуть раньше) для того, чтобы воскликнуть:

«Вот жизнь, вот единственно возможная на этой земле и под этим небом гармония. Гармонический закон вознаграждения – и больше ничего! Поэтическое, живое согласование светлых цветов с темными – и больше ничего. В высшей степени цельная и полу-трагическая, полу-ясная опера, в которой грозные и печальные звуки чередуются с нежными и трогательными – и больше ничего!»¹³⁰.

Получается, по Леонтьеву, что земная гармония – это только равновесие добра и зла, иной же гармонии, торжествующего на земле добра, чего так страждал Достоевский, критик не признаёт в самой его возможности и даже необходимости. И. Б. Роднянская остроумно подметила, что концепцию Леонтьева в «Братьях Карамазовых» предваряет черт с его репликой: «рвякну “осанну”, и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему» (15: 82), [Роднянская; 1: 125].

Когда статья Леонтьева была перепечатана в составе брошюры «Наши новые христиане» (М., 1882), его формулу «розовое христианство» применительно к Достоевскому опровергали духовные писатели И. И. Соловьев¹³¹, С. А. Пономарев¹³². Впоследствии между двумя полюсами «Достоевский – Леонтьев» самоопределялась русская религиозная философия.

Позднеславянофильская периодика практически не обращала внимания на произведения Достоевского. «Современные известия» изредка откликались, но эти отклики мало отличались от обзоров либеральных газет (см.: [Викторович 2013]). Тем интереснее рецензия на «Братьев Карамазовых», появившаяся в новом еженедельнике «Русь» под редакцией И. С. Аксакова. Редактор в примечании к рецензии отметил:

¹²⁹ Там же.

¹³⁰ Там же.

¹³¹ Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1883. Кн. 3–4. Ч. 2. Отд. II. С. 163–177.

¹³² Пономарев С. Любовь как начало единения: (По поводу брошюры о Ф. М. Достоевском) // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1884. Кн. 1. Ч. 1. Отд. I. С. 101.

«Роман “Братья Карамазовы” по богатству, важности и глубине поставленных им вопросов, по яркости **и художественных достоинств, и художественных недостатков**, по необычайной силе таланта, проявившейся здесь с большим блеском, чем во всех прежних произведениях Ф. М. Достоевского, – этот роман заслуживал бы целого исследования и художественного, и психологического. В ожидании такой статьи даем место хоть беглому критическому очерку одного из наших сотрудников»¹³³.

Обещанного «исследования» романа в «Руси» так и не появилось, так что рецензия И. Н. Павлова (литератора и педагога из известной писательской семьи Н. Ф. и К. К. Павловых) оказалась единственным распространенным славянофильским прочтением романа в прижизненной критике. Интересную тактику избрал рецензент: поначалу он как бы смотрит на роман глазами читателя, растерявшегося в непривычном ему мире:

«Громадная картина, словно подернутая зыбким туманом, сквозь который чернеют местами страшные тени, местами пробивается бледный, мерцающий свет; теснятся лица, изнуренные страданием, искаженные болезнью, кривляющиеся, плачущие, судорожно смеющиеся, тоскливо молящиеся; чем пристальнее вглядываешься, тем глубже и глубже уходит даль; из нее выступают с неожиданной яркостью новые черты, новые лица, и туман опять застилает их, и за ними опять виднеются другие; некогда, не на чем отдохнуть глазу, и не может он оторваться от утомляющего, мучительного зрелища, и досада берет, и любуешься мастерством очертаний, смелой резкостью красок, и гнетущая скорбь овладевает душою.

Вот впечатление, производимое романом Ф. М. Достоевского.

В недоумении вы спрашиваете себя, что такое перед вами? Это не мир фантазии и не мир действительности. Это живые лица, но они живут не в области поэтических идеалов и не в человеческом обществе. С поразительной, до мелочей доходящей верностью изображены условия нашего современного быта, но действие, происходящее в этой обстановке, противоречит ей, не согласуется с этими условиями. Невероятности, невозможности встречаются на каждом шагу»¹³⁴.

К невероятным критик-читатель относит уже начальную сцену романа в келье старца, удивляясь, как это Федору Павловичу «дают беспрепятственно браниться и ругаться сколько угодно ему». В пятой главе восьмой книги романа непонятно, почему «чиновник Перхотин беспрепятственно дает уехать иступленному <Дмитрию> с заряженным пистолетом». Еще один пример находится в пятой книге «Pro и contra»:

¹³³ Павлов *Ипполит*. Критика и библиография. «Братья Карамазовы». Роман Ф. М. Достоевского // *Русь*. 1880. № 3. 29 ноября. С. 17.

¹³⁴ Там же.

«Алеша “всем существом своим стремится в монастырь к своему великому умирающему”, которого боится не застать уже в живых, и сидит с братом Иваном в трактире, рассуждая о философских вопросах, выслушивая изложение целой поэмы, что должно было отнять у него несколько часов. Всё это в действительности так не бывает. Подобные несообразности составляют характеристическую черту не этого только, но и других романов Ф. М. Достоевского»¹³⁵.

«В действительности так не бывает», – резюмирует читатель, воспитанный на литературе другого рода. Критик же, возвращаясь к своим обязанностям, ищет объяснение и предлагает растерявшемуся читателю **сменить жанровое ожидание:**

«Если он <автор> так часто отступает от внешней истины, то потому лишь, что не дорожит ею, жертвует ею для истины внутренней. И внутренняя истина, выдержанность характеров поражает, изумляет вас. Но характеры эти не представляют цельного человеческого образа, а только отдельные черты его. Это отвлечения, качества и недостатки, воплощенные в разных лицах. Сластолюбие – Федор Павлович Карамазов, эгоизм – Иван Федорович, разнузданность – Дмитрий, нравственная чистота – Алеша, религиозное смирение – отец Зосима, светская суетность – г-жа Хохлакова, самолюбие – Катерина Ивановна, порывистость в добре и зле – Грушенька. От этого, при всем разнообразии представленных характеров, каждое лицо, имеющее выразить известное качество, является поразительно верным само себе, но и однообразным. **Это как бы лица аллегорические, разыгрывающие мистерию, как в Средние века.** Но могучий талант вдохнул жизнь в эти аллегории, обширный ум придал этой мистерии глубокое значение, захватывающий интерес. Более всего дорожит автор мыслями, которые хочет выразить. Передать нам искренние, горячие убеждения свои – вот его цель; всё остальное для него лишь средство. Владея формой, он небрежно отбрасывает ее, когда содержание в нее не умещается. Действие останавливается, рассказ прерывается длинными рассуждениями, беседами, поучениями»¹³⁶.

Мистериальный строй романа, по мнению рецензента, выявляет «противопоставление жизни внутренней, духовной и жизни внешней, материальной, правды Божией и правды мирской». Главным героем ему представляется Дмитрий Карамазов, к нему критик относит и евангельский эпиграф о падшем зерне (ср.: ранее Ларош относил его к Алеше). В перспективе, как ему видится, «Дмитрий, осужденный, станет новым человеком». Общая оценка романа тем не менее противоречива:

¹³⁵ Там же. С. 18.

¹³⁶ Там же.

«... раскрыть перед нами “обе бездны”: глубину отпавшего от Бога порока и высоту святой добродетели – такая задача, которую поставить себе есть уже заслуга, выполнить же которую, может быть, не под силу даже великому дарованию. В “Братьях Карамазовых” она выполнена лишь наполовину. **Мы видим страдание и гибель, спасение же и радость только предугадываем.** Порок, “бездна зловонного падения” представляется нам с потрясающей, возмутительно яркостью и местами с истинным зловонием. Беспощадно останавливает нас автор перед наготою грязного разврата, неумолимо, шаг за шагом, ведет по “гнойному следу” его, с мастерством искусного знатока вскрывает перед нами зараженные тела и обнаруживает все их испорченные внутренности. Нестерпимое, едва не до тошноты доходящее отвращение овладевает читателем. Пусть было бы так, если бы только это мучительное чувство изглаживалось, искупалось противоположным, отрадным, возвышающим впечатлением, взглядом в “другую бездну”. Но “высшие идеалы” выходят тусклы и бледны в сравнении с картинами порока и разврата»¹³⁷.

«**Слишком старательно** изобразив вонючую грязь разврата, автор показывает нам в добродетели только отсутствие этой грязи. <...> Где же здоровье? Напрасно мы ищем его в романе Ф. М. Достоевского. Мы видим только патологические явления»¹³⁸, – таков вердикт славянофильской газеты, под патологией понимающей болезнь безверия. Одного ли Ипполита Павлова сей суровый вердикт? Смеем утверждать, что в значительной мере и самого редактора газеты Ивана Аксакова. В данном контексте важнейшее значение приобретает его письмо Достоевскому от 23 августа 1880 г. по поводу «Дневника писателя» того же года, т. е. за три месяца до публикации рецензии. Аксакова смутил эпизод, где Достоевский изображает увлечение «скитальцев» парижским канканчиком (26: 160), когда на соседних страницах речь шла о народном «поклонении Христу». Смущение повело за собою некоторое морально-эстетическое наставление:

«Вы, мне кажется, призваны *популяризировать* в общественном сознании нравственную истину христианства, переводить ее из *храма* – на *улицу*, <...> но вот тут-то и задача, тут-то и предстоит Вам надобность найти границу, за которую дальше идти уже нельзя... <...> Вы нарисовали ее

¹³⁷ Там же. С. 19.

¹³⁸ Там же. Об «излишней яркости кисти» и портящих роман эпизодах (соблазнение Лизаветы Смердящей, избивание отца Дмитрием) писал и К. Н. Ярош. Чрезмерными признал он и сцены поклонения народа Зосиме, слишком напоминающие евангельские: «Но там был Бог, тогда как здесь налицо ведь только старец Зосима» (Ярош К. Литературно-общественные очерки. (Продолжение). V. Поле человеческого рабства // Южный край. 1880. № 26. 29 декабря).

<исполнительницу канкана> как художник-реалист, а художник-реалист всегда более или менее склонен, невольно склонен смаковать изображаемое, услаждаться верностью, точностью, самым процессом изображения, причем уже несколько безразлично в смысле нравственном относиться к содержанию. <...> Имя Христа несет с собою благоухание. Вони, неотвратимой и от автора независимой и без того много. Зачем же самому автору, распространяющему одною рукою благоухание Христова имени, другою добровольно подкуривать вонь?» [Письма Аксакова: 356–357].

С этими принципами, по выражению Аксакова, «целомудренного искусства» (несколько напоминающими укоризны, раздававшиеся с противоположного западного полюса – от В. Г. Авсеенко), Достоевский не согласился в ответном письме Аксакову 4 ноября 1880 г., где мы находим окончательную формулу отношения писателя к читателям, выведенную из непростой, как мы видели, истории таковых отношений: «Каков я есмь, таким меня и принимайте, вот как бы я смотрел на читателей» (30₁: 226–227).

Диалог, как нам представляется, на этом не завершился, и ответом Достоевскому послужила указанная рецензия на «Братьев Карамазовых». Диалог был не про журналистскую политику или этику (хотя и про них тоже), столкнулись друг с другом хотя и дружественные, но существенно различные эстетические принципы. Иван Аксаков в этом смысле остался верным главным заветам славянофильства, хотя и сильно модернизированным (невольно вспоминаются ограничительные предубеждения ранних славянофилов против первого романа Достоевского). Определенную перекличку с оценкою романа «Братья Карамазовы» газетой «Русь» мы находим в цитированных суждениях Е. Ф. Тютчевой и в известных опасениях ее адресата – К. П. Победоносцева, сомневавшегося, что сильным аргументам Ивана Карамазова найдутся у автора достаточно убедительные контраргументы [Гроссман; 1934: 138–139]. Критика романа «справа» была более тактичной, но не менее принципиальной, чем «слева».

4.

«Пушкинская речь» Ф. М. Достоевского, сказанная 8 июня 1880 г. на открытом заседании Общества любителей российской словесности в зале московского Благородного собрания, сразу же стала объектом беспрецедентного внимания множества средств массовой информации, газет и журналов. Отклики на нее рассматривались в научных

исследованиях, однако в настоящее время назрела необходимость как расширения источниковой базы вплоть до включения в нее всех печатных отзывов, так и системного их анализа. Мы рассмотрим три этапа рецепции «Пушкинской речи»: 1) от момента произнесения до публикации в «Московских ведомостях», 2) от газетной публикации до выхода «Дневника писателя» 1880 г., 3) после выхода «Дневника писателя».

Самые ранние отклики на выступление Достоевского появились в печати на следующий день после события. Их значение в том, что по ним большинство русских читателей (исключая непосредственных слушателей речи), впервые узнавали о ее содержании до того момента, когда она была опубликована полностью в «Московских ведомостях» (13 июня)¹³⁹. Первое впечатление бывает крайне важным, иногда предопределяющим, в данном случае интересно также, что именно услышали, поняли и понесли читателям русские журналисты.

Первыми были телеграммы. Две основные принадлежали Международному телеграфному агентству (МТА) и корреспонденту газеты «Голос» (хозяином и там, и там был «медиамагнат» А. А. Краевский), и обе, как бы дополняя друг друга, сначала были напечатаны в «Голосе» 9 июня. Вскоре они были опубликованы в других газетах (их полный список см.: [Викторovich 2020: 49—50], к этому списку следует добавить газету «St. Petersburg Zeitung», в которой перевод телеграммы «Голоса» на немецкий язык был напечатан в тот же день, 9 июня, что и в самом «Голосе»; как это могло произойти, нам пока не ясно). Телеграмма «Голоса» имела значительно больший успех в других газетах предположительно еще и потому, что перепечатка из газеты была бесплатная, а телеграфному агентству надо было платить.

Приведем текст наиболее растиражированной телеграммы «Голоса», выразившей (а для читателей по всей России и создававшей) первое впечатление от речи Достоевского.

«Москва, воскресенье, 8-го июня. Сегодня, в 2 часа пополудни, состоялось, при громадном стечении публики, второе заседание Общества любителей российской словесности. Заседание открылось речью второго председателя Общества, г. Чаева, после которого читал Ф. М. Достоевский. Это было мастерское, полное силы, остроумия и задушевной теплоты чтение. Разделив поэтическую деятельность Пушкина на три периода, г. Достоевский, прежде всего, заметил, что уже в первом периоде, несмотря на проявляющуюся

¹³⁹ Все цитируемые газеты, писавшие о «Пушкинской речи», относятся к 1880 г., поэтому отсылки на них в скобках здесь и далее до конца главы даются без указания года.

у Пушкина подражательность европейским поэтам, Андре Шенье и Байрону, довольно ярко выразилась самостоятельностью творчества. Через оба первые периода проходит один тип: сначала Алеко в “Цыганах”, потом Евгений Онегин – тип русского скитальца, скучающего мировой тоской, скитальца, которому, чтобы успокоиться, нужно всемирное счастье. Тип этот еще существует и в настоящее время. Проследив историческое происхождение и историческую необходимость этого типа в русской жизни и рассмотрев все его стороны, оратор перешел к другому, созданному Пушкиным, также чисто русскому типу, типу положительной красоты – Татьяне, которая представляет собою апофеоз русской женщины. “Весь второй период деятельности Пушкина, – продолжал г. Достоевский, – отмечен тем, что мы называем народностью. В творчестве его проявилось высшее выражение народной жизни и оттого все созданные им типы так глубоко правдивы: они стоят, как изваянные. Наконец, третий период представляет собою выражение идей всемирных. Здесь Пушкин является даже чудом. В европейской литературе нет гения, который обладал бы такую отзывчивостью к страсти всего мира. Пушкин один владеет этим даром и в этом заключается его высокое значение как русского народного поэта, так как в нем во всей своей полноте выразился характер русского народа. Всемирность, общечеловечность – цель русской народности; стать русским значит, в конце концов, стать братом всех людей, всечеловеком. Для настоящего русского Европа и вообще успехи арийского племени так же дороги, как сама Россия. Кто не согласится, что даже в государственной политике Россия в последние два века служила Европе более, чем самой себе. Историческое призвание России в том, чтобы изречь слово примирения, указать исход европейской тоске. Пусть наша земля – нищая в экономическом отношении, но почему же не ей суждено сказать последнее слово истины? Это предположение может быть названо смелой фантазией, но существование у нас Пушкина дает надежду, дает нам право предполагать, что эта фантазия осуществится. И это было бы еще ближе, возможнее, если б Пушкин жил более; но он умер и унес с собою в гроб великую тайну”. Может быть, никогда еще стены залы Благородного собрания не были потрясены таким громом рукоплесканий, какой раздался вслед за заключительными словами г. Достоевского. Члены Общества вскочили со своих мест, пожимали ему руки. Через несколько минут председатель заявил, что Общество тут же постановило избрать Федора Михайловича своим почетным членом. После этого заявления рукоплескания сделались еще восторженнее» («Голос», 9 июня и мн. др. газеты).

Некий либеральный журналист вскоре не без яда заметит, что «краткость телеграммы вызывала предположения, возбуждала воображение, заставляла предполагать что-то гораздо большее, чем было в действительности. Краткое извлечение из речи убило самую речь» («Молва», 15 июня,

анонимный обзор «Из газет и журналов»). Так или иначе, но можно действительно представить некоторое недоумение читателей телеграфного сообщения: описывалось небывалое потрясение слушателей, а пересказ потрясшего всех текста не мог объяснить причину удивительного перевозбуждения. Таков был первый парадокс «Пушкинской речи».

Репортер «Голоса», как видим, довольно невнятно толкует заявленную Достоевским пушкинскую «способность всемирной отзывчивости» (26: 145) как «отзывчивость к страсти <?> всего мира». Верно поставлено ключевое слово «всечеловек» (как и у Достоевского, вслед за «братом всех людей» – 26: 147), но вне контекста речи оно могло действительно произвести странноватое впечатление. К тому же не объяснено, что представляет собою то «последнее слово истины», которое «укажет исход европейской тоске», т. е. не раскрыта ударная концовка «Пушкинской речи». Международное телеграфное агентство рискнуло сказать чуть больше:

«Оратор перешел затем к вопросу о великой мировой будущности России. «Она, – он верит, – призвана разрешить недоразумения, волнующие духовный мир наших братьев на всем пространстве Европы! Чистая сердцем, обильная любовью, она объединит народы в духе братской любви, завещанной миру Христовою заповедью»...» («Голос» 9 июня и др. газеты).

Характерны здесь отстраняющая оговорка «он верит» и абстрактно-благостное определение России как «чистой сердцем, обильной любовью». В пересказах потускнело восходящее к Тютчеву откровение («эту нищую землю “в рабском виде исходил благословляя” Христос») и как-то затерлось, усреднилось заявленное «великое указание» Пушкина на «всемирность стремления русского духа» (26: 148).

Поэтому-то Достоевский в письме С. А. Толстой 13 июня сетовал: «Главное же, я, в конце речи, дал формулу, слово примирения для всех наших партий и указал исход к новой эре. Вот это-то все и почувствовали, а корреспонденты газет не поняли или не хотели понять» (30₁: 188).

К «формуле» ближе всех, кажется, подошел тогда Н. П. Гиляров-Платонов, на следующий день после речи в передовой статье издаваемой им газеты сказавший: «Никогда с такою глубиной не анализирован был наш великий поэт отчасти, а отчасти и идеалы русского народа». И далее:

«...на идеалах, которые он <Достоевский> вывел из его <Пушкина> творений, одинаково примирились лица разногласных, по-видимому, направлений. Это был праздник действительно совершившегося единства в сознании. <...> самый анализ характеров и положений, выводы нравственных

оснований, вот что поражало необыкновенной силой и глубиной...» («Современные известия», 9 июня).

Сказано пронизательно и заявлено ключевое слово «идеалы», но уж очень конспективно; автор обещал впоследствии развернуть намеченное, однако обещания, увы, не выполнил. Последовавший на другой день в «Современных известиях» более подробный отчет мало чем отличался от приведенного выше отчета «Голоса». Впоследствии Гиляров в своих суждениях и вовсе отошел от первоначального своего посыла, укоряя Достоевского в «гадательном» мессианизме [Викторович 2013].

Провозглашенная Достоевским «всечеловечность» русского гения трактуется «Русской газетой» (10 июня) не очень вразумительно – как «уменьше всенародного воплощения своего гения», а вот автор «Нового времени» (очевидно, В. П. Буренин) в тот же день по-своему объясняет заявленную Достоевским способность русского человека к «перевоспложению своего духа в дух чужих народов» (26: 146): это значит, якобы, «не делать различия между племенами» и тем самым «угадывать будущее всемирное братство» («Новое время», 10 июня).

Если до сих пор мы имели дело только с неточностями изложения и с недопониманием при общем положительном восприятии, то уже 10 июня прозвучала и первая опровергающая реплика в анонимном обзоре «Из газет и журналов», напечатанном в либеральной газете «Молва». Автором, вероятно, был Э. К. Ватсон (давний оппонент Достоевского крайне западнических позиций), из Петербурга не выезжавший и Речь не слышавший. Он оттолкнулся от приведенного выше телеграфного пересказа, следующим образом передав ключевое предложение:

«Всемирность, общечеловечность, – так говорил г. Достоевский, – цель русской народности; стать русским значит стать всечеловеком» («Молва», 10 июня).

Как видим, телеграфное сообщение было подвергнуто неслучайному сокращению. В полном виде, напомним: «стать русским значит, в конце концов, **стать братом всех людей, всечеловеком**, если хотите» (26: 147). На этот усеченный тезис журналист бойко возразил:

«Всё это очень заносчиво и потому фальшиво. Что это за выделение России в какую-то мировую особь, в избранный Богом народ? Мы то же, что и другие. Будем воспитывать в себе всечеловеческие идеалы, будем стремиться к общему сближению и умиротворению, будем трудиться наравне с другими и будем радоваться, если Господь поможет нам не отставать от других

и идти на одном уровне с другими по пути общечеловеческого развития и совершенствования» («Молва», 10 июня).

Сия осаживающая и трезвая мысль будет затем неоднократно выставляться оппонентами: нам бы, русским, не отстать от других, а не то чтобы вести за собой. Через два дня, очевидно, тот же автор вновь и с еще большим азартом потешался над цитатами из речи Достоевского, которые растиражировали газетчики:

«Если, вращаясь в атмосфере полицейского участка, мы можем помышлять об уничтожении “европейской тоски” и за обедом московской думы примиряться с тем, что “наша земля нищая в экономическом отношении»; если мы помышляем теперь о том, какой “исход указать” Европе, а не о том, как бы нам самим избавиться от гнетущей нас тоски, как бы освободить и окрылить полную умственную работу, прекратить насильственные вторжения в сферу совести; если мы не заботимся по крайней мере о том, чтобы хотя цены на мясо не делали его мало доступным даже для среднего класса населения и четверть пшеницы не достигала 17 рублей, – то какого же добра ждать от оживления “добрых чувств”, которым служила муза чествуемого поэта? Нет, не об Европе, не о мировых задачах, полагали мы, должен напомнить истинно национальный пушкинский праздник. Мы были уверены и до сих пор убеждены, что воспоминание о великом поэте, безвременно угасшем и много пострадавшем от нашей внутренней неурядицы, воскресит в нас любовь к самой России и заботу о ее насущных потребностях. Наши представления о нашей родине и о наших задачах гораздо скромнее. Они также основываются на уважении и любви к России, но не отрицают и уважение к другим народам. Мы полагаем, что не нам еще спасать и поучать других. В нас теплится вера, что русский народ окажет услуги общечеловеческому развитию, но для этого он прежде всего должен умственно и материально дорасти до тех ступеней, на которых стоят более образованные и передовые народы» («Молва», 13 июня).

Достоевский вполне предвидел такого рода обвинения и опережающе ответил на них в Речи: «Почему же нам не вместить последнего слова Его <Христа>? Да и сам он не в яслях ли родился?» (26: 148). Однако в глазах оппонентов этот аргумент ничего не стоил: Россия как «полицейский участок», «цены на мясо» и заветный пример «передовых народов» явно перевешивали. Намек же на участие, в числе других гостей праздника, в сытном и даже роскошном думском обеде в честь открытия памятника Пушкину в виду «нищей земли» низводил Достоевского в разряд жирующих адвокатов угнетателей. Пока это был только намек, но совсем скоро в спорах о «Пушкинской

речи» он дорастет до прямых оскорблений «запродавшегося» автора «Записок из Мертвого Дома». Подобный шаг при обострении идейной борьбы делается почти незаметно, на него толкает соблазн легкой победы над идейным противником.

Но вернемся к первым дням после произнесения «Пушкинской речи». После «Молвы» другие либеральные издания также пошли в наступление. Одни – пока еще довольно осторожно, например В. А. Гольцев, внесший поправку в набросанный Достоевским образ русского скитальца: «Тип <...> необходимый исторически, до сих пор не утратил своего значения» («Русский курьер», 11 июня)¹⁴⁰. Иным способом выразил свое недоумение анонимный автор «Русских ведомостей» (11 июня): скиталец, по Достоевскому, «является продуктом русской “бесмысленной” (sic) интеллигенции». Так, якобы дословно (на что указывали кавычки и скобочное sic), передано было замечание Достоевского о «сбивчивой и нелепой жизни нашего русского – интеллигентного общества» (26: 137). Так было услышано или так хотелось услышать? Та же газета впервые высказала повторявшееся затем негативное объяснение грандиозного успеха Достоевского:

«Сказать массе в глаза, да притом в художественно-восторженной форме, напоминающей страницу из апокалипсиса, что масса эта составляет “избранный Богом народ”, из которого должен выйти новый мессия для спасения человечества, что она сама коллективный мессия, – значит обеспечить себе ее энтузиазм» («Русские ведомости», 11 июня).

Это был сильный ход – обвинение в мессианизме. Услышанное или как-то вычитанное «избранный Богом народ» (опять же в предательских кавычках) – вольный перевод слов Достоевского «назначение», «удел», «предназначено» (26: 148). Также и в телеграммах и первых корреспонденциях ничего не было об «избранности», это уже **прибавка** либеральной газеты, имевшая, впрочем, продолжение: и до сих пор в литературе о «Пушкинской речи» неутомимо муссируется ее «мессианизм».

На следующий день в газете «Страна» появилась передовая статья, вероятно, принадлежащая литературному критику, историку литературы А. И. Введенскому (в последующих публикациях «Страны» 26 июня

¹⁴⁰ «Русский курьер» – ежедневная газета, выходившая в Москве в 1879–1889 гг. С самого начала в ней активно сотрудничает публицист, литературный критик В. А. Гольцев, в 1880 г. – временный редактор. Участник Пушкинского праздника, он составил также отчет о нем в июньском номере журнала «Русская мысль»: ряд принципиальных и детальных совпадений с отчетами в «Русском курьере» позволяет с большой долей уверенности приписать ему и авторство последних.

и 10 июля, подписанных его именем, повторяется высказанное здесь неприятие идеи «всечеловека», правда, более злобное). Опять же судя речь Достоевского по пересказам, автор статьи усомнился в том, что «всечеловечность» принадлежит только русскому гению. Показав свою эрудицию (Шекспир, Гюго, немецкие писатели тоже проявили «всечеловечность»), критик на этом не остановился.

«Но главное – к чему всё это? Представим себе общество, которое сочло бы себя удовлетворенным такой программой, какая заключается в “стремлении к великой гармонии”; это было бы общество мечтателей, а не деятелей. Оставался бы все-таки открытым вопрос о том, “как” стремиться к общей гармонии? Нужным ли окажется для этой цели начать с того, чтобы улучшить условия своего собственного быта? Но в таком случае ближайшая программа вовсе не заключается в стремлении к всечеловечности. Или же ничего у себя переменять не следует, а просто надо пылать любовью ко всему человечеству и утешать себя тем, что такова задача, специально возложенная на Россию Провидением? Но в таком случае – это есть программа *застоя* в настоящем с мечтою о “гармонии” в будущем» («Страна», 12 июня).

Акценты, как видим, расставлены вполне определенно и прокладывают дорогу к ударной статье А. Д. Градовского в «Голосе» 25 июня, так и названной: «Мечты и действительность» (о ней речь впереди). «Всечеловечность» – только мечта, не более, к тому же отвлекающая от насущных общественно-экономических проблем, главнейшая из которых далее и сформулирована автором в назидательном тоне:

«Русская мысль, уважаемый г. Достоевский, не есть стремление к всечеловеческой гармонии, но, как мысль каждого иного народа, она есть сознание главных потребностей народа и настоятельности их удовлетворения; русская мысль теперь заключается в том, что русское общество уже вполне созрело для прямого влияния на ход дел страны» («Страна», 12 июня).

Последнее утверждение отнюдь не было исключительным мнением автора «Страны», оно солидаризировалось с «мечтами» либеральной прессы вообще: Пушкинский праздник рассматривался ею как едва ли не начаток русского парламентаризма. Двигаясь в том же направлении, современные интерпретаторы в тогдашнем устремлении русской интеллигенции к демократизации общественного устройства усматривают исключительное значение Пушкинского праздника как эпохального события, не получившего, однако, своего развития (наиболее последовательно и объемно – [Левитт]). В таком прочтении есть, конечно, определенная часть истины, но только часть, и не самая большая. Так,

невозможно с этих позиций понять значение «Пушкинской речи» и секрет ее потрясающего воздействия на слушателей. Было в ней нечто превышающее надежды на либерализацию страны; с высоты, на которую поднялся Достоевский, эти задачи, пусть даже и насущные, не выглядели стратегическими.

Как дальше развивались события в информационном поле русской печати?

Наиболее адекватными и сочувственными Достоевскому пересказами отметились два издания: «Новое время» (11 июня) и «Journal de St.-Petersbourg» (13 июня). Как мы полагаем, автором первой статьи был развернувшийся недавно в сторону Достоевского В. П. Буренин, исправивший указанную выше оплошность газеты (скорее всего, собственную, происшедшую от спешки). Автор второй статьи «Pouschkine jugé par les écrivains russes modernes» («Пушкин в оценке современных русских писателей») – редактор внутреннего отдела франкоязычной газеты М. А. Загуляев. И тот, и другой были аккредитованы на празднике (первый – вместе с редактором и возможным соавтором А. С. Сувориним), т. е. были непосредственными слушателями Достоевского. «Новое время» с этого момента становится деятельным апологетом Речи. Несколько иная история – у М. А. Загуляева, давнего защитника Достоевского; достаточно вспомнить хотя бы его выступление против «башибузучества» русской печати, нападавшей на автора «Бесов» и «Гражданина»¹⁴¹. Точно так же и в указанной статье он пытается занять независимую, объективную позицию по отношению к одаренному писателю и глубокому мыслителю. В результате из-под пера Загуляева выходит одна из самых пронизательных интерпретаций и всего Пушкинского праздника как доказательства – перед лицом Европы – «мощной витальности нации» («Les journées des 6, 7 et 8 juin sont un de ces indices de la robuste vitalité d'une nation...»), которая сильнее всего дала себя знать именно в речи Достоевского. Журналист прогнозировал соответствующую реакцию Запада:

«Наверняка вызовет всеобщее удивление известие о том, что страна, которую считали погруженной исключительно в социальные и политические проблемы, с энтузиазмом организовала национальный праздник в честь самого любимого и самого знаменитого из своих писателей» («Journal de St.-Petersbourg», 13 июня).

¹⁴¹ L. V. <М. А. Загуляев> Le Revues Russes // *Journal de St. Petersburg*. 1873. № 26. 28 янв.

Следует признать, что большинство журналистов, бывших слушателями Достоевского, передавали читателям некое спонтанное ощущение чего-то очень значительного, но не до конца понятного. Один из них, А. М. Дмитриев, зафиксировал довольно характерный отклик:

«– Я не знаю, что со мною! – говорил нам один петербургский литератор, наш дорогой гость. Только воду я пил сегодня, а между тем я пьян, я не владею своею головою! В ней до сих пор еще шумят и бунтуют эти святые мысли. До боли жгучие, они не дают мне покоя, но я... я и не хочу его!.. («Русская газета», 12 июня).

Столь же откровенно о потрясшем умы и сердца событии высказались другие издания: «Чувствовалось, что на душе светло и хорошо, чувствовалось, что за эти дни стал лучше, выше, чище, но что, как и почему — оставалось неясным...» («Неделя», 15 июня); «не вполне ясное явление в настоящие смутные дни» («Нива», 21 июня).

В. О. Михневич дал тогда двоякое объяснение. С одной стороны, Достоевский всех «наэлектризовывал», действуя наподобие «средневекового вдохновенного аскета-проповедника, непременно фанатика вроде типичного Петра-пустынника. В нем чувствуется та же беззаветная вера в себя, в свою миссию и в свою истину, та же искренность и тот же оттенок фанатизма, готового за свою идею пойти на костер, а при случае посадить на него и противника, даже если он – родной брат». А с другой стороны, русская публика была внутренне готова и как бы ожидала слов, прозвучавших в Речи: «не могла она в данном настроении не принять восторженно учения, проповедовавшего мир и любовь, льстившего при этом нашему национальному самолюбию как народу, избранному некоторым образом Еговой» («Новости», 13 июня). Как водится, журналист своей иронией прикрывал очевидную растерянность перед свершившимся и не очень ему понятным явлением. Упрек в национальной «избранности», в одночасье растиражированный, в данном случае позволял обрести некое превосходство над оппонентом, однако мнимое, как уже говорилось.

На следующий день другой известный журналист, И. Ф. Василевский (Буква), подхватит удачные словечки своего коллеги («электризовал», «Петр-пустынник»), но уже без иронии, с чрезмерным пафосом: «фантастическая, неисчерпаемая, надо всем царствующая вера в правду, красоту и величие своих идеалов» («Молва», 14 июня). Слово как будто сказано («величие идеалов»), но не растолковано и подведено под определение «фантастическая вера», предвиденное Достоевским («слова мои могут показаться <...> фантастическими» – 26: 148). У него

самого слово «вера» звучало вполне конкретно: «наша вера в нашу русскую самостоятельность» (26: 145).

Однако наступало время угасания «электричества» Речи. Начитавшись газет, «очнулся» от «гипноза» И. С. Тургенев и 13 июня послал наставительное (с точки зрения современного исследователя, «проницательное» – [Ребель: 270]) письмо редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу: «Эта очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия» [Тургенев. Письма. 12₂: 272]. Фрагмент письма Тургенева почти без изменений и без указания на его авторство будет вставлен в статью о Пушкинском празднике в «Вестнике Европы»¹⁴².

Таков дуализм интерпретаций феномена «Пушкинской речи» в период от ее произнесения до момента публикации: акт национального самосознания мог вполне трактоваться как «фальшь русского самолюбия».

5.

После публикации текста речи в «Московских ведомостях» (13 июня) недоумение настаивает значительную часть читателей, что выразил, к примеру, один из них (А. А. Майков, славист, педагог, публицист, двоюродный брат поэта): «Речь Достоевского полумистическая и если она произвела, как говорят, потрясающее действие, то конечно не содержанием, но произношением»¹⁴³. «Мистицизм» – ярлык, давно (со времен «Бесов») навешенный на Достоевского. Как заклинание, повторяет его и В. О. Михневич, вернувшийся к своим впечатлениям от Речи в другом издании («Живописное обозрение», 21 июня).

«Мистицизм», «фанатизм», «фантастичность» – после таких слов можно уже и не допытываться о смысле. О каких-то не вполне понятных «идеалах», как мы видели, заговаривал Василевский. Также с готовностью отдавая должное «смело начертанным идеалам» в речи Достоевского, В. А. Гольцев сразу же ограничивал их начертание: «либеральные и гуманные идеи <...> должны быть ясны и определены: они не должны расплываться в бесформенном мистицизме» («Русский курьер», 18 июня). Сам Гольцев тут же и продемонстрировал эту «определенность» уже знакомым нам образом: «Русская интеллигенция прежде всего должна завоевать себе в государстве ту независимость

¹⁴² П. А. <Пылин А. Н.> С пушкинского праздника // *Вестник Европы*. 1880. Кн. 7. С. XXXIII.

¹⁴³ Письмо А. Н. Майкову без даты, после 13 июня 1880 г. (ИРЛИ. 16.989. Л. 1 об.).

и влияние, какими она пользуется на Западе». Речь Достоевского была, очевидно, не о том.

Были и другие интерпретации. Так, А. С. Суворин (Незнакомец) в своих «Недельных очерках и картинках» назвал речь Достоевского «апофеозом праздника», объяснив потрясающий эффект возросшей значимостью «писателя-художника» («Новое время», 29 июня). Это и по сей день живучая трактовка «секрета» Речи (см. прежде всего: [Волгин 2017: 354–356]), ведущая начало от слов П. В. Анненкова в первые минуты после ее произнесения: «Вот что значит гениальная художественная характеристика! Она разом порешила дело!» [Страхов 1883: 310].

Натиск же на «Пушкинскую речь» после ее публикации постоянно нарастал. Двойственную позицию занял Г. И. Успенский: явно увлеченный Речью, он в своем отчете объяснил эту увлеченность тем, что для внимавшей оратору прогрессивной молодежи (и для него самого) «могли иметь значение сказанные Достоевским слова о неизбежности для всякого русского человека — жить, страдая скорбями о всечеловеческих страданиях»¹⁴⁴, хотя в тексте Речи, уже напечатанной, публицист «Отечественных записок» нашел отклонения («заячьи прыжки») от этой дорогой ему самому мысли. В. П. Буренин довольно язвительно и местами остроумно прошелся по «фантазиям» Успенского и поставил вопрос об «общем смысле» Речи и всего Пушкинского праздника: «русская жизнь и литература снова, после временного блуждания околицей, должны возродиться и принять национальное развитие» («Новое время», 27 июня). Идейные разногласия определили раскол вокруг «Пушкинской речи», но сегодня стоило бы заметить, что и в пересказе Глеба Успенского не всё было «фантазией»: услышанное им у оратора «беспокойство о несчастьи ближнего» действительно входило в состав «всеобщности», но на более широком, универсальном, т. е. христианском основании. Отвергнув его, Успенский и за ним другой публицист «Отечественных записок», Михайловский, вволю потешились над финальным поступком Татьяны Лариной в интерпретации Достоевского, а в родственных по духу изданиях перелицовка «другому отдана — век ему верна» на «нанялся — продан»¹⁴⁵ имела шумный успех. Достоевский и его оппоненты говорили на разных языках.

Особенно очевидно это стало после статьи А. Д. Градовского «Мечты и действительность» в газете «Голос» (25 июня). Уже само заглавие

¹⁴⁴ Г. У. <Успенский Г. И.> Пушкинский праздник. (Письмо из Москвы) // *Отечественные записки*. 1880. № 6. С. 189.

¹⁴⁵ Там же. С. 196.

выдержано в назидательном тоне. Профессор-правовед Петербургского университета (выразитель именно профессорско-университетской оппозиции Достоевскому)¹⁴⁶ как бы прочитал лекцию, толково и терпеливо внушая нерадивому студенту правильный образ мыслей. По поводу слов Достоевского «не вне тебя правда, а в тебе самом» и т. д. (26: 139), ученый уверенно заметил, что в них «г. Достоевский выразил “святая святых” своих убеждений, то, что составляет одновременно и силу, и слабость автора “Братьев Карамазовых”. В этих словах заключен великий религиозный идеал, мощная проповедь личной нравственности, но нет и намек на идеалы общественные»¹⁴⁷. В дифференцировании личных и общественных идеалов состоял главный пункт полемики профессора с писателем, вокруг этого вопроса выстраивались и все остальные.

Последовательная проработка проблемы в области философии, этики и, как бы сейчас сказали, политологии, в конечном счете вела ученого-публициста к тезису, уже звучавшему в либеральной прессе, а теперь получавшему дополнительную научно-авторитетную прибавку:

«... *Общественные идеалы нашего народа находятся еще в процессе образования, развития.* Ему еще много надо работать над собою, чтоб сделаться достойным имени великого народа. Еще слишком много неправды, остатков векового рабства засело в нем, чтоб он мог требовать себе поклонения и, сверх того, претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный, как это предсказывает г. Достоевский»¹⁴⁸.

В. П. Буренин в ответ жестко парировал: «В этом-то и заключается до наших дней суть российско-западнического либерализма: у нас всё скверно и ничего нельзя сделать без помощи европейских “идей”» («Новое время», 27 июня). В то же время знакомая нам уже газета «Молва» 26 июня перепечатала пространные выдержки из статьи Градовского в качестве «ответа г. Достоевскому на мистические фантазии» и дополнительно прокомментировала пророчество писателя о внесении русским человеком «примирения в европейские противоречия» как

¹⁴⁶ Сам по себе выразителен факт: после открытия памятника Пушкину основным официально-общественным событием считалось торжественное заседание в Московском университете, где главным героем после Пушкина стал И. С. Тургенев. Достоевский на это заседание не пошел, и о нем не было там сказано ни полслова. Да и впоследствии речь Достоевского не вызвала в университетских кругах большого энтузиазма.

¹⁴⁷ Градовский А. Мечты и действительность. По поводу речи Ф. М. Достоевского // Голос. 1880. № 174. 25 июня.

¹⁴⁸ Там же.

«пифическое прозрение в область будущего, выраженное галлюцинационным бредом». Всё это 27 июня продублировала «Вечерняя газета» – «двойник» «Молвы». Выдержки из статьи Градовского перепечатали 29 июня «Современные известия» и «Правда» (Одесса). В последней иронически замечалось, что «г. Достоевский навязывает нам миссию указать “исход европейской тоске в своей русской душе”»¹⁴⁹. Мы наблюдаем, как вокруг «Пушкинской речи» продолжал расти частокол навязчивых дефиниций: «мистические фантазии», «галлюцинации», «бред», «пифические прозрения»...

Положительное значение статьи Градовского заключалось в том, что она вывела споры вокруг «Пушкинской речи» на сущностные, фундаментальные основания разногласий. В свою очередь это обстоятельство дало повод самому Достоевскому высказаться в субстанциальном ключе в «единственном выпуске» «Дневника писателя» 1880 г. (цензурное разрешение 1 августа). «Гражданские идеалы, – отвечал Достоевский, – всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят. <...> А стало быть, “самосовершенствование в духе религиозном” в жизни народов есть основание всему <...>. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности, и только оно одно» (26: 166).

Следует заметить, что Достоевский в предпринятом им онтологическом прорыве не оказался в одиночестве. Незадолго до «Дневника писателя» вышел июльский номер журнала «Мысль» со статьей Л. Е. Оболенского «А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский как объединители нашей интеллигенции». Оболенский, недавний ищутинец, начитавшийся Достоевского¹⁵⁰ и запальчиво отвергнувший «народопрезирающий либерализм»¹⁵¹ (его самого относят к правому крылу либерального народничества), дал наконец адекватный ответ обвинениям «Пушкинской речи» в пресловутом «мессианизме»:

«Если вы поняли меня, а, если вы только русский, вы не можете не понять, то вы поймете и то, что каждая нация обязана иметь такой “огненный столб”, который вел в пустыне племя Израиля, без этого знамени оно заблудится в степи, оно не захочет идти дальше, томимое жаждой и палимое зноем.

¹⁴⁹ Одесскую газету «Правда» на Пушкинском празднике представлял И. В. Майнов.

¹⁵⁰ Что особенно очевидно в его повести «Спаситель человечества» (Мысль. 1880. № 8–12), своеобразной беллетристической реакции на «Пушкинскую речь» Достоевского, но о ней разговор должен быть особый. См. также: [Книгин 1988].

¹⁵¹ Русское богатство. 1884. № 4. С. 172.

Идеал нации – великая сила, великий библейский огненный столб: пока он светит, люди идут, даже умирая, идут, потому что видят *его*, потому что *верят*, потому что он светит, значит он есть, значит – придем. Этот идеализм есть и величайший реализм, ибо что ж реальнее, что же проще даже с физиологической точки зрения того, что уверенный в своих силах сильнее того, который убежден, что он бессилён: прочтите любого реалистического психолога, как Карпентер, и он убедит вас в этом. Стало быть, идеал есть реальная, физическая сила, и эту-то силу Ф. М. Достоевский пробудил в русских сердцах, показал ее воочию, и его не забудут веками, как не забыт Моисей и его огненные столбы»¹⁵².

Далеко не всё принял затем Оболенский в «Дневнике писателя» 1880 г., особенно его не устраивал, как ему казалось, чрезмерно воинственный тон полемики, заданный Достоевским¹⁵³, отголоски этих упреков мы слышим и донныне. Трудно сказать, мог ли быть другим стиль публициста, спасающего от утилизации краеугольные камни своих убеждений, но следует признать, что наступательный стиль августовского «Дневника писателя» заметно отличался от примирительного пафоса июньской речи. Причиной была не только статья Градовского, но и другие выступления русской печати в промежуточные летние месяцы. Среди них выделяются отклики толстых журналов.

Наиболее основательной была статья А. Н. Пыпина «С пушкинского праздника» в июльском «Вестнике Европы» (вышел 1 июля). Она содержала обзор основных выступлений и ставила проблему исторического изучения творчества Пушкина. Речь Достоевского представлялась ученому и журналисту не адекватной строгим принципам историзма. Однако следовало объяснить беспрецедентный успех Речи у слушателей, и Пыпин предлагает такое толкование:

«... она подействовала — без сомнения, в значительной степени — потому, что сказана была перед аудиторией уже приготовленной к крайнему увлечению: несколько дней, проведенных в непрекращавшемся ряде сильных впечатлений, сообщили этой аудитории почти нервическое возбуждение, — по степени этого возбуждения ей требовалось всё больше увлекающих и обольстительных слов. Их предложил г. Достоевский»¹⁵⁴.

¹⁵² Л. О. <Оболенский Л. Е.> А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский как объединители нашей интеллигенции // Мысль. 1880. № 7. С. 79.

¹⁵³ Л. О. <Оболенский Л. Е.> Народники и г. Достоевский, бичующие либералов // Мысль. 1880. № 9. С. 93.

¹⁵⁴ П. А. <Пыпин А. Н.> С пушкинского праздника // Вестник Европы. 1880. Кн. 7. С. XXXI.

Самым большим обольщением, по указанию Пыпина, было «национальное самопрославление», которым оратор сумел увлечь аудиторию. Кстати, в стройные ряды трезвомыслящих журналистов настойчиво просится еще один автор, подтрунивающий над Достоевским:

«... он тут вознес нас, русских слушателей, на такую поднебесную высоту, с которой всё земное мелькало лишь крошечною, ничтожною точкою. У всех присутствовавших от таких похвал русскому народу на момент захватило дыханье...»¹⁵⁵.

У Пыпина и сегодня достаточно продолжателей, искренне убежденных, что «Пушкинская речь» несла в себе «фальшь», заключающуюся «в опасном, имевшем катастрофическое продолжение в европейской истории возведении русских в ранг всечеловеков» [Ребель: 274].

Пыпин решительно переосмыслил заявленную Достоевским русскую «всечеловечность»: в отличие от таковой в Европе, она обличает нацию, отставшую от ушедшего вперед культурного мира и вынужденную заимствовать чужие достижения. Равнять ее с западным вариантом, убежден автор, «непозволительно», поскольку у нас «народ остается без школ, общество – без возможности самодеятельности, литература – без элементарных условий, которые бы дали ей право считаться истинным выражением своего общества и народа»¹⁵⁶. Если верить Пыпину, русская литература на момент 1880 г. не получила еще такого права. Также утверждалось, не в первый и не в последний раз, что Достоевский выступил против общественного прогресса, в то время как автор «Пушкинской речи» предложил **иную формулу** его (христианскую). Школы для народа и самодеятельность общества в этом контексте, разумеется, не отвергались, напротив, под них подводился реальный, если угодно, антропологический фундамент: люди в их реальном нравственном качестве, а не институции сами по себе являются основанием прогресса. Так, местное самоуправление в виде земства было введено в эпоху реформ, проблема заключалась только в острой недостаточности людского ресурса.

На критику Пыпина мгновенно отреагировал неутомимый В. П. Буренин:

«Почтенная редакция как будто хочет сказать <...>, что праздник – праздником, поэт – поэтом, а либерализм превыше всего: без либерализма несть спасения, а с ним всё приложится («Новое время», 4 июля).

¹⁵⁵ S. Открытие памятника Пушкину в Москве. (Из записной книжки депутата) // *Древняя и новая Россия*. 1880. № 6. С. XIX.

¹⁵⁶ П. А. <Пыпин А. Н.> С пушкинского праздника // *Вестник Европы*. 1880. Кн. 7. С. XXXII.

Свое объяснение «всечеловечности» дал автор журнала «Слово», остановившийся перед указанием, что «русская народность <...> “не помирится дешево”, как на идеале всемирности, всечеловечности: «Очевидно, положение это старается убить зараз двух зайцев и одним глазом подмигнуть московским славянофилам и петербургским западникам»¹⁵⁷. В этом же направлении разоблачения двуличности Достоевского пошел автор журнала «Русское богатство»¹⁵⁸ и публицисты «Отечественных записок» Г. И. Успенский и Н. К. Михайловский¹⁵⁹, выступившие тандемом в июльском номере журнала. Михайловский подытожил высказывания однопартийцев:

«... Речь эта пустая и не совсем умная шутка. Да, пустая, потому что человек не дал ни одного твердого вывода, ни одной неколеблющейся мысли, и не совсем умная, потому что “не можно век носить личин”»¹⁶⁰.

Критик процитировал известное стихотворение Г. Р. Державина «Вельможа». Приведем контекст цитаты, чтобы понять, на что намекал ироничный журналист:

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
О! тщетно счастья рука,
Против естественного чина,
Безумца рядит в господина
Или в шумиху дурака,
Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться,
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться.

¹⁵⁷ <Коропчевский Д. А.?:> По поводу открытия памятника Пушкину // *Слово*. 1880. Июнь. С. 158. Журнал «Слово» выходил ежемесячно в Петербурге в 1878–1881 гг., издателем в 1880 г. был А. А. Головачев, а редактором (и автором внутренних обзрений) Д. А. Коропчевский, публицист и антрополог. Скорее всего, последний и был автором двух полемических по отношению к Достоевскому статей в июньском и сентябрьском номерах журнала.

¹⁵⁸ *Очевидец* <Боровитинова О. А.?:> Еще несколько слов о пушкинском празднике // *Русское богатство*. 1880. № 7. С. 27–52.

¹⁵⁹ Михайловский в точности выполнил редакционное задание руководителя журнала — показать, «что и Дост<оевский> и Тург<енев> надувают публику и эскамотируют Пушкинский праздник в свою пользу» [Салтыков-Щедрин; 19₁: 159].

¹⁶⁰ М. Н. <Михайловский Н. К.> Литературные заметки // *Отечественные записки*. 1880. № 7. С. 132.

Не столь язвителен был публицист «Дела» К. М. Станюкович. Ему, как и Глебу Успенскому, слышались в «Пушкинской речи» сердечные-близкие ноты, но при этом отталкивающее впечатление произвели очевидные христианские мотивы, пронизывающие последние произведения писателя (и прежде всего печатавшийся тогда роман «Братья Карамазовы»):

«Это – какое-то туманно-неопределенное искание “правды”, проповедь смирения и любви с оттенком мистицизма и с некоторым запахом постного масла. <...> Несомненная любовь к народу чувствуется в его речи и вместе с тем, когда вы прочтете речь, у вас остается некоторое недоумение и вы остаетесь в каком-то тумане. Вы не знаете, что именно хочет сказать художник, вы не можете, так сказать, перевести его идеалов на понятный язык. <...> у него мистицизм затемняет и те проблески истины, которые порой являются, хотя и в фантастическом виде. И вот почему речь его, производившая потрясающее впечатление на слушателей, в чтении производит далеко не то впечатление, несмотря на талантливость»¹⁶¹.

Критика подобного рода особо настаивала на «фантастичности» «Пушкинской речи», что, по существу, означало неприятие утверждаемого писателем идеала как противоречащего законам действительности, известным этой критике. Дискуссия приобретала аксиологическое значение. В спорах вокруг Речи и под воздействием ее противоположающиеся стороны получили возможность более глубокой самоидентификации. То же самое происходило и с самим Достоевским при формировании уже «Дневника писателя», «единственного выпуска на 1880», хотя сама Речь изначально носила очевидно объединительный характер. Сфера культуры, как представляется, проходит через процесс необходимого дифференцирования, чтобы в итоге прийти к некоему интегралу. Это утверждение отдает парадоксом, но культура и не знает линейного развития¹⁶². Она прекрасно подходит к формуле: «единство без смешения и различие без разлучения» [Вл. Соловьев; 1: 534].

¹⁶¹ О. П. <Станюкович К. М.> Пушкинский юбилей и речь г. Достоевского // *Дело*. 1880. № 7. С. 116. Статья подписана криптонимом О. П., что означает «Откровенный писатель» — под этим псевдонимом в журнале «Дело» с 1879 г. печатался прозаик и публицист К. М. Станюкович. Ранее криптоним не был раскрыт (см.: [Фридендер, Крыжановский: 482], [Летопись; 3: 453]).

¹⁶² Глобалистское понятие парадокса как «выверта», открывающего безнадежный дуализм русской культуры, продвигает разработчик деструктивных прочтений: [Эпштейн]. Эпистемологическое значение предложено было авторами сборника [Парадоксы], где однако ряд статей выходит из заданных границ термина и стремится к более широкому его культурологическому применению. О парадоксе у Достоевского как «способе проявления истины» см.: [Захаров 2013а: 430].

6.

Ответ критикам Достоевский дал в моножурнале «Дневник писателя. Единственный выпуск на 1880. Август», имевшем большой успех у публики, так что через месяц пришлось печатать второе издание. Вместе с тем наступательный настрой автора вызвал волну куда большей, чем ранее, агрессивной полемики.

Выпишем наиболее характерные перлы журналистики в хронологической последовательности, чтобы представить ход и основное значение встречного удара.

«В действительности он всех <западников> к “смердам” причисляет и нецеремонно отваливает по щекам. Это, изволите видеть, по-христиански и в народном духе! <...> православие, о котором вы так много кричите, числится больше на бумаге, в журнальных статейках разных “охранителей”, да в епархиальных отчетах» (Гр. Градовский, «Молва», 16 августа).

«Чего-чего не наговорил только г. Достоевский! И Европа-то гниет, и просвещения-то у нее нет, и рухнет-то она вся послезавтра, не позже, если русский человек не обновит ее своим “новым словом”! И говоря это, г. Достоевский даже не подозревает, что проповедывает невежество, сеет зло!» («Голос», 17 августа).

«Ф. М. больше крестится, чем рассуждает» (Ар. Введенский, «Страна», 17 августа).

«Перед вами болезненно мечется какой-то “блажен муж”, то гордо вскакивающий на риторические ходули богословского витийства, то ползающий в прахе пошлепкинского сплетничества самого пошлого злоязычия» (Коломенский Кандид <В. О. Михневич>, «Новости», 19 августа).

«Мистицизм – безжизнен и бессилен для общества, и неужели умственные и нравственные силы высокодаровитого автора “Записок из Мертвого дома” и “Преступления и наказания” подавятся окончательно этим мистицизмом!» (А. Налимов, «Современность», 20 августа).

В том же духе выступили газеты «Петербургский листок» (21 августа), «Страна» (31 августа), «Молва» (3 сентября). Нетрудно заметить, как то и дело выступает вперед раскручиваемый журналистами термин «мистицизм» в качестве эвфемизма к слову «вера». Как со всей прямоотой заметил автор «Дневника писателя» 1880 г. и «Братьев Карамазовых» (их параллельные публикации поддерживали друг друга и давали лакомую пищу отменно секуляризованной критике): ругают «за Бога» (30; 235). Следом за газетами поспешали журналы. Про «деревянное масло» или «лампадное» (ходовая по поводу Достоевского метонимия), коим «помадится» автор «Дневника», не преминул съязвить Н. К. Михайловский

в сентябрьском номере «Отечественных записок»¹⁶³. В другом передовом журнале читаем:

«Это бред какого-то юродивого мистика, а отнюдь не суждение здраво-мыслящего человека. Мы уважаем в г. Достоевском религиозного человека, но зачем же доводить религиозность до абсурда, до отрицания необходимости научного образования. Ведь никто не станет возражать, что религиозное чувство, доведенное до абсурда, породило инквизицию и скопчество»¹⁶⁴.

Кардинальное заявление взял на себя автор «Русского богатства», вышедшего 13 сентября: «г. Достоевский не уважает человека»¹⁶⁵. По мнению представителя левого народничества, «весь вопрос человечества <...> сводится к следующему: каким образом примирить права каждого с правами всех?» Необходимый исторический процесс эмансипации личности привел к тому, что она утратила «чувство своей солидарности с обществом». Отстав от западной цивилизации, русский народ сохранил в себе способность «класть душу свою за други своя», однако, увы, так и «не выработал сознания личности»¹⁶⁶.

«Для г. Достоевского, очевидно, в особенности дорога эта приниженность личности перед общею волею, приниженность, прекрасно гармонирующая с проповедью г. Достоевского о “смирении”. Он ставит эту приниженность в особую заслугу нашему народу»¹⁶⁷.

Само слово «смирение» с выхолощенным из него христианским содержанием стало в рецепции «Пушкинской речи», где оно прозвучало с особенной силой, камнем преткновения для тогдашней и всей последующей «прогрессивной» критики: в ложном понимании концептуального слова Достоевского со всей очевидностью проявился глубинный конфликт ценностей (см.: [Викторovich 1991]). Тогда же «смирение» толково объяснил религиозный журнал: Достоевский «не склонен понимать его в смысле какого-нибудь рабского унижительного служения; напротив, по его воззрению, оно является чем-то вроде умного смотрения за собою...»¹⁶⁸. Услышан он, конечно, не был.

¹⁶³ М. Н. <Михайловский Н. К.> Литературные заметки // *Отечественные записки*. 1880. № 9. С. 126.

¹⁶⁴ Insident Достоевский // *Слово*. 1880. Сентябрь. С. 97.

¹⁶⁵ Александр Горшков <Протопопов М. А.> Проповедник нового слова // *Русское богатство*. 1880. Август. С. 15.

¹⁶⁶ Там же. С. 17.

¹⁶⁷ Там же. С. 18.

¹⁶⁸ С. Д. Л. <Левитский С. Д.> Идеалы будущего, набросанные в романе «Братья Карамазовы» // *Православное обозрение*. 1880. Т. 3. Сентябрь. С. 49.

«Господин, именующий себя восторженным любителем народа и из-за начальства не видящий этого самого народа»¹⁶⁹ — так размашисто трактует автора «Дневника писателя» один из тогдашних «властителей дум». С ним солидарен и другой, стыдящий Достоевского: «Ваш “талант” таскает каштаны для них», угнетателей народа¹⁷⁰. Даже сочувствующий Достоевскому автор задается вопросом: «Почему с крепостниками, действительно заслуживающими эпитета “обогряющих руки”, он живет душа в душу»¹⁷¹. В этой же плоскости лежит обвинение Достоевского в том, что он игнорирует «материальную сторону существования в народной жизни» («Русский курьер», 28 сентября). Против «елейных взглядов г. Достоевского» продолжало горячо выступать и «Русское богатство»¹⁷².

Для финала своей многословной статьи ведущий публицист «Отечественных записок» приберет главный и, как ему, очевидно, представлялось, неотразимый аргумент против Достоевского:

«Ах, господа, дело, в сущности, очень просто. Если мы в самом деле находимся накануне новой эры, то нужен прежде всего свет, а свет есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна без личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требует гарантий. <...> А искать себя в себе под собой – это просто пустяки»¹⁷³.

Как видим, предлагая отличную от Достоевского шкалу ценностей, Михайловский не слишком далеко ушел от обоих Градовских и Пыпина. Речь велась именно о шкале, т. е. иерархии ценностей, ведь Достоевский ни в коей мере не покушался на собственное значение так называемых либеральных ценностей, которые кинулись защищать от него его оппоненты.

Удивительно, но остроумнейший противовес одномерному Михайловскому мы находим в том же самом сентябрьском номере «Отечественных записок», и не в очерке Глеба Успенского (до некоторой степени сочувствовавшего Достоевскому), а в сочинении яростного

¹⁶⁹ М. Н. <Михайловский Н. К.> Литературные заметки // *Отечественные записки*. 1880. № 9. С. 128.

¹⁷⁰ Александр Горшков <Протопопов М. А.> Проповедник нового слова // *Русское богатство*. 1880. Август. С. 27.

¹⁷¹ Л. О. <Оболенский Л. Е.> Народники и г. Достоевский, бичующие либералов // *Мысль*. 1880. № 9. С. 95.

¹⁷² Л. Алексеев <Паночини Л. А.> Почему вскипел бульон и почему теперь только мы обращаем на это свое внимание // *Русское богатство*. 1880. № 12. С. 53–72.

¹⁷³ М. Н. <Михайловский Н. К.> Литературные заметки // *Отечественные записки*. 1880. № 9. С. 140.

противника «Пушкинской речи» (судя по личной переписке) – мы имеем в виду М. Е. Салтыкова-Щедрина и его «пьесу» «Мальчик в штанах и мальчик без штанов» из цикла «За рубежом». Выпишем из журнального варианта финальную часть диалога между немецким мальчиком «в штанах») и русским («без штанов»):

Мальчик в штанах. *(Хочет что-нибудь выдумать, но долгое время не может; наконец выдумывает)*. Я полагаю, что вам без немцев не обойтись!

Мальчик без штанов. Натко, выкуси!

Мальчик в штанах. Опять это слово! Русский мальчик! я подаю вам благой совет, а вы затвердили какую-то глупость, и думаете, что это ответ. Поймите меня. Мы, немцы, имеем старинную культуру, у нас есть солидная наука, блестящая литература, свободные учреждения, а вы делаете вид, как будто все это вам не в диковину. У вас ничего подобного нет, даже хлеба у вас нет – а когда я, от имени немцев, предлагаю вам свои услуги, вы отвечаете мне: выкуси! Берегитесь, русский мальчик! это с вашей стороны высокоумие, которое положительно ничем не оправдывается! <...> Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже и о каком-то “новом слове” поговаривают – и что же оказывается? – что вы беднее, нежели когда-нибудь, что сквернословие более, нежели когда-либо, регулирует ваши отношения к правящим классам, что Колупаевы держат в плену ваши души, что никто не доверяет вашей солидности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь... ах!

Мальчик без штанов. Ахай, немец! а я тебе говорю, что это-то именно и есть... занятное!

Мальчик в штанах. Решительно, ничего не понимаю!

Мальчик без штанов. Где тебе понять! Сказывал уж я тебе, что ты за грош черту душу продал – вот он теперь тебе и застит свет!

Мальчик в штанах. “Сказывал”! Но ведь и я вам говорил, что вы тому же черту задаром душу отдали... кажется, что и эта афера не особенно лестная...

Мальчик без штанов. Так то за даром, а не за грош. Задаром-то я отдал – стало быть, и опять могу назад взять... Ах, колбаса, колбаса!»¹⁷⁴.

Нетрудно заметить, что в фантастическом диалоге, отзывающемся на споры вокруг «Пушкинской речи» Достоевского и его «Дневника писателя», все преимущества сытной и хорошо организованной жизнедеятельности – на стороне «мальчика в штанах», однако скучно и не «занятно» «мальчику без штанов» купленное у черта благополучие. Преимущество подлинной свободы от чёрта остается в конечном счете за бесштаным. Такой вот сюрприз преподнес своим соратникам «сатирический старец»!

¹⁷⁴ Н. Щедрин. За рубежом // *Отечественные записки*. 1880. № 9. С. 326–328

Наиболее разнuzданную критику на себя Достоевский мог прочесть в сентябрьском номере «Дела» (журнал как бы дезавуировал предыдущее цитированное нами куда более уважительное выступление К. М. Станюковича) под глумливым названием «Романист, попавший не в свои сани». Авторство этой статьи до сей поры либо никак не определялось ([Фридлендер, Крыжановский: 488], [Летопись; 3: 477]) либо приписывалось Г. Е. Благосветлову [Левитт: 237]. Последний, оставаясь до смерти, последовавшей 7 ноября 1880 г., формальным редактором журнала, в то время (номер вышел 25 сентября) уже отошел от дел по болезни, и фактическим редактором «Дела» был радикальный публицист и критик Н. В. Шелгунов. Кроме этого обстоятельства, главными приметами его авторства можно считать следующие:

1) в литературно-общественных кругах Шелгунов прославился как «пламенный западник»¹⁷⁵, убежденный в том, что свет мог распространяться только из Европы;

2) содержащийся в статье подробный экскурс в русскую историю для обличения отечественного «рабства» и «звериной дикости» (коих он не замечает в европейской истории) – любимый конек Шелгунова;

3) сказанное в статье об истории Великого Новгорода повторяет ранее опубликованные Шелгуновым соображения о том, что «действительного народоправства в Новгороде никогда не было», что «Новгород был русским окном в Европу, и, однако, через это окно не прошло к нам ни единого луча света, ни одной европейской идеи»¹⁷⁶. Настоящая русская история, по Шелгунову, началась только с Петра Великого, поэтому и отыскание здоровых национальных корней в истории Древней Руси у Достоевского представляется публицисту-европоману абсолютным невежеством.

В общей оценке «Пушкинской речи» и «Дневника писателя» Шелгунов также не стесняется в выражениях:

«В этом непроглядном, полумистическом, полупророческом и чревоушательском тумане ничего не разберешь; никакая логика и никакой здравый смысл неприменимы к этой литературной кабалистике. А между тем все это говорится с самоуверенностью глашатая великих откровений, с пафосом фанатика или с келейным смирением псалмовщика. <...> страшно не за повсеместную погибель Европы, а... за патологические симптомы мозга самого прорицателя»¹⁷⁷.

¹⁷⁵ 1 марта 1881 года. Казнь императора Александра II. Документы и воспоминания / сост. В. Е. Кельнер. Л.: Лениздат, 1991. С. 145.

¹⁷⁶ Н. Радюкин <Шелгунов Н. В.> Романтизм русский // Дело. 1873. № 8. С. 97, 102.

¹⁷⁷ Г–Н. <Шелгунов Н. В.> Романист, попавший не в свои сани // Дело. 1880. № 9. С. 160–161.

К справедливости и хотя бы минимальной объективности призвал процитированных выше журналистов редактор и ведущий автор либерально-народнической «Недели» (к слову сказать, ближайший сосед Достоевского по Старой Руссе) П. А. Гайдебуров:

«Этот самый дневник вызвал ожесточенные нападки <...> в двух <...> журналах: в “Деле” и “Русском богатстве”. Сущность этих нападков уловить трудно, да, строго говоря, в них никакой сущности и нет: это просто сплошное издевательство над г. Достоевским, без малейшей попытки отделить в его взглядах зерно от мякины»¹⁷⁸.

Гайдебуров довольно тонко прочувствовал тогда природу публицистического слова Достоевского, приблизившись в этом к упомянутому выше Л. Е. Оболенскому:

«Его воззрения страдают недостатком практичности, в них нет переходных ступенек, которые, конечно, необходимы. Но ведь он и не претендует на практичность; идеалистический радикал, если можно так выразиться, он смотрит далеко вперед, видит там яркую звезду и зовет к ней; указывать пути совсем не его дело: он только носитель идеала. Дурен этот идеал в своей основе, очищенный от случайных примесей? Заслуживает ли нареканий, или, напротив, имеет полное право на уважение этот идеал светлой, беззаветной любви? Господа, бросать грязью в такие вещи значит пачкать самих себя!..»¹⁷⁹.

Увы, далек оказался от такого понимания даже автор солидного «Вестника Европы», укрывшийся за криптонимом «В. В.». До недавнего времени статья эта приписывалась В. П. Воронцову (см.: [Фридендер, Крыжановский: 489], [Летопись; 3: 480]), однако недавно был документально выявлен подлинный автор – А. Н. Пыпин (см.: [Китаев]). Причина строгой секретности, когда автор спрятался за чужой криптоним, кроется, вероятно, в том, что агрессивно-публицистический стиль статьи, переходящий на личности, не соответствовал желанному для Пыпина статусу солидного академического ученого (в 1871 г. он был избран, но не утвержден адъюнктом Академии наук, куда-таки вошел в 1891-м). Во взятой им на себя миссии «остановить Достоевского» действительно не было ничего академического:

«Что сказать об этом походе против “либерализма”? Первое, что спорить правильно против г. Достоевского нет никакой возможности; потому что изложение его не есть вовсе последовательное развитие какой-либо мысли,

¹⁷⁸ <Гайдебуров П. А.> Журнальные очерки // Неделя. 1880. 5 октября. С. 1285—1286.

¹⁷⁹ Там же. С. 1286.

а раздражительное словоизвержение, ясно показывающее, что автор резонв слушать не намерен, что им овладела страсть и то жестокое настроение, при котором аргументация невозможна и бесполезна. Эта страсть – крайне неумеренное самолюбие, это настроение – мистицизм»¹⁸⁰.

«Вестник Европы» на время оставил должность либеральной полиции нравов, когда следом опубликовал на своих страницах «Письмо Ф. М. Достоевскому» К. Д. Кавелина. (Впрочем, в том же номере во «Внутреннем обозрении» «Дневник писателя» назван «картонным мечом» «реакционной печати»)¹⁸¹. Философ-правовед с первых же строк отрекся от способа ведения полемики подавляющим большинством оппонентов Достоевского, а в их числе и соседей по журналу:

«Вы произнесли слово: примирение партий. Да, кончить личные счёты, прекратить литературные турниры, вертящиеся на остроумии, оставить дрянные, плоские и пошлые взаимные обвинения – пора, давно пора! Пора спокойно, отбросив личности и взаимное раздражение, откровенно и прямо объяснить по всем пунктам. <...> Наши русские споры отравлены при самом их начале тем, что мы редко спорим против того, что человек говорит, а почти всегда против того, что он при этом думает, против его предполагаемых намерений и задних мыслей»¹⁸².

Призыв к объективности вызвал в русской печати неоднозначную реакцию: А. И. Введенский («Страна», 6 ноября) и Г. К. Градовский («Молва», 14 ноября) не вняли ему и остались при своих жестких оценках Достоевского, а вот В. В. Чуйко («Новости», 7 ноября) и анонимный автор «Недели» (16 ноября), возможно, тот же П. А. Гайдебуров, воздали должное «спокойной» речи ученого.

Освободившись от «негодного придатка» крайнего субъективизма, Кавелин повел диалог с идейным противником по всем правилам научного диспута. Он прежде развернул собственное понимание «европеизма», отчасти соглашаясь с Достоевским в том, что «европеизм, орудие образования, по мысли Петра и государственных деятелей его школы, превратился в орудие угнетения», «в гнетущую, заскорузлую формалистику»¹⁸³. Следует остерегаться как «рабского поклонения перед Европой», так и квасной «самоуверенности и задора»¹⁸⁴. Однако

¹⁸⁰ В. В. <Пыпин А. Н.> Литературное обозрение // *Вестник Европы*. 1880. Кн. 10. С. 812.

¹⁸¹ <Арсеньев К. К.> Внутреннее обозрение // *Вестник Европы*. 1880. Ноябрь. С. 377–378.

¹⁸² Кавелин К. Д. Письмо Ф. М. Достоевскому // *Вестник Европы*. 1880. Ноябрь. С. 433.

¹⁸³ Там же. С. 435–436.

¹⁸⁴ Там же. С. 441–442.

и «нравственные качества русского простого народа» вызывают у Кавелина желание оспорить Достоевского:

«Вы будете превозносить простоту, кротость, смирение, незлобивость, сердечную доброту русского народа; а другой, не с меньшим основанием, укажет на его склонность к воровству, обманам, плутовству, пьянству, на дикое и безобразное отношение к женщине; вам приведут множество примеров свирепой жестокости и бесчеловечия. Кто же прав: те ли, которые превозносят нравственные качества русского народа до небес, или те, которые смешивают его с грязью? Каждому не раз случилось останавливаться в раздумьи перед этим вопросом. Да он и не разрешим!»¹⁸⁵.

Православие, по убеждению Кавелина (отчасти чаадаевскому), не только не дает преимущества «душевному» русскому человеку сравнительно с «дрессированным» европейцем, но и формирует пренебрежение к «деятельной, преобразовательной стороне христианства»¹⁸⁶, утилизированной на Западе. Далее спор с Достоевским переводится на само понимание нравственной природы человека. В противоположность религиозному генезису добра у Достоевского Кавелин предлагает определять его как сугубо личностный настрой, образуемый однако «хорошими общественными условиями» (а не наоборот, если верить Достоевскому). Эти условия, полагает он, надо «сперва выработать <...> в лаборатории строгой и точной науки», «силою доводов, аргументами современного знания поставить людей лицом к лицу с нравственной правдой и показать, что все пути неизбежно ведут к ней»¹⁸⁷.

Таким образом, отвергнув «мистический» идеализм Достоевского, Кавелин на его место поставил идеализм просветительского сциентизма. «Казалось бы, Кавелин требует больше внимания к жизни, однако жизнь понимается им достаточно рассудочно», — пишет о диалоге профессора с писателем современный исследователь [Кантор 1988: 117]. Достоевский собирался подробно отвечать своему оппоненту в «Дневнике писателя» 1881 г., однако смерть помешала продолжению в высшей степени знаменательной дискуссии. В записных тетрадях писателя остались наброски к полемике, среди которых мы находим и формулу последнего убеждения Достоевского: «Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся» (27: 85).

¹⁸⁵ Там же. С. 442–443.

¹⁸⁶ Там же. С. 447.

¹⁸⁷ Там же. С. 441.

7.

В истории восприятия «Пушкинской речи» нас поражает контраст между «слушателями» и «читателями». В течение очень короткого времени состоялся переход от единодушного согласия с оратором к непримиримому спору с писателем. В глазах большинства современников Достоевского и выразивших (и направлявших) их мнение органов печати «Пушкинская речь» предстала некоей, может быть, и прекрасной, но уж точно несбыточной утопией, не имеющей ничего общего с земной неприглядной реальностью. Эффект небывалого воздействия Речи стали мотивировать талантом оратора, сумевшего угодить всем без исключения слушателям. «Хитроискусной» назвал ее И. С. Тургенев, как бы очнувшись от наваждения [Тургенев. Письма; 12,; 272], а последовавший его указанию «Вестник Европы» предложил термин «обольстительные слова»¹⁸⁸. Это объяснение работает и сегодня, достаточно лишь сменить терминологию на более научную, например: «эмоциональная техника аргументации», «риторические фигуры», «психологическая игра» и т. п. [Смолененкова]. В цитируемом современном исследовании успех речи Достоевского объясняется тем, что оратор последовательно, шаг за шагом удовлетворял запросы собравшейся аудитории. Поначалу «добрая половина слушателей почувствовала себя причастной к числу “страдающих по всемирному идеалу”», затем наступила очередь подкупить «либерально настроенную интеллигенцию», и, наконец, решающий сигнал послан был лучшей половине аудитории: «Татьянинская часть речи, с ее тщательно продуманным риторическим построением (использованием фигур обращения, концессии, заимствования, предупреждения и др.), а главное, с однозначно положительной, возвышенной трактовкой образа пушкинской героини, неизбежно превратила всех слушательниц Достоевского в его фанатичных почитательниц» [Смолененкова]. Здесь хорошо узнается фабула, предложенная некогда Глебом Успенским: Достоевский «желал всех силою своего слова покорить, всем понравиться и быть приветствованным всеми», и вот после Речи приходят к писателю и благодарят за совершенно разные вещи генерал и курсистка, Иван Аксаков и «социалист», а в довершение сама Татьяна Ларина как представительница русских женщин, чем приводят оратора в полное замешательство¹⁸⁹. Современный

¹⁸⁸ П. А. <Пылин А. Н.> С пушкинского праздника // *Вестник Европы*. 1880. Кн. 7. С. XXXI.

¹⁸⁹ У. Г. <Успенский Г. И.> На родной ниве (очерки, заметки, наблюдения) // *Отечественные записки*. 1880. № 7. С. 109–113.

исследователь на основании «риторико-критического анализа» заново повторяет то, что отзвучало в западнически-ориентированной газетно-журнальной критике «Пушкинской речи»: «Последние сомнения рассеяны, каждый в зале чувствует себя “вполне русским”, “братом всех людей”, “всечеловеком”. И это очень приятно для русского самолюбия (в этом Тургенев был прав). <...> Получается, что потрясающее впечатление, произведенное речью, оказалось основанным почти что на недоразумении, массовом психозе, минутном увлечении». Вывод: после общего отрезвления «речь была обречена на неприятие и искажающее истолкование» [Смолененкова].

«Обреченность» эта явно вымышлена ввиду очевидных фактов, приведенных выше: к пониманию смысла Речи, как мы видели, ближе всех подошли Л. Е. Оболенский, П. А. Гайдебуров, В. П. Буренин, некоторый вклад в это приближение внесли Н. П. Гиляров-Платонов, М. А. Загуляев и другие. По поводу иных рьяных критиков Достоевского можно было бы сказать, что впоследствии, возвращаясь к теме, они отошли от воинственной риторики¹⁹⁰. Скажем больше: поняли Речь и принципиальные оппоненты Достоевского, поняли, но не приняли. Так, тот же Глеб Успенский сформулировал в секулярных терминах ключевую позицию Достоевского: «отвлеченная (хотя и очень искусная) проповедь самосовершенствования», – а затем дал собственную «формулу сомнения»: «Решительно нельзя понять, почему на Руси люди будут только самосовершенствоваться...»¹⁹¹. Успенский был далеко не одинок в своем сомнении. Один из организаторов Пушкинского праздника С. А. Юрьев, во многом сочувствующий Достоевскому, также недоумевал:

«Послушать его, стать на его точку зрения – надо перестать думать и об экономических и о политических усовершенствованиях народной жизни, похерить все эти вопросы и ограничиться молитвой, христианскими беседами, монашеским смирением, сострадательными слезами и личными благодарениями» [Литературное наследство; 86: 520].

Успенский гораздо короче, буквально в двух словах передал расхождение с Достоевским: тот говорит о «ниве», а мы – о «деле» (свой цикл очерков Успенский тем не менее назвал «На родной ниве»). Следом

¹⁹⁰ См.: Коломенский Кандид <Михневич В. О.> Вчера и сегодня // *Новости и биржевая газета*. 1881. 1 февраля.; *Введенский Арс. Критики Ф. М. Достоевского // Труд*. 1889. № 19–20.

¹⁹¹ У. Г. <Успенский Г. И.> На родной ниве (очерки, заметки, наблюдения) // *Отечественные записки*. 1880. № 7. С. 117, 118.

публицист рассказал назидательную историю о народном заступнике, которому общество не позволяет вершить благодеяния¹⁹².

Призыв Достоевского «потрудиться на родной ниве» (26: 139) не означал «ограничиться молитвой», такое прочтение его оппоненты навязывали «Пушкинской речи». Из того культурного контекста, в котором данный призыв означал «умное делание», они давно (или недавно) выпали, вернувшись в него лишь на краткий миг, как тот же Успенский, когда был слушателем Речи. Но этот-то миг и был по-настоящему моментом истины, впоследствии заслоненной чужеродными словами.

Особое место во всей этой истории занимает выступление К. Н. Леонтьева «О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике» в газете «Варшавский дневник» 29 июля, 7 и 12 августа. Значительность этого выступления была замечена не сразу, но зато впоследствии судьба определит ему стать главным противовесом «Пушкинской речи» и в этой роли ее вечным спутником. В рамках нашего обзора отметим характерное для Леонтьева «системное» противоречие: с одной стороны, он «вернул» Речь в ее подлинный контекст христианской словесности, а с другой – осудил ее автора с позиции абсолютизированной надмирности евангельского учения. Поразительно, как при этом сошлись крайности: Леонтьев, как и внехристианская журналистика, обвинил Достоевского в утопизме. Искомая Достоевским гармония «всечеловечности», по Леонтьеву, не способна выдержать столкновения с «нестерпимым трагизмом жизни», с ее принципиальной «неисправимостью»¹⁹³. Современный исследователь определил конфликт двух мыслителей как «расхождение в идеалах» [Бочаров]. Не приняв «всечеловека» как идеал земного миропорядка, Леонтьев проявил «неполноту христианского сознания», поскольку «христианство есть спасение жизни, а не спасение от жизни» [Зеньковский]. Один из участников развернувшихся затем в русской религиозной философии прений точно подметил: Леонтьев «досадно отмахнулся и от всего, что связано у Достоевского с личным отношением к Христу, для которого, странно сказать, как будто вовсе не находится места в леонтьевском православии» [Булгаков].

Центральное слово «Пушкинской речи» – «всечеловек» (выделенное авторским курсивом) – было тем краеугольным камнем, который отвергли непричастные дому строители. Само это слово и его

¹⁹² Там же. С. 118–121.

¹⁹³ Леонтьев К. О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // *Варшавский дневник*. 1880. № 169. 7 августа.

производные («всечеловеческий», «всечеловечный», «всечеловечность») в контексте Речи представляют сходящиеся к центру семантические поля, поначалу образуемые такими понятиями, как «всемирная отзывчивость» Пушкина как русского гения (см. подробнее: [Викторович 2005b]) и «всемирность стремления русского духа». В решающей же, заключительной части Речи (наступающей после вопрошания «Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?», когда «всемирность» как бы возрастает до «всечеловечности»), где, собственно, и разворачивается краеугольный концепт, он выступает теперь в паре с уточняющим: «братство» (семь слов с этим корнем в небольшом фрагменте текста!) Самое сильное место здесь: «... изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» (26: 148). Следом Достоевский оговаривает предвиденную им реакцию секуляризованной общественности и в противовес – свою твердую позицию: «Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь что их высказал. Этому надлежало быть высказанным» (26: 148). Заметим: восторженными и фантастическими «могут показаться» слова о «Христовом евангельском законе». Что, собственно, и случилось как в секулярной, так и в квазихристианской журналистике. Однако слово было сказано, «и Слово было Бог». Концепт «всечеловек» попадал в тот смыслообразующий контекст, который, несомненно, был знаком аудитории, собравшейся в зале Благородного собрания, и потому был адекватно воспринят коллективной культурной памятью. Свидетельство тому – приведенные выше сравнения Достоевского с Петром-пустынником, а также сохранившаяся стенограмма агента III Отделения, тщательно фиксировавшего, в каких местах речь Достоевского прерывалась «рукоплесканиями», «дружными рукоплесканиями», «громом рукоплесканий» (дважды). Единственная ремарка «оглушительные рукоплескания» сопровождает именно слово «всечеловек» [Бельчиков 1937: 280]. Ср.: «И к чему этот *всечеловек*, которому так неистово хлопала публика?» [Тургенев. Письма; 12₂: 272].

Что евангельские коннотации были не чужды данному слову, подтверждает рассуждение Н. Я. Данилевского в книге «Россия и Европа» (1869) о различении «общечеловеческого» и «всечеловеческого», завершающееся фразой: «... был только один Всечеловек – и тот был Бог» [Данилевский]. Разумеется, Достоевский мог и не помнить этой фразы десятилетней давности, а в памяти слушателей Речи ее

бытование тем более сомнительно. Однако есть неисследимые «воздушные пути» коллективной культурной памяти, и к тому же припоминаются слова Достоевского о том, что «можно очень много знать бессознательно», сказанные, между прочим, по поводу «сердечного знания Христа» (21: 38). Слово «всечеловек» должно было «подождать», когда наступит время для его полной отрефлексированности – в трудах сербского святого Иустина (Поповича), рассматривавшего «Пушкинскую речь» как «самое евангельское пророчество о всечеловеке и о всечеловечестве» [Иустин: 226]. Приведем одно из суждений преподобного, имеющее прямое отношение к нашей теме:

«Для людей гуманистического, механического, римокатолического склада духа такое евангельское объединение людей во всечеловеческое братство представляется утопией, невозможным чудом на земле. Но для православного человека, обоженного и освященного Христом, такое объединение людей является не только горячим желанием веры и молитвы, но и необходимым евангельским ощущением жизни. Это одна из главных реалий, на которой стоит, существует и служит Христов человек в этом мире» [Иустин: 225].

Только недавно слово «всечеловек» вошло в тезаурус исследователей творчества Достоевского [Буданова], [Захаров 2009], [Захаров 2013a], [Захаров 2013b], [Шалина], [Захаров 2021], [Литинская].

Настала пора сказать несколько слов о современнике Достоевского, ближе других подошедшем к пониманию феномена «Пушкинской речи». Это Иван Сергеевич Аксаков. Именно он усилил эффект, произведенный Речью на слушателей, сразу же и во всеуслышание назвав ее «событием»¹⁹⁴, что вызвало «рукоплескания и крики: браво!» [Бельчиков 1937: 281]. Вскоре публицист подробно изложил свое видение «события» в переписке с современниками¹⁹⁵, и, наконец, дал самый, возможно, пронизательный на то

¹⁹⁴ Аксаков также заявил, что речь Достоевского «как молния, озарила всех светом» (См.: «А впечатление было поистине необычайное...»: Письмо Ф. Д. Самарина о Пушкинской речи Достоевского / публ. Б. Н. Тихомирова // Достоевский и мировая культура: альманах. М.: Классика плюс, 1997. № 9. С. 253). Это сравнение было затем подхвачено журналистами, в первую очередь Н. П. Гиляровым-Платоновым («Современные известия», 9 июня), не сославшись на первоисточник, так что теперь «молния» привычно приписывается Гилярову (см., напр.: [Летопись; 3: 434], [Фокин, Петрова]).

¹⁹⁵ Письма И. С. Аксакова 1880 года: предположительно Е. Ф. Тютчевой 14 июня (*Русский архив*. 1891. Кн. 2. Вып. 5. С. 96–99), О. Ф. Миллеру 14 июля и 17 августа [Литературное наследство; 86: 511–512, 514–515], П. А. Кулаковскому 22 июля (Переписка П. А. Кулаковского и И. С. Аксакова 1880–1886 гг. // Славистика. Белград, 2014. Вып. XVIII. С. 572–573), Ф. М. Достоевскому 20 августа (ОР РГБ. Ф. 93.П. 1. 20. Л. 5 — 8 об.).

время духовный портрет Достоевского в некрологической передовой статье газеты «Русь». Аксаков здесь исчерпывающе ответил на известные уже нам «политические» претензии оппонентов писателя: «Идея внешней, социальной равноправности бледнела и исчезала для него в *высшей* идее – в христианской идее *братства*»¹⁹⁶. В происшедшем со многими слушателями «Пушкинской речи» перевороте острый взгляд знатока русской общественной жизни уловил главное:

«... увлеченные общим движением, сами подвигнутые проснувшиеся в них правдою и вспыхнувшим русским народным чувством, – многие стали потом стыдиться своего увлечения и своих восторгов – может быть лучшей, искреннейшей минуты в своей жизни!»¹⁹⁷.

Интересно все же, чем была бы наша история без таких «минут»? Аксаков провокативно-резко и открыто-парадоксально называет их – «наваждение истины». Его проникновение в суть исторического события «Пушкинской речи» позволяет нам поставить последнюю точку в предпринятом обзоре:

«... знаменательна и утешительна самая возможность таких минут в нашей русской общественной жизни, когда правда берет свое, является в торжестве, всё покоряет себе своею властью, все и всех единит собою: это правда христианская, это правда русского, глубоко-народного чувства...»¹⁹⁸.

¹⁹⁶ <Аксаков И. С.> Москва, 7 февраля // *Русь*. 1881. № 13. 7 февраля.

¹⁹⁷ Там же.

¹⁹⁸ Там же.

ГЛАВА 7.

1881. Кануны

1.

Смерть Достоевского вызвала огромную волну публикаций. Очевидно, не было в России серьезного периодического издания, которое бы не откликнулось на это событие, причем зачастую целой серией информационных, репортажных статей, биографических материалов, высказываний людей литературы, искусства, науки, общественных и церковных деятелей, простых читателей. Наиболее активно и содержательно выглядели в этом многоголосье газеты «Новое время», «Русь», «Неделя». Обнаружилось, какое беспрецедентно значимое место занял писатель и публицист – не государственный деятель, не политик – в общественном сознании. Это явление потребовало вербализации, и она не заставила себя ждать.

«**Духовным вождем русского народа и пророком Божиим**» назвал Достоевского Владимир Соловьев в публичной речи, сказанной через день после смерти писателя на Высших женских курсах (см.: [Викторович 1989]); речь эта распространялась в литографированных списках. Но еще за день до того, 29 января, Соловьев свою университетскую «четверговую» лекцию посвятил Достоевскому. Краткую запись ее 30 января опубликовало на первой полосе «Новое время». В начале лекции философ сказал:

«В прошлом году Ф. М. на пушкинском празднике назвал Пушкина **пророком**, но этого звания и в большей степени заслуживает сам Достоевский: первый воплощал идею высшей правды лишь в своих произведениях, второй проводил ее помимо своих произведений всю свою жизнь»¹.

Слово было сказано и услышано. Заданный масштаб провоцировал экспансию в ту или другую сторону – согласия или неприятия.

Одномоментно с «Новым временем» 30 января «Петербургская газета» подхватила слово «**пророк**» в совершенно другом смысле:

¹ Память Ф. М. Достоевского // *Новое время*. 1881. № 1769. 30 января.

«Федор Михайлович был человек чрезвычайно нервный и впечатлительный и еще в детстве подвергался галлюцинациям. У таких людей большею частью воображение преобладает над рассудком; они обладают болезненным самолюбием, склонны к мистицизму и опрометчивы в суждениях, увлекаясь первым впечатлением. Все эти качества были заметны и в покойном. Человек искренний и сострадательный, он сочувствовал всякому несчастью, сожалел об угнетенных и спасения от всех бедствий искал в мистицизме. Упоенный похвалами, он, подобно Гоголю, **возомнил себя каким-то пророком**, призванным сказать новое слово, и выступил на публицистическое поприще, к которому был не подготовлен. Не понимая характера совершающихся событий, незнакомый с политической жизнью запада, раздраженный критическим отношением к нему либеральной печати – он всё более и более уклонялся от истины и принимал раздраженный тон. Знаменитая речь его о Пушкине в Москве и последовавшая затем полемика показали, куда он ушел. пышное фразерство, чувствительные восклицания и квасной патриотизм, толкующий о “всечеловеках”, не могут заменить знаний и логики, а между тем Федор Михайлович в последнее время **выступил в роли общественного руководителя**. Рукоплескания малоразвившегося в политическом отношении общества и похвалы невежественных журналистов окончательно вскружили ему голову, так что можно с уверенностью сказать, что он окончательно похоронил бы свою славу, если бы стал поддерживать свои воззрения в “Дневнике писателя”, которого первый номер должен был выйти 31 января. Что талант Достоевского клонился к упадку, лучшее доказательство представляют “Братья Карамазовы”. В этом романе, непомерно длинном и утомительном для чтения, теплые страницы встречаются изредка, но византийщины масса, равно как и разных рассуждений, не идущих к делу; болезненная фантазия автора рисует не типы, а патологические явления, и психологический анализ, которым прежде он славился, утратил свою силу в применении к этим личностям, которые вследствие того являются не представителями современного общества, а исключениями, субъектами из сумасшедшего дома»².

Бесцеремонность массовой газетки была чрезмерной, хотя ничего нового она не сказала, повторив штампованный список провинностей писателя и публициста перед либеральным лагерем (газета представляла его «уличный» вариант) и стараясь сплотить вокруг себя читателей, которым «Братья Карамазовы» казались произведением «непомерно длинным и утомительным». Похороны Достоевского, превратившиеся в беспрецедентное по масштабам событие, как бы его ни трактовали потом (задаваясь вопросом, кто, собственно, шел за гробом, где было

² Ф. М. Достоевский // *Петербургская газета*. 1881. № 25. 30 января.

начальство, народ и т. д., см.: [Волгин 2017: 626–687]), было актом общественного самосознания, продолжением того глубинного ментального процесса, который был возбужден автором «Дневника писателя». И это было лучшим ответом анониму «Петербургской газеты» (в ней самой, впрочем, были напечатаны, для равновесия, и материалы в традиционном некрологическом стиле).

Тем не менее сама идея погасить волну симпатии к умершему писателю получила развитие. Поначалу в деликатной форме это делали «Молва», «Страна», «Порядок», «Голос». Концептом, объединившим теперь оппонентов Достоевского, было слово **«искренность»**: таковое достоинство писателя и публициста позволяло культивировать по отношению к нему примирительные интонации³. Далее всех, кажется, пошел профессор-публицист В. И. Модестов в «Голосе», сформулировавший также и принципы, которые объединяли Достоевского с либеральным лагерем:

«Он требовал полной свободы печати, полной свободы совести, полного доверия со стороны власти к русскому народу»⁴.

Модестов аккумулировал в одном слове всю суть отношения либерального лагеря к идеям Достоевского как христианского писателя и мыслителя. Это слово – **«утопист»**, оно и должно было стать противоядием к соловьевскому «пророк» (начиналась война слов, не утихающая доселе, когда «утопизм Достоевского» стал предметом респектабельных научных исследований):

«Достоевский не был в политическом отношении ни консерватором, ни либералом. **Он был утопист**, доходивший до последних пределов мечтательности. Его политическая теория, если можно называть таковою его горячие, страстные чаяния, не может подлежать строгому обсуждению. Она основана не на фактах, не на истории, не на статистике, не на исследованиях политикоэкономических, не на философских умозрениях, а скорее **дело чувства и фантазии**, тех способностей его богато одаренной духовной природы, без которых он не мог произвести ничего великого в своих поэтических творениях, но которые оказывают плохую услугу в выработке здоровой

³ См., напр.: Морозов П. Ф. М. Достоевский // Страна. 1881. № 14. 1 февраля («Он не способен был на фальшь, на заискивание»).

⁴ Модестов В. Невольная тема // Голос. 1881. № 39. 8 февраля. Модестов утверждает, что о **пророке** Достоевском заявил О. Ф. Миллер на пушкинском вечере 29 января. Между тем в напечатанном тексте указанной речи (Миллер Ор. Слово о Достоевском на Пушкинском вечере (29-го января 1881 г.) // Неделя. 1881. № 5. 1 февраля. С. 178–179) таких слов нет. Одно из двух: или эти слова были им всё же сказаны, но не напечатаны, или Модестов перемешал Ореста Миллера с Владимиром Соловьевым.

политической теории. В такого рода мечтаниях, нельзя не сознаться, есть много увлекательного. Они иногда действуют чарующим образом даже на образованную массу, настроенную праздничным образом, и заставляют некоторых заводить речь о гениальности писателя или называть его пророком...»⁵.

Итак, не пророк, а утопист. Слово «утопия» применительно к Достоевскому прозвучало не впервые, Достоевский и сам примерял его к себе, иронически предвидя реакцию оппонентов на свои идеи (23: 46–50). Однако теперь, после смерти писателя, слово это претендовало на роль итоговой формулы.

Достойную отповедь Модестову дал А. С. Суворин, обыгрывая всё то же слово:

«Достоевский **был действительно утопистом**, но, не в обиду будь сказано г. Модестову, его утопии основывались именно на фактах, на истории, на философском умозрении и на том глубоком проникновении в человеческую душу, без которого факты, история, статистика – слова, слова и слова, иногда звонкие, иногда пошлые. Он был утопистом, он далеко смотрел в даль, он мечтал о безграничной свободе духа, о возможном для человека счастье, о включении всех обиженных и угнетенных в ту маленькую теперь область благосостояния и благополучия, которая так вдоволь удовлетворяет многих, и писателей, и не писателей: он не мог в своих желаниях, в своих стремлениях мириться с теми узкими политическими формами, которые исключают миллионы людей из списков благополучных граждан, исключают холодно и твердо для того, чтоб облагодетельствовать десятки тысяч. <...> В заключение этих слов мне хотелось бы сказать г. Модестову, что нет замечательного писателя, замечательного поэта, который бы не был утопистом. Самые эти термины «замечательный, необыкновенный» и проч. придаются только писателям-утопистам, глядевшим чрез все эти „здоровые политические теории“. Они не мешают этим теориям, но они указывают современникам, что это не всё, что за этим еще длинная дорога, что за этим идеал общего счастья»⁶.

Война слов усилилась, когда в нее вступил третий доктор наук (после Соловьева и Модестова), впоследствии всемирно известный А. А. Потебня (хотелось бы сказать о схватке профессоров, но Соловьев в отличие от двух других вышеназванных не удостоился сего почетного звания, будучи только доцентом). Потебня произнес и дал толкование еще

⁵ Там же.

⁶ *Незнакомец <Суворин А. С.> Маленький фельетон. Либерал и утопист // Новое время. 1881. № 1780. 10 февраля. С критикой Модестова выступил и М. Н. Катков в свойственном ему атакующе-полемиическом стиле (Москва, 18 февраля // Московские ведомости. 1881. № 50. 19 февраля).*

одному слову – «**мессианизм**», после «Пушкинской речи», как мы уже видели, набравшему вес в семантическом поле, создаваемом вокруг Достоевского прогрессивной словесностью, литературной и научной.

Газета «Порядок» с удовольствием перепечатала часть отчета харьковского «Южного края» о речи А. А. Потевни, произнесенной на публичном заседании историко-филологического общества в Харькове 11 февраля. Профессор настаивал на том, что «настоящее собрание назначено не для изливания чувств, хотя бы и самых благородных, и не для причтения Ф. М. Достоевского к лику святых и пророков, а для спокойного обмена мыслей о его литературной и публицистической деятельности. Полезное чествование деятеля мысли есть старание понять его...»⁷. Исследование Потевни было посвящено «Дневнику писателя», в котором «лучшее – то, что образно, поэтично, иносказательно». Высказанные им тогда соображения, достаточно спорные («нам образ почти неизбежно говорит не то, что своему создателю»)⁸, были близки основным идеям ученого, в частности, о том, что содержание произведения «развивается уже не в художнике, а в понимающих» [Потевня 1999]. Такая позиция санкционировала и критический подход ученого к «Дневнику писателя»:

«Достоевский везде склонен придавать решительное значение идее и личному усилию воли, умаляя значение порядка вещей, прочно воспитывающего ум и волю в известном направлении»⁹.

Потевня дал толкование центральной, на его взгляд, идеи Достоевского, его «мессианизму»:

«Мессианизм (еврейский, польский, московский), вера в то, что известному народу предназначено быть спасителем мира, есть вера униженных и оскорбленных, долженствующая в мечте вознаградить их за действительные страдания и внушить любовь к жизни. Поднятие духа есть аппетит нормальный, но мессианизм есть плохой суррогат здоровой пищи. Верховные руководящие идеи не падают сверху, а создаются из того самого материала, из коего – и кучи мыслей и чувств, завершаемые этими идеями. Как

⁷ Местная хроника // *Южный край*. 1881. № 52. 24 февраля. Научный подход стремился продемонстрировать другой профессор, уже в Казани, – Н. Н. Булич, рассмотревший раннее творчество Достоевского с позиций культурно-исторической школы (Ф. М. Достоевский и его сочинения: Историко-литературные очерки. I. Первая литературная деятельность: 1845–1849. Речь на акте императорского Казанского университета 5 ноября 1881 г., читанная заслуженным ординарным профессором Н. Буlichem. Казань: тип. Казанского ун-та, 1881. 48 с.).

⁸ Местная хроника // *Южный край*. 1881. № 52. 24 февраля.

⁹ Там же.

реакция действительно или мнимому унижению и падению духа, является, так сказать, гипомания¹⁰, а не чувство собственного достоинства, равенства и братства. Наоборот, кто хоть по малости имеет возможность совершать дела братства и любви, тот вряд ли почувствует жажду всемирного господства, хотя бы и для служения всем и спасения всех детей Сима, Хама и Афета. Мессианизм Достоевского с его враждою к „господам русским европейцам-либералам” (в числе коих есть не только холопы просвещения, но и его слуги), перешедши в практические сферы, может достигнуть не поднятия народного духа, а чего-то совсем другого»¹¹.

Высказывание ученого как ученого, т. е. не выходя за пределы научного дискурса, может быть принято, а может быть и оспорено; в данном случае оно было, мягко говоря, недостаточно аргументировано. Достоевский не испытывал сам и не поддерживал в соотечественниках «жажду всемирного господства» ни в какой форме. Это миф, правда, весьма живучий. «Мессианизм» Достоевского, если уж употреблять это слово, был служением Христу и делу распространения Христовой истины (в этой точке начинался диалог глухих). В сфере геополитической, касательно роли и места России в мировом пространстве, автор «Дневника писателя» действительно был сторонником империи, имеющей за собою военное и экономическое могущество в отстаивании своих интересов, но это ничуть не вело его к мечтаниям о насильственном захвате чужих территорий. Здесь была еще одна точка глухоты: настойчиво повторяемые опровержения Достоевского, очевидно, воспринимались то ли как лицемерие, то ли как «самообман».

Между тем высказывание Потебни быстро перешло из научного контекста в общественный – и когда оно было напечатано в харьковской газете, и уж тем более когда его перепечатало столичное издание. Мало того, оно сделало это дважды, через три дня еще раз процитировав слова ученого¹². Они теперь попадали в широкое информационное пространство и были использованы в обостряющейся борьбе идей вокруг наследия Достоевского.

¹⁰ В газете – гипсомания, вероятно, ошибка, перешедшая затем в последующие перепечатки в форме «ипсомания» (см. указанные ниже публикации в газете «Порядок», а также [Туниманов 1984: 298]).

¹¹ Местная хроника // *Южный край*. 1881. № 52. 24 февраля. Черновые заметки, использованные в данной лекции, были опубликованы учениками профессора (см.: [Потебня 1976]), в них имеется и краткое суждение о «московском мессианизме» [там же: 589], однако цитируемый текст отсутствует. Очевидно, он так и остался только в газетном изложении.

¹² [Без заглавия] // *Порядок*. 1881. № 57. 27 февраля; текст повторен в составе статьи: С. К. Литературные заметки // *Порядок*. 1881. № 61. 3 марта.

В консервативных изданиях («Московские ведомости», «Новое время», «Русь», «Гражданин», «Современные известия») интерпретация наследия писателя и публициста (особенно последнего «Дневника писателя», вышедшего в день похорон и воспринятого как завещание), также принимала наступательный характер. Либеральная пресса трактовала это как «эксплуатацию» памяти писателя («Молва», 5, 21, 25 февраля; «Порядок», 21 февраля, 2 марта).

В «Современных известиях» 2 февраля в передовой статье взял слово редактор-издатель газеты Н. П. Гиляров-Платонов. Он задался вопросом о значении поразительного факта таких еще небывалых похорон, «всеобщности участия» в них «всех образованных классов общества и всех представителей образованности, без различия мнений, и всех ступеней гражданской иерархии»:

«Чему же, кому воздавалась честь? Таланту? Не совсем, то есть отчасти только. Гражданским заслугам? Их во внешнем смысле не было. Мыслителю? Почти так: воздавалась честь именно соединению в одном лице художника, страдальца и мыслителя-публициста, таланту, убеждению и жизни в нераздельной живой совокупности, честь идеалу, которого верным служителем и носителем был художник-мыслитель, – **пророк, как назвал его некто на днях**. Не все разделяли его образ мыслей, но никто не мог отказать в почтении тому, что мысли эти выстраданы, куплены ценою не одного отвлеченного, праздного кабинетного умствования, но ценою незаслуженной каторги, каторги во всем ее буквальном смысле, ценою Мертвого дома. И к этому художественный талант с глубиной и пронизательностью психического анализа, от которого каждому читателю его творений становилось подчас страшно! **Не просто художественная, но нравственная сила** и этой-то силе воздавали честь вчера...»¹³.

Поднял Никита Петрович и другое слово в разгоравшейся с новым жаром войне слов¹⁴:

«Некоторые из не соглашающихся с образом мыслей усопшего художника-пророка высказывали и высказывают сожаление, что он вдался в **“мистицизм”**. **Очень удобное слово**, особенно для тех, кто не дает в нем отчета. То же ставили в вину и Гоголю, к которому впрочем душевною судьбою Ф. М. Достоевский подходил ближе всех; мистиками обзывали и старых славянофилов (Хомякова, К. Аксакова и И. Киреевского); того же прозвища

¹³ <Гиляров-Платонов Н. П.> [Передовая статья] // *Современные известия*. 1881. № 32. 2 февраля.

¹⁴ До него это сделал О. Ф. Миллер в выступлении на Пушкинском вечере 29 января. «Пушкинскую речь», заявил он, либеральная пресса пластала «тупым ножом скептицизма», дабы охранить молодежь: «Он, видите ли, мог ее увлечь в мистицизм» (*Неделя*. 1881. № 5. 1 февраля. С. 178).

несомненно дождался бы и Пушкин, если подолее пожил, как можно судить из направления, к которому повернулась его мысль в последние годы. Пусть упрек Гоголю представлял за себя основание в его несомненном нервном расстройстве перед кончиною, хотя направление, за которое его упрекали, зародилось в нем еще задолго ранее. Но забавно усматривать “мистицизм” в людях, столь основательно изучивших европейскую науку, каковыми были Хомяков и Киреевский. Вдумывались ли несогласные с Ф. М. Достоевским как публицистом почитатели его как художника вот в какой вопрос однако: возможно ли представить, не скажем увлечение мистицизмом, но даже вообще поверхностное усвоение каких-либо начал человеком, обладающим тою силою анализа, которая всеми бесспорно признана за Ф. М. Достоевским? И если начала, которые исповедывал пророк-художник, были плодом глубоко обдуманной мысли над собою, дерзнут ли состязаться с ним в этой глубине саморазмышления поспешные его критики, не уличают ли они сами себя в верхоглядстве?»¹⁵.

Достоевский, как и названные в статье русские умы, полагает Гиляров, был настоящим «самородком». Журналист-мыслитель вкладывает в это слово особое значение оригинальности, самобытности мышления на фоне повсеместных шаблонных форм (что до чрезвычайности свойственно было самому автору этих строк): «это не мистики, а эксцентрики в области ума». Однако, идя каждый своим путем, они удивительным образом сходились в одной точке:

«... каждый из поименованных несомненно великих умов и талантов в пору зрелых сил эксцентрически обращался независимо один от другого именно к направлению, окрещиваемому именем мистического, с теми или другими видоизменениями. Верхогляды называют речь Ф. М. Достоевского, произнесенную на юбилее, даже “ретроградною”, на каковой эпитет впрочем не скупались ни для Гоголя, ни для Пушкина, ни для славянофилов. Общего во всех этих мистиках и ретроградах, за что и получали они такое наименование, было то, что они искали внутреннего нравственного и даже прямо религиозного идеала, его признавали право на господство и к нему взывали. <...> И именно по мере возмужалости сил подходила эта мистическая и если уже так угодно называть ее, ретроградная струя. Да и перечисленными ли умами оканчивается ряд? Ф. М. Достоевскому наследует другой громадный творческий талант, другой самобытный ум в лице Л. Н. Толстого...»¹⁶.

¹⁵ <Гиляров-Платонов Н. П.> [Передовая статья] // *Современные известия*. 1881. № 32. 2 февраля.

¹⁶ Там же. Гиляров не удержался и от наблюдения глубоко лично пережитой им особенности русской мысли: «... а в том, что каждый приходит к нему <открытию истины> в одиночку, своею дорогою, с необходимыми, благодаря одинокому развиту, уклонениями – в этом пропасть трагического» (там же).

Выстроив такой ряд, Гиляров заставлял задуматься: что-то да значить сия наклонность русского гения? В том же направлении сильное слово было сказано И. С. Аксаковым в «Руси» (мы уже говорили о нем выше). Гораздо мягче, но в близком ключе выступил А. С. Суворин. Лучший русский фельетонист был в своем амплу: он нарисовал подкупающе живой образ человека, с которым был близко знаком и мог свидетельствовать о характере его личности:

«Достоевский обладал особенным свойством убеждать, когда дело касалось какого-нибудь излюбленного им предмета: что-то ласкающее, просящееся в душу, отворявшее ее всю звучало в его речах. <...> Политические идеалы Достоевского, мимоходом сказать, были широки, и он не изменил им со дней своей юности. До этих идеалов очень далеко гг. либералам, которые так безжалостно, а иногда и мерзко его преследовали, называя даже “врагом общественного развития”. Кто говорил с Достоевским искренне, тот это знает, знают и те, кто вчитывался в его сочинения, кто понимал его типы, над которыми, точно проклятие какое, тяготела мрачная судьба, какая-то серная, удушающая, коверкающая, почти до безумия доводящая атмосфера, кто понимал, что надо всеми этими несчастными звучит сострадательное, теплое, призывающее к миру и любви слово писателя, психолога и мыслителя. <...> Чувствовался искренний, горячий друг людей неудовлетворенных, людей, стремящихся вдаль, ищущих истины...»¹⁷.

2.

«Единение у гроба», о котором говорил и писал не один Гиляров-Платонов, довольно быстро затем сходило на нет. Его счел необходимым и вовсе опровергнуть Н. К. Михайловский в февральских «Отечественных записках». Это его выступление оказалось самым значительным из «ниспровержений кумира». Критик оттолкнулся от классической для него статьи Добролюбова «Забитые люди» (1861) с ее утверждением гуманистического пафоса творчества писателя. Взгляд Добролюбова, по мнению его последователя, уже не соответствует реалиям последних двух десятилетий творчества Достоевского:

«С течением времени эта боль об униженном стала осложняться чувством совершенно противоположным, каким-то жестоким чувством почти радости, что человек унижен; а тщательное изыскание лежащего на дне души

¹⁷ *Незнакомец <Суворин А. С.> Недельные очерки и картинки. О покойном // Новое время. 1881. № 1771. 1 февраля.*

чувства собственного достоинства и протеста заменилось проповедью смирения и вольного или невольного (каторжного) страдания»¹⁸.

Неизбежно, говорит критик, встал вопрос, как относиться к унижающим: можно требовать возмездия, а можно и пойти к ним с проповедью добра и правды – это кому как нравится, но гораздо важнее сначала «перенести вопрос на общественную почву» широких реформ, чтобы «вырвать самые корни унижения и оскорбления». Достоевский, по утверждению Михайловского, «никогда не признавал» необходимости социальных реформ, «восставал против новых учреждений» и доказывал «едино-спасающее значение личного совершенствования». Он «верил в силу личной нравственной проповеди (проще говоря, в свою собственную силу верил)»¹⁹. Критик, заметим, искажал истину: Достоевский никогда не был контрреформатором, другое дело, что самое реформирование общества он представлял иначе, **полагая социальное следствие нравственного, а не наоборот**. Отсюда так возмущивший критика пример с гоголевской Коробочкой в «Дневнике писателя» 1880 года («... если б только Коробочка стала и могла стать *настоящей*, совершенной уже христианкой, то крепостного права в ее поместье уже не существовало бы вовсе» – 26: 162).

Для Достоевского, утверждал критик, вновь передергивая, «общий порядок вещей был неприкосновенен», и потому-то современный развитый читатель не может не испытывать к нему «чувство брезгливости» (!). Даже в лучшем его романе «Преступление и наказание» – посмотрите, за что автор осуждает главного героя:

«Он дерзнул на восстание, он кощунственно коснулся общего порядка и теоретическою мыслью, и практическим действием (довольно, впрочем, бессмысленным). За это-то его и совесть мучит, за это он и на каторгу идет, и только там, на каторге, смирившись и уверовав, получает, наконец, душевный мир»²⁰.

Как полагает Михайловский, писатель в том же духе «расправляется» с неугодными ему другими героями. Особенно «злонамеренно» расправился он с человеком передовых взглядов Ракитиным в «Братьях Карамазовых», сделав его «медным лбом» и даже сводником. Принцип действий Достоевского на романном поприще критику очевиден:

¹⁸ Н. М. <Михайловский Н. К.> Записки современника. II. О покойниках // *Отечественные записки*. 1881. № 2. С. 250.

¹⁹ Там же. С. 252.

²⁰ Там же. С. 255.

«Наметив подходящую жертву, Достоевский отнимает у нее Бога и делает это так просто и механически, что точно крышку с миски снимает. <...> испытываемый немедленно начинает совершать ряд более или менее гнусных преступлений...»²¹.

Разоблачение Достоевского кажется вершиной того субъективного метода, который провозгласил Михайловский в том числе в критике: во всем он видит проявление личности писателя, в этом есть, конечно же, зерно истины, но не до такой же степени художник, если он художник, является неограниченным диктатором в создаваемом им художественном мире! Получается, по Михайловскому, что Достоевский построил некий театр марионеток, послушных его манипуляциям. Трудно понять, как это укладывается рядом с представлением о Достоевском как гениальном художнике, но такова эстетическая платформа, на которой стоит критик.

На ней стоял не один Михайловский²². Так, известный нам критик через год после смерти Достоевского подвел такой итог его творчества:

«... романы его – тот же воскресный фельетон, то же памфлетное творчество, вооруженное всеми чарами рассказа, описания и лирического излияния. Начиная от “Преступления и наказания”, все они написаны на тезис: все они проповедают отречение от духовной гордыни, красоты аскетизма и схимничества, тщету науки и гибельность так называемого “современного духа”»²³.

Тургенев, конечно же, высоко оценил это образумливающее от увлечения Достоевским выступление либерального критика: «Светлая голова и проницательный ум» [Тургенев. Письма. 13; 253]. Впоследствии Тургенев благословит и Михайловского за «Жестокий талант».

Однако у Михайловского это еще не было пределом субъективного метода. Мы только подбираемся к его вершине. Вот она, наконец, в кратчайшем изложении:

«В исключительном таланте Достоевского была одна черта, придававшая ему особенную силу, черта, которую **я не умею иначе назвать, как жестокостью таланта** <...>, жестокая, мучительная складка <...> побуждала его с наслаждением растягивать утонченнейшие описания мучений и страданий <...> часто совсем без нужды»²⁴.

²¹ Там же. С. 258.

²² Его горячо поддержали: *Введенский Арс.* Критические заметки. Литература и народ // *Молва*. 1881. № 55. 25 февраля; С. К. Литературные заметки // *Порядок*. 1881. № 61. 3 марта.

²³ *Л. <Ларош Г. А.>* Поклонение Достоевскому // *Голос*. 1882. № 68. 14 марта.

²⁴ *Н. М. <Михайловский Н. К.>* Записки современника. II. О покойниках // *Отечественные записки*. 1881. № 2. С. 256.

Так начиналась одна из самых могущественных интерпретаций творчества писателя. Мы проследили начало ее зарождения из навязанной Достоевскому тоталитарной эстетики, в дальнейшем же определение «жестокий талант» (после публикации в 1882 г. статьи Михайловского под этим названием) станет, пожалуй, наиболее часто применяемым к Достоевскому.

Неприятие (вплоть до «брезгливости») авторитетным критиком Достоевского лишь на первый взгляд было вызвано партийными разборками²⁵, невозможно его также объяснить исключительно проявлением индивидуальной идиосинкразии, хотя и то и другое имело место. В жестоком нападении на личность писателя, особенно замечательном после его недавнего ухода из жизни, сказалась закономерная логика развития главенствующего направления русской критики XIX века – социально-публицистической. Разразился весьма показательный конфликт ценностей («примирительная» интерпретация нам не представляется убедительной – см.: [Штейнгольд]). Выступление Михайловского – пристрастная инвектива, вобравшая в себя накопившиеся недоумения, искренний гнев и возмущение определенной части читателей, оскорбляемых Достоевским. Мир писателя представляется им безжалостным зверинцем. Достоевский и на самом деле берет зло и жестокость мира в их крайнем выражении, но это не означает, что мы имеем дело только с его видением, напротив, историческая действительность после Достоевского не только подтвердила его худшие опасения за человека, но и во многом перецеголяла их.

Прочтение Михайловского и сегодня имеет сторонников, пошедших еще дальше и убежденных, что мир после Достоевского ужасен благодаря Достоевскому. Это похоже на обвинение врача, поставившего неблагоприятный диагноз. Вопрос, вероятно, заключается в том, надо ли «врачу» оглашать такой диагноз. По крайней мере, в медицинской среде в по этому поводу нет единства: одни предпочитают говорить всю правду пациенту, другие считают правду ненужной жестокостью, убивающей досрочно. Вероятнее всего, решающей в этом споре остается правота конкретного случая: есть больные и больные, есть читатели и читатели. Так, Николай Константинович Михайловский может быть отнесен к тому роду читателей, коим противопоказан «жестокий

²⁵ Об этих мотивах, доводящих критика до прямой клеветы на покойного писателя см.: Буренин В. Литературные очерки. <...> – Поход либерального фарисейства против покойного Достоевского, или г. Михайловский в роли клеветника, бегущего за погребальной колесницей // *Новое время*. 1881. № 1796. 27 февраля.

талант» Достоевского. На этом можно было бы поставить точку, если бы не воинствующая агрессия критика, возведенная в принцип. Михайловский явно не прочь по примеру Платона изгнать чрезмерно «искусного» в мучительстве художника из «идеальной» республики литературы.

Критик не скупится на оговорки и похвалы талантливому художнику, но это только ширма, за которой стоит строгий и беспощадный судья. «Я знаю истину», – как бы говорит он, а истина заключается в том, что «жестокость» Достоевского чрезмерна и искусственна, а потому для нашей жизни – «ненужная». В этом последнем слове – средоточие всех претензий²⁶.

Тенденциозность критика проявляется в подборе аргументов и выстраивании их в определенную систему. Поначалу он показывает черты ненужной жестокости в героях Достоевского (Коля Красоткин у постели умирающего Илюши²⁷, в статье «Жестокий талант» добавятся Фома Опискин и «подпольный»), их жестокость критик предпочитает называть беспричинной. Затем Михайловский переносит свойства героев на самого автора, их создавшего. Ход мыслей выдает древнейший предрассудок «наивного» читателя, не ведающего об эстетической природе произведения, в частности, о границе между автором и героем. Именно в беспощадном разглядывании зла, мучительном для читателя, Достоевский и проявил «огромность» таланта – этого Михайловский не может отрицать:

«Он до конца дней своих доставлял многочисленным читателям своеобразное мучительное наслаждение игрою своей творческой силы»²⁸.

Противоречие «мучительного наслаждения» совершенно невыносимо для критика, и чтобы как-то выйти из него, он готов встать на сторону пушкинского Сальери и признать, что «гений» и «злодейство»

²⁶ Не хотелось бы по примеру Михайловского переходить на личность, но не можем, хотя бы в примечании, не отметить, что своеобразной «жестокости» не был лишен и сам жестокий ее гонитель. Любопытное с этой точки зрения «психологическое» наблюдение сделала одна зоркая мемуаристка: оказывается, любимый прием Михайловского в спорах был «наводить других на доказательства, заставляя выбалтываться или сбиваться в противоречиях», а затем внезапно окатить холодной водой. Он нарочно доводил противника до крайности и «как бы тешился чужим раздражением, дававшим ему яркое ощущение собственного превосходства» [Тимофеева-Починковская].

²⁷ «Сцена совершенно невероподобна <?>, но все-таки производит сильное впечатление именно благодаря жестокой тщательности, с которой ее отделяет автор» (Н. М. <Михайловский Н. К.> Записки современника. II. О покойниках // *Отечественные записки*. 1881. № 2. С. 257).

²⁸ Там же. С. 244.

совместимы (кстати, не лишне напомнить, что Сальери у Пушкина, будто демонстрируя давность досужих толков о «жестокости» таланта, ссылается на легенду о Микеланджело, распявшем натурщика). Вместо того, чтобы распутывать сложный – и эстетический, и психологический – узел Достоевского, критик просто разрубил его мечом квази-этического обвинения. Так **простота победила сложность**, и в данном случае речь должна идти не об одних индивидуальных предпочтениях критика. Напомним, что Достоевский не раз описывал враждебный ему уклон в «успокоительную» простоту как явление историческое, едва ли не эпохальное. Так, в главе «Несколько заметок о простоте и упрощенности» октябрьского «Дневника писателя» 1876 г. он предупреждал: «Простота враг анализа. Очень часто кончается ведь тем, что в простоте своей вы начинаете не понимать предмета, даже не видите его вовсе...» (23: 143). Там же, говоря о страшном и в чем-то характерном событии – о самоубийстве дочери Герцена, писатель поставил «жестокий» для последователей Герцена – Михайловского диагноз: «Душа не вынесла прямолинейности безотчетно и безотчетно потребовала чего-нибудь более сложно-го...» (23: 146). Сущность «простоты» Михайловского, которому помешала «сложность» Достоевского, верно обозначил в свое время Н. А. Бердяев: «Подобно всякому рационалисту, он брал человеческую природу не в ее мистической, сверх-рациональной целостности и полноте, он брал ее отвлеченно, рационалистически рассекал, и таким образом убивал живую непосредственную жизнь, соприкасающую нас с тайной мира». Рационализм же, говорит философ, боится всего темного, проблематичного в человеке, «что может помешать благополучно устроиться, выстроить человеческие личности в ряды, нормировать все и вся» [Бердяев 1989]. Выступление Михайловского продиктовал страх критически мыслящего рационалиста перед иррациональной природой человека, открываемой Достоевским. Уж лучше бы он этого не делал! Дело, очевидно, в этом, а не в одних личных и партийных предпочтениях.

Михайловский – продолжатель того направления в русской критике, мировоззренческие основы которого закладывались Белинским, Чернышевским, Добролюбовым. С Белинским и Добролюбовым он, правда, полемизирует, опровергая их суждения о гуманизме Достоевского, однако при внимательном рассмотрении можно указать на общие точки. Белинский, как известно, защищал первый роман писателя «Бедные люди» от сокрушительных нападков критиков, испытывавших от прочтения его «тяжелое и частное» впечатление. Белинский отстаивал и эстетическую («трагический элемент») и общественно-

воспитательную необходимость тяжелого впечатления. Однако в анализе «страшной сцены» у его превосходительства критик начинает в чем-то очень существенном расходиться с автором, когда интерпретирует «задышающуюся» благодарность Девушкина к своему благодетелю: «И сколько потрясающего душу действия заключается в выражении его благодарности, смешанной с чувством сознания своего падения и с чувством того самоунижения, которое бедность и ограниченность ума часто считают за добродетель!» [Белинский; 9: 561]. Тема «самоунижения», поднятая Белинским вопреки художественной логике эпизода, ведет к «Забитым людям» Добролюбова, у которого христианская нота Достоевского взята под еще большее подозрение. Благодарность Девушкина к его превосходительству («Этим поступком они мой дух воскресили...») новый критик толкует исключительно как «полное признание своего ничтожества»: «В этих излияниях душевных вы видите доброту, чувствительность, благородство, но согласитесь, что ведь вам жалко то унижение, в какое он ставит себя, и только сила сострадания прогоняет в вас то чувство отвращения, которое иначе невольно возбудилось бы в вас таким искажением человеческой природы...» [Добролюбов; 7: 250]. «Искажение человеческой природы» «реальный» критик видит там, где сам автор уже начал путь к главной своей теме воскрешения человека через страдания.

Расхождение ценностных ориентаций критики «забитых людей» и писателя становится очевидным, но оно еще не достигло той кульминации, каковая состоится в критике «жестокости таланта». Да и сам Михайловский не сразу сформулировал тезис о жестокости. Он, как мы помним, с некоторой даже болью отреагировал на «измену» прогрессивным идеалам в романе «Бесы» и вполне доброжелательно советовал автору вернуться, так сказать, на круги своя и разоблачать других «бесов» – богатства, наживы. Еще в 1872 году Михайловский открыл забрало: «Разве желание наделить всех и каждого материальным благосостоянием не способно составить идеал, вызвать высокие чувства, великие мысли?»²⁹. По убеждению же Достоевского именно этот маленький

²⁹ Н. М. <Михайловский Н. К.> Литературные и журнальные заметки // *Отечественные записки*. 1872. № 9. Современное обозрение. С. 132. Достоевский, без сомнения, читал эти строки, так же как и следующее возражение, которое он напечатал в редактируемом им еженедельнике: «Мы скажем решительно: нет, мысль о благосостоянии неспособна составить идеал, не может вызвать высокие чувства и великие мысли. К этому способны и это могут делать только идеи чисто нравственные, то есть такие, вся цель которых заключается в нравственном усовершенствовании человека, в возвышении достоинства его жизни» (*Страхов Н.* Заметки о текущей литературе // *Гражданин*. 1873. № 18. 30 апреля. URL: <http://smalt.karelia.ru/~filolog/grazh/1873/30aprN18.htm>)

«катехизис» («были бы все обеспечены, были бы все и счастливы») и свидетельствует о «полной потере высшего идеала существования» (23: 25).

Тогда, в 1873 году открыл забрало и Достоевский в главах «Среда» и «Влас» «Дневника писателя». Достижение материального благосостояния Достоевский открытым текстом отказался считать высшим идеалом. Христианство «делает человека ответственным» и потому на него, человека, а не на безликую «среду» (социальные, экономические и прочие обстоятельства) возлагает то, что называется «виною» и «преступлением». Михайловский вел себя тогда сдержанно-иронично, но речи Достоевского, повторявшиеся в том же духе в «Дневнике писателя» 1876 и 1877 гг., глубоко запали в его сознание. Сразу же после смерти Достоевского критик именно этот эпизод выставил против поклонников писателя, в частности, против А. Ф. Кони, заговорившего о «правде и милости» в произведениях Достоевского³⁰.

«Напомню, – возражал юристу критик, – заветную, излюбленную мысль покойного о необходимости страдания, в силу которой он строго порицал суд присяжных за склонность к оправдательным приговорам и требовал “строгих наказаний, острога и каторги”»³¹.

Как это бывший каторжник заговорил о «необходимости» каторги? Примитивизируя мысль Достоевского, критик находит ей только одно объяснение: писатель-консерватор тем самым оправдывал существующий порядок вещей, создающий мучителей и мучеников, оправдывал страдания последних, тем более что «народ любит и хочет страдать»³². Прямолинейное политическое истолкование упрощало и тем самым искажало «идею страдания» Достоевского, но именно такое истолкование оказалось узаконенным позднейшей социально-публицистической критикой и литературоведением. Поправка к бескомпромиссности Михайловского, в свое время внесенная В. Ф. Переверзевым (в произведениях Достоевского «в сжатом, как бы сгущенном виде, собрано страдание, причиняемое неуклюжестью общественного механизма» [Переверзев]), возвращала читателей к «гуманному» Достоевскому, тот же путь избрало и советское достоеведение. Философия страдания Достоевского была отнесена к личным «реакционным»

³⁰ Кони А. Достоевский как криминалист. (Произнесено в общем собрании юридического общества при С.-Петербургском университете 2-го февраля 1881 года) // *Неделя*. 1881. № 6. 8 февраля. С. 208–218; то же: *Журнал гражданского и уголовного права*. 1881. № 2. С. 10–27.

³¹ Н. М. <Михайловский Н. К.> Записки современника // *Отечественные записки*. 1881. № 2. С. 245.

³² Там же. С. 261.

заблуждениям писателя, противоречащим объективному смыслу его произведений. Цена такого «оправдания»: творения Достоевского лишились фундамента, на котором они стояли; Михайловский при всей экстремальности осуждения оказывался честнее своих последователей. Он ставил вопрос, от которого те уклонились.

Работая над «Преступлением и наказанием», Достоевский сделал запись, формулирующую «православное воззрение»: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, – есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания. Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием» (7: 154–155). Запись обнажает краеугольный камень в основании мировоззрения Достоевского. Именно этот камень и отвергли строители нового «разумного» мира. Почти ответом Достоевскому прозвучали крылатые слова В. Г. Короленко (соратника Михайловского) «Человек создан для счастья, как птица для полета» (из рассказа «Парадокс», 1894). Антропологический аспект полемики с Достоевским Михайловский обозначил достаточно откровенно и без короленковского романтизма:

«Человек – животное, просто животное, ищущее наслаждений во что бы то ни стало, без мысли об их источнике, значении и последствиях – не занимал Достоевского»³³.

Однобоко сияющий гедонизм трактовал страдания как не нужные человеку и полагал их исключительно по ведомству внешних злых сил (прежде всего социальных), с которыми следует бороться. Утверждение относительного блага страдания (см., напр.: [Льюис]), максима христианской антропологии, воспринятая Достоевским, не могла не казаться жестокостью либерально-гуманистическому сознанию. Михайловский и выразил его со всей присущей ему искренностью. Близорукая прагматика гуманистической **доброты** (не-жестокости) в социальных учениях и сопутствующей публицистической критике вытеснила христианскую категорию **добра**, включающего в себя благодать страдания. Так, «новое евангелие» – роман Чернышевского «Что делать?» – ставило в качестве всеобъемлющего идеала преодоление страданий силою разума и достижение всеобщего комфорта. Проза и публицистика Достоевского противостояли, но не могли остановить движение русского общества в этом направлении. В «Братьях Карамазовых»

³³ Там же. С. 257.

детские страдания «расписаны» так жестоко, что напугали робкого в этом отношении К. П. Победоносцева. Ответом Ивану Карамазову, не желавшему простить Творцу невинных детских слез (бунт доброты), были не только проповеди Зосимы, но и вся книга «Мальчики» – история о том, как через страдания Илюши снизошла на ожесточенные сердца благодать любви, истинное торжество добра. Следует со всей отчетливостью осознать: **христианский «парадокс о страдании», глубоко пережитый Достоевским, оказался чужд секулярно-либеральному сознанию его критиков.** Оппонентами Михайловского впоследствии выступили Вл. Соловьев, В. Розанов, Л. Шестов, Т. Манн... Но это была уже другая эпоха. Наиболее простым и доходчивым было толкование И. Анненского: поэзия Достоевского «жестока, потому что жестока и безжалостна прежде всего человеческая совесть» [Анненский: 240].

Своеобразным противовесом к доктрине Михайловского оказалась большая работа П. Н. Ткачева (его третья статья о Достоевском), названная им «Новые типы “забитых людей”» («Дело», 1881, № 2, 3, 4). Уже судя по названию, понятно, что перед нами – развитие идей, высказанных два десятилетия назад Н. А. Добролюбовым. Оно с очевидностью противоречило представлениям Михайловского о несоответствии уже этих идей поздним произведениям писателя. Наметился, таким образом, новый «раскол в нигилистах».

Вначале Ткачев подхватывает мнение Добролюбова, что произведения писателя ниже эстетической критики. И впрямь, соглашается он, «школьная эстетика» требует «целостного» действия, а «Братья Карамазовы», как нарочно, «сшиты белыми нитками из отдельных отрывочных драматических сцен и эпизодов, не имеющих, в сущности, между собою никакой внутренней логической связи»³⁴. Нет единого героя и единого действия. За героев говорит автор, а они «играют роль этикеток». А самое главное (внимание!):

«Прежде всего поражает в “Братьях Карамазовых” (как и в большей части последних романов Достоевского) полнейшее отсутствие рельефного, конкретного, художественно-законченного воспроизведения *характеров* <...>. Все они страдают какою-то “безличностью”, и ни одно из них не запечатлено печатью оригинальной самобытной *индивидуальности* <...>; всё его <автора> внимание сосредоточивается исключительно на воспроизведении особенностей *родовых*, воплощающих в себе какое-нибудь *свойство*, общее

³⁴ Ф. Б-ъ <Ткачев П. Н.> Новые типы «забитых людей». («Братья Карамазовы». Ром. в 4-х част. с эпилогом, соч. Ф. М. Достоевского. С.-Петербург. 1881 г.). (Статья первая) // Дело. 1881. № 2. Современное обозрение. С. 2.

целой группе данных индивидов. Потому его герои являются в большинстве случаев какими-то абстрактными *воплощениями* некоторых психических свойств человеческой природы, а не реальными, живыми людьми»³⁵.

Уже не в первый раз внимательные критики замечают несоответствие характерологии Достоевского привычным эстетическим канонам: воспроизведение человеческих характеров происходит в их **внутреннем**, действительно **родовом** качестве, что с точки зрения канонов, требующих обязательных внешне-пластических форм, представляется, отсутствием характерологии как таковой. «Внутреннее» через «внешнее» – требует канон, Достоевский же выбирает «неправильный» путь: «внешнее» – через «внутреннее». Современный исследователь предлагает для этого достаточно точный термин: «эмоционально-ценностная ориентация» как «способ отношения человека к миру, глубинная основа его реакций на мир» [Касаткина 1996: 12].

Следующее замечание похоже на камешек в эстетический огород Михайловского:

«С точки зрения этой эстетики *художественно воспроизведенные* характеры живых людей никогда не могут и никогда не должны производить на читателя того мучительного, болезненного впечатления, которое производит на него все эти Карамазовы, Смердяковы, Груши, Ильюшечки, Лизы и т. п.»³⁶.

Не должны, но производят! И Ткачева, в отличие от Михайловского это ничуть не возмущает. В представленном им ассортименте эстетических оплошностей Достоевского заметна язвительная ирония по отношению к требованиям «школьной эстетики». Критику куда важнее суд читателей, и здесь у Ткачева – другие сведения по сравнению с показаниями Михайловского о повсеместной «брезгливой» реакции:

«Но странная вещь: несмотря на все эти и многие другие прегрешения против основных “статей” эстетического кодекса, романы Достоевского читаются публикою с жадностью и производят на нее почти всегда сильное, глубокое и нередко потрясающее впечатление. Каждое его новое произведение составляло как бы “литературное событие”»³⁷.

Итак, эстетика (добавим: старая эстетика) не повинна в потрясающем и благотворном (вопреки Михайловскому!) воздействии романов Достоевского на читателей. Тогда, может быть, дело в полезных идеях, продвигаемых писателем? Ничего подобного: Достоевский принадлежит

³⁵ Там же. С. 4–5.

³⁶ Там же. С. 6.

³⁷ Там же. С. 7–8.

к писателям «отсталого образа мыслей», впрочем, добавляет критик, как и Шекспир, Пушкин, Лермонтов...

«Но если не эстетические достоинства данного беллетристического произведения и не мирозерцание писателя-беллетриста обуславливают интерес, возбуждаемый в публике его произведениями, то что же именно возбуждает этот интерес?»³⁸

Ответ критика: «**жизненные интересы**»³⁹. Определение, существенно уточняющее формулу Добролюбова «жизненная правда». Достоевский предлагает читателю потрясающий «психологический анализ», правда, по мнению критика, «анализ у него решительно преобладал над синтезом», потому что «открывал в душе человеческой одни лишь внутренние противоречия»⁴⁰. Читатель и за это должен быть благодарен писателю, а сводить противоречия к «обобщающему единству» ему, разумеется, поможет критик, «реальный» критик школы Добролюбова, каковым и ощущал себя П. Н. Ткачев. Обозревая состав героев Достоевского и ведя дело к искомому «единству», критик нащупывает путь к антропологии писателя:

«Одним словом, человек, взятый, так сказать, *сам по себе*, человек в *своем материальном естестве*, представляется философу-мистику каким-то гнусным сосудом всевозможных пороков и злодеяний. Но каким же образом в этом гнусном сосуде может зародиться вера в свое бессмертие, и каким образом самая эта вера может быть примирена с этим безотрадно-пессимистическим взглядом на человеческую природу? Нравственная философия, предлагаемая Достоевским, разрешает этот вопрос весьма просто: в сердце каждого человека, как бы груб и животен ни был, всегда тлеет некоторая «искра божия», – эта «искра божия» проявляется в таких душевных свойствах человека, которые, по существу своему, диаметрально противоположны его *человеческой* природе. *Человеческая природа* порождает в человеке необузданный эгоизм, себялюбие, гордость, ненасытную жажду к «удовлетворению и приумножению» чувственных потребностей; *искра божия* зажигает в нем, наоборот, безграничную и самоотверженную любовь к ближним, кротость, незлобие, смирение, самоунижение, отречение от его эгоистических потребностей, плотоубийство и т. п.»⁴¹.

В этом месте, казалось бы, критик радикального лагеря должен предать анафеме «мистицизм» Достоевского, но этого не происходит.

³⁸ Там же. С. 13.

³⁹ Там же. С. 14–15.

⁴⁰ Там же. С. 19.

⁴¹ Там же. С. 22.

Напротив, Ткачев (следуя завету Добролюбова) делает принципиальное, ключевое для него заявление:

«Для читающей публики решительно всё равно, из каких источников выводит автор те чувства, аффекты и душевные состояния, в которых он видит *искру Божию*, пусть он считает <их> чем-то как бы *сверхъестественным*, исходящим не из *человеческого естества*, не из данной материальной, чувственной природы человека, а из *чего-то*, находящегося *над* этой природою, из *чего-то* противоположного этой природе; это – дело его личного мирозерцания, дело его интеллектуального развития, и нас, читателей, оно несколько не касается. Для нас важно, что он признает *факт* существования этих чувств и этих душевных состояний в *каждом человеке*, каким бы грубым эгоистом он нам ни казался <...>. Раз *факт* этот признан и констатирован – он примиряет нас с “падшим” или “забитым” человеком, он заставляет нас *уважать* его, симпатизировать, сострадать ему; иными словами, он делает наши отношения к людям более нравственными, гуманными, – **он самих нас делает нравственнее и гуманнее**. И вот в этом-то нравственно-гуманизирующем влиянии и заключается, по нашему мнению, главное достоинство произведений Достоевского...»⁴².

Далее критик разъясняет, что он имеет в виду под «забитыми людьми», расширяя семантику этого выражения сравнительно с Добролюбовым. В «забитые» он записывает не только Мармеладова (почему-то неоднократно названного Ермолаевым), Снегирева, Максимова, но и сознательно избравших «смирение» Зосиму, Алешу, Паисия⁴³. Более того, к ним, по Ткачеву, следует отнести и героев карамазовского эгоизма («силы низости») – Дмитрия и Ивана со Смердяковым.

По-своему замечательна концовка статьи, выводящая смысл романа в нужное для критика русло:

«Но ведь вы приходите, в конце концов, скажут нам, пожалуй, оптимисты, к ужасному и совершенно безотрадному выводу: из вашего анализа различных разновидностей забитых людей выходит, что над всеми ими <надо> поставить, так сказать, крест, что из их положения нет другого выхода, кроме самоубийства или окончательного нравственного и умственного оупления, или разврата, или разочарования – нет и не может быть другого выхода? Да, конечно, для Карамазовых, Смердяковых, как и для отцов Зосимов, Снегиревых, Максимовых, нет другого выхода... Однако разве анализ их “души”

⁴² Там же. С. 24–25.

⁴³ Ф. Б-ъ <Ткачев П. Н.> Новые типы «забитых людей». («Братья Карамазовы». Ром. в 4-х част., соч. Ф. М. Достоевского. СПб. 1881). (Статья вторая) // Дело. 1881. № 3. Современное обозрение. С. 1–40.

не открывает нам в ней такие свойства, чувства и стремления, которые, при известной выработке и развитии, могут быть с успехом утилизированы для более или менее осмысленной борьбы с жизненными условиями, порождающими человеческую забитость. Но для того, чтобы они могли быть утилизированы самим забитым человеком, для этого существенно необходимо, во-первых, чтобы он ясно понимал причины, вытекающие из этих жизненных условий, а во-вторых, чтобы вполне отчетливо сознал всю трагическую безвыходность своего положения, всю невыносимость своего существования под гнетом подобных условий»⁴⁴.

Призыв «утилизировать» наследие Достоевского для целей, не совпадающих с устремлениями самого писателя, получил большое развитие (особенно в советском литературоведении после «возвращения» Достоевского в середине XX века), но и объявивший войну «жестокому таланту» Михайловский также обрел немало соратников.

К этим двум полюсам демократической критики выступления других представителей левого движения мало что могли добавить. Мир не изменится от христианской проповеди, уверяла М. К. Цебрикова. Почему же тогда молодежь так верит проповедям Достоевского? Во-первых, потому, что они очень «расплывчатые», и это «позволяет каждому видеть в словах его то, что желается» (версия, как мы помним, хорошо разработанная Г. Успенским), а во-вторых, они в наше лживое время поражают своей искренностью. «Искренность всегда сила», и она «действует тем сильнее, чем сильнее шатанье умов». Критик при этом обращается за примером к последнему, январскому «Дневнику писателя» 1881 года:

«И потому вполне понятен восторг, с каким молодежь перечитывает его слова о том, что она призвана оздоровить корни своим единением с народом, что в ее искании правды, в ее чуткости к словам правды и любви – залог оздоровленья. Страстное убеждение и глубокая искренность объясняют силу влияния Достоевского на молодые умы»⁴⁵.

Получается, что проповедь Достоевского сильна своей формой, а не содержанием с его консервативным толком. И еще получается, что личность писателя, а не его идеи привлекают читателя. Критик не дал себе труда вникнуть в суть идеи оздоровления корней в последнем

⁴⁴ Ф. Б-ъ <Ткачев П. Н.> Новые типы «забитых людей». («Братья Карамазовы». Ром. в 4-х част., соч. Ф. М. Достоевского. СПб. 1881 года). (Статья третья) // *Дело*. 1881. № 4. Современное обозрение. С. 48.

⁴⁵ Цебрикова М. Двойственное творчество. «Братья Карамазовы», роман Ф. Достоевского // *Слово*. 1881. № 2. Отд. II. С. 20, 27.

«Дневнике писателя» (что было сделано в те же дни Л. Е. Оболенским – см. о нем далее). Религиозное обоснование нравственности Цебрикова также относит к отсталости писателя: он задержался в плену «предания», тогда как век отдался «науке». Цебрикова в связи с этим развивает знакомую уже нам (см., напр. высказывания Скабичевского) концепцию двойственности творчества писателя: Достоевский-проповедник, говорит она, не равен Достоевскому-художнику:

«Предание создало Достоевского-проповедника. Идеи XIX века создали Достоевского-художника. Всё, что есть живого в типах его, принадлежит всецело современному литературному движению...»⁴⁶.

Близкое толкование дал другой критик, также тяготеющий к «полюсу» Ткачева:

«... ожидать вреда от проповеди Достоевского невозможно: он – не опасный противник прогресса, он даже – не противник <...> Достоевский не найдет <...> последователей своему учению. Но своим искренним, честным, глубоко правдивым отношением ко всему, о чем он берется судить, он поучает читателя, как надо приступать к суждению о делах людских <...>. Вся непостижимая галиматья, в которую он веровал, вся его проповедь исчезает при этом <...> читатель не замечает ее, потому что всё заступает, всё покрывает собой – страстная любовь автора к людям, его глубокое “проникновение” в страждущие души... Несмотря на все усилия, какие он делал для того, чтобы стать поборником мрака – он является светочем...»⁴⁷.

В несколько наивных рассуждениях радикального критика (мы уже видели его в этой роли) выражает себя одна важная истина – о нравственном воздействии Достоевского как бы **поверх барьеров**, установленных идеологической нетерпимостью.

В противоположном и привычном для него качестве **нетерпимости к инакомыслию** выступил М. А. Антонович. Он безапелляционно утверждал, что в начале своего творчества Достоевский был «представителем искусства для искусства» (вопреки мнению Добролюбова, на верность которому критик ритуально присягнул в зачине статьи), а с шестидесятых годов стал типично «тенденциозным» писателем. Таково и последнее произведение Достоевского, не роман, а «трактат в лицах <...> на одну и ту же, очевидно излюбленную автором, тему теологического или, лучше, мистико-аскетического свойства», правда,

⁴⁶ Там же. С. 30.

⁴⁷ Л. Алексеев <Паночини Л. А.> О «Братьях Карамазовых» // Русское богатство. 1881. № 11. С. 2.

«подправленный и сдобренный разными романтическими снадобьями и художественным перцем»⁴⁸. Вот к чему в конечном счете сводится проповедь под видом романа:

«Интеллигенция должна отказаться от своего просвещения, должна отвергнуть зловредное европейское образование, отречься от него, смирить свою гордость и свой ум, овладеть собою, “подчинить себя себе”; а самое лучшее средство для этого – отправиться в монастырь и выбрать себе в руководители какого-нибудь старца, отдаться в его полное распоряжение, быть у него на послушании, отречься от своей воли и предаться его воле во всем...»⁴⁹.

Отозвавшийся на статью Антоновича В. П. Буренин остроумно определил ее характер: критик «разносит» роман «всё с тем же семинарским апломбом и с теми же излюбленными приемами и подходами, с какими когда-то он “разносил” (но, увы, не разнес) “Отцов и детей” Тургенева». Антонович относит себя к школе Добролюбова, не обладая его «критическим вкусом и сосредоточенной мыслью», это критик-«казуист». Он (вместе с Г. З. Елисеевым) думает, что находится еще в шестидесятых годах, но «семинарщина» ныне устарела с ее «холопским лукавством, с ее книжно-теоретической бездушной узостью взглядов на жизнь и общественное развитие»⁵⁰. Представим два эпизода «разговора» двух критиков.

1. Антонович: «Если вы человек гордый и непокорный, то ваша непокорность не принесет вам ничего, кроме неприятностей; своего вы не добьетесь, а только будете мучить себя неудовольствием. Если же вы человек смиренный, то сразу отказываетесь от своих личных вкусов <...> – и вы счастливы вследствие вашей покорности. Эту же мысль выражают русские пословицы: “Ласковый теленок двух маток сосет”, “У кого спина гнется, тот всего добьется” и другие, а также известная басня: “Дуб и трость”. Проведите этот принцип по всем сферам жизни, по всем видам и отраслям человеческих отношений, и вы станете счастливым человеком, не уязвимым ни для каких несправедливостей, обид и притеснений. Вообразите, что кто-нибудь хватил вас кулаком. Если вы человек гордый и без самоотречения, то вы или дадите сдачи и затеете целую драку, или же начнете иск за оскорбление действием и тем подвергнете себя всем неприятным судебным мытарствам,

⁴⁸ Антонович М. А. Мистико-аскетический роман. («Братья Карамазовы»). Роман в 4-х частях с эпилогом Ф. М. Достоевского. Два тома. СПб. 1881. С эпиграфом: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Иоан. XII, 24) // *Новое обозрение*. 1881. № 3. С. 192.

⁴⁹ Там же. С. 195.

⁵⁰ Буренин В. Литературные очерки // *Новое время*. 1881. № 1843. 17 апреля.

которые скорее и сильнее измучат вас, чем вашего обидчика, которого суд может оправдать, а если и присудит, то к какому-нибудь незначительному штрафу, так что оскорбление ваше еще более усугубляется. Человек же смиренный, когда его хватят кулаком, поступит совершенно иначе; он схватит руку обидчика, с жаром облобызает ее и скажет ему: «Друг, что ты так снисходителен ко мне, ударил меня так слабо и то только один раз; ударь меня еще раз и притом посильней; если я и не виноват перед тобою, то наверное виноват перед кем-нибудь другим, может быть, я сам кого-нибудь обидел; а если я не виноват, то виноват кто-нибудь из моих родных; поэтому бей меня сколько хочешь, и я всякие побои перенесу охотно, потому что я помню заповедь моего старца, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся, за всех людей и за всякого человека на сей земле»⁵¹.

Буренин: «... кроме прелести остроумия тут ведь и либерализм, и казуистика, притом, как я уже заметил, казуистика, кажущаяся г. Антоновичу непременно «победоносной». <...> И однако аскетический Зосима мог бы победоносную логику г. Антоновича опровергнуть самым простым образом: он мог бы сказать, что смирение, обуздание самого себя и своей воли, отречение от всякого насилия рекомендуется не для одних подвергающихся ударам кулака, но также и для хватающих кулаками. А если последние примут принцип отречения <...>, тогда не на чем будет семинарской казуистике разыграться...»⁵².

2. Антонович: «В числе козлиц-грешников первое место занимает уже упоминавшийся семинарист Ракитин, отчаянный, сухой и бессердечный безбожник, который индифферентен и глух даже к тем вопросам, которые волнуют вольнодумный ум Ивана Карамазова. Ракитин ни во что не верит, никого не любит, не имеет никаких высших интересов. Он презирает ангела Алешу, глумится – страшно сказать – над самим старцем Зосимой и всею монастырскою братиею. Единственная страсть у него – страсть к деньгам, выше и желательнее которых для него нет ничего. Вопреки своей гуманности автор изобразил эту личность не человеком, а каким-то извергом, настоящим сатаной, в котором нет ни одной человеческой черты»⁵³.

Буренин: «Это, как и многое другое в статье г. Антоновича, милая семинарская ложь. Ракитин вовсе не сатана, а только мелкий, завистливый и бездушный семинарист со скверными ультра-практическими наклонностями, которые он старается основать на якобы ужасном всеобщем отрицании. Черты, присвоенные Ракитину Достоевским, совсем не сатанинские,

⁵¹ Антонович М. А. Мистико-аскетический роман // *Новое обозрение*. 1881. № 3. С. 229–230.

⁵² Буренин В. Литературные очерки // *Новое время*. 1881. № 1843. 17 апреля.

⁵³ Антонович М. А. Мистико-аскетический роман // *Новое обозрение*. 1881. № 3. С. 213.

а настоящие черты семинарщины в ее безобразном развитии. <...> Наконец, говоря откровенно, г. Антонович мог бы в собственном своем прошлом найти некоторый пример, подтверждающий верность подробностей, отмеченных Достоевским...». Буренин напоминает «дрянную» свару, затеянную Антоновичем против Некрасова, когда ему не удалась, по примеру Ракитина, «попытка завладения чужим журнальным хозяйством»⁵⁴.

Свою позицию в споре о Достоевском над его свежей могилой высказал и «Вестник Европы» в лице обязательного оппонента писателя А. Н. Пыпина. Им был использован известный, хорошо описанный Достоевским прием «подмарывания» (15: 96). Белинский и Добролюбов, говорит критик, находили серьезные недостатки в художественном даровании Достоевского, а ведь это бесспорные авторитеты в деле литературы.

«Эти суждения нужно вспомнить, чтобы избежать тех странных преувеличений, с которыми так часто говорилось в последние годы о значении таланта Достоевского и его “художественной силе”. С ошибкой в художественной оценке легко соединялась и ошибка в оценке самого содержания писателя»⁵⁵.

«Содержание» же критик свел к измочаленной уже «мистической теории», «где главным основанием было чувство, а доказательством – предвещание». Пыпин внес важное уточнение, хотя тоже не новое:

«Теория излагалась лирическими порывами, – до конца было неясно, в чем, наконец, по идеям Достоевского, был бы исход из современного общественного положения, которое и ему казалось бедственным...»⁵⁶.

Странно было видеть «крупного писателя», удивлялся Пыпин, в компании нападающих на «либерализм», который один только и указывает правильный «исход».

Выступление Пыпина не оставил без комментария нетерпимый к «либеральной полиции» В. П. Буренин:

«Замечательная черта нашей либеральной холопщины: как только крупный писатель-художник достигает в своих произведениях некоторой самостоятельности мысли, как только он становится в такое положение, что его творчество начинает черпать свою силу прямо из родника его высокоодаренной души, как только эта высокоодаренная душа сближается

⁵⁴ Буренин В. Литературные очерки // *Новое время*. 1881. № 1843. 17 апреля.

⁵⁵ А. В. <Пыпин А. Н.> Литературное обозрение // *Вестник Европы*. 1881. Кн. 3. Март. С. 425.

⁵⁶ Там же. С. 428.

с непосредственными заветами национального духа, так сейчас же либеральная холопщина <...> объявляет писателя отставшим от “жизненных идей”, утратившим дарование и общественное значение»⁵⁷.

Буренин дал иное, чем у Пыпина и ему подобных представление о соотношении раннего и позднего творчества Достоевского:

«... все произведения покойного писателя, начиная “Бедными людьми” и кончая “Униженными и оскорбленными”, относятся к последовавшим затем наиболее зрелым плодам его творчества как *стремление к достижению*»⁵⁸.

Выступление Пыпина в своей сверхзадаче – остановить растущее на глазах влияние Достоевского (концовка статьи: «Он хотел быть прямо учителем и руководителем общества, – на что едва ли доказал свое право»)⁵⁹ – напоминает пафос статьи Михайловского. И либерал, и народник сошлись в чувстве если не страха, то сильнейшего опасения за судьбу своих идей. Их попытался успокоить идейно близкий, но с более широким взглядом современник:

«Ошибка перепуганных либералов наших состоит в том, что сбитые с толку шумным одобрением Достоевскому, они в нем видят какого-то умственного вождя современного поколения. Это совершенно ложная тревога»⁶⁰.

В отличие от Михайловского и Пыпина, Венгеров признавал в Достоевском «вождя нравственного», который может научить «глубине, искренности любви». Он оказался ближе к Ткачеву и Паночини.

3.

Идейное расслоение мы наблюдаем и на другом конце кипучего симпозиона над могилой писателя.

«Новое время», как уже говорилось, затеяло на своих страницах многодневное служение памяти Достоевского, тон которому задавали

⁵⁷ Буренин В. Литературные очерки. Мнение критика «Вестника Европы» о Достоевском. – Произведения Достоевского. – Первый и второй период его творчества. – Выдержки из «Бесов», касающиеся злобы дня. – Заключение // *Новое время*. 1881. № 1817. 20 марта.

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ А. В. <Пыпин А. Н.> Литературное обозрение // *Вестник Европы*. 1881. Кн. 3. Март. С. 429.

⁶⁰ Венгеров С. А. Достоевский и его популярность в последние годы // *Отклик*. Литературный сборник в пользу студентов и слушательниц высших женских курсов города С.-Петербурга. СПб., 1881. С. 291–292.

Суворин и Буренин. Однако была дана возможность выступить и авторам, не придерживающимся строго главной линии. В издаваемом при газете «Литературном журнале» Суворин напечатал пространные размышления о Достоевском В. К. Петерсена, военного инженера и довольно оригинально мыслящего публициста. Он начинает первую свою статью с заявления в духе Вл. Соловьева о том, что влияние Достоевского еще «неприменно <...> скажется на действительной жизни всего русского народа»⁶¹. Но смысл этого влияния видится ему совершенно противоположным соловьевскому христианству. Главная сила Достоевского, по мнению, Петерсена, заключалась в его гениальном уме, а не в художественном даре. Критики, полагает публицист, до сих пор не понимают устройства и направления этого ума:

«Ум Достоевского – специально ум скептика, искусившегося в отрицании *без конца*. Такого рода чисто западноевропейский скептицизм весьма хорошо растет и достигает высокой силы в среде русской интеллигенции, но он не знаем и, скажу прямо, противен русскому простому народу. Это прекрасно понимал и Достоевский как философ, но как художник не мог перерастить самого себя, что доказывается чуть ли не каждой страницей его последних романов»⁶².

Основной мотив этих романов, по Петерсену, – раздвоение личности, «самотерзание рефлекса» (в такой чудной форме многократно употреблено слово «рефлексия»):

«Вот почему произведения Достоевского никогда не будут народными произведениями, а, напротив, вечно будут увлекать своею болезненною красотою всех мучеников рефлекса, этой страшной мозговой болезни многих деятелей нашего времени, болезни, в громадной степени присущей их автору»⁶³.

Спасение Достоевского, полагает Петерсен, было не в религии, как представлялось самому художнику:

«Ему хотелось сказочного, чего-то подобного тому, чтобы человек, подходя к горам, делался птицей, к морю – рыбой, не переставая на ровной земле оставаться человеком. Будь он только поэт, из него бы вышел сказочник (каким он является в своем прелестном эскизе “Мальчик у Христа на елке”), но он был мыслитель, и потому разум повелительно возбранял ему подобные упования. В результате, конечно, получилась проповедь смирения,

⁶¹ Оникс <Петерсен В. К.> Федор Михайлович Достоевский // Литературный журнал. 1881. № 2. С. 185.

⁶² Там же. С. 188.

⁶³ Там же. С. 189.

ожидания и самоусовершенствования. Между тем ходячему глубокомыслию нужны формы! Вот почему эти мудрые ценители и судьи и не могли понять, что общее отрицание Достоевского далеко, далеко опережает все их частные отрицания, надежды же его сами по себе подразумевают и их крошечные надежды»⁶⁴.

Едко высказался Петерсен об оппонентах Достоевского из прогрессистского лагеря, которых он называет «формалистами», полагающими, «что если ему <человеку> дать голубой кафтан вместо серого, то и сам он моментально переродится»⁶⁵. В отличие от них Достоевский обладал необыкновенной **смелостью мысли**:

«Он сам себя не боялся, а у нас эта отрицательная добродетель уже является заслугой <...>. В нравственном смысле мы, русская интеллигенция, – трусы великие, а Достоевский был несомненным героем. Он всё смел сказать, когда считал это нужным, чего нельзя сказать даже о Тургеневе»⁶⁶.

В своем качестве мыслителя Достоевский «никак не может быть причислен к идеализаторам земного существования», более, того, «на мир Божий он имел мрачный взгляд, на человека – взгляд безотрадный, фаталистический»⁶⁷. Отсюда проистекают особенности его романов:

«... вся сила и достоинство художественных созданий Достоевского – в отрицании. Он не дал ни одного положительного типа, но зато с успехом обвинял человечество в такой подлости, грязи, нелепости, что у простого сердца при чтении его романов это сердце обливается кровью»⁶⁸.

В качестве примера критик приводит сцену у постели больного Илюши, когда «радость Илюши... убивает Илюшу же!», а также соревнование в благородстве Дмитрия (ему критик весьма симпатизирует как типично русскому человеку) и Катерины Ивановны, которая в итоге становится главной причиной осуждения героя на каторгу. «Не слишком ли это мрачно, не слишком ли строго, не чересчур ли умно?» – восклицает критик. Если не щадит писатель «лучших людей в его романах», – разве он не «пессимист»?

Разбору «Братьев Карамазовых» с этих позиций критик посвятил отдельную статью в двух номерах «Литературного журнала», назвав ее «Вступление к роману “ангела”» – то есть обыграв предисловие

⁶⁴ Там же. С. 191–192.

⁶⁵ Там же. С. 192.

⁶⁶ Там же. С. 190.

⁶⁷ Там же. С. 191.

⁶⁸ Там же. С. 194.

«От автора» о втором романе (14: 6). «Ангелом» критик насмешливо называет Алексея Карамазова, «сродни» же автору он считает Ивана. Цель романа, полагает Петерсен, – «доказать невозможность людского правосудия, понимая эту невозможность в самом широком значении слова», и ничего лучшего автор не мог придумать, как превратить роман в «чистую проповедь аскетизма»⁶⁹. Это была победа мыслителя над художником: получился роман «по архитектуре своей весьма неважный» (много страниц критик отдает, чтобы показать нелепости, на которых построен криминальная фабула, сконструированность Смердякова, инородные для Грушеньки «рефлексы»), зато «это замечательное произведение мыслителя», где он сумел гениально «высказать мысли поразительной смелости и силы». Поражают Петерсена мотивы сокрушительного сомнения, «бесповоротного отрицания». В этом свете христианские идеи Достоевского представляются критику выражением новейшего типа «христианина по доводам разума, нежели по указаниям сердца» (закрадывается сомнение, не рисовал ли критик собственный портрет «по канве» Достоевского) и потому «верующего вопреки самым отчаянным сомнениям»:

«Вечно сомневаясь и дерзая глубоко заглядывать в бездну отрицания, на что давал ему право очень сильный ум, он с другой стороны так же упорно и так же постоянно заставлял умолкать эти сомнения перед повелительными требованиями Божественного откровения»⁷⁰.

От статей Оникса (псевдоним происходит от названия камня, использованного при строительстве библейского храма Соломона) веет духом Вольтера и вообще эпохи Просвещения с ее культом Разума. Оттого критик так глубок в понимании «горнила сомнений» и так мелок, приближаясь к «осанне» (ограничиваясь ее «повелительными требованиями»). Кичащийся превосходством просвещенного разума и приписывающий это превосходство Достоевскому, критик как бы прочитывает только половину романа. Восприятие, скажем так, далеко не единичное в рецептивной истории «Братьев Карамазовых», да и других романов Достоевского.

В качестве противовеса подобного рода критике предстоит уже знакомый нам Л. Е. Оболенский. Первоначальная его реакция на «Братьев Карамазовых» мало чем отличалась от расхожих оценок либеральной критики:

⁶⁹ Оникс <Петерсен В. К.> Вступление к роману «ангела»// *Литературный журнал*. 1881. № 6. С. 378.

⁷⁰ Там же. С. 377.

«... г. Достоевский представляет экземпляр в высокой степени мощного художественного таланта, упавшего под влиянием условий жизни до странного и туманного мистицизма»⁷¹.

Далее идет до боли знакомая картина: критик сверяет с романом известные ему стандарты, находит расхождение и спешит заявить о замеченных несовершенствах:

«Как образовались типы трех остальных сыновей <Федора Павловича>, к сожалению, сказать невозможно: г. Достоевский, занятый больше всего своими мистическими туманами, не рассказал нам детства и юности этих трех отпрысков настолько, чтобы можно было проследить их развитие»⁷².

Прошло чуть меньше полутора лет – и мы находим у того же критика **совсем иное прочтение** романа. Вот, к примеру, как он понимал образ Алеши в 1879 году:

«Этот юноша, такой молодой и чистый, уже успел настолько потерять веру в действительность, в реальную окружающую жизнь, что видит одно спасение в аскетизме, в монастырском затворничестве. Что могло породить такое раннее глубокое разочарование, – г. Достоевский опять нам не выясняет и вы уже из таких постоянных недомолвок видите, как слабо, поверхностно его новое произведение в смысле глубины захвата жизни и явлений, взятых им для своего романа. Ни на один существенный запрос критики, возбуждаемый самим романом, читатель не находит ответа»⁷³.

Иным представляется критику тот же герой в 1881 году. Теперь он настолько тонко понимает «раннего человеколюбца», что догадывается, наконец: младший из Карамазовых – явление молодого героя современной России вне зависимости от того, носит ли он подрясник или студенческую блузу. Этот герой сердцем и умом дошел до понимания, что «человечество страдает и требует скорой непосредственной помощи»⁷⁴, о чем, собственно, и весь роман, по Оболенскому. Есть в Алеше качество, формирующее целостность его натуры:

«Его собственное юношеское нежное влечение ко всем людям и природе прежде всего *удивляет* его и требует объяснения. Как фетишизм и анимизм первобытного человека слагался, между прочим, из удивления перед природой, так этот новый мистицизм “чистой любви” слагается

⁷¹ N. N. <Оболенский Л. Е.> Литературные типы. Критические заметки // Свет. 1879. № 9. Сентябрь. С. 97–98.

⁷² Там же. С. 99.

⁷³ Там же. С. 101.

⁷⁴ <Оболенский Л. Е.> «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (Критический анализ) // Мысль. 1881. № 2 (февраль). С. 246.

из удивления перед явлениями собственной психики, а именно перед субъективными явлениями любви. От этого удивления до признания этой таинственной любви всеобщим свойством людей и до обоготворения людей – один шаг»⁷⁵.

Понятно, что уже собственную философию выстраивает критик на фундаменте Достоевского, но что же такое случилось с ним за эти полтора года, что так изменило духовное зрение?

Не рассматривая весь набор (см. подробнее: [Книгин 1992]), остановимся только на двух ключевых событиях, несомненно, способствовавших «перевороту». Первое – это «Пушкинская речь», которой Оболенский дал одно из самых проникновенных прочтений (см. выше). И второе – уход Достоевского. Своей новой статье о романе «Братья Карамазовы» Оболенский (редактор журнала) предпослал краткий фрагмент, обведенный траурной рамкой⁷⁶, который читается не как некролог, но как исповедь горячего сердца, как запоздалое покаяние критика. В самом деле, что он и как он говорит!

«Но не будем возбуждать злобы и горечи <к его гонителям> у гроба человека, так страстно любившего людей и на все их пытки и мученья отвечавшего одним: “Прости им, Боже! не ведают, что творят!” Будем лучше, братья, горько рыдать над его безвременною могилой, будем горько каяться, вспоминая его слова, что общественное “я” слагается из частных, личных “я”, – что надо высоко поставить личное “я”, чтобы высоко стало наше общественное “мы”. Вспомним это и среди наших рыданий дадим себе клятву не оставаться более холодными зрителями или палачами наших гениев, пророков, наших великих учителей любви и правды»⁷⁷.

Что-то знакомое в словах и в самой интонации? Будто докатилось эхо от речи у камушка Алексея Карамазова. Критик так проникся духом и смыслом романа, что Савл на наших глазах обратился в Павла. Теперь он читает роман не как проповедь никчемного аскетизма, но как проповедь любви (в лучах которой и пресловутый аскетизм стал участником живой жизни). Даже в Смердякове, в котором он раньше видел только «некультивированный мозг», теперь в этом «мыслителе самородном» замечает глубокую психологическую драму и даже приходит к выводу, что Смердяков «убил из любви к Ивану», а тот, теоретик, не понимает, не хочет понимать, в своем высокомерном гуманизме не

⁷⁵ Там же. С. 249.

⁷⁶ См. иллюстрацию № 13.

⁷⁷ <Оболенский Л. Е.> Над гробом Ф. М. Достоевского // *Мысль*. 1881. № 2 (февраль). С. 228–229.

догадывается, что у «смерда» болезненная несостоятельность оттого, может быть, что «его никто никогда в жизни не любил»⁷⁸.

Новыми глазами смотрит теперь критик на героев романа и видит то, чего раньше не замечал. Вся эта новая статья – разбор как главных, так и второстепенных персонажей, который приводит критика к пониманию, как Достоевский предлагает решить вековечную проблему человеческого счастья. В отличие от других критиков-современников Оболенский прочитывает поэму о Великом инквизиторе (которого он почему-то не раз называет тайным инквизитором – полагаем, оттого, что статья писалась как бы на некотором «отлете» от текста романа, опираясь только на собственное переживание глубоко осевших в эмоциональной памяти образов) не как наступление Достоевского на католицизм, но в гораздо более широком смысле. Инквизитор напоминает критику французских мыслителей, социальных реформаторов, «полагавших необходимым известный деспотизм или по крайней мере внешний авторитет для счастья людей»⁷⁹. Этого не чужд и «великий О. Конт в своей религии и идеале общественного строя», и особенно И. Тэн в своей истории революции. Инквизитор – не случайное порождение Ивана, в котором критик находит также отражение пессимизма Шопенгауэра. Вся философия Ивана – от его недоверия к людям, от неверия в людей при всей его сострадательности. «Это действительно страдающий человек, но страдающий безысходно», потому что «он любит только отвлеченных людей и отвлеченные страдания»⁸⁰.

Продолжение «инквизиторского» мотива Ивана Карамазова Оболенский находит... в Коле Красоткине:

«Не напоминает ли вам, мой читатель, этот суд Красоткина над Илюшей, эта боязнь его, чтобы не завелся душок в нравственно подчинившейся ему среде, – иных областей жизни? Но тут – дети! А там взрослые, большие, но... тоже дети?»⁸¹.

«Эксперимент» Красоткина и сцена у постели умирающего Илюши потрясли критика и повели к далеко идущим соображениям:

«Красоткину и в голову не приходит, что иногда ожидание может быть убийственно, а сильная радость и совсем убить может. Красоткин так занят своей

⁷⁸ <Оболенский Л. Е.> «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (Критический анализ) // Мысль. 1881. № 2 (февраль). С. 228–229.

⁷⁹ Там же. С. 255.

⁸⁰ Там же. С. 257.

⁸¹ Там же. С. 245.

“огромной” любовью, что ему и в голову не приходит, что <...> будет уже поздно. <...> Готовить для человечества “огромное” счастье, а не помогать немедленно, по мере сил и чем можно, опасно, потому что пока мы придем с своей огромной помощью, Илюши надорвутся от страданий и озлобятся; <...> Смердяков, не видящий ниоткуда братски протянутой руки, убьет своего отца...”⁸².

Только теперь «новый» Оболенский смог понять и принять в сердце не только «раннего человеколюбца» Алешу, но и его наставника старца Зосиму. Трудно давалось это атеистическому сознанию, но критик нашел некий «промежуточный», так сказать, субъективно-психологический вариант. Иван несчастен, говорит он, потому что не знает, в отличие от Зосимы и Алеши, «великой силы этих психических движений, способных дать действительное счастье человечеству, по мнению этих последних»⁸³.

Критику предстоит еще строить переход между «наукой» и «религией» в последующих статьях о Достоевском, но мы пока вернемся к его траурному вступлению к разговору о романе. Открытие глубоко потрясшего его мира Достоевского позволило Оболенскому бросить поразительно проницательный (только самую малость поспешный) взгляд в будущее:

«Не надгробная фраза, не цветы красноречия, а искреннее убеждение наше, основанное на знании и изучении, подсказывает нам, что не пройдет и десятка лет, как произведения Достоевского станут известны всему миру, потрясут до глубины души чуждые нам народы, будут изучаться в течение веков как великое создание великого психолога, великой любви к людям, открывающее очи даже слепым на величайшие задачи человечества, на задачи любви...”⁸⁴.

Таким «слепым» недавно был и сам Оболенский: роман Достоевского, как мы видели, открылся ему далеко не сразу. Но именно он из так называемого молодого поколения, прошедший через Петропавловскую крепость и ссылку, сделал самый решительный шаг **преображения в читателя Достоевского**.

Этот шаг выводил Оболенского из стройных рядов прогрессивной критики, но и не приводил в стан противоположный, критик оказывался меж двух огней. Следовало объясниться, и объяснение состоялось в следующем номере журнала:

⁸² Там же. С. 246.

⁸³ Там же. С. 256.

⁸⁴ <Оболенский Л. Е.> Над гробом Ф. М. Достоевского // *Мысль*. 1881. № 2 (февраль). С. 228.

«Наша точка зрения на Достоевского оказывается столь исключительной среди всей нашей прессы, – как несогласной с Достоевским, так и становящейся под знамя его идей, что мы не можем отчетливо выяснить наших взглядов на него, не предпослав такому разбору критическую заметку по поводу чужих мнений о Достоевском»⁸⁵.

Исходные положения, из которых выходит автор (теоретически противоположные тем, что выставял А. А. Потебня), следующие:

«... по нашему крайнему разумению, Достоевского одинаково не понимали как его противники, так и его сторонники, хотя причины этого непонимания у тех и у других были чрезвычайно различны. <...> Критика настоящая, а тем более критика произведений великого писателя не должна быть только придирками к словам и частностям, не должна быть выставлением вперед, на первый план собственной персоны критика и его идеи <...>, критика есть прежде всего изучение и выяснение, иногда же очистка идей писателя от случайных или условных форм и наслоений, исторических или чересчур субъективных, **с целью выяснить сущность идей писателя**»⁸⁶.

Далее Оболенский сосредотачивается на разборе указанной выше статьи Н. К. Михайловского в февральских «Отечественных записках». Сложность ситуации заключалась в том, что Михайловский был, так сказать, однопартийцем, это был еще один «раскол в нигилистах», но общий пафос выступления сотоварища был абсолютно противен тому новому пониманию Достоевского, к которому пришел Оболенский. Его общий вывод:

Михайловский «выворачивает наизнанку идеи Достоевского и **приписывает Достоевскому** то, против чего он боролся всю жизнь»⁸⁷.

Так, Достоевский совсем не против судебной реформы, как получается у Михайловского (да и не у одного него): реформа-то хороша, «но люди, взявшие в ней место, не всегда стоят на уровне своей задачи», «указывать несовершенства не значит быть врагом»⁸⁸. Критик «Отечественных записок» сделал также вывод о «юридической идее» романа «Братья Карамазовы», вводящей ответственность «за мысли» (сюжет Ивана) – он или не дочитал, или забыл роман, возмущается Оболенский. Достоевский якобы проводит мысль о необходимости страданий – да пусть он почитает поучения старца Зосимы, утверждающие радость

⁸⁵ Л. О. <Оболенский Л. Е.> Проницательные критики. Литературная заметка // Мысль. 1881. № 3 (март). С. 406.

⁸⁶ Там же. С. 406–407.

⁸⁷ Там же. С. 408.

⁸⁸ Там же. С. 409.

бытия! Достоевский, уверяет Михайловский, всё сводит к личному самосовершенствованию – неужели он не читал последний «Дневник писателя», где предлагается начать улучшение наших финансов с «оздоровления корней»? «Надо же видеть основной принцип человека и тогда судить его частные фразы», – протестует Оболенский против той парциальной критики, с которой мы так часто сталкивались на страницах этой книги. Метод такой критики хорошо просматривается в нападках на гипотезу Достоевского о Коробочке и крепостном праве (мы уже обращались к ней). Мысль Достоевского, не понятную критиками, разъясняет Оболенский:

«... что недостаточно одного писанного закона для того, чтобы реформировать известное явление общества, нужно также переделать и чувства людей, обуславливавшие это явление. Он даже шел дальше и говорил, что реформирование чувств существеннее писанного реформирования внешних форм. Допустим, что тут была крайность, что Достоевский тут забывал влияние форм на воспитание чувств и думал воспитать чувства помимо форм. Но нельзя не видеть, что в этом увлечении была тем не менее здоровая, важная мысль, далеко не крепостническая и не враждебная реформе, а именно мысль, что писанные реформы без реформы чувства, т. е. без желания их выполнять, могут остаться мертвыми...»⁸⁹.

И вновь констатирует Оболенский, что, увы, **«так всегда искажали мысли Достоевского, потому что брали их без связи с его целым мировоззрением»**⁹⁰.

Попытка сформулировать «целое мировоззрение» писателя и публициста была предпринята в следующей статье критика «Оценка идей Достоевского». Здесь Оболенский вновь выходит на тему, воздвигшую непреодолимую преграду между писателем и многими его критиками – религиозные мотивы его романов, в особенности последнего. Для самого Оболенского совсем недавно эта тема была сигналом трубы, зовущим к бою. Теперь ход его мысли совсем иной. «Идеал Достоевского», признаёт он, является «идеалом православного крестьянина», писатель «выражает самую суть народной души и заветной религии этой души – любовь, милосердие, всепрощение»:

«... масса, от которой он говорил, была православна, и он проникся православием; но как человек с высоким образованием и умом, он очистил “народное православие” и облек его сущность в высоко философские формы, в симпатичнейшие типы, в высочайшие и гуманнейшие идеи. Он, так сказать,

⁸⁹ Там же. С. 412.

⁹⁰ Там же.

переработал народную религию в горниле собственного творчества и своего гениального ума...»⁹¹.

Кажется, впервые в литературе о Достоевском прозвучала столь важная категория, как «народное православие», которое и сегодня находит не так много вдумчивых исследователей (см.: [Власкин]). Оболенский слышит живые отклики ее и в поэзии Некрасова, однако в целом интеллигенция осталась равнодушна к этому голосу народной души, волнуясь лишь по поводу материального достатка простолюдина. Урок Достоевского, как его понял критик, состоит в том, что интеллигенция должна, наконец, признать:

«... нельзя служить одной какой-нибудь стороне жизни народа, а в то же время прать противу основных начал народной психики в их целом, которые суть факт, его ж не перескочишь, факт, заявляемый ежедневно народом, но перед которым интеллигенция привыкла только вопиять да ужасаться...»⁹².

Предложение Оболенского о «слиянии» интеллигенции с народом путем признания его идеалов в их целостности, нераздельно с верованиями, нашла немногих сторонников, зато на самого «ученика Достоевского» обрушился шквал критики бывших единомышленников. Чем-то его судьба предначертала тот путь, который пройдут в следующем поколении русские религиозные философы, называвшие себя «духовными детьми Достоевского» (см.: [Викторович 2014b]).

4.

Откликов на творчество Достоевского в церковных изданиях при жизни писателя было немного. Первый по времени (1862), правда, краткий отзыв принадлежит историку Ф. А. Терновскому, о его статье «Об отношении между духовною и светскою литературою» шла речь во второй главе.

В 1870 году выдающийся богослов Александр Матвеевич Бухарев (в монашестве архимандрит Феодор) написал обстоятельную статью «О романе Достоевского „Преступление и наказание“ по отношению к делу мысли и науки в России»⁹³, явившуюся своего рода образцом

⁹¹ Л. О. <Оболенский Л. Е.> Оценка идей Достоевского // Мысль. 1881. № 4 (апрель). С. 75.

⁹² Там же. С. 85.

⁹³ Впервые опубликована уже после кончины как автора, так и самого Достоевского: *Православное обозрение*. 1884. Т. 1. Январь. С. 12–60.

приложения идей и инструментария христианской антропологии к исследованию художественного строя знаменитого романа (см. подробнее: [Дмитриев 1996] [Ашимбаева]).

Однако затем наступает десятилетний перерыв: духовные писатели, лишь время от времени высказываясь о религиозных мотивах текущей светской литературы, осуждают нарочитую карикатурность при создании образов духовенства у писателей-шестидесятников (Ф. М. Решетникова, Н. В. Успенского и др.), превозносят лесковских «Соборян» и «На краю света» и даже произведения рядовых беллетристов вроде Н. Д. Хвоцинской («Баритон», 1857) или А. А. Лачиновой («Семейство Снежиных», 1872), но будто бы не замечают Достоевского периода его поздних романов и «Дневника писателя».

Показательный пример – профессор гомиетики Н. И. Барсов, только незадолго до кончины Достоевского отметивший по случайному поводу, что его сочинения «отличаются всегда нравственной тенденцией и производят глубоко нравственное впечатление...»⁹⁴. Однако, неоднократно на протяжении 1860–1870-х годов выступая с обзорами литературы, затрагивающей религиозно-нравственные проблемы⁹⁵, он ни разу не упоминает Достоевского. Писатель выпадает из поля зрения Барсова, даже когда тот составлял список авторов, произведения которых, по его убеждению, необходимо включить в семинарский курс словесности (в их числе Карамзин, Жуковский, Кольцов, Григорович, Даль, В. Одоевский, Хомяков, С. Аксаков, Мей и др.)⁹⁶.

Самыми значительными критическими откликами на творчество Достоевского в духовной периодике, увидевшими свет еще до завершения публикации «Братьев Карамазовых», стали две большие рецензии на этот роман, о которых речь шла в предыдущей главе («Церковно-религиозные вопросы, затрагиваемые в романе Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы“» А. А. Кириллова и «Идеалы будущего, набросанные в романе „Братья Карамазовы“» С. Д. Левитского), а также письмо А. М. Иванцова-Платонова к Достоевскому по поводу указанного романа (см. выше).

⁹⁴ Барсов Н. Наша светская печать – по вопросу о религиозности русского народа // *Церковный вестник*. 1881. № 2. 10 января. С. 6.

⁹⁵ Ср. характерную оценку его трудов анонимным рецензентом (подпись: М-ий): «Профессор Барсов отзывался – за последнее десятилетие – почти на всякое слово нашей периодической и непериодической печати о духовенстве и духовной науке...» (*Церковно-общественный вестник*. 1879. № 1. 1 января. С. 4).

⁹⁶ Барсов Н. И. Несколько слов о преподавании словесности в семинариях, применительно к новому Уставу // *Христианское чтение*. 1868. Ч. 1. Март. С. 442–443.

Именно с выраженных в этом письме позиций в церковной критике и начинается освоение наследия Достоевского: в нем подчас видели выдающегося духовного писателя, чуть ли не религиозного учителя-проповедника, а потому, подчас довольно поверхностно оценивая явленные в его творчестве особенности христианского мировидения, нередко идеализировали его художественные решения. Неслучайно ни одному из русских писателей не было посвящено столько церковных надгробных слов, сколько их прозвучало по смерти Достоевского.

Яркая в литературном отношении поминальная речь духовного писателя священника Иоанна Петропавловского представляет прямо-таки иконописный образ Достоевского: «... это муж Креста Христова, человек, ходивший пред Богом, искавший грядущего града с вечно устремлённым взором туда, куда ведут узкие врата...»⁹⁷. Как духовный пастырь отец Иоанн воздает должное писателю-психологу, освещавшему «тончайшие переплетения удивительнейших контрастов и противоречий в душе человеческой», и выделяет в качестве основной черты его творчества укорененный в Боге гуманизм: Достоевский выявляет в своих персонажах «ту блестящую искорку, по которой мы все сродны своему Творцу, Отцу светов»⁹⁸. При этом писатель представлен не только как духовный вождь нации («Он выразитель нашего народного духа, толкователь нашей жизни <...>. Он обратил нас к самим себе, к самопознанию и самоусовершенствованию»⁹⁹), но и страдалец-исповедник: «Богатое содержание его духа не легко приобретено им: оно выстрадано им, вышло из горнила мучительных ощущений его сердца. <...> Он подобие праведника»¹⁰⁰.

Вторил отцу Иоанну И. П. Яхонтов, автор «адреса» А. Г. Достоевской от студентов-богословов. Он писал, что писателю дорога была «самая даже маленькая черточка образа Божия в человеке» как залог будущего братства людей¹⁰¹.

⁹⁷ *Петропавловский И. Д., священник*, Земной жребий ревнителя правды: (Слово пред панихидою по Ф. М. Достоевском) // *Православное обозрение*. 1881. Т. 1. Февраль. С. 342 (то же, со стилистическими отличиями: *Петропавловский И.* Речь, сказанная на заупокойной литургии пред панихидой по Ф. М. Достоевском // *Московские церковные ведомости*. 1881. № 7. 15 февраля. С. 105).

⁹⁸ *Петропавловский И. Д., священник*, Земной жребий ревнителя правды. С. 342.

⁹⁹ Там же. С. 342–343.

¹⁰⁰ Там же. С. 343.

¹⁰¹ См.: *Яхонтов И.* Адрес студентов Московской духовной академии супруге покойного Ф. М. Достоевского // *Московские церковные ведомости*. 1881. № 7. 15 февраля. С. 105.

Редактор «Московских церковных ведомостей» протоиерей В. П. Рождественский считал, что Достоевский «поистине может быть образцом» для самих священнослужителей, и объяснял «высокую человечность» его творчества тоже ее укорененностью во Христе: «... поразительная по своей высоте и широте гуманность покойного происходила именно из религиозного источника, – была плодом искреннего и глубокого проникновения его души духом того Великого Учителя, Который звал к Себе всех труждающихся и обремененных...»¹⁰².

Член Комитета духовной цензуры архимандрит Иосиф (в миру И. Г. Баженов) в своей проповеди предвещал, что «взойдут некогда и заволнуются зрелыми колосьями благие семена его народно-русских мыслей и православно-христианских чаяний»¹⁰³. Архимандрит Евсевий (в миру Е. В. Лещинский), в то время преподаватель Саратовской духовной семинарии, называя Достоевского «пламенным исповедником Православия», указывает на христоцентризм его творчества: «Покойный всё желал сложить к стопам Спасителя, подчинить всё Христу как единому Пастырю единого христианского стада и Упокойтелю всех страждущих и обремененных...»¹⁰⁴.

Выдающийся проповедник и философ архиепископ Никанор (в миру А. И. Бровкович) в судьбе Достоевского видел явственное отображение евангельской притчи о блудном сыне (то есть покаянного возвращения интеллигента к народно-религиозной традиции). Поэтому, по мнению владыки, писатель и употребил свой высокий дар «на создание многих трогательнейших образов блудных сынов и дочерей из среды нашего русского современного общества»¹⁰⁵. Этот «обновленный сын Отца Небесного», убежден Никанор, в своем «служении идеалу добра» стоит неизмеримо выше всех остальных художников слова, которые «раскрашивают только беспросветный моральный мрак»¹⁰⁶, не исключая и великих его предшественников – Пушкина

¹⁰² <Рождественский В. П., прот.> По поводу смерти Ф. М. Достоевского // Там же. 1881. № 6. 8 февраля. С. 83.

¹⁰³ *Иосиф, архим.* Речь, сказанная в Казанском соборе 5 февраля в присутствии членов Славянского благотворительного общества, пред панихидою в девятый день смерти Ф. М. Достоевского // *Церковный вестник*. 1881. № 7. 14 февраля. С. 12.

¹⁰⁴ Слово при поминании Ф. М. Достоевского, сказанное Саратовской духовной семинарии преподавателем, архимандритом Евсеем // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1881. № 176. 29 июля.

¹⁰⁵ *Никанор, архиеп.* Поучение в неделю блудного сына, в день поминания раба Божия Феодора Достоевского: Мировое значение притчи о блудном сыне <1881> // *Никанор, архиеп.* Поучения, беседы, речи, воззвания и послания: <в 5 т.>. Т. 1. 3-е изд. Одесса, 1890. С. 221.

¹⁰⁶ Там же.

и Гоголя, лишь изредка, считает владыка, углублявшихся во внутреннюю природу человека (см. подробнее: [Дмитриев 1999]).

Священник А. Н. Кудрявцев, профессор богословия Новороссийского университета, также видел явное мистическое указание в том, что проводы Достоевского (точнее, панихиды в 9-й день по кончине) состоялись в отмечаемую Церковью Неделю блудного сына. Печальное событие высветляло стержневую художественную мысль писателя: «...он хотел показать, что, как бы глубоко человек ни пал, следы образа Божия в нем не изглаживаются, что, если только он верит в Бога и Его Провидение, он всегда может возвратиться на путь истины и добра...». Существенно, что и отец Александр не усматривает никаких отклонений Достоевского от евангельского учения: «...слово его не было словом обыкновенным. Оно постоянно было воспроизведением того Божественного Слова жизни, которое возвестил Господь и Спаситель наш»¹⁰⁷.

Протоиерей Иоанн Яхонтов, помощник главного наблюдателя за преподаванием Закона Божия в учебных заведениях Министерства народного просвещения, главной заслугой Достоевского считал его религиозно-общественную позицию и его убежденность в том, «что Православие сроднилось, срослось с русским народом и что великая будущность предстоит русскому государству, русской Церкви, русскому народу – деятельность просветительная и примирительная»¹⁰⁸.

Особенно проникновенным было надгробное слово о писателе, произнесенное ректором столичной Духовной академии, протоиереем Иоанном Янышевым, впоследствии придворным духовником. Отец Иоанн указывает на глубину религиозного мироощущения Достоевского, идеалом жизни которого была, по словам Янышева, «жизнь истинно-христианской любви, невозможной без самоотречения и православной правды, в свою очередь невысказанной без любви...»¹⁰⁹. Произведения писателя он называет «искренней литературной исповедью»:

¹⁰⁷ *Новороссийский телеграф*. 1881. № 1817. 10 февраля (также см. под назв. «Речь, сказанная в Новороссийском университете пред панихидою о рабе Божиим Феодоре Михайловиче Достоевском»: Прибавления к Херсонским епархиальным ведомостям». 1881. № 5. 1 марта. С. 123–127).

¹⁰⁸ *Яхонтов И. К., прот.* Слово при поминании Ф. М. Достоевского. СПб.: Губ. тип., 1881. 8 с. В сборнике «Ф. М. Достоевский и Православие» (М., 1997. С. 43) при перепечатке проповеди отца Иоанна, произнесенной 8 февраля 1881 года, ее ошибочно приписали несуществующему «приват-доценту Московской духовной академии по кафедре основного богословия» Ивану Андреевичу Яхонтову. Отчество приват-доцента было Петрович. Иван же Андреевич Яхонтов – магистр богословия Казанской духовной академии.

¹⁰⁹ Памяти Федора Михайловича Достоевского // *Православное обозрение*. 1881. Т. 1. Февраль. С. 439–440.

их чтение, считает отец Иоанн, позволяет угадать в «многострадальной душе» Достоевского «отголосок Божественной любви». Впрочем, хотя Янышев признает, таким образом, Достоевского большим христианским писателем, он не всё в мировоззрении его принимал и даже полагал, что при разборе некоторых его суждений «с богословской точки зрения» требуются «не только значительные разъяснения и ограничения, но и решительное опровержение»¹¹⁰.

Последнее суждение отца Иоанна (кстати, встречавшегося с Федором Михайловичем за границей, в Висбадене) можно считать редчайшим исключением. Однако, подытоживая посмертные оценки Достоевского в церковных проповедях о нем, надо признать, что священнослужители, имея высокое представление о личности писателя и о его жизненном подвижничестве, говорили только о верности его творчества духу евангельского учения, но не возводили его на пьедестал некоего религиозного учителя или специалиста-богослова.

Сразу после кончины Достоевского в ряде церковных изданий появляются материалы, которые, с одной стороны, показывали справедливость тех возвышенных характеристик, какие даны были ему духовными пастырями в поминальных речах, и развернуто комментировали их, но пока лишь подготавливали серьезную разработку творчества писателя религиозно-философской мыслью; а с другой – эти материалы, как правило, вольно или невольно культивировали свойственный некрологам тон преувеличенных восхвалений, причем вторгаясь в сферу, во многом запредельную эстетике, – прежде всего нравственного, пастырского и сравнительного богословия и православной аскетики, где Достоевский стал провозглашаться не только специалистом, но и подчас реформатором.

Словно бы стремясь дать импульс этой предстоящей работе, автор журнала «Странник» (вероятнее всего, один из его соредакторов А. И. Пономарев, преподаватель теории словесности и истории иностранных литератур в С.-Петербургской духовной академии) писал, что Достоевский отметил в Православии «такие стороны, каких никто раньше его не коснулся, и поставил в художественных образах такие философские и религиозные проблемы, над которыми долго-долго будут думать философ, художник, ученый, мыслитель...»¹¹¹.

¹¹⁰ Янышев И. Л., *прот.* Сочинение студента Касторского Михаила «Сочинения Ф. М. Достоевского с богословской точки зрения» // Протоколы заседаний Совета С.-Петербургской духовной академии за 1881–82 учебный год. СПб., 1882. С. 152.

¹¹¹ <Пономарев А. И.?> Федор Михайлович Достоевский (некролог) // *Странник*. 1881. Т. 1. Февраль. С. 346.

Профессор всеобщей истории той же Духовной академии А. И. Предтеченский в редактируемом им «Христианском чтении» поместил статью, где особые заслуги «самого видного, искреннего и наиболее бесстрашного „исповедника“ бытия и верховных прав *духа*» усматривал в противостоянии «заморским» атеистическим идеям, изначально порочность которых и выявлял в своих романах Достоевский – проповедник «всемирного братства»¹¹². Предтеченский признавал: «В наш век много нужно писателю иметь мужества, чтобы выступать открыто с исповеданием убеждений подобного рода»¹¹³.

Популяризации религиозно-нравственных аспектов творчества Достоевского способствовали и три статьи московского духовного писателя С. А. Пономарева, опубликованные в «Чтениях в Обществе любителей духовного просвещения». В первой из них («Об иноке русском и возможном значении его: По поводу мыслей об русском иночестве в романе Ф. М. Достоевского») освещаются взгляды писателя на монашество, причем в центре внимания оказывается «нравственное величие» старца Зосимы, образ которого, «при замечательной художественной отделке», представляется критику «светлым образцом» для современного иночества. Наставления старца разбираются особенно подробно, что в жанровом отношении сближает эту статью о романе с традиционным для духовной литературы «поучением инокам»¹¹⁴. В том же ключе написана обширная работа «Православная идея», в которой ставится задача раскрыть «миросозерцание Достоевского как русского народного православного мыслителя»¹¹⁵. Две трети статьи посвящены изложению его взглядов на инославие и взаимоотношения Церкви и государства. В отличие от других церковных публицистов своего времени, Пономарев не ограничивается «Братьями Карамазовыми», а широко использует идеи и образы «Дневника писателя»,

¹¹² См.: Предтеченский А. И. Атеизм и народное развитие: (Памяти Ф. М. Достоевского) // *Христианское чтение*. 1881. Ч. 1. Март – апрель. С. 396, 397, 418.

¹¹³ Там же. С. 401.

¹¹⁴ *Чтения в Обществе любителей духовного просвещения*. 1881. Кн. 3. Ч. 1. Отд. I. С. 344–363. Статья подписана криптонимом «-в»; авторство С. А. Пономарева устанавливается предположительно, но с большой долей вероятности. Отметим, что с его легкой руки в духовной журналистике впоследствии не раз появлялись сходные обзоры соответствующих страниц романа. См., напр.: Богословский И. Русский инок и его возможное значение, по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» // *Воскресный день*. 1888. № 22. С. 252–255; № 23. С. 266–268; № 29. С. 335–337; № 31. С. 362–364; № 32. С. 374–376.

¹¹⁵ *Чтения в Обществе любителей духовного просвещения*. 1883. Кн. 1. Ч. 1. Отд. I. С. 58–59. Статья не подписана. Источник атрибуции: Там же. 1884. Кн. 1. Ч. 1. Отд. I. С. 94.

романов «Идиот», «Бесы» и «Подросток»; в частности, точно выявляет духовный смысл карамазовщины как бунта против Создателя, культа человекобожного своеволия и указывает на существенную идейную связь образов Ивана Карамазова, Ставрогина, Кириллова, Верховенского и других героев¹¹⁶.

Но «трилогия» Пономарева, начатая в 1881 году, частично уже выходит за хронологические границы исследуемого нами периода и своим осязаемым анализом и попытками, пусть на первых порах и не вполне уверенными, системного постижения наследия Достоевского предвещает новый этап освоения его творческого наследия – уже богословами и религиозными публицистами рубежа веков.

Утверждение И. С. Аксакова не утратило своей силы:

«... Достоевский не дал никому права ошибаться на его счет, делить его надвое и производить из его творений какие-то экстракты с очищением от „мистических“ примесей. Он *един* во всем разнообразии своих сочинений, он целен или – повторим его слово – целокупен с начала и до конца своего авторского поприща. Всё у него исходило из *одного* и сводилось к *одному* – из Христа и к Христу»¹¹⁷.

¹¹⁶ Там же. 1883. Кн. 1. Ч. 1. Отд. I. С. 66–79.

¹¹⁷ <Аксаков И. С.> Москва, 7 февраля // Русь. 1881. № 13. 7 февраля. С. 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что можно сказать в заключение предпринятого исследования? Что Достоевский был в основном не понят прижизненной критикой? Но для этого не надо было перелопачивать груды газет и журналов. Нет, чтение критического «сплошняка» подтолкнуло нас к другой мысли. В течение долгих лет, когда появлялись в печати «новые произведения г. Достоевского», шел невероятно трудный процесс формирования нового, нет, не писателя (это само собой) – **нового читателя**. Процесс, повторяем, трудный и весьма драматичный.

Возьмем для примера одну из лучших на то время статей о Достоевском – «Забитые люди» (1861) Н. А. Добролюбова, который вместе с Белинским был непререкаемым авторитетом и маяком для современной Достоевскому критики. Отнеся непонятные ему страсти героев «Униженных и оскорбленных» к «аномалиям», Добролюбов ожидал выслушать по их поводу объяснения писателя, но так и не дождался, читая роман. Он очень огорчился тем, что Достоевский не показал процесса зарождения «любви порядочной девушки» к «смердной козявке» Алеше, как не дал и историю становления характера князя Валковского. В назидание романисту критик указал на образы Чичикова, Плюшкина, Обломова. Отсутствие такого же, как у них, хорошо прописанного генезиса делает произведение Достоевского, как заявил Добролюбов, ниже эстетической критики. В контексте литературной традиции так называемой гоголевской школы, которую критик явно канонизирует, его претензия к Достоевскому и впрямь вполне состоятельна, однако она перестает быть таковой **за пределами** безоговорочно принятого эстетического канона, то есть в контексте **другого канона**. М. М. Бахтин называет это «контекстами понимания» [Бахтин: 372]. По наблюдению ученого, «всякое понимание есть соотнесение данного текста с другими текстами» [Бахтин: 364]. Так Добролюбов-читатель в своем сознании соотносит текст Достоевского с текстами тогдашнего литературного мейнстрима и обнаруживает зияющую пустоту на месте ожидаемой вершины. Выстроить же новый «контекст понимания» критику мешают

в равной степени как его собственная эстетическая установка (что когда-то произошло и с Белинским по отношению к Достоевскому), идущая из другого контекста, так, в данном случае, и несовершенство только формирующейся новой художественной реальности (мир, опрокинутый в сознание человека), еще не сформировавшей окончательно, после «Двойника» и «Хозяйки», своего канона, текста-контекста, который начнет свой отсчет с «Записок из подполья».

Роман «Униженные и оскорбленные», роман *прощения/непрощения* Добролюбов прочитал (и на долгие годы дал установку последующей критике) – в связке с предшествующим творчеством писателя – как роман *забитости/протеста* личности. Есть ли в романе и в творчестве Достоевского вычитанный критиком смысл? Разумеется, есть, но в ином, нежели в гоголевской школе, сопряжении с целостным миром художника, в иной его динамике. Эта целостность была в первом приближении обозначена Валерианом Майковым (психологическое раньше социального), но не получила развития вплоть до рецензии Н. Н. Страхова на «Преступление и наказание», на которую, несомненно, повлияла еще и беспрецедентная читательская реакция на роман. В дальнейшем только некоторые из критиков приближались к уразумению явившейся в мир новой эстетической реальности.

В свое время был предложен удачный термин «спектр адекватности» [Есаулов 1995], подразумевавший некий общий культурный контекст, в котором пребывают автор и читатель (Гадамер называл это «преданием»). При этом следует иметь в виду, что указанный контекст не задан раз навсегда, он динамичен, изменчив и в силу этого исполнен противоречий. В этом смысле примечательна реакция даже доброжелательного по отношению к Достоевскому (что было тогда большой редкостью) М. А. Загуляева на роман «Подросток». Ожидая развития идеи Ротшильда, очевидно, по аналогии с идеей Наполеона в «Преступлении и наказании», он был сильно озадачен продолжением романа и поспешил объявить о неудаче писателя. Между тем Достоевский даже еще в «Идиоте» и тем более в «Бесах» (также признанных в критике неудачами) уходил от прежнего романа к иному художественному построению, когда не в одном герое с идеей (он, впрочем, никуда не ушел), но в общей картине мира выражался антропологический, по сути, переворот, происходящий в современной цивилизации.

Белинский в свое время по поводу рецептивной судьбы Гоголя остроумно указал на историческую роль «привычки»: толпа читателей «всё более и более привыкала к его сочинениям, и всё, что казалось ей в них странным и резким, со дня на день становилось в ее глазах очень естественным» ([Белинский; 9: 547]. Точно так же к художественному миру Достоевского должен был постепенно «привыкнуть» русский (и не только русский) читатель. Об этом еще по поводу первых произведений Достоевского писали В. Н. Майков и А. Н. Плещеев (см. стр. 36 и 40 наст. изд.). А в финале неприязненно настроенный к нему критик с раздражением заметил: «Но Достоевский писал в этом роде так долго и упорно, что наконец заставил всех с ним примириться»¹.

Всё, конечно, было не так просто. Чем дальше в созидании своего художественного мира уходил писатель, тем труднее было за ним поспевать непривычному читателю, надо было или бросить чтение или сделать усилие по преодолению старых привычек, вступить в не очень комфортную зону «между чуждостью и близостью», которую гермевты называют «*промежуточностью*» [Гадамер: 350]. Этот драматический процесс мы неоднократно фиксировали в нашем исследовании на примере профессиональных читателей – критиков.

К такому гению, как Достоевский, особенно азартно крушившему привычные эстетические каноны и даже (о горе дочерям Каткова, от которых папенька прятал корректуры собственного журнала) правила общепринятых литературных приличий, привыкнуть было особенно непросто.

В терминологии органической критики, которой следовал и Достоевский, можно сказать, что «смысл» произведения **рождается** в творческом сознании художника и **следующего за ним читателя**. Да, и сознание читателя тоже должно быть творческим. Безусловно творческим является сам процесс принятия предлагаемых художником новых правил игры, и следует признать, что большинство из критиков при жизни Достоевского либо так и не приняли их, либо приняли только в той части, которая не уходила далеко от привычных стандартов. В истории восприятия произведений Достоевского мы знаем только одного критика, который безоговорочно принял новую эстетику Достоевского (роман сознания), когда она только формировалась (и когда ее не распознал даже В. Г. Белинский) – это В. Н. Майков. По поводу «Двойника» и его

¹ Н. М. <Михайловский Н. К.> Записки современника. О покойниках // *Отчетственные записки*. 1881. № 2. С. 248.

неуспеха у большинства публики именно он сказал, что такова судьба «всего нового» [Майков: 181]².

Уже в шестидесятые-семидесятые годы, когда новая эстетика Достоевского развилась в свои высшие формы, происходила непростая история перековки «старых» читателей в «новых», что мы особенно наглядно наблюдали на примере эволюции (иногда больше похожей на революцию) таких критиков, как В. П. Буренин, А. С. Суворин, М. А. Загуляев, С. И. Сычевский, Л. Е. Оболенский.

В этом же ряду – выходящая за хронологические рамки нашего исследования история перерождения критика А. И. Введенского, который не раз появлялся на страницах этой книги как один из самых яростных гонителей Достоевского. Наступил однако момент обращения Павла в Савла. В 1889 году в двух номерах журнала «Труд» (№ 18 и 19) Введенский печатает статью под названием «Критики Достоевского», где откровенно признаётся, что даже в конце творческой деятельности писателя «нелегко было оценить ее действительное значение». Причина, по Введенскому, заключалась в «неверной точке зрения», когда «в произведениях его искали тех самых идей, которые были желательны критике»³. Так поступали даже лучшие из лучших – Белинский, Добролюбов, Писарев. Исключение Введенский делает только для Страхова, но и его правильная мысль осталась «мало разъясненной». Зато с присущей ему энергией критик обрушивается на «зловую неправду» Михайловского – с той же энергией, с которой он восемь лет назад поддерживал концепцию «жестокости» (см. главу 7). «Любовь», говорит он теперь, у Достоевского описана так же сильно, как и «жестокость» мира. Нечто подобное мы наблюдали в истории открытия Достоевского В. П. Бурениным и Л. Е. Оболенским. Такого рода обращения Павлов

² Одним из первых, кто емко сформулировал новизну «Двойника», был молодой И. С. Тургенев (см.: [Балакин]), бросивший фразу при ее чтке в кружке Белинского, что это «не повесть, а психологическое развитие». Уже в ней можно разглядеть будущее эстетическое неприятие Тургеневым «самоковырня» Достоевского. Сказанная фраза фигурировала лишь в виде устного предания (см.: [Добролюбов; 7: 231]), однажды она чуть не попала на печатные страницы в виде подписи к карикатуре (см. иллюстрацию № 1). Приведем ее полностью (диалог между автором «Двойника» и его издателем А. А. Краевским): «– Вы изволили прочесть мою повесть? – Прочел, ничего, не дурна, местами есть промахи, поверхностный взгляд на предметы... (С глубокомысленной важностью). Знаете, повесть ваша собственно **не повесть, а психологическое развитие**. – Именно-с... Вы, может быть, изволили забыть, что это мнение г-на Т, которое я изложил в письме к вам, при повести?». Здесь обыграна особенность А. А. Краевского, о которой Достоевский упомянет в романе «Униженные и оскорбленные»: «При мне он не конфузится и преспокойно повторяет разные чужие мысли, слышанные им на днях от кого-нибудь из литераторов, которых он верит и чье суждение уважает» (З: 424). Т. – это И. С. Тургенев.

³ Введенский Арс. Критики Достоевского. Критический очерк // *Труд*. 1889. Т. IV. № 18. 1 октября. С. 62.

в Савлов происходили и с другими читателями Достоевского, картина еще не прописана и ожидает подбора и анализа исторических данных, пребывающих не только в печатной критике, но и в отзывах рядовых читателей.

Поразительно, но факт: печатная прижизненная критика не обратила внимания на произведения (или посмеялась над ними), которые в следующем веке станут философскими бестселлерами: «Записки из подполья», «Бобок», «Сон смешного человека». Должна была настроиться какая-то другая оптика («Но ведь в том-то и весь вопрос: *на чей глаз и кто в силах?* – 23: 144), что произошло примерно через поколение у русских религиозных философов, которые почитали себя «детьми Достоевского». Трудно винить критиков-современников писателя, они были детьми своего времени, а **время Достоевского** вступит в свои полные права как раз начиная с того поколения, о котором мы только что упомянули. Да и к ним придет не весь Достоевский. Только вторая половина нового века откроет, наконец, роман «Идиот». (Возможно, когда-нибудь наступит и для «Подростка» свой «праздник возрождения», по слову Бахтина). Глядя на всю эту историю от самого ее начала до наших дней, трудно отделаться от мысли, что **это не мы читаем Достоевского, это Достоевский читает нас.**

Кроме барьера эстетического между писателем и образованным читателем секуляризованного века выросла барьер аксиологический. Начиная с «Преступления и наказания» и в художественных произведениях, и в публицистике углубляется и активизируется христианское мировидение писателя. Своего апогея этот процесс достиг в романе «Братья Карамазовы», по поводу которого один из критиков откровенно заметил, что к такому масштабу церковных мотивов в произведении «наше литературное общество **вовсе не привыкло**»⁴. Из статьи в статью пошел гулять термин «мистицизм», достигнув высшей точки в разносной рецензии М. А. Антоновича «Мистико-аскетический роман». Достоевский знал, на что шел, предвидя, что будут ругать «за Бога» (30: 235). Однако ругали не все (о церковной критике мы умалчиваем, она, увы, не была авторитетна), и даже среди атеистически настроенных критиков не было единства. Нравственное значение романа, оторвав его от «церковности», провозгласил П. Н. Ткачев. Е. Л. Марков предложил читать «церковные» сцены как верное художественное изображение той сферы жизни, о которой мы мало что знаем («человечество не в нас одних», – резонно заметил критик). В такого рода прочтениях нащупывалась та самая герменевтическая «промежуточность», которая позволяла приблизиться к роману, не

⁴ Марков Евгений. Критические беседы. VIII. Сатира и роман в настоящем году // Русская речь. 1879. Декабрь. С. 278.

отвергая его с порога. Достоевский, мы уверены, рассчитывал и на такого читателя, вступая с ним в диалог на промежуточной для него территории гуманистической традиции (чего не мог принять замкнувшийся в своей ортодоксии К. Н. Леонтьев). Постепенно эту общую для писателя и читателя территорию герменевтического круга заполнял христианский смысл, имеющий также и общечеловеческие коннотации. Ценности, сформировавшиеся в лоне христианства, Достоевский проводил через свои произведения так, что они могли быть поняты и приняты даже атеистами⁵. Не умевший этого делать с таким успехом Н. П. Гиляров-Платонов даже обижался: «Что же Вы мне ставите в пример Достоевского? Тот был плоть от плоти общества» [Возвращение Гилярова: 287]. Вл. Соловьев, защищая Достоевского от обвинений К. Леонтьева, заявлял, что писателю «приходилось говорить с людьми, не читавшими Библии и забывшими катехизис» [Соловьев; 2: 322].

Достоевский находил такие слова, такой язык, который в принципе мог быть понятен и тем, кто не разделяет его религиозных и философских воззрений. Его романы — не только разговор «со своими», это путь, открытый и «для чужих». В письме от 11 июня 1879 г. к Н. А. Любимову во время работы над «Братьями Карамазовыми» Достоевский сформулировал сверхзадачу: «Если удастся, то сделаю дело хорошее: заставляю сознаться, что чистый, идеальный христианин — дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее, и что христианство есть единственное убежище Русской Земли ото всех ее зол» (30₁: 68). Обращает на себя внимание фраза «заставляю сознаться» читателя. Какого? Видимо, не верящего, что такое, вообще говоря, возможно.

Следует признать, что это не всегда писателю удавалось. Представленная в нашем обзоре трактовка В. К. Петерсена, согласно которой «бунт» Ивана Карамазова гораздо убедительнее «смирения» Зосимы и Алеши, получила основательное развитие в прочтениях романа вплоть до наших дней. У современного исследователя, вооруженного новейшей терминологией, мы можем прочесть примерно то же, что говорилось почти полтора века назад: «... общепризнано, что внутри романа принцип полифонии делает возможным идеологическое прочтение в пользу Ивана <...> симпатии Достоевского принадлежали скорее Ивану, нежели его персонажам, носящим ореол святости» [Джоунс: 195]. Приводятся при этом слова современного французского философа Ж.-Л. Нанси, что в наши дни «заведомо смехотворно любое “возвращение религиозности”». Ученый комментирует

⁵ Образец был определен в письме Достоевского от февраля 1878 г. Н. Л. Озмидову, человеку атеистического склада: «Хорошо, если б Вы тоже прочли всю Библию в переводе. Удивительное впечатление в целом делает эта книга. Выносите, например, такую мысль несомненно: что другой такой книги в человечестве нет и не может быть. **И это — верите ли Вы, или не верите**» (30₁: 10).

их следующим довольно показательным образом: «Прав Нанси или ошибается – не в этом суть. Важно, что он выражает широко распространенное и, должно быть, господствующее интеллектуальное воззрение нашего времени, по меньшей мере западного, развитого общества» [там же].

В художественном мире Достоевского, в созданном им романе сознания главенствует поэтика вопроса, который достигает читателя. Конечно, можно так и остаться при вопросе, что мы и наблюдаем в писаниях многих критиков. Между тем Достоевский дает своему читателю возможность обрести и опыт веры, и опыт безверия, предлагая сделать свой свободный выбор, но в то же время и расставляет вехи на нашем пути, дабы мы не заблудились⁶. «Хорошо организованный текст, – замечает ученый-семиотик, – с одной стороны, предлагает определенный тип компетенции, имеющей, так сказать, внетекстовое происхождение, но, с другой стороны, сам способствует тому, чтобы создать – собственно текстовыми средствами – требуемую компетенцию» [Эко: 19].

Искусство, если вспомнить шиллеровское определение, – это особого рода игра, а в процессе игры, в чем ее высшее предназначение, приобретает определенный **опыт**. Читатель-атеист (или представитель другой конфессии), когда он читает Достоевского, – «играет» с автором и в это время проживает опыт христианина. Так Соня потрясает, убеждает Раскольникова силой и глубиной своей любви и вместе с тем потрясает, убеждает и читателя. А если не потрясает и не убеждает, тогда роман остается просто-напросто непонятым. Точно так же «слово Писания и в самом деле потрясает, и лишь потрясенный им способен – веруя или сомневаясь – его понять» [Гадамер: 392].

Такого рода потрясение случилось с Оболенским, но не случилось с Михайловским, который не понял христианскую максиму «страдание», исказил ее смысл и навязал читателям свое искаженное представление. Далеко не все из них могли оказать духовное и эстетическое сопротивление, как, скажем, Вл. Соловьев, Буренин, Оболенский и, с опозданием, Введенский. Концепция «жесточкого таланта» захватила многих, кто отказался вступить на общую с писателем территорию христианской культуры и вытекающих из нее ценностей. В конфликте прочтений Достоевского невольно отразился почувствованный им разрыв сознания в самоутверждающейся постхристианской цивилизации.

Написано немало количество научных работ на тему «проблема читателя в творчестве Достоевского». Все они – о виртуальном читателе. Пора сказать научное слово и о читателе реальном. Пришла пора написать историю восприятия творчества Достоевского, то есть историю его читателей.

⁶ Другой исследователь называет их «герменевтическими указателями» [Александров: 87].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Александров В. Другость: герменевтические указатели и границы интерпретации / Пер. с англ. Н. Анастасьева // Вопросы литературы. 2002. № 6. С. 78–102.

Анненков П. В. Литературные воспоминания. М.: Гослитиздат, 1960. 686 с. (Литературные мемуары).

Анненский Инокентий. Книги отражений / Изд. подготовили Н. Т. Ашимбаева, И. И. Подольская, А. В. Федоров. М.: Наука, 1979. 679 с. (Литературные памятники).

Антонович М. А. Литературно-критические статьи / Подготовка текста, вступ. ст. и комм. Г. Е. Тамарченко. М.; Л.: ГИХЛ, 1961. 515 с.

Архипова А. В. [Комментарий, § 19] // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 17. С. 345–360.

Ашимбаева Н. Т. Архимандрит Феодор (Бухарев) и Достоевский // Достоевский: философское мышление, взгляд писателя / Под ред. С. Алоэ. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 267–276. (Dostoevsky monographs; вып. 3).

Балакин А. Ю. Об одном эпизоде «Униженных и оскорбленных». (Достоевский и А. А. Краевский) // Достоевский. Материалы и исследования. 16. СПб.: Наука, 2001. С. 320–324.

[Баршт 2015] – Достоевский Ф. М. Бедные люди / Изд. подготовил К. А. Баршт. М.: Ладомир: Наука, 2015. 807 с. (Литературные памятники).

Баршт К. А. Достоевский: этимология повествования. СПб.: Нестор-История, 2019. 456 с.

Батюто А. И. [Комментарий, § 12] // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 15. С. 487–513.

Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 361–373.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959.

Белкина О. А. «Если наша мысль есть фантазия...» (Пушкинская речь Ф. М. Достоевского: замысел, отклики, споры). СПб.: МиМ-Экспресс, 1995. 159 с.

Беловолов Геннадий, свящ. Оптинские предания о Достоевском // Достоевский. Материалы и исследования. 14. СПб., 1997. С. 301–312.

Бельчиков Н. Ф. Чернышевский и Достоевский: из истории пародии // Печать и революция. 1928. Кн. 5. С. 35–53.

Бельчиков Н. Пушкинские торжества в Москве в 1880 г. в освещении агента III Отделения // Октябрь. 1937. № 1. С. 271–282.

Бем А. Л. Развертывание сна («Вечный муж») // Бем А. Л. Достоевский: Психодинамические этюды. Берлин: Петрополис, 1938. С. 54–76.

Бердяев Н. Собр. соч. Т. 3: Типы религиозной мысли в России. Paris, 1989. С. 184.

Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. М.: Искусство; Лига, 1994.

Бердяев Н. Мысли о консерватизме // Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции. Опыты 1917–1918 гг. СПб.: РХГИ, 1998. С. 320–329.

Битюгова И. А., Дмитриев В. Н., Кибальник С. А., Тарасова Н. А., Березкина А. М. [Комментарий, § 9] // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: в 35 т. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 2020. Т. 9. С. 607–622.

Борщевский С. С. Щедрин и Достоевский. М.: ГИХЛ, 1956. 392 с.

Бочаров С. Г. Леонтьев и Достоевский // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 341–397.

Буданова Н. Ф. От «общечеловека» к «русскому скитальцу» и «всечеловеку» (Лексические заметки) // Достоевский. Материалы и исследования. 13. СПб.: Наука, 1996. С. 213–215.

Булгаков С. Н. Победитель – Побежденный (Судьба К. Н. Леонтьева) // Булгаков С. Н. Сочинения: в 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 559–560.

Викторович В. А. О двух историко-публицистических замыслах Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. 6. Л.: Наука, 1985. С. 137–153.

Викторович В. А. Добролюбов и Достоевский: диалог о русской литературе // Н. А. Добролюбов и русская литературная критика. М.: Наука, 1988. С. 95–113.

Викторович В. Владимир Соловьев о Достоевском. Речь В. С. Соловьева, сказанная на Высших женских курсах 30 января 1881 года по поводу смерти Ф. М. Достоевского // Литературная учеба. 1989. № 5. С. 132–134.

Викторович В. А. «Брошенное семя возрастет»: еще раз о «завещании» Достоевского // Вопросы литературы. 1991. № 3. С. 142–168.

Викторович В. А. Достоевский и Вл. Соловьев // Достоевский в конце XX века: сб. ст. / сост. К. А. Степанян. М.: Классика плюс, 1996. С. 432–461.

Викторович В. А. Достоевский и наука его времени. (Материалы к изучению темы) // Достоевский: дополнения к комментарию / под ред. Т. А. Касаткиной. М.: Наука, 2005. С. 27–46. (а)

Викторович В. А. Четыре вопроса к Пушкинской речи. 3. Где начало всечеловечности? // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 2005. Т. 17. С. 285–296. (b)

Викторovich В. А. П. Н. Ткачев как герой и критик Достоевского // Достоевский и современность. Материалы XXVI Международных Старорусских чтений 2011 года. Великий Новгород, 2012. С. 73–77.

Викторovich В. А. Перепутья русского консерватизма (Ф. М. Достоевский и Н. П. Гиляров-Платонов) // Никита Петрович Гиляров-Платонов. Исследования. Материалы. Библиография. Рецензии. СПб.: Росток, 2013. С. 47–95.

Викторovich В. А. Дело о жестоком таланте: из истории борьбы критики с литературой // IV Международный симпозиум «Русская словесность в мировом культурном контексте». М., 2014. С. 467–473. (а)

Викторovich В. А. Развилка философской критики: Н. Бердяев и С. Булгаков. «Духовные дети Достоевского» // Достоевский и мировая культура: альманах. СПб.: Серебряный век, 2014. № 32. С. 143–160. (b)

Викторovich В. А. Ф. М. Достоевский – редактор «Гражданина» (1873–1874). Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 2019. 425 с. URL: http://elibrary.karelia.ru/docs/viktorovich/Dostoevskiy_redaktor_Grazhdanina_1873_1874/total.pdf (a)

Викторovich В. А. «Были бы братья...»: М. М. Достоевский как прототип Разумихина // Достоевский. Материалы и исследования. 22. СПб.: Нестор-История, 2019. С. 41–55. (b)

Викторovich В. А. Всеволод Соловьев – критик Достоевского // Достоевский и современность. Материалы XXXIII Международных Старорусских чтений 2018 года. Великий Новгород, 2019. С. 38–53. (c)

Викторovich В. А. Достоевский и критика: амплитуда репутации // Вестник ГСГУ. 2019. № 4. С. 3–7. (d)

Викторovich В. А. «Выяснение таланта» в полемике Н. А. Добролюбова с Ф. М. Достоевским // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 3. С. 129–143. DOI: 10.15393/j9.art.2020.8042 (a)

Викторovich В. А. «Пушкинская речь» Достоевского в свидетельствах современников // Известный Достоевский. 2020. № 4. С. 48–69. DOI: 10.15393/j10.art.2020.5101 (b)

Викторovich В. А. Эффект «Пушкинской речи» в русской журналистике // Известный Достоевский. 2021. Т. 8. № 2. С. 122–156. DOI: 10.15393/j10.art.2021.5362

Власкин А. П. Народная религиозная культура в творчестве Ф. М. Достоевского // Христианство и русская литература. СПб.: Наука, 1996. Т. 2. С. 220–289.

Возвращение Н. П. Гилярова-Платонова: Сб. статей и материалов. Коломна: КГПИ, 2007. 440 с.

Волгин И. Родиться в России. Достоевский: начало начал. М.: Академический проект, 2018. 749 с. (Игорь Волгин. Сочинения в семи томах)

Волгин И. Л. Последний год Достоевского. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2017. 780 с. (Игорь Волгин. Сочинения в семи томах).

Волгин И. Ничей современник. Четыре круга Достоевского. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. 736 с.

Володина Н. В., Сумарокова Л. А. Н. Д. Ахшарумов о романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Вестник Череповецкого гос. университета. 2015. № 4. С. 65–69.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики: пер. с нем. / Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. 704 с.

Герцен А. И. Собрание сочинений: в 30 т. М.: Изд. АН СССР, 1954–1966.

Гоголь Н. В. Собрание сочинений: в 9 т. / Сост. и комм. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М.: Русская книга, 1994.

Григорьев Д. Д. Достоевский в русской церковной и религиозно-философской критике // Вольное слово. Мюнхен, 1968. № 4. Февраль. С. 88–92.

Гроссман Л. П. Предисловие. Комментарии. Дополнения: Забытые и неизвестные страницы // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 23 т. Пг.: Просвещение, 1918. Т. 22. 279 с.; Т. 23. 525 с.

Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. М.: ГАХН. 1925. 188 с.

Гроссман Л. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов // Литературное наследство. Т. 15. М.: Журнально-газетное объединение, 1934. С. 83–162.

Давидович М. Г. Проблема занимательности в романах Достоевского // Творческий путь Достоевского. Сб. статей под ред. Н. Л. Бродского. Л.: Сеятель, 1924. С. 104–130.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. С. 123.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1955. Т. 3. 556 с.

Деркач С. С. Добролюбов и Достоевский // Н. А. Добролюбов – критик и историк русской литературы. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1963. С. 97–131.

Джоунс М. В. Достоевский после Бахтина. Исследование фантастического реализма Достоевского / Пер. с англ. А. В. Скидана. СПб.: Академический проект, 1998. 256 с. (Серия «Современная западная русистика», т. 18).

Дмитриев А. П. А. М. Бухарев (архимандрит Феодор) как литературный критик // Христианство и русская литература. Сб. 2. СПб.: Наука, 1996. С. 189–197.

Дмитриев А. П. Портрет в церковной проповеди как литературно-критический жанр: О «поучениях» архиепископа Никанора (Бровкови-

ча) // Русский литературный портрет и рецензия: Поэтика и концепции: сб. ст. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1999. С. 3–11.

Дмитриев А. П. «Муж Креста Христова» или «плоть от плоти общества»? (Духовные писатели и религиозные мыслители 1880-х – начала 1890-х гг. о Достоевском) // Достоевский и мировая культура: альманах. М.: изд. С. Т. Корнеев, 2009. № 25. С. 445–470.

Дневник Настасьи Васильевны Каировой в сумасшедшем доме / Подгот. текста, предисл. и примеч. Н. С. Лескова [Приложение к статье О. Макаровой «"Дело Каировой" и его след в биографии А. С. Суворина»] // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 110–121.

Долинин А. С. Последние романы Достоевского: Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М.; Л.: Советский писатель, 1963. 344 с.

Д35 - Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: в 35 т. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 2013–2020. Т. 1–9 (издание продолжается).

Достоевский Ф. М. Письма: в 4 т. / Под ред. и с примеч. А. С. Долинина. М.; Л.: ГИЗ, 1928–1959.

Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: в 2 т. / Вступ. ст., сост. и комм. К. Тюнькина. М.: Художественная литература, 1990.

Ф. М. Достоевский в русской критике: сб. статей / Вступ. ст. и примеч. А. А. Белкина. М.: Гослитиздат, 1956. 507 с.

Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник / Сост. и науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб.: Изд. «Пушкинский Дом», 2008. 470 с.

Достоевская А. Г. Воспоминания: 1846–1917 / Вступ. ст., подгот. текста, примеч. И. С. Андриановой и Б. Н. Тихомирова. М.: ООО «Бослен», 2015. 768 с.

Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. Л.: Искусство, 1991. 336 с.

Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. 102 с.

Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2017. 550 с.

Заваркина М. В. Жанровая стратегия в повестях А. Платонова 1930-х годов // Проблемы исторической поэтики. 2015. Вып. 13. С. 554–569. DOI: 10.15393/j9.art.2015.3402

Замотин И. И. Ф. М. Достоевский в русской критике. Ч. 1: 1846–1881. Варшава : Тип. окр. штаба, 1913. 333 с.

Захаров В. Н. Проблемы изучения Достоевского: учеб. пособ. по спецкурсу. Петрозаводск: Петрозавод. гос. ун-т, 1978. 110 с.

Захаров В. Н. К спорам о жанре // Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1984. С. 3–19.

Захаров В. Н. По поводу одного мифа о Достоевском // Север. 1985. № 11. С. 113–120. (а)

Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1985. 208 с. (b)

Захаров В. Н. Дебют гения // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: Канонические тексты. Петрозаводск, 1995. Т. 1. С. 609–637.

Захаров В. Н. «... Нас, что ни говори, еще очень мало»: неизвестное письмо Достоевского // Литературная газета. 2009. 10–16 июня. С. 15.

Захаров В. Н. Имя автора – Достоевский. Очерк творчества. М.: «Индрик», 2013. 456 с. (а)

Захаров В. Н. Художественная антропология Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: ПетрГУ, 2013. Вып. 11. С. 150–164. DOI: 10.15393/j9.art.2013.377 (b)

Захаров В. Н. Гениальный «Двойник»: почему критики не понимают Достоевского? // Неизвестный Достоевский. 2020. № 3. С. 31–53. DOI: 10.15393/j10.art.2020.4941

Захаров В. Н. Актуальность Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 1. С. 5–20. DOI: 10.15393/j10.art.2021.5321

Захарова О. В. Спор с Достоевским о «Бесах»: проблема непонимания романа в прижизненной критике // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2012. Вып. 10 : Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков : цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 7. С. 143–162. DOI: 10.15393/j9.art.2012.347

Захарова О. В. Первое упоминание Достоевского в печати // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2013. № 7 (136). Т. 2. Ноябрь. С. 66–68.

Захарова О. В. Псевдонимы Ф. М. Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 1. С. 21–41. DOI: 10.15393/j10.art.2021.5221 (а)

Захарова О. В. Атрибуция в зеркале статистики: анонимные статьи в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 2. С. 81–106. DOI: 10.15393/j10.art.2021.5481 (b)

Зеньковский В. История русской философии. М.: Академический Проект, 2011. 880 с.

Иванов Вяч. И. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория / сост., предисл., примеч. С. С. Аверинцева. М.: Искусство, 1995. 669 с. (История эстетики в дневниках и документах).

Иустин, прп. (Попович). Достоевский о Европе и славянстве. М.; СПб.: Сретенский монастырь, 2002. 287 с.

Кантор В. «Средь бурь гражданских и тревоги...»: борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. М.: Художественная литература, 1988. 304 с.

Кантор В. К. Русская классика, или Бытие России. 2-е изд., перераб. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. 600 с.

Карякин Ю. Ф. Самообман Раскольникова: Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». М.: Художественная литература, 1976. 158 с.

Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентаций. М.: Наследие, 1996. 336 с.

Келдыш В. А. Творчество Ф. М. Достоевского в прижизненной критике // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2015. Т. 74. № 1. С. 41–58.

Кийко Е. И. В. Г. Белинский. Очерк литературно-критической деятельности. М.: Просвещение, 1972. 176 с.

Кийко Е. И. [Комментарии: Ф. М. Достоевский. Крокодил] // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 15 т. Л.: Наука, 1989. Т. 4. С. 772–777.

Кирпотин В. Достоевский и Белинский. М.: Художественная литература, 1976. 302 с.

Китаев В. А. «Вестник Европы» в полемике с Ф. М. Достоевским (1880–1881 гг.) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2020. № 1. С. 38–48.

Книгин И. А. Речь Ф. М. Достоевского о Пушкине в оценке Л. Е. Оболенского // Русская литературная критика. История и теория: Межвуз. науч. сб. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1988. С. 81–87.

Книгин И. А. Леонид Егорович Оболенский – литературный критик. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1992. 103 с.

Кожин В. Роман – эпос нового времени // Вопросы литературы. 1957. № 6. С. 64–93.

В. Г. Короленко о литературе. М.: Гослитиздат, 1957. С. 368–369.

Котельников В. А. «Что есть истина?»: Литературные версии критического идеализма. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2009. 672 с.

Котельников В. А. Эстетика и критика Константина Леонтьева // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. Т. 9: Лите-

ратурно-критические статьи и рецензии 1860–1890 годов. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2014. С. 497–572.

Левитт Маркус Ч. Литература и политика: пушкинский праздник 1880 года / Пер. с англ. И. Н. Владимирова, В. Д. Рака. СПб.: Академический проект, 1994. 265 с.

Лесков Н. С. Собрание сочинений: в 11 т. М.: ГИХЛ, 1956–1958.

Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 1821–1881: в 3 т. СПб.: Академический проект, 1993–1995.

Литературное наследство. Т. 86: Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1973. 790 с.

Литинская Е. П. Риторика и поэтика «Пушкинской речи» Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 2. С. 141–175. DOI: 10.15393/j9.art.2021.9583

Льюис К. С. Страдание [The problem of pain] // Льюис К. С. Христианство. М.: АСТ, 2018. 430 с.

Майков В. Н. Литературная критика / Сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. Ю. С. Сорокина. Л.: Художественная литература, 1985. 408 с. (Русская литературная критика).

Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский / Изд. подгот. Е. А. Андрущенко. М.: Наука, 2000. 588 с. (Литературные памятники).

Миллер О. Русские писатели после Гоголя. Чтения, речи и статьи. Том I: И. С. Тургенев. – Ф. М. Достоевский. Изд. 6. СПб.; М.: Изд. т-ва М. О. Вольф, [1886]. 389 с.

Михайлова С. Б. Дело всей жизни: П. Н. Ткачев // Ткачев П. Н. Люди будущего и герои мещанства / Вступ. ст. и коммент. С. Б. Михайловой. М.: Современник, 1986. С. 5–30.

Назирова Р. Г. Творческие принципы Ф. М. Достоевского. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1982. 160 с.

Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Л.: Наука, 1981–2000.

Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864–1865. М.: Наука, 1975. 302 с.

Никитина Н. С. [Комментарии: Ф. М. Достоевский. Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах] // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 15 т. СПб.: Наука, 1993. Т. 11. С. 552–562.

Никитина Н. С. Статья Тургенева «По поводу „Отцов и детей» и черновая рукопись романа // Русская литература. 2001. № 4. С. 3–15.

Опульская Л. Д., Рак В. Д. [Комментарий, § 10] // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: в 35 т. 2-е издание, исправленное

и дополненное. СПб.: Наука, 2019. Т. 7. С. 503–518.

Панаева А. Я. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1972. 488 с.

Пантелеев Л. Ф. Воспоминания / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. С. А. Рейсера. М.: Гослитиздат, 1958. 848 с.

Парадоксы русской литературы: Сб. ст. / Под ред. В. Марковича, В. Шмида. СПб.: ИНАПРЕСС, 2001. 350 с.

Парсамов В. С. «Билет на вход» Ивана Карамазова (к проблеме «Достоевский и Жозеф де Местр») // Лотмановский сборник. Вып. 4. М.: ОГИ, 2014. С. 375–383.

Переверзев В. Ф. Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1912. С. 366.

Петровский М. А. Композиция «Вечного мужа» // Достоевский: Сборник статей. М.: ГАХН, 1928. С. 115–161. (Труды государственной Академии художественных наук. Вып. 3).

Писарев Д. И. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. М.: Наука, 2000–2013.

Письма И. С. Аксакова к Ф. М. Достоевскому / Публ., вступ. ст. и комм. И. Л. Волгина // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1972. Т. XXXI. Вып. 4. С. 349–362.

Письма Н. Н. Страхова к Н. Я. Данилевскому / Сообщил И. Матченко // Русский вестник. 1901. № 1. С. 127–142.

Письма читателей к Ф. М. Достоевскому / Вступ. ст., публ. и комм. И. Волгина // Вопросы литературы. 1971. № 9. С. 173–196.

Письма С. Д. Яновского к Достоевскому / Сообщ. Г. Прохоров // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л.: Мысль, 1924. Сб. 2. С. 366–396.

Потебня А. А. Черновые заметки о творчестве Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского // Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. С. 577–590.

Потебня А. А. Мысль и язык. М.: Лабиринт, 1999. С. 163.

Проценко А. А. «Достоевец» Суворин: от противоборства к сближению // Неизвестный Достоевский. 2019. № 2. С. 149–170. DOI: 10.15393/j10.art.2019.4061

Ребель Г. М. Учитель или Пророк? Тексты Пушкинского праздника // Ребель Г. М. Тургенев в русской культуре. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. С. 264–274.

Родионова Е. Д. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» в оценке М. К. Цебриковой // Вестник Тверского гос. университета. Серия «Филология». 2012. Вып. 3. С. 278–281.

Роднянская И. Б. Движение литературы: в 2 т. М.: Языки славянских культур, 2006.

Розанов В. В. Сочинения. М.: Советская Россия, 1990. С. 53–54.

Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: в 20 т. М.: Художественная литература, 1965–1977.

М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: в 2 т. / Сост., коммент. и вступ. ст. А. С. Макашина. 2-е изд., пересмотр. и доп. М.: Художественная литература, 1975.

Сиповский В. В. Из истории русского романа и повести. СПб.: Паровая скоропечатня Г. П. Пожарова, 1903. Ч. 1: XVIII век. 351 с.

Смирнов В. Б. Достоевский в оценке «Отечественных записок» // Ученые записки Уральского университета. Серия филологическая. 1970. Вып. 16. № 99. С. 11–18.

Смолененкова В. В. Пушкинская речь Ф. М. Достоевского. Риторико-критический анализ // Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания. Филологический факультет. МГУ им. М. В. Ломоносова URL: <http://genhis.philol.msu.ru/pushkinskaya-rech-f-m-dostoevskogo-ritoriko-kriticheskij-analiz/>

Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1988.

Старикова Е. В. На пути к целому (Ф. М. Достоевский) // Время и судьбы русских писателей. М.: Наука, 1981. С. 187–248.

Столярова И. В. Неизвестное литературное обозрение Н. С. Лескова (Н. С. Лесков о Ф. М. Решетникове и Ф. М. Достоевском) // Ученые записки Ленинградского гос. университета. № 339. Филологический факультет. Серия филологических наук. Вып. 72: Русская литература. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1968. С. 224–229.

Страхов Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 179–329.

Страхов Н. Письма / подгот. К. Ч<уковский> // Русский современник. 1924. № 1. С. 195–206.

Страхов Н. Н. Литературная критика / Вступ. ст., сост. Н. Н. Скатова, примеч. Н. Н. Скатова и В. А. Котельникова. М.: Современник, 1984. 431 с.

Твардовская В. А. Достоевский в общественной жизни России (1861–1881). М.: Наука, 1990. 340 с. (а)

Твардовская В. А. Революционная демократия и Ф. М. Достоевский // Революционеры и либералы России. М., 1990. С. 78–114. (b)

Тимофеева-Починковская В. Глеб Иванович и Александра Васильевна Успенские. Воспоминания и впечатления // Минувшие годы. 1908. Январь. С. 114–115.

Тихомиров Б. Н. Стихотворное «Послание Белинского к Достоевскому»: итоги и проблемы изучения // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 3. С. 62–85. DOI: 10.15393/j9.art.2019.6342

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Юбилейное издание. М.; Л.: ГИЗ, 1928–1964.

Туниманов В. А. [Комментарий, § 12] // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1975. Т. 12. С. 257–272.

Туниманов В. А. [Комментарий, § 7] // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1981. Т. 22. С. 288–306.

Туниманов В. А. [Комментарий, § 6] // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1983. Т. 25. С. 339–350.

Туниманов В. А. [Комментарий, § 5] // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 27. С. 292–301.

Туниманов В. А. Лабиринт сцеплений: Избранные статьи. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2013. 592 с.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 28 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР; Наука, 1960–1968. (Сочинения: в 15 т.; Письма: в 13 т.).

Фокин П. Е., Петрова А. В. «Пушкинская речь» Ф. М. Достоевского как событие (по материалам рукописного фонда Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля) // Неизвестный Достоевский. 2020. № 2. С. 162–195. DOI: 10.15393/j10.art.2020.4681

Фридлиндер Г. М. [Комментарий] // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972. Т. 1. С. 464–514.

Фридлиндер Г. М., Крыжановский А. О. [Комментарий] // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 26. С. 475–491.

Чайковский М. Герман Августович Ларош // Ларош Г. А. Собрание музыкально-критических статей. Т. 1. М., 1913. С. XXI.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. М.: Гослитиздат, 1939–1955.

Чуковский К. И. Забытое и новое о Достоевском // Речь. 1914. 6 апр.

Чуковский К. И. Достоевский и кружок Белинского // Некрасов Н. А. Каменное сердце. Петроград: Полярная звезда, 1922. С. 3–38. Переиздано: Чуковский К. И. Сочинения: в 2 т. Т. II: Критические рассказы. М.: Правда, 1990. С. 126–160.

Шалина М. А. Антропологическая проблематика творчества Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 209–220. DOI: 10.15393/j9.art.2021.9044 29.

Шестидесятые годы: М. А. Антонович. Воспоминания. Г. З. Елисеев. Воспоминания / Вступ. ст., коммент. и ред. В. Евгеньева-Максимова и Г. Ф. Тизенгаузена. М.; Л.: Academia, 1933. 584 с.

Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению / Под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1940. 499 с. (Литературный архив).

Штейнгольд А. М. Ф. М. Достоевский – гуманист или «жестокий талант»? (Актуализация художественного мира произведения в критической статье) // Актуальные проблемы теории и истории русской литературы: Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение: Уч. зап. Тартуского университета. № 748. Тарту. 1987. С. 64–79.

Эко Умберто. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / Перев. с англ. и итал. С. Серебряного, СПб.: Симпозиум, 2005. 502 с.

Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л.; М.: Мысль, 1924. С. 71–109.

Эпштейн М. Ирония идеала: парадоксы русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 384 с.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Бедные люди 8, 9, 13-44, 46, 47, 52, 54, 58-59, 62, 70, 72-73, 75, 78, 81, 84-85, 93, 109, 123, 125, 127, 129-130, 136, 139-140, 148, 163, 171, 201-202, 228, 239, 248, 254, 289, 309, 347, 400, 468, 481

Белые ночи 60, 66-67, 81, 83-85, 123, 125, 130, 137, 140, 361

Бесы 8, 237-267, 274-279, 282, 284, 287-288, 290-292, 295-296, 299-300, 310-311, 313, 320, 324-325, 330, 357, 359-361, 368, 375, 384, 393, 398, 402, 404-407, 413, 431, 433, 469, 481, 498, 500

Бобок 247, 274, 503

Братья Карамазовы 8, 186, 251, 276, 287, 322, 329, 357, 377-395, 406-423, 435, 440-442, 456, 464, 467, 472-480, 483-489, 471-472, 475-478, 483-487, 489, 492, 497, 503-504

Вечный муж 220, 227-237, 241

Влас 268, 272, 285, 470

Гаваньские чиновники в их домашнем быту 97

Г. –бов и вопрос об искусстве См.: Ряд статей о русской литературе.

Голос за петербургского Дон-Кихота. (По поводу статей г. Театрина) 118

Господин Прохарчин 35, 60-61

Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах 164, 168, 170

Двойник 8-9, 16-19, 22, 32, 35, 44-55, 66, 70, 72-75, 78, 124, 127, 129, 131, 180, 186, 500-502

Дневник писателя 8-9, 206, 228, 242, 247, 251, 267-269, 271-272, 274, 276, 278-280, 285, 287, 303, 311, 320, 330-376, 378-379, 382, 391, 398, 406, 411-413, 422, 424, 436-437, 440-448, 456-457, 459-461, 464, 468, 470, 476-477, 490, 492, 497

Дядюшкин сон 80-82, 84, 122

Елка и свадьба 81, 84-86, 125

Журнальная заметка о новых литературных органах и о новых теориях 118

Журнальные заметки. I. Ответ «Свистуну», II. Молодое перо. По поводу литературной подписи. «Современник» № 1 и 2 118-119

Записки из Мертвого дома 88, 144-161, 163, 173-174, 184, 187, 201, 212-213, 248, 266, 270-271, 278-279, 289, 291, 300, 311, 323, 347, 372, 392, 400-402, 406, 429, 441, 461

Записки из подполья 162-163, 290, 500, 503

Зимние заметки о летних впечатлениях 161, 287, 289

Зубоскал (объявление об альманахе) 15, 56

Игрок 220

Идиот 8, 207-228, 230, 232-234, 238-239, 241, 247, 253-254, 277, 284, 287, 290-291, 311, 325, 345-346, 357, 361, 373, 378, 380, 384, 398, 402, 407, 498, 500, 503

Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже 8, 9, 170-172, 181-182, 184, 189, 372

- Кроткая 357-359
 Литературная истерика 101
 Маленький герой 80, 84-85, 127, 131, 139
 Мальчик у Христа на елке 335-336, 348, 482
 Необходимое заявление 169
 Необходимое литературное объяснение, по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов 118, 121
 Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском 167
 Неточка Незванова 60, 67-69, 76, 81, 84-86, 123, 125, 127, 141, 289
 Объявление об издании в 1861 году журнала «Время» 88, 93, 97, 99
 Объявление об издании журнала «Время» на 1863 год 117-118
 Опять «Молодое перо». Ответ на статью «Современника» «Тревоги „Времени“» («Современник», март, № 3) 118, 120, 330
 Отставной см. Рассказы бывалого человека 60, 65
 Петербургские сновидения в стихах и прозе 95, 97
 Письмо Постороннего Критика в редакцию нашего журнала. По поводу книг г. Панаева и «Нового Поэта» 94-95
 Подросток 8, 251, 256, 261, 287, 293-307, 309, 311, 313-319, 321-325, 327-330, 332, 337, 346, 357, 360, 373, 376, 402, 406, 498, 500, 503
 Полписьма «одного лица» 9
 Преступление и наказание 8, 173-207, 216-218, 221, 225, 227-228, 234, 238-239, 241, 247, 254, 277, 284, 287, 290, 295, 299, 309, 311, 322-323, 345, 348-349, 359, 372-373, 378, 383, 397, 402-403, 407, 418, 441, 464-465, 471, 491, 500, 503
 Пушкинская речь 251, 376, 409, 418, 423-454, 459, 461, 486
 Рассказы бывалого человека 65
 Ревнивый муж 67
 Роман в девяти письмах 60, 62
 Ряд статей о русской литературе. Г.–бов и вопрос об искусстве 100-101, 116, 308
 Село Степанчиково и его обитатели 8, 80-81, 84, 86-87, 122, 131, 139-140, 159
 Скверный анекдот 161
 Слабое сердце 60, 64-67
 Славянофилы, черногорцы и западники. Самая последняя перепалка («День» № 35, «Современное слово» № 86) 118
 Сон смешного человека 503
 Униженные и оскорбленные 8, 89, 94, 97, 108-109, 122-144, 146, 187, 253, 287, 289, 307, 311, 360, 372, 481, 499-500, 502
 Хозяйка 25, 60, 62-64, 66, 70, 74, 83-84, 139, 500
 Честный вор 60, 65-66, 84, 125
 Чужая жена 67
 Чужая жена и муж под кроватью 84, 86-87, 131
 Щекотливый вопрос. Статья со свистом, с превращениями и переодеваниями 118

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Авдеев М. В. 103
Авдиев Р. В. 273
Авсеенко В. Г. (псевд.: А. О., А.) 244, 256-261, 263, 279, 296-298, 300-301, 317-318, 320, 324, 342-344, 377, 423
Азарина Л. Е. 248
Аксаков И. С. 419, 422-423, 449, 453-454, 463, 498
Аксаков К. С. (псевд.: Г-н Имрек) 38-39, 53-54, 75, 356, 461
Аксаков С. Т. 354, 492
Алеева Н. (см. Утина Н. И.)
Александр II 445
Александров В. 505
Альбертини Н. В. 162
Анненков П. В. 15, 24-25, 64-66, 70, 158, 434
Анненский И. Ф. 195, 472
Антонович М. А. (псевд.: Посторонний сатирик) 111-116, 151, 164-170, 181-182, 189, 477-480, 503
Анфанген Б. П. 294
Арсеньев К. К. 447
Архипова А. В. 316
Аскоченский В. И. 265-266
Афанасьев А. Н. 286
Ахшарумов Н. Д. 177, 182, 192-195, 199
Ашимбаева Н. Т. 492
Баженов И. Г. (архимандрит Иосиф) 494
Балакин А. Ю. 502
Барсов Н. И. 492
Баршт К. А. 17, 75, 362
Барков И. С. 185
Бахтин М. М. 205, 499, 503
Безобразова Е. Д. (псевд.: Т. S.) 339
Белинский В. Г. 13-14, 18-21, 24-25, 28, 30-31, 38-40, 42, 44-45, 51-52, 54-57, 60-63, 71-74, 99, 109, 125, 129, 136, 179, 231, 251, 268-269, 468, 469, 480, 499-502
Беловолов Геннадий, свящ. 418
Белкин А. А. 11
Белый Андрей 273
Бельчиков Н. Ф. 170, 452, 453
Бем А. Л. 235, 316
Берг В. 363
Берг Ф. Н. 119

- Бердяев Н. А. 219, 260, 468
Березин И. Н. 395
Бернар К. 413
Бёрне Л. 377
Бестужев-Марлинский А. А. 72
Битюгова И. А. 225
Бичер-Стоу Г. 144
Благосветлов Г. Е. 445
Бланк Г. Б. 342
Бланк П. Б. 342
Блок А. А. 234
Бровкович А. И. (архиепископ Никанор) 494
Боборыкин П. Д. (псевд.: Б.) 198, 249, 332-333, 335, 344, 358, 377, 391-394, 413
Боровитинова О. А. (псевд.: Очевидец) 439
Борщевский С. С. 170
Боткин В. П. 24
Бочаров С. Г. 451
Брант Л. В. (псевд.: Я. Я. Я.) 19-23, 27-28, 32, 46-47, 58, 75
Буданова Н. Ф. 453
Булгаков С. Н. 451
Булгарин Ф. В. (псевд.: Б. Ф.) 21-22, 25-26, 28, 32, 43-44, 48, 57, 68, 75, 266
Булич Н. Н. 459
Бурачек С. А. 266
Буренин В. П. (псевд.: Z., Top) 192, 209-215, 217, 230, 240-241, 248-249, 251-253, 269-270, 274, 276, 359-362, 370, 373-374, 377-378, 380, 385, 393-394, 410-413, 427, 431, 434-435, 450, 466, 478-482, 502-503, 505
Буслаев Ф. И. 104
Бутков Я. П. 26, 49, 54-55, 64, 83
Бухарев А. М. (архимандрит Феодор) 491
Бучнева Д. Д. 12
Вагнер Р. 382
Василевский И. Ф. (псевд.: Буква) 364, 432-433
Ватсон Э. К. 427
Введенский А. И. 429, 441, 447, 450, 465, 502, 506
Вейнберг П. И. (псевд.: Камень-Виногор) 100
Венгеров С. А. (псевд.: W, Фауст Щигровского уезда) 11, 317, 342, 344, 357, 481
Вересаев В. В. 273, 390
Викторович В. А. 12, 192, 271, 317, 338, 419, 424, 427, 442, 491
Викторович Н. В. 12

- Вильде М. Г. (псевд.: W.) 244
Виноградов В. В. 205
Власкин А. П. 491
Вовчок М. (наст. имя: Вилинская, Маркович М. А.) 101-102, 307
Вогюэ М. де 225
Волгин И. Л. 356, 457
Волков Ю. А. (псевд.: Гымалэ) 94-95
Вольтер 243, 336, 484
Воронцов В. П. 446
Воскобойников Н. Н. 92
Гадамер Х.-Г. 500, 505
Галахов А. Д. (псевд.: Сто один) 16, 59
Гайдебуров П. А. 381, 446-447, 450
Гарибальди Д. 91
Георгиевский П. Е. 162
Герцен А. И. 179, 218, 269, 351-353 468
Герцен Е. А. 352
Герцо-Виноградский С. Т. (псевд.: Z. Z. -Z., С. Г.-В., Барон Икс) 246-247, 299-300, 326, 348, 368
Гиляров-Платонов Н. П. 337-338, 426-427, 450, 453, 461-463, 504
Глинка М. И. 229
Гоголь Н. В. 8, 13, 18, 21-22, 26-31, 35-36, 38-39, 43, 47-50, 53-54, 60-61, 71-73, 77, 81-84, 86, 109, 124-125, 129, 202, 241, 289-290, 301-302, 304, 343, 391, 405, 456, 461-462, 464, 495, 499
Головачев А. А. 439
Голосова О. Е. 317
Гольцев В. А. 429, 433
Гончаров И. А. 43, 64, 133, 136, 140, 220, 237, 255, 277, 280, 289, 320, 324, 499
Горький А. М. 273, 390-391
Градовский А. Д. 430, 434-437
Градовский Г. К. (псевд.: Гамма) 332, 334, 341-343, 441, 447
Грановский Т. Н. 404
Гребенщиков М. Г. (псевд.: Мыслете) 356
Греч Н. И. 49, 186
Григорович Д. В. (псевд.: «и др.») 13, 136, 277, 289, 492
Григорьев А. А. (псевд.: Г. А.) 9, 21-23, 29-30, 54-55, 59-62, 75, 77-78, 82-84, 98-99, 104-105, 108, 119, 124, 161, 162, 170, 345,
Григорьев Д. Д. 416
Григорьев П. И. 162
Гроссман Л. П. 423
Губер Э. И. 37-38, 75

- Гюго В. 227, 293, 353, 383, 385, 403, 430
Давидович М. Г. 411
Даль В. И. 16, 64, 76, 492
Данте 147, 152
Данилевский Г. П. 175
Данилевский Н. Я. 274, 363, 365, 452
Данилов А. М. 200
Данилов Фома 363
Данте А. 147, 404
Де Кок Поль 185
Демерт Н. А. (псевд.: Д.) 288
Де-Пуле М. Ф. 103
Державин Г. Р. 439
Джоунс М. 504-505
Диккенс Ч. 69, 144, 179, 235, 316, 348, 378
Дмитриев А. М. 432
Дмитриев А. П. 12, 492, 495
Добролюбов Н. А. (псевд.: -бов) 90, 131, 136-140, 143, 165, 179, 181, 189, 251, 288-290, 307-308, 359, 361, 384, 395, 463, 468-469, 472, 474-475, 477-478, 480, 499-500, 502
Долгомостьев И. Г. (псевд.: Игдев) 166
Долинин А. С. 287
Доре Г. 404
Достоевская А. Г. 275
Достоевский М. М. 13, 17, 18, 26, 43, 55, 56, 64-65, 75, 80-82, 88, 115, 118-119, 121, 162-163, 166-167, 170, 397
Дружинин А. В. 64, 66-69
Дудышкин С. С. 67, 95-97, 103-105
Дьяков А. А. (псевд.: А. Незлобин, Житель) 319, 369
Егарев В. Н. 363
Егоров Б. Ф. 183
Елизаветина Г. Г. 190
Елисеев Г. З. 177-184, 189, 193, 371-373, 478
Есаулов И. А. 399, 500
Жемарин И. С. 218
Жорж Санд 18, 355, 364, 397
Жуковский В. А. 99, 277-278, 492
Забелин Е. И. 119
Заваркина М. В. 76
Загуляев М. А. (псевд.: L. V., X. Л.) 179, 263-264, 269-270, 293-296, 328-329, 378, 394-395, 406, 413, 431, 450, 500, 502
Заезжий (псевд.) 237

- Зайцев В. А. 145, 163, 182
Замотин И. И. 10-11
Зарин Е. Ф. (псевд.: З-н) 143, 150, 154-155
Захаров В. Н. 12, 17, 24, 45, 55, 74-75, 80, 440, 453
Захарова О. В. 12, 18, 80, 103, 170
Зевалд Ю. А. 12
Зелинский В. А. 10-11
Зеньковский В. В. 451
Золя Э. 244, 296, 355, 392, 394-395, 407
Зотов В. Р. (псевд.: В. З.) 155, 311-313, 317, 338, 378, 395
Иван Яковлевич (см.: Корейша И. Я.)
Иванов В. И. 221
Иванова С. А. 221
Ивановский И. И. 16-17
Иванцов-Платонов А. М. 415, 492
Индзинская А. В. 12
Иустин (Попович) преподобный 453
Июдин Д. А. 12
К. Л. (псевд.) 160
К. П. (псевд.) 42
Кавелин К. Д. 447-448
Казанский П. 110
Каирова Н. В. 347, 349
Кантор В. К. 351, 448
Капустин С. Я. 174, 176, 198
Карр А. 346
Карамзин Н. М. 78, 397, 492
Картавцов Е. Э. (псевд.: К. Э.) 414
Карякин Ю. Ф. 404
Касаткина Т. А. 473
Катков М. Н. 81, 99-101, 121, 162, 169, 177, 241, 266, 345, 388, 458, 501
Кельнер В. Е. 445
Клюшников В. П. 185, 188
Кийко Е. И. 13, 172
Киреевский И. В. 461-462
Кириллов А. А. 414-415, 492
Кирпотин В. Я. 17
Китаев В. А. 446
Ковалевский П. М. (псевд.: П. К.) 279
Ковнер А. Г. 222, 243-244, 247, 265, 272
Котельников В. А. 381
Колесников В. П. 173

- Конт О. 412
Корейша И. Я. 104, 206
Корнилов И. П. 274
Короленко В. Г. 390, 471
Коропчевский Д. А. 439
Корш В. Ф. (псевд.: Отшельник) 118, 387-388, 413
Кожанчиков Д. Е. 84
Кони А. Ф. 470
Книгин И. А. 436, 486
Константин Великий 366
Краевский А. А. 20, 24, 81, 106, 162, 169, 172, 272, 424, 502
Крестовский В. В. 89, 162
Кроненберг С. Л. 341
Кропоткин П. А. 390
Крылов А. Л. 16
Крыжановский А. О. 440, 445-446
Куйкина Е. С. 12
Кулаковский П. А. 453
Купер Д. Ф. 397
Курепин А. Д. (псевд.: И. Хлестаков) 330
Курочкин Н. С. (псевд.: Н. Новоспасский) 122, 146
Кусков П. А. 100, 108, 151, 153
Кушелев-Безбородко Г. А. 80-81, 131-135, 138
Кущевский И. А. (псевд.: Новый критик) 176, 240, 302-303, 316, 324, 337-338
Ларош Г. А. (псевд.: Л.) 344-347, 349, 353, 356-357, 379, 382-385 387, 389, 400, 413, 421, 465
Лачинова П. А. 492
Левитов А. И. 280
Левитт М. Ч. 430, 445
Левитский С. Д. (псевд.: С. Д. Л.) 415-417, 442, 492
Лейкин Н. А. (псевд.: Лкн.) 267, 270
Леонтьев К. Н. (псевд.: К. Л.) 101-102, 162, 296, 322, 418-419, 451, 504
Лермонтов М. Ю. 50, 77, 82, 99, 343, 370, 474
Лесков Н. С. (псевд.: М. Стебницкий) 188, 222-226, 241, 243, 280, 320, 349, 368, 492
Лессинг Г. Э. 182-183
Лещинский Е. В. (архимандрит Евсевий) 494
Литинская Е. П. 453
Литтре Э. 412
Лонгинов М. Н. 108-109
Ломоносов М. В. 91

- Лохвицкий А. В. 176
Льюис Д. Г. 185
Льюис К. С. 471
Любимов Н. А. 504
М. В. (псевд.) 303-304
М-й (псевд.) 492
Майков А. А. 433
Майков А. Н. 89, 108, 184, 200, 207-209, 211, 218-219, 229, 238, 252, 265, 413, 433
Майков В. Н. 21, 35-37, 41, 49-50, 61, 205, 500-502
Майнов И. В. 436
Максимов С. В. 266, 475
Малафеев В. М. 363
Манн Т. 472
Маркевич Б. М. 249, 377
Марков В. В. (псевд.: В. М.) 314-315, 335
Марков Е. Л. 215, 377, 393-395, 399-409, 413, 503
Маркс К. 280
Матвеев П. А. 271
Мей Л. А. 108, 112, 492
Мережковский Д. С. 219
Местр Жозеф де 383-385
Мещерский В. П. 218, 265-268, 270-271, 273, 275, 371
Миллер О. Ф. 289-292, 395, 453, 457, 461
Милюков А. П. 114, 146-149, 152
Минаев Д. Д. (псевд.: Литературное домино, М., Л. Д., О. Др., L'homme qui rit) 119, 121, 171, 206, 217-218, 241, 245, 267, 334, 337
Михайлов (см.: Шеллер-Михайлов А. К.)
Михайловский Н. К. (псевд.: М. Н.) 229, 273, 278-288, 293, 302, 304, 310, 316-317, 319, 341, 346, 392, 434, 439, 441-443, 463-473, 476, 481, 489-490, 501, 505
Модестов В. И. 457-458
Морозов П. Ф. 457
Михневич В. О. (псевд.: Коломенский Кандид) 432-433, 441, 450
Муллов П. А. 150
Н. Б. (псевд.) 393
Н. Ч. (псевд.) 271
Набоков В. В. 198
Назирова Р. Г. 411
Налимов А. 441
Нанси Ж.-Л. 505
Наполеон 500
Наполеон III 91

- Некрасов Н. А. (псевд.: Пружинин, Белопяткин) 8, 13, 15-21, 23-28, 30, 33-35, 38, 44, 47-48, 51, 56, 58-60, 79, 91-93, 125, 130, 181, 286, 289, 303, 345, 368, 370-373, 404, 480, 491
- Нечаева В. С. 162
- Нечаев С. Г. 246, 251, 264, 281, 283
- Никитенко А. В. 16-17, 21, 28, 32-34, 43
- Никитина Н. С. 164, 181
- Новоспасский Н. (см.: Курочкин Н. С.)
- Оболенский Л. Е. (псевд.: Л. О., N. N.) 436-437, 443, 446, 450, 477, 484-491, 502-503, 505
- Огарев Н. П. 78, 218
- Одоевский В. Ф., кн. 16, 28, 72, 179, 492
- Озмидов Н. Л. 504
- Омулевский И. В. (наст. фам. Федоров) 277
- Орлов-Давыдов В. П. 280, 288
- Островский А. Н. 77, 99, 109, 140, 153, 159, 280, 351, 400
- П. П. (псевд.) 40
- Павленков Ф. Ф. 190-191
- Павлов И. Н. 420-422
- Павлов Н. Ф. 420
- Павлова И. Б. 190
- Павлова К. К. 420
- Панаев И. И. (псевд.: Новый поэт) 13, 28, 79-80, 88, 94, 136
- Панаева А. Я. 24
- Паночини Л. А. (псевд.: Н. Гребцов, Л. Алексеев) 305-307, 443, 477, 481
- Пантелеев Л. Ф. 234
- Панютин Л. К. (псевд.: Нил Адмирари) 242, 273, 278
- Парсамов В. С. 384
- Переверзев В. Ф. 470
- Перов В. Г. 278-279
- Петерсен В. К. (псевд.: Оникс) 482-484, 504
- Петр Великий 445
- Петрашевский М. В. 76-77
- Петров К. П. 205, 395
- Петров П. Н. (псевд.: П-в) 278
- Петрова А. В. 453
- Петровский М. А. 228
- Петропавловский И. Д. 493
- Пинто Ф. М. 92
- Писарев Д. И. 160-161, 189-194, 502
- Писемский А. Ф. 124, 133, 140, 153, 188, 224, 240, 255, 289
- Плетнев П. А. 28

- Плещев А. Н. (псевд.: П.) 21, 30, 40-41, 89, 122-123, 501
По Э. 94
Победоносцев К. П. 8, 270, 418, 423, 472
Погодин М. П. 72, 79
Полевой К. А. (псевд.: К. П.) 62, 75
Полевой Н. А. 99, 179
Полевой П. Н. 395-399
Полонский Я. П. 108, 188, 218, 333
Померанцев К. П. 150
Помяловский Н. Г. 158, 160, 397, 400
Пономарев А. И. 496
Пономарев С. А. 419, 497-498
Пономарев С. И. 248
Попов Н. Е. (псевд.: Энпе, Енпе) 351-352
Попов, ростовщик - 200
Порецкий А. У. (псевд.: Е. Былинкин) 344, 375
Потебня А. А. 458-460, 489
Предтеченский А. И. 497
Протасова М. А. 277
Протопопов М. А. (псевд.: Александр Горшков) 389-391, 413, 442-443
Проценко А. А. 248
Прутков Козьма 8, 92, 163
Пушкарев Н. Л. (псевд.: Доктор П.) 271
Пушкин А. С. 8, 30, 77, 82, 99, 104-105, 125, 166, 201-202, 225, 245, 343, 370-372, 397, 424-426, 428, 431, 435-439, 455-456, 462, 468, 474, 494
Пуцыкович В. Ф. 316, 380
Пыпин А. Н. (псевд.: П. А., В. В., А. В.) 433, 437-438, 446-447, 449, 480-481
Пятковский А. П. (псевд.: Н. Мизантропов) 129-131, 363
Ребель Г. М. 433, 438
Решетников Ф. М. 280
Роднянская И. Б. 419
Розанов В. В. 391, 472
Россинский И. Н. (псевд.: И. Р.) 186, 188
Ротшильд 302, 310, 313, 500
Рождественский В. П. 494
Руссо Ж.-Ж. 185, 297, 336
С. К. (псевд.) 460, 465
Савостина С. А. 12
Салиас Е. А. 314
Салтыков-Щедрин М. Е. (псевд.: Михаил Змиев-Младенцев, Н. Щедрин) 119, 144-145, 162-164, 169, 226-227, 234, 277, 330, 359, 439, 444

- Самарин Ф. Д. 453
Свешникова Е. П. (псевд.: Некто из толпы) 363, 377
Семевский М. И. 108
Сенковский О. И. 34, 58-59
Сен-Симон К. А. 294
Серко (псевд.) 35
Симонова-Хохрякова Л. Х. 358
Сиповский В. В. 70-71
Скабичевский А. М. (псевд.: Заурядный читатель) 179, 277, 300-301, 304-305, 307, 339-341, 349-353, 356, 358, 363, 365-371, 378-379, 381-382, 387, 413, 477
Скотт В. 397
Слепцов В. А. 240, 280
Смолененкова В. В. 449-450
Созина В. Р. 12
Соколов А. А. (псевд.: Александр С.) 333-334
Соколов М. И. (псевд.: Х...) 160-161
Соколовский Н. М. 173
Солженицын А. И. 173
Соллогуб В. А. 16, 184
Соловьев Вл. С. 282, 440, 455, 457-458, 472, 482, 504, 505
Соловьев Вс. С. (псевд.: Sine ira, Вс. С-в., В. С.) 313-324, 329, 331, 333, 344, 374-375, 378, 395
Соловьев И. И. 419
Соловьев С. М. 313
Соловьев Н. И. 207
Спасович В. Д. 341
Станюкович К. М. (псевд.: О. П.) 440, 445
Стасюлевич М. М. 276
Стелловский Ф. Т. 200-202
Степанов М. 287
Степанов Н. А. 88
Столбовой (псевд.) 173
Столярова И. В. 222, 224-225
Сто один (см.: Галахов А. Д.)
Страхов Н. Н. (псевд.: Н. Косица, Косица, Русский) 9, 89, 93-94, 113-114, 119, 121, 122, 144, 163, 166, 169-170, 175, 182, 200-206, 218-221, 228-229, 231-239, 265, 268, 274-275, 291, 318, 325, 376, 411, 434, 469, 500, 502
Студитский А. Е. 48
Суворин А. С. (псевд.: И-н А., А. С., Незнакомец) 170, 176, 199-200, 203, 207, 215, 247-248, 270, 274, 276, 331-332, 338, 373, 431, 434, 458, 463, 482, 502

- Суворов А. В. 104
Сычевский С. И. (псевд.: С. С., Z.) 353-357, 363-364, 369, 388-389, 413, 502
Т. Л. К. (псевд.) 299, 316
Татарина Е. Ф. 282
Тарковский А. А. 222
Твардовская В. А. 390
Терновский Ф. А. 144, 491
Тимофеева В. В. (псевд.: Починковская, Анна Стацевич) 254, 288
Тиссо С. А. 214
Тихомиров Б. Н. 12, 415, 453
Ткачев П. Н. (псевд.: П. Никитин, П. Н., Все тот же, Ф. Б-ъ) 253-256, 307-311, 325, 372-373, 376, 472-477, 481, 503
Толмачева Е. Э. 100-101
Толстая С. А. 426
Толстой Л. Н. 136, 144, 175, 205, 218-220, 224-225, 231, 234, 237, 243, 280, 300, 302, 304, 314, 322, 324-325, 368-369, 383, 385, 462
Троллоп Э. 320
Туниманов В. А. 254, 460
Тур Е. (псевд., наст. имя: Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир) 140-143
Тургенев И. С. 16, 24-25, 28, 62, 64-65, 77-78, 83-84, 97, 124, 131, 133, 136, 140, 164, 175, 180-182, 184-185, 197, 209-210, 212-213, 218, 220, 224-225, 231-232, 234, 237, 252, 255, 277, 280, 289, 302, 314, 322, 326-327, 360, 368, 383, 386, 391, 393, 396, 433, 435, 439, 449-450, 452, 465, 478, 483, 502
Тхоржевские И. Ф. и А. А. (псевд.: Иван-да-Марья) 374
Тютчев Ф. И. 371, 426
Тютчева Е. Ф. 418, 423, 453
Усов П. С. 129
Успенский Г. И. (псевд.: Г. У., У. Г.) 280, 400, 434, 439-440, 443, 449-451, 476
Успенский Н. В. (псевд.: В. Печкин) 280, 363, 400, 492
Утина Н. И. (псевд. Н. Алеева) 307
Фет А. А. 109, 184, 342,
Фокин П. Е. 453
Фрейганг А. И. 16
Фридендер Г. М. 17, 440, 445-446
Хвоцинская Н. Д. 492
Хитров А. (псевд.: Х. А.) 124-128, 132, 136-138, 151-153
Хомяков А. С. 92, 108-109, 414, 417, 461-462, 492
Цебрикова М. К. 276, 476-477
Чаев Н. А. 424

- Чайковский М. И. 385-386
Чебышев-Дмитриев А. П. (псевд.: Экс, Ч. П.) 273-274
Чернышевский Н. Г. 89-91, 93-94, 123-124, 172, 181-183, 189, 280, 468, 471
Читальщик (псевд.) 331
Чуйко В. В. (псевд.: В. Ч., Дилетант) 386-387, 447
Чуковский К. И. 13, 15, 17
Шаламов В. Т. 173
Шалина М. А. 453
Шевырев С. П. 23, 35, 47
Шекспир У. 177, 301, 336, 389, 430, 474
Шелгунов Н. В. (псевд.: Н. Радюкин, Г-Н.) 272, 445
Шеллер-Михайлов А. К. 240
Шестов Л. И. 472
Шиллер Ф. 8, 97, 219, 336, 505
Шлейермахер Ф. 410
Штавер Петр (наст. имя: Перетц Г. Г.) 14-15
Штейнгольд А. М. 466
Щебальский П. К. 232
-ъ (псевд.) 175, 179, 195
-Ъ-Ъ (псевд.) 150
Эвальд А. В. (псевд.: А. Ленивцев) 159-160
Эко У. 505
Элиот Д. 144
Энгельгардт Н. А. 284
Эпштейн М. Н. 440
Ювенал Д. Ю. 91
Юрьев С. А. 450
Ярош К. Н. 412-413, 422
Яновский С. Д. 207, 211
Янышев И. Л. 495-496
Ясинский И. И. (псевд.: Кифа) 302
Яхонтов И. А. 495
Яхонтов И. П. 493, 495
Яхонтов И. К. 495
N. (псевд.) 381
S. (псевд.) 438
Z. (псевд.) 150, 409
Z.Z.Z. (псевд.) 272

УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАНИЙ (ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, АЛЬМАНАХИ, СБОРНИКИ)

- Астраханский справочный листок 302
Библиотека для чтения 33-35, 58, 93, 97, 106, 143, 150, 154, 170, 175, 179, 195
Биржевые ведомости 216, 222, 224, 239, 241, 273-274, 278, 301, 305, 332, 339, 341, 349-350, 352, 355, 358, 363-364, 366, 368-370
Варшавский дневник 418, 451
Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции 17, 29
Век 92, 97, 106, 150
Вестник Европы 243, 252, 276-277, 368, 392, 433, 437-438, 446-447, 449, 480-481
Вечерняя газета 436
Воскресный день 497
Воскресный досуг 198
Время 8, 88-122, 123, 129, 136, 143, 145-146, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 166, 184, 188, 330
Всемирный труд 177, 194-195, 199
Голос 160, 171-174, 178-179, 207, 210, 214-216, 223, 230-231, 237, 239, 242-245, 247, 265, 270, 272-273, 278, 330, 332, 334, 342, 344-347, 356-357, 379-380, 382-383, 385-386, 389, 399, 424-427, 430, 434-435, 441, 457, 465
Гласный суд 175, 188, 197, 200
Гражданин 8, 232-234, 237, 242-243, 245, 247, 264-282, 287-288, 296, 313-314, 316, 332-333, 338, 355, 366, 372, 375, 380, 413, 431, 461, 469
Грамотей 120
Дело 189-190, 192-193, 231, 241, 253-255, 266, 271, 274, 307, 309, 363-364, 373, 376, 440, 445-446, 472, 475-476
Детский сад 327
Домашняя беседа 120-121, 265,
Донская пчела 374
Донские епархиальные ведомости 414
Древняя и новая Россия 438
Ералаш 44, 48
Женский вестник 174, 176, 198
Женское образование 358
Живописное обозрение 433
Журнал гражданского и уголовного права 470
Заря 173, 219, 228, 230, 232
Зубоскал (альманах) 15, 17, 56

Зубоскал, или Литературные лоскутья, сшитые только не на живую нитку, из анекдотов, мыслей, выдержек, воспоминаний, наблюдений, острот, изречений, заметок, впечатлений, опытов прежнего и современного, сто первым русским литератором. 144 стр. (1848, сборник) 56

И то и сё. Труды Зубоскала. Слова из русского языка. Мысли из русских авторов. Издание Виазы a la Polka. Москва (1847, сборник) 56

Иллюстрация 21, 26-28, 58, 75, 155-156

Иллюстрированная газета 311-312, 317, 338

Иллюстрированный листок 156, 158

Иллюстрированная неделя 311-312

Искра 84, 88, 118, 120-122, 171, 186, 188-189, 206, 217, 245, 247, 267

Исторический вестник 323

Киевлянин 414

Киевский телеграф 299, 305, 316

Кронштадтский вестник 363, 377

Литературная библиотека 179, 195

Литературная газета 42, 56, 61, 64

Литературный журнал 482-484

Луч. Учено-литературный сборник (1866) 161

Молва 378-379, 382, 387-388, 425-429, 432, 435-436, 441, 457, 461, 465

Москвитянин 23, 35, 40, 43-44, 47-48, 59, 77-78, 119

Московские ведомости 89, 106, 122-123, 162, 164, 167, 241, 265, 270, 424, 433, 458, 461

Московские церковные ведомости 493-494

Московский городской листок 54-55, 61-62

Московский литературный и ученый сборник на 1847 год 38-39, 53-54

Московское обозрение 358

Мысль 436-437, 443, 485-489, 491

Народная беседа 120

Наше время 92

Неделя 176, 184-185, 188-189, 193, 206, 217-218, 231, 272, 289-290, 380-381, 292-393, 432, 446-447, 455, 457, 461, 470

Нива 278, 323, 374-375, 395, 432

Новое время 212, 247-248, 252, 270-271, 274, 276, 278, 342, 357, 359, 370, 374, 377-378, 385, 393-394, 410-411, 427, 431, 434-435, 438, 455, 458, 463, 461, 466

Новое обозрение 478-479

Новороссийский телеграф 300, 348, 368, 409, 495

- Новости 176, 302-304, 316, 337, 386-387, 432, 441, 447
Новости и биржевая газета 386-387, 450
Огонёк 387, 395-399
Одесский вестник 218, 231, 246-247, 299-300, 353, 355-357, 363-364, 369
Отечественные записки 13-16, 18-21, 25, 27, 30, 35-37, 42-46, 49-51, 56-57, 59, 61, 64, 66-68, 70, 72, 75, 80-81, 93, 95-96, 101-106, 108, 125, 129, 136, 159-160, 170, 179, 182, 188, 198, 200-205, 221, 224, 227, 231, 276-288, 293, 296-297, 304-305, 311, 316-319, 326, 359, 367, 371, 376, 392, 434, 439, 442-444, 449-450, 463-465, 467-470, 489, 501
Отклик. Литературный сборник в пользу студентов и слушательниц высших женских курсов города Санкт-Петербурга 481
Пантеон и репертуар русской сцены 43, 64-65
Первое апреля (альманах) 56-60
Петербургская газета 247, 266-268, 270, 278, 330-331, 334-335, 337, 456-457
Петербургский сборник 13, 16-23, 28-31, 33-39, 44-49, 59, 72, 129, 136
Петербургский листок 334, 441
Порядок 457, 459-461, 465
Правда 436
Православное обозрение 415-417, 442, 491, 493, 495
Протоколы заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1881—82 учебный год 496
Развлечение 351-352
Русская газета 427, 432
Русская мысль 429
Русская правда 389-391
Русская речь 92, 103, 106, 140-143, 215, 399-408, 503
Русские ведомости 341, 191, 393, 429
Русский архив 453
Русский вестник 81, 95, 99-101, 106-109, 166, 170, 173-175, 177, 186, 188, 200-202, 207, 209, 212, 238, 241-242, 249, 252, 256, 261, 263, 267, 270, 276, 296, 298, 320, 342-343, 377, 379, 388-389, 410
Русский инвалид 30, 35, 40, 164, 170, 176, 199, 207, 215, 223
Русский курьер 393, 429, 443
Русский мир 88, 145-146, 149-150, 256-258, 272, 279, 296-297, 314, 317-322, 331, 333
Русское богатство 439, 442-443, 446, 477
Русское слово 80, 82-84, 93, 104, 106, 118-119, 131-136, 145, 182

- Русь 419-423, 454-455, 461, 498
Санкт-Петербургские ведомости 37, 42, 62, 75, 84-88, 92, 94, 106, 146, 158, 192, 199, 209, 211-214, 230, 240-241, 249, 252, 265, 269-270, 274, 314-317, 332, 335
Саратовский дневник 409, 414, 494
Свет 485
Светоч 97, 114, 124, 146, 151
Свисток 91-92
Северная пчела 17, 19-23, 25-28, 32, 43-44, 46-47, 57-59, 68, 75, 97-100, 106, 129
Сияние 247
Слово 439, 442, 476-477
Современник 28-29, 38-40, 51-54, 62, 64-70, 79-80, 83, 88-94, 97, 100-102, 105-106, 108, 110-115, 117-120, 123, 136-140, 145, 151, 162-170, 177-184, 188-189, 206, 345-346, 372
Современные известия 265, 270, 338, 419, 427, 436, 453, 461-462
Современность 441
Страна 429-430, 441, 447, 457
Странник 496
Сын отечества 93-94, 97, 101-103, 105-111, 117-118, 124-129, 149-153, 161, 246, 265, 300, 336, 363, 377
Судебный вестник 176
Труд 450, 502
Труды Киевской духовной академии 144
Физиология Петербурга (сборник) 20
Финский вестник 23, 30, 35, 48-49, 59-60
Харьковские губернские ведомости 208, 216
Христианское чтение 492, 497
Церковно-общественный вестник 358, 492
Церковный вестник 492, 494
Чтения в Обществе любителей духовного просвещения 419, 497
Эпоха 8, 161-172, 184, 188, 230, 330,
Южный край 412-413, 422, 459-460
St. Petersburger Zeitung 424
Journal de St.-Petersbourg 20, 263-264, 269-270, 293, 328-329, 339, 395, 406, 431

Викторович Владимир Александрович
Захарова Ольга Владимировна

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
В РУССКОЙ КРИТИКЕ
1845—1881

Редактор-составитель – В. А. Викторович

Корректор – В. В. Меженина

Компьютерная вёрстка – А. С. Петрина

На обложке использована литография
А. И. Лебедева «Ф. М. Достоевский» (1879).

*Ни одна часть издания не может быть использована
без письменного согласия правообладателей*



Издательский дом «Лига»

140400, Московская обл., Коломна, ул. Лажечникова, 5
+7(496) 616-11-32 www.liga.org.ru ligaprint@gmail.com

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография».
140400, г. Коломна Московской области, ул. III Интернационала, 2а.

Подписано в печать 31.08.2021

Бум. офсетная. Печать офсетная.

Формат 70x100^{1/16}. Гарнитура Brygada 1918

Усл. печ. л. 33,5. Тираж 300 экз. Заказ 2964